ПОЭТЫ
1820-1830х
ГОДОВ

1

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

ПОЭТЫ
1820-1830-х ГОДОВ

Советский
писатель

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ПОЭТЫ 1820-1830-х ГОДОВ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Вступительная статья и общая редакция
Л. Я. Гинзбург

Биографические справки, составление, подготовка текста и примечания
В. Э. Вацуро

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1972

Р 1
П 67

1820—1830-е годы — «золотой век» русской поэзии, выдвинувший плеяду могучих талантов. Отблеск величия этой богатейшей поэтической культуры заметен и на творчестве многих поэтов второго и третьего ряда — современников Пушкина и Лермонтова. Их произведения ныне забыты или малоизвестны. Настоящее двухтомное издание охватывает наиболее интересные произведения свыше сорока поэтов, в том числе таких примечательных, как А. И. Подолинский, В. И. Туманский, С. П. Шевырев, В. Г. Тепляков, Н. В. Кукольник, А. А. Шишков, Д. П. Ознобишин и другие. Сборник отличается тематическим и жанровым разнообразием (поэмы, драмы, сатиры, элегии, эмиграммы, послания и т. д.), обогащает картину литературной жизни пушкинской эпохи.

7-4-2
316—72

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 1820—1830-х ГОДОВ

1

Русская поэзия первой трети XIX века — это ряд крупнейших творческих индивидуальностей и произведений непреходящей художественной ценности. 1810—1830-е годы для нее — пора противоречий, принципиальных споров, переломов, имеющих первостепенное теоретическое значение. В этот период важные задачи, стоявшие перед русской литературой, — и задачу выражения гражданских идей, и задачу раскрытия душевной жизни — в значительной мере решала еще поэзия; начиная с 1840-х годов эта роль надолго переходит к прозе.

В 1810—1830-х годах в лирике совершается сложный процесс перехода от поэтики сознательно-традиционной, с ее устойчивыми темами и формами, к иным идеям и методам. Выдвигаются требования обновления темы, авторского образа, поэтического языка. И вся совокупность этих требований восходит к новому пониманию человека и его соотношений с действительностью. Это процесс глубоко национальный, и в то же время он вмещается в мировые категории перехода от рационалистического мировоззрения к романтизму, в России достигшему полного своего развития почти одновременно с началом реалистических поисков. 1825 год — год восстания и крушения декабристов — стал рубежом между двумя основными периодами этого тридцатилетия.

1810-е — первая половина 1820-х годов в России — период подготовки дворянской революции. Декабристская атмосфера определяла не только политическую, но и культурную, в первую очередь литературную, жизнь эпохи. Вольнолюбивые настроения охватили самые широкие круги образованной дворянской молодежи, — настолько широкие, что едва ли можно назвать какого-либо деятеля

молодой литературы, не затронутого в той или иной мере этими веяниями.

Русские вольнодумцы 1810—1820-х годов — просветители, наследники традиций русских просветителей XVIII века, Радищева прежде всего, и просветителей французских — Монтескье, Вольтера, Дидро. Просветители всегда были рационалистами; они безоговорочно верили в могущество человеческого разума, в разумное переустройство общественной жизни, в то, что идеи, мнения сами по себе управляют судьбами общества.

Понятно в этой связи их тяготение к классицизму с его рационалистической эстетикой. Сочетание классических традиций и вкусов с иными, современными веяниями определило художественное своеобразие эпохи. В 1800—1810-х годах для мировосприятия, для эстетического сознания передовой дворянской интеллигенции характерно слияние рассудочности с чувствительностью, просветительства с сентиментализмом.[1] Чувствительный человек — в то же время «естественный человек». Тем самым его реакции на действительность — при всей эмоциональности — мыслятся как рациональные. Он хочет возможности свободного проявления своих естественных чувств. В этой борьбе за утверждение личности не было ничего противоречащего разумному началу.

Позднее, на рубеже 1820-х годов, в русское культурное сознание начинают настойчиво проникать элементы западного романтизма, байронического в первую очередь. Но наслаиваются эти новые и очень сильные впечатления все на ту же просветительскую основу. Романтический идеализм как философское направление, иррационалистические теории искусства, острый индивидуализм — все это стало актуальным уже после декабрьской катастрофы. В этом смысле русский романтизм, как и мировой романтизм, — явление послереволюционное; в России он детище политических неудач и разочарований дворянской интеллигенции.

В русской лирике 1810—1820-х годов выделяются две основные линии — гражданственная и интимная, элегическая, поскольку элегия была ведущим жанром интимной лирики. Оба основных течения нередко противопоставляли себя друг другу, боролись друг с другом,

---

[1] Литературный стиль, возникший на основе скрещения рационализма с чувствительностью, Б. В. Томашевский сопоставил со стилем ампир в архитектуре, живописи, прикладных искусствах. В России пропагандисты этого направления — А. Н. Оленин и его кружок, к которому в 1800-х годах близок был Батюшков (см. в кн.: К. Батюшков, Стихотворения, «Б-ка поэта» (М. с.), Л., 1936, с. 28—29).

но в конечном счете оба они выражали существеннейшее для эпохи содержание: растущее политическое, национальное самосознание и растущее самосознание личности.

О «целости направления» этого периода тонко говорит Огарев в своем предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия»: «Целость направления, так изящно проявлявшегося у Пушкина, и имела то громадное влияние на современные умы и современную литературу, которое разом вызывало в людях, и, как всегда, особенно в юношах, потребность гражданской свободы в жизни и изящности формы в слове». Далее, сравнивая Пушкина с Рылеевым, Огарев утверждает, что поэтическая деятельность Рылеева «подчинена политической, все впечатления жизни подчинены одному сильнейшему впечатлению; какие бы ни брались аккорды, они вечно звучат на одном основном тоне. То, что у Пушкина выражалось в целости направления, — то у Рылеева составляло исключительность направления. В этом была сила его влияния и его односторонность... Рылеев имел равносильное, если не большее, влияние на политическое движение современников вообще, но Пушкин имел несравненно большее, почти исключительное влияние собственно на литературный круг и на общественное участие в литературе. Его многообразное содержание заставляло звучать не одну политическую струну и, следственно, вызывало последователей во всем, что составляет поэзию для человека; но целость вольнолюбивого направления сохранилась у всех, так что оно звучало даже в «Чернеце» Козлова».[1]

Разница не только количественная существовала, понятно, между людьми, готовившими военный переворот, и периферией декабризма, сочувствовавшей, выжидавшей. И все же «целость направления» охватывала необычайно широкий круг, от корифеев поэзии 1810-х годов до молодых поэтов (А. Шишков, В. Туманский, В. Григорьев, О. Сомов и другие), многообразными узами связанных с декабристским движением.

Вольнолюбивые ассоциации рождались в дружеских посланиях, в интимной лирике, утверждавшей духовное богатство личности, в стихах, посвященных дружбе, дружеским пирам, гусарской удали. Они выражали сознание человека, освобождающегося от идейной власти церкви и монархии. И человек этот уже не прочь покончить с самодержавием практически.

Миропонимание новой личности — она стала формироваться уже в начале века — сложно. В нем сочетались вера в могущество разу-

---

[1] Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. 1, М., 1952, с. 431, 436, 438—439.

ма, политическое вольнодумство, просветительский деизм и просветительский скепсис; наконец, эпикурейская стихия XVIII века — радостное утверждение прекрасного чувственного мира, культ наслаждения, но и резиньяция перед скоротечностью, непрочностью наслаждения, перед смертью и тщетой чувственных радостей. Элегическая меланхолия настойчиво вторгается в этот мир (в поэзии французского классицизма до конца XVIII века элегия не имела значения).

Рационалистическая расчлененность сознания позволяла отдельным элементам этого комплекса распределяться по разным поэтическим жанрам. Жанровое понимание литературы — это детище классицизма XVII—XVIII веков — в какой-то мере еще живо в первых десятилетиях XIX века. Каждый жанр был установленной разумом формой художественного выражения той или иной жизненной сферы; элегия строила мир внутреннего человека, анакреонтика утверждала преходящие земные радости. Дружеское послание было проникнуто и элегическими, и анакреонтическими мотивами, которые сплетались в нем с вольнолюбивыми мечтами, с вольтерьянской скептической насмешкой. Сатира, эпиграмма служили просветительской борьбе с неразумным миром политической и литературной косности. Ода, вернее — лирика одического склада, определилась в качестве основного рода торжественной гражданской поэзии. Один и тот же поэт мог одновременно писать проникнутые разочарованием элегии и боевые политические стихи. Любовь и вольнолюбие — это разные сферы, их поэтическое выражение допускало разное отношение к жизни.

Возможно ли было при подобной системе стилистическое единство? Да, — ибо жанровая система одновременно предполагала и многостильность и единство неких общих эстетических предпосылок — таких, как рационалистическое отношение к слову, требование логических связей.

Русской литературе нужно было пройти через период стилистического упорядочения и очищения, выработки гибкого и точного языка, способного выразить все усложняющийся мир нового человека, и выразить его как мир прекрасный.

В цитированном уже предисловии к «Русской потаенной литературе XIX столетия» Огарев писал: «...в литературе сводятся: общие европейские понятия гражданской свободы, первые заявления народных нужд — и исключительное выработывание изящного языка и изящной формы в поэзии». [1]

Для «выработывания изящного языка» душевной жизни много

---

[1] Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. 1, с. 424.

сделали карамзинисты. Карамзинисты внесли в литературу 1810-х годов дух систематизации и организованности, нормы «хорошего вкуса», логическую ясность и дисциплину. Для решения этих задач им и понадобилась (разумеется, в смягченном виде) стройная стилистическая иерархия классицизма. При этом на практике они культивируют средний слог, самый гармонический, и в лирике — самый принципиальный из «средних» жанров, элегию. На какое-то время элегия и становится основным способом лирического раскрытия душевной жизни, носительницей новых стилистических тенденций.

Постепенно жанровая система ослабевает. И все же просветительский рационализм настолько еще господствует над умами, что инерция жанров давала о себе знать не только на рубеже XIX века, но еще и в 1810-х, даже в 1820-х годах. Борьба сторонников гражданской поэзии (литераторы декабристского круга) с поэзией узко лирической, «унылой» была борьбой политической, за которой стояла историческая судьба поколения, но и она практически приняла форму жанрового спора о преимуществах элегии или оды, точнее — стихотворения одического типа с возвышенной гражданской или национально-исторической темой и обязательным высоким слогом.

В 10—20-х годах XIX века, по сравнению с XVIII веком, жанровая система претерпела существенные изменения. Ломоносов разработал учение о трех стилях в их соотношении с несколькими строго определенными классическими жанрами (эпическая поэма, ода, элегия, сатира и т. п.). Теперь уже речь шла не о чистых, классических жанрах, но о том, что избранная тема обязательно приводила к определенному жанрово-стилистическому строю.[1] С началом XIX века поэтика жанров сменяется поэтикой *устойчивых стилей*. При всей устойчивости стили становятся теперь гораздо более дробными, дифференцированными, гибкими, чем в XVIII веке. Наряду с элегическим развиваются и другие стили интимной лирики — например романсный. В гражданской поэзии 1810—1820-х годов образуются особые декабристские стили — национально-исторический (Катенин в этом стиле использует элементы русского фольклора), библейский (с политическим, злободневным применением библейской тематики и фразеологии), восточный; Н. Гнедич разрабатывает русский «гомеровский» стиль, воспринимавшийся как народный, демократический.

Суть этой системы в том, что предрешенными в общих чертах оказывались основные элементы произведения: авторский образ, оцен-

---

[1] О стилях русской поэзии первых десятилетий XIX века см.: В. В. Виноградов, Стиль Пушкина, М., 1941; особенно главу 6 этой книги.

ка изображаемого, лексика, семантический строй. Слово здесь — своего рода эталон традиционного стиля. Оно входит в контекст отдельного стихотворения, уже получив свою экспрессивность и особую поэтичность в контексте устойчивого стиля. Оно несет с собой идеологическую атмосферу своего стиля, являясь проводником определенного строя представлений, переживаний, оценок.

Для подобного словоупотребления решающим является не данный, индивидуальный контекст, но за контекстом лежащий поэтический словарь, не метафорическое изменение, перенесение, скрещение значений, но стилистическая окраска. Поэтическое слово живет своей стилистической окраской; и при этом не так уж существенно, употреблено оно в прямом или в переносном значении. Подобная система могла возникнуть только на почве присущего поэтам 1810—1820-х годов повышенного стилистического чувства, строгих требований, предъявляемых к точности, к стилистической уместности каждого поэтического слова.

В 1820-х годах обостряется интерес к творческой индивидуальности; поэтому стили охотно определяют именами признанных поэтов. Причем их поэтические системы иногда переосмысляются соответственно новым целям. Державин становится патроном декабристской вольнолюбивой оды, Батюшков — «унылой» элегии; Жуковский дает средства для выражения новых, нередко чуждых ему романтических идей и переживаний.

В. А. Гофман, применительно к гражданской поэзии 1810—1820-х годов, предложил привившийся у нас термин *слова-сигналы.*[1] Сквозь декабристскую поэзию проходили слова: *вольность, закон, гражданин, тиран, самовластье, цепи, кинжал* и т. п., безошибочно вызывавшие в сознании читателя ряды вольнолюбивых, тираноборческих представлений. Истоки этого словоупотребления В. Гофман справедливо усматривает в политической фразеологии Великой французской революции; в литературном же плане он связал его с романтизмом. С последним трудно согласиться. Условные слова с прикрепленным к ним кругом значений возникли именно в системе устойчивого словаря поэтических формул, переходящих от поэта к поэту, как бы не являющихся достоянием личного творческого опыта. Принципы эти восходят к нормативному эстетическому мышлению, провозгласившему подражание и воспроизведение общеобязательных

---

[1] В. Гофман, Литературное дело Рылеева. — В кн.: К. Рылеев, Полное собрание стихотворений, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1934. Проблема политической фразеологии русской гражданской драматургии и поэзии 1810—1820-х годов широко разработана в книге Г. А. Гуковского «Пушкин и русские романтики» (М.—Л., 1965).

образцов законом всякого искусства, то есть восходят к традиции классицизма, которая легла в основу стиля Просвещения и даже стиля французской революции.

Слова-сигналы не были исключительной принадлежностью гражданской поэзии. Это вообще принцип устойчивых стилей, то есть стилей, предполагавших постоянную и неразрывную связь между темой (тоже постоянной) и поэтической фразеологией. Так, элегический стиль 1810—1820-х годов — это, конечно, не классицизм XVII или даже XVIII века; он гораздо сложнее, эмоциональнее, ассоциативнее. И все же в основе его лежит тот же рационалистический принцип. *Слезы, мечты, кипарисы, урны, младость, радость* — все это тоже своего рода стилистические сигналы. Они относительно однозначны (насколько может быть однозначным поэтическое слово), и они ведут за собой ряды предрешенных ассоциаций, определяемых в первую очередь не данным контекстом, но заданным поэту и читателю контекстом стиля. [1]

Элегическое направление с наибольшей последовательностью и совершенством выразило тенденции лирики начала века, раскрывавшей и утверждавшей душевную жизнь освобождающейся личности. Для гражданской, политической поэзии 1810—1820-х годов область высших достижений — это как раз не лирика. В декабристских кругах наиболее серьезное значение придавали драматургии («Горе от ума», «Аргивяне» Кюхельбекера) и опытам в эпическом и полуэпическом роде: баллады и эпические стихи Катенина, думы и поэмы Рылеева. В поэзии собственно лирической поэты этого направления были менее самостоятельны. Борясь с карамзинизмом, они обращались к одической стилизации, к архаистическим экспериментам и библейским аллюзиям. Пушкин 1830-х годов, зрелый Лермонтов, Некрасов указали впоследствии русской гражданской лирике совсем иные пути.

В годы общественного подъема, больших надежд и ожиданий русская поэзия в целом живет напряженной жизнью. Пушкин — властитель дум молодого поколения. Крупнейшие его предшественники — Жуковский, Денис Давыдов, Вяземский — действуют активно.

---

[1] Классификация устойчивых формул поэтического языка начала XIX века дана в статье Г. О. Винокура «Наследство XVIII века в стихотворном языке Пушкина» — в сб.: «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», М.—Л., 1941. См. также мою статью «Опыт философской лирики», в которой поставлен был вопрос о «поэтизмах» (устойчивых формулах) элегической поэзии 1810—1820-х годов («Поэтика», № 5, Л., 1929). В книге «О лирике» (Л., 1964) я противопоставляю традиционному словоупотреблению устойчивых стилей «нестилевое» поэтическое слово (с. 224—245 и др.).

Баратынский, Дельвиг, позднее Языков ищут свои пути, стремясь не раствориться в пушкинском гении.

Крупные поэтические индивидуальности окружены были плотной средой последователей, заполнявших стихотворные отделы журналов и альманахов. Среди них есть и поэты подлинного дарования, есть и мелкие подражатели Жуковского, Батюшкова, раннего Пушкина, Баратынского. Но в 1820-х годах необычайно высокая культура стиха позволяла даже мелким подражателям держаться на известном уровне.

В 1820-х годах на поэтическом поприще подвизается ряд деятелей, по своей литературной манере принадлежащих в сущности к предыдущим стадиям развития русской поэзии, непосредственно еще связанных с традицией XVIII века или с новой поэзией на ее раннем, арзамасском этапе.

Здесь прежде всего можно назвать бывшего арзамасца Д. Дашкова с его искусно выполненными переводами греческой эпиграммы. В то же время антологические интересы Дашкова, воспитанные культурой XVIII — начала XIX веков, как-то смыкаются с античными увлечениями Дельвига и его круга. Это относится и к антологическим стихотворениям и переводам А. Норова.

К добатюшковской, милоновской элегии тяготеет поэт-дилетант В. Козлов. Эпигонская жанровая поэзия представлена и такими поэтами, как В. Олин, как участники общества «Зеленая лампа» Родзянка или Яков Толстой, писавший дружеские послания в «арзамасском» духе. Особое место в ряду поэтов-дилетантов 1820-х годов занимает В. Филимонов, которому принесла известность его шуточная поэма «Дурацкий колпак» (1828). В ней устойчивые традиции нравоописательной сатиры XVIII века сочетаются уже с новыми влияниями, с явным воздействием «Евгения Онегина».

Существовала группа писателей, застрявших на позициях запоздалого сентиментализма, которая вела активную, нередко ожесточенную борьбу против приверженцев нового направления. Борьба эта отразилась в деятельности двух «вольных обществ» — Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и Вольного общества любителей российской словесности. История двух этих центров культурной жизни 1810—1820-х годов очень отчетливо отразила расстановку сил. [1]

Первое из этих обществ известно также под названием «измайловского» (по имени своего председателя А. Е. Измайлова) или «ми-

---

[1] См.: В. Базанов, Ученая республика (Вольное общество любителей российской словесности), М.—Л., 1964.

хайловского» (по месту собраний в Михайловском замке). В последнее десятилетие своего существования (1816—1826) это общество было оплотом группировавшихся вокруг Измайлова и его журнала «Благонамеренный» второстепенных и отсталых писателей. Но в то же время в конце 1810-х годов в «михайловское» общество были приняты Жуковский, Батюшков, Крылов, а также Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Кюхельбекер, Федор Глинка. Около 1820 года происходит размежевание. Михайловцы нового толка развивают теперь свою деятельность в Обществе любителей российской словесности (печатные его органы — «Сын отечества» и «Соревнователь просвещения и благотворения»).

Там же, впрочем, занимают свои позиции и «правые» члены обоих обществ — фольклорист князь Цертелев, автор идиллий В. Панаев, представитель выродившегося сентиментализма. К ним примыкают совсем уже мелкие эклектики вроде Бориса Федорова. Эту группу сначала поддерживал Орест Сомов (позднее он сблизился с декабристами, особенно с кругом «Полярной звезды»).

Шла борьба. Характерный ее эпизод связан с именем Василия Каразина, помощника председателя Общества. В марте 1820 года Каразин выступил в Обществе с речью, содержавшей резкие политические нападки на левое его крыло. За этим последовали секретные доносы Каразина на лучших поэтов Общества, направленные министру внутренних дел Кочубею. Доносы эти сыграли роль в деле о вольнолюбивых стихах Пушкина, закончившемся для него ссылкой на юг. Членами Общества состояли Рылеев, Александр Бестужев, Кюхельбекер. Возглавлявший Общество Федор Глинка рассматривал его как одну из периферийных декабристских организаций, как поле пропаганды вольнолюбивых идей. Борьба «левых» и «правых» в Обществе любителей российской словесности одновременно была и политической и литературной.

Тынянов в свое время раскрыл значение для писателей декабристского круга традиций «высокого стиля», их связи со «славянщиной» шишковской «Беседы». Однако у младоархаистов изменилась функция элементов возвышенного слога, они приобрели гражданственное, вольнолюбивое звучание. [1]

Творчество поэтов-декабристов не было стилистически однородным. Одический слог, библейские иносказания политической темы, фольклорное и «простонародное» начало — все это разрабатывалось Глинкой, Катениным, Грибоедовым, к этой архаизирующей линии

---

[1] См. статью «Архаисты и Пушкин». — В кн.: Ю. Н. Тынянов, Пушкин и его современники, М., 1968.

позднее примыкает Кюхельбекер. Но Рылеев, Бестужев, чтя Державина, проповедуя героическую гражданскую литературу, оставались в то же время учениками новой поэтической школы.

В еще большей мере это относится к ряду поэтов декабристской периферии, у которых вольнолюбивые мотивы, тираноборческий пафос совмещались с навыками элегического направления. Характерно поэтому заявление, которое сделал Измайлов на страницах своего журнала. В заметке «От издателя» он писал, что цензуре — «заметим мимоходом для пылких наших молодых писателей, строжайше запрещено пропускать сочинения, не имеющие нравственной и полезной цели; особенно содержащие в себе сладострастные картины или так называемые *либеральные*, то есть возмутительные мысли, и между прочим вменено в обязанность не одобрять к напечатанию и таких пиэс, в коих много ошибок против *чистоты языка* и *здравого смысла*». [1]

«Пылкие молодые писатели» — это в первую очередь Пушкин, Дельвиг, Баратынский. Тройственный союз поэтов (Баратынский, Дельвиг, Кюхельбекер) был воспет в стихотворении Кюхельбекера «Поэты», прочитанном на заседании Вольного общества в марте 1820 года. Стихотворению этому сугубое внимание уделил Каразин в своих доносах. Это же стихотворение, наряду с дружескими посланиями молодых поэтов, становится предметом литературных пародий (см., например, в настоящей книге «Сатиру на современных поэтов» О. Сомова) и стихотворных памфлетов, вроде памфлета Бориса Федорова «Союз поэтов»:

Один напишет: *мой Гораций*!
Другой в ответ: *любимец граций*!
И третий друг,
Возвысив дух,
Кричит: *вы, вы, любимцы граций*!
А те ему: *о наш Гораций*!

В стихотворении «Сознание» Федоров ведет с «союзом поэтов» стилистическую полемику:

Не постигал, невежда, я,
Как можно, дав уму свободу,
Любви порхать по огороду,
Пить слезы в чаше бытия!

---

[1] «Благонамеренный», 1823, № 7, с. 75—76.

Как *конь взвивался над могилой,*
Как *веет матери крыло*
Знакомое, как бури силой
Толпу святую унесло!

Очей, увлаженных желаньем, —
Певца гетер — *у люльки Рок* —
Уста, кипящие лобзаньем, —
Я — как шарад — понять не мог.

Прототипы всех подобных поэтических формул можно найти в элегиях, балладах, романсах, дружеских посланиях молодых корифеев поэзии 1820-х годов (см. примечания В. Э. Вацуро в настоящем издании, с. 718).

В упрощенном, вульгаризованном виде здесь отразились существенные процессы литературной жизни эпохи. Речь идет о борьбе против нового, постепенно утверждавшегося строения поэтического образа. В отзыве 1830 года на поэму Ф. Глинки «Карелия» Пушкин писал о «гармонической точности» — отличительной черте школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Школа «гармонической точности» — самое верное из возможных определений русской элегической школы. Здесь точность — еще не та предметная точность, величайшим мастером которой стал Пушкин в своей зрелой поэзии; это точность лексическая, требование абсолютной стилистической уместности каждого слова.

Говоря о школе, основанной Жуковским и Батюшковым, Пушкин кроме этих двух поэтов, очевидно, имел в виду Вяземского, Баратынского, Дельвига, себя самого в ранний период своего творчества. Ни один из этих поэтов, разумеется, целиком не укладывается в «гармонические» нормы. Не укладывается в них прежде всего и сам Жуковский, поэт сложный и многопланный. Речь здесь идет не о поэтических индивидуальностях в целом. Речь идет об установках, о тенденциях, от которых практика могла так или иначе отклоняться.

Пушкин любил пробовать себя в схватке с ограничениями. Для него стеснительная традиция — это вроде мрамора и гранита, которые надо одолеть, созидая. «Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка? — утверждал Пушкин. — Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы» («Письмо к издателю „Московского вестника"», 1827). Отвергая эффекты, Пушкин искал эффект использования ограничений и рождавшуюся в этой победе иллюзорную легкость. У эпигонов легкость стала подлинной.

Стиль русской элегической школы — характернейший образец устойчивого, замкнутого стиля, непроницаемого для сырого, эстетически не обработанного бытового слова. Все элементы этой до совершенства разработанной системы подчинены одной цели — они должны выразить прекрасный мир тонко чувствующей души. Перед читателем непрерывной чередой проходят словесные эталоны внутренних ценностей этого человека.

Элегическая поэтика — *поэтика узнавания.* И традиционность, принципиальная повторяемость являются одним из сильнейших ее поэтических средств. Но дальше повторений не идут лишь бездарности и эпигоны. Гармоническая точность позволяла поэту творить новое — варьированием, тонкими смысловыми сдвигами.

Для поэтики рационалистического склада традиционность, привычность поэтического образа не менее важна, чем то или иное его строение (перифраза, метонимия, метафора). Даже чистый классицизм не отвергал в теории уместность метафорического изменения значений и широко пользовался традиционной метафорой на практике, но он подчинял ее нормам, приглушавшим метафору, делавшим ее стертой.

Рационалистическая поэтика начала XIX века также предъявила к метафоре свои требования; признаки, связывающие первичное значение с переносным, должны были быть по возможности близкими, а также основными для обычного употребления данных слов. Это обеспечивало поэтическую логику. В то же время ясная логическая связь должна была существовать и между реалиями первичного, прямого значения. Критическая мысль эпохи строго осуждала неточность в реалиях, притом требуя, чтобы в метафоре первичное, предметное значение поглощалось переносным. Всячески преследовалось оживление первичных представлений, то есть реализация метафоры.

Вяземский, несмотря на свою склонность к нарушению карамзинистских норм, сохранил до конца некоторые пуристические навыки. Вот, например, его позднейшая запись о Ломоносове:

«Ломоносов сказал: «Заря багряною рукою!»

Это хорошо; только напоминает прачку, которая в декабре месяце моет белье в реке». [1]

Багряная рука (в отличие от *розовоперстой зари)* — словосочетание непривычное; в нем недостаточно затемнен первичный смысл, что привело к реализации метафоры, — с рационалистической точки зрения всегда комической и абсурдной.

Логические разборы постоянно встречаются в переписке арза-

---

[1] П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. 10, СПб., 1886, с. 187.

масцев. В дискуссии по поводу «Руслана и Людмилы» и противники и защитники поэмы равно пользовались мерилом логики, точности, хорошего вкуса. Спор шел не о самих принципах, но о границах их применения, о возможности совмещения этих принципов с новыми поэтическими открытиями.

Нормы логической критики близки эстетическому сознанию Пушкина, но он возражал против недобросовестного или невежественного ее применения. Еще в 1828 году Пушкин, отвечая на журнальные отзывы об «Евгении Онегине», вынужден был оспаривать устарелый и мелочный рационализм: «„Младой и свежий поцелуй“ вместо поцелуй молодых и свежих уст, — очень простая метафора... Если наши чопорные критики сомневаются, можно ли дозволить нам употребление риторических фигуров и тропов... Что же они скажут о поэтической дерзости Кальдерона, Шекспира или нашего Державина».

Измайлов, В. Панаев и литераторы их окружения вели такого рода «чопорный» спор с последователями новой поэтической школы. Сквозь несогласия с «дерзостью» поэтического словоупотребления просвечивал страх перед гражданской позицией вольнолюбивой молодежи.

2

Александр Шишков, Василий Григорьев, Василий Туманский, Виктор Тепляков — все эти поэты разделяли вольнолюбивые настроения, охватившие с конца 1810-х годов образованную дворянскую молодежь. Более того, все они были так или иначе связаны с декабристскими кругами. Декабристские связи привели А. Шишкова и В. Теплякова в Петропавловскую крепость. Из мемуаров В. Григорьева известно, что он часто бывал в квартире Рылеева в период, когда эта квартира являлась штабом подготавливавшегося восстания. Тесные дружеские отношения связывали В. Туманского с Кюхельбекером, Рылеевым, А. Бестужевым. О том, насколько откровенны были с Туманским декабристы, свидетельствует хотя бы письмо Бестужева, посланное Туманскому в 1825 году в Одессу с ехавшим туда Адамом Мицкевичем: «Ты сумасшедший: выдумал писать такие глупости, что у нас дыбом волосы стают. Где ты живешь? — спрашивает Бестужев. — Вспомни, в каком месте и веке? У нас что день, то вывозят с фельдъегерями кое-кого...» [1]

Понятно, что для творчества всех этих поэтов характерны декабристские литературные установки, особенно существенны они для А. Шишкова и В. Григорьева.

[1] «Киевская старина», 1899, № 3, с. 299.

Александр Ардальонович Шишков был племянником и воспитанником известного Александра Семеновича Шишкова, адмирала и вождя Беседы любителей русского слова, общества литературных староверов. Племянник Шишкова сочувствовал, однако, не столпам шишковской «Беседы», но их молодым противникам. В 1816—1817 годах, уже офицером гренадерского полка, он подружился с лицеистами Пушкиным и Кюхельбекером. К этому времени относится послание Пушкина к Шишкову. Юный Пушкин приветствует своего сверстника как поэта той же, арзамасской, традиции. Ранние стихи Шишкова до нас не дошли. Но, судя по посланию Пушкина, это была анакреонтическая лирика батюшковской школы.

Однако соотношение традиций в русской поэзии 1810—1820-х годов было сложным и переменным. Молодой Шишков мог глумиться над дядюшкиной «Беседой» (об этом рассказывает С. Т. Аксаков в своем «Воспоминании об Александре Семеновиче Шишкове»), но не мог для него пройти бесследно с детства сопутствовавший ему культ Ломоносова и Державина, пристальный интерес к наследию XVIII века. От юношеской анакреонтики Шишков переходит к гражданским темам; он меняет предмет, и — в духе времени — сразу меняется его стиль. Вольнолюбивая тема облекается высоким слогом, композиционными и синтаксическими формами, восходящими к XVIII веку. Мы находим здесь и сатиры, написанные классическим шестистопным ямбом (александрийским стихом), — «К Метеллию», «К Эмилию», — которые ассоциировались и с античностью, и с сатирами Буало и Вольтера, и с русским XVIII веком, и, непосредственно, с метившей в Аракчеева сатирой Рылеева «К временщику» (1820):

Метеллий! доживу ль минуты толь счастливой?
Иль кончу скорбный век среди *римля́н рабов*?
Нет, нет! настанет день. Свободный от оков,
Как аравийский конь, при звуках близкой брани,
Воспрянет римлянин, мечом в кровавой длани
Омоет свой позор и стыд своих отцов!

Перед нами характерные черты декабристского стиля: высокий слог, одическая интонация, слова-сигналы (*рабы, свобода, оковы, брань* и т. д.), «античный маскарад», начало которому положили деятели французской революции.[1] Античный грим настолько прозрачен,

[1] В «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» Маркс говорит о том, что французская революция XVIII века осуществлялась «в римском костюме и с римскими фразами на устах» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 8, М.—Л., 1957, с. 120).

что сквозь него с полной ясностью проступают черты аракчеевщины. Зато невозможно точно установить, о каких событиях римской истории идет речь в стихотворении «К Метеллию», какие именно Муции или Флакки в нем упоминаются. Но слова *Рим, Тибр, диктатор, патриций* безошибочно вызывали образ республиканской доблести у читателей, воспитанных на чтении героических жизнеописаний Плутарха.

В послании «Н. Т. А⟨ксаков⟩у» отражено пребывание автора в Грузии, и соответственно античный стиль сменяется восточным:

Я дев прелестных видел там:
Их бег был легкий бег джейрана;
Как пар весеннего тумана,
Спускалась дымка по грудям
С лица до стройного их стана,
Они пышней гиланских роз,
Приятней сладкого шербета!
Не так любезен в полдень лета
Для нимф прохладный ток Гаета,
И страстных гурий нежный взор,
Всегда приветный, вечно юный,
Небесных пери звучный хор
И Сади ропщущие струны.

Здесь — чрезвычайная густота восточного колорита (*джейран, шербет, гурии, пери, Сади* и проч.). Условно-восточные слова-сигналы — в отличие от античной лексики, насыщенной исторически-революционными, политическими ассоциациями, — казалось бы, далеки от политических применений. Но в обстановке 1820-х годов это было иначе; в особенности когда восточная тема определялась как тема кавказская. Для военной молодежи, из среды которой вышли почти все декабристы, Кавказ был сферой военных подвигов и государственных интересов России, и в то же время романтическим краем, где человек освобождался от бюрократических уз и аракчеевской муштры. В поэзии 1820-х годов восточному стилю часто присуща вольнолюбивая окраска.

У Шишкова есть ряд дружеских посланий (Щербинскому, Ротчеву, Ф. Глинке, Х.....у), в которых отсутствует античная или архаически-одическая окраска, но присутствуют те же опорные слова — носители политических значений:

Дай руку мне, товарищ мой!
Пойдем, пойдем навстречу рока!

Поставим твердою душой
Против завистника порока
Дела, блестящие собой.
И верь мне, зависть оробеет
Пред добродетелью прямой...

(«Щербинскому»)

Дела, блестящие собой, — это деятельность гражданская, патриотическая. Добродетель здесь надо понимать не в обычном общеморальном значении, но в том особом смысле, в каком трактовали добродетель программы и уставы декабристских тайных обществ. Шишков примыкает к традиции вольнолюбивого дружеского послания, представленной такими произведениями, как пушкинское послание «К Чаадаеву», как стихотворение «К друзьям в Кишинев» декабриста Владимира Раевского.

Русские гражданские поэты начала XIX века широко черпали из источника одической поэзии. Но, понятно, они не могли пройти мимо тех новых интересов, которые проникают в русскую культуру уже с конца XVIII века; прежде всего — мимо интереса к чувству, к жизни сердца и воображения. В «Думах» Рылеева героический гражданский пафос сочетался с пафосом национальной самобытности и с попытками изобразить чувства, душевные состояния действующих лиц. Каждое из этих начал выражается в определенных повторяющихся и варьирующихся поэтических формулах. В думе Рылеева «Ольга при могиле Игоря» (опубликована в 1822 году) есть строфы, сотканные из формул поэзии чувства, фразеологией своей напоминающие Жуковского:

И долго мудрая в тиши
  Стояла пред могилой,
С волненьем горестной души
  И с думою унылой.
О прошлом, плавая в мечтах,
  Она, томясь, вздыхала;
Но огнь блеснул в ее очах,
  И мудрая вещала...

Последние два стиха переключают строфу в героический план. Но существенно, что и все предыдущее — *волненье горестной души, дума унылая, мечты, вздохи, томленье* — отнесено к событиям общего, гражданского значения (гибели князя Игоря). Это попытка языком, предназначенным для интимных переживаний, выразить пере-

живания, связанные с гражданским бытием человека. То же в стихотворении Шишкова «Бард на поле битвы». «Печальный бард», «с мечом зазубренным и лирой боевою», сидит среди трупов друзей (это — погибшие декабристы):

И он поет им песнь прощанья,
И тихий глас его уныл...

Типические виды лирики 1820-х годов находим и у Василия Григорьева, с той разницей, что поэтические формы Григорьева архаичнее, — это поэт, зачарованный Державиным, развивавшийся под его мощным воздействием, с некоторыми уступками более современному стилю Жуковского. В своей вольнолюбивой лирике Григорьев приближается то к Ф. Глинке, то к Рылееву.

«Падение Вавилона», «Чувства плененного певца», «Сетование» — типичные, в духе Глинки, декабристские применения библейских образов к современным темам тираноборчества, народного гнева, борьбы за свободу. У Григорьева представлены характернейшие декабристские темы. У него есть стихотворение «Тоска Оссиана», в котором Оссиан трактуется в духе национально-героическом и свободолюбивом. Стихотворения, посвященные событиям русской древности — «Берега Волхова», «Нашествие Мамая (Песнь Баяна)», — примыкают к национально-исторической линии русской поэзии 1820-х годов. Многими чертами они близки к рылеевским думам, как и произведения Шишкова, о которых только что шла речь.

Греция, борющаяся за свою независимость, — одна из распространенных тем в русской вольнолюбивой поэзии 1820-х годов. В стихотворении Григорьева «Гречанка» центральный образ — это образ политического значения. Он строится из общих элементов героического стиля, лишенных национальной специфики:

Зачем в руке твоей кинжал,
Дочь вдохновенного Востока?
Младые перси панцирь сжал
И кудри девы черноокой
Шелом безжалостно измял?

Иначе звучит более позднее стихотворение Григорьева «Грузинка»:

Смотрите, вот она в кругу подруг,
Под звуки бубн лезгинку пляшет с ними;
И стар и млад, толпой теснясь вокруг,
В ладоши бьют с припевами живыми.

При всей лиричности стихотворения «Грузинка», в него проникли конкретно-этнографические признаки и завладели течением поэтических ассоциаций.

Отношение русских людей 20-х годов к теме Кавказа было двойственным: мир романтических страстей и условно-восточного колорита и мир практических военно-государственных интересов и подлинной национальной специфики. Эту двойственность Пушкин осознал уже в пору создания «Кавказского пленника». В письме 1822 года к своему лицейскому товарищу Горчакову Пушкин, осудив романтический характер пленника, отметил: «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести».

Пушкин одновременно проложил путь и условно-романтической трактовке темы Востока, и поискам этнографического материала. В зависимости от предмета, Григорьев пользуется тем или иным из существующих в поэтическом обиходе стилей — подход, характерный для эстетического сознания 1810—1820-х годов. «Гречанка» — образец декабристской гражданской поэзии; «Грузинка» — произведение лирически-описательное. Не в духе старой, условно и абстрактно описательной поэмы, но в духе новой, конкретной и бытовой описательности; ее открыл Пушкин в своих южных поэмах, и оттуда она проникла не только в бесчисленные подражания «Кавказскому пленнику», но и в лирику пушкинских современников.

Типичный поэт первой половины 1820-х годов, Григорьев пользуется разными стилями, в каждом из них следуя за прославленными образцами. В то же время подлинное усвоение органически ему близкой державинской традиции придает своеобразие стихам Григорьева, порой подсказывает ему поэтические образы внезапные и смелые:

Холодный вихрь крутит снегами;
И степь, как жертва непогод,
Своими тощими боками
Поддерживает неба свод,
Блестящий яркими звездами.
Мороз невидимо трещит,
И полумесяц раскаленный
На пламенном столбе стоит,
Светя над миром утомленным...

(«Зимняя ночь в степи»)

В стихотворении «Замерзший виноград» (написано раньше пушкинского «Винограда») последняя строфа («Ах, как и ты, умрет младой певец!..») сразу переносит читателя в поэтический мир Жуков-

ского. Но три предыдущие строфы в сентиментально-элегический стиль вовсе не укладываются. В них несколько архаичная простота и своеобразное сочетание привычной поэтической символики с вещественными подробностями, которые в свою очередь втягиваются в символический контекст:

Жизнь пылкая угаснула в стеблях,
Свернулся лист, безвременно иссохший;
Взойдет заря — и пропадет твой прах,
Как след людской среди пустынь заглохших.

И у А. Шишкова, и у Григорьева сильна державинская закваска. Василий Туманский — характерный представитель другой, элегической линии поэзии 1820-х годов. В «Обозрении русской словесности за 1829 год» Иван Киреевский писал: «Влияние итальянское, или, лучше сказать, батюшковское, заметно у немногих из наших стихотворцев. *Туманский* отличается между ними нежностью чувства и музыкальностью стихов». [1]

Туманский — почти ровесник Пушкина. Но своим первоначальным воспитанием (сначала домашним, потом в учебном заведении, устроенном на немецкий лад) он был оторван от актуальных явлений текущей литературы, к которой широко приобщались лицеисты. И вплоть до 1820-х годов Туманский не выходит за пределы наивных подражаний карамзинистским образцам.

В годы, которые были для Пушкина и многих его сверстников годами напряженных исканий и размышлений, Туманский все еще осмысляет и строит свою душевную жизнь по канонам сентиментализма. «Прожив несколько времени вместе, успев почувствовать в это короткое время всю сладость чистой и чистосердечной дружбы и все наслаждения дружеских излияний, — пишет в 1822 году Туманский своей двоюродной сестре, в которую он был влюблен, — мы узнали собственным опытом, что счастие добрых душ в искренности, что нужен поверенный для нашего счастия. Мы узнали, что первое условие всякого союза есть совершенное доверие с обеих сторон, совершенная зависимость друг от друга, и потому сохраним и между собой эти прекрасные правила дружества. Я уверен, что наши письма, как откровенные записки двух просвещенных особ, будут заключать полную летопись наших чувств, наших страстей, и горя, и ве-

---

[1] И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений, т. 2, М., 1911, с. 32.

селья. . .»[1] Здесь характерное — особенно для немецких сентименталистов — сочетание дидактики и педантизма с чувствительностью. Позиция Туманского свидетельствует о том, что в начале 1820-х годов декабристская атмосфера неодолимо захватывала даже людей, к политическому действию не подготовленных. Декабристские сочувствия Туманского не были глубокими и органическими. Это сразу сказалось после катастрофы 14 декабря. Характерны письма Туманского из Москвы, где он находился в августе 1826 года в дни коронации Николая I. В письме от 10 августа Туманский сообщает двоюродной сестре: «Посылаю тебе письмо Рылеева, накануне казни писанное жене: оно здесь ходит по рукам и читается с жадностью. Я видел множество дам, обливавшихся слезами при чтении сего трогательного послания».[2] В письме от 14 августа: «Пошлю тебе по будущей почте письмо Пестеля к родным пред смертью — теперь не успеваю списать».[3] А через десять дней Туманский подробно описывает коронацию: «Государь весьма грациозно и пристойно кланялся на все стороны и казался сильно тронутым предстоящей церемониею. Императрица очень мило была причесана и одета... Окончательная сцена превзошла все прочие и привела всех зрителей в восторг... Государь был весьма величав и блистателен в короне».[4]

Туманский, списывающий предсмертные письма Рылеева и Пестеля, несомненно, полон сочувствия, сострадания к погибшим, но в то же время он уже обезволен торжествующей властью, — двойственность, характерная для людей декабристской периферии, к которой принадлежала почти вся образованная столичная дворянская молодежь.

Туманский отдал дань гражданской поэзии в тот период, когда он принимал непосредственное участие в деятельности Вольного общества любителей российской словесности. Политических стихов у Туманского немного; все они посвящены традиционным для декабристской поэзии темам: национально-освободительной борьбе греческого народа («Греческая ода», «Греция»), Байрону как глашатаю свободы, Державину как поэту-гражданину.

При этом по своей стилистической ориентации Туманский остается элегиком, чуждым архаизирующим тенденциям и всяческой «славянщине». Характерно письмо, с которым Туманский обратился в декабре 1823 года из Одессы к своему другу Кюхельбекеру, узнав,

---

[1] В. И. Туманский, Стихотворения и письма, СПб., 1912, с. 232.
[2] Там же, с. 292.
[3] Там же, с. 293.
[4] Там же, с. 295.

что Кюхельбекер, под влиянием Грибоедова и в поисках образцов высокого слога, увлекается архаическими русскими поэтами, в том числе «беседчиком» Шихматовым. «Какой злой дух, в виде Грибоедова, — пишет Туманский, — удаляет тебя в одно время и от наслаждений истинной поэзии, и от первоначальных друзей твоих! .. Умоляю тебя, мой благородный друг, отстать от литературных мнений, которые погубят твой талант и разрушат наши надежды на твои произведения. Читай Байрона, Гете, Мура и Шиллера, читай кого хочешь, только не Шихматова!» [1]

Рылеев и Бестужев также считали, что идеал возвышенного поэта — не обязательно бард, одический песнопевец. Так, рядом с Державиным появляется — сочетание неожиданное, но внутренне закономерное — Байрон. В рылеевско-бестужевском кругу Байрон был предметом горячего увлечения; тогда как для Катенина, с его архаистическими вкусами, Байрон и особенно русский байронизм — неприемлемы. Это направление представлялось ему недостаточно героическим.

Самое яркое и интересное из гражданских стихотворений Туманского связано с Байроном. В 1823 году в Вольном обществе произошло столкновение между декабристской его группой и активным представителем правого крыла Общества, Н. А. Цертелевым. Разногласия начались с трактовки Державина и переросли постепенно в спор о самых основах и путях современного искусства. Туманский выступает с программным посланием «К кн. Н. А. Цертелеву». В первых строках послания осмеивается бездумная поэзия эпигонов классицизма, смешанного с сентиментализмом. Далее обрисован идеал высокой поэзии, и воплощением ее оказывается Байрон.

После 1825 года из поэзии Туманского исчезают гражданские мотивы. Но в его элегический мир начинает проникать тот романтический идеализм, который завоевывает позиции в последекабристской России, до некоторой степени захватывая теперь и поэтов, сложившихся еще в начале 20-х годов. Туманский своим воспитанием в немецкой школе в какой-то мере был подготовлен к восприятию веяний немецкого романтизма конца XVIII — начала XIX веков. По окончании училища св. Петра Туманский в течение двух с лишним лет

---

[1] В. И. Туманский, Стихотворения и письма, с. 252—253. На первой странице письма имеется приписка Пушкина, с которым Туманский общался в Одессе. Анализируя текст письма Туманского к Кюхельбекеру, Ю. Н. Тынянов доказал, что письмо это отразило точку зрения Пушкина (см.: «Пушкин и Кюхельбекер». — В кн. Ю. Н. Тынянов, Пушкин и его современники, М., 1968, с. 266—272).

состоял в Париже вольнослушателем Collège de France, где, между прочим, посещал лекции Виктора Кузена, пропагандировавшего во Франции немецкую идеалистическую философию.

Порывы в «бесконечное» и «абсолютное», понимание искусства как высшей духовной деятельности человека, основанной на мистической интуиции, — все эти романтические мотивы проникают в поэзию Туманского («В память Веневитинова», «Идеал»). Недостаточно самостоятельный, чтобы найти для них новый язык, Туманский обращается к Жуковскому с его поэтикой «нездешнего», смутных влечений и ожиданий:

Когда, блуждая без участья
Среди мирского торжества,
Мы ждем от неба тайны счастья,
Ждем откровенья божества,
Порою, в светлое мгновенье,
Как тень проходит мимо нас
Неизъяснимое виденье —
Краса, живая лишь на час,
Мелькнет и скроется из глаз...

(«Идеал»)

Многие романтические опыты 1820-х, даже 1830-х годов осуществлялись стилистическими средствами Жуковского. И в этих случаях его мощная поэтическая индивидуальность подавляла, стирала попытки выразить новое, присущее позднейшим поколениям понимание вещей.

В путевых кавказских очерках Александр Шишков подчеркивает борьбу двух начал в сознании молодых людей своего круга — начала просветительски-классического с романтическим. Он, между прочим, рассказывает о том, как один из его друзей поведал ему о своем разочаровании в «идеальной любви». «С тех пор мы простились с платоническою любовию, разрушили все волшебные замки, и Вертер полетел за окошко. С тех пор снова подружились мы с Горацием, с Боало охуждали пороки, с Парни нежились, с Гомером взносились на вершину Иды». [1]

Однако отброшенный Вертер (роман Гете «Страдания молодого Вертера») — то есть традиция немецкого предромантизма и романтизма — снова проникает в творчество Шишкова. В последний период

---

[1] Сочинения и переводы капитана А. А. Шишкова, ч. 1, СПб., 1834, с. 116—117.

своей жизни Шишков систематически переводит немецких романтиков. Четвертая часть посмертного издания «Сочинений и переводов капитана А. А. Шишкова» состоит из переводов романтических повестей Тика. Стихотворная «фантазия» Шишкова «Эльфа» представляет собой вариацию на тему переведенной им повести Тика «Эльфы».

У Туманского элегические, у А. Шишкова одические традиции начала 1820-х годов совместились с элементами немецкого романтизма, — Виктор Тепляков совмещает элегическую традицию с новыми, байроническими веяниями. Истоки «Фракийских элегий», составляющих первый раздел сборника Теплякова, ясны. Это «Погасло дневное светило...» и «К Овидию» Пушкина, это монументальные элегии Батюшкова с их условно-античной лексикой и сочетанием торжественной интонации не с одическим слогом, но со сладостным языком гармонии.

Все это бросалось в глаза, но Пушкин в своем отмеченном подлинной заинтересованностью отзыве на «Стихотворения» Теплякова (1836) связывает его не с Батюшковым, а с Байроном (подчеркивая при этом «самобытный талант» Теплякова): «В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона. Нет сомнения, что фантастическая тень Чильд-Гарольда сопровождала г. Теплякова на корабле, принесшем его к Фракийским берегам».

Байроновского Чайльд-Гарольда, странствующего по Востоку, Тепляков и сам упоминает и в тексте, и в примечаниях к «Фракийским элегиям». Через весь этот цикл, придавая ему определенное сюжетное развитие, проходит единый авторский образ — образ романтического скитальца. Во второй из «Фракийских элегий» судьба изгнанника Овидия сплетается с судьбой лирического героя. Тень Овидия поет:

Не говори, о чем над урною моей
  Стенаешь ты, скиталец одинокой:
Луч славы не горит над головой твоей,
  Но мы равны судьбиною жестокой!..
. . . .
Подобно мне, ты сир и одинок меж всех
  И знаешь сам хлад жизни без отрады,
Огнь сердца без тепла, и без веселья смех,
  И плач без слез, и слезы без услады!

Байронизм Теплякова — это уже байронизм последекабристский, лишенный прямого политического содержания и пафоса вечной непримиримости. Тема бездомности имела для Теплякова и обществен-

ный, и личный смысл. Знавшие Теплякова вспоминали о нем как об одиноком чудаке, прожившем беспокойную, скитальческую жизнь. Условно-литературный образ странника «Фракийских элегий» был оживлен биографическими реминисценциями.

Еще в большей мере это относится к элегии «Одиночество», которую Пушкин высоко оценил и полностью привел в своей рецензии. Авторский образ «Одиночества» — на полпути между «унылым» героем, принадлежащим элегическому жанру, и новой романтической индивидуальностью. А предложенный поэтом выход из одиночества — это выход в духе того философского романтизма, который получает распространение в последекабристской России:

Пусть, упоенная надеждой неземной,
С душой всемирною моя соединится...

«Стихотворениям» Теплякова предпослано датированное 1836 годом авторское предисловие; оно представляет собой декларацию романтизма. «Если посреди созерцаний лучшего, идеального мира, той невыразимой гармонии существ, которую, ощутив однажды, мы никогда позабыть не можем; если, вслед за огнекрылым гимном творцу и природе, вся горечь волнующегося над бездной существования пробегает иногда порывами бурного ветра по сердечным струнам автора и невольно клонит на грудь его горящую голову, — то... он уповает, что ваш укор не будет для него новым тернием».

Промежуточность общественного сознания конца 1820—1830-х годов породила своеобразный сплав поэзии Теплякова, в которой Батюшков непосредственно сочетается с Байроном. Человек декабристской поры, Тепляков воспринимает веяния последекабристского романтизма, притом в обоих его основных течениях. В поэзии Теплякова то возникают шеллингианские устремления к слиянию со «всемирной душой», то мелькают демонические образы, порожденные протестующим романтизмом.

Начиная с Мильтона (поэма «Потерянный рай») — глашатая идей английской революции XVII века, — образ восставшего и падшего ангела становится символом протеста (Люцифер Байрона) и бесстрашно анализирующего разума (Мефистофель Гете). В России Пушкин положил начало этой проблематике стихотворением 1823 года «Демон». У Лермонтова замысел его «Демона» возник еще в 1829 году, и работа над ним не прекращалась до самой смерти поэта. Лермонтовский «Демон» — наиболее полное выражение русского революционного романтизма последекабристской поры. В Демоне воплотилось сознание мятежное, но утратившее свою политическую

целеустремленность, обреченное на индивидуальный, «демонический» протест против торжествующего порядка вещей. Между «Демоном» Пушкина и «Демоном» Лермонтова существовали промежуточные звенья. Самое сильное из них — революционный романтизм Полежаева.

Полежаев не был единственным. Тепляков — один из тех поэтов, в чьем творчестве нашла себе место демоническая тема («Любовь и ненависть», «Два ангела»). Образ демона в стихотворении «Два ангела» (1833) какими-то чертами предсказывает лермонтовский (ранние редакции лермонтовского «Демона», несомненно, не были известны Теплякову):

Отпадших звезд крамольный царь,
То ядовитой он душою
В самом себе клянет всю тварь,
То рай утраченный порою,
Бессмертной мучимый тоскою,
Как лебедь на лазури вод,
Как арфа чудная, поет...
На все миры тогда струится
Его бездонная печаль;
Тогда чего-то сердцу жаль;
Невольных слез ручей катится;
Не гнева ль вечного фиал
В то время жжет воображенье
И двух враждующих начал
Душе не снится ль примиренье?

Судьба Полежаева была современникам хорошо известна. За этим демоном стоял поэт в солдатскоой шинели. Это обеспечило стихам Полежаева и политическую значительность, и особую силу эмоционального воздействия. В то же время прямое биографическое содержание суживало смысл полежаевского протеста. В предисловии к «Русской потаенной литературе XIX столетия» Огарев писал: «Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву свободы с самодержавием; он юношей остался в живых после проигранного сражения, но неизлечимо ранен и наскоро доживает свой век. Интерес сузился, общественный интерес переходит в личный... Дорого личное страдание в безысходной тюрьме и чувство близкого конца или казни».[1]

---

[1] Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. 1, с. 447.

Демонической теме Теплякова не хватало ощутимой полежаевской связи с действительностью, но в ней есть обобщенность, философское ее оправдание. В этом смысле Тепляков ближе к Лермонтову, чем Полежаев.

В русской литературе существовал, однако, и другой вариант демонической темы — религиозно-примирительный. Он связан с той трактовкой поэзии Байрона, которая характерна для Жуковского, а вслед за ним для И. Козлова. В 1833 году Жуковский писал Козлову о Байроне: «Многие страницы его вечны. Но... в нем есть что-то ужасающее, стесняющее душу. Он не принадлежит к поэтам — утешителям жизни».[1] Переводя Байрона («Шильонский узник» Жуковского), используя его мотивы («Чернец» Козлова), оба поэта сознательно снимают байроновскую проблематику неразрешимых противоречий индивидуалистического сознания, байроновский протест, особенно политический протест. Жуковского привлекает не гордый и могучий Люцифер Байрона, бросающий вызов богу, но кающийся падший ангел, Аббадона из «Мессиады» — религиозной поэмы Клопштока. Отрывок из нее Жуковский переводит еще в 1814 году. В 1821 году — уже после знакомства с поэзией Байрона — Жуковский, под заглавием «Пери и ангел», перевел вторую часть поэмы английского романтика Томаса Мура «Лалла Рук» («Рай и Пери»), в которой изгнанная из рая и раскаявшаяся Пери проходит через всевозможные искусы, чтобы заслужить прощение.

Следуя за Муром и Жуковским, молодой поэт Андрей Подолинский написал поэму «Див и Пери». Поэма появилась в 1827 году, имела шумный успех и сразу принесла начинающему автору известность. Поэма Подолинского отличается гладким, легким стихом, романтической восточной экзотикой и вполне благонамеренной идеологией. «Демон» Лермонтова, по причинам цензурным, не только не увидел света при жизни автора, но впервые полностью был напечатан в России только в 1860 году. Зато цензура отнюдь не возражала против обнародования поэмы Подолинского, в которой изгнанная из рая Пери внушает падшему ангелу Диву:

Див, надейся и молись!
Грех искупишь ты моленьем...

Подолинский с легкостью смешивает различные, нередко взаимоисключающие поэтические традиции. У него можно встретить клас-

---

[1] В. А. Жуковский, Собрание сочинений, т. 4, М.—Л., 1960, с. 600.

сическую элегию и восточный стиль, и обезвреженный байронизм, и мотивы Жуковского, и навеянную Веневитиновым шеллингианскую трактовку философско-поэтических тем, и русские песни по образцу Дельвига.

Это явление принципиально иное, нежели использование разных стилей с разными поэтическими целями, характерное для школы 1820-х годов и основанное на развитом стилистическом чувстве и точности словоупотребления. Разнобой позднейших подражателей порожден, напротив того, утратой строгой стилистической культуры, возрастающим равнодушием к лексическим оттенкам слова. Недаром Подолинский занял промежуточное положение между кругом покровительствовавшего ему Дельвига и средой, вынашивавшей уже вульгарный романтизм, которому предстояло вскоре хлынуть широким потоком. Насколько в 30-х годах Подолинский был уже захвачен этим потоком, показывает хотя бы стихотворение «Бальный призрак»:

Вкруг меня рой женщин носит
Вальса огненный полет;
Мне роскошно кудри веют,
Ножки по следу влекут,
Мимолетом перси греют,
Мимолетом очи жгут...

Эти строки легко принять за подражание пресловутому «Вальсу» Бенедиктова. «Бальный призрак», однако, написан в 1837 году, тогда как «Вальс» Бенедиктова, по всей вероятности — в 1840-м (появился в печати в 1841-м).

Вторая поэма Подолинского, «Борский» (1829), представляла собой уже откровенную вульгаризацию байронической темы. Шевырев в письме к Погодину сообщает ироническое замечание Пушкина: «Пушкин говорит: Полевой от имени человечества благодарил Подолинского за «Дива и Пери», теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за „Борского"».[1]

Впрочем, и первая поэма Подолинского едва ли могла заслужить одобрение Пушкина; уже потому хотя бы, что она была связана с «Лаллой Рук» Томаса Мура. К Муру Пушкин относился отрицательно. В апреле 1825 года он писал Вяземскому: «Знаешь, почему не люблю я Мура? Потому что он чересчур уже восточен... Европеец и в упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и

---

[1] «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, с. 703 («Пушкин по документам архива М. П. Погодина»).

взор европейца». Суждение характерное для создателя «Подражаний Корану».

Поэзия Подолинского — явление, сложившееся уже вне декабристской атмосферы. Это относится и к таким подражателям Жуковского, как Ободовский, Шкляревский. Характерна в этом отношении и фигура П. А. Плетнева. Дружеские отношения связывали его с Кюхельбекером, Дельвигом, Пушкиным; как критик он считался их единомышленником. В Обществе любителей российской словесности он активно поддерживал левую группу, и гражданские тенденции сказались в некоторых его посланиях этого времени. Но в основном его поэзия тяготеет к уже пройденным этапам, к «унылой» элегии и смежным с ней стихотворным формам.

Во второй половине 1820-х годов кружок поэтов складывается вокруг Дельвига. Здесь и бывший лицеист Илличевский с его «легкой поэзией», антологическими стихами и баснями. Но в основном это младшие поэты — Подолинский, Деларю, Зайцевский, Щастный, Корсак. В этом кругу наряду с традиционной элегией господствуют поэтические жанры, близкие самому Дельвигу, — антологические стихи, романсы, песни.

Частым посетителем собраний у Дельвига был и барон Е. Ф. Розен. Розен — в литературных кругах фигура довольно видная и в то же время стоящая особняком. Уроженец Прибалтики, Розен был всецело воспитан на немецкой культуре и поэзии и даже поздно овладел русским языком. Иноязычная традиция отчетливо сказалась в его стихах. В поэзии Розена эклектически совместились опыт немецкой философской поэзии, влияние Пушкина и Дельвига, псевдофольклорность и риторика «ложно-величавой школы». Этими чертами Розен тяготеет уже к вульгарному романтизму 1830-х годов.

3

Поэты, о которых шла до сих пор речь, воспитаны были в традициях русской поэтической школы 1810—1820-х годов и сознательно не посягали на ее основы. Но принципиальная оппозиция этой школе — притом молодая оппозиция, в отличие от старой, шишковской, — образуется очень рано. В 1824 году в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» Кюхельбекер говорит о «мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных» [1] произведениях новой школы. Статья Кюхельбекера — один

[1] «Мнемозина», ч. 2, М., 1824, с. 36.

из манифестов декабристской эстетики, с ее требованием высокой гражданской и философской мысли в поэзии.

В то же время московская молодежь, группировавшаяся вокруг поэта С. Раича и основавшая Общество любомудрия, уже в начале 1820-х годов увлекалась немецким романтизмом и немецкой идеалистической философией и пыталась создать русскую философскую лирику на путях, отличных от гражданской поэзии декабризма и от «батюшковской» элегии. В декабристскую пору подобные интересы являлись лишь боковой линией русской культуры; гораздо большее значение они приобрели после крушения дворянской революции.

Политическая катастрофа 14 декабря 1825 года явилась переломным моментом для всей русской культуры. Наступают годы торжества николаевского самодержавия. Однако реакция не могла подавить подспудного роста новых сил. Все заметнее становится процесс демократизации культуры, сказывающийся в таких явлениях, как творчество Полежаева и в особенности творчество Кольцова. А в 1830-х годах новая разночинная интеллигенция нашла своего великого выразителя в лице Белинского.

С другой стороны, происходит характерное для 1830-х годов «омещанивание» культуры на потребу николаевскому чиновничеству, которое громко заявляло о своих пристрастиях и вкусах.

Дворянская интеллигенция еще играет в культуре ведущую роль, но переживает глубокий кризис. В значительном своем большинстве утратившая идеалы дворянской революции и декабристскую гражданственность, вынужденная отказаться от политического действия, дворянская интеллигенция, однако, не могла полностью примириться с николаевской действительностью. Этим противоречием обусловлено и увлечение идеалистической философией, уводившей в «абсолютное» и «бесконечное» (любомудры), и безудержное самоуглубление, самоанализ, особенно процветавшие в кружке Н. Станкевича.

В то же время не истреблен до конца и революционный романтизм с его декабристскими традициями; но в 1830-х годах он принимает характер индивидуалистического, демонического протеста (Полежаев, ранний Лермонтов). Этот индивидуалистический протест смыкается постепенно с новым движением теоретически организованной общественной мысли; оно развивается под знаком утопического социализма. В России 1830-х годов ранний утопический социализм наиболее полное свое выражение находит в кружке Герцена — Огарева, возникшем в те же годы, что и кружок Станкевича.

Напряженная умственная жизнь молодой интеллигенции 1830-х годов, осуществляясь в формах кружковых, подспудных, лишь случайно и скудно отражалась в печати. Зато «ложно-величавая школа»

(выражение И. С. Тургенева) имела бытие гласное и печатное. Противоречивые элементы, присущие переходному последекабристскому периоду, смешал воедино и по-своему воспроизвел всепроникающий в 1830-х годах вульгарный, обывательский романтизм. Существенным фактом литературной повседневности становится успех В. Бенедиктова, Н. Кукольника, А. Тимофеева, Е. Бернета и других поэтов «Библиотеки для чтения» — журнала, обслуживавшего в основном провинциальных помещиков и петербургских чиновников и мещан.

Но литературная жизнь 1830-х годов двойственна: среди кризиса, измельчания, разброда возникают поэтические явления огромного масштаба. Пушкин создает восьмую главу «Евгения Онегина», маленькие трагедии, «Медного всадника», гениальные лирические стихи 1835—1836 годов; во второй половине десятилетия Баратынский печатает ряд глубочайших своих произведений, которые впоследствии войдут в сборник «Сумерки»; в 1836 году в журнале «Современник» появляются сразу двадцать четыре стихотворения Тютчева — среди них вещи первостепенной важности. А на рубеже 1840-х годов Лермонтов стихами потряс читающую Россию.

Русская поэзия 1820—1830-х годов жила не только этими достижениями. Наряду с безликими и мелкими эпигонами существовали второстепенные лирики, сумевшие сказать свое слово и оставившие нам произведения подлинно поэтические. Их литературная деятельность исторически характерна, их искания поучительны. Они поднимали насущные для своего времени вопросы, хотя не им дано было найти на эти вопросы решающий ответ.

Каков исторический смысл поэтического брожения последекабристской поры? Как относятся удачи и поражения второстепенных поэтов к открытиям их великих современников — Пушкина, Тютчева, Лермонтова? Понять судьбы отдельных поэтов, больших и малых, можно только исходя из задач, стоявших перед русской поэзией 1820—1830-х годов, из решений, предложенных различными ее направлениями.

Литературная борьба 1830-х годов протекает под знаком требования *поэзии мысли.* Разумеется, поэзию мысли не следует себе представлять в виде некоего единого «жанра», теоретически разработанного и практически оформленного. Требование мысли возникает с разных сторон. Его носителями оказываются и революционные романтики с их декабристской традицией, и любомудры, и юный Белинский и его друзья, и даже представители низового, вульгарного романтизма — и они тоже, по-своему, толковали о глубоком содержании искусства.

Формула *поэзия мысли* охватывала разные требования, иногда враждебные друг другу. Единодушны все были в одном — в отрицании элегической школы 1810—1820-х годов как «школы безмыслия». Приговор исторически несправедливый — элегия Жуковского и Батюшкова раскрывала новые и важные стороны душевной жизни человека; следовательно, несла поэтическую мысль. Но эти открытия были пройденным этапом, унылая элегия бесчисленных подражателей не могла уже ничего открыть, а могла только раздражать однообразием праздных ламентаций.

Люди нового поколения хотели самобытно-национального выражения новой, им свойственной точки зрения. Разные группы по-разному толковали национальное содержание; и в этих несогласиях заострялось понимание поэзии мысли как поэзии отчетливо программной, то есть представляющей определенное направление. Единодушное требование программности, при несовпадении отдельных программ, приводило нередко к взаимным обвинениям в «безмыслии».

Поэтическому направлению кружка Раича присущи архаистические тенденции, тяга к возвышенному стиховому строю. В кружок, возникший в 1823 году, входили В. Одоевский, Тютчев, Андрей Муравьев, Михаил Дмитриев (племянник И. И. Дмитриева), Погодин, Титов, Шевырев, Ознобишин, А. Норов и другие. В том же 1823 году — несколько позднее — Вл. Одоевский вместе с Д. Веневитиновым основал Общество любомудрия. Кроме них участниками Общества были Иван Киреевский, Н. Рожалин, А. Кошелев, А. Норов. Примыкали к ним те же С. Шевырев, М. Погодин, В. Титов, П. Мельгунов и другие.

И кружок Раича, и Общество любомудрия сложились тогда именно, когда в России начинаются оживленные толки и споры о романтизме. Поклонники Гете и немецкого романтизма, любомудры — как носители романтической идеи народности — в то же время ставили во главу угла требование самобытного развития национальной культуры России.

Мировоззрение любомудров, наряду с новой романтической философией, формировала определенная русская традиция. Братья Киреевские сложились под непосредственным влиянием Жуковского. Вл. Одоевский, а позднее Шевырев и Титов, как в свое время Жуковский, воспитывались в Московском университетском пансионе, где — как и при Жуковском — продолжали господствовать масонские интересы.

Это направление противостояло русскому революционному просветительству, традиции Радищева, оплодотворившей сознание декабристов. Любомудры — ранние представители того романтического

идеализма, которому предстояло развиться в обстановке общественной депрессии, отказа от организованной политической борьбы. Последекабристская эпоха поставила на идеологии любомудров исторический акцент, превратила ее в одну из магистральных линий.

Что касается первой половины 1820-х годов, то так велика была сила политических чаяний и надежд, такой властью обладали вольнолюбивые идеи над молодыми умами, что миновать их тогда было невозможно и поклонникам немецкой идеалистической философии. Декабристские мотивы явственно слышатся в таких произведениях Веневитинова, как «Смерть Байрона», «Песнь грека», «Новгород». К той же декабристской традиции прославления исконной русской вольности, свободного строя древней новгородской республики примыкает и «Новград» Хомякова, предположительно датируемый 1820-ми годами.

До нас дошел и ряд документальных свидетельств о декабристских настроениях любомудров и их друзей. Участник Общества любомудрия А. И. Кошелев вспоминает в своих «Записках» о встрече с несколькими декабристами в 1825 году на вечере у М. Нарышкина. «Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости d'en finir avec ce gouvernement.[1] Этот вечер произвел на меня сильное впечатление... Я на другой же день утром сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин... Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Ройе-Коллара и других французских писателей, и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана».[2]

Таким образом, по свидетельству Кошелева, немецкая философия накануне восстания декабристов плохо уживалась с русскими политическими интересами. Романтический идеализм исторически и психологически противостоял просветительской идее разумного изменения действительности, столь характерной для мировоззрения декабристов. В дальнейшем вольнолюбие любомудров постепенно, но неуклонно убывает. А в 1840-х годах Киреевские и Хомяков становятся идеологами славянофильства; Шевырев и Погодин — проповедниками реакционнейшей «официальной народности».

Конец 1820-х годов — период непосредственно последекабристский — был периодом переходным для любомудров и их друзей, объ-

---

[1] Покончить с этим правительством (франц.). — *Ред.*

[2] А. И. Кошелев, Записки (1812—1883), Берлин, 1884, с. 13.

единившихся с 1827 года вокруг журнала «Московский вестник». Этот журнал, задуманный Веневитиновым, в первые два года своего существования являлся органом романтически-идеалистической мысли и в то же время разрабатывал ряд вопросов — народность, историзм, возвышенная поэзия, — как бы доставшихся новому поколению в наследство от декабризма. Но ответы «Московского вестника» на эти вопросы оказываются принципиально иными, нежели соответствующие решения декабристской мысли.

Как в свое время литераторы-декабристы, любомудры в конце 1820-х годов протестовали против «мелочного направления» литературы. «Несколько лет уже, — писал Титов в рецензии на «Опыты священной поэзии» Федора Глинки, — русская муза расхаживает по комнатам и рассказывает о домашних мелочах, не поднимаясь от земли к небу, истинному своему жилищу!»[1] Эти строки и многое другое в рецензии Титова как бы перекликались со статьей Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии. . .». Титов, как и Кюхельбекер, требует от поэзии «высоких предметов». Но для Кюхельбекера это предметы политические, гражданские — не в меньшей мере, чем философские; для Титова же речь идет об изображении «высокого назначения души, тленности и суеты настоящей жизни, упования на будущее, преимуществ наслаждений внутренних, духовных».[2] Тема возвышенной поэзии — одна из решающих для «Московского вестника», и трактуется она в духе эстетического учения Шеллинга и немецких романтиков, как высшее познание и как область божественных откровений.

В 1820-е годы группа «Московского вестника» выдвинула трех поэтов — Веневитинова, Шевырева, Хомякова, которые предприняли опыт создания новой философско-романтической поэзии. В их творчестве особенно отчетливо представлены тенденции, характерные и для других поэтов этого круга — Раича, Ознобишина, Андрея Муравьева. Вдохновителем и теоретиком кружка любомудров был Веневитинов. В 1825—1827 годах Веневитинов написал несколько критических и теоретических статей. Самая принципиальная из них — статья 1826 года «Несколько мыслей в план журнала». В ней отчетливо сформулировано требование философской поэзии и осуждение поэзии, освобожденной «от обязанности мыслить»,[3] — осуждение, направленное, очевидно, не только против эпигонов, но и против корифеев элегической школы. Притом эти строки являлись практи-

---

[1] «Московский вестник», 1827, № 4, с. 330.

[2] «Московский вестник», 1827, № 2, с. 129.

[3] Д. В. Веневитинов, Полное собрание сочинений, М.—Л., 1934, с. 219.

ческой творческой программой, осуществить которую предстояло Веневитинову и его друзьям. Задуман был радикальный литературный переворот. Следовательно, предстояло найти принципы нового философско-поэтического стиля. Веневитинову — двадцатилетнему юноше, с неокрепшим поэтическим дарованием — подобный переворот был не под силу.

Огромное расстояние отделяет новую тему, теоретически освоенную, заявленную, от новой темы, действительно воплощенной в искусстве. Юные поэты «Московского вестника» неизбежно должны были оказаться в колее уже существующих традиций национальной поэзии. Для Шевырева и Хомякова преобладающей явилась традиция оды, для Веневитинова — традиция элегических медитаций (размышлений), разрабатывавшаяся русскими поэтами от Жуковского, Батюшкова до Пушкина и Баратынского. Поэзия Веневитинова представляет собой теоретически интересный образец внутренней борьбы между новыми поэтическими замыслами и инерцией стиля, который могучие мастера русской лирики создали для иных целей, для выражения иного строя мыслей и чувств. Эта борьба — явление, характерное для разных направлений русской поэзии 1820—1830-х годов; в том числе и для творчества других поэтов, как и Веневитинов, вышедших из кружка Раича. Из сложного многообразия романтически-шеллингианских идей Веневитинов выделяет темы природы, любви и смерти (цикл стихов, обращенный к Зинаиде Волконской), дружбы как высшего духовного единения, поэзии и поэта. Все это темы, которым давно уже проложила колею французская и русская медитативная элегия. Именно потому для философических замыслов Веневитинова особенно опасной оказалась инерция элегического стиля 1810—1820-х годов.

Веневитинов принадлежал к поколению поэтов, выросших на почве высокой и завершенной стиховой культуры. Элегическая система Жуковского — Батюшкова — Пушкина (речь здесь идет о раннем Пушкине) была доведена до такой степени совершенства и устойчивости, что поэзия целых десятилетий могла питаться ее формулами и — что не менее важно — преодолением этих формул. Не следует представлять себе, что первоначально оригинальные словосочетания стали традиционными от долгого употребления. Они являлись традиционными с самого начала, потому что читателю заранее было известно, какие именно слова могут принадлежать к замкнутому, отобранному лирическому словарю. Лирический язык в иносказательной форме выражал душевные состояния, отвлеченные понятия. Даже слово, употребленное в прямом значении, теряло свою предметность. Упомянутая в элегии луна (или роза, звезда, роса

и т. п.) — не метафора, не метонимия, а как будто бы в самом деле луна; между тем очевидно, что слово это живет здесь только теми ассоциациями, той смысловой окраской, которую оно приобрело в элегической атмосфере. В замкнутый поэтический словарь с величайшим трудом проникали новые слова; слова же, в него допущенные, тем самым приобретали особое эстетическое качество, становились как бы сгустками поэтичности. Искушенный читатель 1820-х годов мгновенно узнавал эти поэтизмы, слова-сигналы элегического стиля, и они направляли его восприятие по колее привычных ассоциаций.

В стихотворении «Жертвоприношение», обращаясь к жизни, Веневитинов говорит, что ей дано:

Ланиты бледностью облить
И осенить печалью младость,
Отнять покой, беспечность, радость,
Но не отымешь ты, поверь,
Любви, надежды, вдохновений!
Нет! Их спасет мой добрый гений,
И не мои они теперь.
Я посвящаю их отныне
Навек поэзии святой
И с страшной клятвой и мольбой
Кладу на жертвенник богине.

Последние четыре стиха несомненно связаны были для Веневитинова с шеллингианским пониманием искусства как высшей духовной деятельности человека. Но *жертвенник богине* — словосочетание из мифологического словаря поэзии начала века — направляло ассоциации читателя отнюдь не по путям немецкой романтической философии. То же, разумеется, относится и к такой поэтической фразеологии, как *беспечность, радость, печаль, младость, любовь, надежда, вдохновение*. Притом *радость* самым классическим образом рифмуется с *младостью*. Над этими сочетаниями иронизировал еще в 1824 году Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии. . .».

Стихи Веневитинова давали возможность «двойного чтения» — момент существенный для понимания его литературной судьбы. Их можно было прочитать в элегическом ключе и в ключе «шеллингианском», в зависимости от того, насколько читатель был в курсе занимавших поэта философских идей. Школа, таким образом, предлагала установку — как нужно читать принадлежащего к ней поэта, предлагала ключ к его творчеству. Но, разумеется, любомудры не могли бы по-своему прочитать поэта, если бы его текст не давал для

этого оснований, если бы Веневитинов не внес некие принципиальные изменения в доставшийся ему по наследству лирический стиль. Стихотворение, которое в отдельности могло бы быть воспринято как обычная элегия, в контексте поэзии Веневитинова звучало уже иначе. Новый образ поэта скреплял и приводил в движение его поэтический мир.

В лирике авторское сознание может облечься личными чертами (лирический герой), но это не обязательно. Формы выражения авторского сознания многообразны. Жанровой лирике присущи заранее заданные и прикрепленные к жанру образы поэта: одический песнопевец, элегический мечтатель, «эпикуреец, ленивый мудрец» дружеских посланий и т. д. Позднее романтическая лирика создаст лирического героя, наделенного единством личности и личной судьбы (Полежаев, Лермонтов), выражающей историческую судьбу поколения.

На более раннем этапе, у Жуковского в первую очередь, встречаем образ поэта, не прикрепленный к жанру, но в то же время еще лишенный лермонтовски резкой личной характеристики. Образ этот воплощает общие черты данного человеческого типа. По этому именно принципу строится и образ вдохновенного поэта, организующий всю лирику Веневитинова. Это не столько лирический герой, сколько программный поэт романтизма, отразивший шеллингианское понимание поэзии как высшей формы познания и примирения противоположностей, понимание гения как высшей творящей силы. Усилиями друзей и единомышленников Веневитинова лирический герой его поэзии возник посмертно. Читатели знакомились с творчеством Веневитинова по сборнику 1829 года. В статье, предпосланной этому сборнику, друзья Веневитинова создали полубиографический, полулитературный образ прекрасного и вдохновенного юноши, погибшего на двадцать втором году жизни; в то же время это и образ нового романтического поэта.[1] Статья как бы врастает в состав сборника, подсказывая читателю определенное восприятие всего лирического цикла.

В творчестве двух других поэтов-любомудров — Шевырева и Хомякова — образ поэта не подвергался биографическому истолкованию; отсюда абстрактный и программный характер этого образа. Деятельность Шевырева-поэта падает в основном на вторую половину 1820-х годов.

---

[1] В том же духе писали о Веневитинове Хомяков в статье, напечатанной в журнале Раича «Галатея» (1829, ч. 2), и Иван Киреевский в «Обозрении русской словесности за 1829 год» (см.: И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений, т. 2, М., 1911, с. 26—27).

Если Веневитинов растворяет философскую тему в элегической, то Шевырев, напротив того, прямо, подчеркнуто выступает как поэт философской мысли. Характерны самые заглавия его стихотворений: «Мудрость», «Мысль». Последнее посвящено теме творческого бессмертия, к которой Шевырев возвращался неоднократно. Одно из лучших его стихотворений «Сон» непосредственно связано с учением Шеллинга о двойственности, противоположности сил природы (соотношение этих противоположностей Шеллинг называет полярностью природы).

Интересы молодого Шевырева не ограничены шеллингианской натурфилософией и эстетикой. В своих работах 1830-х годов он не прошел мимо того увлечения проблемами истории, под знаком которого, начиная с 1820-х годов, складывается умственная жизнь русской дворянской интеллигенции. Исторические интересы Шевырева отразились и в его поэзии. Характерно в этом плане стихотворение 1829 года «Петроград», некоторые мотивы которого Пушкин впоследствии использовал во вступлении к «Медному всаднику». Для Шевырева 1820-х годов Петр — еще великий реформатор, открывший России дорогу к могуществу и просвещению. Итальянский цикл Шевырева 1830—1831 годов посвящен главным образом историческим судьбам Рима.

На рубеже 1830-х годов Шевырев еще далек от позднейших своих реакционных позиций в национальном вопросе, но постепенно у него начинает складываться концепция особого пути России, ее противопоставленности западному миру. Стихотворение «К непригожей матери» уже предсказывает будущие настроения Шевырева.

Шевырев считал себя поэтом мысли. Философские, политические, исторические идеи, действительно, громко заявляют о себе в его стихах. Но удалось ли Шевыреву решить не решенную Веневитиновым задачу создания нового стиля философской лирики? Для Шевырева этот вопрос особенно важен, поскольку он как теоретик был убежден, что новая философская мысль не осуществится в стихе без нового словоупотребления; и Шевырев упорно боролся с «гладким» элегическим стихом. К этой теме Шевырев неоднократно возвращается в своих критических статьях и в дружеских письмах. «Ох уж эти мне гладкие стихи,— пишет он А. В. Веневитинову, — о которых только что и говорят наши утюжники! Да их эмблема утюг, а не лира!» [1]

Шевырев охотно подчеркивал жесткость, шероховатость соб-

---

[1] Цит. по кн.: Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 3, СПб., 1890, с. 76.

ственных стихов, видя в этом залог их глубины и силы. За Шевыревым прочно установилась репутация не всегда удачливого, но смелого экспериментатора. На деле, однако, традиционные формы играют в его творчестве гораздо большую роль, чем это обычно считалось. В поэзии Шевырева нетрудно обнаружить знакомые стили 1820-х годов. Здесь и аллегории («Лилия и Роза», «Звуки»), и послания, и произведения, явно восходящие к балладе Жуковского и думам Рылеева (например, «Каин»). В стихотворении «Преображение» Шевырев сохраняет не только любимую Жуковским восьмистрочную хореическую строфу (четырехстопный хорей), но и смысловой строй Жуковского. Это понятно: Жуковский с его порывами в таинственное и бесконечное указывал путь идеализму любомудров.

Подобные стихи очень далеки от той корявости и шероховатости, которые Шевырев проповедовал теоретически. Но и в своих философских стихах («Я есмь», «Сила духа», «Глагол природы», «Мысль», «Мудрость», «Сон», «Два духа» и др.) Шевырев в сущности не был экспериментатором. Архаическая лексика, ораторская интонация, мысль программная и отвлеченная, воплощаемая непрерывной цепью словесных образов, густо метафорических и в то же время рассудочных, — все это характерные черты одического стиля, современного Шевыреву (его, конечно, не следует отождествлять с одой XVIII века).

Шевырев, впрочем, иногда действительно отрывался от существующих литературных традиций; но только в особых случаях — в порядке специального эксперимента. Судьба подобных опытов Шевырева в высшей степени поучительна. Иногда он открывает свой стих самым резким прозаизмам, любому словесному сырью, не подвергшемуся эстетической обработке.

Так, например, в стихотворении 1829 года «В альбом»:

Служитель муз и ваш покорный,
Я тем ваш пол не оскорблю,
Коль сердце девушки сравню
С ее таинственной уборной;
Всё в ней блистает чистотой,
И вкус, и беспорядок дружны.
Всегда заботливой рукой
Сметают пыль и сор ненужный, —
Так выметаете и вы
Из кабинета чувств душевных
Пыль впечатлений ежедневных
И мусор ветреной молвы...

Это стихотворение привело в негодование престарелого И. И. Дмитриева, который в частном письме заметил по поводу слова *мусор*: «Должно признаться, что это слово есть совершенное благоприобретение нынешних молодых поэтов. Я даже не слыхал об нем до тех пор, пока на старости не купил дома». [1]

Нужно было построить новую поэтическую систему на основе нового, реалистического восприятия мира (и это сделал Пушкин), для того чтобы прозаизмы, то есть любые слова — знаки явлений бесконечно многообразной действительности, — стали по-новому поэтическими словами, носителями мысли и чувства. Вне этой глубокой смысловой перестройки прозаизмы, внезапно вторгшиеся в лирический текст, вольно или невольно производили комическое, пародийное впечатление. Стихотворением «В альбом» Шевырев широко открывал дорогу знаменитой безвкусице Бенедиктова. Бенедиктовщину до Бенедиктова представляет собой и стихотворение Шевырева «Очи»:

Видал ли очи львицы гладной,
Когда идет она на брань...

Здесь комическое впечатление производит несоизмеримость сопоставляемого: нагромождение грандиозных и «ужасных» гипербол и — раздраженная женщина. В том же стихотворении пародийно звучит «химическая» метафора:

Из всех огней и всех отрав
Огня тех взоров не составишь
И лишь безумно обесславишь
Наук всеведущий устав.

Конечно, подобными опытами Шевырев попирал законы «гладкого» стиха и традиционные нормы существующих стилей. Но ясно, что новый стиль, новое поэтическое видение нельзя было создать подобными приемами. Шевырев сам к ним не относился всерьез и не пытался, подобно Бенедиктову, возвести их в систему.

В 1830—1831 годах Шевырев предпринял эксперимент другого рода — его он рассматривал как программный для поэзии мысли. Речь идет о переводе седьмой песни «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Этот перевод Шевырева был напечатан в 1831 году в журнале «Телескоп» вместе с «Рассуждением о возможности ввести италианскую октаву в русское стихосложение». В «Рассуждении» речь шла

---

[1] «Старина и новизна», кн. 12, М., 1907, с. 331.

о коренной реформе русской метрики, реформе, направленной против ложной гармонии, «гладкости». Перевод должен был служить практическим образцом реформированного стиха. Затея, разумеется, не удалась. Октавы Шевырева написаны в основном пятистопным ямбом, а отдельные умышленно введенные неямбические строки вообще выпадают из ритмического строя этих октав и в качестве ритмической единицы не воспринимаются. До нас дошли письма ближайших друзей Шевырева, М. Погодина и Алексея Веневитинова (брат поэта), в которых они именно в этом плане критикуют перевод Шевырева. Погодин призывает его, «поупражнявшись еще в переводе», добиться того, чтобы все стихи были «сходны между собой».[1]

Несмотря на замечания единомышленников, Шевырев в 1835 году перепечатал свой перевод в «Московском наблюдателе», присовокупив к нему теоретическое предисловие, в котором он прямо признал стих школы Батюшкова — Жуковского непригодным для выражения запросов современной мысли: «Я предчувствовал необходимость переворота в нашем стихотворном языке; мне думалось, что сильные, огромные произведения музы не могут у нас явиться в таких тесных, скудных формах языка; что нам нужен больший простор для новых подвигов».[2]

Перевод «Освобожденного Иерусалима» должен был реформировать не только русское стихосложение, но и стихотворный язык. Переворот этот Шевырев пытался совершить, непосредственно перенося в русский стих образы, словосочетания классической итальянской поэзии. На точности своего перевода Шевырев в предисловии всячески настаивает: «Что касается до близости моей копии, я могу за нее поручиться... Особенно трудно было мне передавать сражения Тасса со всеми тонкими подробностями описания. Я переносил их прежде в свое воображение — и через него в русские слова. У Тасса все очевидно: такова кисть юга. Списывать бой Танкреда с Рамбальдом и Аргантом русскою кистию мне было большим трудом и наслаждением».

Читатель, однако, никак не мог разделить это наслаждение:

Свистну́ла тетива — и, отрешившись,
Летит, жужжа, крылатая стрела:
Ударив там, где пряжки, сцепившись,
Стянули пояс, их поразвела

---

[1] См.: С. П. Шевырев, Стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1939, с. XXX.

[2] «Московский наблюдатель», 1835, № 3, с. 7.

И, в латы вшед и чуть окровянившись
Раздранной кожей, дале не пошла:
Того хранитель горний не позволил
И злой удар ослабнуть приневолил.

Получалась какофония, а между тем Шевырев был поэтом вполне профессиональным и даровитым. Здесь мы сталкиваемся с явлением, имеющим существенное теоретическое значение для понимания историко-литературных процессов. В поэзии невозможна прямая, непосредственная пересадка иноязычного словесного образа; возможно только его освоение уже выработавшейся традицией национального поэтического языка. В экспериментальном переводе «Освобожденного Иерусалима» Шевырев попытался вырваться из русских стилистических традиций своего времени. Попытка окончилась стилистическим распадом. И в этом распаде и просторечие, и архаические обороты, напоминавшие наиболее беспомощные образцы эпической поэзии русского классицизма, приобрели комическую окраску.

Одновременно с переводом Шевырев написал автоэпиграмму — самоосуждение не без самолюбования:

Рифмач, стихом российским недовольный,
Затеял в нем лихой переворот:
Стал стих ломать он в дерзости крамольной,
Всем рифмам дал бесчиннейший развод.
Ямб и хорей пустил бродить по вольной,
И всех грехов какой же вышел плод:
«Дождь с воплем, ветром, громом согласился,
И страшный мир гармоньей оглушился!» [1]

Веневитинов и Шевырев пошли разными путями; ни тому, ни другому не хватило творческой силы, чтобы найти новый поэтический язык для новой философской мысли. Третьим поэтом, выдвинутым группой «Московского вестника», был Хомяков. Веневитинов умер в 1827 году, творчество Шевырева-поэта актуально только до начала 1830-х годов. Хомяков продолжает писать стихи в 1840-х и 1850-х годах, когда он был уже одним из идейных вождей и вдохновителей славянофильства. Первый период творчества Хомякова отражает романтические, главным образом шеллингианские, увлечения любомудров; во втором периоде поэзия Хомякова, как и его публи-

---

[1] Две последние строки — заключительные стихи 7-й песни шевыревского перевода «Освобожденного Иерусалима».

цистика, становится по преимуществу средством пропаганды славянофильских идей. Впрочем, эти периоды идейно друг другу не противостоят, поскольку именно шеллингианство являлось философским источником учения славянофилов.

У раннего Хомякова встречаются изредка стихи в элегическом или песенном роде. Но типическим для Хомякова (как и для Шевырева) является небольшое философское стихотворение, ориентирующееся на одический стиль — тяготение к архаизмам, ораторская интонация, обилие метафор, облекающих отвлеченную мысль. В отличие от Шевырева, Хомяков не был экспериментатором и отнюдь не стремился совершить переворот в области стихотворного языка.

Образ поэта организует творчество Веневитинова, сообщает ему идейное единство. Но наибольшее число стихотворных высказываний любомудра о романтическом поэте принадлежит Хомякову («Поэт», «Отзыв одной даме», «Вдохновение» и др.). Именно Хомяков наиболее отчетливо выразил основы шеллингианской эстетики: искусство — это воплощение бесконечного в конечном; самая вселенная — художественное произведение бога; поэт — провидец, носитель высшего познания и откровения, гений, творящий новые миры. Эта концепция в той или иной мере близка большей части молодых московских поэтов и критиков, примыкавших к кружку Раича, объединившихся впоследствии вокруг журнала «Московский вестник».

4

Поэт в стихах любомудров был не столько лирическим героем, образом романтической личности, сколько выражением определенного отношения к искусству, к природе, к любви и другим основным для этого круга философско-поэтическим проблемам. И это не случайно. При всем своем романтическом идеализме любомудры были все же людьми 1820-х годов, еще чуждыми крайностям индивидуализма. После крушения декабризма и политических чаяний передового дворянства личность, как бы предоставленная себе самой, начинает разрастаться. Самоуглубление, самоанализ — неотъемлемые черты духовной жизни того романтического поколения, которое пришло вслед за любомудрами. А наряду с этим — невозможность примириться с существующим политическим укладом. Противоречия русского общественного сознания 1830-х годов питали умственную жизнь знаменитых кружков этой эпохи.

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский писал о том, что разделяло и что сближало между собой

два основных кружка этого периода: кружок Герцена — Огарева и кружок Станкевича, в который входили Белинский, Бакунин, Боткин. «Деятели молодого поколения в Москве были разделены на два кружка, с двумя различными направлениями: в одном господствовала Гегелева философия, в другом — занятия современными вопросами исторической жизни. Много было пунктов, в которых два эти направления могли сталкиваться враждебно; но под видимою противоположностью таилось существенное тождество стремлений. . .» [1]

В 1830-х годах философско-романтическое направление особенно отчетливо выражено кружком Н. В. Станкевича. В центре внимания любомудров — отчасти натурфилософия, а в особенности эстетика, романтическая философия искусства. В кружке Станкевича центр перемещается в сторону вопроса о назначении человека. Не эстетика, а этика становится во главу угла.

Из участников кружка четверо были поэтами — Станкевич, В. И. Красов, И. П. Клюшников и совсем еще юный Константин Аксаков. Наименее профессиональный из поэтов своего круга, Станкевич — наиболее философский из них. В его стихах мы встречаем и тему поэта-пророка, и тему слияния с «абсолютным» и «бесконечным», и столь характерное для романтического дуализма противопоставление любви «земной» и любви «небесной». Станкевич в самом начале 1830-х годов создает лирически-драматические «фантазии» («Избранный», «Ночные духи»). Жанр этот, сложившийся под влиянием второй части «Фауста», шекспировских «Цимбелина» и «Сна в летнюю ночь», в 1830-х годах станет модным. Особенно усердно будет подвизаться на этом поприще один из столпов вульгарного романтизма — А. Тимофеев.

В поэзии Станкевича волновавшие его и его друзей этические вопросы, вопросы назначения и самосовершенствования человека отразились в абстрактной, символической форме. Более непосредственным образом запечатлен напряженный интерес к человеческой личности в творчестве двух других поэтов кружка — Клюшникова и Красова. Своей недолговечной известностью оба они несомненно обязаны были Белинскому, который на рубеже 1830-х и 1840-х годов неоднократно упоминал их в своих статьях в качестве наиболее талантливых современных молодых поэтов, после Лермонтова и Кольцова.

Клюшников в эти годы был для Белинского поэтом рефлексии. В своем устремлении к высшей гармонии личность мучительно осо-

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. 3, М., 1947, с. 216.

знает свое несовершенство, заложенные в ней противоречия — так трактовали рефлексию в кружке Станкевича. Клюшников довел до предела романтическое «самоедство» 1830-х годов. Его своеобразный лирический герой складывается из психологических контрастов, самообвинений, напряженного аналитического интереса к собственным падениям и взлетам. Это лирическое сознание должно быть острым, жестким, ему нельзя позволить расплыться в тумане привычных элегических формул. И Клюшников смешивает традиционные поэтические образы с умышленно корявыми прозаизмами.

Два эти ряда не просто противостоят друг другу, но скрещиваются, вступают друг с другом в игру по законам романтической иронии. Романтическая ирония требует, чтобы человек горестно смеялся над собственной мечтой, понимая ее недостижимость. Это соотношение выражено лексическими контрастами:

И вот опять мечта шалит
И лезет сдуру в мир фантазий.

(«Элегия»)

Или в стихотворении «Претензии»:

И все хотят, во что б ни стало,
Вблизи понюхать облаков.

Поэзия Клюшникова отразила внутренние конфликты и противоречия романтической личности. Иной характер имела поэзия Красова. Это интимная лирика 1830-х годов, уже утратившая строгие очертания элегии предшествующих десятилетий. Традиционные элементы классической элегии смешиваются с песенными образами, с интонациями романса. А романс в 1830-х годах уже носитель эмоций новой, разночинной среды; выходцем из этой среды был и Красов (как и ряд других участников кружка Станкевича).

В гуще традиционных образов мелькали у Красова поэтические формулы, вероятно воспринимавшиеся его друзьями как отражение — пусть бледное — напряженной духовной жизни кружка:

Не оставляй меня, отрадное виденье,
Мечта высокая, прекрасная моя!

(«Мечта»)

Какой судьбой сюда, в юдоль изгнанья,
С каких небес явилась ты?

В 1830-х годах — это ходовой романтический штамп. Но для участников кружка Станкевича за подобной формулой стояло искренне и трудно пережитое ими противоречие между «земной» и «небесной» любовью, между «конечным» и «бесконечным».

В то же время Красов не свободен и от воздействий вульгарного романтизма:

Я трепетно глядел в агат ее очей:
Там целый мир любви под влагой сладострастья, —
И, полный прежних дум, тревоги и участья,
Я грустно любовался ей.
Я думал: чудное созданье,
О гений чистой красоты,
Какой судьбой сюда, в юдоль изгнанья,
С каких небес явилась ты?

(«Она»)

Так пушкинский «гений чистой красоты» уже совмещается у Красова с бенедиктовским «агатом очей» и «влагой сладострастья».

В 1830-х годах романтизм охватил самые широкие круги — от академических, где он процветал на почве пристального изучения современной философии, до обывательских, превративших романтизм в бездумную и эффектную моду. Зыбкости границ между «романтизмами» разного уровня способствовали некоторые особенности литературной обстановки 1830-х годов: всеобщее стремление к максимально сильному и эффектному выражению запросов романтической личности, распад литературных норм, запретов и требований хорошего вкуса, выработанных двумя предыдущими десятилетиями, характерное для переходного времени смешение разнородных литературных традиций—пестрое наследие мирового романтизма.

Кружок Герцена — Огарева также имел своих поэтов. Для Огарева 1830-е годы — это период ранних стихотворных опытов; его поэтическое творчество развивается позднее, начиная с 1840-х годов. В 1830-х годах самый активный поэт этого круга — Николай Сатин; с середины десятилетия стихи его неоднократно появляются в периодической печати.

В поэзии Сатина широко представлены характерные романтические мотивы. В «Умирающем художнике» это мотивы творческого подвига, божественного вдохновения и самоотречения художника, его неутоленного стремления из «конечного» в «бесконечное»:

Давно, давно в себе я ощущал
Невнятное, нагорное призванье

Создать святой величья идеал! ..
О, эта мысль, как неземная сила,
Огнь творчества в душе моей зажгла,
Она всегда мне знаменем служила
И в мир иной таинственно влекла! ..

В стихотворении «Поэт» высокие порывы вдохновения противопоставлены суровым требованиям своекорыстного, «прозаического» века. [1]

Но романтизм Сатина прошел уже через увлечение идеями утопического социализма. Особенно заметны следы этих увлечений в его «фантазии» «Раскаяние поэта» (опубликована в «Телескопе» в 1836 году), где, в духе доктрины сенсимонистов, *эгоизм* противостоит всеобщему *братству* людей. В «Раскаянии поэта» темы, занимавшие умы юных романтиков, — судьба поэта, «земная» и «небесная» любовь, борьба между любовью и славой, слияние с природой, устремление в «бесконечное» — объединены мыслью о высоком призвании и нравственном совершенствовании человека. Возвышенный поэт, уйдя от мира, уединяется с тремя верными «подругами» — природой, любовью и поэзией. И вот тут завязывается конфликт между сферой «абсолютного» и «бесконечного» и неистребимыми нравственными обязательствами, которые связывают поэта с презираемой им «толпой». Поэт обращается к деве, разделяющей с ним восхитительное уединение:

Одна твоя любовь не укротит стремленья,
Она божественна, я знаю цену ей;
Но над главой моей пусть прогремят проклятья,
Когда забуду я отчизну и людей,
Вас, дети падшие, но мне родные братья!

Романтический гуманизм торжествует. Поэт — снова «брат людей»! Он возвращается в мир:

Я совершу свое предназначенье,
Я всё отдам: подругу, славу, честь,
Я принесу себя во всесожженье!
О! тяжек крест, но должно его несть!!!

[1] «Поэт» Сатина появился в «Библиотеке для чтения» в 1835 году. В том же году в «Московском наблюдателе» опубликовано было стихотворение Баратынского «Последний поэт», посвященное теме убивающего поэзию «железного века».

Итак, избранная романтическая личность должна служить той самой «толпе», над которой она «парит». Именно в этом условие ее «избранности», ее героичности. Это противоречие романтического сознания имело глубокие корни в русской общественной жизни 1830-х годов. Торжество реакции, крушение чаяний и идеалов дворянской революции способствовали развитию романтического индивидуализма и самоуглубления. В то же время эта обстановка вызывала у мыслящей молодежи недовольство действительностью, протест против порабощения и духовного обезличивания людей.

В Московском университете, наряду с кружком Станкевича, с кружком Герцена — Огарева, в котором политические и социальные интересы представали в философской, теоретической форме, существовали и объединения чисто политические и более демократические по своему составу (кружок братьев Критских, кружок Сунгурова). Кружки сообщались между собой. Огарев, Сатин, Кетчер в 1833 году попали под негласный надзор полиции за связь с сунгуровцем Костенецким. Университетская молодежь постоянно общалась с Полежаевым, когда его полк стоял в Москве. Завсегдатаем студенческих сборищ был и поэт В. И. Соколовский. Герцен, Огарев, Сатин были арестованы за участие в пении «пасквильных песен» на студенческой вечеринке, на которой они как раз не присутствовали. Самая криминальная из них песня Соколовского:

Русский император
Богу дух вручил...

Эта песня касалась 14 декабря, вообще событий, предшествовавших воцарению Николая I.

Автор антимонархических стихов, Соколовский в то же время один из характерных представителей романтизма 1830-х годов. В его поэме «Мироздание» распространенные в 1830-х годах идеи шеллингианской эстетики (мир как художественное творение бога) сочетаются с архаическими традициями русской оды и эпической поэмы XVIII века, с напряженной романтической метафоричностью, с поэтическим языком экспрессивным и неточным, допускающим неправильности, неологизмы. Современников особенно забавлял предпоследний стих поэмы Соколовского «Хеверь»: «Субботствовать в объятиях любви...»[1]

Драматическая поэма «Хеверь» — как и поэма «Мироздание» —

---

[1] О стилистике Соколовского см.: Т. Хмельницкая, В. Соколовский. — В сб. «Русская поэзия XIX века», Л., 1929.

отмечена чертами стилистического брожения 1830-х годов и характерна своим романтическим замыслом. Библейский сюжет, заимствованный из книги Эсфирь, трактуется в ней в духе доктрины христианской любви, которая привлекала и поклонников немецкой романтической философии, и последователей ранних социально-утопических учений. Хеверь неожиданно оказывается провозвестницей всеобщего братского единения и любви, предназначенной для спасения и блаженства всех людей, а не только «избранных народов».

К той же первой половине 1830-х годов относится поэтическое творчество питомца Петербургского университета, молодого ученого, талантливого эллиниста Владимира Печерина. Среди стихотворных произведений Печерина наиболее интересное — драматическая поэма «Pot-pourri» («Торжество смерти»). В ней и пафос тираноборчества и гибели за свободу, и тема «пяти померкших звезд» (пять казненных декабристов), и социально-утопическая идея неизбежной гибели старого мира, сближающая раннего Печерина с ранним Герценом. Недаром в марте 1853 года, во время своего свидания с Печериным, тогда уже эмигрантом и монахом католического ордена редемптористов, Герцен вспомнил «Pot-pourri», которое читал в списке еще в России, и просил у Печерина разрешения напечатать его поэму (она появилась в «Полярной звезде» на 1861 год). Для Герцена (даже в 1850-х годах) печеринское «Pot-pourri» оставалось памятником русского революционного романтизма.

Станкевич, Сатин, Печерин — это, так сказать, академическое крыло романтизма 1830-х годов, их поэзия так или иначе была откликом на подлинную философскую и политическую проблематику эпохи. Но все они еще в меньшей мере, чем поэты-любомудры, в состоянии были найти новые, адекватные формы выражения этой проблематики. Все они, как и многие их сверстники, увлечены потоком эклектического, пестрого, неразборчивого в средствах выражения, все шире распространяющегося позднего романтизма. Философской предпосылкой романтической экспрессии служила идея «избранной личности», непосредственно обнаруживавшейся в патетическом словоупотреблении. Но это стремление к патетике, к грандиозности таило в себе опасность сближения с «ложно-величавой школой», с вульгарным романтизмом, уже разменявшим романтическую экспрессию на романтические эффекты, утратившие связь с философскими истоками направления.

Большая дистанция существует между ученым филологом и мыслителем Печериным и Тимофеевым, типическим представителем низового романтизма, что не мешало внешнему сходству их произведений. В «Торжестве смерти» Печерин, например, писал: «Волны

в торжественных колесницах скачут по развалинам древнего города; над ними в воздухе парит Немезида и, потрясая бичом, говорит:

Мщенье неба совершилось!
Всё волнами поглотилось!
Северные льды сошли.
Карфаген! Спокойно шли
Прямо в Индью корабли!
Нет враждебныя земли!

Музыка играет торжественный марш. Являются все народы, прошедшие, настоящие и будущие, и поклоняются Немезиде». Все это чрезвычайно напоминает «мистерии» и «фантазии» Тимофеева с их бутафорской символикой, непроизвольно пародирующей вторую часть «Фауста».

В «мистерии» Тимофеева «Жизнь и смерть» участвуют: призрак, привидение, хор духов, невидимый хор на земле, голос с неба и т. д. Фантазия «Последний день» даже сюжетом походит на печеринское «Торжество смерти», не говоря уже о стиле авторских ремарок: «Небо падает целою пеленою. Со всех сторон необыкновенное сияние. Земля разрушается в одно мгновение ока и миллионами пылающих обломков летит в преисподние бездны! В светлом воздухе видны мириады людей, и с громовым эхом раздаются в пространстве уничтоженной вселенной

Звуки страшной трубы».

При всем формальном сходстве, «Торжество смерти» и «Последний день» все же произведения разные. Они по-разному прочитывались современниками. И у Печерина, сквозь всю бутафорию, доходила до них та свободная мысль, которую через три почти десятилетия Герцен счел нужным сделать достоянием читателей «Полярной звезды».

5

Если Подолинский, Шевырев, Красов, Сатин, даже Печерин и Станкевич не свободны были от безвкусицы и наивных эффектов, то в мещанско-чиновничьей среде николаевской поры вульгарный романтизм господствовал безраздельно. Эта низовая литература имела свои печатные органы («Библиотека для чтения», «Северная пчела»), своих корифеев (Кукольник, Тимофеев, Бенедиктов), свою систему организованного потакания обывательским вкусам. Именно

в этой среде яснее всего проявились свойства, воспитанные николаевским самодержавием и бюрократизмом: атрофия общественных интересов и неспособность к созданию собственных культурных ценностей.

В 1830-х годах романтизм охватил самые широкие круги — от академических, где он развился на почве изучения современной философии, до обывательских, превративших романтизм в бездумную и эффектную моду. В недрах «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы» создалась собственная «поэзия мысли». Крупнейших ее представителей, Кукольника, Тимофеева, «Библиотека» провозглашает русскими Байронами и Гете, «Северная пчела» нисколько не уступает ей в цинизме. По поводу «Песен» Тимофеева рецензент «Северной пчелы» писал: «Веселость и насмешливость не главные достоинства песен г. Тимофеева: они видны только в тех песнях, которые выливались из души его в те немногие минуты, когда она отдыхала от тяготивших ее тяжелых дум».[1] А вот рецензия на «фантазию» Тимофеева «Поэт»: «Из этого краткого обзора читатели увидят, какую обширную, высокую мысль автор положил во главу угла своего творения. В самом деле, мысль сия по своей глубокости, силе и теплоте есть нечто совершенно новое в нашей литературе. Создание, основанное на ней, могло бы заключать в себе более эпической и драматической жизни, менее философии и более поэзии; видно, что это один еще очерк здания огромного и великолепного».[2]

В этой «фантазии» поэт предстает сначала во всем разочарованным, отрекающимся от жизни и деятельности, потом, подобно богу, вдохновенно творящим целый мир и наконец умирающим в нищете и забвении среди равнодушной и суетной толпы. Тема поэта, гения, отвергнутого бессмысленной толпой, в русской романтической литературе описала характерную кривую — от пушкинской концепции вдохновения, от программного «Поэта» Веневитинова, восходящего к основам шеллингианской эстетики, через Шевырева, Хомякова, до упрощенной трактовки у Тимофеева («Поэт», «Елисавета Кульман»), Полевого («Аббадона»), Кукольника («Торквато Тассо») и, разумеется, у Бенедиктова («Скорбь поэта», «Чудный конь», «Певец»). Тему подхватывают и романтики 1830-х годов меньшего масштаба. Например, Лукьян Якубович:

Как водопад, кипит и рвется
Могучий мыслию поэт:

---

[1] «Северная пчела», 1836, № 217.
[2] «Северная пчела», 1834, № 125.

Толпа на звук не отзовется,
На чувство чувств у черни нет.
Лишь друг природы просвещенный
Среди лесов своих, в глуши,
Вполне оценит труд священный,
Огонь божественной души.

(«Водопад», 1833).

Романтизм 1830-х годов преисполнен грандиозными темами, характерами, страстями. Одно из типических его порождений — творчество Нестора Кукольника, который создал серию стихотворных драм, или «драматических фантазий», посвященных трагическим судьбам художников и поэтов («Торквато Тассо», «Джакобо Санназар», «Доменикино» и др.). Шевырев язвительно писал: «Г. Кукольник хочет принадлежать к числу тех гениальных писателей, для пера которых нет исторического имени страшного, нет славы непобедимой! .. И Гете неохотно бы выступил на Рафаэля, Микель-Анджело, Канову, но г. Кукольник пускается на всех». [1]

«Кукольник, — вспоминает И. И. Панаев, — преследовал мелкое по его мнению направление литературы, данное Пушкиным, все проповедовал о колоссальных созданиях; он полагал, что ему по плечу были только героические личности». [2] В этой антипушкинской борьбе за «ложно-величавой» школой стояла читательская масса, посетители столичных театров и влиятельнейшие органы петербургской печати.

У Якубовича, Кукольника, Тимофеева, Бернета и других второстепенных поэтов 1830-х годов можно встретить новообразования, синтаксические вольности, непредвиденные образы и проч., но все это носит характер нарушений, отклонений от некой довольно крепкой стилистической основы, в общих чертах подчиненной еще нормам 20-х годов. «Ложно-величавая» школа жила, в сущности, на чужом стиле, по мере сил приспособляя его к своим потребностям. Вот почему из всех представителей этой школы наибольшим успехом пользовался Бенедиктов, которому удалось создать стиль, соответствующий ее тенденциям.

В поэзии Бенедиктова современники могли найти не только искомую романтическую личность, но и тот «переворот» в стихотворном языке, который тщетно пытался произвести Шевырев. У Бенедиктова, в самом деле, непривычное вместо привычного, заметное

---

[1] «Москвитянин», 1841, ч. 1, № 2, с. 572.

[2] И. И. Панаев, Литературные воспоминания, М.—Л., 1950, с. 100.

вместо стертого, разбухшая метафора вместо эпигонской гладкости. Отличительная черта метафоричности Бенедиктова — это резкая ощутимость в метафоре прямого, первичного значения ее элементов, что ведет к реализации метафоры и в конечном счете к логическому абсурду — словом, к тому, что безоговорочно отвергала русская поэтика от Батюшкова до Пушкина. Практика Бенедиктова, хотя и в вульгаризованной форме, прививала русской поэзии навыки романтического построения образа. Его безудержный максимализм, лексический, семантический, предсказывает порой стихотворные эксперименты модернизма конца XIX — начала XX веков. Бенедиктов ниспроверг систему эстетических запретов, столь непреодолимую для поэтов предыдущего поколения. В принципе он отказался от всяких регулирующих начал и, допустив любые слова в любых сочетаниях, извлек из романтических возможностей самые крайние результаты. У Бенедиктова не только сняты классические нормы логики и хорошего вкуса, но и нормы языка оказались необязательными. Отсюда знаменитые новообразования («безверец», «видозвездный», «волнотечность», «нетоптатель» и т. д.), которые сопоставляли впоследствии с футуристическим словотворчеством.

Мещанско-чиновничья среда, выдвинувшая Бенедиктова, в целом была неспособна к выработке обобщающих идей и собственных культурных ценностей, — в этой области ей приходилось вести паразитическое существование. Для вульгарного применения культурно-идеологических ценностей характерны подражательность, упрощение и смешение. Последнее потому, что для тех, кто ценности не создает, но заимствует из разных мест, как готовые результаты чужих достижений, — непонятна их внутренняя несовместимость.

Лирический герой Бенедиктова — это «самый красивый человек», украшенный всем, что только можно было позаимствовать в упрощенном виде из романтического обихода. Для поэтов-любомудров романтическая, в частности натурфилософская, тема в поэзии являлась производным от определенной идеалистической концепции мира. Бенедиктовская романтика, потеряв непосредственную связь с философскими истоками романтизма, превратилась уже в элемент обывательской эстетики, но при этом она сохраняет в суммарном и упрощенном виде ряд основных романтических представлений: представление о стихийном величии и о символической значимости сил природы, представление об «избранниках человечества», преследуемых «чернью», представление о любви к «идеальной деве» и т. п. На основе этого паразитического романтизма Бенедиктов разрабатывает модные поэтические темы. Так, например, из всех стихотворений Бенедиктова едва ли не наибольшим успехом пользовался «Утес», в ко-

тором иносказательно дана тема одинокой, гордой личности, бросающей вызов обществу.

В поэзии идеологически подлинной слово оплачивается трудом, борьбой, мыслью, в него вложенными. Отсутствие социальных ценностей, стоящих за поэтическими средствами выражения, в поэзии Бенедиктова непрерывно разоблачается благодаря совмещению несовместимого. Так, «космическая» грандиозность, к которой тяготеет вся эта поэзия, не мешает нисколько наивной идеализации мещанского быта. Характерно, например, стихотворение «Вальс», в котором Бенедиктов переносит в мировые пространства петербургский бал средней руки. Широкое применение космогонических образов восходит у Бенедиктова и к русской одической традиции XVIII века, и к Шиллеру, но в дальнейшем он начинает пользоваться космогонией, так сказать, в своих собственных видах.

Всё блестит: цветы, кенкеты,
И алмаз, и бирюза,
Люстры, звезды, эполеты,
Серьги, перстни и браслеты,
Кудри, фразы и глаза...
...В сфере радужного света
Сквозь хаос, и огнь, и дым
Мчится мрачная планета
С ясным спутником своим.
Тщетно белый херувим
Ищет силы иль заклятий
Разломить кольцо объятий;
Грудь томится, рвется речь,
Мрут бесплодные усилья,
Над огнем открытых плеч
Веют блондовые крылья,
Брызжет локонов река,
В персях места нет дыханью,
Воспаленная рука
Крепко сжата адской дланью,
А другою — горячо
Ангел, в ужасе паденья,
Держит демона круженья
За железное плечо.

«Вальс» появился в 1841 году в «Современнике», редактировавшемся тогда Плетневым, и в той же книжке журнала напечатан «Галопад» поклонницы Бенедиктова поэтессы Шаховой:

Вихрем в круге галопада
Мчатся легкие четы...
...Розы, ландыши, лилеи
В кудрях змейчатых цветут;
Кудри, прыгая у шеи,
Скромно плечи стерегут.
Но одна царица бала;
С нею мчится адъютант
Вкруг пестреющего зала,
И красивый аксельбант
На груди его высокой
Звонко пляшет по крестам
Нитью золота широкой.
Как вожатый всем четам,
Адъютант с своей царицей,
Повелительницей зал,
Как орел с младой орлицей,
Галопад опережал.

В своей вариации «Вальса» Шахова убавила мировые сферы и прибавила адъютанта. Этого оказалось достаточно, чтобы — при всей чистоте намерений поэтессы — превратить «Галопад» в пародию, причем однобокую. Ведь у Шаховой только гостиная, а Бенедиктову важно было столкнуть гостиную с мирозданием.

Скрещение элементов, как бы утративших свое первоначальное назначение, — основная черта бенедиктовского стиля, вплоть до отдельных словосочетаний, в которых смешаны славянизмы и архаизмы, городское просторечие, «галантерейные» выражения, деловая речь и т. д. Таковы, например, словосочетания: «к паре черненьких очей», «певец усердный твой» (ср. «усердный чиновник») или о локоне — «шалун главы». На такой почве лирика утрачивает стилистическую непроницаемость, в свое время свойственную ей более, чем какому бы то ни было другому роду литературы. В лирику пробиваются слова из быта, занимая место рядом с поэтическими условностями. В своем роде это было расширением возможностей лирического слова, как расширением было и бенедиктовское строение образа.

При всей оторванности от философских истоков направления, стилистика Бенедиктова обладала чертами романтизма, в первую очередь густой, напряженной метафоричностью. Обилие образов сближало его поэзию и с одой XVIII века, и с французским романтизмом (Гюго), противопоставляя ее «прозрачному» лирическому стилю шко-

лы Батюшкова, которому свойственно было плавное движение единой темы и скупость в отборе выразительных средств.

В поэзии Бенедиктова дошло до крайнего своего предела романтическое брожение 30-х годов. При этом Бенедиктов был настолько даровит и стихом владел настолько искусно, что в первый момент его восприняли как высокого романтического поэта читатели самого разного уровня.[1]

Поэзию Бенедиктова ценили Жуковский, А. Тургенев, Вяземский, Тютчев. Известные критики — Плетнев, Сенковский — писали о его замечательном даровании. Шевырев провозгласил Бенедиктова «поэтом мысли». И. С. Тургенев признавался впоследствии в письме к Толстому: «...Знаете ли вы, что я *целовал* имя Марлинского на обертке журнала, плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?»[2]

6

Литературной ситуации 1830-х годов присуща парадоксальная черта: поэты-романтики этих лет среди своих блужданий и исканий не заметили решений проблем современной поэзии, предложенных Пушкиным, Тютчевым, Лермонтовым. Между тем уже ранний Лермонтов решил проблему романтической личности; Тютчев нашел новый метод философской лирики. Пушкин же вывел лирическую поэзию на безмерно широкую дорогу художественного познания исторической и современной действительности.

Пушкин, зрелый Лермонтов, Тютчев позднего периода расторгли обязательную некогда связь между высокой поэзией и высоким слогом с его славянизмами и архаической окраской. Это стилистическое освобождение открыло перед поэзией мысли принципиально новые возможности.

Что касается творчества начинающего Лермонтова, то это удивительный плод, который принесла поэтика 1830-х годов, поэтика больших слов и напряженных эффектов. Семнадцатилетний юноша всей совокупностью своей духовной жизни завоевал право сказать:

---

[1] Подробнее см. в моих работах: «Пушкин и Бенедиктов» («Временник Пушкинской комиссии», № 2, М.—Л., 1936); «Бенедиктов» (Вступ. статья в кн.: В. Г. Бенедиктов, Стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1939).

[2] И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем. Письма, т. 3, М.—Л., 1961, с. 62.

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей...

Большие слова на этот раз оказались равны своему предмету — молодой героической душе человека. Но Лермонтов, оправдавший патетическую поэтику, быстро от нее отказался. Настолько быстро, что вышел к читателю уже занятый разрешением совсем иных творческих задач.

В творчестве юного Лермонтова открытия совершались за пределами печати. Удивительнее незаинтересованность, с которой любомудры отнеслись к творчеству Тютчева. Тютчев в юности принадлежал к кружку Раича, участники которого были идейно и лично связаны с Обществом любомудрия. И все же знаменем этого круга стал не Тютчев, а элегический Веневитинов. Это обусловлено не только внешними обстоятельствами (отъезд Тютчева в 1822 году на долгие годы за границу, разрозненные, случайные — до 1836 года — появления тютчевских стихов в печати). В поэзии Тютчева нет наглядного единства, в том числе единства лирического героя. Тютчев не сосредоточен на судьбах романтического поэта, ни на какой-либо другой, столь же канонической теме романтизма. Его поэтическая мысль, внутренне единая, воплощаясь, дробится и проникает в многообразные явления бытия. И Шевырев, в 1835 году провозгласивший поэтом мысли Бенедиктова, в 1836 году *не заметил* появления в «Современнике» двадцати четырех стихотворений Тютчева.

Русские шеллингианцы прошли мимо величайших явлений своего времени, потому что они всегда искали поэта с той же программой. Не подошел под эту философскую программу и Баратынский, — даже в 1830-х годах, в пору своего сближения с Иваном Киреевским и его единомышленниками. Баратынского этот круг признал мыслящим поэтом, но отнюдь не считал его поэзию существенным, принципиальным фактом своей духовной жизни.

Поэты-любомудры средствами рационалистической по своим истокам, по своему существу поэтики пытались воплотить новые философско-романтические замыслы, и вся их деятельность отмечена этим творческим противоречием. Поэтика устойчивых стилей предписывала традиционность, принципиальную повторяемость поэтических средств. Эта повторяемость расценивалась не как недостаток оригинальности, но, напротив того, как необходимое условие узнавания данного стиля. В этой системе существовал определенный подбор метафор, метонимий, сравнений — и каждый новый образ являлся своего рода развитием или вариантом традиционного иносказания, лежавшего в его основе. Это стилистическое наследство досталось

молодым русским романтикам, недостаточно сильным, чтобы его преодолеть. Философское стихотворение поэтов-любомудров строится чаще всего путем нанизывания на некий тематический стержень отдельных иносказаний. Вот, например, как Хомяков решает излюбленную им тему поэтического вдохновения:

И если раз в беспечной лени,
Ничтожность мира полюбив,
Ты свяжешь цепью наслаждений
Души бунтующий порыв, —
К тебе поэзии священной
Не снидет чистая роса
И пред зеницей ослепленной
Не распахнутся небеса.
Но сердце бедное иссохнет —
И нива прежних дум твоих,
Как степь безводная, заглохнет
Под терном помыслов земных.

(*«Вдохновение»*)

В этом стихотворении есть стержневая мысль, выраженная даже догматически, тезисно. Но, кроме того, каждый почти стих представляет собой отдельный, замкнутый метафорический образ; лирическое движение возникает из непрерывного их чередования и сцепления. *Бунтующая душа, священная поэзия, ослепленные зеницы, иссохшее сердце, безводная степь* и т. д. — все эти образы принадлежат уже испытанному арсеналу высокой лирики, и к данной теме, к теме поэта и романтического вдохновения, сами по себе они отношения не имеют. Каждый такой словесный образ как бы изолирован от других, возбуждаемые им ассоциации замкнуты в его пределах и не перебрасываются в соседние смысловые ряды.

Не любомудры, не Станкевич и его друзья, а Тютчев нашел небывалый еще метод для философской лирики XIX века. Для этого он прежде всего должен был освободиться от нормы готовых стилей. Воспитанный в традициях высокой лирики XVIII века, Тютчев широко использовал эти традиции, но он использовал их для создания образов непредвидимых и первозданных, слагающихся в контекст нового типа. Нанизывание самодовлеющих, замкнутых иносказаний Тютчеву чуждо. Он строит философское стихотворение как единый, охватывающий символ. Иногда это выражается в излюбленных Тютчевым параллелизмах между явлением природы и духовной жизнью человека, но и без явного параллелизма у Тютчева возникает сквозной образ:

Есть некий час в ночи всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

(«Видение»)

«Живая колесница мирозданья» (живая, потому что трепещущая звездами) — это образ такой динамичности, что он не может замкнуться в собственных ассоциациях; они овладевают всем текстом, пронизывают его до конца.

Лермонтов еще не печатался. Тютчев прошел стороной. Зато с Пушкиным московским шеллингианцам пришлось встретиться лицом к лицу. История заставила их решать вопрос об отношении к Пушкину как вопрос самый значительный и неотложный, и они в целом решили его отрицательно.[1] Признание в этом кругу получил, собственно, только «Борис Годунов», отвечавший требованию исторической и национальной проблематики. Лирика же Пушкина с удивительной слепотой была ими отнесена к разряду «бездумной» поэзии.

В 1826 году, в связи с подготовкой к изданию «Московского вестника», любомудры сделали попытку вовлечь Пушкина в круг своих интересов. Ожидания их оказались тщетными. Свидетельством этих ожиданий является послание Веневитинова к Пушкину, в котором он трактует Пушкина как ученика Гете. Это было явной натяжкой, и эту трактовку скорее следует понимать как предложенную Пушкину программу его будущего развития.

Еще двусмысленнее шевыревское послание к Пушкину 1830 года. Шевырев призывает Пушкина возродить мощь русского поэтического языка, идя по стопам Ломоносова и Державина. Попутно дается уничтожающая характеристика современной русской поэзии:

Лишь только б ум был тихо усыплен
Под рифменный, отборный пустозвон...

А ведь эта современная поэзия была прежде всего поэзией Пушкина. В сущности Шевырев — разумеется, в замаскированной форме — призывает Пушкина преодолеть самого себя. Не случайно через несколько лет (1835) в отзыве на «Стихотворения» Бенедиктова Шевырев зачислил Пушкина и его соратников в период «изящного материализма» — во-первых, отживший, во-вторых, низший

---

[1] Исключением является замечательная статья Ив. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина», появившаяся в 1828 году.

по сравнению с новым периодом мысли. В качестве поэта мысли Пушкину противопоставлен был Бенедиктов.[1]

Пушкин же тем временем совершал в лирике решающий переворот. Сделанное Пушкиным проливает свет на искания, нередко смутные, современных ему поэтов и на будущие судьбы русской поэзии.

Один из основных лирических жанров 1820-х годов — элегия; и в ней Пушкин первоначально полностью сохраняет классическую «батюшковскую» традицию. Но сквозь условную ткань этого стиля очень рано начинают проступать новые черты психологической конкретности (в том же направлении движется и элегия Баратынского). При этом Пушкин, в отличие от многих поэтов-романтиков, осуществляет индивидуализацию лирики не через образ лирического героя. Для Пушкина важнее другое — то, что можно назвать *лирическим событием.* Лирическое событие не следует смешивать с повествовательным сюжетом, который может быть присущ лирическому стихотворению. Речь идет о другом — о некой развивающейся ситуации, конкретной и единичной, которая поэтически обобщается, в то же время сохраняя свою единичность, неповторимость.

Классическая русская элегия начала века строилась иначе. Поэт мог, разумеется, исходить из конкретного события, даже из биографического случая. Но случай этот оставался за текстом, поглощаясь миром поэтических символов. Так, например, широко известная в литературных кругах история несчастной любви Жуковского и Маши Протасовой составляла подразумеваемое, а не непосредственное содержание его любовной лирики, в том числе и переводной. Индивидуализируя лирическое событие, Пушкин открыл дорогу лирике Тютчева, Лермонтова, Фета, Некрасова и всей последующей.

Лирика Пушкина 1830-х годов выражала сознание конкретного, современного, исторически обусловленного и исторически мыслящего человека.[2] Поэт любомудров также, конечно, выражал некое состояние современного сознания, но выражал его в формах, отрешенных от действительности, абстрактных и как бы вневременных. Язык этого поэта — условно-поэтический и тоже как бы вневременный — был непригоден для поэзии исторической и современной действительности.

Еще в заметке 1828 года Пушкин протестовал против «услов-

---

[1] «Московский наблюдатель», 1835, № 3, с. 8.

[2] Об исторических и социальных определениях авторского образа зрелой лирики Пушкина см.: Г. А. Гуковский, Пушкин и проблемы реалистического стиля, М., 1957, с. 280—291.

ленного, избранного» литературного языка, против «условных украшений стихотворства» и выдвинул требование «нагой простоты». Сущность совершенного Пушкиным великого переворота состояла в том, что лирическому слову возвращен был его предметный смысл, и тем самым поэту дано невиданно острое орудие для выражения насущной человеческой мысли. Слова больше не отбираются ни по лексическому признаку, ни по признаку постоянной принадлежности к той или иной системе поэтических знаков и символов. Стихотворная речь открыта теперь любым словам, то есть любым явлениям действительности. Следовательно, любое фиксирующее действительность слово могло быть теперь превращено в эстетический факт, не становясь при этом иносказанием, условным «сигналом». Таково *специфическое для лирики* выражение нового, реалистического восприятия мира.

Совершенный Пушкиным переворот был делом величайшей трудности. Речь ведь шла совсем не о том, чтобы просто решиться ввести «прозаические» слова в поэтический текст. Само по себе это трудностей не представляло; но путь механических стилистических смешений — это путь Бенедиктова, приводящий нередко к непроизвольному комическому эффекту. У Пушкина речь шла об эстетическом чуде претворения обыденного слова в слово поэтическое. В условных поэтических стилях лирическое слово утрачивало свое предметное значение, свою материальность. В поздней лирике Пушкина оно сохраняет предметность, но этой предметностью оно не ограничено.

В искусстве реалистическом жизненные ценности определяются значением вещей, уже не заранее заданным, как в классицизме и в романтизме, но исторически складывающимся и всякий раз утверждаемым художником. Для Некрасова величайшей ценностью являются судьбы русского крестьянства, и это определит пафос его демократической поэтики. Но для того чтобы у Некрасова некогда «низкие» слова могли прозвучать как самые высокие, нужен был переворот, совершенный Пушкиным.

Для того чтобы обыденное, разговорное слово могло по праву занять место рядом с испытанными символами высокого и прекрасного, оно, это разговорное слово, должно в свою очередь стать представителем заново утверждаемых жизненных ценностей. Так, в стихотворении «Осень» русская природа, уединенная сельская жизнь, слитая с этой природой, управляемая ее законами, являются величайшими ценностями, — в частности, потому, что они предстают нам здесь как условие поэтического вдохновения, творческого акта, о котором, собственно, и написано стихотворение «Осень».

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно, — а я пред ним читаю,
Иль думы долгие в душе моей питаю.

Здесь отчетливо видно, как сфера значительного и прекрасного втягивает в себя, пронизывает собой и тем самым преображает обыденные вещи.

Промерзлый, трескается — эти слова не были бы допущены в классическую элегию; *копыто* — скорее принадлежало к басенному словарю. Но в «Осени» Пушкина все эти предметные слова в то же время выразители идеи вольной сельской жизни, русской природы, вдохновенного труда. Они так же прекрасны — и потому закономерно друг с другом сочетаемы, — как *камелек*, в котором то горит, то тлеет огонь, как думы поэта. Все это равноправно и единой цепью сплетающихся ассоциаций тянется к заключительному образу вдохновения — плывущему кораблю, грандиозному символу, изображенному также вполне предметно («матросы вдруг кидаются, ползут. . .»).

Пушкин показал, что в слово, полностью сохраняющее свою психологическую или вещественную конкретность, может быть вложен огромной силы заряд идеи, социальной и моральной. Тем самым Пушкин решил поставленную временем задачу *поэзии действительности*. Великие лирические произведения 1830-х годов — «Осень», «Из Пиндемонти», «Мирская власть», «Вновь я посетил. . .», «Когда за городом задумчив я брожу. . .», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный. . .» — Пушкин при жизни не напечатал. Впрочем, если бы романтики 1830-х годов и знали позднюю лирику Пушкина, они вряд ли бы ее оценили, поглощенные собственными опытами в области поэзии мысли. Это была не та программа.

В статье «В чем же наконец существо русской поэзии. . .» Гоголь писал: «Пушкин слышал значение свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовию исполнял его».

Поздняя лирика Пушкина принесла плоды в поэзии Лермонтова, Некрасова; но сама по себе она и в 1840-х годах не стала фактом широкого литературного звучания. В конце своей деятельности Пушкин упорно думал над романом в новом, психологическом роде. Замыслы эти не осуществились, но своими стихами последних лет

Пушкин подвел русскую литературу к порогу большой прозы. И в великом русском романе второй половины XIX века будут решаться вопросы, поставленные Пушкиным.

В будущее, однако, вошло не только увиденное Пушкиным, но и многое из того, мимо чего он прошел. Русская литература второй половины XIX века невозможна не только без реалистических открытий зрелого Пушкина, но и без душевного опыта романтиков 1830-х годов, отразившегося и в творчестве второстепенных поэтов этого времени.

Лидия Гинзбург

СТИХОТВОРЕНИЯ

Д. В. ДАШКОВ

Дмитрий Васильевич Дашков (1788—1839) известен в истории русской поэзии своими переводами греческой эпиграммы, имевшими важное значение для развития поэтических стилей в XIX веке. Окончив с отличием Московский университетский благородный пансион (где учился вместе с Грамматиным и Милоновым), Дашков начал службу в Московском архиве ведомства коллегии иностранных дел, а затем в министерстве юстиции, под начальством И. И. Дмитриева, с которым впоследствии сохранял литературные связи. Уже в 1803—1805 годы он печатает в пансионских изданиях («Утренняя заря», «И отдых в пользу») свои переводы с французского. В начале 1810-х годов он — заметная фигура в русской литературной жизни, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, активный сотрудник «Цветника», «Санктпетербургского вестника», «Вестника Европы». В 1810—1811 годах выходят его первые критико-полемические работы, направленные против А. С. Шишкова и обосновывающие общественно-литературную позицию будущего «Арзамаса» («О переводе двух статей из Лагарпа», 1810; «О легчайшем способе возражать на критики», 1811). Дашков противопоставил литературно-политическому консерватизму «шишковистов» либеральную просветительскую позицию молодых писателей из окружения Карамзина. Статьи Дашкова укрепили за ним репутацию блестящего полемиста. В них сложился особый стиль иронической похвалы, развитый затем в пародийных «речах» арзамасцев (речь в похвалу графу Д. И. Хвостову, 1812; «Письмо к новейшему Аристофану», 1815, направленное против А. А. Шаховского). Исключенный в 1812 году из Общества за «похвалу» Хвостову, Дашков становится одним из основателей и активных участников «Арзамаса», где также читает несколько «речей», пишет пародийную кантату против Шаховского и т. д. В то же время он выступает и как теоретик «серьезной» критики, обосновывая просветительский

взгляд на нее как на способ формирования общественного мнения, очищения нравов и просвещения общества («Нечто о журналах», 1812).

По своим литературным симпатиям Дашков — «классик»: античность сохраняет для него значение эстетической нормы; уже в 1811 году он пишет о необходимости изучения античных литератур в подлиннике, хотя сам еще не владеет греческим языком.[1] Его ближайшее литературное окружение составляют Жуковский, Д. Н. Блудов, Батюшков, познакомивший его с Н. И. Гнедичем; много позднее Дашков вспоминал, как Батюшков, «бывало, бежал сообщить» ему «всякое новое... стихотворение» Гнедича.[2] В «Арзамасе» он занят вместе с тем изучением немецкой литературы и философии — Гердера, Якоби, Гете. В 1815 году он читает здесь свои переводы «Парамифий» Гердера.[3] Можно думать, что взгляд Винкельмана и Гердера на античную культуру и, в частности, на антологию как на художественно совершенное выражение определенного этапа исторического бытия человечества и национального характера народа оказал влияние на Дашкова. Во всяком случае, «Антология» Гердера (хорошо известная русским эллинистам 1810-х годов) оказывается для него одним из основных источников при изучении и переводе греческих эпиграмм. Таким образом, традиционно «классицистское» восприятие античности осложняется у Дашкова элементами исторической философии преромантического периода.

В 1817 году Дашков, обративший на себя внимание графа Каподистрия, назначается вторым советником при русском посольстве в Константинополе, уезжает из России и живет в Константинополе и Буюкдере. Он становится очевидцем кровавых греко-турецких столкновений, во время одного из которых был казнен патриарх Григорий. Благодаря вмешательству Дашкова были спасены от гибели десятки греческих семейств. В 1818 году он усиленно занимается греческим языком и читает Гомера и Платона. В письме И. И. Дмитриеву от 1 (13) ноября 1818 года он впервые приводит текст греческой эпиграммы в своем переводе; в дальнейшем цитация

---

[1] «О легчайшем способе возражать на критики», СПб., 1811, с. 55; «Санктпетербургский вестник», 1812, № 1, с. 19; «Русский архив», 1868, с. 590.

[2] Письмо Н. И. Гнедичу (без даты). — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 197, оп. I, № 42. В дальнейшем название этого архива дается сокращенно: ГПБ.

[3] «Русский архив», 1868, с. 839; «„Арзамас“ и арзамасские протоколы», Л., 1933, с. 39—41.

эпиграмм в его письмах становится обычным явлением. В 1820 году Дашков совершает путешествие по Греции, пытаясь отыскать в монастырях греческие и латинские манускрипты, грузинскую библию и утраченные антологии Агафия, Филиппа Фессалоникского и Мелеагра. В его путевых записках (в «Северных цветах» 1825 и 1826 годов) сказывается незаурядный прозаик, развивавший лучшие черты карамзинской прозы — ясность, сдержанность и изящество. Вернувшись в Россию в 1820 году, Дашков помогает Батюшкову и С. С. Уварову в издании брошюры «О греческой антологии» (1820). Его собственные переводы, однако, оказываются первой попыткой переводить эпиграмму «размером подлинника» — элегическим дистихом и воспроизвести как поэтические особенности, так и дух греческого оригинала. Это была принципиальная литературная позиция, сближавшаяся с «неоклассической» позицией Гнедича, которому Дашков писал в 1825 году: «Без вас древняя мера стихов, столь свойственная русскому языку, еще долго осталась бы у нас в одной «Тилемахиде» или в давно забытом стихотворении А. Радищева: к XVIII веку (т. е. «Осьмнадцатое столетие»)».[1] К Гнедичу Дашков нередко обращался за консультацией, в частности в вопросах греческой просодии, которую он стремился изучить в историческом движении и передать при помощи русских гекзаметров и пентаметров. Сделанные им переводы, помимо художественных достоинств, обладают также и филологической ценностью. В самом выборе материала Дашков не был чужд и общественной тенденции; среди его переводов значительное место занимают эпиграммы, воскрешающие дух античного патриотизма, героизма и презрения к смерти. В 1825—1828 годах он печатает их в «Северных цветах», «Полярной звезде» и «Московском телеграфе». Есть основания думать, что Дашков пытался создать образцы оригинальных стихотворений по типу античной эпиграммы (см. примеч., с. 699). Со второй половины 1820-х годов Дашков почти совсем отходит от литературы, занимая ряд государственных постов (товарищ министра внутренних дел, с 1832 года министр юстиции). Он намеревается осуществить введение ряда серьезных улучшений в законодательство (гласного судопроизводства, адвокатуры), он принимает ближайшее участие в подготовке цензурного устава 1828 года — одного из наиболее прогрессивных актов в русском литературном законодательстве XIX века, — однако в условиях консервативной феодально-бюрократической системы усилия его были сведены до минимума. Человек непоколебимой стойкости характера (Пушкин называл его «бронзой»)

---

[1] ГПБ, ф. 197, оп. 1, № 42.

и выдающихся, но не развернувшихся до конца способностей, Дашков поражал современников и своей крайней замкнутостью, холодностью и наклонностью к ипохондрии, вполне раскрываясь лишь нескольким ближайшим друзьям, — более всего Жуковскому.[1]

1. ПРИНОШЕНИЕ ДРУЗЬЯМ

Злата в пути не стяжав, единую горсть фимиама
Странник в отчизну несет лику домашних богов.
Ныне в отчизне и я! С полей благовонных Еллады
Просто сплетенный венок Дружбы кладу на олтарь.
Труд сей был мне утешеньем средь бурь, в болезнях и скорби,
Вам он готовлен, друзья: с лаской примите его!

(1820 ?)

2—45. *ЦВЕТЫ, ВЫБРАННЫЕ ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ АНФОЛОГИИ*

1

ЖЕРТВА ОТЧИЗНЕ

(Диоскорид)

Восемь цветущих сынов послала на брань Дименета;
Юноши бились — и всех камень единый покрыл.
Слез не лила огорченная мать, но вещала над гробом:
«Спарта, я в жертву тебе оных родила сынов!»

---

[1] Биографию Дашкова см.: К. Н. Батюшков, Сочинения, т. 2, СПб., 1885, с. 400 (примеч. В. И. Саитова); сводку данных об отношениях с Пушкиным см. в кн.: Пушкин, Письма последних лет (1834—1837), Л., 1969, с. 396.

2

ЛЮБОВЬ СЫНОВНЯЯ

(Неизвестный)

Бремя священное сыну, отца, из пылающей Трои
Вынес Эней, от него копья врагов отводя.
К сонмам ахейским взывал: «Не разите! жизнь старца Арею
Малая жертва; но мне дар многоценный она!»

3

ОРЕЛ НА ГРОБЕ АРИСТОМЕНА

(Антипатр Сидонский)

Прохожий

Вестник Кронида, почто ты, мощные крылья простерши,
Здесь на гробе вождя Аристомена стоишь?

Орел

Смертным вещаю: как я из целого сонма пернатых
Силою первый, так он первым из юношей был.
Робкие робкого праху пускай приседят голубицы;
Мы же бесстрашных мужей любим могилу хранить.

4

АЯКС ВО ГРОБЕ

(Неизвестный)

Лишь на могилу Аякса фригиец стал дерзновенно,
Праху ругаясь, ирой в гробе обиды не снес.
Страшно воззвал из обители мертвых — и гласом смятенный,
Падшего гласом живый, с трепетом вспять убежал.

5

УТОПШИЙ К ПЛОВЦУ

(Феодорид)

В бурных волнах я погиб; но ты плыви без боязни!
Море, меня поглотив, в пристань других принесло.

6

ГРОБ ИСИОДА

(Алкей Мессенский)

Тело певца Исиода, сраженного в рощах Локридских,
 Предали нимфы земле, в чистых омывши струях;
Сами воздвигнули гроб. И пастыри коз, ему в жертву,
 Сладкое лили млеко, смешанно с медом златым.
Сладко лилися песни из уст почившего старца:
 Вашим Кастальским ключом, музы, он был воспоен!

7

МОЛИТВА

(Неизвестный)

Даруй добро мне, Кронид, хотя бы его не просил я;
 Зло отврати от меня, если б о нем и молил!

8

СУЕТА ЖИЗНИ

(Паллад)

Наг я на землю пришел, и наг я сокроюся в землю:
 Бедная участь сия стоит ли многих трудов!

9

К СМЕРТИ

(Агафий)

Смерти ль страшиться, о други! она спокойствия матерь;
 В горе отрада; бедам, тяжким болезням конец.
Раз к человекам приходит, не боле — и день разрушенья
 Нам обречен лишь один: дважды не гибнул никто.
Скорби ж с недугами жизнь на земле отравляют всечасно;
 Туча минует — за ней новая буря грозит!

10

К ИСТУКАНУ НИОБЫ

(Неизвестный)

Боги живую меня превратили в бесчувственный камень —
Камню и чувство и жизнь дал Пракситéля резец.

11

СПЯЩИЙ ЕРОТ

(Платон Философ)

В рощу вступив сенолиственну, мы усмотрели внезапно
Сына Киприды: лицо пурпуровых яблок свежее!
Не был он к брани готов; и лук, и колчан стрелоносный,
Снятые с плеч, вблизи на кудрявых деревьях висели.
Бог любви почивал на ложе из роз благовонных,
Сладко сквозь сна улыбаясь; златые пчелки жужжали,
С нектарных спящего уст прилежно мед собирая.

12

ПЕВИЦА

(Мелеагр)

Паном Аркадским клянусь! ты сладко поешь, Зинофила!
Сладко поешь и смычком движешь по звучным струнам.
Где я? куда убегу? меня окружили Ероты:
Сонм легкокрылый, теснясь, мне не дает и дышать!
В сердце вливают любовь то Пафии прелесть, то музы
Нежный голос... увы! страстью сугубой горю.

13

НЕНАЗВАННЫЕ

(Неизвестный)

«Знай: я люблю, и любим, и дарами любви наслаждаюсь».
— «Кто ж ты, счастливец, и с кем?» — «Пафия знает одна!»

14

АЛКОН

(Лентул Гетулик)

Юного сына узрев обвитого страшным драконом,
Алкон поспешно схватил лук свой дрожащей рукой;
В змия направил удар — и легко-оперенной стрелою,
Сына минуя главу, пасть растворенну пронзил.
Битву безбедно свершив, повесил здесь Алкон на дубе
Полный стрелами колчан, счастья и меткости в знак.

15

К ЖИЗНИ

(Эсоп)

В смерти ль единой, о жизнь, от бедствий твоих избавленье!
Тяжко их бремя нести, тяжко бежать от тебя!
В мире немного отрад: природа, светлое солнце,
Море с землею, луна, звездный на тверди покров.
Прочее всё нам приносит боязни и скорби; за каждым
Счастия даром, увы! Не́меса горести шлет.

16

УМИРАЮЩАЯ ДОЧЬ

(Анита)

Крепко обнявши отца и лицо омывая слезами,
В час кончины ему силилась Клио вещать:
«О мой родитель, прости! от сердца жизнь отлетает,
Взоры померкли, и сень смерти покрыла меня!»

17

УТОПШИЙ, ПОГРЕБЕННЫЙ У ПРИСТАНИ, К ПЛОВЦУ

(Леонид Тарентский)

Сча́стливо путь соверши! Но если мятежные ветры
В пристань Аида тебя, мне по следам, низведут, —
Моря сердитых валов не вини. Почто, дерзновенный,
Снялся ты с якоря здесь, гроба презревши урок!

18

УМЕРШИЙ К ЗЕМЛЕДЕЛЬЦУ

(Неизвестный)

Нивы ужель не осталось другой для сохи селянина!
Что же стенящий твой вол пашет на самых гробах,
Ралом железным тревожа усопших? Ты мнишь, дерзновенный,
Тучны оставя поля, жатву от праха вкусить!
Смертен и ты. И твои не останутся кости в покое;
Сам святотатство начав, оным же будешь казним.

19

К ИСТУКАНУ АФРОДИТЫ В КНИДЕ

(Неизвестный)

Мрамор сей кем оживлен? Кто смертный Пафию видел?
Кто на камень излил прелесть, чарующу взор?
Длани ли здесь Праксителевой труд — иль, о бегстве Киприды
Сетуя, горний Олимп Книду завидует сам?

20

ПЛАЧУЩАЯ РОЗА

(Мелеагр)

Кубок налей и зови трикратно Илиодóру,
Сладкого имени звук с чистым мешая вином.
Дай на главу мне венок благовонный: в нем еще дышат
Масти вчерашни; ее нежной рукою он свит.
Ах, посмотри на цветы: с листков не каплют ли слезы?
Плачет роза любви, милой не видя со мной!

21

БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

(Мелеагр)

Ночь, священная ночь, и ты, лампада, не вас ли
Часто в свидетели клятв мы призывали своих!
Вам принесли мы обет: он друга любить, а я с другом
Жить неразлучно, — никто нас не услышал иной.

Где ж вероломного клятвы, о ночь! .. их волны умчали.
Ты, лампада, его в чуждых объятиях зришь!

22

ГОЛОС ИЗ ГРОБА МЛАДЕНЦА

(Македоний Ипат)

Вас я приветствую, Матерь Земля и Матерь Илифа!
Жизнь мне одною дана; в недрах почию другой.
Краткий я путь совершил; но откуда на оный поставлен,
Кто был в мире и чей — вы не поведали мне.

23

ГРОБ ТИМОНА

(Тимон Мизантроп)

Здесь я расторгнул оковы души, отягченной печалью.
Злые, не знайте, кто я, и смертию гибните злою!

24

⟨ГРОБ ТИМОНА⟩

(Игесипп)

Острые колья и терние гроб окружают — и ногу,
Путник, твою повредят, если к нему подойдешь.
Тимон лежит здесь, людей ненавистник. Прочь от могилы!
С бранью, как хочешь, ступай; только скорей проходи!

25

ФОКИОНОВ КЕНОТАФ

(Фалек)

Чуждых брегов достигая, Фокион смерть обрел внезапно:
Корабль его не снес стремленья черных волн;
Плаватель, с ними боряся, погиб в пучине Эгейской
И вихрем потоплен, крутящим понт до дна.
Гроб сей, ему в отчизне воздвигнутый, пуст; но мать Промифа,
Как птица скорбная, лишенная птенцов,

Каждое утро печаль изливает над оным в стенаньи
И сына тень из мглы безвременной зовет.

26

ОГРАБЛЕННЫЙ ТРУП

(Платон Философ)

Тело ты видишь пловца: примчав бездыханного к брегу,
Море оставило мне, сжалясь, последний покров.
Хищник погибшего труп обнажил безбоязненной дланью:
Малый прибыток ему был святотатства ценой!
Пусть же покровом моим он будет одеян в Аиде;
С ним да предстанет на суд грозному теней Царю!

27

ОТСРОЧЕННАЯ КАЗНЬ

(Паллад)

Ветхую стену опорой избрав, повествуют, убийца
Сну предавался; но вдруг Са́рапис взорам предстал,
Гибель ему прорицая: «О ты, здесь лежащий небрежно,
Встань, для покоя спеши лучшего места искать!»
В ужасе оный отпрянул. И вслед за бегущим мгновенно
Ветхое зданье, валясь, долу обрушилось всё.
Радостно жертву богам спасенный приносит за благость,
Мня, что на гнусных убийц оным приятно взирать!
Са́рапис снова ему в ночном явился виденьи,
Грозно вещая: «Тебе ль благости ждать от богов!
Ныне ты мною спасен; но смерти избегнул безбедной:
Скоро позорную жизнь кончишь, злодей, на кресте!»

28

ЕРОТ ПАСТУХОМ

(Мирин)

Тирсис, приявший от нимф храненье на пажити стада,
Тирсис, кто с Паном бы мог в бой на свирели вступить,
В полдень заснул, отягченный вином, под со́сной тенистой;
Смотрит за стадом Ерот, посох в ручонку схватив.

Нимфы, о нимфы, будите скорей пастуха-звероловца!
Хищным в добычу волкам предан малютка Ерот.

29

ВРЕМЯ, ИСТУКАН ЛИСИППОВ

(Посидипп)

Где изваявший тебя рожден? — «В Сикио́не».
— Как имя? — «Ли́сипп».
— Кто ты, истукан? — «Время, владыка всего».
— Что ты на перстах идешь? — «Бего́м я свой путь совершаю».
— Крылья зачем на ногах? — «Быстрый являют мой бег».
— Сталь изощренную вижу в руке... — «Она знаменует:
Время, как острая сталь, губит земные цветы».
— Веют зачем власы на лицо? — «Пусть, встретясь со мною,
Ловят скорее за них». — Что же нет сзади власов?
— «Смертный! не медля лови, пока я мчусь пред тобою:
После не можешь меня, сколь ни желай, возвратить».
— Мудрый художник тебя почто изваял? — «О прохожий!
Вам в поученье: и с тем лик мой пред храмом воздвиг».

80

СКОРОТЕЧНОСТЬ

(Неизвестный)

Роза недолго блистает красой. Спеши, о прохожий!
Вместо царицы цветов терние скоро найдешь.

81

ОМИР

(Филипп Фессалоникский)

Прежде погаснет сияние вечных светил небосклона,
Илия луч озарит Ночи суровой лицо;
Прежде морские волны дадут нам отраду от жажды;
Или усопшим Аид к жизни отворит пути, —
Прежде, чем имя твое, Меонид, Ионии слава,
Древние песни твои в лоно забвенья падут!

82

ИРОДОТ

(Неизвестный)

Музы на землю сошли; их принял Иро́дот приветно:
Каждая гостья ему книгу оставила в дар.

83

ЕВРИПИД

(Неизвестный)

Памятник сей не прославит тебя, Еврипид; но в потомстве
Сам от забвенья храним славой бессмертной твоей!

84

СОБАКА НА ГРОБЕ ДИОГЕНА

(Неизвестный)

Прохожий

Пес, охраняющий гроб, возвести мне, чей пепел сокрыт в нем?

Собака

Пепел почиет в нем пса.

Прохожий

Кто ж был сей пес?

Собака

Диоген.

Прохожий

Родом откуда, скажи?

Собака

Из Синопы.

Прохожий

Не жил ли он в бочке?

Собака

Так, но оставя сей мир, ныне в звезда́х
он живет.

85

СПАРТАНСКАЯ МАТЬ

(Неизвестный)

С битвы обратно к стенам, без щита и объятого страхом,
Сына бегущего мать встретила, гневом кипя;
Вмиг занесла копие и грудь малодушну пронзила,
Труп укоряя потом, грозно вещала она:
«В бездну Аида ступай, о сын недостойный отчизны!
Спарты и рождших завет мог ли, изменник, забыть!»

86

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

(Неизвестный)

Ныне б, Ира́клит, оплакивал ты бытие человеков
Больше, чем прежде; оно стало жалчее сто крат.
Ты же, Димо́крит, над ним умножил бы смех
справедливый;
День ото дня на земле смеха достойнее жизнь.
Мудрости вашей дивясь, смущает дух мой — не знаю,
Плакать ли с первым из вас или смеяться с другим.

87

ПОЗДНО РАЗБОГАТЕВШИЙ

(Неизвестный)

В младости беден я был; богатство пришло с сединами;
Жалкая доля на век мне от богов суждена!
Лучшие в жизни лета провел я без средств
к наслажденью;
Ныне же средства нашел, силы к веселью лишась.

38

ЕРМИЙ И АЛКИД

(Антипатр Сидонский)

Ермий доволен немногим; всегда благосклонно приемлет
Дани простые: млеко, мед, похищенный с дубов.
Меньше умерен Иракл. Он любит отборные жертвы,
Тучных просит овнов иль годовалых ягнят,
Волка за то отгоняя. О пастыри, будет ли польза,
Если стада истребит бог-покровитель, не волк!

39

ИВИК

(Антипатр Сидонский. II. 28. LXVIII)

Жизни лишен ты убийцами, Ивик, в тот день, как беспечно
Шел по пустынной тропе, брега морского держась.
Помощи чуждый, вопил к журавлям, стремившимся мимо;
С тяжкою смертью борясь, их во свидетели звал.
Глас твой до неба достиг — и несущие казнь Евмениды
Криком сих птиц за тебя мщенье судили свершить
В граде Сизифа. О вы, алкавшие гнусной корысти,
Сонм нечестивых! почто гневом ругались богов!
Так и преступник Эгист, певца погубивший священна,
Скрыться от мстящих очей мрачных Еринний не мог.

40

ПОЛИНИК И ЕТЕОКЛ

(Антифил Византийский. II. 164. XXXVI)

Даже во гробе лежат один далеко от другого
Чада Эдиповы: смерть их не могла примирить.
Вместе и в адский челнок не вошли — неистовой злобой
Братья пылали в живых; злобой в Аиде горят.
Тщетно единый костер приял их враждебные трупы:
Надвое пламень делясь, розно всходил к небесам.

41

СОЮЗ ДРУЖБЫ

(Неизвестный. IV. 252. DCXLII)

Дружбы нашей, Орест, сей дружбы великой и вечной,
Малый из камня олтарь в память я здесь посвятил.
Дух мой с тобою везде! И если теням возможно,
Друга ты не забудь, Лифы вкушая струи.

42

СМЕРТЬ ОРФЕЯ

(Антипатр Сидонский. II. 24. LXVII)

Глас твой не будет дубравы пленять, о певец вдохновенный,
Двигать камни, зверей с агнцами в стадо сбирать;
Песни твои не смирят могущих ветров, ни свиста
Вихрей снежных, ни волн, бурей гонимых на брег.
Ах, ты погиб! и над трупом твоим Каллиопа рыдала,
Мать неутешная, — ей вторил весь хор пиерид.
Нам ли стенать, погребая детей! От смерти жестокой
Даже и милых им чад боги не могут спасти.

43

СЕТОВАНИЕ ОБ УМЕРШЕЙ

(Мелеагр. I. 31. CIX)

Слезы тебе приношу, преселившейся в область подземну,
Дар последний тебе, Илиодора моя:
Горькие слезы я лью, простершись на хладной могиле,
В память взаимной любви, в память минувших утех.
Тщетно, возвыся болезненный глас, я зову из Аида
Милого друга — увы, жертвы мне Смерть не отдаст!
Где ты, мой нежный цветок, едва распустившись, со стебля
Сорван рукою Судьбы, прахом тлетворным покрыт...
Сжалься, молю, о Земля, благая матерь! и, в лоно
Тело Прекрасной прияв, даруй ей сладкий покой.

44

К ИЗВАЯНИЮ ПАНА, ИГРАЮЩЕГО НА СВИРЕЛИ

(Платон. Философ. I. 105. XIV)

Полно, дубрава, шуметь! и ты, с утеса бегущий
Быстрый ручей, не журчи! стихни, блеяние стад!
Пан взялся за свирель: сплетенны из трости колена
К влажным устам приложив, сельскую песнь он поет.
Нимфы стеклись — и, едва муравы касаясь ногами,
Хоры дриад и наяд пляшут по гласу его.

45

К РАЗЛИВШЕМУСЯ ПОТОКУ

(Антифил Византийский. II. 162. XXXI)

Быстрый поток, внезапно в реку обращенный дождями,
В поле разлившись, почто страннику путь заградил?
Ты не наядами был воспоен; но, дар непогоды,
Мутные волны свои с пеной по камням стремишь.
Скоро иссякнут они. И знойное солнце покажет:
Кто ты, надменный? Река или поток дождевой?

Примечания

Алкон. Фалер, сын афинянина Алкона, один из аргонавтов, изобразил на щите свое чудесное избавление. См. Валерия Флакка, I. 398:

— исторгшись из утлого древа, Змий, чешуей пламенеющий, втрое и вчетверо обвил Юношу; дале ж отец, трепеща, тетиву напрягает.

Умерший к земледельцу. В рукописи Ватиканской сочинителем сей надписи назван Антифил.

Безмолвные свидетели. *И ты, лампада.* Древние призывали домашний светильник во свидетели таинств любовных. *Их волны умчали.* Проперций (II.El.XXI.10) говорит то же: quidquid jurarunt, ventus et unda rapit.

Голос из гроба младенца. *Илифа, Илифия* — богиня, присутствовавшая при родах: римляне называли ее *Луциною.*

Гроб Тимона. Для совершенного разумения сих двух надписей нужно прочитать остроумный разговор Лукианов: *Тимон Мизантроп.* Там описаны жизнь и болезнь сего славного человеконенавистника.

Фокионов Кенотаф. Здесь 1-й и 5-й стихи двойные: в каждом прибавлены три хорея к строке дактилической четырехстопной; 3-й и 7-й обыкновенные ексаметры; а прочие — шестистопные ямбы, иногда заменяющие пентаметры в древних надписях.

Отсроченная казнь. *Сарапис* или *Серапис* — бог древних египтян. Нравоучение, содержащееся в сей надписи, прекрасно выражено Гроцием в латинском двустишии:

Non est ista salus, facili quod morte negatum
Defungi: crux est poena parata tibi.[1]

Ерот пастухом. Вероятно, какая-нибудь картина подала стихотворцу первую мысль к сей надписи. Прекрасную часть Греческой анфологии (говорит Гердер) составляют надписи к разным произведениям изящных искусств; и сии отрывки столь выразительны, что в них часто поэт, по-видимому, состязается с художником. Но состязания нет: первый следует за вторым, остроумно описывая его творение или изъясняя то чувство, которое в зрителе хотел возбудить художник.

Время, истукан Лисиппов. Древние часто упоминают о сем изваянии, представлявшем *Время* или *Случай.* Подробное описание оного находим в *Каллистрате*, гл. VI.

Иродот. Известно, что девять книг Истории Иродотовой названы именами девяти муз.

Собака на гробе Диогена. Сей славный киник погребен был в Коринфе, у врат, ведущих к Исфму. На гробе его стояла собака, высеченная из мрамора, с сей надписью. Путешественник Уелер видел точно такой памятник в Венеции, в доме Ерицци, и с сим же надгробием. См. Wheler's Journey into Greece, p. 445.

⟨1818—1827⟩

---

[1] Здоровье дано тебе не затем, чтобы умереть легкой смертью: тебе уготована казнь на кресте (лат.). — *Ред.*

46—49. *НАДПИСИ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ НЕКОТОРЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ ПОЭТОВ*

1

ДАНТЕ

Мраморный лик сей пред небом винит сограждан
жестоких:
Данте, Гесперии честь, в скорби, в изгнаньи стенал.
Тщетно стремил он взоры к отчизне! .. И в месть
за страдальца
Именем славным его будет отчизна сиять.
Сила Флоренции, пышность, где вы? Но тень Уголина,
Образы Ада, Небес — в лоне бессмертья живут!

2

ПЕТРАРКА

Светлые воды Вальклюза и вы, Капитольские стены,
Гласу Петрарки внимав, видели славу его!
Тень Лауры, гордись! Лаурой дышал песнопевец,
В смертном бореньи твое силился имя твердить.
Лира и пламень его для потомства священны —
и вечно
Будет он нежной любви, нежных стихов образцом!

3

ГРОБ АРИОСТА

Скорбных руками харит сей камень воздвигнут
священный
Мужу, кто *брани, любовь, воев, красавиц* воспел, [1]
Творческой мыслью парил в дедале волшебств
и мечтаний.
С миртами лавры сплетя, музы украсили гроб.
Здесь вдохновений ищи, о пиит! Но венца не касайся:
Разве с Орландом дерзнешь силы изведать свои! [2]

4

ТАССО

Всеми дарами владел песнопевец Соррентский; но,
с детства
Счастья не зная, страдал самым избытком сих благ;
Казнию были ему любовь, и гений, и слава;
Ум вдохновенный его в тяжкой неволе угас.
Смертью забытый в напастях, погиб он пред самым
триумфом:
Поздняя честь! кипарис с пальмой победной сплелся.[3]
Тассо, вкуси утешенье в могиле! Бессмертные песни
Имя Гоффреда с твоим, громко звуча, сохранят.
Внемлют с восторгом века: воскресли священные брани;
Небо отверсто, и гроб славою блещет Христов!

⟨1827⟩

Примечания

[1] Начало поэмы Ариоста, Orlando furioso:

Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori,
Le cortesie, l'audaci impese io canto, etc. [1]

[2] Подражание другому месту из той же поэмы. Зербин, собрав оружие Орланда, надписал на дереве:

Armatura d'Orlando paladino;
Come volesse dir: Nessun la mova
Che star non possa con Orlando a prova. [2]

C. XXIV ott. 57.

[3] Всем известно, что певец Иерусалима, освободясь из темницы Феррарской, был призван в Рим кардиналом Альдобрандини для получения лаврового венца в Капитолии, по примеру Петрарки; но умер за несколько дней до торжества, ему приготовленного.

---

[1] Дам, рыцарей, оружие, влюбленность
И подвиги, и доблесть я пою, и т. д. (итал.). *Перевод Ю. Н. Верховского.*

[2] Доспех Орланда паладина;
Он как бы говорит: «Не касайся меня,
Кто не может равняться с Орландом». (итал.). Песнь XXIV, октава 57. — *Ред.*

В. И. КОЗЛОВ

Василий Иванович Козлов (1793—1825) — характерный представитель поэтического дилетантизма 1810—1820-х годов, деятельность которого представляет, однако, историко-литературный интерес. Сын московского купца, одного из основателей Коммерческой академии, Козлов получил хорошее образование (дома, затем на первых курсах Коммерческой академии и Московского университета). Уже в юности он владел несколькими европейскими языками и был ориентирован в области истории, литературы и политических наук. В 1809—1811 годах Козлов — активный сотрудник журналов П. И. Шаликова («Аглая»), М. И. Невзорова («Друг юношества») и М. Н. Макарова («Журнал драматический»), где печатает басни, послания, элегии, стихотворения на случай и многочисленные переводы, прежде всего немецкой сентиментальной и преромантической литературы (ранний Гете, Гердер, Э. Клейст и др.). 1812 год принес разорение семье; Козлов вынужден искать службы и переезжает в Петербург, где становится сотрудником П. П. Пезаровиуса, издателя «Русского инвалида». В 1814—1822 годах он помещает здесь целую серию критических статей и фрагментов, где, следуя романтической эстетике (прежде всего немецкой), обосновывает тезисы о национальных путях искусства, исторических этапах его развития («чувственный» этап — античность, «духовный» — христианское искусство средних веков и т. д.), о национальной и исторической обусловленности и множественности эстетических идеалов и пр. В своих незаконченных «Драматургических отрывках» (1815) он одним из первых в России пытается создать на этих основах целостную теорию романтического искусства (в первую очередь театра), затрагивая и ряд специфических вопросов его поэтики (сценическая природа драматургии, психологические основания драмы) и в ряде случаев предвосхищая теоретическую деятельность русских эстетиков 1820-х годов, в частности любомудров. В защиту немецкой романтической эстетики против эпигонов классической критики он прямо выступил

в 1816 году на страницах «Русского инвалида», начав полемику с антиромантическими статьями «Духа журналов» («Нечто о мнении француза о немецкой литературе»). Несомненный интерес представляет и его критический анализ лингвистической теории А. С. Шишкова («О богатстве языка и о переводе слов», 1815), обширная рецензия на «Полярную звезду» (1824) и др. Поэтическое творчество его постепенно отходит на задний план; он занят черновой журнальной работой, а остаток времени употребляет на посещение светских салонов. Тяготение к высшему свету, приобретавшее у Козлова гипертрофированные формы, вызывало насмешки в литературных кругах (в том числе пренебрежительные отзывы Дашкова и Пушкина), между тем оно было своего рода способом социального самоутверждения бедствующего образованного разночинца, вынужденного жить поденным литературным трудом и остро чувствовавшего власть сословных предрассудков. Его письма 1810—1820-х годов полны жалобами на одиночество, невозможность личного счастья, глубокую душевную депрессию. Это настроение отражается и в немногочисленных сохранившихся стихах Козлова этих лет («К мечтам», 1819; «Весеннее чувство», 1817; «Сонет», 1819; «Сонет» (В. И. А—ой), 1819; «Вечерняя прогулка», 1823; и др.).

Стихи Козлова, эклектически соединявшие стилевые тенденции «архаиков» и карамзинистов, были уже анахроничны для середины 1820-х годов, хотя, наряду с обычной для преромантической эпохи медитативной элегией, он пытался культивировать разнообразные поэтические формы (октаву, сонет). Значительную часть его поэтической продукции составляют, как прежде, альбомные мадригалы.

Литературный круг Козлова представлен в это время А. Ф. Воейковым (с которым он, впрочем, не близок и, по-видимому, тяготится его диктатурой в «Русском инвалиде»), А. С. Шишковым, примыкавшими к «Беседе» А. П. Буниной и Е. Н. Пучковой; наконец, светскими литераторами-дилетантами, как, например, покровительствовавший ему кн. Н. Б. Голицын. Он поддерживает связь с московскими карамзинистами — Шаликовым, Макаровым, Бланком, Головиным и др. В петербургском кругу последователей Карамзина Козлов принят не был. В 1824 году, с предполагаемой реорганизацией «Русского инвалида», Козлов уходит из редакции и по предложению Греча и Булгарина становится сотрудником «Северной пчелы». В это время он уже тяжело болен туберкулезом, к которому добавляется еще и нервное потрясение, связанное с какой-то личной потерей. 11 мая 1825 года Козлов скончался. [1]

---

[1] Некролог Козлова (с биографией). — «Северная пчела», 1825, 14 мая.

50. ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

Вот опять весна явилась
И в долинах и в лугах;
Благодатная спустилась
В светозарных облаках.

Всё творенье воскресает,
Сокрушились цепи вод,
Мрачну душу оживляет
Проясненный неба свод.

И страдалец безотрадный
Разлучается с тоской
И в душе, от скорби хладной,
Снова чувствует покой.

Спящий гений пробудился
И весне хвалу поет.
Ты ли, ты ли возвратился,
Светлый призрак юных лет?

Неужель то предвещанье
Для души весенних дней?
Иль одно воспоминанье
Нежной юности моей?

Нет! Святого провиденья
Беспредельна доброта,
И души моей паренья —
Не минутная мечта!

Жезл *Надежды* преломился
Пусть давно в руке моей!
Образ *Веры* мне явился
Средь блистательных лучей!

22 апреля 1817

51. К МЕЧТАМ

В последний раз меня вы посетили,
Прелестные изменницы — мечты;
В последний раз чело мне прояснили,
На терния рассыпали цветы;
В последний раз мне душу озарили
Сиянием небесной красоты!
В венце из звезд и в розовой одежде
Фантазия вела меня к Надежде.

И юных дней воскресши вдохновенья
Страдальцу вновь блаженство прорекли;
Возникли вновь цветы воображенья,
И радость мне мерцала издали.
Но быстрый миг сердечна обольщенья
Протек — и с ним мечтанья утекли!
Дар сладких дум, забвенье благодатно
Исчезли вновь, навек и невозвратно!

Умолкните ж, смиренные желанья
Застенчивой, но пламенной любви!
Прервитеся, тоскливы ожиданья!
Умерься, жар в пылающей крови!
И ты, о кроткий глас воспоминанья,
К своим меня отрадам не зови!
Не растравляй тем ран моих глубоких:
Отрады нет в страданьях одиноких.

Мечты, о дар, несчастным драгоценный!
Мечты, в бедах единственный оплот!
Питомец ваш, на горесть обреченный,
И в вас уже утехи не найдет!
Терпением и Верой окриленный,
В другой он мир направит свой полет,
Где Истина свои законы пишет
И сонм духов одной любовью дышит.

23 февраля 1819

52. МЕЧТАТЕЛЬ

Среди беспечных детских лет
Я долго жил в уединенье;
Отцовский дом был весь мой свет
И книги — всё увеселенье!

Тогда я спутницей избрал
Тебя, Фантазия златая,
И мир подлунный забывал,
Миры волшебны пролетая.

Кристальны строил я дворцы
И разрушал очарованья;
С злодеев я срывал венцы
И добрых облегчал страданья.

Рукою сильной расторгал
Я власть волшебника лихого
И юных дев освобождал
Из плена тяжкого и злого.

Я жил, как рыцарь и певец,
Награды сладкой ожидая,
И вот лавровый мне венец
Сплела красавица младая.

С улыбкой нежной на устах
Она пред рыцаря предстала;
Небесным пламенем в очах,
Как добрый гений, воссияла.

И рыцарь всех и всё забыл.
Простите, замки, приключенья!
Он ею жил, ей счастлив был,
Он видел в ней красу творенья!..

Но ах! и юность протекла,
И с ней мечты уединенья;
Она с собою унесла
Прелестный дар воображенья.

Увял прекрасный мой венец,
Разрушились волшебны зданья,
Разбита лира, спит певец,
Упал покров очарованья.

Сокрылась дева-красота,
Предмет и дум и песнопенья!
Где ж путь в отрадные места?
Где храм небесна вдохновенья?

Кто спящий гений возбудит,
Мечты в душе возобновляя?
Ужели ввек не прилетит
Ко мне Фантазия благая?

Явися мне, явись хоть раз,
Земного образ совершенства,
И услади мне скорби час
Подобьем райского блаженства.

⟨1819⟩

53. ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА

Элегия

Бывало, в юности моей
Красы весенния Природы,
Зари румяный блеск, реки сребристы воды,
В лесу поющий соловей —
Всё, всё мне душу восхищало,
И если горесть крылась в ней,
Меня прелестная Природа утешала!

Теперь душа моя увяла —
И меркнет неба ясный свет;
Не для меня весна цветет:
Мне осень ранняя настала!
Приятные часы вечерней тишины
Не возбудят во мне угасшие мечтанья;
Счастливой юности прошли златые сны,
Исчезли все очарованья!..

Бывало, с нежною душой,
Я был поклонником прелестных:
В них видел ангелов небесных,
Ниспосланных творцом украсить мир земной.
В их образе мои сбывалися мечтанья;
Я *без надежды* их любил
И — наслажденье находил
Среди жестокого страданья!
Веселье и тоска, и страх и ожиданья
Сливалися во мне: я плакал и грустил,
Но верно счастливее был!..

Теперь, с унылою душой,
Смотрю я часто на прелестных;
Как прежде, вижу в них посланниц я небесных,
Но только их крыло не веет надо мной!
Увы! Рассудок мой холодный
Могущество свое над сердцем утвердил
И, к размышлению открыв мне путь свободный,
Отрады пагубной, но сладостной лишил.
Часы счастливого забвенья
Невозвратимо протекли;
Фантазию, любовь, дар сладкий песнопенья —
Всё, всё с собою увлекли.
Увижу ль юных дев, блестящих красотою,
Пленяющих умом, и нравом, и душою, —
Их слово каждое, их каждый скромный взор
Напомнят мне судьбы жестокий приговор,
И я невольную слезу от них сокрою!

31 мая 1823

54. ПРЕДЧУВСТВИЕ

(Сонет)

Печальна жизнь промчалась с быстротою;
Чуть памятна мне дней моих весна;
От ранних лет она помрачена
Страданием, бедами и тоскою.

И я не знал душевного покою,
И мне любовь в отраду не дана;

Надежды нет — и только смерть одна
Является мне светлою звездою!

Я чувствую: она ко мне близка;
Я чувствую души изнеможенье;
Усталого манит отдохновенье.

Незримая простерта мне рука —
И с радостью сливается тоска,
И с верою — *Твое* изображенье!

15 апреля 1824
Санктпетербург

55. СОНЕТ

А. А. Б—ВОЙ

(При посылке моих сонетов)

Где в зелени лимон благоухает,
Где виноград златые кисти вьет,
Тенистый лавр в величии цветет
И ветвь свою с оливою сплетает;

Где древнее искусство обитает
И каждый шаг есть знаменитый след,
Где резвый сын Поэзии — Сонет
Красу, любовь и радость воспевает, —

Сия страна — предмет моей мечты!
Тебе ж знаком сей край очарованья:
В нем детских лет живут воспоминанья! [1]

И как друзей, с улыбкой примешь ты
Усердием начертанны листы,
Полуденным поэтам подражанья!

9 мая 1824
С.-Петербург

---

[1] А. А. Б—ва провела несколько лет нежнейшей юности в Неаполе, где покойный родитель ее был посланником.

С. Д. НЕЧАЕВ

Степан Дмитриевич Нечаев (1792—1860), сын рязанского уездного предводителя дворянства, получил домашнее образование и, сдав экзамены за Московский университет, поступил в 1811 году актуариусом в коллегию иностранных дел. В 1811—1812 годы он служит переводчиком при канцелярии рижского военного губернатора. В 1817—1823 годах Нечаев — директор училищ Тульской губернии. Уже в середине 1810-х годов он усиленно интересуется проблемами истории и литературы. В 1816 году он член-соревнователь (с 1823 года — действительный член) Общества истории и древностей российских при Московском университете; в 1820 году становится членом университетского Общества любителей российской словесности. Во вступительной речи «О выборе предметов в изящных искусствах» он отдает «высокому» искусству решительное предпочтение перед «прелестным», видя в нравственной пользе основной критерий ценности искусства и настаивая на выборе для поэзии преимущественно национальных или религиозных тем.[1] Эти идеи в известной мере составили литературную основу сближения его с кругом декабристских литераторов. Поэтическая деятельность Нечаева в эти годы крайне интенсивна; он печатается в «Русском вестнике» (1816—1817), «Благонамеренном» (1820, 1823), «Сыне отечества» (1821), но больше в «Вестнике Европы» (1816—1826), «Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете» (1818—1824) и «Дамском журнале» (1823—1825). Его литературную среду составляют московские карамзинисты с сильными «архаическими» симпатиями (М. Н. Макаров, Н. Д. Иванчин-Писа-

[1] «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете», ч. 1, М., 1822, с. 26; ср. «Вестник Европы», 1825, № 2, с. 152.

рев, М. А. Дмитриев); сам он тяготеет к поэзии конца XVIII века, где своеобразно переплелись черты позднеклассической и сентиментальной поэтики. Культ чувствительности, сентиментального «дружества», уединения сочетается у Нечаева с обращением к гедонистической лирике, галантным «стихам на случай» — и, с другой стороны, к дидактическому посланию аллегорического характера и даже оде. Нечаеву не чужда и религиозная резиньяция; однако он осуждает деспотизм, крепостное право, сословные привилегии («Мысли и замечания», 1819—1824). По-видимому, уже в 1818 году он становится членом Союза Благоденствия.[1] Декабристские настроения окрашивают и его педагогические и исторические занятия. Он сближается с А. Бестужевым, Рылеевым и Кюхельбекером, привлекает московских литераторов к участию в «Полярной звезде», сообщает о прохождении в цензуре «Войнаровского» Рылеева и т. д.[2] Нечаев общается с А. Тургеневым, Вяземским, Баратынским, Грибоедовым, Полевым, печатается в «Московском телеграфе» (1825—1826). Вместе с тем он не порывает и с «классиками», в 1824 году с И. М. Снегиревым, М. Т. Каченовским и И. И. Давыдовым разбирает «Пушкина «Кинжал» и романтиков и слепое им удивление, плод невежества» и даже упрекает новейших писателей в отходе от классической поэтики.[3]

В сентябре 1826 года Нечаев командируется для расследования раскола в Пермскую губернию, откуда привозит обширный этнографический и фольклорный материал. Во время поездки он встречается со ссыльным М. И. Пущиным и восстанавливает связи с одним из основателей Союза Благоденствия Ал. Н. Муравьевым, с которым продолжает общение и переписку по религиозным и церковно-административным вопросам[4]; в 1832 году он даже был вынужден давать письменные показания по обвинению в «непередаче начальству известия о заговоре в Ирбите» в 1826 году.[5] 13 июня 1827 года Нечаева причисляют к собственной его императорского величества канцелярии, и он переезжает в Петербург. В 1828 году он женится на С. С. Мальцевой, свойственнице Карамзиных и родственнице обер-

---

[1] «Русская старина», 1910, № 2, с. 346.

[2] См.: «Памяти декабристов», I, Л., 1926, с. 57; И. М. Снегирев, Дневник, т. 1, М., 1904, с. 4; «Литературное наследство», 1956, № 59, с. 144; № 60, кн. 1, с. 207; «Русская старина», 1888, № 12, с. 592; 1889, № 2, с. 318; «Русский вестник», 1861, № 3, с. 325.

[3] См.: И. М. Снегирев, Дневник, т. 1, с. 68; ср. «Вестник Европы», 1825, № 2, с. 150; № 21, с. 15.

[4] С. Штрайх, Провокация среди декабристов, М., 1925, с. 19.

[5] Центральный Государственный исторический архив (Ленинград), ф. 1005, оп. 1, № 49. В дальнейшем название этого архива дается сокращенно: ЦГИА.

прокурора Синода П. С. Мещерского. Он возобновляет отношения с петербургскими литературными кругами; эпизодически общается с Пушкиным. При содействии родных жены он получил должность обер-прокурора Синода (1833—1836); здесь он проявил себя как ревностный и придирчивый чиновник. Литературная деятельность Нечаева в это время почти полностью прекращается, но продолжается его успешное продвижение по службе. Он становится тайным советником и сенатором. Вторую половину жизни он живет в Москве, барином-хлебосолом, лишь изредка позволяя себе приветствовать своих литературных друзей посланиями в духе «домашней литературы».[1]

56. РОСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Обитель мирная отшельников святых,
Где огнь людских страстей без пищи угасает,
О пристань, где валы не страшны бурь мирских!
Спокойствие твое мой скорбный дух пленяет!
Какой отрадою в стенах твоих дышу,
Когда, таинственной тоскою привлеченный,
Наскучив суетой, под кров уединенный
К тебе с надеждою спешу!

Как Неро[2] тихое, твой освященный прах
С благоговением покорным лобызая,
Являет храмов блеск на зеркальных водах
И струй изглаженных равнина голубая
Твоим венчается сияньем и красой, —
Так сердце, возлюбив молитву и смиренье,
Заемлет от тебя небес благословенье
И твой незыблемый покой.

Здесь, веры рубежом от мира отделен,
Пришлец из горестной юдоли заблуждений
Яснее наконец поносный узрит плен
Порочных замыслов, минутных наслаждений,

---

[1] Биографию Нечаева см.: «Остафьевский архив кн. Вяземских», т. 3 (примечания), СПб., 1899, с. 380.

[2] Так называлось в древние времена Ростовское озеро. *Н.*

И чистых слез ценой найдет забвенный след
К отчизне радостной, спасительной свободы;
Отвергнув пленные дары земной природы,
Он встретит новой жизни свет.

Так, каждый здесь предмет и слуху и очам
Есть возрождения немолчный возвеститель:
Благоуханием святыни полный храм,
Мертвец, неверия нетленный низложитель,
Сей лик от благ земных отрекшихся мужей,
Сей старец, десять люстр гробнице приседящий...[1]
Всё — поучения, до сердца доходящи!
Всё — укоризны для страстей!

И горе нам, когда с холодною душой
Над миром, над собой победу созерцаем,
И раку праведных лишь устною мольбой,
Лишь тленной жертвою бесплодно почитаем,
Когда, бесчувственны к примерам их благим,
Не слышим из гробов гремящего воззванья,
Но, тайные враги креста и покаянья,
Обеты тщетные творим...

Обитель мирная отшельников святых!
Пребудь мне в жизни сей врачебницей надежной,
Училищем добра, щитом от зол мирских;
Когда ж настанет час для смертных неизбежный,
Остатки бренные сокрой в своих стенах,
Дай и по смерти мне приют успокоенья,
И миром сладостным надгробного моленья
Мой осени забвенный прах!

⟨*1823*⟩

---

[1] Здесь разумеется тот престарелый иеромонах, который большую часть жизни своей провел при мощах св. Димитрия Ростовского. Искреннее уважение обязывает меня умолчать его имя; впрочем, оно не многим неизвестно. *Н.*

57. К Г. А. Р.-К.

(Послано с Кавказских вод)

В аулах Кабарды безлесной,
Среди вертепов и пустынь,
Где кроет свой приют безвестный
Свободы непокорный сын,
С толпой гостей многострадальной
Твои друзья московичи
Сменяли нектар свой бокальный
На кислосерные ключи:
Один, как труженик, потеет,
Другому зябнуть суждено,
А третий поглядеть не смеет
На запрещенное вино.
Таков удел наш незабавный.
А ты, изменник! ты теперь
Свободой дышишь своенравной
И смело отворяешь дверь
В чертог Европы просвещенной, —
Будь счастлив на благом пути!
Но если молвить откровенно,
Желал бы лучше я найти
Тебя в Москве гостеприимной,
С тобой Кавказ перекорить,
И жертвою от трубок дымной
Заздравное клико почтить.

⟨1823⟩

58. К Я⟨КУБОВИЧ⟩У

Кавказских рыцарей краса,
Пустыни просвещенный житель!
Ты не одним врагам гроза, —
Судьбы самой ты победитель.

Как богатырскою пятой
Вражду черкеса попираешь,
Так неприступною душой
Тоску изгнанья презираешь.

Герой-мудрец! Ты искупил
Двойной ценой венец героя:
В бедах покой свой сохранил
И щит был общего покоя.

10 августа 1823
Кисловодск

59. К НЕЙ

Ангел мой кроткий, друг несравненный,
Скорби душевной милый предмет!
Где наша радость — дни незабвенны?
Где упованья сладостный свет?

Всё вдруг погибло! Грусть нам осталась
Спутницей верной в юных летах;
Тщетно мечтами мысль утешалась:
Скорби обитель в наших сердцах.

Рок вероломный нас разлучает;
Зависти змеи вкруг нас шипят;
Будущность дальну мрак сокрывает,
Бездны под нами взоры страшат.

Но успокойся! Тяжко страданье
Вечно ли будет нас бременить?
Там, за могилой, ждет нас свиданье;
Там позабудем слезы мы лить.

Вздохи, стенанья — всё прекратится!
Бурное пламя стихнет в крови,
В радости мирной дух обновится,
Сердце воскреснет к чистой любви.

⟨1824⟩

60. УМИРАЮЩИЙ ПЕВЕЦ

«Преходит ночь... заря бессмертья занялась...
О вы, которые душой моей владели!

Сберитеся, друзья, в торжественный сей час
Вокруг страдальческой постели.

Прострите нежну длань, спешите усладить
Улыбкою любви боренье смертной муки;
Но тщетной горестью брегитесь омрачить
Минуту близкую разлуки.

Подайте лиру мне: слабеющей рукой
Еще коснуться струн магических желаю...
Отрада дней моих! я слышу голос твой
И снова к жизни воскресаю.

Тебе, благий Отец, за терны и цветы,
Тебе дерзаю петь за всё благодаренье:
В блаженстве и скорбях я зрел твои следы —
Одной любви благоволенье.

Мой жребий славою в сем мире не гремел;
Мои любимые мечтанья не свершились;
Как гость нежданный, мрак могильный налетел, —
И брачны светочи затмились.

Но смел ли я роптать? В замену сих даров
Не ты ли выспренни послал мне утешенья:
К изящному, к добру могущую любовь
И тайну сладость вдохновенья?

Доволен отхожу: я мог благоговеть,
Мог слезы проливать пред благостью твоею;
Мне был знаком восторг, любил я дружбу петь, —
И мой закат утешен ею.

О други! к вам певца последний взор и глас;
Земные чувствия над прахом погасите:
Мы дети Вечного; придет свиданья час,
Надежду верой оживите.

Нет! не расторгнется святой союз сердец:
В свидетели мои при гробе избираю
Неувядаемый поэзии венец;
В залог вам лиру завещаю.

Где вы, мои враги? .. Но я их не имел:
Я скоро забывал и зависть, и гоненья;
Не мщения перун, их злобу одолел
Непобедимый меч смиренья.

И вот готовы мы пред троном Судии
Предстать рука с рукой, в сей жизни примиренны.
О, радость! и враги все братия мои
В обителях Отца нетленных.

А ты, сокрытая любовь души моей,
Одна моим мечтам присущная подруга,
Ты, разгадавшая немой язык очей
Досель таившегося друга!

Добыча ранняя сердечного вдовства,
Ты будешь увядать, убитая тоскою, —
И ласковый Гимен и сладости родства
Навек отринутся тобою.

Спокойная весь день, ты будешь ночи ждать,
Чтоб втайне милые оплакивать надежды,
Чтоб никому сих слез священных не видать,
Чтоб скорбь одна сомкнула вежды.

Я грусть твою постиг, я счел твой каждый вздох,
Но, обручен с иной невестою — с могилой,
Безмолвно угасал, — и искупить не мог
Покоя твоего, друг милый! ..»

С сим словом тихий стон прощальну песнь прервал
И лира сирая из хладных рук упала;
Последний звук в струнах еще не умирал, —
А юного певца не стало.

(1824)

61. ВОСПОМИНАНИЯ[1]

Посвящается Вас.⟨илию⟩ Фед.⟨оровичу⟩ Тимковскому

Я видел край благословенный,
Где изобилие не куплено трудом:
Там зреет виноград, рукой не насажденный,
Роскошный крин цветет в раздоле луговом;
Там с грушей абрикос беспечно обнялися,
И топол не носил порфиры ледяной.
Станицы мирные героев Танаиса,
Священной искони поимые волной!
Я ваши зрел брега, унизанны садами,
Поля, пожатые обломками мечей,
И воды, копьями плененны рыбарей,
И степь, утоптанну летучими конями...

Я пред тобой, седой Кавказ, благоговел,
Когда с подножия громады пятиглавой[2]
Мой взор скользил по дебри величавой
И на тебе встречал творению предел.
Твой грозный царь, Эльбрус великолепный,
Виссоном покровен из девственных снегов,
Средь недоступнейших хребтов
Казался свитою объемлем раболепной.[3]
У ног его кипит вражда,
И рдеют льды от зарева пожаров,
И с воплем падает от роковых ударов
К его стопам прибегшая орда, —
Подъемлясь к небесам челом своим надменным,
Гигант глядит с спокойством неизменным
На пагубу племен, которым жизнь дает
Шумящими со скал его реками;
Окрест один другим сменяется народ, —
Он торжествует над веками,
И, посмеваяся судьбам,
Безмолвный дел великих соглядатай,
Он равну тень дарил неравным знаменам
Ермолова и Митридата.

И вам я жертвы приносил,
О нимфы, славные целебными струями!

В объятьях пламенных на миг лишая сил,
Вы жизни молодой прелестными дарами
Любимца своего спешите увенчать.[4]
С благоговением дерзал я лобызать
Фиал кипящий вод Нарзанны, —
И мнилось радостному мне
Пермеса нектар обаянный
Вкушать в волшебной стороне.
Вокруг стоящи великаны
Покой в долине стерегли
И отделяли от земли
Обитель райскую Игеи;
Тираны северных пустынь
Не слышны были там Бореи;
Один ручей, пробивший грудь твердынь,
Стремился с шумом за наядой
И эхо спящее по вздохам пробуждал;
Я понял эту грусть, и о любви бряцал
Улькуша страстного с застенчивой Кассадой.[5]

Я посетил обширный сад,
По долам Терека цветущий,
И пастырей шатры средь неисчетных стад,
И славных гребенцов гостеприимны кущи.
За бурною рекой враждебны племена
Стрегут измены час, не ведая покоя:
Их ремесло — грабеж, богатство — плод разбоя,
Им ненавистна сел прибрежных тишина;
Их мщенье, притаясь, весь день седит у прага
И рыщет в тьме ночной, как зверская отвага.
Но грозным казакам безвестны страхи битв:
С пищалью меткою союз они скрепляют
И, оградясь щитом молитв,
На все опасности дерзают...
Под кровом дротиков я смело пролетел
За влажный их рубеж к врагам непримиримым,
Чтоб взором вопросить пытливым
Последний вольности оставшийся удел...
Под сенью скромного чертога
Там Дружба Верность обрела[6]
И детская любовь природу превзошла,[7]

Там дивны прелести Востока
Цветут как лилии среди родных полей.
Мне памятен огонь пронзительных очей,
Сей вестник нежности глубокой,
И томность страстная ланит,
Невыразимая словами,
И перси пышные харит,
Прикрыты черными кудрями, —
Всё мне являло в них богинь окрестных гор:
Назвать их смертными не смел я изумленный...
Меж тем маститый бард на лютне вдохновенной
Героев падших пел — и заунывный хор
Чеченцев мрачных песнь передавал долине.[8]
Туманный вечер наступал;
Недолго луч зари на ледяной вершине
Казбека гордого сиял.[9]
Под ризой сумрака обвитый облаками,
Он в погребальный креп казался облечен...
Предчувством тайным возмущен,
Певец тоску свою с слезами
На струны тихо изливал, —
И скорбь он пробудил в униженном народе,
И мнилось мне, он возглашал
Надгробный гимн своей свободе...[10]

Но далее меня манили на Восток
Пирамидальные раины:[11]
Здесь ринувшийся с гор стремительный поток,
Стихая медленно в объятиях равнины,
Как в Дельте благотворный Нил,
Обильный тук полей струями расточает, —[12]
И хитрый армянин, не истощая сил,
В дарах его плоды сторичны пожинает.[13]
Забыв вечнозеленый дол
Боготворимого Гангéса,
Питатель Азии на сих брегах нашел
Отчизну новую с климáтом Бенареса.[14]
Под тенью тутовых ветвей
Художник тканей драгоценных
Здесь полюбил труды свершать уединенны.[15]
Здесь царство пышное зыбей

Залетный гость с полей Мемфийских
Священный Ибис поделил
С красавцем берегов Каспийских,
Блестящим силою и белизною крил. [16]
Здесь наконец усталый отдыхает
Нептун на мягких камышах, —
И ложе влажное отвсюду окружает
Неисчислимый полк и рыб, и черепах. [17]
На север дикая простерлася пустыня —
Стяжанье древнее тритонов и сирен. [18]
Там ныне и ловцов стыдливая богиня,
И козлоногий Пан, и друг забав Силен
Нашли приветную обитель
Среди кочующих племен.
Тяжелой роскоши презритель,
Избегший городских забот,
Затерянный в степях и позабытый светом,
Там праздный элеут под войлочным наметом
Нам неизвестную свободу бережет,
По вольной прихоти на пажитях блуждает
И всё, что зоркими очами обоймет,
Своим владением по праву почитает. [19]
В местах, где мутная волна,
Блуждая на брегах пологих,
Заснула, — и ничто ее не будит сна, — [20]
Я навестил татар летучие чертоги:
Как стая птиц, песчаный дол
Они, пестрея, покрывали,
Но час единый не прошел —
И взоры места не узнали...
Где шумный город был — безмолвная как гроб,
Там тишина уже вселилась!
В глухую даль орда пустилась, —
И скрыпом лишь одним навьюченных ароб
За ней пустыня огласилась. [21]

О мирных пастырей народ,
Куда девался блеск твоей воинской славы!
Где Чингисханов славный род
И кровожадные уставы?
Всё изменилося — и замыслы и нравы:
Восстал отмститель бог, — и попранным врагам

Бесплодну степь дает из милости Россия...
К чьим приближаюсь я разрушенным стенам?
Кто мира знамена святые
В вертепе водрузил, где крылась вечна брань?
Лобзай меч грозный Иоанна,
О пышной Волги дочь венчанна,
Любимая Гермием Астрахань!
Благоговей пред дивными следами
Во всем Великого Петра![22]
Как туча, облечен громами,
Летел он с Севера — и реки лил добра:
По манию его, добыча запустенья,
Расторг тиранства цепь порабощенный Юг;
Под юной пальмой просвещенья
Нашли прохладну тень искусства и досуг;
И Мономахова порфира,
Простертая Петром на раменах полмира,
И Запад, и Восток прияв под свой покров,
Европу, Азию узлом родства связала,
И Бельта с Каспием, с Биармией Бенгала
Сдружила счастливой разменою даров.

Сарепта скромная! ужель когда забуду
Благочестивую любовь твоих детей?
Я не застал уже тебя в красе твоей:
Развалин обгоревших груду,
Как сонм угрюмый голых скал,
Мой огорченный взор на Сарпе повстречал.[23]
Но вскоре грусть моя в святое умиленье
С отрадой тайной перешла...
Я видел торжество покорного терпенья
Над искушением нечаянного зла:
Стихия грозная, все блага поглощая,
Сокровища сердец похитить не могла.
Там с Трудолюбием Надежда молодая,
Порядок строгий с тишиной
И Вера твердая с молитвою смиренной
Опять грядут чредой обыкновенной
Довольство расточать и охранять покой
На страже братства неизменной.
Отселе началось владычество степей,
Стократ засеянных киргизскими стрелами;

Отсель Царица рек обилие зыбей
Вращает медленно широкими браздами,[24]
Чтоб данью, собранной от снеговых вершин
Валдая, Веси и Рифея,
Зной лютый утолить полуденных равнин.[25]
Отсель ее брега, в дали пустой чернея,
Как стелющийся дым, теряются в очах.
И вдруг донских валов гора сторожевая,
Чело седое воздымая,
Сретает странника Европы при вратах...
Природа ждет его иная:
Прохлада рощей, шум ручьев,
Веселые пригорков виды,
Между пестреющих холмов
Златые класов пирамиды
И нежный изумруд лугов —
Всё сердце веселит, всё громко возвещает
Пенатов сельских благодать,
И, безопасностью хранимая, блистает
На всем досужества печать.

Но далее еще прелестнее картина,
Резвее фауны, дриады веселей,
Приятней стелется равнина,
Щедрей благая Элевзина[26]
С Помоною делит наследие полей.[27]
И наконец тебя усматривают взоры,
Священный Алаун, отеческие горы,
Где тихий Дон, свою оставя колыбель,
Струями плещется, как счастливый младенец, —
Где в юности моей, брегов его владелец,
Я в первый раз прижал пастушечью свирель
К устам, трепещущим от радости безвестной...
О милой родины страна,
Какою тайною прелестной
С душою ты сопряжена?
Что мне перед тобой все красоты чужбины?
Что может заменить безмолвный сей привет
Знакомой от пелен долины,
Не изменившейся от лет
Нас изменяющей судьбины?

Нет! боле не пленит меня роскошный Юг
Ни ясностью небес, ни вечными цветами:
Я предпочту всему родное царство вьюг
С его глубокими снегами.
Одна улыбка вешних дней
И лета краткое лобзанье
Исполнят всё мое желанье
В семье стареющих друзей.
Увы! немного их в отраду мне осталось:
Мой путь на свете сем между могил протек;
Но сердце от любви еще не отказалось...
О, дайте, дайте мне близ них окончить век!

⟨1825⟩

Примечания

[1] В 1823-м году я был на водах Кавказских не с одним намерением поправить свое здоровье, но гораздо более для того, чтоб удовлетворить справедливое любопытство, чтоб осмотреть весь полуденный Восток России. Из Москвы выбрал я путь кратчайший на Воронеж и Черкасск, но из Георгиевска возвратился в свою сторону совсем другою дорогою, чрез Моздок, Кизляр, Куманскую степь, Астрахань и Сарепту. Стихотворение, к которому присоединены сии пояснительные примечания, есть не что иное как беглый обзор любопытнейших предметов, поразивших меня в сем путешествии.

[2] Гора Бештау, при которой находятся Минеральные источники.

[3] Вершина Эльбруса по справедливости почитается самым высоким пунктом Кавказских Альпов.

[4] Пользование Кавказскими водами обыкновенно разделяется на две части: сначала употребляют теплые серные ванны, которые более или менее приводят в расслабление усиленною испариною; потом подкрепляют себя холодными, кислыми водами, известными под названием Нарзанны или Богатырского ключа. Согласное в цели, но противное в действиях влияние их невольно напоминает древнее сказание о чудесах *мертвой и живой воды*. Разительное несходство в местоположении главных источников и происходящее от того неровное расположение духа еще более присвоивают им сии титла.

[5] Это относится к моему стихотворению «Ручей Улькуш», где упоминается о слиянии сих двух речек в Нарзанской долине. Оно помещено было в Мнемозине и Вестнике Европы 1824 года.

[6] Кому не известны *кунаки* горских народов, сии друзья неизменные, готовые жертвовать имуществом и жизнию за человека, снискавшего их любовь и доверие?

[7] Именитые жители Кавказа отказывают себе в утешении воспитывать детей своих дома — чтоб не повредить им родительским снисхождением.

[8] У горцев есть свои песнопевцы под именем *егоко*. Содержание их рапсодий имеет большое сходство с поэмами шотландскими. Та же природа, та же страсть к военным подвигам. Простые аккорды *пандура*, похожего на цитру, сопровождают голос егоки; к нему обыкновенно присоединяется несколько человек, заключающих каждую строфу однообразным протяжным припевом.

[9] Казбек есть высочайшая гора на Восточной стороне Кавказа.

[10] Решительные меры нынешнего начальника наших войск на Кавказе быстро приближают время совершенного покорения всех горских народов.

[11] Род тополя, лучшее украшение кизлярских садов.

[12] По мере приближения к морю, Терек теряет быстроту свою. Во время разлива, который бывает в летние только месяцы от таяния горных снегов, он наводняет окрестные поля и орошает виноградники посредством каналов, проведенных во множестве с особенным искусством.

[13] Армяне, вызванные Петром Великим на берега Терека, составляют главную и наиболее промышленную часть населения Кизляра.

[14] При устье Терека с большим успехом сеется сарачинское пшено, в котором состоит единственная почти пища азиатских народов.

[15] Шелководство, распространяющееся по всей кавказской линии, в одном Кизлярском уезде доведено до такой степени, что может приносить уже значительную прибыль.

[16] Египетский ибис и великорослый лебедь принадлежат к числу птиц, населяющих берега сего края.

[17] Поросшие камышом западные заливы Каспийского моря наиболее привлекают промышленников выгодною рыбною ловлею.

[18] Есть признаки, несомненно доказывающие, что низменная степь между устий Терека, Волги и Дона покрыта была морем.

[19] Элеуты или элёты есть общее название народа, которого племена, подвластные России и ей сопредельные, известны нам под именем калмыков.

[20] Быстрая в горах Кума не имеет почти никакого течения в степях, где служит рубежом калмыцким и ногайским кочевьям.

[21] *Ароба* или *арба* есть двухколесная телега, особенно употребляемая татарами. Замечательно, что они никогда не подмазывают своих экипажей и нимало не скучают пронзительным их скрыпом. Напротив, между сими номадами господствует мнение, что одному вору свойственно ехать на смазанных колесах так тихо, чтоб не слыхать его было.

[22] Астрахань наполнена воспоминаниями о бессмертном государе: в соборе показывают грамоту, данную еще юным монархом; в арсенале хранят боты, которыми управляла рука, вращавшая кормилом полсвета; в садах ограждают место, на котором отдыхал порфироносный вертоградарь. Везде видишь его изображения, везде слышишь его имя. Кажется, он вчера только оставил облагодетельствованный им город.

[23] Незадолго до моего прибытия две трети благоустроенной Сарпинской колонии соделались добычею пожара.

[24] Под сим титлом трудно не узнать величественной Волги, достойной царского венца между всеми реками России и целой Европы.

[25] Здесь разумеются главные реки, с севера впадающие в Волгу: Тверца, истекающая из окрестностей Валдайских гор, Молога и Шексна, имеющие начало свое в стороне, которая в древности называлась Весью, и Кама, обогащенная водами Уральского хребта.

[26] Одно из наименований богини земледелия, полученное от таинств, которые совершались в честь ее в древней Аттике.

[27] Известно, что в южных наших губерниях плодовитые деревья растут купами в полях, и между пшеницею и просом засеваются многие десятины арбузами, дынями и пр.

62. ПОСЛАНИЕ К ЛЕОНИДУ

(Писано в 1825 году)

Не дивно, Леонид, что юноша мечтает
Блаженство уловить, гонясь за суетой;
Но для чего, скажи, колена преклоняет
Перед богинею слепой
Сей старец, жизнью пресыщенный,
Но тяжким опытом еще не наученный?..

Безумец не познал цены земных надежд!
Вотще был жертвою коварного обмана:
Забыт урок! С толпой младенцев и невежд
К стопам глухого истукана
Он жадный дух свой приковал,
И жизни при конце он жить не
начинал.

Кто ринулся в дедал пременчивых желаний
И совести отверг спасительную нить, —
Брегись! чудовище неистовых алканий
Его готово поглотить...
Из темной бездны нет исхода!
Прости, прости навек надежда и свобода!

Оплачем бедствия собратии своей,
Но, переплыв кой-как сей жизни половину,
Устроим, Леонид, спокойней и умней
Свою грядущую судьбину:
Объявим кабалу страстям
И вольную дадим несбывшимся мечтам.

Для нас, для нас отверст приют уединенья,
Скрижали пиэрид, училище веков!
Сокроем от толпы их тайны утешенья, —
И за утрату прежних снов
В тиши отрадной кабинета
Найдем забвенье зол в святом забвеньи света.

1825

63. К СЕСТРЕ

Мой друг, я был опять в пустынной стороне,
Где жизнь-изменница нам сладко улыбалась
В очаровательной весне,
Где пылкая мечта грядущим утешалась,
Как любовался детский взор
Прелестной далью наших гор.
Всё там по-прежнему: безмолвие святое
Не оставляло сень отеческих лесов;
Река, зерцало голубое,
Рисуется грядой картинных берегов,
Заросший дикий сад еще не заглушает
Тобой насеянных цветов,
И бедный селянин вздохнуть не забывает
При милом имени твоем.
Как в ризе торжества, в убранстве золотом
Представились очам знакомые дубравы;
Роскошной осени рукой
Холмы облечены в багрянец величавый,
Приветствовали мне венчанною главой;
С долины веяла спокойствия отрада,
Безвестная в стенах мятежных городов,
И туск унылый листопада,
Как сумрак летних вечеров,
В душе задумчивость питая,
К воспоминаниям невольно преклонял...
Их рой в краю родном меня не покидал;
Он влек меня туда, где нива гробовая,
Крестов могильных вертоград,
Объемлет Вечного алтарь уединенный —
Где нам останки драгоценны

Святыни под крылом лежат...
Там продолжалася безмолвная беседа,
Там ждал от мертвых я ответа,
Урока ждал в науке жить,
И тайны скорбные для друга и поэта
Искал бессмертьем разрешить.
Окрест ничем не нарушалась
Магическая тишина,
И утомленная природа наслаждалась
Дремотой легкою, предвестницею сна...
Я в сердце ровное вкушал отдохновенье;
В нем страсти пламенной косой
Пожали нежные волненья —
И хладный по себе оставили покой.
Мой вечер наступил — туманный, но безбурный;
Ночь тихая близка, — а там, в семье родной,
Еще есть уголок для погребальной урны...
Так думал я теперь в пустынной стороне,
Где жизнь-изменница нам сладко улыбалась
В очаровательной весне,
Где пылкая мечта грядущим утешалась,
Как любовался детский взор
Прелестной далью наших гор.

15 октября 1825

В. Н. ОЛИН

Валерьян Николаевич Олин (ок. 1788[1] — 1840-е годы) ни по рождению, ни по воспитанию не принадлежал к наследственной дворянской интеллигенции. Сын тобольского вице-губернатора, он получил первоначальное образование, скорее всего, у учителей местного народного училища или семинарии. Начав службу канцеляристом в 1802 году, он до конца не сумел выбиться из числа мелких чиновников. Литературная деятельность Олина началась в кругу писателей Беседы любителей русского слова. Первым его печатным произведением был «Панегирик Державину» (СПб., 1809). Позднее он был принят в члены-сотрудники «Беседы». В это время он неудачно пробует силы в драматургии, сочинив под руководством И. А. Дмитревского трагедию в стихах «Изяслав и Владимир». Ближе всего был Олин к участникам «Беседы», затронутым преромантическими веяниями, — Державину, Н. И. Гнедичу, В. В. Капнисту, которому он помогал в переводах из древних, И. М. Муравьеву-Апостолу, поборнику изучения античности. В 1813 году вышел его вольный перевод поэмы «Сражение при Лоре» Оссиана, за которым последовали более самостоятельные обработки отдельных фрагментов оссианического цикла. Наряду с этим в 1814—1819 годах Олин публикует ряд антологических стихотворений, переводы Горация, Овидия (прозой), римских историков и ораторов.

С 1814 года Олин сотрудничал в «Сыне отечества». В 1818 году он организует «Журнал древней и новой словесности» (1818—1819), одной из задач которого была пропаганда античной литературы. Однако тематика оказалась случайной, и издание успеха не имело. Большинство материалов принадлежало Олину и Я. Толмачеву. Кроме того в журнале приняли участие — видимо, при посредстве

---

[1] Д. И. Хвостов засвидетельствовал, что в 1811 году Олину было 19 лет («Литературный архив», т. 1, М.—Л., 1938, с. 371), в послужном списке 1817 года указано, что ему 27 лет (ЦГИА, ф. 733, оп. 18, № 356).

В. В. Капниста — Ф. Глинка, Н. Кутузов, Я. Н. Толстой, П. Колошин.

В 1820 году Олин окончательно порывает с «Беседой», публикуя рецензию на «Освобожденный Иерусалим» Тассо в переводе А. С. Шишкова и речь при вступлении в Вольное общество любителей российской словесности, вызвавшую одобрение П. А. Вяземского. В лагере романтиков он занял место среди сторонников Жуковского. Однако предпринятая им литературно-критическая газета «Рецензент» (1821) не сыграла никакой роли в литературной борьбе, хотя здесь и появился положительный отклик на «Руслана и Людмилу», разбор стихов Батюшкова и горацианских од Капниста.

В 1824 году Олин принял участие в полемике о «Бахчисарайском фонтане». Выдвинутое им общее определение романтизма как поэзии страстей и характеров, а романтической поэмы как романа в стихах свидетельствовало, что он принял в новом направлении лишь изменение тематики и мелодраматизацию сюжета. Позднее он определил южные поэмы Пушкина как лишенные плана подражания Байрону. «Полтава» и «Борис Годунов» явились для него знамением заката поэтической звезды Пушкина.

Для самого Олина основным признаком романтической поэзии является эмоциональная приподнятость. Он переводит из Шиллера, Мура, Вальтера Скотта, Ламартина, Виланда, Гете. Поэмы Олина «Оскар и Альтос» (1823) и «Кальфон» (1824), благожелательно встреченные критикой, развивали старую оссианическую тематику. Не без влияния Байрона была задумана поэма «Манфред», об Италии рыцарских времен. Сюжет «Корсара» Олин перерабатывает в прозаическую трагедию «Корсер» (1826) по образцу французских книжных драм. В 1827 году он выпустил перевод «Баязета» Расина, сделанный в таком же высоком ключе. Из лирических стихотворений наиболее значительными были проникнутые глубоким личным чувством элегии, по настроению близкие к «Медитациям» Ламартина. Мелкие стихотворения печатались в альманахах, «Литературных листках», «Московском телеграфе» и в изданиях А. Ф. Воейкова, постоянным сотрудником которого Олин сделался после ссоры с Н. Полевым и Ф. Булгариным из-за резких нападок на «Корсера».

В 1829—1831 годах Олин издавал полупериодический альманах «Карманная книжка для любителей русской старины и словесности» и вместе с В. Я. Никоновым литературную газету «Колокольчик» — малопредставительные по составу авторов и, подобно прежним изданиям, прекратившиеся за недостатком подписчиков.

Последнее его сочинение, повесть «Странный бал», часть задуманного романа «Рассказы на станции» в стиле Гофмана и Ирвинга,

появилась в 1838 году. К ней были приложены восемь последних стихотворений Олина. Далее имя его теряется.

В историю литературы благонамереннейший литератор Олин вошел как жертва цензуры. В 1818 году была уничтожена брошюра-оттиск «Письма о сохранении и размножении русского народа» Ломоносова, «Рецензенту» были запрещены переводы из иностранных изданий, за запрещением «Стансов к Элизе» последовал полицейский выговор Олину за выраженное автором недовольство цензурным постановлением. В 1832 году был запрещен роман Олина «Эшафот, или Утро вечера мудренее» из эпохи Анны Иоанновны.[1] Даже «Картина восьмисотлетия России» (СПб., 1833) за излишние похвалы Николаю I удостоилась личного неодобрения императора. Один из немногих писателей, пытавшихся жить литературным трудом, Олин прожил и кончил жизнь в крайней нищете.

Отдельно стихотворения Олина никогда не выходили, хотя еще в 1817 году он пытался предпринять такое издание.[2]

64. КАИТБАТ И МОРНА

(Из Оссиана)

Близ берегов синего моря, в Эрине,
В давние годы двое вождей обитали:
Крепких рушитель щитов Каитбат и Альтос
копьеносец.
Оба любили они прелестную Морну,
Но не были оба в сердце у девы.
Морна любила младого Альтоса; был он прекрасен:
Вдоль по плечам его кудри златые вилися,
Ясного неба денница в ланитах играла;
Многие девы по нем воздыхали.
Тайно в дубраве однажды узрел Каитбат мрачноокий,
Как белогрудая Морна, в объятьях Альтоса,
Страстно главу уклоняла герою на перси,
Томно вздыхала, пила в поцелуях восторги,
Нежные руки вкруг выи его обвивала.
И страшная ревность зажглась в Каитбате!
И меч Каитбата, на Кромле высокой,
Бледной луны в облаках при свете туманном,

---

[1] «Русская старина», 1903, № 2, с. 316.

[2] Сведения об этом имеются в материалах ЦГИА, ф. 733, оп. 18, № 356.

Кровью Альтоса упился.
И труп его бросил в реку убийца-изменник;
И радостен, быстро помчался, обрызганный кровью,
В турску пещеру, где Морна Альтоса к себе ожидала.

«Нежна дщерь Кормака! радость Каитбата!
О, зачем же, Морна, ты уединенна?
Мрачная пещера не твое жилище,
Гор крутых в ущельях ветер наглый свищет,
И из черной тучи ливнем дождь стремится,
И меж ветвий дуба вран кричит обмокший.
Скоро грянет буря! Небо омрачилось.
Ты же, дщерь Кормака, Морна дорогая!
Ты белее снега гордого Арвена.
Кудри твои, Морна, — легкие туманы
Над камнями Кромлы, при вечернем солнце!
Ясны, ясны звезды, но луна яснее;
Много есть пригожих дев младых в Эрине,
Ты же, моя радость, сердцу всех милее!»

«Грозный воин! ты откуда в полночь мрачную притек?
Сын угрюмый Турлатона! вечно Морну ты следишь!
Иль мечтаешь, что насильно можно сердцу милым быть?
Удались, коварный воин! .. что я вижу? где ты был?
Каплет кровь с твоих доспехов, взор твой молнией блестит!
Иль Сваран, сей Царь Локлина, в нашу родину вступил?
Что о лютом сопостате возвестишь ты, Каитбат?»

«Милая дщерь Кормака!
Морна! о Морна! с холма я крутого спустился!
Верный мой лук напрягал я трикраты,
И столько же раз с тетивы спускал я пернатые стрелы;
Стрелы не лгали —
И каждая серну, свистя, на бегу улучала.
Три быстроногие лани — псов моих чутких добыча.
Милая дщерь Кормака!
Ты мне одна в пределах Эрина любезна!
В дар тебе, Морна! сразил я на Кромле еленя:
Был он красив и высок и статен;

На ветви кудрявы делились рога его горды,
Быстро скакал он с камней по камням чрез
бездны кипящи,
Легкостью ног упреждал он и ветры и стрелы...»

«Тщетно всё; тебя, жестокий, не люблю я, Каитбат!
Мрачный взор твой мне ужасен, камень сердце у тебя.
Ты же, милый сын Ардана, мой возлюбленный Альтос!
Ты один мне всё на свете, счастье, радость и любовь!
Ты очам моим прелестней солнца красного лучей,
В бурю черную блестящих вдоль зеленого холма!
Юный витязь сей прекрасный, милый друг души моей,
На холме пужливых ланей он не встретился ль с тобой?
Здесь любезного Альтоса ожидаю я к себе».

«Долго, о, долго ты ждать его будешь!
Утром заря рассыплет по небу багряные блески,
Звонко рогами ловцов огласятся дубравы
и холмы,
Но витязь прелестный с зарей не
восстанет,
Солнце взойдет, а прекрасный ловец на ловитве
не будет:
Острый мой меч усыпил его сном
непробудным.
Праведна месть! Злодей похищал мою
радость!
Я воздвигну ему на бреге заутра гробницу;
Ты ж полюби Каитбата, о Морна!
Славен в боях, и десница его ужасна, как буря».

«Так уж нет тебя, мой милый! сын Арданов, нет тебя!
Рок свирепый!.. Морна! Морна!.. О любезный мой
Альтос!
Рано, рано, друг сердечный, ты востек на облака!
Как прелестный цвет весенний, так у нас ты расцветал;
Черна буря заревела... Где ты? где ты, нежный цвет?»

Так рекла, — и горьки слезы из мерцающих очей
Засверкали, покатились в два ручья на белу грудь.
«Всё свершилось! Где ты, радость?.. Жизнь моя
не расцветет!

Сын жестокий Турлатона! как ты мрачен и свиреп!
Кровью милого Альтоса острый меч твой обагрен,
Дай его несчастной Морне: пусть хотя
в последний раз —
Жить не долго мне на свете! — к сердцу кровь его
прижму!»

И сын Турлатона, смягченный впервые слезами,
Шумный изъемлет свой меч и деве вручает.
Морна железо берет и в сердце вонзает злодею:
Как снежная глыба, отторгнута бурей от холма,
Пал он и к ней простирает кровавые руки:

«Грозна дщерь Кормака! мстительная дева!
Мраками могилы ты меня покрыла.
Сердце леденеет... Морна! заклинаю,
Не лиши героя чести погребенья
И отдай Моине тело Каитбата.
О! меня любила тихая Моина;
Я один являлся в сонных ей мечтаньях.
Мне она воздвигнет в шепотной дубраве
Мирную гробницу; и ловец усталый,
В полдень отдыхая на могильных камнях,
Скажет: «Мир герою! чаду грозной брани!»
И почтит хвалами память ратоборца.
Барды мне отверзут песнею надгробной
Из туманов Лина путь на легки ветры.
Но приближься, Морна! Сжалься над страдальцем!
Извлеки железо из глубокой раны!
Мука нестерпима... Морна! умираю...
Дай, о дщерь Кормака, умереть спокойно!»

И дева, бледна и потоками слез заливаясь,
Робкой стопою едва подошла к Каитбату, —
Вдруг отходящий боец ухватил ее враз за ометы;
. И, с стоном исторгнув железо из трепетных персей...
. . . .
Легки туманы, спуститесь, покройте несчастную деву!
Нощи царица! луна! прими на лучи ее душу!
Морна, прости!.. Как цвет посеченный, прекрасная пала!
Стелются кудри ее по земле, обагренные кровью,
Стонет, трепещет она, сотрясаема хладною смертью.

Турский холм повторил последний вздох злополучной,
И тень понеслась ее тихо в облачны сени.
Предки простерли к ней длани, уклоншись на сизые тучи,
Ярко по дымным, узорным краям луной посребренны;
И трепетным светом, меж тем как неслась она в горни чертоги,
Сквозь ее тонкие ризы воздушны звезды сверкали.

⟨1817⟩

65. ПЕРЕВОД ГОРАЦИЕВОЙ ОДЫ[1]

Velox amoenum saepe Lucretilem
Mutat Liceo Faunus, etc.[2]

Кн. I. Ода XVII

К ТИНДАРИДЕ

Нередко резвый Фавн меняет
На мой Сабинский холм Аркадский свой Ликей,
И коз моих он охраняет
От зноя, ветров и дождей.

Они спокойно в рощах бродят,
Душистых ищут трав, рвут сладкий тимиан,
С пути безвредно в дебрь заходят:
Хранит их златорогий Фавн.

Когда свирелью огласятся
Долины звонкие и высоты холмов, —
В хлевах козлята не страшатся
Ни пестрых змей, ни злых волков.

---

[1] Перевод сей был напечатан за несколько пред сим лет в сем же самом журнале; потом напечатан он был вторично, с некоторыми поправками, 1819 года, в 6 книжке Журнала Древней и Новой Словесности. Ныне, исправив вновь сию переведенную мною Горациеву Оду, принимаю смелость подвергнуть оную мнению беспристрастных любителей отечественной Литературы.

[2] Ликей сменяет милым Лукретилом Фавн быстрый часто и т. д. (лат.). — *Ред.*

Храню к богам благоговенье!
За то и сам от бед богами я храним;
Мои стихи, мое смиренье
Приятны, Тиндарида, им.

Приди ж ко мне — и пред тобою
Из рога полного златых обилье дней
Рассыплет щедрою рукою
Садов богатство и полей!

Укрывшись в сень моей Темпеи,
Ты будешь петь на лад Теосского певца
И Пенелопы и Цирцеи
Улиссом страстные сердца.

Ты будешь здесь, не зная страха,
Лесбийски вина пить под тению дерев,
И с Марсом Фионея-Вакха
Не подстрекнет к раздору гнев.

Здесь не посмеет Кир суровый
Из юных роз венок с кудрей твоих сорвать
И прелестей твоих покровы
С свирепым гневом растерзать.

⟨1817⟩

66. АРКАДСКАЯ НОЧЬ

Вот зажглась луна златая!
Хлоя, свет моих очей,
Выдь из хижинки твоей!
Ночь прекрасна! Распевая,
Слух пленяет соловей.
По муравчатой долине
Перлы влажные блестят,
Моря в зеркальной равнине
Звезды яркие горят.
Посмотри, как водопад,
Говорливый, ясный, пенный,
Лунным блеском позлащенный,

Со скалы в душистый луг
Льет алмазы и жемчуг.
Посмотри, как, прелесть сада,
Спелы кисти винограда
На покате сих холмов
Светят в зелени листов.
Всё волшебно! В плен отрадный
Взор невольно уловлен;
Воздух светлый и прохладный
Ароматом напоен.
Выдь, пастушка дорогая!
Сядем на берег морской
Под кристальною скалой.
Голос с цитрою сливая,
Песню, милая, запой.
И не будешь без награды —
Белокурые наяды,
Девы резвые морей,
Нимфы жидких кристалей,
Волн лазоревых хариты,
Принесут от Амфитриты
Из пещер подводных гор
Пурпуровые кораллы,
Бисер, перлы и опалы,
Дорогой тебе убор.

(1817)

67. УПОВАНИЕ

Элегия

Foss' io... più tosto non nato!
A che, fiero destin! serbarmi in vita
Per condurmi a vedere
Spettacolo si crudo et si dolente? [1]

Guarini. (Pastor fido. Atto III, sc. VII)

Давно ли жизнию кипела в сердце кровь?
Давно ли я, сын лени и свободы,

[1] Лучше бы... Лучше бы мне не появляться на свет! Яростный рок! Зачем сохраняешь мне жизнь, если обрекаешь созерцать зрелище столь жестокое и печальное? *Гварини. (Верный пастух, Акт 3, сц. 7)* (итал). — *Ред.*

На лире пламенной пел страстную любовь,
Призывный глас таинственной природы?
Давно ль, цветя душой, венок из мирт и роз
Я положил на жертвенник Гимена?
Давно ли небеса потоком сладких слез
Благодарил, нося оковы плена?
Но счастие мое едва лишь расцвело
И на заре, как ранний цвет, увяло;
Туманной грустию покрылося чело:
Моей младой сопутницы не стало!
Не стало ангела, которым я дышал,
Которым мне прекрасным мир являлся,
С которым слезы лил и радость разделял,
И пламенной душой моей сливался!

Недуг томительный нося в груди своей,
Она, увы! невинная страдала
И, жизни не вкусив, во цвете ранних дней
Как тихая лампада догорала!
Я зрел, как у нее в ланитах и устах
Весенних роз увянул цвет мгновенно,
Как жизни ясный луч в приветливых очах
Бледнел, мерцал — и гаснул постепенно!
Я слышал, как она (грусть сердце мне рвала!)
У господа в слезах себе просила
Еще хоть две весны, чтоб вспомнить жизнь могла,
Которую в страданиях забыла!
И в сердце, верою исполненном святой,
Не угасал отрадный луч надежды!..
О, вечер страшный! час ударил роковой,
И смерти сон навек сомкнул ей вежды!
И ангел дух ее отнес на небеса.
Плачевные свершились ожиданья!
Где благочестие? где младость? где краса?
О, горькие души воспоминанья!

Рыдая и смотря на милый сердцу прах
(Отчаянья ужасно исступленье!),
Дерзну ль произнести?.. объемлет сердце страх!..
Я упрекнул святое провиденье.
Ах! кто в несчастии быть равнодушным мог?
И небо чьих не слышало роптаний?..

О ты, предвечный дух, непостижимый бог
В своих стезях тяжелых испытаний!
Ты жизни тайный путь мне тернием устлал;
Везде меня судьба встречала злая;
Но я — ты ведаешь — терпел и не роптал,
Дни мрачные надеждой позлащая.
И наконец, я мнил, устал греметь твой гром;
Блеснул очам рассвет блаженства ясный,
И ты согрел мне грудь любви твоей лучом
Во образе сопутницы прекрасной.
Расцвел я сердцем! к ней привыкла жизнь моя,
Бытьем своим она слилась со мною,
И юная чиста была душа ея,
Как лилия, блестящая росою.
Почто ж сей ясный луч ты быстро погасил?
Или, скажи, еще терпел я мало?
Но если праведный я гнев твой заслужил,
Тебе карать меня бы надлежало!
Пускай меня б терзал томительный недуг,
Мне б ранний гроб! и чашу испытанья,
Из длани роковой, иль медленно иль вдруг,
До капли бы я выпил без роптанья.
За что ж невинное, как ангел, существо
Виновному погибло в наказанье?
Вещай мне, дивное вселенной божество!..
И сердцу был ответ твой: *упованье!*

О провидение! о вечная любовь!
Прости, творец, минутному роптанью!
Смирясь, карательный лобзаю жезл твой вновь;
Я человек, я призван к испытанью!..
Ты повелел пчеле мед сладкий собирать
И червячку блестящему светиться,
Дуть ветру, течь воде, былинке прозябать
И смертному в изгнании томиться.
Дерзну ль роптать?.. Хвала премудрости твоей!
Равно твои спасительны законы:
Любимый счастья сын, ликует ли злодей,
Страдают ли невинных миллионы.
И где без игл растут кусты прелестных роз?
За сферами лишь вечна жизни сладость!

Но в сей обители утрат и горьких слез
Крылатою мелькает тенью радость.
Прости, прости, творец, роптаниям моим!
Нет, до небес хула не долетала!
Пред благостью твоей они прешли как дым,
Как тщетный звук разбитого кимвала!
Их сердцу, сжатому отчаянной тоской,
Сопутницы смерть ранняя внушила!
И смерть сия... хвала! лобзаю крест я твой!
Смирив мой ум, дух верой озарила!
Так, *упование*! .. О, сладостный ответ!
Луч из страны, душе обетованной! ..
Блести ж над тучами, мой путеводный свет!
Сияй звездой до пристани желанной!

1822

68. СТАНСЫ

O lacrimarum fons, tenero sacros
Ducentium ortus ex animo! quater
Felix! in imo qui latentem
Pectore te, pia nympha, sensit.[1]
(Gray, Poemata)

Нет, злобою людской и мраком гробовым
Надежд похищенных ничто не заменяет,
Когда под гибельным дыханьем роковым
И мыслей гаснет огнь, и сердце увядает!

Тогда не только роз слетает цвет с ланит,
Но самая душа, лишась очарованья,
Теряет свежесть чувств, и всё ее томит
В пустыне бытия тоской воспоминанья.

Тогда враждебный вихрь страдальцев жалких сих,
Не исчезающих под яростью волненья,
В пучину грозную влечет пороков злых
Или бросает их на камни преступленья.[2]

---

[1] О источник слез, исторгающихся из нежной души! Четырежды счастлив тот, кто ощущает тебя в глубине своей груди, благочестивая богиня! Грей, Стихотворения (лат.). — *Ред.*

[2] Жалкое состояние отчаянных людей, которые сами себя лишают предлагаемого им утешения религиею!

Гроза свирепствует, ревут громады волн;
Не блещут в очи им отрадные светилы...
Уж нет кормы, уже в щепы разбит их челн
И бездна залила их сердцу берег милый!

Тогда несчастного объемлет душу хлад,
Как смерти страшное и мразное дыханье...
Ах! жизнь без прелести и сладостных отрад —
Без дружбы и любви — одно лишь наказанье!

Тогда бесчувственны к страданьям мы чужим;
Нет страсти ни к чему в душе осиротелой.
Блеснет ли взор чела под сумраком густым?
То блеск слезы... но блеск слезы оледенелой!

Появится ль порой улыбка на устах?
Так метеор во тьме могилу озаряет;
Так плющ, виющийся на башенных стенах,
Зубцы их ветхие гирляндами венчает.

«О башня! ты крепка», — прохожий говорит.
И правда, всё на ней снаружи зеленеет;
Внутри ж, под камнями, ужасный змей лежит,
Всё развалилося, всё мрачно и всё тлеет.

Ах! если бы я мог по-прежнему питать
Чувствительности огнь в груди моей застылой!
По-прежнему любить...[1] иль слезы проливать!..
Тогда бы на пути сей жизни, мне постылой,

Отраден сердцу был и мутных слез ручей!..
Мои душевные потери невозвратны,
Я знаю; но в степи, где свежих нет ключей,
И воды горькие для путника приятны![2]

1822

---

[1] Автор разумеет здесь чувство любви чистой и нравственной.

[2] Они и целебны, когда земной странник, познавая лучшее свое высокое назначение, с покорностью предает себя премудрому промыслу, производящему для нас добро из самого зла.

Д. В. Дашков

В. Н. Олин

69. СТАНСЫ К ЭЛИЗЕ

Когда расстались мы, прелестный друг, с тобой,
Скажу ль? из глаз моих ток слезный не катился,
Но грудь оледенил мне холод гробовой,
Тоска стеснила дух и свет в очах затмился.

О, сладостно, клянусь! с тобою было жить,
Сливать с душой твоей все мысли, разговоры,
Улыбку уст твоих небесную ловить
И молча на тебе свои покоить взоры.

Когда вокруг меня спустилась тьма, как ночь,
И разум мой пожрать готов был мрак глубокий,
Надежды свет погас, друзья бежали прочь, —
Взошла ты для меня звездою одинокой.

И кроткие твои, прелестный друг, лучи
Одни лишь надо мной под мраком туч блистали,
Не изменялися, и в грозной сей ночи,
Как взоры ангела, меня сопровождали.

Благословляю я твой благотворный свет!
Он, неожиданный и милый посетитель,
Мне сердце отогрел, и в нем минувших лет
Надежду оживил, как горний утешитель.

Ты зрела моего задумчивость чела,
Мой грустный, мрачный взор и бледные ланиты,
Но улыбнулась мне, в душе моей прочла
И пробудила в ней огонь, под сердцем скрытый.

О дева милая! из смертных всех лишь ты
Под бурей страшною меня не покидала,
Не верила речам презренной клеветы,
И поняла, чего душа моя искала.

Отрадной сению была ты для меня:
Так пальма юная одна в степи унылой,
Росистую к земле вершину приклоня,
Прохладну стелет тень над тихою могилой.

И для чего меня развратный свет винит?
Всех больше мне мои известны заблужденья;
Но в сердце, милый друг, где образ твой сокрыт,
Клянусь, не может быть и тени преступленья.

Пусть зависть на меня свой изливает яд,
Пускай злословия шипит язык презренный.
Что в мненьи мне людей? Один твой нежный взгляд
Дороже для меня вниманья всей вселенной.

Но если небеса, о кроткий ангел мой,
Судили на земле нам вечную разлуку, —
Зачем, прелестный друг, мы встретились с тобой?
Зачем ты подала мне ласковую руку?

О, как бы я желал пустынных стран в тиши,
Безвестный, близ тебя к блаженству приучаться
И кроткою твоей мелодией души,
Во взорах дышащей, безмолвствуя, пленяться.

О, как бы я желал всю жизнь тебе отдать,
У ног твоих порой для песней лиру строить,
Все тайные твои желанья упреждать
И на груди твоей главу мою покоить.

Тебе лишь посвящать, разлуки не страшась,
Дыханье каждое и каждое мгновенье
И, сердцем близ тебя, друг милый, обновясь,
В улыбке уст твоих печалей пить забвенье.

1822—1823

70. РОМАНС МЕДОРЫ

Из 1-й песни Бейроновой поэмы «Корсар», The Corsair

Сокрыта навсегда любовь в душе моей,
Уединенная и тайная для света,
И сердце, нежности подвластное твоей,
Дрожит — в безмолвии — вняв глас ее привета.

В нем теплится, увы! светильник гробовой
И тайным пламенем горит, не угасая;
Но слаб отчаянья прогнать он мрак густой,
Как будто б луч его — горел не озаряя.

О, помни обо мне! Не вспомянув меня,
Безвременной моей ты не пройди могилы:
Страданья одного снести не в силах я —
Забвенья хладного в душе твоей, друг милый!

Услышь сердечный вздох и глас прощальный мой:
По мертвым грусть — не стыд, и веет нам отрадой;
За страсть мою к тебе — пожертвуй мне слезой,
Последней — первою — единственной наградой!

⟨1824⟩

71. РОМАНС ЛОРЫ

Из романтической поэмы в 2-х песнях
под названием «Манфред»

Любовь в душе моей живет;
Она мне жизнь и восхищенье!..
Но что же сердце не цветет
В ее отрадном упоенье?

Любовь, увы! сияет в нем,
Как луч приветливый денницы,
Во всем блистании своем
Закравшийся во мрак гробницы.

О милый друг души моей!
Когда день ясный нам проглянет?
Когда сверкать в руке твоей
Булат ужасный мне престанет?

Звезда пустынная моя!
Прелестный друг и вечно милый!
Люблю тебя!.. но вяну я,
Как цвет над хладною могилой.

Где легкий конь твой прах крутит?
Где ты теперь, пустынный житель?
Где ветр в кудрях твоих свистит?..
Спеши ко мне, мой повелитель!

Забыли очи сладость сна,
Изныло сердце в разлученье;
Предчувствий злых душа полна...
Спаси Манфреда, провиденье!

⟨1824⟩

72. ⟨СМЕРТЬ ЭВИРАЛЛИНЫ⟩

Два дня, томясь, изнемогая,
Очей дремотой не смыкая
И ни на шаг от друга прочь,
Несчастная Сальгара дочь
Над женихом своим рыдала
И плотоядных отгоняла
От праха птиц. И в третий день,
Когда холодной ночи тень
С небес лазоревых сбежала,
Погасли звезды, и роса
На мхах утесов заблистала,
И солнце шло на небеса, —
Ловцы оленей круторогих
И горных ланей быстроногих
В пустыне деву обрели,
Без чувств простертую в пыли.
И сердце в ней уже не билось!
В ее руке сверкал кинжал,
И бледностью чело покрылось;
И ветер, веющий от скал,
По персям девы обнаженным
И яркой кровью обагренным
Златые кудри рассыпал.
Склонясь главой на грудь Кальфона,
Она, казалось, будто спит
И будто сына Турлатона
В своих мечтаньях сонных зрит.

Ловцы могильный ров изрыли
Булатом копий и мечей
И девы прах и прах вождей
Под звуком песней схоронили.
Курган насыпали над рвом
Возвышенный, и весь кругом
Зеленым дерном обложили;
И в вечно юной красоте
Холма на самой высоте
Младую со́сну посадили.
Повесили на ветви рог,
Шелом и меч, броню стальную,
Колчан и арфу золотую,
И дань красе — из роз венок.
И с той поры, когда блистали
Созвездия и озаряли
Небес безбрежный океан,
Три юных тени прилетали
На погребальный сей курган:
Доспехи ратные звучали,
Рог бранный звуки издавал,
Венок на ветви трепетал,
И струны арфы рокотали.
. . . .
. . . .

⟨1824⟩

73. СЛЕЗЫ

Я зрел, как из твоих пленительных очей
Посыпался как град кипящих слез ручей;
И сим слезам я был причиной сокровенной!
О дева милая! о друг мой несравненный!
Ты плакала! .. увы! как выразить, что я
Почувствовал тогда в груди моей пронзенной?
О, каждая слеза твоя,
Как капля нефти воспаленной,
По манью тайному какого-то жезла
Мне в сердце падала и сердце страшно жгла!

В волненьи чувств моих, отчаянный, смятенный,
 Хотел к твоим я броситься ногам,
Прижать тебя к груди, к пылающим устам
И вымолить себе отрадное прощенье,
Или у ног твоих, в страданьях и томленье,
Окончить жизнь — отдать тебе последний вздох;
Но в буре чувств моих я быстро изнемог!
Слеза горячая повисла на реснице —
 И я тебе, души моей царице,
На горькие твои источники тоски,
Забывшись, отвечал пожатьем лишь руки
И взором, коего доднесь ты не встречала, —
И вся душа моя в ответе сем блуждала!
Я чуял смерти хлад уже в моей крови,
Я гас... но сколь любви неизъяснима сила!
Ты улыбнулася — и жизнь мне возвратила!
 И жизнь мне — дар твоей любви!

⟨1827⟩

В. С. ФИЛИМОНОВ

Владимир Сергеевич Филимонов (1787—1858) известен прежде всего своей поэмой «Дурацкий колпак». Сын богатого рязанского помещика, он был уже в 1799 году зачислен на службу в коллегию иностранных дел. В 1805—1809 годах Филимонов учился в Московском университете, в 1811—1812 годах служил в министерствах юстиции и полиции. В 1813—1814 годах Филимонов участвовал в заграничных походах, побывал в Германии, в 1817—1819-м служил вице-губернатором в Новгороде. Литературную деятельность начал в 1804 году. Его первым литературным шагам содействовал Жуковский, который остался для него на всю жизнь главой современной поэзии; высоко ценит он и творчество Батюшкова, с которым у него установились довольно близкие дружеские отношения. Испытав влияние русского и западного сентиментализма (Руссо, Карамзин), Филимонов в своем раннем творчестве остался все же архаистом, враждебным «чувствительности» эпигонов Карамзина и ближайшим образом связанным с традицией XVIII века. Он пишет послания, песни (в том числе стилизации народных песен), любовные стихи в жанре «легкой поэзии», особое внимание уделяет басне. Значительное место в его литературной продукции занимают переводы из Горация; ему принадлежит и не увидевший света полный перевод «Опытов» Монтеня (фрагменты из него Филимонов печатал в своей газете «Бабочка»). В 1818 году его избирают почетным членом Общества любителей российской словесности; он является действительным членом и «михайловского» общества.

В 1822—1824 годах Филимонов живет в отставке в Москве; он ведет жизнь дилетанта-эпикурейца, находя ей философское обоснование в сочинениях Горация, Дроза, Циммермана и др. Круг знакомых его довольно обширен; среди них — юноша Полевой, которому он оказывает покровительство на правах мецената.[1] В 1822 году

[1] «Николай Алексеевич Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов XIX века», ред. и примеч. Вл. Орлова, Л., 1934, с. 131, 528.

выходит сборник «Проза и стихи» — итог его раннего творчества; в начале 1820-х годов он печатается почти во всех журналах.

В 1825 году Филимонов переезжает в Петербург, общается с А. Бестужевым, Жуковским, Вяземским, Пушкиным. В 1827 году он навлекает на себя неудовольствие правительства, подав записку по крестьянскому вопросу и конституционный проект. В его переписке этих лет затрагиваются довольно острые политические темы. В следующем году выходят две первые части его поэмы (повести в стихах) «Дурацкий колпак», над которой он работал с 1824 года. Герой ее, «мудрец» под «дурацким колпаком», не лишенный черт гедониста, противопоставлен «свету» как своего рода «естественный человек». Сюжетной канвой служит автобиография поэта. Поэма имеет подчеркнуто дилетантский, «домашний» характер, повествование окрашено иронией, изобилует отступлениями, сатирическими намеками и зарисовками и лишено сюжетной целостности. Не исключено, что на «Дурацкий колпак» оказали известное влияние выходившие главы «Евгения Онегина»; однако литературная генеалогия поэмы сложнее: она включила элементы «исповеди» XVIII века, стернианства, нравоописательной сатиры, моралистического эссе. Теснее всего она, однако, связана с традицией «домашней поэзии», процветавшей в особенности в московских литературных кругах. Не прошла бесследно для Филимонова и новая романтическая поэзия; он сочувственно упоминает Гете и Шиллера, бывших образцом для русских романтиков, а в позднем романе «Непостижимая» (1841) дает высокую оценку Байрону.

В 1829—1830 годах Филимонов издает газету «Бабочка». Газета была непрофессиональной и малоавторитетной, хотя подчеркнуто ориентировалась на пушкинский круг, противопоставляя себя прежде всего изданиям Греча и Булгарина, как «торговой литературе». В 1829 году Филимонов назначается на должность архангельского губернатора, но уже в 1831 году его привлекают к следствию по делу Сунгурова. В бумагах его были обнаружены письма и документы (в том числе секретные), относящиеся к восстанию 1825 года. Он был отрешен от службы и отправлен в Нарву под надзор полиции, без права въезда в столицы; лишь в 1836 году ему разрешено было жить в Москве.

В 1837 году Филимонов издал «гастрономическую» поэму «Обед». В 1840-е годы он пишет и печатает довольно много, преимущественно басни, которые вышли отдельным изданием в 1857 году; издание это натолкнулось на цензурные препятствия. Умер Филимонов в бедности, растратив свое довольно большое состояние; в по-

следние годы он пытался поддерживать связи с молодыми литераторами (Г. Н. Геннади и др.), однако воспринимался ими как обломок давно ушедшей литературной эпохи. [1]

74. ДУРАЦКИЙ КОЛПАК

Ma nullité se rend justice. [2]

— ѣ — ѣ — ѣ

Вы мне давно колпак связали;
Моих угодно вам стихов.
Вы жизнь мою узнать желали;
Я рассказать ее готов:
И я связал *колпак* — из *слов*.
Склоните дружески вниманье
На *стихотворное вязанье.*
Не жду лаврового венца...
Не знаю нравиться науки;
По крайней мере хоть от скуки
Вы помнить будете певца...

1

Года текут своей чредою...
Я молчаливо жить устал.
Хочу разведаться с судьбою:

---

[1] О Филимонове см.: Пушкин, Письма, т. 1 (1815—1825), под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, М.—Л., 1926, с. 397; Ю. Неводов, Секретное дознание о В. С. Филимонове. — «Литературное наследство», 1956, № 60, кн. 1, с. 571; Л. Г. Кокорева, О жизни и творчестве В. С. Филимонова. — «Ученые записки Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской», т. 66, вып. 4, 1958, с. 49; Л. Ленюшкина, Поэма В. С. Филимонова «Дурацкий колпак». — Там же, т. 116, вып. 4, 1963, с. 284; «Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века», «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1969, с. 687.

[2] Мое ничтожество отдает себе должное (франц.). — *Ред.*

Меня давно мой Демон соблазнял.
Но не легко мне думать гласно:
Восторг? Утих. Мечтать?
Напрасно.
Хвалить? Не мастер я. Бранить других?
Опасно...
Я это слишком испытал.

2

Нет! камешков вперед не буду
Кидать к соседу в огород;
Чужие глупости забуду:
Открыл я брани новый род.
Не оскорбится им народ,
Не вреден он и пользе частной:
Я своего хозяин бытия.
Никто не обвинит меня
В хуле, в бранчивости пристрастной:
Себя злословить буду я.
Хоть это, может быть, моей позволят лире...
Иль, может, снова я, певец, безвестный в мире,
В ничтожестве себя дам повод упрекнуть, —
Что есть, то есть; что будет — будь!
Терпенье слабость в нас, терпенье в нас и сила.

3

Хвала моих друзей меня не обольстила.
Я им кажусь не глуп — я думаю не так;
Меня с весенних лет Фортуна невзлюбила:
Я ей не нравлюсь — я дурак...
Чем отличился я пред светом?
Ходил в усах и с эполетом;
Сундук дипломами набит;
Убор профессорский весь золотом расшит.
Какая польза мне, что я причтен в газетах,
И к пятой степени, в чинах,
И к степени второй, в поэтах?

4

Что ум? Уменье жить. В чем виден он?
В делах.

Его не сыщем мы в классическом ученьи,
Ни в романтических мечтах.
В «Дурацком колпаке», смешном стихотвореньи,
Я это ясно докажу;
Себе ни в чем не помирволю
И, выполняя вашу волю,
Я в *колпаке* мою вам жизнь перескажу.

5

Вы Дарленкуровы читаете ж романы...
Пусть правда русская, в стихах,
На время заменит французские обманы,
Где рыцари любви, в бесчисленных главах,
Вас прозой вялою томят бесчеловечно.

6

Но спор оставя о правах
На скуку русскую, скажу чистосердечно:
Бытописания, конечно,
Не заслужила жизнь моя;
Не славный даром, ни делами,
Я не подвинул думой век;
Я не мудрец, не вождь, не важен меж певцами,
Ни даже *журналист*, однако ж — *человек:*
А человек везде чего-нибудь да стоит.

7

Виновница стихов моих смешных!
Поэт на воздухе волшебны замки строит:
Не разрушайте их...

Глава 1

Que les sottises des pères
Ne se perdent pas pour leurs enfants.[1]

1

О жизни повесть начинаю.
Когда, в предстарческих годах,

---

[1] Пусть дурачества отцов не пропадают для детей (франц.). — *Ред.*

На все дурачества минувших лет взираю,
Не рифма — долг велит воскликнуть: «Ах!»
Родителям моим скажу я не в укору, —
Не мне судить их брачные дела, —
Я выброшен на свет, мне кажется, не в пору.
Увита колыбель не розами была...

2

Фортуны пасынок, не барич, сын дворянский,
Я не в Аркадии — в Москве рожден, в Мещанской.
Когда рожден? Не помню я.
Я не люблю мой день рожденья:
Напоминает он мгновенность бытия...
А это скучно мне, друзья!

3

Лишен я сладких чувств к родительскому дому:
Еще в младенчестве отцом
Я отдан деду был седому, —
Он прежде жил в кругу большом,
Под старость бил хлопушкой мошек.
Мой дед в отставке бригадир;
Он цельных не любил окошек...
Глядел из щелочки на мир;
Гулял между кустов в заглохшем огороде;
Под сению рябин дивился он природе;
А я, при нем, чертил указкою букварь.
Мой дядька — конюх был, наставник — пономарь.
Под стражей бабушки и няньки Акулины,
На выучку, меня учили по-латыни;
Твердил я книги наизусть.

4

О детских летах я одну лишь помню грусть.
В ребячестве мою стесняли слишком волю:
Таков обычай был у прежних стариков;
Я вырос; вырвался из дедовских оков
И пожил шибко в Петрополе.
Товарищей имел двух славных молодцов...

5

Но я не призывал духо́в:
Мефи́стофель ко мне из ада не явился...
И я душой не развратился.
Ты, луч поэзии! мой добрый гений был!
Ты силой творческой мой дух воспламенил.
Мечты прелестные! Щастливые мгновенья!
Мне внятен стал язык богов;
И предо мной таинственный покров
Упал с прекрасного творенья...

6

Призывный с неба глас мне слышался:
Живи!
Ум рвался сбросить в прах невежества оковы;
Прозрели чувства; мне представился мир
новый;
Я жажду ощутил и славы и любви...
Мне сердца не сжимал хлад опыта суровый,
Я в нем, казалося, Природу всю вмещал;
Я жизнью свежею дышал,
Боготворил мои мечтанья...
Восторг поэзии святой
И роскошь вымысла и знанья
Угадывал душой.

7

Я, педантической не убоясь ферули,
Наморщивши дворянское чело,
Ученое избрал по вкусу ремесло:
Тут, с важностью взмостясь на Кантовы ходули,
Всему учился я, старухам злым назло, —
И Хемам, Логиям, и Истикам, и Икам,
Линейкам, точкам и кавыкам...
Знакомы стали мне надзвездные края,
Устав и летопись Природы.

8

В весенние, доверчивые годы
Огромный свиток бытия
Я развернул с благоговеньем;
Седую древность полюбил:
Узнал народов жизнь, их славу, их паденье;
Мир настоящий позабыл.
Я жил в давнопрошедшем мире:
То в Спарте, в Мемфисе, то в Риме, то в Эпире.
Я с чердака вселенной управлял,
Анахронически мечтал:
Сидя недвижимо на сломанном диване,
Студент, то Кесарь гордый в стане,
Самовластитель римский был;
То Мильтиад, карал я персов в Марафоне;
То в Капитолии торжествовал Камил,
В лавроволиственной короне;
То, славой утомлен, я в неге отдыхал,
Лелеясь роскошью любезного народа,
Афинским воздухом дышал...

9

Где ж Греция? Где Рим? Прекрасная Природа?
Где мой высокий идеал?
Где Капитолия? Где общество гигантов?
Я с неба Аттики на русский снег упал...
Меж фрейлин отставных и отставных сержантов,
Смешной, классический чудак,
Я жил *по-книжному* и делал всё не так...

10

Какая ж польза от ученья?
Для просвещенья
Убил я года три;
Я многое узнал *a priori,*
А тайны опыта и успевать уменья
Из книг не вычитал, дурак.
Дурацкий кстати мне колпак.

Глава 2

Grau, theurer Freund, ist alle Theorie;
Und grün des Lebens goldner Baum.[1]

Si la Raison dominoit sur la terre,
il ne s'y passeroit rien.[2]

1

Прельстясь веков минувших славой,
Мой ум стал слишком величавый,
И *окатонился* мой нрав:
Чуждался обществ я, чуждался я забав.
Но от Истории, сей хартии кровавой,
Где нам о щастии так мало говорят,
Где много лгут и много льстят,
Щастливей не был я: она роман печальный,
Нередко спутанный и часто не моральный...
Я перестал его читать...

2

К чему рассудок обольщать?
К чему ходули мне? Мой в мире путь недальный:
Плутарх и Ливий был забыт,
Саллустий пламенный, разгневанный Тацит.
Без них век целый Фирс провел благополучно...
Всю жизнь учиться, право, скучно.
Меж римско-греческих теней
Не всё ж сидеть мне с мертвецами;
И, я не потаю пред вами,
Мне посмотреть живых хотелося людей.
В России солнце греет тоже,
Есть храбры юноши, есть девушки пригожи:
Без греков весело на родине моей...
Так басни книжные — на что же?

---

[1] Сера, дорогой друг, всякая теория, но зелено золотое древо жизни (нем.). — *Ред.*

[2] Если бы Разум царил на земле, на ней бы ничего не происходило (франц.). — *Ред.*

Без них бы смертных род здоровей был, ей-ей!..
На чердаке мне стало душно.

3

На мир прекрасный я взглянул неравнодушно...
Во мне текла не рыбья кровь.
Я не вздыхал по нотам Стерна...
Пылка, неистова, безмерна
Первоначальная любовь!

4

Я в жертву ей принес порыв честолюбивый,
Веселье жизни молодой:
В самом блаженстве нещастливый,
Предавшись страсти роковой,
Я испытал одни в ней муки.
Я был любим. Я слышал их,
Очаровательные звуки,
Язык восторгов неземных;
Я видел их — и взор унылый
И полный чувств и неги милой,
Страданье чистой красоты,
И слезы страсти сокровенной,
И вас, преступные мечты...

5

Но страшный долг... Исполнен ты.
Союз сердец, союз священный,
Разрушен он. Я клятву дал...
Ее сдержал я: оторвал
От сердца образ незабвенный...

6

Сгорая страстью, страсть тая,
В шуму безумного волненья,
В толпе хотел развлечься я;
Искал не радостей — забвенья...

Тогда роман унылый мой
Еще умножился главой...
И в свете женщины не все живут по моде,
Не все с спесивою душой;
Как люди ж, платят дань природе,
И любят тоже, по погоде:
Иные, утомясь скучать в кругу большом,
Иль в деревнях зимой, или в столицах летом,
Иль быть всё с мужем, всё вдвоем...

7

Но мы не остановимся на этом.
Уликой, в чувстве подогретом,
Ни перед кем не согрешу:
Я не сатиру здесь пишу.

8

Скажу лишь просто, мимоходом:
Мне было только двадцать с годом;
Но сбор искусный льстивых слов,
Сердец холодных лепетанье,
Романам старым подражанье,
Мимоходящая любовь
Души моей не шевелила.
Не так она жила! Не так она любила!
Ей голос страсти был знаком,
Знакомо сладкое страданье.
Мне всё мечталось о былом;
Мешало жить воспоминанье...
Чем щастлив был другой, тем не был я щастлив:
Я к радостям моим ревнив.

9

Я был в шуму забав; но чувство не хладело:
Нет! Сердце пылкое хотело
С себязабвением любить,
Восторгом чистым упиваться;
Я всё откладывал, всё медлил наслаждаться,
Я всё *сбирался жить*...

10

Я на лету не рвал мгновенье,
Еще Гораций не прельщал.
Не о минутном упоенье
Я, полн надеждою, мечтал...
Гораций черств для страсти пылкой,
Порывов сердца роковых:
Француз-римлянин, нравом гибкой,
С философической улыбкой,
Хорош для юношей седых.
Я полюбил его ученье,
Как скрылось жизни сновиденье
И мир увидел наяву...

11

Признаньем заключу главу:
Науки — мне не впрок, любовь — мое мученье.
Вполне я щастлив быть не мог:
В ученьи мне мешали страсти,
В любви мешали скучный долг
И часто мнимые напасти...
Ее история жалка.

12

Кто знал ловить земную радость,
На жизнь смотрел не свысока,
Тех весела, безбурна младость,
Любовь шутливая легка;
Она для них игра, забава.
Мне не дал бог такого нрава:
Любви веселой я не знал.

13

С моею странною душою,
Как Вертер-Донкишот, боролся я с мечтою,
Руссо-фанатика читал;
В московском свете представлял
Сентиментальную любви карикатуру;

Петрарка новый я, пел новую Лауру,
И *Яуза* была *Воклюзою* моей...

14

Я, в цвете юношеских дней
Дурак классический от скучного ученья,
Стал романтический дурак
От прихоти воображенья.
В природе светлой я один лишь видел мрак...
Жалел прошедшее, томился ожиданьем;
Мой быт существенный я отравлял мечтаньем;
Бездомный на небе и на земле в гостях,
Довольно пред луной стоял я на часах,
На гробовом шатался поле,
Живал отшельником в лесах!

15

Я, мученик по доброй воле,
Назло грамматики, кой-как,
Без *настоящего,* скитался в мире — *так*...
А мог бы знатен быть, богат, в блестящей доле...
Дурацкий кстати мне колпак.

Глава 3,4

Je ne suis sorti du péril,
Que par un chemin périlleux.[1]

1

О время! Время! Враг! Губитель!
И благодетель и целитель!
Твой яд врачующий помог душе больной...
Одно лишь время в том успело,
В чем не успел рассудок мой:
Томился я — оно летело,
Что изменялось, что старело...

---

[1] Я избежал опасности только опасным путем (франц.). — *Ред.*

2

Не весело всё жить мечтами, наобум;
Да жить и памятью не споро:
Я не забыл, не разлюбил, но скоро
В свои права вступился ум...

1–10[1]

11

Зачем оставил я Кремля седого стены?
В Москве бы чудно поживал:
Играл бы в клобе я, а в опере зевал;
Фортуны б ветреной не испытал измены...
Случилося не так.
Я тени всё ловил, смешной искатель славы...
Мне правду шепчет враг лукавый:
Дурацкий кстати вам колпак.

Глава 5

1

Увидеть свод небес иной,
Иной климáт, иные воды
Бывало мне, в младые годы,
Моей любимою мечтой.
Сбылося юноши желанье:
Осуществилося мечтанье.
С каким восторгом видел я
Давно желанные края!

2

Люблю народ трудолюбивый!
Я весело, щастливо жил
В моей Германии щастливой!

---

[1] Сии строфы пропущены самим сочинителем.

В ней быт простой меня пленил,
Искусство жить обворожило.
Там время мудрое людей
К высокой думе приучило.
Там жизнь итог не вялых дней —
Глубоких чувств и размышленья;
Светлы часы уединенья;
Порядок домы сторожит;
Там труд есть тайна наслажденья,
Мечта забавы золотит.
Веселье там неприхотливо;
Нет трутней, праздностью больных;
Тревоги, скучно-суетливой,
Стихии баричей смешных;
Там нет холодного бесстрастья...
Германия приют любви,
Приют семейственного щастья.

3

Творец! Ее благослови!
Избавь от ратного постоя.
Он хуже пушек, хуже боя...
И без него, ручаюсь я,
Кой-кто, немецкие мужья,
Покойней, верно, были б вдвое;
Без бурь погасли бы их дни;
Того не знали бы они,
Что знать мужьям всего тошнее...
Постой — губитель Гименея.

4

Проказы этого злодея
Я сам частехонько видал...
Матильда, нежная подруга,
Любя существенно супруга,
Скрывает в сердце Идеал
Еще мечтательного друга.
Он сходит к ней
В невнятных снах,

Его, в пророческих мечтах,
Она невидимо видала;
Его всегда, не знавши, знала;
О *нем,* в давно минувших днях,
В твореньях Шиллера читала,
Он гость небесный, не земной...
И ей, таинственной судьбой,
С *ним* предназначено свиданье...

Билет приносят на постой.
Невольно в сердце трепетанье,
Невольно вырвалося: «Ах!»
Какой-то потаенный страх,
Какой-то темный свет надежды,
В ланитах жар, потупли вежды,
Стыдливость робкая в речах...
Вдруг входит,
В доломане алом,
Гусар вертляный и в усах...
Мечта сбылась! Вот бал за балом.
Гуляют немцы на пирах.
А там победа, вечер званый,
Литавры, трубы, барабаны,
Гросфатер важный, быстрый вальс...
Знакомство, новость, разговоры,
Невольный вздох и встреча глаз...
Докучной совести укоры
Стихают в немке молодой;
И о жене своей тамбовской,
Вертясь с красавицей заморской,
Забыл гусар наш удалой.
Мужское сердце — сердце злое,
Жену забыть ему легко;
И в немке кровь не молоко;
Он ей словцо, она другое,
Земля взяла свое земное...
У немки розы на щеках,
Гусар ей веет опахалом...
Жена — *с усастым Идеалом,*
А муж существенный... *в рогах...*

5

Беда от Идеалов в мире!
Романтики погубят нас.
Им тесно здесь, живут в эфире...
Их мрачен взор, их страшен глас,
Раскалено воображенье,
Пределов нет для их ума.
Еще Шекспир — настанет тьма;
Еще Байрон — землетрясенье;
Беда, родись другая Сталь!
Всё так. В них бес сидит лукавый.
Но мне расстаться было жаль
С *философической державой.*

6

О, как Германия мила!
Она, в дыму своем табачном,
В мечтаньи грозном, но не страшном,
Нам мир воздушный создала,
С земли на небо указала;
Она *отчизна Идеала,*
Одушевленной красоты,
И *эстетической управы,*
И Шиллера и Гете славы,
Она — приволие мечты.

7

В стране разумной, в мире старом
Я погулял верхом недаром:
Кормил желудок свой и ум,
Учился мыслить, есть учился.
Я потолстел, я просветился;
Казну умножил светлых дум...
Листок мечтаний философских
Вклеил в дорожный календарь,
А список длинный блюд заморских —
В гастрономический словарь.

8

Но не постиг мой ум тяжелый
Слов важных: *кстати* и *пора,*
Науки нравиться веселой,
Ни мирной тактики двора,
Ни дипломатики армейской.
Пришел домой: опять дурак,
С прибавкой только — *европейский.*
Дурацкий кстати мне колпак.

Глава 6

1

Царей, народов кочеванье,
Святая брань, Наполеон,
Его успех, его изгнанье,
Москва, Бриенна, Эльба... сон...
И что не сон на этом свете?

2

Где *тот*? ..

Но совесть есть в поэте...
Пять глав, и грустных и смешных!
На первый раз довольно их:
Я скоро расскажу другие.
Мы любим *книжки небольшие.*
Нас пронимает дрожь от книг,
Которых не прочтешь и в сутки;
И, право, кстати промежутки
Меж наших авторских услуг,
Какое б ни было творенье:
Приятно — длится наслажденье,
А скучно — лучше же не вдруг...

1824

А. Г. РОДЗЯНКА

Аркадий Гаврилович Родзянка (1793—1846) родился в помещичьей семье на Полтавщине. Детские годы его прошли вблизи от одного из культурных центров Украины — Обуховки и Трубайцев, имений В. В. Капниста и Д. П. Трощинского, с семьями которых он сохранил многолетнюю дружескую связь. В этой среде он воспринял некоторые идеи как декабристского окружения Капниста, так и украинской дворянской фронды, с ее культом национального прошлого и «малороссийской свободы». Литературные интересы его укрепились во время учения в Московском университетском благородном пансионе, где его учителем был известный поэт и теоретик архаистического направления А. Ф. Мерзляков. Уже в 1839 году в письме к А. С. Норову он будет называть себя и своего адресата «воспитанниками Мерзлякова и *классицизма умеренного*».[1]

В пансионе Родзянка выступил как поэт. В 1816 году он переезжает в Петербург и поступает в гвардию. К этому времени он уже известен как автор анакреонтических и горацианских стихов («Призвание на вечер», 1814; «Клятва», 1815; «К Лигуринусу», 1816). Наряду с ними он разрабатывает и высокие жанры классицистской лирики («Властолюбие (подражание Ж.-Б. Руссо)», 1812; «Державин», 1816, и др.). По-видимому, через Капнистов он знакомится с Державиным и сближается с «Беседой любителей русского слова». Наследник просветительской традиции, «архаист», он пишет в 1817 году пародийную балладу «Певец», направленную против Жуковского и шире — против самых основ формирующейся ро-

---

[1] Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, картон 57 (Норов), № 20. В дальнейшем название этого архива дается сокращенно: ГБЛ.

мантической эстетики. Значительное место в его стихах этих лет занимают гражданские темы («Развалины Греции», 1814; «Потомство», 1816). В 1818—1819 годах он служит в лейб-гвардии Егерском, а затем в Орловском пехотном полку. В Петербурге Родзянка входит в круг членов Союза Благоденствия. В эти годы он находится под все усиливающимся влиянием либеральных идей, распространяющихся в гвардии. Его общественная ориентация и связь с литераторами декабризма и декабристской периферии естественно приводят его в общество «Зеленая лампа». Позднее Родзянка вспоминал о противоправительственных стихах, читавшихся в заседаниях общества. Вероятно, здесь же произошло его знакомство с Пушкиным; их отношения вскоре же приобрели дружески-фамильярный характер. Это время — период наибольшего расцвета политического вольномыслия Родзянки, впрочем довольно умеренного. В 1818 году он пишет «Послание о дружбе и любви Аврааму Сергеевичу Норову», где декларативно утверждает примат дружбы, познания и долга над эпикуреизмом и противопоставляет гражданские добродетели древних «робкому страху» и «жизни в цепях» современного поколения. 3 марта 1821 года Родзянка выходит в отставку с чином капитана и в том же году уезжает в Полтаву, в свое имение Родзянки Хорольского уезда, однако продолжает печатать стихи в «Сыне отечества», «Невском альманахе», «Полярной звезде» и других изданиях.

Кризис Союза Благоденствия способствовал росту скептических настроений Родзянки, которые находили, по-видимому, поддержку и в атмосфере кружка Капнистов. К 1822 году он становится в оппозицию к радикальным декабристским кругам и пишет сатиры «Споры» и «Два века», где нападает как на правительственную реакцию, так и на радикализм «демагогов».

Основная часть его поэтической продукции в 1820-х годах — любовная лирика элегического и частью гедонистического характера; художественный уровень ее, как правило, невысок. В 1830 году Родзянка женился на Н. А. Клевцовой, которой посвятил целый цикл стихов 1830—1835 годов; к середине 1830-х годов относятся и его иронические и сатирические стихотворения из быта мелкопоместного украинского дворянства с прежними просветительскими тенденциями (ср. резкую сатиру «Мысли после постановления о выборах дворянства», 1832); он заявляет о своей верности идеям «свободы» и «блага народа» («На холеру», 1830) и в 1835 году пишет «На уничтожение имени малороссиян» — стихотворение, оппозиционное правительству, проникнутое элегическим сожалением о славном прошлом Украины и посвященное «памяти вельмож малороссийских».

Некоторый интерес представляет и его «Послание к Н. П. Базилевской» (1842), с резко иронической характеристикой «торговой литературы», в частности «Библиотеки для чтения» Сенковского.[1]

75. ПРИЗВАНИЕ НА ВЕЧЕР

Товарищ, бог веселья
Тебя сего же дня
На праздник новоселья
Зовет через меня
И просит непременно,
Чтоб ровно в семь часов
К дружине неизменной
Родных и земляков
Ты сделал одолженье
Пришел поесть, попить,
Исчерпать наслажденье
И негу истощить!
И вкус, и взор пленяя —
И сласти, и вино,
И чаша пуншевая
Среди стола давно;
Во мгле благоуханий,
В венках из повилик,
Средь плесков, средь лобзаний
Составим братский лик.
В честь Вакха лик составим
И, вспомня старину,
Его, его прославим!
Хвала, хвала вину!
Лишь в грозде винограда
Прямая нам отрада,
Друг, в жизни сей дана;

---

[1] О Родзянке см.: Пушкин, Письма, т. 1 (1815—1825), под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, М.—Л., 1926, с. 274, 377; «Пушкин. Статьи и материалы», вып. 3, под ред. М. П. Алексеева, Одесса, 1926, с. 80; В. Э. Вацуро, Пушкин и Аркадий Родзянка. — «Временник Пушкинской комиссии, 1969», Л., 1971, с. 43.

И сердца наслажденья,
И музы вдохновенья
Слабеют без вина.
Оно творит героя,
Полет уму дает
И, нежа и покоя,
К бессмертью нас ведет.
В счастливый час безделья
Средь плясок и веселья
Седой Анакреон,
Вином одушевленный,
Напиток пел бесценный,
И тем бессмертен он.
Ахилл и все герои,
Что башни гордой Трои
Низринули во прах,
Упившись сим нектаром,
Летели с новым жаром
Искать побед в боях!
К Зевесу часто боги
В небесные чертоги
Сходилися на пир;
Согласно наливали,
Согласно осушали
При звуке горних лир.
Любовник Цитереи,
Друг братства, шумный Вакх
Златое время Реи
Восторга на крылах
Нам, смертным, возвращает,
Нас, смертных, приближает
К блаженству и богам.
Бесценны вспоминанья,
Прелестны ожиданья
Предстанут мигом нам,
Когда из полной чаши
Прольется в души наши
Токая светлый дар;
И в чела и в ланиты,
Предвестник Афродиты,
Румяный вступит жар.
1814

76. СПОРЫ

Голов сто, мнений сто; год новый — вкус иной;
Что город, то устав; всё шатко под луной.
Мысль ближних для себя, мой друг, исследуй здраво;
В сем даре лучшее, поверь мне, смертных право.
Но не кидайся в спор: намерений богов
Доселе не проник первейший из умов;
Та малость, в коей мы не можем сомневаться,
Столь же пуста, как мы, не стоит чтоб заняться;
Мир полон глупостей, и рассуждать учить —
Есть новую болезнь дурачеству привить.

Сей пробегая мир, что видим мы? Сомненья,
Людей неспящих бред, ошибки, заблужденья;
Здесь в пурпуре конклав, там под чалмой диван,
Тут муфти с бородой, дервиш или иман,
Здесь бонз, талапоин, там лама, тут прелаты,
И древни ра́ввины, и новые аббаты,
Для словопрения крепка ли ваша грудь?
Хотите ль спорить вы? Скорей сбирайтесь в путь.

Мир тонет ли в крови от славных драк героя,
Елены ль красоту пожаром платит Троя,
В Москве ль помещики мотают жизнь в пирах
Иль разоряются за край межи в судах,
Державину ль Хвостов невольно рукоплещет
И черной зависти огонь во взорах блещет, —
Нимало не дивлюсь: рожден так человек —
Таким он был и есть, таким он будет ввек.
Но как сообразить порывы нашей страсти
Ум ближних подчинить суждений наших власти?
Зачем и почему и по правам каким
Ты хочешь старшим быть над разумом моим?
О, как несносны мне болтун неугомонный,
Невольник новых мод, народ полуученый,
Отрывистый остряк, разносчик злой молвы,
Звонящий то, чего б знать не хотели вы;
Гиберты наших дней, Констаны, Лафаеты, —
В министры их прямят и Прадты, и газеты;
Читая всё, учась слегка всему, они
В военных сведеньях поспорят с Жомини,

В законах с Трощинским, во вкусе с Мерзляковым
И в знаньи языка славянского с Шишковым.
Смотрите, в жар какой их малость приведет —
Фраз, возражений тьма, но всё ответа нет.
«Не прекословьте мне, я как пять пальцев знаю;
Не может быть; пустяк, я в этом уверяю;
Для чувства правил нет!.. но нужен смысл всегда!..
Об истине идет коль дело, господа,
Приятною должна вам всякая быть новость!..»
Прекрасно, но к чему, зачем такая строгость?
Увы! судили мы Финардия прыжки,
Ум Греча, Макассар и Глебова стишки.

Случайно знали ль вы покойного Перфила?
Страсть спорить старика до петухов будила.
О стычке ль речь идет, где вы дрались с полком, —
Он помнит лучше вас, как, с кем, когда, при ком;
Пусть вашей саблею вы то решили дело —
Он письма получил и вам перечит смело,
И Дибичу в глаза расскажет, как Вандам
Разбит, иль как Париж отдался в руки нам.
Но в прочем не дурак и человек достойный;
Но с ним и друг его не встретится спокойно,
Иль, дружеством скрепив терпение свое,
Молчит и слушает крикливое вранье.
Однажды наш Перфил, забывшись в жарком споре,
С ругательством в устах и с бешенством во взоре,
Дверь настежь распахнув, вдруг кинулся на двор,
Дав, слава богу, нам свободу и простор.
Племянников своих он в год довел, не боле,
С наследством и с собой расстаться поневоле;
Одышкой страждущий сосед его Хапров
Дом запер для него приказом докторов;
При всех достоинствах один сей недостаток
Ославил, отравил Перфила дней остаток.
Он в церкве оттого горячкой заболел,
Что проповеднику перечить не посмел,
И, умирающий, с наитием проказным
Он в спор втянул попа с служителем приказным.
О небо, мир ему пошли в краях теней,
Который дал он здесь нам смертию своей,
Когда злодей смолчал хотя пред божьим троном.

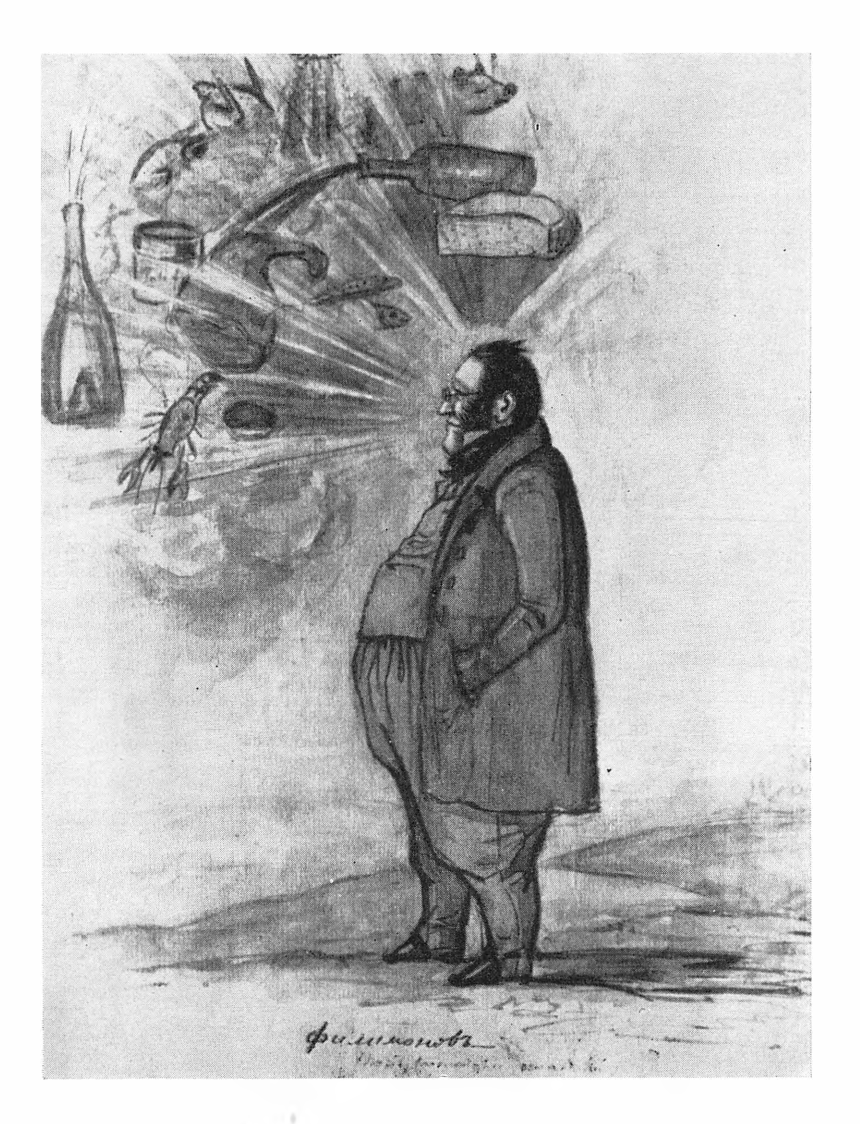
В такой-то день и час, во прении ученом,
Сын церкви молодой, орел святых отцов,
О бога сущности доказывать готов;
Спешите, радуйтесь сим зрелищем духовным,
Сим спором правильным, сим боем богословным;
Там строгость энтимем крепит с дилеммой речь,
Так обоюду остр всё поражает меч;
Там трудный силлогизм с неправильной посылкой,
Софизм, блистающий затейливостью пылкой,
Там сам митрополит, игумены, попы —
Невежественных прав священные столпы;
Там с силой у двора и с пышностью житейской,
Смиренно правя всем, сидит собор библейский;
Бежа свободы дня, целуя злато уз,
Там славит Криднерша царей святой союз;
И посетители, приличье соблюдая,
Жужжат, кадят хвалой, ни зги не понимая.
Вот в семинарии как действуют у нас!
«Но, словопрению искусному учась,
Мы ль тратим наши дни? В пирах, в купальне самой,
Свет мудрости — Сократ вел часто спор упрямый;
Была то страсть его или избыток дум;
Противоречие приводит в зрелость ум:
Так кроет пыл огня в упорных недрах камень,
Подобие людей, души которых пламень,
Чтоб вспыхнуть, первого удара слова ждет,
И каждый правдою блистает их ответ!»

Сказали. Хорошо; вот и мои сомненья:
Чем спору более, тем мене просвещенья;
И кто исправит мне ум лживый, глаз косой?
И слово «виноват» рот раздирает мой!
Усилий наших крик по воздуху несется,
Но всякий при своем, как прежде, остается;
Не это ли мешать суждений шум пустых
С безумным ропотом страстей сердец людских?
Некстати, невпопад и правда досаждает:
Тот слишком виноват, кто часто прав бывает.

В дни Реи правота с нагой сестрой своей
Владели как друзья им вверенной землей,

Но вскоре, говорят, подлунною скучая,
Одна ушла в Олимп, в подземный ключ другая.
Пустое мнение есть властелин веков;
Воздушный храм его на лоне облаков;
И боги, демоны и лешие толпами
Виются перед ним; и щедрыми руками
Безделки, издали блестящие глазам,
В волшебном зрелище показывают нам;
Заслуги наши вкруг, таланты, зло и благо
Горят, как пузырьки, рожденны мыльной влагой;
Не уставая дуть, упорны ветры там
Из края гонят в край и божество, и храм:
Пременчивый тиран, средь прихотей несчетных,
Вчера — под меч, сей день — на трон возводит смертных.
Прекрасный Антиной был бог, имел жрецов, —
Смеемся мы теперь над нравами отцов;
И кто порочит нас бряцаньем резкой лиры,
Лишь упреждает тот грядущих лет сатиры.

Хотите образца прелестной красоты?
Вот вам Нарышкиной небесные черты,
Но я ль уверю вас, что с рыжими кудрями
Лоб узкий в древности почтен был алтарями?
Но так суд мнения, причудливый, пустой,
Играет и красой — владычицей земной,
Но так в подсолнечной восторг его наитий
Вина есть громких дел и царственных событий.
И как надеяться, чтоб бог вертляный наш
Попал когда-нибудь философа в шалаш,
Чтоб, вынырнув из вод всех прелестей во цвете,
Нагая истина явилась в здешнем свете?
Но для ученого, для мудреца, мой друг,
Есть преткновение, оно — *системы дух,*
Дух гордый, зиждущий в пылу своих видений
На двух-трех истинах тьмы новых заключений.
Так, в умозрении утратив здравый смысл,
И бога Пифагор увидел в тайне числ;
Отец механики в жару больного мненья
Свободу смертных слил с законами движенья;
Погасшим солнцем тот вам землю выдает;
Из лавы, из стекла тот образует свет;



В. С. Филимонов

В И. Панаев

Оттоле вечный крик училищных раздоров,
И с кипой тяжкою печатных пыльных вздоров
Спор шумный мудреца в убежище проник.

Противоречия виною наш язык
Бывает иногда; ясней мне ваше слово
В наречии Москвы, чем в речи понизовой,
Но кто поверит мне, что тут-то вся беда?
Глад, мор, невежество в сем мире никогда
Причиной не были столь многих злоключений,
Как сколько вышло их от недоразумений.

Я ль опишу святош губительны вражды,
Их вдохновенных книг небесные плоды:
Соборы Греции, двуличность их ответов,
Их школьны тонкости и приступ Магометов;
Костры Иберии, Германии пожар,
Стыд, мрак Италии, пустых учений дар,
Парижа голод, бунт, разбой в отчизне Теля
И проповедников-цареубийц Кромвеля!
Страдало мене всех отечество мое;
Благословенно будь правительство твое,
Край, где с Владимира Святейшего крещенья
За разность мнений, вер не знали мы гоненья;
Где в лета тьмы, когда мир кровию кипел,
Хотя и с бородой, рассудок здравый цвел
И, как отец, взирал, с улыбкой сожаленья,
На ересных глупцов немногие сожженья;
В те лета, говорю, когда в Европе всей
Для Гуссов не было довольно булл, мечей,
Их сын бежал на Русь, и, верх доброты царской,
Немецкий эскулап вел вскоре быт боярский.
О ты, чей трон — Земля, круг солнечный — венец,
Терпимость вечная, о благости отец!
С железом и с огнем и с язвой обращенья,
Дай, чтобы минул нас дух вероисступленья,
Чтоб кроткий нрав царей, советы мудры их
В грядущем были нам порукой дней златых!..
Но в клобуке наглец со мною в речь вступает
И гордость в поступи смиренной прозирает:
«В стихах сих, сударь мой, вы скрыли тонкий яд;
Коль верить вам, никто ни прав, ни виноват;

Нет меры истине, дороги к просвещенью,
И следовать должны мы скотскому влеченью».
— «Мне это написать не приходило в ум».
— «Хоть прямо ваших вы не изложили дум,
Но с толкованием всё делается ясно...»
— «Но я противное сказал ли вам напрасно?
И повторить еще для вас душевно рад:
Кто разбирает — прав, кто спорит — виноват;
Вот всё; но мне теперь почти сознаться можно,
Что не в одном дворце промалчивать нам должно».
— «Но тут два смысла есть, позвольте вам сказать.
Я различаю здесь...» — «Вы властны различать;
Я мысль свою открыл; довольны вашей будьте
И мнение мое скорее позабудьте».
— «Мне? ваше мнение? кто учит думать вас?
Вам мысль запрещена; я доношу тотчас!»

Счастлив, кто вдалеке невежд и пустосвятов
Свой кроет век в тиши отеческих пенатов,
Заране кинув свет с подругой молодой,
Живет для ней, на Пинд пускаясь лишь порой.
В наследственном саду так пахарь домовитый
Душистый сот, пчелой прилежною добытый,
Умеет похищать искусною рукой,
И вслед ему жужжит напрасно гневный рой.

1822

77. ДВА ВЕКА

(Отрывок)

Век незабвенный, где как солнце золотое
С Екатериною блистает мне второе,
Когда умели мы писать, смеяться, бить,
Давая жить другим и сами знали жить;
Среди таких побед, величия и силы
Скажи, зачем теперь мы скучны и унылы?
Бежим утех, двора, и женщин, и пиров
И вспоминаем лишь веселы дни отцов?
Так площадной бедняк средь блеска, злата храмов,
Голодный, ловит пар несытых фимиамов

Иль жалким голосом из скудного куска
Вам пышно говорит про жизнь откупщика.
Познаний гордостью мы ум свой обольщаем
И лучшими себя отцов своих считаем,
К трудам учености такой питаем жар,
Что устраняем прочь забавы милый дар,
И, резвость оттолкнув и обществ всё приятство,
Из школ еще кричим: «Народное богатство!
Свобода! Деспотизм!» — или путем другим
Любезность резкими чертами богатим
(Нахально-дерзкими, будь сказано меж нами).
Шуметь, вертеть усы, размахивать руками,
Небрежно развалясь, врать смело всякий вздор —
Вот чем теперь легко привлечь красавиц взор.
Клеон удальств таких образчик непристойный,
Но Клара говорит: «Он офицер достойный,
В невоспитании своем не виноват,
Рубившись целый век, любить душевно рад».
Любить! — о, точно так, любить он малый чистый!
Добр, может быть, неглуп, и человек плечистый!
Зато уж важный Клит, враг женщин записной,
Лапласа ученик и мыслитель прямой,
Нем в обществе, в кругу друзей крикливый спорщик,
Оратор полковой, казармный заговорщик;
Горячкой заразясь новизн и вольных дум,
Дать новый ход вещам его стремится ум;
Кипя равно подрыть и алтари и троны,
В Квироги метит он, а там в Наполеоны.
За ним его Пилад, либералист Клерак,
Ученый с легкостью и с притиском остряк,
В поэты он попал альбомною безделкой,
В законодатели военной скороспелкой;
Шарада в действии и каламбур живой,
К честям широкий путь он видит пред собой
И, новый Морепа, готов без размышленья
В скороговорках вам бросать свои решенья!
Иль Корд, защитник их, оратор-гастроном,
Обедать тридцать лет скакав из дому в дом,
Вчерашний Дидерот, сегодняшний библейщик,
Всех обществ, всех начал Тартюф и переметчик,
Чтоб жизнь постыдную достойно увенчать,
Не веря ничему, пустился обращать,

И, знатен и почтен, смеясь народа крику,
Индеек за труды ждет малую толику.
С ним гений Дамазит, муз пылкое дитя,
Он думает весь мир преобразить шутя,
И все права пока — иль два, иль три ноэля,
Гимн Занду на устах, в руке портрет Лувеля.
Вослед ему шумит недоученный рой,
Ругательств с рифмами разносчик под рукой
Иль знанье едкое, без затруднений дальных
Взятое целиком из наглостей журнальных
Парижского клейма, лишь глубоко для дам.
И как пощаду дать их сборным вечерам,
Где самолюбием нахватанных познаний
Решается судьба и книг, и лиц, и зданий,
Где острое словцо лет многих губит труд,
Где мыслей в дерзости ум высший признают
И с веком наравне средь пьянственного пира
Где весит прапорщик царей и царства мира,
Полн буйства и вина, взывает: «Други, дам
Я конституцию двумстам моим душам!»
И получить горя, мальчишка своевольный,
Столь лестное ему названье «недовольный»,
Былое всё хулит, лишь раскрывает рот.
Но как я изложу в словесности отчет!
Сокровищницы муз, вертепы сказок вздорных
И дьяволы в стихах на столиках уборных;
Мечтания везде, конца виденьям нет,
И в книгах, и в устах столетий средних бред;
Лорд Бейрон — образец, и гения уродство —
Верх торжества певцов, их песней превосходство.
Разбойник, висельник, Корсар и Шильд-Гарольд
На место Брутов, Цинн дивят теперь народ;
Гассан, Джаур! — имен и нравов буйных дикость
Атридов, Цезарей сгоняет прочь великость;
Жертв крики судоржны, взыванье адских орд,
Крик палача поет нам благородный лорд,
И мы, благодаря его турецкой музе,
С поэзьей лобных мест в торжественном союзе;
Таинственности мрак, упырь и домовой —
Все ужасы Радклиф встают передо мной
С набором общих мест и наглых восклицаний,
С богатством мелочным несчетных описаний;

Без цели, без конца бродящий наугад,
Писатель нынешний размерами богат,
И, слабый правильной пленять нас красотою,
Толкает правила, сменяя их — собою!
И сей во всех веках, у всех любимцев муз,
Как божество, один и неизменный вкус
В дни наши разделен на готский, бриттский, галльский,
И вскоре, говорят, придет к нам вкус бенгальский.
Так зыблет в наши дни новизн надменный дух
И пантеон искусств, и Пинда скромный круг,
Ничтожа дерзостно, в разборах иссушенный,
Прекрасный идеал, веками освященный.
И где остановить, не ведая, умы,
В мрак, первобытный мрак несемся быстро мы,
И Сталь кипящая, плененная собою,
Дух немцев разжидив французской остротою,
Европы общий плеск умела приобресть,
Народам всем крича: «Будь всякий тем что есть!»
Будь всякий тем что есть! Башкир, киргиз, малаец,
Канадский людоед, свирепый парагваец,
Гордитесь! Франции вас славит первый ум.
И Стали в честь подняв нескладный крик и шум,
Военну вашу песнь вы дайте ей послушать,
Пить в черепе, курить табак и падаль кушать.
Так видим мы в наш век тьму гибельных плодов
От мудрости в чепце, от юпочных творцов!
Но наши женщины совсем другое дело.
От авторских грехов их разрешаю смело;
Приличий чувство, пол и образ жизни их
Далят от них досель влиянье мод дурных,
Но нравиться, пленять желаньем увлекаясь,
Пристойность под свой вкус подлаживать стараясь,
Средь светской праздности, пустых побед в огне
Кой-что из прав своих утратили оне,
И в церковь, бедных в дом спеша из-под качелей,
И от священных книг в круг дерзких пустомелей.
Они меня простят в сомнениях моих,
Что ум и набожность поверхностны у них,
Что эта милая наружность воспитанья
Есть лишь осенний плод старушьего преданья.
Все средства хороши, чтоб путь нам сделать свой,
Цари и женщины согласны меж собой;

Замужства нервною горячкою страдая,
В турецкую чалму готова лезть иная, —
Но всё конец моим суждениям один:
Всё наши женщины достойнее мужчин.

1822

78. ЭЛЕГИЯ

Как медленно приходит счастье,
Как быстро кроется оно,
Дней юных в долгое ненастье
Мне было жить на миг дано!
Наказан я за то мгновенье!
Надежд пустое обольщенье
Всё горечь услаждает зла,
Но мне уж чуждо упоенье,
Надежда в сердце умерла!
В сем сердце, съеденном тоскою,
Больном, убитом, я горю
Бегущей возвратить мечтою
Блаженства прошлого зарю;
Но настоящее как туча
Во всех души несвязных снах,
И — вмиг блистает на глазах
Слеза невольная, горюча.
Я всё навеки потерял,
Я мене ветрен, пылок стал!
Доверенность к судьбе умчалась,
Огнь чувств, восторгов рай исчез,
И даром пагубным небес
Одна любовь со мной осталась!

1823

79. АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ

Когда Гораций Мецената
В своем Тибуре угощал,
Не дом, горящий блеском злата,
Любимца Августова ждал,

Но луг, приют обычный стада,
Полянка, десятина сада,
Где вечен вод падущих шум,
И, в сень уединенну бука
Призвав, дружила их наука
И прелесть стихотворных дум.

Там, под сабинским чистым небом,
Краса эольских дочерей,
Младая нимфа с солью, с хлебом
Встречала дорогих гостей;
Обед — два-три простые блюда;
Освобожденный из-под спуда,
Залитый маслом вековым —
Кувшин с фалерном ароматным...
Пир скудный!.. но пирам ли знатным
Равняться, Данилевский, с ним?

Хорола житель не Гораций;
Украина — не древний Рим!
Но и в приют моих акаций
Проложен путь мечтам благим!
Столиц нам зодчество безвестно;
Но гостю милому не тесно
Певца в обители родной;
Она низка, ветха... ни слова;
Но добра мать моя готова
Что бог послал делить с тобой.

Военным утомясь разъездом,
Пенатов посетить моих
Не можешь ли хоть мимоездом?
Хотел бы я в кругу своих
Принять тебя борщом домашним,
С усердьем поселян всегдашним
За твой обед благодарить
И всей твоей семьи почтенной
Моэта влагою беспенной
Здоровье полной чашей пить.

12 сентября 1824

80. ОНА МЕРТВА

Она мертва! Она не знает
Минуты счастья роковой,
Когда завесу подымает
Восторг влюбленною рукой,
Когда душа находит слово
Загадки темной бытия
И жизнию заблещут новой
Безмолвные глаза ея.

Она мертва! она не знает!
Кто ж избранный Пигмалион?
Пред кем лед чувств ее растает?
Прервется сердца детский сон?
И таинствам недремной ночи
Изменят, без нескромных слов,
И долу потупленны очи,
И поступь робкая шагов.

1827

81. НА ХОЛЕРУ

Ивану Александровичу Башилову

Холера вкруг меня кипит;
Отвсюду крики скорбны внемлю;
Холодный ветр в окно свистит,
И легкий снег подернул землю.

Заразы черное крыло,
Огромною ширяясь тенью,
На села, грады налегло
Предтечею опустошенью.

Глад рыщет с адской девой сей,
Подняв оглоданные руки,
И, усмехаясь, спорит с ней
И жертв в числе, и в родах муки...

Увы, Башилов, настает
Жестоких испытаний время;
И близко страшный жнец идет,
Ссекая земнородных племя.

Кто знает, два ли, три ли дня
Здесь под луной предел наш дальной,
Спеши ж, друг, навестить меня,
Тебя жду с трапезой прощальной!

Без слез, без вздохов, без укор
Друг друга крепко мы обнимем
И светло-беззаботный взор
На будущность Вселенной кинем.

Ты помнишь, с детства нам мила
Суждений гордая свобода,
И целой жизни мысль была:
И блага, и права народа.

Поговорим о них, запьем
В последний раз успехи века
И над могилой предречем
Высокий жребий человека!

Что нужды? Пусть постигнет нас
Всемощный грозною судьбиной!
Покойно свой верховный час
Я встречу песнью лебединой!

Под гильотины острием
Так Вернио, Барнавы пели,
И в диком торжестве своем
Тираны Франции бледнели...

7 декабря 1830

82. НА СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Таланта в полном блеске он
Поник увенчанной главою,
Свинцом летучим поражен
Братоубийственной рукою;
Издетства баловень певец
Прелестной музы своенравной,
И после жизни бурной, славной
И бурный встретил он конец.

Негодованье и печаль
Волнуют грудь и мысль невольно;
Увы, кому его не жаль!
О Пушкине кому не больно?
Один он нам звездой светил,
Звучал в предбудущие лета —
Зачем же ты его убил,
Злодей, отнял у нас Поэта!

Кто право крови дал тебе
Над сей главою озаренной?
Ты знаешь ли, к его судьбе
Восторг прикован полвселенной!
Любимец наш, отрада, друг,
Честь, украшенье полуночи, —
Его напевов — жаждал слух,
Его лица — искали очи!

И слышишь ли плачевный звон?
Весь Петроград, слиян душою,
Подвигся в ходе похорон
Необозримою толпою;
Не полководец, не монарх,
Он в землю сходит им подобно,
И общей грустью в мир загробный
Сопровожден любезный прах.

Коль ближние, склонясь челом,
В боязни кроются виновной,
Ты ль, муза, пред Певца костром

Пребудешь робкой и безмолвной?
Как Цезаря кровавый плащ,
Бери, кажи ты Барда тогу,
Зови к царю, к народу плачь
И месть кричи земле и богу!

Но успокойся, неба дочь!
Кто усладил Певца кончину,
Его детям успел помочь,
Устроив прочно их судьбину, —
Тот знает — и не дремлет он,
Венчанный россов представитель,
И грянет в свой черед закон —
Невинных неподкупный мститель!

Февраль 1837

83. ЭЛИЗИУМ

Элизиум, цветущий вечно рай
Души вертляной и крылатой, —
Кто на земле, кто будет мой вожатый
В тот светлый, в тот чудесный край?
Два глаза есть и голос милый,
Мне слишком близкие давно,
Им дивное могущество дано
Элизиум творить не за могилой!
Элизиум и чувств и дум!
И в миг тот дивный мир пред мною исчезает,
И неземных порывов полон ум,
И огнь, чистейший огнь всё сердце проникает.

В. И. ПАНАЕВ

Владимир Иванович Панаев, сын общественного деятеля и видного масона И. И. Панаева, родился 6 ноября 1792 года в городе Тетюшах Казанской губернии. Рано потеряв отца, воспитывался вместе с братьями и сестрами в семье дяди, брата матери, А. В. Страхова, племянника и друга Г. Р. Державина. Образование получил в Казанской губернской гимназии, в 1804 году преобразованной в университет. Еще в нижнем классе гимназии начинает писать стихи, а затем входит в литературное общество университета. По примеру брата и своего учителя, известного идиллика Ф. К. Броннера, Панаев обращается к жанру идиллии — одному из характернейших для европейского сентиментализма (ср. «Дафнис и Милон», 1810); образцом ему служит преромантическая идиллия Геснера. Около 1814 года известие об идиллиях Панаева было передано Державину, который ободрил начинающего поэта. В 1815 году Панаев переезжает в Петербург, лично знакомится с Державиным и входит в его литературный круг. В 1816 году он избирается действительным членом Общества любителей словесности, наук и художеств, а в январе 1820 года — Общества любителей российской словесности. Служит Панаев в департаментах министерств юстиции и путей сообщения (1817), затем в комиссии духовных училищ (1820). Он печатается в «Сыне отечества», «Соревнователе», но особенно в «Благонамеренном», с редактором которого, А. Е. Измайловым, он сошелся ближе других. Панаев был одним из активнейших «михайловцев» и постоянным посетителем салона С. Д. Пономаревой (по преданию, драматическая любовь к нему хозяйки стала причиной ее безвременной смерти). В салоне Пономаревой Панаев был одним из вдохновителей кампании против «молодых поэтов» (Дельвига, Баратынского), хотя непосредственного участия в полемике с ними не принимал.

Литературная продукция Панаева в конце 1810-х — начале 1820-х годов довольно разнообразна. Он — автор нескольких речей и похвальных слов: Александру I, М. И. Кутузову, «Речи о любви к отечеству» (1819) и других, проникнутых охранительно-патриотическими тенденциями; многочисленных новелл-анекдотов в жанре «справедливой» или «полусправедливой» повести («Жестокая игра судьбы», 1819; «Приключение в маскараде», 1819; «Отеческое наказание», 1819, и др.). Он пишет альбомные стихи, послания, элегии и т. д., среди которых есть несколько несомненно удачных («Вечер», «К А. Н. А. при начале весны», 1820). К числу его лучших элегий принадлежит медитация «К родине» (1820), навеянная воспоминаниями детства и насыщенная реалиями. Однако основным жанром Панаева остается идиллия, принципы которой он формулирует в рассуждении «О пастушеской или сельской поэзии» (1818). Вслед за Геснером Панаев ищет в идиллии патриархальной «невинности и чистоты нравов» и «языка сердца», отвергая, хотя и не безусловно, возможность современной идиллии, так как «продолжительное рабство» сделало «грубыми и лукавыми» «нынешних пастухов и земледельцев» и исключило «мифологические вымыслы». Примитивная идеализация древности, требование непременной назидательности и осуждение всего «низкого и грубого» сближает Панаева с поздними эпигонами сентиментализма. В 1820 году Панаев издал свои идиллии 1810—1819 годов отдельным сборником. Сборник этот был с восторгом принят в кругу «Благонамеренного», где за Панаевым прочно утвердилось название «русского Геснера»; сдержанно-комплиментарные отзывы получил он от И. И. Дмитриева и Жуковского. Академия наук по представлению А. С. Шишкова наградила его золотой медалью. Пушкин и Баратынский отозвались о творчестве Панаева резко иронически.

Идиллии Панаева были известным литературным достижением: они отличались свободой версификации и поэтической техники и показывали гибкость и емкость самого жанра — от дескриптивной элегии до небольшого сценического действия. Вместе с тем, лишенные драматического начала и строго выдержанные в пределах нейтральной, «средней» лексической нормы, они производили впечатление чрезвычайно правильных и холодных поэтических этюдов с обязательным дидактическим элементом; психологический строй персонажей задан заранее и крайне рационалистичен.

Панаеву принадлежат также опыты стилизаций русской народной лирической песни, которую он стремится сблизить с жанром идиллии в своем понимании. Тяготение Панаева к народной песне отмечал его друг и биограф Б. М. Федоров. В национальном харак-

тере Панаев особенно выделял патриархальные черты.[1] Эта же тенденция характеризует и его повесть из крестьянской жизни «Иван Костин» (1823).

В 1820-е годы Панаев успешно продвигается по службе — от начальника V отделения департамента уделов (1826) до директора канцелярии министерства императорского двора (1832). Он тесно связан с виднейшими деятелями бюрократической сферы, является членом многочисленных комиссий, кавалером нескольких русских и иностранных орденов, почетным членом ученых и литературных обществ, а с 1841 года — ординарным академиком по отделению русского языка и словесности. Любитель живописи, Панаев в течение 50 лет собрал одну из лучших в Петербурге частных картинных галерей. В 1848 году он был избран почетным членом Академии художеств. В своих литературных вкусах и симпатиях он остановился на 1820-х годах; он органически не приемлет современной литературы, начиная с Гоголя, за ее демократически-разночинный характер и в 1840—1850-е годы представляет в глазах связанного с ним молодого поколения литераторов (племянник его И. И. Панаев, А. Я. Панаева, молодые Аксаковы) фигуру архаическую, смешную и реакционную. Умер Панаев 20 ноября 1859 года. Незадолго до смерти он написал свои «Воспоминания»[2], — небезынтересные по литературному и историческому материалу, но тенденциозные, они вызвали целую серию «поправок» и полемических откликов.

84—90. *ИДИЛЛИИ*

1

ИДИЛЛИЯ IX

Дафнис и Дамет

Дамет

Ах, Дафнис, как я рад, что встретился с тобою!

Дафнис

О, видно по глазам; но что тому виною?

---

[1] Б. Ф⟨едоров⟩, Владимир Иванович Панаев. Воспоминание с обозрением его идиллий, СПб., 1860, с. 14.

[2] «Вестник Европы», 1867, №№ 9, 12; «Русская старина», 1892, №№ 11, 12; 1893, №№ 2, 5.

Дамет

Вот что: ты лучшим здесь слывешь у нас певцом,
Я также, все согласны в том,
Сам петь недурно начинаю,
И потому... давно желаю
Измерить мой талант с твоим...

Дафнис

Ну, далее.

Дамет

Но я всегда других стыдился,
Всё случая искал с тобою быть одним —
Нашел его, и рад.

Дафнис

Как ты переменился!
Где скромность прежняя, застенчивость твоя?
Что б это значило? Но петь согласен я:
В тебе достойного соперника имею.

Дамет

О, веришь ли, певец, равняемый Орфею,
Я и теперь бы не посмел
Дар скудный, мне доставшийся в удел,
Измеривать с твоим; но... Дафна приказала!
«Поди, — она сказала, —
Сразися с Дафнисом и выиграй заклад:
Пусть не одна пастушка Амарила
Гордится, что певца пленила».

Дафнис

Я тем охотнее с тобой сразиться рад.
Кто ж будет нас судить? кем скажется награда?

Дамет

Да, правда; надобно кого-нибудь позвать.

Дафнис

Послушай: там у водопада
Лег Палемон почтенный отдыхать;
Он славный был певец: сходи за ним скорее.

Дамет

К тому же он старик:
При старике я буду петь смелее.

(Дамет пошел и вмиг
Назад со стариком вернулся.)

Дафнис

Послушай, дедушка...
Тут старец улыбнулся
И не дал Дафнису договорить.
«Довольно, — он сказал, — довольно, разумею:
Мне должно двух певцов в искусстве рассудить?
Согласен, как могу и как, друзья, умею,
Вам в этом деле услужить.
О, я люблю сей спор невинный, милый,
И много сам певал; теперь же, старец хилый,
Лишь слушаю других. Но где заклад, и в чем?»

Дамет

Я прост вот этим посошком;
Тирсисовой рукою
Он весь покрыт узорчатой резьбою.

Палемон

Что держишь, Дафнис, ты?

Дафнис

Его ж работы кружку:
С боков кругом по ней цветы;
На крышке виден фавн, целующий пастушку.

Палемон

Изрядно; сядемте, и старший пусть начнет.
Твой, Дафнис, кажется, черед.

Дафнис[1]

Муза! ты была со мною
Неразлучна с детских лет;

Наученному тобою,
Мне дивится белый свет, —
Неужели тщетно ныне
Раздается по долине
Глас тебя зовущий мой?
Услади его, настрой!

Дамет

Буди благосклонна,
Муза, вновь ко мне
И мольбы услыши
Юного певца!
Научи получше
Песенку сложить,
С кружкой воротиться,
Дафне услужить.

Дафнис

Раз полдневною порою
Отшатнулся в темный лес
Мой барашек и стрелою
Вмиг из глаз моих исчез.
Я за ним бежать пустился;
Но напрасно — заблудился,
Сеням края не видал
И от жажды умирал.

Дамет

Нынешней весною
В первый хоровод
С Дафной чернобровой
Я пошел плясать;
Начал — так был весел!
Кончил — стал уныл,
Голову повесил,
И не спал всю ночь.

Дафнис

Вдруг навстречу Амарила.
«Знать, устал ты, пастушок?» —
Подошедши говорила.

«Я от жажды изнемог!»
— «Вот возьми кувшин с водою».
Стала Гебой предо мною;
Я к кувшину — и не знал,
Что с водой любовь глотал.

Дамет

От чего ж бы это?
В пляске, под шумок,
Дафна мне пожала
Руку, а потом
Нежно посмотрела
Прямо мне в глаза;
Я взглянул — у Дафны
Канула слеза.

Дафнис

Хоть уста и прохладились,
Но, увы! вот здесь зажглось;
Мы друг другу поклонились,
Чтоб идти домой — не шлось:
Слово я, она другое;
Вскоре сделалось нас трое:
К нам Амур слетел с небес;
Озарился мрачный лес!

Дамет

На другое утро
Я опять грустил;
Минул целый месяц —
Прочь не шла тоска:
Дафнин взор унылый
Был всё предо мной;
Лишь встречаясь с милой,
Грусть я забывал.

Дафнис

Оба сделались смелее:
Поцелуя я просил —
Застыдилась — тем милее,
Слаще он, казалось, был!
Часто после Амарила

Пастушка тут находила.
Дни счастливы! каждый час
Даром не пропал у нас!

Дамет

— «Дафна! — так однажды
Молвил я, вздохнув. —
Что, скажи, со мною?
Первый хоровод...»
— «О, Дамет любезный! —
Дафна прервала. —
Ах, теперь я вижу,
Что тебе мила!»

Дафнис

«Клит! отдай мне Амарилу!» —
Я отцу ее сказал.
Он упрямился, насилу
Старика я уломал.
Клит нам дал благословенье.
Радость, сердца утешенье!
Скоро ль, скоро ль, милый друг,
Буду я тебе супруг?

Дамет

«Уж давно любила
Я тебя, Дамет,
Но сказать не смела.
Ах, теперь ты мой!»
Тут мы обнялися,
Грусть моя прошла.
О, лети, промчися
Время до венца!

Палемон

Прекрасно! Оба так вы пели, что не знаю,
Кого мне предпочесть из вас?
Итак, обоих награждаю:
Меняйтесь в добрый час.

1815

2

ИДИЛЛИЯ XII

Филлида и Коридон

Коридон

Филлида! дождь прошел, ветр стихнул, туч не стало,
И солнышко опять на небе просияло.

Филлида

Как рада, а меня ненастье напугало;
Пришлось бы до ночи пробыть в пещере нам.
Ну пособи же мне пробраться
По этим камням и ручьям.

Коридон

Вот посох мой, держись, да чур не спотыкаться;
Так... хорошо... Взгляни ж теперь, мой друг,
На небо, на леса, на горы, этот луг —
Всё обновилося, всё лучше стало вдруг,
Светлее, зеленей! Нельзя налюбоваться!
Как блещут мокрые древесные листы!
Как ожили цветы
И травы полевые!
Благоуханием весь воздух растворен;
Дол снова ревом стад веселым оглашен;
Здесь прыгают мои ягнятки молодые,
Там разбрелись волы, здесь стая коз с козлом
На скалы лепится крутые.
Ах, вот и радуга!

Филлида

Прекрасно! но пойдем.

Коридон

Куда же ты?

Филлида

Домой.

Коридон

Так скоро? Подождем:
Теперь уж нас не вымочит дождем.

Филлида

Нет, нет, и без того я много запоздала.
Мне матушка накрепко приказала
Вернуться засветло домой.

Коридон

Но солнышко еще высоко над горой —
Далёко ли дойти? Побудь, побудь со мной
Хотя один часочек!
Дай мне обнять себя, поцеловать разочек!

Филлида

Ты неотвязчив стал:
Еще ли не довольно?
Ну что за поцелуи? полно!

Коридон

Но если я тебя в пещере целовал
Сто раз, без спросу, добровольно,
Так почему ж теперь. . .

Филлида

В пещере, в темноте —
Совсем другое дело!
А здесь светло; притом же мы на высоте:
Что, если? . . сердце обомлело! . .
Мне стыдно без того в глаза тебе смотреть.

Коридон

Так делать нечего, знать должно потерпеть!

Филлида

Послушай: говорить ли дома,
Что я с тобой, и где, и как,
Скрывалась от дождя и грома?

Коридон

Ах, нет, не говори!

Филлида

Да почему ж не так?
И что худого тут? Нет, лгать я не умею.

Коридон

И даже скажешь то, как целовалась ты?
С твоей болтливостью не долго до беды!

Филлида

О, я не так проста, я очень разумею,
Что этого нельзя сказать!
А также и того от матушки скрывать,
Что я случайно здесь с тобою повстречалась;
Что нас застигнул дождь; где скрылись от него;
Как грому, молнии я в темноте боялась,
Как я к груди твоей от страху прижималась...

Коридон

Нет, нет, прошу тебя, не говори того!
Нас побранят, видаться нам закажут.

Филлида

Как недогадлив ты! Тебе ж спасибо скажут
За то, что в этот раз не покидал меня:
Ведь не могла ж бы я
Пробыть одна в такой пещере страшной, дикой.
Не бойся, Коридон; мне ль зла тебе желать?

Насилу удалось ему растолковать,
Что россказни ее ей будут же уликой.
Филлида речь его, казалось, поняла,
Быть молчаливой обещалась;
Но лишь домой пришла,
Лишь стали спрашивать — в минуту проболталась.
И лучше сделала: заботливая мать
Хоть пожурила дочь, однако ж догадалась,
Что мужа незачем другого ей искать.

1815

8

ИДИЛЛИЯ XIV

Коридон

Разметавшися небрежно
Под ореховым кустом,
В час полдневный почивала
Сладким Амарила сном.
Недалёко прилучилось
Коридону проходить.
Он давно любил пастушку
И умел любимым быть;
Но любовь сердец невинных
Молчалива и робка:
Та украдкой страсть питала,
Тот вздыхал исподтишка.
Коридон остановился,
Робко посмотрел вокруг
И на цыпочках прокрался
К Амариле через луг.
Драгоценные минуты!
Он дерзает в первый раз
Так рассматривать пастушку,
И отвесть не может глаз:
Видит грудь полуоткрыту,
Стан, достойный Аонид,
Перлов ряд под розой — пламень
Разгоревшихся ланит.
И невольно опустился
На колени Коридон;
Свет в очах его затмился,
Сердце замерло — и он...
Жарким, страстным поцелуем
Амарилу разбудил;
Лишь взглянула — вмиг закрылась;
Своевольник отскочил
И, потупя робко взоры,
Ждал упреков за вину;
Но пастушка, ни полслова
Не промолвивши ему,
Быстро скрылась в чаще леса.

Грустен шел пастух домой.
«Что я сделал, неразумный? —
Говорил он сам с собой. —
Как теперь я с нею встречусь,
Как взгляну, заговорю?
Рассердилась! и за дело!
Попустому растворю
Завтра с солнечным восходом
В шалаше моем окно:
В хижине у Амарилы
Не растворится оно!
Понапрасну заиграю
На свирели вечерком:
Милая не будет больше
Вторить нежным голоском!
А потом и перестанет
Пастушка́ совсем любить.
Ах, зачем бы мне без спросу
С ней так дерзко поступить?»

Коридон и не ошибся:
Добрый прежде знак — окно —
Три дни запертым стояло;
Но в четвертый вновь оно
Растворилось понемножку;
В тот же самый вечерок
Амарилин соловьиный
Вновь раздался голосок;
А потом, через неделю,
Встретясь как-то с пастушком
У Амурова кумира,
Молвила ему тишком,
Что уж больше не сердита,
И просила пособить
Жертвенник малютки-бога
Вязью миртовой обвить.

1817

4

ИДИЛЛИЯ XV

Палемон

Прекраснейшим утром, зимою,
Сидел Палемон в шалаше под окном, —
Дрова, запасенны порою,
Пылали в горнушке трескучим огнем.
Он стужи в тепле не боялся,
С улыбкою в поле свой взор простирал,
Картиной зимы любовался
И в мыслях возврата весны не желал.
«О, сколь ты, природа, прекрасна!
Ничто не изменит твоей красоты:
Гроза ли пылает ужасна,
Ревут ли Бореи, цветут ли цветы —
Всегда ты, во всем совершенна!..
Как блещет равнина, сквозь легкий туман
Дрожащим лучом озаренна!
Какой беспредельный снегов океан!..
Там дубы стоят обнаженны,
На ветвях их иней пушистый навис;
Там ели мелькают зелены,
Местами чернеет густой кипарис.
Поля и луга опустели;
Не видно на паствах гуляющих стад;
Замолкли пастушьи свирели,
И певчие птички нахохлясь сидят.
Один лишь снигирь краснобокий,
Чирикая, скачет по гибким кустам;
Лишь слышен глухой и далекий
Стук сильных ударов цепа по гумнам;
Лишь изредка снежной равниной
С дровами ленивый протащится вол».
Старик помешал хворостиной
В горнушке и снова к окну подошел.
«Зима и моя наступила:
Рассыпался иней на черных кудрях;
Оставила прежняя сила;
Погаснул румянец, игравший в щеках!
Но ах! сожалеть ли о красной
Дней юных промчавшейся быстро весне?

Кто младость провел не напрасно,
Тот с ней потерял заблужденья одне.
Кто был добродетели верен,
Полезен семейству и ближним своим,
Тот должен быть твердо уверен,
Что вечно пребудет минувшее с ним!
Когда я о нем вспоминаю,
Мне кажется, будто какого-нибудь
Старинного друга встречаю
Иль вижу цветами усыпанный путь!
К тому же на что поменяюсь
Любовью всеобщей моих земляков,
Которой теперь наслаждаюсь,
Достигнувши честно седых волосов?
Что может иное сравниться
С отрадой примерных детей воспитать,
Счастливым успехом гордиться,
Награду в невинных их взорах читать?
Подобно как снова весною
Природа получит свою красоту,
Так жизнью моей молодою
Я в милом Дамете моем расцвету!»

1818

5

ИДИЛЛИЯ XIX

Дамет

Дамета застигнула ночь на пути —
Он шел из соседства обратно —
Не близко еще оставалось идти,
А время так было приятно:
Зефир утомленный едва колебал
Кудрявые бука вершины;
Свод неба звездами усеян блистал;
Дремали во мраке долины.
Пастух осмотрелся и лег отдохнуть.
Величие ночи его поражало,
Священный восторг проливало во грудь,

К благим помышленьям склоняло.
«О ночь! — говорил он, — с каким завсегда
Особенным сердца движеньем,
Простертый на холме иль скате пруда,
Смотрю на твое приближенье!
«Познайте! — однажды жрец Панов сказал. —
Цветок, попираемый мною,
Кузнечик, который теперь прокричал,
Таясь под густою травою,
Не меньше о славе творца говорят,
Как горы, дубравы и воды!»
Он прав; сей урок повторял я стократ,
Дивяся устройству природы.
Приятно повсюду ее наблюдать,
Земли красотой любоваться;
Но взором по звездному небу блуждать,
В безмерности тверди теряться
Едва ль не приятней всего для меня!
В себя самого погруженный,
Я часто не вижу, как вестница дня
Восток расцветит омраченный.
И если случится, что Мирра моя
Те чувства со мной разделяет, —
Всю сладость тогда познаю́ бытия!
В восторгах душа утопает,
И слезы лиются обильной струей!
О боги! молю вас, храните
Жизнь Мирры моей дорогой!
Блаженство мое продолжи́те!
С тех пор как люблю и взаимно любим,
Я сделался лучше, добрее!
Но только ли? к вам, всеблагие, самим
С тех пор прилепился сильнее,
И даже как будто стал выше душой!
О боги! молю вас, храните
Жизнь Мирры моей дорогой!
Блаженство мое продолжи́те!»
Дамет, отдохнувши, пошел, но мечты
Всё юноши грудь волновали;
Меж тем соловьи, оглашая кусты,
Дорогу его сокращали.

1819

6

ИДИЛЛИЯ XXII

Сновидение

М е н а л к

Ты кажешься грустным, любезный Микон?
Скажи, что случилось с тобою?

М и к о н

Меня потревожил сегоднишний сон:
Посмейся, Меналк, надо мною.

М е н а л к

О, верно, ты видел подземных богов?

М и к о н

Напротив. Послушай: мне снилось,
Что будто десяток, иль больше, годов
С меня неприметно свалилось...

М е н а л к

Увы! это только во сне, на беду.

М и к о н

Что будто, став юношей снова,
В каком-то обширном, прекрасном саду,
Под тению мирта густого
Лежал я на мягкой душистой траве;
В кустах соловьи распевали;
Зефиры ж, скрываясь в цветах, мураве,
Прохладой в лицо мне дышали;
А шум водопада в соседнем лесу,
Сквозь чащу дерев проникая,
Всё больше и больше склонял от часу́
К дремоте...

М е н а л к

И ты, засыпая...

Микон

Я нé спал. Вдруг, вижу, подходит ко мне
Пастушка, осанкой — богине,
Цветущей красою подобясь весне
(Взор девы, склоненный к корзине,
Глубокую сердца печаль выражал);
Приближилась — стала — взглянула —
И что же? Кого я в пастушке узнал?..
Дориду!

Менални

Дочь старца Эввула?

Микон

Дориду, подругу младенческих лет,
Которой любовь озарила
Блаженством Миконовой жизни рассвет,
Завидную участь сулила!
Которую воля всесильных богов
Дияниной жрицей назвала
В то время, как нежность счастливых отцов
Нам брачный венок соплетала!..
Прельщен, очарован виденьем таким,
Я бросился к милой, но прежде,
Чем обнял, виденье исчезло как дым —
Лишь руки коснулись к одежде —
И я, пожалей, пробудился от сна!

Меналк

Так это тебя возмущает?
Не дважды в течение года весна
Цветами поля убирает —
Не дважды, товарищ, нам быть молодым.
Ты за тридцать за пять считаешь,
Слывешь в околотке разумным таким,
Сам твердо уверен и знаешь,
Что прошлого снова нельзя воротить,
А хочешь (как друг, попеняю) —
Ребенок! — бегущую тень изловить.

Микон

О, слишком уверен и знаю!
И завтра охотно готов над собой
С тобою же вместе смеяться,
Но ныне с прелестной о прошлом мечтой,
Поверь мне, не в силах расстаться!
Как осенью солнце внезапно блеснет,
Прощаясь с унылой природой,
И птичка весеннюю песню поет,
Обманута ясной погодой, —
Так я, обольщенный сегоднишним сном,
Хотел бы на время забыться;
Иль лучше, хотел бы увериться в том,
Что он наяву продолжится!

1819

7

ИДИЛЛИЯ XXV [2]

Осень

Мрачно октябрское небо;
Печален природы отцветшия вид;
Ни взору, ни слуху отрады:
Душа унывает, и сердце невольно грустит!

Солнце во мгле потонуло!..
Бывало, вершины лесистых холмов,
Сияя, мне день возвещают;
А запада пурпур и розовых сонм облаков,
В зеркале вод отражаясь,
Зовут насладиться картиной другой.
Теперь же густые туманы
Скрывают и холмы и дымом встают над рекой.
Прежде сквозь этот кустарник
Невидимо тихий катился ручей;
Теперь он потоком сердитым
Стремится, шумит и меж голых сверкает ветвей.

Овцы рассеянно бродят;
Голодные, ищут близь корней дерёв
Остатков травы уцелевшей;
Волов заунывный в долине мне слышится рёв;
Теплой окутан одеждой,
Пастух, пригорюнясь, на камне сидит;
Товарищ его неразлучный,
Собака, не ластится больше к нему и скучит.
Поздний цветок колокольчик!
Недолго тропинки тебе украшать:
Суровою осень рукою
Готова последнее Флоры убранство пожать!

Мрачно октябрское небо;
Печален природы отцветшия вид;
Ни взору, ни слуху отрады:
Душа унывает, и сердце невольно грустит!

Смо́тря на желтые листья,
На лик помертвелый окрестной страны,
Со вздохом себя вопрошаю:
Дождусь ли я снова, дождусь ли возврата весны?
Рощи оденутся ль в зелень?
Распустятся ль в поле душисты цветы?
Раздастся ли пение птичек
В час утра с безоблачной, ясной небес высоты?
Рощи оденутся в зелень,
Распустятся в поле душисты цветы,
По-прежнему пение птичек
Раздастся с безоблачной, ясной небес высоты, —
Ты ж, пролетевшая быстро,
Как призрак прелестный минутного сна,
Сокрывшись, увянув однажды,
Ко мне не воротишься больше ты, жизни весна!
Тщетно, с душой возмущенной,
О днях наслаждений я буду вздыхать,
Бесценные первые чувства,
Вас, дружба, любовь и невинность, к себе призывать!
Опыт холодной рукою
Сжал сердце, пылавшее в юной груди;
Лета научили рассудку,
Но сколько же милых сокрыли надежд впереди!

Дружба, обнявшись с любовью,
Рыдают и кажут мне гробы вдали:
Там лучшие спутники жизни!
Но ах! им не встать на призыв мой, не встать из земли!..

Мрачно октябрское небо!
Печален природы отцветшия вид;
Ни взору, ни слуху отрады:
Душа унывает, и сердце невольно грустит!

1819

Примечания

[1] Некоторые писатели утверждают, что в подобных пастушеских спорах не токмо число стихов в куплетах, но и самый размер оных должны быть совершенно одинаковы у обоих певцов. Сохранив здесь первое, я позволил себе отступить от второго; ибо уверен, что если размер песни может служить (при чтении) некоторою заменою голоса или напева, то сие различие оного представляет возможность дать пению того и другого лица различные звуки.

[2] Сия двадцать пятая идиллия написана уже тогда, когда предисловие (ко всему сборнику. — *Ред.*) было отпечатано, и потому там исчислено только двадцать четыре. Мне присоветовали поместить ее в сем собрании. Наблюдательный читатель, конечно, заметит, что она отличается от прочих как расположением своим, так и характером самого содержания; одним словом, он найдет, что ее можно отнести к роду идиллий г-жи Дезульер.

91. К РОДИНЕ

Благословляю вас, страны родимой воды,
Священны волжски берега,
Вас, холмы красные, шелковые луга,
И вас, небес знакомых своды!

Я там, я там опять, где провиденья глас
Воззвал меня на подвиг жизни;
Я выждал наконец с тобою, край отчизны,
Свидания желанный час.

О счáстливые дни младенчества златого!
Вы ожили передо мной:
Я улетаю к вам крылатою мечтой —
И на минуту счастлив снова!

Вот здесь, где сей хребет надбрежной высоты,
Волнами сдвигнут, уклонился,
Младенец, средь забав, я постигать учился
Природы дивной красоты.

Отсюда детские мои невольно взоры
Кругом стремилися блуждать;
Лугами, рощами за Волгой пробегать;
Взноситься на окрестны горы.

Вот здесь, где ключ *Гремяч*,[1] скользя по желобам,
Слетает в бездну водопадом
И, тщетно в мрак ее сопровождаем взглядом,
Гремит невидимый очам, —

Уединен от всех, я сладкому вдавался
Влеченью непонятных дум;
Внимал паденья вод однообразный шум,
Картины дикостью пленялся.

У ног моих зиял глубокий крутояр;
Вдали, рекой, суда мелькали;
А там, из-за лесов, гигантски восставали
Две башни древние болгар.[2]

Вот опустелые прапрадедов палаты,
Где первый мой услышан вздох;
Кругом безмолвие; крапивой двор заглох;
На кровле мох зеленоватый.

---

[1] Так называется небольшой водопад близ города Тетюш Казанской губернии. Ключ *Гремяч*, вытекая в полугоре, с громким шумом низвергается в глубокий овраг, заросший деревьями и кустарником.

[2] С Тетюшской горы, возвышающейся над Волгою почти на 500 сажень, представляется взору обширная, великолепная картина окрестностей, в дополнение которой из-за густого бора на конце горизонта видны верхи обоих болгарских минаретов.

Вот сад; я узнаю тропинки, дерева;
Но как он много изменился!
Беседки нет; забор местами обвалился
И по пояс везде трава.

О, сколь моей душе сей образ опустенья
Красноречиво говорит,
Что всё невидимо проходит и летит,
Всё будет жертвой тленья!

Один великий дух, лишь песнопенья дар
Цветет среди усилий время:
Пускай еще веков отяготеет бремя
Над ветхой пышностью болгар

И гордые сии преклонит минареты;
Пускай под Кроновой рукой
Сии громады гор сровняются с землей,
Лесов изгладятся приметы,

Но волжские края — для вас забвенья нет
И в самом вашем запустеньи!
Не западет времен в неистовом стремленьи
Для россиянина к вам след!

К вам некогда придет искать он колыбели
Того бессмертного певца,
На чьей главе мы три завидные венца
Сплетенными в единый зрели;

Который с Пиндаром взлетал до облаков,
От взора в высоте скрывался;
С Горацием на блеск, на пышность ополчался,
Изобличал временщиков;

С Анакреоном пел роскошные обеды,
Вино, любовь и красоту,
Дев русских прелести, их пляску, простоту,
Восторги чувств, любви победы.

Вас также некогда придет он вопрошать
Об именах не меней славных:

О том любимце муз, кто в вымыслах забавных
Умел нам истину вещать

И научил владеть поэзии языком;
О том, что Клией вдохновен,
Ее светильником рассеял мрак времен
И, смелый в подвиге великом,

Воззвал на правый суд из вековых могил
Деянья предков знаменитых,
Их славу, бедствия, потомками забыты, —
И к новой жизни воскресил.

Благословляю вас, страны родимой воды,
Священны волжски берега,
Вас, холмы красные, шелковые луга,
И вас, небес знакомых своды!

1820

92. РАССТАВАНЬЕ

«Не спеши, моя красавица, постой:
Мне недолго побеседовать с тобой;

Оберни ко мне прекрасное лицо,
Есть еще к тебе заветное словцо:

Скажи, любишь ли ты, молодца, меня
И каков тебе кажусь удалый я?»

Лицо девицы-красавицы горит,
Потупивши ясны очи, говорит:

«Не пристало мне ответ такой держать
И пригожество мужское разбирать!»

«Не спросил бы я, да вот моя беда:
Я сбираюсь в понизовы города,

Волгой-матушкой в расшиве погулять,
На чужбине доли, счастья поискать».

Помутился вдруг девицы светлый взгляд,
Побледнела, словно тонкой белый плат.

«Уж зачем бы меня, девицу, пытать,
Коли едешь, коли вздумал покидать?

Видит бог, как я любила молодца!
Может, больше — грех и молвить — чем отца!

Всё на свете за него бы отдала!
Да ему уж, видно, стала не мила!»

«Ты мила мне пуще прежнего теперь;
Не словам — хотя божбе моей поверь.

Для тебя же я сбираюсь в дальний путь,
Чтоб трудами выйти в люди как-нибудь,

Чтоб, вернувшись, быть на родине в чести,
Чтоб смелее от венца тебя вести.

Понизовые привольные края:
Не последний за другими буду я».

«Волга-матушка бурлива, говорят;
Под Самарою разбойники шалят;

А в Саратове девицы хороши:
Не забудь там красной девицы-души!»

«Не боюсь я Волги-матушки валов,
Стеньки Разина снаряженных стругов;

Не прельстит меня ничья теперь краса,
Ни такие ж с поволокою глаза;

Страшно только мне вернуться невпопад:
Тот ли будет на тебе тогда наряд?

Встретишь молодца ты в ленте золотой
Или выдешь на крылечко под фатой?»

«Коли шутишь — не до шуток мне — до слез;
Коли вправду — кто ж так девицу обнес?

С кем иным, как не с тобою, молодцом,
Поменяюсь обручальным я кольцом?

Для кого блюла девичью красоту,
Для того и русу косу расплету;

Гробовой скорей покроюсь пеленой,
Чем без милого узорчатой фатой».

(1826)

93. МАТЬ И ДОЧЬ

(Опыт русской идиллии)

«Скажи мне, родимая
Голубушка матушка,
К худому ли, к доброму
Сегодня мне снилося:
Что будто кольцо мое —
Дружка подареньице —
Само распаялося;
Что будто коса моя
Волнистая-русая
Сама расплеталася?»

«С полуночи ль, с вечера
Тебе это виделось?» [1]

«С полуночи, матушка».

---

[1] Известно, что наш простой народ при разгадывании снов всегда принимает в соображение время, когда они виделись.

«Ахти, мое дитятко,
Ахти, мое милое,
К дурному — не к доброму!
Молись божьей матери,
Хранителю ангелу,
Угодникам киевским!»

«Здоров ли-то молодец,
Мой суженой-ряженой? . .
Вот близко уж полгода
Ни слуха, ни весточки! . .»

«Бог милостив, дитятко».
(Старушка заплакала.)

«О, полно кручиниться! —
Сказала красавица
(Взглянув на пречистую
С слезами и верою), —
Пускай со мной сбудется
По воле владычицы;
Лишь бы ты, родимая,
Печали не ведала,
Себя не тревожила».

(1826)

Б. М. ФЕДОРОВ

Борис Михайлович Федоров (1798—1875) родился в Москве, в дворянской семье. Систематического образования он не получил и еще ребенком был определен в службу — в Петербургский надворный суд, позднее в министерство юстиции; с 1818 года служил в департаменте духовных дел под начальством А. И. Тургенева, секретарем которого вскоре стал (1821). Уже в 1812—1813 годах он дебютирует патриотическими одами, пьесами и сатирами; в 1814 году издает сборник «Минуты смеха», а в 1815 году — журнал «Кабинет Аспазии». В 1818 году выходят его «Опыты в поэзии» (ч. 1; вторая не появилась), подведшие итог его раннего творчества. К этому времени круг его литературных связей довольно широк: ему покровительствует А. И. Тургенев (сохранивший к нему расположение до конца жизни), Карамзин, Дмитриев, Шишков, Державин; он дружен с Панаевым и будущим цензором К. С. Сербиновичем. С 1819 года он член Обществ любителей словесности, наук и художеств и любителей российской словесности. Поэтическая деятельность Федорова отличается эклектизмом: автор сентиментальных и даже романтических элегий, романсов и баллад («Разлука рыцаря», 1819; «Альфонс», 1820; «Федор и Маша», 1820, и др.), он в то же время культивирует традиционную для XVIII века сатиру, осмеивающую «подьячих», нравы «модного света», общечеловеческие «пороки» и «странности», пишет оды и большое число стихов «на случай». Эти последние очень сближают Федорова с низовой официозной поэзией XVIII века, типа Рубана и др.; он приближается к ней и по своему социальному самосознанию поэта-чиновника, зависящего от меценатов и относящегося к своей литературной деятельности утилитарно-прагматически.

Уже в ранний период подчеркнутый и несколько назойливый морализм и благонамеренность определяются как основное качество

литературной продукции Федорова. Они обусловили и преимущественное внимание, которое он уделял басне; пышным цветом расцветает официозный дидактизм и в детских стихах Федорова. В 1820 году он — один из активных деятелей правого крыла «соревнователей», выступающий в поддержку В. Н. Каразина; в ближайшие годы он принимает активное участие в борьбе «измайловцев» против «союза поэтов». Его стихотворные памфлеты и пародии этих лет принадлежат к заметным явлениям литературной полемики (наряду со статьями Цертелева и пародиями Сомова). Равным образом выступает он и против «Полярной звезды». Его «антиромантическая» позиция сказалась в разборе «Бахчисарайского фонтана» Пушкина в «Письме в Тамбов о новостях русской словесности» (1824); он предпринимает характерную попытку отделить Пушкина от Вяземского и «союза поэтов». В 1823—1824 годах, замещая П. П. Свиньина, Федоров издает «Отечественные записки», где помещает ряд статей на исторические темы и первые главы романа «Князь Курбский». В это время основной его литературный враг — Ф. Булгарин, борьба с которым в значительной степени носит коммерческий характер. В 1820-е годы Федоров печатается почти во всех журналах; однако даже его сторонники и благожелатели смотрят на его стихи как на массовую продукцию; широкое хождение имела эпиграмма Дельвига «Федорова Борьки мадригалы горьки» и т. д. и самое прозвище Федорова — «Борька». В 1826—1827 годах он издает альманах «Памятник отечественных муз», где благодаря содействию А. Тургенева, помещает ряд неизданных произведений Карамзина, Батюшкова, Вяземского, Пушкина; к 1827—1828 годам относится и его личное общение с Пушкиным, не скрывавшим иронического отношения к нему.[1] В 1828 году он предпринимает издание журнала «Санктпетербургский зритель», где помещает рецензию на IV и V главы «Евгения Онегина», встреченную Пушкиным также иронически. К этому времени относится и начало его деятельности как детского писателя; среди его стихов для детей есть некоторое количество несомненно удачных, довольно долго державшихся в репертуаре детского чтения.[2] Своеобразным проявлением литературного консерватизма Федорова была поддержка им крестьянских поэтов — М. Д. Суханова, Е. И. Алипанова, Ф. Н. Слепушкина, в

---

[1] См.: Пушкин, Письма последних лет (1834—1837), Л., 1969, с. 479.

[2] А. К. Покровская, Б. М. Федоров. — Материалы для истории русской детской литературы, вып. 1, М., 1927, с. 135.

творчестве которых он усматривал благонамеренность и патриархально-идиллический нравственный кодекс. Отсюда и тяготение его к идиллическому творчеству В. Панаева, и собственные опыты стилизации «сельских песен». Другой формой утверждения «добрых нравов» для него является басня, моралистический аполог, дидактическая легенда.

Литературно-издательская деятельность Федорова уже с конца 1820-х годов была для него средством к существованию. В 1830-е годы он постоянно озабочен поисками службы, вынужден прибегать к покровительству чиновных и титулованных особ (Шишкова, Т. Б. Юсуповой); с начала 1840-х годов влачит полунищенское существование. Еще в 1833 году он проходит в члены Российской академии — большинством в один голос. Во второй половине 1830-х годов Федоров сотрудничает в «Журнале министерства народного просвещения»; его переписка с Сербиновичем, в это время редактировавшим журнал, пестрит остережениями против неблагонамеренных и подрывающих устои сочинений. Он становится добровольным осведомителем III отделения и в 1840-е годы известен как автор доносов на «Современник» и «Отечественные записки». В начале 1840-х годов он сотрудничает в «Маяке», позднее в «Северной пчеле». Для либеральной и революционно-демократической критики он представляет собой крайне одиозную фигуру. Резкие отзывы о его изданиях дают Белинский и Добролюбов. Федоров печатается до конца 1850-х годов; одна из его последних книг была составлена из стихотворений, посвященных Николаю I («В память Николая I», 1857).

94. ТЕРПЕНИЕ

Степенный ум и поздны леты,
И книги, и друзей советы,
И мудрецы преподают
Науку счастья, жить уменье,
Твердя: терпенье! и терпенье!
Кто терпелив, тот любит труд;
Даров Фортуны он не просит,
Ее любимцев не следит,
Спокойно в долгий путь глядит,
Без скуки горе переносит,
Умеет дружбе снисходить,
Умеет с недругом ужиться,

Без прихотей с богатством жить
И без богатства обходиться.
Доволен более других,
Себя всех меньше упрекает,
В желаньях не упрям и тих;
Зато раскаянья не знает.
Невежд спесивых важный тон,
Пиитов неусыпных оды,
Клонящие невольно в сон,
Вседневный разговор с погоды,
Все сплетни барынь городских,
Все новости большого света,
Все требованья этикета,
Все пересуды щеголих,
Смесь разговорных мадригалов
В беседе дружеской глупцов,
Мы, мы издателей журналов,
Я, я болтливых хвастунов,
Вельмож, приказных обещанья,
Сбор бесконечных лотерей —
Не утомят в нем ожиданья,
Не надсадят его ушей!
Роптанья за собой не водит
И сам не в тягость никому;
Судьба не хмурится ему;
Везде он угол свой находит.

Вот терпеливого портрет.
Но где же подлинник? скажите.
Не вы ль, друзья? Но вы молчите.
Итак, не я ль? — Ах, вовсе нет.

⟨1822⟩

95. СОЮЗ ПОЭТОВ

Сурков Тевтонова возносит;
Тевтонов для него венцов бессмертья просит;
Барабинский, прославленный от них,
Их прославляет обоих.

Один напишет: *мой Гораций!*
Другой в ответ: *любимец граций!*
И третий друг,
Возвысив дух,
Кричит: *вы, вы любимцы граций!*
А те ему: *о наш Гораций!*

Тевтонова Сурков в посланьях восхвалял:
О Гений на все роды!
Тевтонов же к нему взывал:
О баловень природы!
А третий друг,
Возвысив дух,
Кричит: *вы баловни природы!*
А те ему: *о Гений на все роды!*

А я скажу питомцам муз:
Цвети хвалебный ваш союз!
Друг друга прославляйте,
Друг друга разбирайте,
С Горацием равняйте,
Посланья сочиняйте,
В журналы отсылайте,
Видения слагайте,
Друг другу посвящайте,
Слепую нас *толпу*, счастливцы, забавляйте —
И, свой отборный слог любя,
Хвалите вы — самих себя!
Условные желанья,
Немые ожиданья,
Кипящие лобзанья
И сладострастье нег
Твердите и твердите!
Увядши для утех,
В окно, *не зря, глядите!*
Над *чашами* дремлите
И *чашами* стучите!
Читателей глушите!
Друг другу дребезжите
О чашах вы своих!
Без *чаш* не полон стих.

Беспечность, свободу
В кустах огорода
Зовите летать,
Летать и порхать,
Друзей прикликать!
И в юности *бывалой*
Венки *брусники алой*
Любите вспоминать!
Заслугой вы велики —
Вам музы воздадут!..
Венками вас *брусники*
К бессмертию увьют!

⟨1822⟩

96. СОЗНАНИЕ

Не ваш, простите, господа;
Не шумными иду путями,
Любитель легкого труда!
Вам честь и слава! Всё пред вами!
Не ваш, простите, господа!

Мои стихи — вода водою;
Не мне затейливо писать!
Я не блистал в них мишурою —
Их даже можно понимать.

Друзей моих с Анакрео́ном
Во фрунт к бессмертью не равнял
И дико-мрачным важным тоном
Моих бессмыслиц не читал.

По новой форме я не знаю
На полустишии гудить;
Тех за поэтов не считаю,
Чья страсть писать, чей дар дразнить.

Досугом с музами деляся,
Спесиво к славе не лечу

И, с журналистом сговоряся,
Попасть в таланты не хочу.

Я не имею дарованья:
Вас не хвалил и виноват!
Не стою вашего посланья,
И мне стишков не посвятят.

Не шумными иду путями;
Не ваш, простите, господа,
Любитель легкого труда, —
Вам честь и слава! Всё пред вами!

Не постигал, невежда, я,
Как можно, дав уму свободу,
Любви порхать по огороду,
Пить слезы в чаше бытия!

Как *конь взвивался над могилой,*
Как *веет матери крыло*
Знакомое, как бури силой
Толпу святую унесло!

Очей, увлаженных желаньем, —
Певца гетер — у люльки Рок —
Уста, кипящие лобзаньем, —
Я — как шарад — понять не мог.

Не ваш, простите, господа;
Не шумными иду путями,
Любитель легкого труда, —
Вам честь и слава! Всё пред вами!

⟨1823⟩

97. ОБОДРЕНИЕ

Сиянье дню, роса цветам,
Крыле уму в его стремленье,
Талантов воспитатель нам,
Живительное Ободренье!..

Не ты ль ввело младых певцов,
Марона, Флакка, честь веков,
В чертоги Мецената пышны?
Не ты ль восторг внушило им?
Их лирами — гордился Рим,
И звуки их вселенной слышны!

И там, где Цезарь воздвигал
Торжеств трофеи, в страх вселенны,
Отколе меч простря победный,
Закон земным царям давал, —
Там, в честь ума и дарований,
Певец Лауры и мечтаний,
Багряной тогой облечен,
На стогнах славы, в Риме шумном,
При плесках граждан, громе трубном
В Капитолийский храм введен.

Неверно счастье нам; но слава
Не требует его венцов!
Необорима, величава,
Сквозь даль пространств, сквозь мрак веков
Она свой блеск распростирает,
В полете время обтекает —
Не кипарис, но лавр растит!
Дерзай, чье сердце к славе бьется!
Забвенье лиры не коснется,
И ты не будешь позабыт!

Позор тому, кем не почтен
Муж, дарованьем знаменитый!
Омер, пристанища лишен,
В безумных доме Тасс сокрытый
Коварну зависть обличат.
Талантам к славе — нет преград;
Невежд бессильны все упорства,
Гоненье изнеможет их,
И грозный приговор потомства
Отмстит за честь певцов своих.

Счастлив, кто хочет уступать
Завистникам успех неверный
И, выше став молвы пременной,
Хулу и лесть их презирать;
Над облаками так парящий
Орел не слышит рой жужжащий;
Но, в силах ослабев души,
Чувствительный к неблагодарным,
Расин поник челом печальным,
И Озеров — угас в тиши.

Бессмертен век их, краткий днями!
Но ободреньем лишь цветут
Сады наук; его лучами
Согреты, зрелый плод дают!
Хвались плодом благотворений,
Шувалов, мирных знаний гений!
Отчизна дел твоих полна,
И в свитке Клии, пред веками,
Златыми блещут письменами
Тебе подобных имена.

Здесь дар почтен! здесь он прославлен!
В стране побед, в земле снегов,
Афинских муз Парнасс восставлен!
Здесь холмогорский рыболов
Двор украшал *Елисаветы;*
Был зван на царственны советы
Державин, лиры властелин;
Венчанный лавром страж закона,
Предстатель Дмитриев у трона,
И гость чертогов — Карамзин!

Любимцы пиерид бессмертны;
Их имя, по теченью лет,
Из рода в роды отдаленны
Юнея, славою прейдет.
Изменится лицо Природы,
И минут царства и народы;

Афины были! — путник там
Одни развалины застанет;
Твой лавр, Державин, не увянет,
Взносясь челом, в упор векам!

Благоговенье к дому Феба!
Здесь жил Державин, здесь звучал!
Здесь, проповедник тайны неба,
Он бога пел — и мир внимал!
Следы его здесь не остыли;
Сюда мы зреть его спешили;
Мы не забыли звуки слов,
Как здесь приветным разговором,
Грядущее провидя взором,
Он ободрял младых певцов.

Так, ободренья, ободренья
Прошу, о музы, я от вас;
Вам на достойны песнопенья
Внушите вы мой робкий глас!
Забудь звук чаш, пиров свидетель!
Венчай цветами Добродетель,
Воспой Отечества сынов.
Победы славной ищет воин, —
Да будет нас предмет достоин
Поэзия — язык богов.

1823

98. НЕРАВНАЯ УЧАСТЬ

На кладбище земле отдать несли
Гроб розовый, осыпанный цветами;
Прохожие смотрели со слезами,
Как вслед отец и мать, рыдая, шли.

Летами и печалью изнуренный,
В толпе старик брел, подпершись клюкой.

«Чей гроб?» — спросил, участьем побужденный,
Задумчиво сопутник молодой.

«Увы! — сказал старик, — она, как радость,
Как ангел, гость минутный здесь была;
Едва она узнала жизни сладость, —
Безропотно от мира отошла.

С младенческой невинностью понятий,
Прекрасная, как юная весна,
От родственных отторгнута объятий,
От брачного венца отозвана!

А я, — он молвил с горькою улыбкой, —
Всех пережил, и ближних и друзей!
И, смертию забытый здесь ошибкой,
Скитаюся на старости моей!»

1823

99—102. *ЭЗОПОВЫ БАСНИ В СТИХАХ*

1

ВОЛК И ЯГНЕНОК

Волк за Ягненком гнался,
Ягненок в капище вбежал...
Предатель вызывать его оттуда стал:
«Смотри, — сказал, — к жрецам попался!
На нож пришел ты в храм».
Ягненок отвечал: «Жду смерти и не скрою, —
Но лучше жертвой быть богам,
Чем быть растерзанным тобою».

Со славой лучше умереть,
Когда неотвратима смерть.

1823

2

ЯВОР

В день летний путники под зноем солнца шли,
И, гору миновав песчаную, крутую,
Увидя Явор, прилегли
Под тень его густую,
Прохладой освежась его,
Они усталость, жар забыли.
«Ну что за дерево! нет пользы от него!
Бесплодное!» — смотря на Явор, говорили.
«Неблагодарные! — им Явор возразил. —
Вы наслаждаетесь моим благодеяньем
И воздаете порицаньем
Тому, кто вас покоил и укрыл!»

1823

3

МАЛЬЧИК И ПРОХОЖИЙ

Купаясь, мальчик утопал.
«Ах, помоги!» — прохожего он звал.
Прохожий стал кричать: «Как глупо, безрассудно
Купаться в месте том, где утонуть не трудно!»
— «Ах! — мальчик говорил, — ты жизнь мне сохрани!
А после побрани!»

1823

4

МЕДВЕДЬ И ЛИСИЦА

Медведь хвалился,
Что он из всех зверей
И жалостливей, и добрей,
И мертвых никогда касаться не решился.
Лисица молвила: «Тебе хвала и честь
За милосердие такое;

Но лучше б, куманек, тебе покойных есть
И дать живым — пожить в покое».

Бесстыдный лицемер хоть любит злом вредить,
А хочет добрым слыть.

1823

103. В ПАМЯТЬ МИЛЫМ

В какой стране долина роз погибших,
Где вновь цветут их прежние цветы?
В какой стране приют друзей почивших?
Где вновь узреть их милые черты?

Живет ли *то*, чем сердце наше жило,
И мысль о нас еще ль хранит *оно*?
Нас любит ли что прежде нас любило?
И далеко ль — от нас разлучено?

И долго ли разлуке сей продлиться?
Не спрашивай, о сердце, у судьбы;
Таинственный покров не прояснится.
Мы, смертные, — безвестного рабы.

Но верь тому, что живо провиденье,
Что солнце есть, хоть скрылось в глубину;
О, верь тому! Есть в смерти возрожденье.
Зима полей — готовит нам весну.

⟨1829⟩

О. М. СОМОВ

Орест Михайлович Сомов (1793—1833) известен преимущественно как критик и беллетрист. Поэтическая деятельность не была для него определяющей, однако в начале 1820-х годов представляла собою довольно заметное явление. Обедневший потомок старинного дворянского рода, Сомов родился в Волчанске, на Украине; образование получил в одном из частных пансионов, затем в Харьковском университете. Первые его стихи появились в 1816 году в «Украинском вестнике» и в «Харьковском Демокрите». На протяжении 1816—1817 годов он печатает здесь многочисленные стихотворения «на случай», эпиграммы, эпитафии и т. д. Около 1816 года Сомов переезжает в Петербург и в 1818 году избирается членом Обществ любителей российской словесности и любителей словесности, наук и художеств. Он сотрудничает в «Благонамеренном» и «Соревнователе», печатая здесь басни, переводы и переделки образцов легкой и анакреонтической поэзии (Парни, Дезожье) и т. д. В 1819—1820 годах Сомов совершает заграничную поездку, посетив Польшу, Германию, Францию, и знакомится с современной французской литературой и театром. В 1820 году Сомов возвращается в Петербург и теснее сближается с кругом А. Е. Измайлова; он — постоянный посетитель и салона С. Д. Пономаревой, где носит прозвище-псевдоним «Арфин». В 1821 году своим разбором перевода Жуковского из Гете «Рыбак» Сомов открыл полемику группы Измайлова против «новой школы словесности». На стороне «михайловцев» и В. Н. Каразина он оказывается и во время известного конфликта в среде «соревнователей» 15 марта 1820 года.

В 1822—1823 годах Сомов пишет ряд памфлетов, эпиграмм и критических разборов, направленных против Дельвига и Баратынского. Его имя постоянно упоминается и в ответных полемических выступлениях дельвиговского кружка. Вместе с тем позиция Сомова не есть позиция «антиромантика»: в начале 1820-х годов он делает

перевод антиклассицистской сатиры Бершу и обращается к творчеству Байрона. Значительное влияние на Сомова оказывает и атмосфера общественного подъема 1820-х годов; в его поэтическом творчестве появляются произведения ораторского жанра, с ярко выраженной гражданской окраской. Такова «Греция» (1820) — одно из лучших произведений филэллинистической литературы периода декабризма; теми же настроениями проникнуты и переведенные им «Записки полковника Вутье о нынешней войне греков» (1825), популярные в декабристских кругах. С 1821 года Сомов активизирует свою деятельность в «ученой республике», сближается с Рылеевым и Бестужевым, принимает участие в издании «Полярной звезды» и «Соревнователя», где в 1823 году печатает свою наиболее значительную литературно-теоретическую работу «О романтической поэзии». Статья эта — результат изучения западных литератур и трудов теоретиков романтизма (г-жи де Сталь и др.), а также собственных занятий Сомова русским и украинским фольклором — обосновывает необходимость национальной поэзии, «неподражательной и независимой от преданий чуждых».

После восстания 14 декабря Сомов был арестован, однако освобожден, за неимением данных о его участии в деятельности тайного общества. В 1826—1829 годах он — постоянный сотрудник «Северной пчелы», где печатает критические статьи и переводы; он выступает (в «Северных цветах» и других альманахах) и со своими оригинальными повестями, на материале преимущественно украинского быта и фольклора. Профессиональный литератор, Сомов вынужден добывать себе средства к существованию исключительно литературным трудом. В 1829 году, порвав с Булгариным, Сомов переходит к Дельвигу и становится одним из ближайших его сотрудников по изданию «Северных цветов», а затем (в 1830—1831 годах) «Литературной газеты». К поэзии в это время он обращается лишь случайно. Умер Сомов в 1833 году. [1]

---

[1] О Сомове см.: С. Н. Браиловский, К вопросу о Пушкинской плеяде. Орест Михайлович Сомов, Варшава, 1909; З. В. Кирилюк, О. Сомов — критик та белетрист пушкінської епохі, Київ, 1965 (на укр. яз.).

104. КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

(Опыт русского размера)

Поднимались от востока тучи мрачные,
Облегли вокруг грядами синий свод небес;
Ветры буйные, крылаты, сорвались с оков,
Всею силою ударили по безднам вод.
Закипело непогодой море черное,
Клокотала вся пучина от движенья волн,
Застонали вдалеке скалы кремнистые,
Белой пеною покрылся брег утесистый...
Между волн, в средине моря, сквозь туманну даль,
То мелькнет, то снова скроется в волнах корабль;
Ветр порывный, раздирая паруса его,
Быстро мчит и повергает в треволнение;
С свистом снасти оторвавши, носит в воздухе;
От качанья мачты с скрыпом преломляются.
Корабельщики, трудами утомленные,
Потеряли всю надежду избавления;
Смотрят вдаль — там берега к ним улыбаются,
Но мгновенье — берега от глаз сокрылися;
Смутный взор они низводят в море шумное —
Море, бездны разверзая, вторит: гибель вам!
К небесам, в слезах, с мольбою обращаются —
Небеса, облекшись в тучи, шлют к ним молнии
И громами подтверждают: нет спасения!
И, вперив унылы очи в воды пенные,
На корме стоит в печали нежный юноша:
Вздохи тяжкие стесняют грудь высокую,
И струятся током слезы по лицу его;
Горьки жалобы со стоном вырываются:
«Нет! не видеть мне бесценной, милой родины.
Здесь погибну невозвратно я в седых волнах;
Не готовь мне ласк приветливых, родимая!
Не прижмется сын твой радостно к груди твоей;
Я умру — и ты не примешь вздох последний мой!
Не согреет поцелуй подруги милыя
Сих ланит, запечатленных смертной бледностью;
Не вдохнет она дыханьем уст малиновых
Жизни в грудь сию, навеки охладевшую;
Не откроют слезы, льющиеся из глаз ее,
Сих очей, сном непробудным отягчаемых!»

Так стенал, — но буря, с яростью взорвав валы,
Понесла корабль стремительно ко грудам скал, —
С громом рухнувшись о камни, расщепился он,
Лишь обломки полетели в брызгах вверх и вниз;
И пловцы, стремглав низвергшись в хляби черные,
Смерть безвременну впивают с влагой мутною. . .
Всех пожрала их пучина ненасытная
И изринула тела их на песчаный брег!

⟨1818⟩

105. ИСТОРИЯ

Не помню где, в какое время,
Татар неугомонно племя
С оружием и пламенем в руках
Набег на область учинило
И всюду смерть, пожар и страх
Перед собой распространило.
Их лютый Кузлу-хан
Столицей овладел и, свой покинув стан,
Перебрался в нее. Там всё пленяло чувства
Сего питомца диких стран:
Признался верный мусульман,
Что услаждают жизнь приятные искусства;
Но более всего
Обворожала взор его
Стоявшая близь царского чертога
Златая статуя работы мастерской
И с надписью такой:
«Царю, в котором чтили бога,
Царю, который был владык земных красой:
В нем мудрость с благостью святой соединялась,
И славе дел его вселенна удивлялась!»
Прочтя сии слова, суровый хан сказал:
«Вот памятник бесценный!»
И, с уважением смотря на лик священный,
Историю сего царя он знать желал.
И что же в оной прочитал?
«Сей царь, — нельстивая история вещает, —
Вселенной в казнь был грозным небом дан;

Был бич отечества и подданных тиран;
Вопль утесненных им еще не умолкает!»
Остолбенел татарский хан,
Окончив чтенье!
«К чему ж, — вскричал он в удивленье, —
Когда история нам правду говорит,
Ложь статуе бесстыдно льстит?»
— «Я разрешу твое недоуменье! —
Татарину один придворный отвечал. —
Сей памятник царю при жизни был воздвигнут;
А истину об нем историк написал,
Когда он смертью был постигнут».

(1819)

106. СОЛОЖЕНОЕ ТЕСТО

(Народный рассказ)

Дети! ко мне все бегом: на столе соложеное тесто!
Полно дурить на дворе да гонять поросят по закутам.
Ну-тка, усядьтесь — да рыла чурь не марать и ложкой не драться.
Кушайте, светы мои, на здоровье: Христос вас помилуй!

В осень зерно на гумне снопами в одоньях лежало,
Вот ваш отец сам-четверт, с Парамоном, с Никиткой, с Еремкой,
Дружно цепами раз в раз постучав по току, смолотили,
Липовой после лопатой вверх пометав, отвевали
По ветру пыль и полову; вот и сгребли, и сложили
Зерна в закром, что тамо в клети на дворе за сенями.
Вот зимою зерно, как медведок, полгода дремало:
Нежилось в закроме, тихо шепча: «Я знаю, что будет!»
Вот и весна настает, показались проталины в поле,
Жаворонок, закружась, завирял, зашнырял в поднебесьи,
Гордые гуси, сипя всем горлом, свой говор гогочут,
С писком цыплятки вприскок поспешают, все к семю, все к семю;
В роще чиликает чиж и соловушка свищет, щебечет,
Кошки мурлычат, ворчат, и Оторва рычит в подворотне.
В поле поехал отец и сохой взворотил десятину,
В землю засеял зерно, бороной заскородил зубчатой.

Преет зерно, пыхтит да растет, поднялось, раздобрело;
Вышел, глядишь, стебелек невысок и качает головкой;
Вот зеленеет, зацвел, налился, созревает, желтеет,
Смотришь — жучки да букашки ползут молодым любоваться,
Мошки толкутся толпой и поют ему: «многие лета!»
Матушка ваша с снохами, Хавроньей, Устиньей и Домной,
Взявши серпы, побрели на ниву; пожали, связали
Туго в снопы, сложили в крестцы; а дядя Еремка
О Покрове на гумно их свез на сивой кобыле.
Вот опять на току за цепы принялись спозаранку,
Смолотили снопы и зерно посушили в овине.
В мельницу зерна свезли... а там — ах, детушки, страшно!
Мельник-колдун, мужичок короток, с локоток, — а бородка
Ровно с саженю длиной! у него, бают люди, в подданстве
Вся нечистая сила — и всю подноготну он знает!..
Что ж вы зарюмили, дети собачьи? чего тут бояться?
Я вас уйму! еще поревите! а ты, разюмиха,
Слину, смотри, попустил, и нос не утрешь... ну вось я-те!
Так надаю треухов, что не вспомнишься... всё не уйметесь?
Черт же с вами! ступайте вон из избы, негодяи!

7 декабря 1820

107. НЕВЫГОДЫ БОГАТСТВА

Подражание Дезожье

С тех пор как случаем игривым
Попал в богатство я и в знать,
Везде зовут меня счастливым,
А счастья вовсе не видать.
Прощай, блаженство!
Зеваю — сам себе не рад...
Прощай, блаженство!
Я знатен и богат.

Я ночь не сплю и днем скучаю;
Боюсь всего — боюсь людей;

В судах — пронырство я встречаю,
Заимодавцев — у дверей.
Прощай, спокойство!
Я весь в долгу — я знатным брат!
Прощай, спокойство!
Я знатен и богат.

Бывали дни, шалунья Лила,
С улыбкой, взглядом плутовским
Ко мне тихонько приходила —
Я был счастлив — я был любим. . .
Прощай, Лилета!
Тебя пускать уж не велят;
Прощай, Лилета!
Я знатен и богат.

Не раз мне милые собором
Твердили: «Ты забав душа!»
Теперь же я с холодным взором
Смотрю на женщин, как паша.
Прощай, забава!
Прощай, красавиц нежный взгляд!
Прощай, забава!
Я знатен и богат.

И ем, и пью без наслажденья;
Средь роскоши, среди пиров,
Поверите ль? — от пресыщенья
Бываю грустен, нездоров.
Прощай, веселье!
Шампанское — мне сущий яд!
Прощай, веселье!
Я знатен и богат.

Чуть голова лишь разболится,
Чихнул, покашлял лишний раз —
В постелю мне велят ложиться,
Кругом — врачей толпа тотчас!
Прощай, здоровье!
Меня лекарствами морят.
Прощай, здоровье!
Я знатен и богат!

И вы, что в домик мой ходили,
Любезные весельчаки!
Смеялись, пили, говорили
И дельное, и пустяки,
        Прощайте, други!
Коль обедняю — ваш собрат!
        Прощайте, други!
    Я знатен и богат.

Но вот уже толпа большая
Ко мне валит нарядных бар...
Умолкни, лира дорогая!
Иди, докладывай, швейцар.
        Прощайте, музы!
Спешу... вам принужденье — мат!
        Прощайте, музы!
    Я знатен и богат!

⟨1821⟩

108. ПЕСЕНКА

Полно, сердце! успокойся на часок!
Удержися, горьких слез моих поток!
Перестаньте, вздохи, грудь мою теснить!
Сон забытый! мне пора тебя вкусить!

Я обманут был неверною мечтой:
Дни надежды пролетели с быстротой;
Думал: счастье улыбнется и ко мне...
Нет как нет его ни въяве, ни во сне.

Вижу: счастие лелеет там других;
По цветам текут минуты жизни их;
Мне лишь бедному жить в горе суждено, —
Для чего ж мне сердце нежное дано?

«Чем же хуже я счастливых тех людей? —
Часто думаю в печали я моей. —
Ах! не тем ли, что в удел мне не даны
Ни богатство, ни порода, ни чины?»

В поле чистое пойду с моей тоской;
Вижу: ива наклонилась над рекой, —
Как той иве вечно прямо не расти,
Так мне в мире вечно счастья не найти.

Ободрися, дух унылый, не пади!
Там, за гробом, в лучшем мире счастья жди:
Там спокоишься от горестей и бед,
Коль на свете для тебя блаженства нет.

1821

109. ГРЕЦИЯ

Подражание Ардану[1]

Plectuntur Achivi. *Horat.*[2]

Куда меня влечет воображенье?
Я чувствую в душе восторг и умиленье!
Не на твоих ли я, о Илис, берегах?
Не твой ли попираю прах,
Страна, любимая когда-то небесами
И населенная полубогами?
Когда-то. . . но теперь, безмолвна и хладна,
Невольным ужасом мне грудь теснит она!
Где ряд героев тех, которых мощны длани,
Гроза врагов на поле брани,
Святой свободе храм воздвигли в сих местах?
О тени славные, услышьте глас мой слезный!
Взгляните: ныне грек, потомок ваш, в цепях!
В поносном рабстве век влачит он бесполезный!
И мать искусств, сия страна
На жертву варварам, невеждам отдана!
Взгляните, как она стенает,
Согбенная под тяжестью оков;
Взгляните, как она слезами омывает
Гробницы доблестных сынов!

---

[1] Ардан (Ardant) написал свою элегию еще 1812 года и заслужил первую награду от Тулузской Академии Словесности (Académie des Jeux Floraux).

[2] Греки терпят ущерб. *Гораций* (лат.). — *Ред.*

И в сем обширном запустенье,
От рабства впадшие в презренье...
Возможно ль?.. греки духом спят!
Периклов робкие потомки
Холодными очами зрят
Красноречивые отчизны их обломки!
Для них ничто великих предков ряд,
Ни славные в веках святилища познаний:
В них скорби нет о том и нет воспоминаний;
Мечи их ржавеют — лишь цепи их звучат!
Увы, вся Греция — лишь памятник надгробный!
Она живет в одних развалинах своих;
И странник, вкруг себя бросая взор прискорбный,
Повсюду зрит следы ее тиранов злых.
Он видит мхом седым обросшие могилы,
Героев памятник — здесь были Фермопилы!
И грек склонил хребет, на прахе сих мужей,
Стеня под тяжкими ударами бичей!..
Проснитесь, грозные питомцы Славы!
Проснись, полубогов бесстрашный сонм!
Да воспылает брань кругом
И вновь за родину текут ручьи кровавы!
Явись — и снова грек в знакомый след пойдет!
Сдружась с победою и честью,
В свирепых варваров свирепой грянет местью
И за моря их проженет!
Увы, всё глухо здесь на голос мой призывный,
И сонм полубогов уже навеки мертв!
Плутон в сей мир своих не возвращает жертв!
И здесь разносится лишь рабства стон унывный!
И в час, когда язык благоговейный мой
Героев имена велики повторяет, —
Здесь храмы древности безбожно разрушает
Невежда дерзкою рукой!..

Услышано мое моленье!
Грек за свободу стал — в тиранов сеет страх!
И тени предков в восхищенье
Зрят дух великий свой, оживший в их сынах!
Разите — и во гневе яром
Удары сыпьте за ударом!
Мужайтесь — мести грозный час!

Омойте кровью стыд свой прежний,
Мечом купите мир надежный! .
Вы за свободу... Бог за вас!..

⟨*1822*⟩

110. ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ

Сатира

Подражание Бершу

Избавлюсь ли когда от римлян и от греков?..
Бесчеловечные два племя человеков!
Мне кажется, они из гроба восстают
И в этом мире мне покоя не дают.

Друзья! в последний раз о них веду я слово!..
Чуть вышел я на свет — мученье мне готово:
Во сне и наяву ужасный свист лозы
С угрозой мне твердил латинские азы.
Язык Горация мне был источник муки!
Увы! как скоро я, без брани, без науки,
Вытверживал язык кормилицы моей!
Что ж? сряду в восемь лет не помню я двух дней,
Чтоб не был вышколен за Плиния, Назона
Или по милости Сенеки, Цицерона
За их творения, за славные дела...
А их давным-давно могила прибрала!
Риторикой потом меня тиранить стали;
Там дикие слова мой слух и ум терзали
Их ревом греческим. . То были: *Плеоназм,*
Синекдоха, Эмфаз, Хариентизм, Сарказм,
Антономазия, Прозопопея, Хрия...
Как часто я, твердя сии слова чужие,
«Помилуйте, — шептал сквозь слезы, — я не грек!»
И, вслушавшись, меня учитель снова сек.
Из школы сей меня в ученый свет пустили.
Там люди умные о всех вещах судили,
Унизывая речь словами мудрецов
Латинских, греческих... И вот наш век каков:

Последний школьник вам, в жару ученых споров,
Готов по пальцам счесть архонтов и эфоров!

В театре и того не легче было мне:
Там вечно я в чужой, далекой стороне;
Повсюду имена Меропы, Гермионы,
Кассандры, Данаид, и Федры, и Дидоны,
Всех греческих цариц, упрямых, злобных жен,
Слезливых, нежных вдов, причудливых княжен,
Их обожателей, супругов исступленных,
Как волки воющих, как тигры разъяренных...
И ты, преступная и жалкая семья,
Атридов род! тебя не раз оплакал я:
Ты отдыха себе и в гробе не находишь
И, ряд теней, у нас по сцене вечно бродишь!

От греков наших я в деревню ускакал
И в книгах нынешних наставников искал:
Хотел узнать наш век, узнать минувши годы
И что в них делали соседние народы...
И тут, к моей беде, на древних я набрел!
Событий ход меня во Францию привел.
Там вижу, что убийц неистовая стая,
Губя соотчичей и храмы разрушая,
От родовых имен в безумстве отреклась
И в имена Сцевол и Брутов облеклась;
Там изверги, влача людей под гильотины,
Твердят: «Мы все равны! у нас теперь Афины!»
Там грубый Цицерон иль грязный Демосфен
Кричит: «Палач — герой; вор должен быть почтен:
Ведь в Спарте воровство законом одобрялось!»
И всё то к римлянам и грекам применялось!..

О вы, ученые наставники людей,
Сосуды мудрости, светила наших дней!
Энтузиазмы к нам внесли вы, *симпатии;*
Вам слава!.. но пока по-гречески в России
Вы не успели всех крестьян переучить, —
Не всё ли вам равно по-русски говорить?

⟨1823⟩

111. ⟨САТИРА НА СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТОВ⟩

Певец

Друзья! кипящий кубок сей
Поэтам осужденным:
Мы зрим в них братий и друзей;
Хвала певцам забвенным!
Уж для врагов их грозный лик
Не будет вестник мщенья,
И не взревет их хриплый крик
На новы сочиненья.
Перо их боле не скрыпит,
Иссякли их чернилы,
И пуст увядших стол стоит
На радость вам, зоилы!

Где *Николев*, который выл
Несносными стихами?
Он пал, главу свою склонил,
Щемив перо зубами.
Чему смеялся он в стихах,
Тем память нам оставил;
Се твой, о Тредьяковский, прах
Навек его прославил!
И тих его последний час!
В Украине зарытый,
Оставя поприще, угас
Поэт наш плодовитый.

А ты, *Грузинцев*, бард младой!
Где арфа на разладе?
Увы! он рифмой натяжной
Не грянет в «Петриаде».
В поэме ль звучной забренчит —
И слух, и ум терзает;
В трагедии ль заговорит —
И всяка плоть зевает.
Ах! кучи вкруг его лежат
В подвалах Глазунова...
Они — сном непробудным спят,
О их творце — ни слова.

А где же твой, пиита, прах?
Какою взят могилой?
Пойдет искать его в слезах
Стихов кропатель хилый!
Там всё — нескладных рифм содом,
Они, как волны, яры,
Спеша поставить свет вверх дном,
Твердят свои удары.
К нему твой пухлый дух слетит
Из рифмотворной сени,
И хаос мыслей возвестит
Прибытье дружней тени.

И ты, *Лабзин*! .. ах, на Сион
Вотще манил нас к богу!
Других спасал; себе же он
В ад проложил дорогу!
Еще друзей нам слышен клич,
Всё мнят: с одра восстанет,
Его ни гром, ни паралич
В могилу не затянет.
А он... навек тетрадь сложил,
Погибших душ ходатай!
И духом в область воспарил,
Где тлеют пустосвяты.

И честь вам, *падшие друзья*!
Ликуйте в горней сени!
Там ваша верная семья,
Певцов несносных тени!
Хвала вас будет оживлять
В кругу сынов Беседы.
«От них учитесь вы писать!!!» —
Рекут Славяно-Деды.
При вашем имени вскипит
В певце ретивом пламя,
Он гласом ослим зарычит,
Захлопает ушами.

Тебя хвалой, о *Гнедич*, чтим!
Цвети твоя фигура!

Ты глазом только лишь одним
Отличен от Амура.
О! сколь с уродливым лицом
Ты кажешься прекрасен!
И славным он прослыл чтецом,
И глас его неясен;
И кто тогда сравнится с ним,
Как он, певцам в отраду,
Завоет воем гробовым
Жуковского балладу?

Хвала, почтеннейший, хвала!
Хвала и многи лета!
Тебя судьбина облекла
В высокий сан поэта!
Чего-чего ты не писал?
Чем-чем не занимался?
Посланья, были сочинял
И в баснях отличался.
Всему-всему ты подражал,
Протей между певцами!
Крестьян, солдатов наставлял
И прозой, и стихами.

Иллюминат, обскурантист
Бываешь по погоде,
Магнетизер, экзаметрист
И мистик ты по моде...
Там *утки плещутся трюшком,*
Гусь говорный гогочет,
Там *деньги в поте и трудом,*
Сорока там *стрекочет.*
На ветке роза молодой
Вдруг *вспыхнула* и пышет!
А здесь — о чудо! — *над* водой
Черемха негой дышит!

Хвала, неукротимый лгун,
Свиньин неугомонный,
Бумаги дерзостный пачкун,
Чужим живиться склонный!
Писатель, химик, астроном
И дипломатик славный,

Художник, врач и эконом,
Во всем нулю лишь равный!
О диво! вижу тамо рой
Людей больших и малых!..
Его-то самоучек строй,
Былых и небывалых.

Хвала вам, тройственный союз!
Душите нас стихами!
Вильгельм и *Дельвиг*, чада муз,
Бард *Баратынский* с вами!
Собрат ваш каждый — Зевса сын
И *баловень природы*,
И Пинда ранний гражданин,
И гений на все роды!
Хвала вам всем: хвала, барон,
Тебе, певец видений!
Тебе, Вильгельм, за лирный звон,
И честь тебе, Евгений!

Хвала, наш доблестный *Плетнев*,
Венцы похвал плетущий
Святому братству из стихов
И их таланты чтущий.
Что в том, коль презрит вас толпа
И назовет глупцами?
Толпа презренна и глупа,
Вы нас причтите сами;
Свет строгий едким языком
В вас жару *не* ⟨*умалит*⟩.
Да хвалится ж осел ослом,
Коль свет его не хвалит.

Хор певцов

Да хвалится ж, и проч.

1823

А. С. НОРОВ

Поэтическая деятельность Авраама Сергеевича Норова (1795—1869) была довольно интенсивной в 1820-е годы. Выходец из старинного дворянского рода, он родился в деревне Ключи Саратовской губернии, воспитывался дома, затем в Московском университетском благородном пансионе и впоследствии сохранял связи со многими московскими литераторами (Д. Глебовым, М. Макаровым, С. Раичем, Д. Веневитиновым и др.). Не окончив курса, он в 1810 году поступил прапорщиком в гвардейскую артиллерию, участвовал в военных действиях 1812 года, под Бородином потерял ногу и был взят в плен; вернувшись с войны, около года провел в своем имении.

Литература и история, к которым Норов чувствовал влечение с детства, в 1813—1814 годах становятся его основным занятием; он изучает языки (французский, английский, немецкий, испанский, итальянский, латинский, греческий, позднее древнееврейский); а по приезде в Петербург начинает выступать в печати («Дух журналов», 1816), преимущественно с переводами из Вергилия и Горация. Его героическая биография, страстная любовь к литературе, открытый и доброжелательный характер снискали ему расположение петербургских литераторов. В 1818 году по рекомендации М. В. Милонова он был принят в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств; в 1821 году — в Общество любителей российской словесности. Наряду с переводами он печатает в «Благонамеренном» отрывки обширной дидактической поэмы «Об астрономии», над которой работает и в последующие годы. В кругу «Благонамеренного» поэма оценивалась как образец жанра. По своим симпатиям Норов — «классик», хотя никакого участия в литературной борьбе не принимает.

В 1821—1822 годах Норов совершает свое первое путешествие по Европе, посещает Германию, Францию, Италию, Сицилию; позднее (1828) он издает свои путевые очерки отдельной книгой. Впечатления путешествия отразились в его стихах («Остров Нордерней (по-

слание к Глебову)», 1822). С 1821 года начинает проявляться его устойчивое тяготение к итальянской поэзии (переводы из П. Ролли, 1821; Петрарки, 1821; Данте, 1825—1827; Ариосто, 1828); переводит он и Шенье («Младая узница», 1823; «Красавица», 1824), отдавая таким образом дань антологической поэзии. Стихи его появляются в «Благонамеренном» (1818—1821), «Вестнике Европы» (1819—1821), «Соревнователе» (1821), «Сыне отечества» (1820—1823, 1828), «Новостях литературы» (1823—1825), «Полярной звезде» (1824), «Северной лире» (1827) и др. В 1828 году появляются отрывки из его «фантазии» «Очарованный узник», которой он, видимо, придавал некоторое автобиографическое значение.

В 1823 году Норов получает чин полковника. В 1827 году он служит по министерству внутренних дел при адмирале Сенявине. В 1830-х годах удельный вес поэзии в творчестве Норова падает; его занимают проблемы истории, археологии, религии; он собирает огромную библиофильскую библиотеку — одно из лучших в России книжных и рукописных собраний. В это время растут и религиозные настроения Норова. В 1834—1836 годах он совершает путешествие в Палестину, Малую Азию и Иерусалим и издает книгу «Путешествие ко святым местам» (1838), отличающуюся как литературными, так и научными достоинствами. В конце 1830-х годов он предпринимает третье путешествие — вверх по Нилу, описанное им в книге «Путешествие по Египту и Нубии» (1840). В 1840 году Норов — член Российской академии, в 1849-м — сенатор, в 1851-м — действительный член Академии наук по отделению русского языка и словесности. В это время он занят преимущественно изданием памятников и работой по Археографической комиссии. В 1854—1859 годах он министр народного просвещения; на этом посту он оказался консервативным и бесхарактерным администратором, вызывавшим всеобщее единодушное неудовольствие. В 1860 году он совершает еще одно путешествие в Палестину. К 1868 году относится его критический разбор «Войны и мира», написанный с консервативных позиций. По-видимому, в поздние годы Норов предпринял полный перевод Анакреона, принадлежащий к высшим его поэтическим достижениям; в нем (как и в переводе из Вергилия) сказалась ориентация на державинскую «словесную живопись», в сочетании с лаконизмом художественных средств и некоторой лексической архаизацией приведшая к созданию своеобразной и поэтичной миниатюры. Стихи Норова собраны не были. [1]

[1] См.: А. В. Никитенко, А. С. Норов. — «Отчеты Академии наук по отделению русского языка и словесности за 1869 г.», с. 89.

112. ПОСЛАНИЕ К ПАНАЕВУ

Credo Pudicitiam Saturno Rege moratam
In terris, visamque diu, cum frigida parvas
Praeberet spelunca domos, ignemque, laremque,
Et pecus et dominos communi clauderet umbra.

Juv. Sat. VI[1]

Ты прелести златого века
Времян прошедших воскресил,
Но ах, того ли человека,
Певец, ты нам изобразил,
Который ныне унижает
Своей планеты красоту?
Певец мой, ты воспел мечту!

Природа нам не изменяет,
Природа как была — всё та, —
Кого ж из нас Адам узнает?
Так, пастушки твои — мечта!
Она лишь сердцу добрых внятна:
Мечты блаженства — не мечты!
И тень его для нас приятна,
Упавших с горней высоты,
Утративших права все наши,
Из света обращенных в прах;
Так, человек есть ангел падший,
Тоскующий о небесах!

Певец любезный, бросим взоры
Мы древней Аттики в страны —
Всё те же высятся там горы,
Холмы плодом испещрены,
Шумят густых платанов своды,
В снегах Олимп, в цветах Тайгет —

---

[1] Верю, что в царстве Сатурна стыдливость с людьми пребывала:
Видели долго ее на земле, когда скромным жилищем
Грот прохладный служил, которого тень заключала
Вместе весь дом — и огонь, и ларов, и скот, и владельца. — *Ювенал*, Сатира 6 (лат., перевод Д. Недовича и Ф. Петровского. — *Ред.*).

Над ними пролетели годы,
Но изменения в них нет.
Всё те ж гремят кристальны реки,
Всё те ж шелковые луга,
Но, друг мой, те ли ж человеки
Хранят Эгейские брега?
Грек-афинянин стал мечтою,
Арей Афины сокрушил,
И турок с шалевой чалмою
Там Мильтиадов заменил;
Мизитрой ныне Спарта стала,
И Алькоран дает закон,
Где вера чистая сияла
И бога прославлял Платон!

О друг мой, вот картина века,
В котором мы теперь живем, —
Кто в нас узнает человека?
И где же отблеск бога в нем?
И где печать, по коей можно
Признать во мне земли царя?..
Панаев, согласиться должно,
Слепую гордость усмиря:
Как турк пред древним греком ныне,
Так перед праотцами мы!..

Вот унижение гордыне!
Смиритесь, дерзкие умы!..
. . . .

. . . .

3 июня 1821

113. ЧЕЛЬД-ГАРОЛЬД

Подражание немецкому

В сумрачном углу, с мечтами,
Я один в пустом дому:
«Паж мой! мигом за друзьями!
Нет терпенья одному!..»

Свечи сотнями зажглися;
Зала вся людьми полна.
«Паж мой! гости собралися —
Мигом — ужин и вина!
Погреб выбери до дна!»

Вот и я в кругу веселом,
Слышу арф волшебный звук;
Тихо льется тон за тоном,
Всё гармония вокруг!..

Но каким внезапным стоном
Поражен смущенный слух?
Сердце охладело вдруг...
Кровь вся в голову вступила!
«Прочь сих арф надгробный стон!
Мертвецам приличен он —
Нас же радость посетила!»

Перебрав за строем строй,
Заиграли вновь арфисты:
Слышен волн сердитых вой,
Гул громов и ветров свисты.
Что за шум? Что слышу я?
Я и так убит тоскою —
Иль вам смерть нужна моя?
Дайте мне бежать, друзья!
Пропасть, пропасть подо мною!

Побегу в туманну даль
Рассевать свою печаль:
«Паж! коня, коня скорее!
Я едва могу дышать...
Здесь, в груди, мне всё теснее...
Нет, мне путь еще больнее...
Нет, постой коня седлать!..»

Не пойти ль на луг душистый
Иль на берег сей гористый?
Пусто там — и на горах!..
Не пойти ль в сей бор дремучий,

Где летают вранов тучи?
Нет — там холодно в тенях!..

В сумрачном углу, с мечтами,
Я опять в пустом дому:
Светит месяц над водами;
Страшно ночью одному!..

20 августа 1824
Гапсаль

114. ОТРЫВОК ИЗ ФАНТАЗИИ «ОЧАРОВАННЫЙ УЗНИК»

(Узник получил от своего стража перо, бумагу, чернила)

Теперь... всё высказать я рад!..
Когда опомнюсь — говорят,
Что я умен и сладкозвучно
Свои рассказываю сны.
Я их люблю, без них мне скучно.
Но говорят: со стороны
Им странно видеть, как я живо
Лицом, очами говорю,
Плечом, рукой нетерпеливой...
И сам в себе лицетворю
Все переменчивые страсти.
А с призраками каждый миг
Переменяется мой лик:
Сны, как и жизнь, у нас во власти.

Я день и ночь с пером своим, —
И чувствую успокоенье:
Слезами вытекло мученье.
Как сладко после слез мы спим!
Как живо жаркое виденье
Лелеет сонного меня!
Прочь утро!.. не хочу я дня.

Так! человек живет вдвойне:
Жизнь наяву — и жизнь во сне; [1]

[1] Байрон.

Ночь каждую он в мире новом:
Земное тело крепко спит,
А мысль его безмолвным словом
Вообразимое творит.
Что наши сны? Души творенье,
Бесплотной мысли воплощенье.

Раз... но ужель я точно спал?
В темнице ли? под небесами ль?
Душой ли я глядел? очами ль?
Я только жил и созерцал.
Нет! сны не снятся так счастливо.
Я всё, что видел, видел живо,
Как бы теперь... Кто скажет мне,
Что не мечта былое время?
Что свет не сон? что не во сне
За племенем преходит племя?..
Кто скажет мне, что я не жил,
Когда я чувствовал, любил
И... Нет! не сон!.. Мечта души
Осталась в памяти сердечной...
Неугасима будет вечно —
Как мысль — мечта моей души.

⟨1826⟩

115—120. ***ИЗ АНАКРЕОНА***

1

Τί με τοὺς νόμους διδάσκεις...

Что мне в высокой науке,
Что мне в витийстве пустом?
Славы в воинственном звуке?
Лучше ж с янтарным вином
Жить и играть с Афродитой.
С этой седой головой,
Розами вечно увитой,
Молод я, старец седой!

Лей мне вино и воду, девица!
Сладкую негу в душу навей!
Скоро живущих накроет гробница!
Нет вожделений в царстве теней! . .

2

Ἔρος ποτ' ἐν ῥόδοισιν...

Спящею пчелой из розы
Был Эрот укушен вдруг
В палец... вскрикнул он — и в слезы —
И во весь помчался дух,
Ручкой раненой махая,
К милой матери в Пафос.
«Ах! спаси меня, родная!
Гибну! там, в кусте из роз...
Ах, погиб! .. и умираю...
Ранен маленькой змеей
С крыльями, — ее, я знаю,
Пастухи зовут пчелой».
Мать дитя рукой ласкает,
Говоря: «Когда пчела
Больно так порой кусает,
Какова ж твоя стрела? ..»

3

Борзых узнают коней
По нажженным в бедрах та́врам,
А парфян в толпе людей
По возвышенным тиарам;
Я же тех, кто влюблены,
Узнаю в одно мгновенье:
Носят на челе они
Их души изображенье.

4

Δότε μοι, δότ', ὦ γυναῖκες...

Дайте, жены, дайте мне
Пить вина без всякой меры;
Видите ль, я весь в огне!
Весь под властию Киферы!
Наберите и цветов
Прохладить чело венками —
Но вином ли иль цветами
Можно утомить любовь? ..

5

Μή με φύγῃς ὁρῶσα...

Не беги меня, девица,
Оттого, что я стал сед,
Ты ж румяна, как денница,
И свежа, как ранний цвет.
К ласкам будь ты сердцем мягче:
Посмотри, как блещет ярче
Роза в белизне лилей
На венке твоих кудрей!

6

Ὁ ταῦρος οὗτος...

Этот бык, поверь, девица,
Сам Зевес, не кто иной:
Посмотри, как он гордится
Сидонийскою женой,
На хребте его влекомой!
Как кипит широкий понт,
От двойных копыт секомый! ..
Кто ж другой за горизонт
От родных лугов и стада
Явно убежать дерзнет?
Океан ему ль преграда? ..

Сирийка, с греческой повязкой в волосах,
Сегодня у себя плясать в таверне хочет.
Что за игра у ней в глазах, в плечах, в бедрах!
Как об локоть у ней ее кристалл грохочет!
Как сладко, пыльный Рим покинув за собой,
На ложах опочить застольных,
Средь бочек, чаш, амфор, кимвалов и гобой,
На кипах роз в тенях привольных.
Вот наш Менал: из-под наклона скал
Доходит трель пастушеской свирели;
Здесь ряд горячих вин из смоляных фиял,
И хладный ключ бежит по луговой постели;
Из разноцветных роз сплетенные венки,
С шафраном золотым лазурные фиалки
И лилий снеговых пуки,
Какими красятся весталки.
Каштаны здесь и сыр на желтых тростниках,
Осенних сочных слив и яблок здесь корзины,
Здесь чистая Церера, здесь Эрот и Вакх,
Плод шелковиц, узорчатые дыни.
Здесь огородов страж с пугающей косой,
Он не тебе грозит, гуляка Алибида,
Спеши, — но твой осел, сопутник верный твой,
Чуть дышит под тобой и ржет, ночлег завидя.
Безумолку трещат кузнечики в травах,
От зноя под скалы уж ящерицы скрылись,
Уж вины разлиты в кристалловых ковшах,
Которые в воде довольно нахладились;
С гетерой юною склонясь под этот куст,
Прими из рук ее венок из роз готовый,
Рви поцелуй любви с девичьих свежих уст, —
Но прочь от нас нахмуренные брови!
Для праха ли сберечь гирлянды из цветов,
Иль ими увенчать надгробный камень краше?
Эй! кости и вина. Живите! — а не то —
Смерть за ухом, и завтра уж не ваше!

А. А. КРЫЛОВ

Александр Абрамович Крылов родился в 1793 году[1] в семье помещика Олонецкой губернии. Получив первоначальное образование в Олонецкой губернской гимназии, он в 1813 году поступил в Санктпетербургский педагогический институт, а в 1819 году, по окончании курса, был определен надзирателем в Санктпетербургское училище глухонемых. В это время начинается и его литературная деятельность. С февраля 1817 года он член Общества любителей российской словесности и печатает в «Соревнователе» свои переводы из Вольтера и Делиля и подражания Оссиану («Оскар и Дермид», 1818; «Минвана», 1819). Крылов ориентируется также на французскую элегическую поэзию XVIII века, с характерными чертами преромантизма (Мильвуа, Парни). В 1820 году он увольняется «по прошению» из училища и уезжает в свое имение Кулибино под Тихвином. В январе 1821 года, «по выбору дворянства», он становится почетным смотрителем Тихвинского училища. В 1820—1822 годах его поэтическая деятельность наиболее интенсивна. Он пишет несколько любовных элегий (в том числе лучшую из них — «Недоверчивость», 1821), упрочивших в литературных кругах его репутацию талантливого элегика. Несмотря на лестные отзывы современников, элегии Крылова не были новым словом в поэзии 1820-х годов; однако они способствовали выработке и нормализации стиля традиционной «унылой элегии», куль-

---

[1] Дата — по формулярному списку 1825 г. (ЦГИА, ф. 1349, оп. 4, № 226, л. 82 об.), обычно годом рождения считается 1798 г. (см.: «Северная пчела», 1829, № 29). О Крылове см.: Ю. Верховский, Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные, Пб., 1922, с. 101; В. Э. Вацуро, К биографии поэта пушкинского окружения. — «Временник Пушкинской комиссии, 1966», Л., 1969, с. 61; «Из истории литературных полемик 1820-х годов». — «Филологические записки», № 3, Воронеж, 1972, с. 178.

тивируя лаконизм, рационалистическую ясность и эмоциональную сдержанность, которые воспринимались критикой как особое присущее Крылову «мужество языка». В Обществе любителей российской словесности (где он был «цензором стихов») Крылов поддерживает «левую», антикаразинскую группу, разделяя декларации «высокой поэзии», провозглашенные Дельвигом («Поэт») и Кюхельбекером («Поэты»). Утверждением общественного назначения и непреходящей ценности поэзии было его послание «К К<юхельбекер>у» (1821).[1] Вместе с тем он осуждающе смотрит на гедонистическую поэзию Дельвига и Баратынского и в мае 1821 года выступает в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств с резким памфлетным стихотворением «Вакхические поэты», направленным против своих бывших друзей. Эта демонстративная ориентация Крылова на группу А. Е. Измайлова вызвала резко иронический ответ Баратынского «К — ву. Ответ» (1821?). Полемика на этом закончилась. В ближайшие два года Крылов вообще отходит от поэтической деятельности, занятый, по-видимому, семейными делами (к этому времени относится его женитьба). В январе 1824 года он возобновляет свои отношения с «михайловским» обществом. В 1825 году П. А. Плетнев напомнил читателям о Крылове в «Северных цветах»; он же, по-видимому, и напечатал несколько его антологических стихотворений, принятых современниками благожелательно. В эти годы Крылов много читает, осваивает итальянский язык, готовясь переводить итальянских поэтов, усиленно интересуется Вальтером Скоттом и задумывает роман с изображением нравов провинциальной Руси XVII века. Он сближается с кружком тихвинской интеллигенции, собиравшимся вокруг А. П. Римского-Корсакова (отца композитора), отличавшимся литературными интересами и не чуждым политического вольномыслия. Зимой 1828—1829 года Крылов тяжело заболевает; результатом болезни были психическое расстройство и слепота. 14 июля 1829 года Крылов скончался в своем имении под Тихвином.

122. К К⟨ЮХЕЛЬБЕКЕР⟩У

Не часто ль ты в мечтах, задумчивый Певец,
Отбросив тленный мирт веселья и забавы,
Как будто наяву берешь от муз венец
　　И в торжестве паришь ко храму славы?

---

[1] См.: В. Базанов, Ученая республика, Л., 1964, с. 143.

Доколе игом лет не подавлён твой дар
И ласковы к тебе неверные мечтанья,
Питай, мой друг, питай священный к славе жар;
Ей посвяти все мысли, все желанья!

Счастлив, кому она достанется в удел,
Счастлив, кто обречен каменам от рожденья!
Едва он начал жить, едва на мир воззрел,
Уже горит в нем пламень вдохновенья.

Услышит ли в полях свирели звук простой
Иль песни соловья, иль дальные перуны —
Младенец, лиру взяв неопытной рукой,
С улыбкою перебирает струны!

В дни пылкой юности, привязанной к мечтам,
В забавах сверстников ему ли брать участье?
Призывный славы глас влечет его к трудам,
И подле них Поэт встречает счастье.

Он в будущем живет: на крыльях легких дум
Летит в тот край, где ждут его бессмертных тени;
Во сне внимает он рукоплесканий шум
И похвалы грядущих поколений!

Волшебный глас его пленяет всех сердца;
То ручейком журчит, то громом поражает.
Пусть зависти змия шипит у ног Певца —
Он звуком струн шипенье заглушает!

И слушают его сыны чужих племен!
Поэт с народов дань сбирает удивленья,
К потомству дальнему идет сквозь мрак времен,
И не грозит ему река забвенья!

Но если смерть Певца безвременно сразит
И на младом челе незрелый лавр увянет,
Ужель гроб юноши никто не посетит?
Ужель над ним ничья слеза не канет?

Нет! нет! во всех устах любимцу муз хвала;
Во всех сердцах живет о нем воспоминанье —
Так на лугу весной, где роза отцвела,
Разносится ее благоуханье!

⟨1821⟩

123. РАЗЛУКА

На жалобы мои, казалось, отвечали
И камни дикие, и быстрых вод струи;
И преклонялся лес, исполненный печали,
На жалобы мои.
Внимало всё любви моей стенаньям,
Но хладная Судьба не хочет им внимать!
Дождусь ли я конца моим страданьям,
И долго ль мне еще прелестной не видать?..

В разлуке с ней, терзаемый тоскою,
Брожу один средь рощей и полей,
Где осень бледная губительной рукою
Оборвала листы поблекшие с ветвей,
Где всё в унынии, где всё душе моей
О милой говорит и грусть об ней питает.
Ей каждый вздох, ей каждая слеза!
И к той стране, где друг бесценный обитает,
Обращены всегда мои глаза!
Взойдет ли день — лечу душою к милой
И, взоры устремив сквозь утренний туман,
В безмолвии стою, как истукан,
Воздвигнутый над хладною могилой!
Настанет ночь — покой меня бежит
И в грудь не льет спасительной отрады,
Но всё является глазам любезный вид
При свете гаснущей лампады.
Когда же поздний Сон подкрадется ко мне,
Чтоб усладить на миг тоску разлуки,
О милой я мечтаю и во сне:
Я слышу голоса пленительного звуки
И поступь легкую в полночной тишине;
Мечтой свиданья обольщенный,

Слезами радости Судьбу благодарю,
Сквозь сон произношу я имя незабвенной
И с милым призраком в восторге говорю.
Но скоро прочь летят волшебные мечтанья.
Опять я с новым днем к печали пробужден,
И редко слышится мне голос упованья,
Что сбудется прелестный сон!

⟨1821⟩

124. ВАКХИЧЕСКИЕ ПОЭТЫ

(К А. Е. Измайлову)

Невольной страстью увлеченный,
Я должен, я хочу писать!
Скажи, любимец муз почтенный,
Какой мне род стихов избрать,
Чтоб славы истинной дождаться?
Я не привык от юных лет
В стихах и в свете притворяться:
Мне пить вино охоты нет,
А без вина какой поэт
Теперь за лиру может взяться?
Пускай завистники кричат,
Что музы не должны быть пьяны, —
У нас теперь в стихах звучат
Так громко рифмы и стаканы,
Что крики злобы заглушат!
В том дарованья нет приметы,
Кто недруг чаше круговой;
Все наши модные поэты
В ней потопляют гений свой;
Забыв уставы Аполлона,
Они в вине лишь знают вкус,
И Вакх с вершины Геликона
Грозит согнать несчастных муз!
Но я досель на лире скромной
Вина еще не воспевал;
Итак, могу ли ждать похвал?
Я ввек пойду стезею темной,
Вдали от счастливых певцов;

Я никогда не буду с ними
Среди мечтательных пиров
Стучать бокалами пустыми!
Но что ж!.. к чему напрасный вздох?
Уже Парнасса грозный бог,
Исполненный негодованья
На дерзостных жрецов своих,
Сказал: «Да будут их посланья
Так сухи, как бокалы их!»
И страшный приговор свершился!
Не внемлют музы их мольбам;
Пред ними с шумом затворился
Бессмертия высокий храм!
Пускай трудятся: их творенья
Читателей обнимут сном,
И поглотит река забвенья
Венец, обрызганный вином!

⟨26 мая 1821⟩
Петербург

125. ИСТРЕБЛЕННАЯ РОЩА

Из Мильвуа

Нимфы! скрывайтесь, бегите толпою:
Древнюю рощу злодей истребил!
Плачьте, амуры! под тенью густою
Он ваш алтарь навсегда сокрушил!
Птицы умолкли и тихо стадами
Вдаль понеслись от знакомых ветвей.
Милые гости лесов и полей,
Видно, изгнанники есть и меж вами!
Странник усталый в далеком пути,
Пот отирая, с надеждой отрадной
В полдень торопится к сени прохладной,
Ищет ее — и не может найти!
Тщетно любовник зовет на свиданье
Милую в рощу вечерней порой;
Дева придет, поглядит — и с тоской
Издали другу промолвит прощанье;
Взоры потупит и мимо пройдет.
Горе тебе, истребитель жестокий!

Мстительный бог на тебя восстает.
Он на горах неприступных живет,
Дикой пустыни хранитель высокий!
Он принимает дары пастухов,
Внемлет обетам пастушек стыдливых;
Глас его слышен в полях молчаливых;
Видны следы на тропинках лугов.
Он, рассылая воздушных послов,
Им повелел укрывать в непогоды
Стебель зеленый и цвет молодой;
В сумраке ночи, отвергнув покой,
Бодрствует он для блаженства Природы:
Легким зефирам велит на лугах
Звук разносить сладкогласной свирели,
Веять в лесу и качать на ветвях
Тихо пернатых певцов колыбели.
Буря ль с деревьев листы оборвет,
Или красавица резвой ногою
Первые ландыши в поле сомнет,
Бог благотворный кропит их слезою.
Знай, истребитель! сей бог над тобою
Суд произнес. За него Купидон
Грозной рукою злодея накажет:
Он для отмщенья колчан свой развяжет —
Ты на страданья любви осужден!
Тщетно поверишь подруге прелестной —
Клятву ее унесет ветерок
Так же, как в роще под тенью древесной
Прежде кружил он летучий листок!

⟨1821⟩

126. ВЕСНА

Как узник в радости, покинув мрак темницы,
Встречает солнца луч златой,
Так я, освободясь из скучных стен столицы,
Любуюсь юною весной!

Она живит мой глас и с лиры молчаливой
Свевает тихо сладкий сон, —

И звук в немых струнах, как ветерок игривый,
Весны дыханьем пробужден!

Светлей горит заря на облаке румяном
Перед весенним, ясным днем,
И диких скал верхи, обвитые туманом,
Сияют радужным огнем!

С лазоревых небес густые скрылись тучи;
Стада бегут с весельем в луг;
А там уже волы чрез пни и терн колючий
Влекут по ниве ржавый плуг.

Ручей журчит — и лед, в волнах его сверкая,
Вдали скрывается от глаз;
И в зеркале воды пастушка молодая
Свой образ видит в первый раз.

Но роза нежная расцвесть еще не смеет
Среди обтаявших снегов,
И утренний мороз на мураве белеет,
И в роще слышен шум ветров.

Природа, мнится мне, обнявшися с весною,
Боится, что опять взойдет
Зима на льдистый трон и хладною рукою
Венок с чела ее сорвет.

Так дева робкая томится ожиданьем:
Глаза красавицы в слезах,
Но вот уже видна с отрадным упованьем
Улыбка на ее устах!

Всё скоро оживет: глас горлицы унылой
Настроит вновь любви тоска,
И юноша пойдет искать подруге милой
В долине первого цветка.

Древа покроют холм гостеприимной тенью,
Где я от зноя отдохну, —
Но там найду ль приют мечтам и наслажденью
И возвращу ль свою весну?..

О юность дней моих! Постой из состраданья!
С тобой я радостью дышал
И, житель сча́стливый в стране очарованья,
С весною вместе воскресал!

Теперь, от милых мне мечтаний пробужденный,
Жалею, что проснулся я,
И с гимном радостным природы оживленной
Вновь не сольется песнь моя!

(1821)

127. МОГИЛА ПЕРСИДСКОГО ПОЭТА

Из Мильвуа

«Заида, твой голос пленяет мой слух,
И в душу вливается арфы бряцанье!
Не тише весеннего утра дыханье
Волнует цветами усыпанный луг.
Твои песнопенья прелестны, как розы,
И сладки, как пламенный твой поцелуй;
Но кто их творец?... О поэт, торжествуй!
Я пролил восторга невольные слезы!»

«Тебе ль, государь, неизвестен певец,
Пленивший твой слух, Бенамар вдохновенный?
Он пел без награды и, светом забвенный,
Платил нищетой за лавровый венец.
В отчаяньи с дочерью нежной блуждает
Несчастный средь знойных Ирана песков;
Он двигает струны при шуме ветров —
И сладостным звукам пустыня внимает!»

«Эмир, оседлай вороного коня:
Он в битвах, как вихорь, летал подо мною!
Помчися в Иранские степи стрелою
И перстень поэту вручи от меня!
Бесчисленны звезды на тверди небесной —
Бесчисленны будут богатства его.

Алмаз драгоценный венца моего
Не скроется в прахе пустыни безвестной!

Иль дочь Бенамара навек отцветет,
Как дикая пальма, в стране отдаленной?
Да вступит она в мой чертог позлащенный
И счастья светило над нею взойдет!»
Эмир на коня — и, как вран сизокрылый,
Под облаком пыли в пустыне летит
И вдруг близь дороги красавицу зрит
В венке кипарисном над свежей могилой.

«О путник, ты скоро в безводных степях
Погибнешь, как злак от палящего жара!
Куда ты спешишь?» — «Я ищу Бенамара;
Но тщетно: нет следу в песчаных волнах!»
— «О путник, ты дочь его зришь пред собою;
Во гробе лежит мой несчастный отец:
Он встретил страданьям желанный конец,
И смерти рука поднята надо мною!»

«Утешься, печальная дева красы!
Владетель Востока тебя призывает,
И счастье твое как цветок оживает,
Осыпанный влажным жемчугом росы!»
— «Ты видишь могилу, где спит мой родитель, —
О путник, не может раскрыться она!
Вот сердце мое — я всего лишена;
Мне счастье во гробе, мне смерть утешитель!»

И дева печально смотрела вокруг;
Могилу отца обнимала с рыданьем,
И грудь, утомленная тяжким страданьем,
Вздымалась, как пены серебряный пух.
Вдруг арфы красавица тихо коснулась;
В пустыне раздался пленительный глас,
И, весело встретив последний свой час,
Певица как будто сквозь сон улыбнулась!

⟨1821⟩

128. НЕДОВЕРЧИВОСТЬ

Элегия

Не спрашивай, зачем я так уныл!
Ты знать должна вину моей печали:
Мой взор тебе давно ее открыл,
Когда об ней уста мои молчали.
Мне суждено по гроб тебя любить;
Но, знать, любви внушить я не умею!
Нет, счастие тобой любимым быть
Не для меня: я ждать его не смею!
Из жалости одной к моим слезам
Ты мне твердишь любовные обеты;
Не верю я пленительным словам:
Я не видал в тебе любви приметы!
Стою ль вдали, с безмолвною тоской, —
Твой взор меня в толпе не отличает;
Иль робкою коснусь к тебе рукой —
Твоя рука моей не отвечает.
Спокойна ты: встречаешь ли меня
Или даришь мне поцелуй небрежный, —
В глазах твоих нет пылкого огня
И на щеках румянца страсти нежной.
Когда я шел вчера, простясь с тобой,
Не для меня ты у окна стояла —
И тусклого стекла не отирала,
Чтобы взглянуть украдкой вслед за мной!
Досель я жил отрадой упованья,
Я сам себя обманывать хотел,
И наяву коварные мечтанья
Любовь твою сулили мне в удел!
Но ты меня лишила наслажденья:
Мечты мои рассеялись, как дым,
Упала с глаз повязка заблужденья,
И опыт мне сказал: ты не любим!
Жестокая, ты хочешь быть мне другом —
Любви твоей, любви желаю я!
Когда меня ты назовешь супругом,
Без сердца мне на что рука твоя?
Где для меня цвели блаженства розы,
Там буду я лишь терния встречать;

В твоих глазах я должен видеть слезы
И на лице уныния печать!
Я, может быть, подстерегу случайно
Твой тяжкий вздох в безмолвии ночном,
И близь меня, забывшись тихим сном,
Промолвишь ты признанье в страсти тайной;
Огонь любви заблещет на челе,
И не супруг, другой тебе приснится;
Ты будешь днем, потупя взор к земле,
Передо мной мечты своей стыдиться.
О милый друг! Прости моим словам,
Забудь любви слепые подозренья, —
Я им теперь еще не верю сам,
Но в будущем ищу себе мученья!
Пускай меня утешит голос твой;
Пусть нежный взор тоску души рассеет
И грудь мою надежды луч согреет!
Когда же нет в тебе любви прямой,
Когда я ждал несчастия недаром,
Цепей моих из жалости не рви,
Но обмани меня притворным жаром
И дружбе дай название любви!

⟨1821⟩

129. К ПЛЕТНЕВУ

Винюсь, мой друг, перед тобой;
Ты мной не можешь быть доволен:
Я не пою, и гений мой
Неизлечимо ленью болен.
В глуши лесов я жизнь веду;
Не слава, а покой мне нужен.
Я стал теперь с весельем дружен,
Но с музой часто не в ладу.
Она зовет меня украдкой
От милой сердца на Парнас, —
Я нехотя клянусь подчас
Расторгнуть узы неги сладкой
И снова петь, но на стене
Не нахожу своей свирели:

Амуры, не сказавшись мне,
Тихонько ею завладели.
Возьму ль ее у них из рук?
Мне сладок их напев игривый,
И тих свирели беглый звук,
Как нежный вздох любви счастливой.
Тебе, Плетнев, другой удел!
Любовник славы постоянный,
Ты вслед за нею полетел,
Вдали завидя лавр желанный!
Ты не чуждаешься труда,
Чтоб знатоков привлечь вниманье,
И к верной музе никогда
Не опоздаешь на свиданье.
Ко мне доносят песнь твою
Покорные певцам зефиры,
И в диком северном краю
Я слышу звук знакомой лиры!
Но пусть венцы перед тобой —
Не в них прямое наслажденье!
Когда я кончу дней теченье,
Быть может, ты, поэт младой,
Наскучив шумною столицей,
Придешь в страну, где друг твой жил,
И над его простой гробницей
Прочтешь слова: он счастлив был!

⟨1821⟩

130. А. А. К—ОЙ

Молодой цветок дубровы,
Расцветай в тени ветвей,
Где ни зной, ни хлад суровый
Не вредят красе твоей;
Но ко мне, в страну изгнанья,
В мой печальный, дикий край,
Как привет воспоминанья,
Запах сладкий навевай.

⟨1828⟩

131. К КЛЕНУ

Подражание Парни

Слова любви, мой клен пустынный,
Я на коре твоей писал;
Но вижу с грустью, друг старинный,
Что мне и ты неверен стал.
Зачем ты память сохраняешь
О счастьи двух сердец младых?
Ты их еще соединяешь,
А время разлучило их!

⟨1828⟩

В. И. ТУМАНСКИЙ

Василий Иванович Туманский (1800—1860), один из наиболее значительных элегиков 1820-х годов, принадлежал к старинному украинскому дворянскому роду. Получив домашнее воспитание, учился в Харьковской гимназии, затем в Петропавловском училище в Петербурге; в 1819 году отправляется в Париж и поступает в качестве вольнослушателя в Collège de France, где слушает лекции известнейших профессоров этого времени (Кузена, Араго и др.). Первое выступление Туманского в печати относится к 1817 году («Поле Бородинского сражения»). Ранние стихи его выдержаны в традиционных формах «кладбищенской элегии» или горацианского эпикуреизма; избирает он в качестве образцов и французских и немецких преромантических поэтов (Парни, Мильвуа, Тидге); охотно пишет и альбомные стихи. Еще до отъезда, 14 марта 1818 года, он избирается действительным членом Общества любителей словесности, наук и художеств и довольно активно участвует в деятельности общества и в журнале «Благонамеренный». Встреча в Париже с Кюхельбекером, несомненно, способствовала росту его политического либерализма; Кюхельбекер упоминал о Туманском в своих дневниковых заметках 1821 года и посвятил ему стихотворение «К Ахатесу» — один из значительных образцов гражданской лирики 1820-х годов.

В 1821 году Туманский вместе с Кюхельбекером возвращается на родину. Связи его с «михайловским» обществом постепенно слабеют; взамен этого он с 1821 года становится участником Общества любителей российской словесности; одновременно укрепляются и общественные мотивы в его творчестве («Гимн богу», «Послание к кн. Н. А. Цертелеву», 1823; «Век Елизаветы и Екатерины», 1823). Туманский заявляет себя сторонником «новой школы» поэтов. Его стихи («Видение», «Черная речка» и др.), подчеркнуто метафоричные и отражающие влияние Жуковского, подвергаются теперь критическим

и эпиграмматическим атакам в «Благонамеренном». Туманский решительно примыкает к левому крылу «ученой республики», принимает ближайшее участие в полемике с Цертелевым и Федоровым, выступает в защиту радикальных петербургских кружков, задетых в сатире Родзянки, и т. д.

В 1823 году Туманский уезжает в Одессу, откуда продолжает поддерживать связь с Бестужевым и Рылеевым, которые обращаются к нему не только как к литературному, но и как к политическому единомышленнику, вверяют его попечениям Мицкевича, Малевского и Ежовского, направляющихся в Одессу, и т. д.[1] К 1823 году относится, по-видимому, и его личное знакомство с Пушкиным; к личности и творчеству Пушкина он относится почти восторженно, несмотря на какое-то предупреждение из Петербурга, чтобы он избегал слишком близкого общения.[2] Туманский становится посредником между Пушкиным и «Полярной звездой». Его совместное с Пушкиным письмо Кюхельбекеру 11 декабря 1823 года есть своего рода общественно-литературная декларация, попытка отторгнуть Кюхельбекера от «младоархаиков» во имя «объединения» и «спасения народной нашей словесности» (см. вступ. статью, с. 24). При всей короткости общения, Пушкин, впрочем, несколько иронически отзывается о творчестве Туманского одесского периода. Иронию вызывали подражательные черты поэзии Туманского; он не открывал новых путей, а продолжал традиционную линию «унылой элегии», правда, добиваясь высокой степени ее гармонизации.[3] Сам Пушкин позднее отмечал в лучших стихах Туманского «гармонию и точность слога». Вслед за Пушкиным Туманский сближает элегию и с антологической лирикой, но при этом не ставит себе целью ни воссоздание строя чувств «древних», ни углубление эмоционально-психологического содержания своих элегий за счет «диалектики чувства». В лексическом отношении он в это время также чуждается каких-либо поисков, лишь усовершенствуя традиционные «поэтизмы», характерные для

---

[1] См.: «Русская старина», 1890, № 8, с. 382; «Киевская старина», 1899, № 3, с. 299; С. Я. Боровой, Мицкевич накануне восстания декабристов. — «Литературное наследство», 1956, № 60 (1), с. 436.

[2] Б. Модзалевский, Пушкин, Л., 1929, с. 85.

[3] Среди неопубликованных записей М. Н. Лонгинова сохранился рассказ о шутке Пушкина по поводу Туманского: «У Туманского (Василия) был брат (кажется, двоюродный), Антон, живой и доныне, который отличался разными нечистыми проделками. Их часто смешивали. Пушкин так объяснял разницу между ними: «Василий, кроме стихов, ничего не крадет, а Антон крадет все, кроме стихов». Москва, 26 февр⟨аля⟩ 1856 г.» (ГБЛ, ф. 233, карт. 49, № 8; указано Б. Л. Бессоновым).

элегии его предшественников. Этот недостаток ощущал и сам Туманский, признаваясь, что он «не привык» к лирической «дерзости».

Поэтическую деятельность Туманский в Одессе небезуспешно совмещает со служебной: с 1823 года он служит в качестве актуариуса (затем переводчика) в ведомстве государственной коллегии иностранных дел. М. С. Воронцов очень ценит Туманского как чиновника; его постоянно командируют с разными поручениями в Крым, Херсон, Молдавию и т. д. В одесских салонах и литературных кругах он также является одной из заметных и ценимых фигур. После 14 декабря 1825 года следственная комиссия интересовалась личностью Туманского, упомянутого в некоторых показаниях; однако к следствию он привлечен не был. Туманский тяжело переносит поражение восстания и начавшиеся репрессии; в 1827 году он прозрачно пишет Пушкину о наступлении реакции в Одессе.

С организацией «Московского вестника» при ближайшем участии Пушкина, Туманский становится его активным сотрудником, хотя далеко не во всем разделяет позиции журнала. Последовательная ориентация журнала на немецкую романтическую эстетику оказывается ему чуждой; он рассматривает ее как отход от насущных современных проблем в область «отвлеченных умствований». В известной степени скептицизм Туманского по отношению к «метафизике» любомудров разделял почти весь пушкинский круг, литературно сближавшийся скорее с французской просветительской традицией.

Со второй половины 1820-х годов поэтическая продуктивность Туманского идет на убыль. В 1827 году он принимает участие в издании «Одесского вестника»; в 1828-м — назначен состоять при председателе диванов княжеств Молдавии и Валахии графе Палене по дипломатической части; в 1829-м — участвует в редактировании Адрианопольского мирного трактата. В 1830—1831 годах Туманский посещает Петербург и Москву, видится с Дельвигом и Пушкиным; в 1831 году в письме к С. Г. Туманской дает восторженную характеристику «Путешествию Онегина». 1830-е годы Туманский проводит в дипломатических разъездах; служит в Яссах по комитету о составлении нового регламента по управлению Молдавией и Валахией, а с 1835 года по протекции своих родных, Кочубеев, назначается вторым секретарем при посланнике в Константинополе А. П. Бутеневе. Вернувшись в 1839 году в Петербург, он оставляет дипломатическую службу и переходит в Государственный совет в качестве статс-секретаря по департаменту экономии.

Пишет Туманский в 1830-е годы мало; однако стихи этого времени составляют лучшую часть его поэтического наследия. В эпоху господства «поэзии мысли» Туманский остается верен элегической

основе своего раннего творчества, хотя оно и претерпевает значительную эволюцию. В 1830 году он выступает с декларативным утверждением общественной функции поэзии («Стансы», 1830). В стихах его усиливается «объективное», эпическое начало; предметный мир его стихов расширяется и конкретизируется; обогащается их эмоциональный диапазон. К такого рода стихам принадлежит серия лирических пейзажей Туманского, среди которых выделяется получившая широкую популярность «Мысль о юге» (1830); ср. также «Мысль о севере» (1830), «Strand-Weg» (1833), «Дом на Босфоре» (1836). В 1832 году, возможно под впечатлением жизни в Молдавии, он вновь обращается к Шенье и создает два антологических стихотворения («Приглашение», «Отроковице»). Однако и в своей любовной лирике он предпочитает теперь прозаизацию, куплетные формы, ритмико-интонационное строение романса («Размолвка», 1833; «Песня», 1843), предвосхищая в некоторых отношениях романсную лирику Фета или Полонского.

С конца 1830-х годов Туманский совершенно отходит от поэзии; в 1839—1840 годах он занимается составлением «Истории Государственного совета». В 1841 году он действительный статский советник; однако его служебная карьера омрачается в 1844—1846 годы столкновениями с новым государственным секретарем Н. И. Бахтиным. В 1846 году он выходит в отставку и поселяется в своем имении Апанасовке Полтавской губернии, время от времени выезжая в Петербург и Москву.

В последние годы жизни Туманский активно участвует в подготовке крестьянской реформы и даже избирается депутатом для представления в Петербург «Проекта положения об улучшении быта помещичьих крестьян Полтавской губернии». Поручения этого он, однако, принять уже не смог и 23 марта 1860 года скончался.

132. КАРТИНА ЖИРОДЕТА

На склоне вечера, ловитвой утомленный,
Сложив с себя колчан и лук окровавленный,
В дубраве сумрачной, младый Эндимион,
Разлегшись на листах, вкушал отрадный сон.
Но верная любовь заботливой Дианы
И там, сквозь сень дерев, сквозь тонкие туманы,
Золотокудрого ловителя нашла:

И там, любуяся красой его чела,
Богиня к пастырю в лучах своих слетала
И сонного в уста и в очи целовала.

1820
Париж

133. ЮНОЙ ПРЕЛЕСТНИЦЕ

Люблю я звук твоих речей,
Наряда твоего небрежность;
Но тягостна душе моей
Твоя услужливая нежность.
Твоих восторгов я стыжусь,
Меня пугает наслажденье;
В моем прискорбном умиленье
Я на тебя не нагляжусь.
Беспечная, в чаду разврата
Еще не огрубела ты, —
Не памятна ль тебе утрата
Твоей девичьей простоты?
Не сладостно ль тебя увидеть
Доверчивую, как дитя, —
Я устыдился б и шутя
Твое младенчество обидеть.
Нередко без огня в крови,
С каким-то грустным состраданьем
Дарю тебя немым лобзаньем,
О жрица ранняя любви.
Нередко ласкою нескромной
Тревожишь ты мою печаль;
Мне жаль красы твоей наемной,
И слабости своей мне жаль.

Ноябрь 1822

134. ВИДЕНИЕ

На берегах задумчивой Эсмани,
Чуть слышной в звонких камышах,
Унынием встревоженный, в мечтах
Платил я прошлой жизни дани.

Видения носились надо мной,
Виденья дней, погибших без возврата;
В толпе их я узрел, опять в красе земной,
Отца, и мать, и брата.

Узрел утраченных друзей,
Среди надежд, блаженства и свободы,
И в утренней небрежности своей
Мои младенческие годы.

«Привет вам! — я вскричал без ропота, без слез,
С душою, полной встречи тайной. —
Привет вам, легкие посланники небес
Иль гости милости случайной!

Приходом вашим ожил я,
Как узник, милою утешенный в неволе.
Побудьте же со мной, небесные друзья,
Порадуйте меня подоле!

О, дайте мне вкусить всю сладость сих минут,
Все тайны вашего явленья,
Постигнуть ваш удел, воздушный ваш приют
И горних тел прикосновенья.

Скажите, добрые, вы счастливы ль вполне?
Не нужны ль и для вас желанья?
Не ожидали ль вас в небесной вышине
Еще дальнейшие за небом упованья?

Скажите, помните ль вы прежней жизни круг:
Волненье юности, мечту любви прелестной, —
Или прошедшее, как недостойный дух,
Не прикасается к обители небесной?

Скажите. . .» Но уж их как бурей унесло;
Сверкнула лишь толпа святая,
И только матери знакомое крыло
Повеяло мне лаской, улетая. . .

⟨1822⟩

135. ГИМН БОГУ

Есть бог всевидящий! есть бог каратель злобы!
Предвечная любовь и красота!
Пославший праху жизнь и утвердивший гробы
И на гробах бессмертия врата.

Как буря — длань его, и глас его — как громы:
Подымет перст и возмутит миры;
Но, правосудием и благостью ведомый,
На добрых льет он нежные дары.

Он пастухов хранит соломенные кровли,
Невинность их простосердечных дней;
Смиренным рыбарям уготовляет ловли
И любит дым их сельских алтарей.

Тоске гонимого дарует упованье,
Дарует мир сердцам беспечных дев;
Отеческой рукой таит от них страданье
И слушает веселый их припев.

Но вы, могущие, на ложе наслажденья
Презревшие безумно божий глас!
Вы, пренебрегшие его узаконенье, —
О горе, горе вам! Он видит вас, —

Он видит всюду вас! В безвинных приговорах,
В слезах вдовиц, в лиющейся крови,
В терзаньях матерей, в потухших старца взорах
И в бедствиях приязни и любви.

Не дремлет в небе он! Очами гневный двигнет,
Нашлет на вас нежданную боязнь,
И вспыхнут молнии и громы — и постигнет
Неправедных всеправедная казнь.

⟨1822⟩

136. К СЕСТРЕ

(При посылке ей сочинений Жуковского)

Тому, кто с ранних лет душою
Святую правду возлюбил
И первых мыслей чистотою
Себя от черни оградил;
Кто смелым, огненным желаньем
Законы неба одолел
И в горний мир перелетел
Восторгом, чувством и мечтаньем, —
Тому, шум зависти презрев,
Ценить, в порывах благородных,
Балладника прекрасных дев
И летописца битв народных.
Тому любить и понимать
Высоких чувствований сладость,
И тихих дум живую радость,
И беспокойных дум печать,
И голос сердца потаенный
О благах дальних, но святых...
Блажен, кто, свыше вдохновенный,
Поэта чистый огнь постиг!
Но славен и блажен стократно
Питомец избранный судьбы —
От колыбели непонятный,
И вождь и властелин толпы,
Приявший жизнь с бессмертным правом
На лире воспевать богов
И лиры сладостным уставом
Богам, в гармонии стихов,
Передавать мольбы сынов.
Ему не страшно мира мненье!
Хвалу людей отвергнув сам,
Он, бросив мир, в уединенье
Хранит в душе одно презренье
К его тиранам и рабам,
Одну веселость и беспечность,
И равнодушье простоты,
С надеждой тайною, что вечность
Его наследует мечты.

1822

137. МИЛОЙ ДЕВЕ

Другим судьба послала милый дар
Пленять твой ум, живить твое бесстрастье,
Угадывать твой потаенный жар
И похищать души твоей участье;
Пускай других с тобою нежит счастье,
Пускай, тебе покорствуя, они
Забудут мир, желания, измену
И в долгие прекрасной жизни дни
Младой любви твоей познают цену.
Без зависти, смиренный до конца,
Их тайный друг, твой обожатель тайный,
Я буду ждать, что лаской, хоть случайной,
Когда-нибудь ты наградишь певца.

Декабрь 1822
Петербург

138. МУЗЫ

И думы важные, и огнь моей души —
    Ваш дар, волшебницы камены!
Вы были верны мне в украинской тиши
    И на брегах роскошной Сены.

На пиршествах друзей, в беседе молодой
    Со мной вы пели и смеялись,
Любили братский шум и чашей круговой
    В жару веселья прохлаждались.

Но чаще, полные волнением одним,
    В прозрачной мгле беззвездной нощи
Со мной гуляли вы и пением своим
    Безмолвны потрясали рощи.

Как солнце, золотя небес своих лазурь,
    Им тихо светит и в ненастье,
Так, неизменные, в минуты грозных бурь
    Вы тайно мне дарили счастье.

Когда больной, без сна и охладев, как лед,
В борьбе с недугом изнывая,
Я ждал, что с важностью наемной отопрет
Мой ранний гроб рука чужая;

Когда веселых дней коварные друзья
Страданья моего бежали
И ни единый взгляд не падал на меня
С участьем искренней печали;

Когда в очах моих последний пламень гас...
В тот миг я, с верою спокойной,
Ко мне слетающих опять увидел вас
Толпой приветливой и стройной.

Вы, с лаской нежною и за сестрой сестра,
К одру любимца приближались
И, став, как гении, по сторонам одра,
Приятно меж собой шептались.

С усильем голову больную приподняв,
Я слушал шепот сей волшебный
И, в радостных слезах, подруг своих узнав,
Источник обретал целебный...

Мне улыбнулась жизнь — и долго, бодрый вновь,
В благословенной ими сени
Я славил песнями высоких дев любовь,
И сладко трепетал мой гений.

⟨1823⟩

139. ТОРЖЕСТВО ПОЭТА

Когда Владыку муз с холмов его счастливых
Пустынник-юноша, игрою струн своих,
В неведомый шалаш приманит, хоть на миг,
Он празднует сей миг в мечтах честолюбивых!

Но что же чувствует возвышенный певец,
Кто чародейством уст и верой в них сердец,
Земный еще, достиг священных сеней неба?
Кому сладчайший мед подносит с лаской Геба?
Кто, лицезрением бессмертных упоен,
На лире радостной подъемля стройный звон,
Томит гармонией Олимп гостеприимный?
Чьи песни смелые, пророческие гимны
Поодаль ото всех воссевший Аполлон
Безмолвно слушает и, быстро вдохновенный,
Снимает древний лавр с главы своей священной.

⟨1823⟩

140. К КН. Н. А. ЦЕРТЕЛЕВУ

Мой друг! Не тот еще Поэт,
Кто, музам преданный от юношеских лет
И устарев над их законом,
С обычной нежностью ласкает юный свет
Однообразным лиры звоном.
Не тот еще Поэт, кто, слабою душой
Искусства позабыв высокие начала,
В толпе своих друзей, с цевницей иль трубой,
Идет просторною тропой
По шумным гульбищам журнала.
Нет! не заблещет лавр бессмертный на челе
Рабов общественного мненья,
Привыкших истину вещать — без убежденья,
Неправду и порок щадящих на земле.
Законы Гения — свобода!
Не знает он оков иных,
В глубоких вымыслах своих
Неисчерпаем, как Природа;
Как ангел бытия с надзвездной вышины
Проникнув в таинства созданья,
Он видит слитый там мятежный лик страданья
С прекрасным ликом тишины.
Он слышит глас судеб, веков предназначенья,
И, властный в души нам свой пламень передать,

Кладет он на свои живые песнопенья
Ума высокого печать.
То, дней минувших собеседник,
В счастливой дерзости своей,
Вскрывает древний прах народов и царей,
Народов и царей отважный проповедник;
То воспевает он грядущий светлый мир,
И духи горние с безоблачного края,
Еще невольно воздыхая
От звуков сладостных поющих в небе лир,
Слетают хорами на глас певца земного.

Смотри, как Байрон в наши дни,
В отчизне испытав гонения одни,
В слезах страдания живого
Велик душою на земли!
Смотри, с каким презреньем он оставил
Забавы светские и светскую толпу,
И сети узкие разорванных им правил!
Без страха разглядев грядущих дней судьбу,
Он бросился в ее холодные объятья,
Не тратя гордых сил на позднюю борьбу,
Сокрыв в душе своей моленье и проклятья.
И, предназначенный к великому, не пал
Страдалец юноша. его хранили чувства!
И в нем, как вечный огнь, горел, не потухал
Светильник мыслей и искусства.
Пролив от братий токи слез,
Он знал людей, пороком обольщенных,
Сих падших ангелов — и тратою небес
К раскаянью не пробужденных.
Рукой безжалостной покров он с них сорвал,
И страшный человек предстал
Испуганному человеку;
Он видел ужас их — и в исступленьи сил
За язвой новую он язву наносил
Как труп бесчувственному веку.
Он пел любовь — чтоб сердцу показать
Любви жестокую измену,
Он верной дружбы славил цену,
Чтоб бытие ее пред миром отвергать.

Но он Поэт, и глас его нельстивый,
Свирепый, безнадежный глас,
Как ветра бурного порывы,
И мучит, и терзает нас.

⟨1823⟩

141. МАЙ

Повеял май! шумят и блещут воды,
На солнце лист трепещет и блестит,
Цветут луга, пестреют огороды,
Но светлый май меня не веселит.

Пусть тот весны очарованье славит,
Чью душу кроткую, как тихий мир полей,
До поздних лет младенчески забавит
И первый лист, и первый соловей.

Но я, томясь в душе мятежной
Однообразием и жизни, и забав,
Безумный, я б желал, чтоб снова вихорь снежный
Затмил красу потоков и дубрав.

Не говорите мне: всему чреда на свете,
Иные думы на уме:
Я в дни снегов грущу о теплом лете,
В весенний день тоскую по зиме.

Так пылкий юноша, изведав страсти муку
И сердцем полюбить испытывая вновь,
В своей любви находит грусть и скуку,
А разлюбив, опять зовет любовь.

15 мая 1823

142. ВЕК ЕЛИСАВЕТЫ И ЕКАТЕРИНЫ

(Отрывок из послания к Державину)

Ты помнишь ясное Елисаветы время,
Когда, на слабый мир бросая верный взгляд,
Мы стали с важностью народов первых в ряд.
В те дни всё было шум и пиршество и радость;
Надеждой почестей одушевляясь, младость
Стремилась к знаниям в волненьи гордых дум,
В приятных обществах с умом сближался ум.
Свободу отыскав, предательницы-жены
Слагали варварства последние законы
И, строгость лишнюю вменив себе в позор,
Любезностью своей увеселяли двор.
В сердцах проснулися возвышенные чувства:
Желанье нравиться — произвело искусства.
Тогда, нежданностью дивя полночный свет,
Рыбак по промыслу, но по душе поэт,
Рожденный средь пустынь и ледяных утесов,
На лире загремел впервые Ломоносов.
Чья хладная душа при имени его
Порывы укорит восторга моего?
Кто вспоминал без слез, кто слышал равнодушно,
Как отрок избранный, судьбе своей послушный,
Презрев опасности, покинув край родной,
Богатый верою, но с легкою сумой,
В плаще работника, одеянный туманом,
К бессмертию ступал за бедным караваном.
Сбылись мечты его! Он видит древний град,
Куда с ладьи своей перелетал стократ,
Где ждут его труды и честь образованья,
И новый дальний путь, и новы испытанья.
Но в чуждой стороне изнемогая вновь,
На миг почувствовав, преодолев любовь,
Беглец, не ведал он, мечтая о возврате,
Что друга обретет в российском Меценате!

Ты воссиял, о Бард! Благословляю час,
В который Промыслом ты обречен для нас!
Люблю исследовать твой откровенный гений,
В волненьи первых дум и первых вдохновений.

Я вижу: на стене, в туманах, над рекой
Задумчиво стоит и ходит часовой.
Всё спит; окованы ночной дремотой волны;
В прозрачных облаках блуждает месяц полный
И светом трепетным пылающих ланит
Младого ратника оружье серебрит.
Всё тихо, но толпой над юношею думы
Кружатся, носятся, то резвы, то угрюмы;
Пылает взор его: он жаждет громких дел,
Блаженства мирного не льстит ему удел
Без славы; почести не радостны без славы.
Он жаждет к вам принесть, родимые дубравы,
Труды высокие, заслуженный венец
И память сладкую признательных сердец...
И вдруг — о дивный глас! — среди надежд и муки
С мечтой его слились неведомые звуки —
И стихла шумная в груди его борьба.
В тех звуках юноши исполнилась судьба,
И быстро осветил луч утренней денницы
Грядущего певца божественной Фелицы!

Ты зрел: уже собой дивила свет Она!
Рукой всевышнего от бедствий спасена,
Народов сильных Мать сияла в славной доле,
Как солнце на своем лазоревом престоле.
Заране предсказав успехи наших лет,
Ты зрел в очах Ее сей благодатный свет,
Как ток, проливишийся и в грады, и в пустыню.
Ты живо начертал сию полубогиню,
Хозяйку милую средь избранных гостей,
Героя и вождя в кругу богатырей,
Но всюду русскую, всегда Екатерину!
Жену, которая, очаровав судьбину,
Умела нисходить к мечтам от важных дум;
В безвестном юноше предвидеть зрелый ум;
Над сердцем властвовать, давать законы миру;
Улыбкою будить твою, Державин, лиру;
В доспехах воина скакать перед полком,
Вольтера побеждать аттическим пером
И, даже в Сан-Суси пугая Фредерика,
Не ведать, сколь сама прекрасна и велика.

О, сколько славных дел и памятных картин
В твоих писаниях! Правдивый гражданин,
Свободный в похвале, бесстрашный в порицанье,
Ты пел, восторженный, отчизны ликованье,
И, гордо отклонив в пристрастии упрек,
Ты внукам завещал Екатеринин век!
Величественный век! Вотще в мечтах безумных,
Как дети, радуясь толпе событий шумных,
Образователи людей на новый лад
Бросают на него неблагосклонный взгляд, —
Поднесь жива его зиждительная сила,
И слава наших дней его не помрачила.

1823

143. ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Пора покинуть терем древний,
Пора мне воспевать луга,
Свободу, светлые деревни
И Черной речки берега.

Прости, обманчивая радость
Высоких мраморных палат:
Сих мест уединенных сладость
Душе пленительней стократ.

Здесь неизменные забавы!
Здесь мило слушать, как порой
Словоохотные дубравы
С болтливой шепчутся волной.

Здесь мило, предаваясь лени,
Следить по влаге у брегов
Берез трепещущие сени
И цепи легких облаков.

Но вот со свода голубого
Скатилось солнце; день погас;
Утихло всё, и без покрова
Нисходит вечер в поздний час.

Умолкли сельские певицы;
Ко мне летят издалека
Лишь стоны перелетной птицы
Иль гул призывный рыбака.

О речка! много оживила
Ты милых снов в водах твоих,
Когда без весел и ветрила
Я тихо плыл по воле их.

В душе возобновлялись думы,
В устах теснилися мольбы;
Разоблачался вид угрюмый
Давно разгневанной Судьбы.

Я вспоминал мои обеты,
Надежды, слезы и любовь,
И милой давние приветы,
Как прежде, волновали кровь.

Она повсюду мне являлась...
Быть может, здесь, в полдневный зной,
Она небрежно наклонялась
И воду черпала рукой.

Быть может, образ незабвенной
Напечатлелся на водах —
И мне сиял он неизменно
В моих изменчивых мечтах.

Катись, катись волною сонной,
О речка тихая моя,
И добродушно, благосклонно
Ласкай любви моей края.

С дубравным шумом непрерывно
Сливай свой говорливый ток,
Как с песнью девы заунывной
Вдали сливается рожок.

Когда ж ты грусть *ее* пробудишь,
Не скрой мне ласковых речей —
И, речка Черная, ты будешь
Светлее зеркальных морей.

1823

144. ЗЕНЕИДЕ

1

В любезной резвости своей
Вы сохранили детских дней
Простосердечные привычки.
Вас тешат бабушкины сны,
Наряды, пляски старины,
Цветы и комнатные птички.
Живя по воле каждый миг,
Вы избалованы бездельем,
И не привыкли для других
Счастливым жертвовать весельем.
Не раз пред модным женихом
Вы шутке вольной предавались,
Ловили поступь, речи в нем,
Или нахмуренным лицом
В беседе важной забавлялись.
Вы не умеете скучать:
Беспечной радостью, забавой
С рожденья прыгать, хохотать
Дано законное вам право.
Они заране от любви
Вас увели прекрасным следом,
И вашей младости неведом
Огонь, играющий в крови.
Непостижимы вам желанья
Неволи, милого страданья,
И к нежным бредням наших лет
У вас ни крошки веры нет.
Хотя (подслушав, чтó толкует
Язык молвы в досужный час)
Не первый юноша от вас
Украдкой плачет и тоскует...

2

Но всё изменится вокруг!
Придут и к вам иные годы
Похитить резвый ваш досуг,
Затеи детства и свободы.
Быть может, скоро, перестав
Утеху звать невинным взором,
Вы грустным встретите укором
Беспечных нынешних забав.
Вам будет жаль сих дней бесценных
В очаровании своем,
Ни с кем, ни с кем не разделенных
И не замеченных никем.
Вослед за томным размышленьем
Тоской, желаньем, огорченьем
Со всех сторон теснимый ум
Предастся жару новых дум,
Тогда простится с вами радость,
Тогда понятны будут вам
Тревоги, сродные сердцам,
Мечты, терзающие младость!..

ЭПИЛОГ

Так непритворными стихами,
Без утомительных похвал,
Внушенный музою, пред вами
Я вас самих изображал.
Под небом юности прекрасной,
За рубежом грядущих дней
Мой взор следил ваш образ ясный,
Я пел вас лирою моей.
За то не осудите строго,
Когда, от правды отступя,
Иль предсказал я слишком много,
Иль слишком мало видел я.

18 сентября 1823

145. ЭЛЕГИЯ

Как звонкое журчание Салгира,
Как шепот миртов на горах,
Как шум ладьи, бегущей на водах,
Приятен мне твой голос, лира!

Я грустен был — охладевал мой ум,
Разлука грудь мою томила;
Любви моей ты песни повторила,
И стал я полон прежних дум.

Я слышу вновь обеты разлученья,
Прощальной речи томный звук,
И тихий плач, и сочетанье рук,
И девы жалкие моленья.

Утешен я сей грустною мечтой:
С ней неразлучно упованье, —
И вновь живу, питаю вновь желанье,
И счастлив, милая, тобой.

Сентябрь 1823

146. МАНЦЕНИЛ[1]

Из Мильвуа

«Давно манит меня твой поцелуй отрадный,
Зарина! я люблю, и я владыка твой!»
Так в страсти говорил властитель беспощадный
Зарине трепетной, Зарине молодой.

«Нелуско! выслушай: тебе подвластна дева,
Но милый Зораим — один любимец мой!»
Ответом раздражен, затрепетав от гнева,
Он молвил: «Я люблю, и я владыка твой!»

---

[1] Манценил, дерево Антильских островов, усыпляет, говорят, навеки — неосторожного, который станет отдыхать под его тенью. Уверяют также, неизвестно по чьим наблюдениям, что сей род смерти бывает предшествуем сладчайшими ощущениями.

Потом, с улыбкою склонясь к плечу Зарины:
«Во тьме ночной тебя, красавица, я жду...
Там у источника полуденной долины...»
И дева горестно воскликнула: «Приду!»

И, удалив царя, в молчании унылом
Ко древу смертному Зарина побрела
И гласом медленным, воссев под манценилом,
Своей кончины песнь, младая, начала:

«Приди теперь, приди, Нелуско! в роще дальной
Под бурей слышится дерев протяжный стон,
Бессонна будет ночь любви твоей печальной,
И будет сладостен мой непорочный сон.

О чувство новое, неведомая радость!
Ты ль это, легкий дух надзвездной стороны?
Ты ль это прилетел гонимой девы младость
Унесть с собой в края счастливейшей весны?..

Я сберегла тебе невинных уст лобзанье,
О юный, милый друг! мы свидимся с тобой
В стране, где гордый царь в надменном упованье
Не скажет: „Я люблю, и я владыка твой“».

1823

147. ОДЕССА

В стране, прославленной молвою бранных дней,
Где долго небеса отрада для очей,
Где тополы шумят, синеют грозны воды, —
Сын хлада изумлен сиянием природы.
Под легкой сению вечерних облаков
Здесь упоительно дыхание садов.
Здесь ночи теплые, луной и негой полны,
На злачные брега, на сребряные волны
Сзывают юношей веселые рои...
И с пеной пó морю расходятся ладьи.
Здесь — тихой осени надежда и услада —
Холмы увенчаны кистями винограда.

И девы, томные наперсницы забав,
Потупя быстрый взор иль очи приподняв,
Равно прекрасные, сгорают наслажденьем
И душу странника томят недоуменьем.

⟨1823⟩

148. ПОСТОЯНСТВО

Как в море плаватель, живущий без забав,
Средь звезд бесчисленных одну звезду избрав,
Младый, зовет ее любовию своею,
В пустынном странствии обрадованный ею,
Следит ее восход и в тишине ночей
Сладчайши имена придумывает ей, —
Так я, задумчивый, средь жен и дев прекрасных,
То резво-ласковых, то горделиво-страстных,
О дева милая! звезда любви моей!
Везде ищу тебя, со сладостью очей,
С волшебной гибкостью и поступи и стана.
И полный страстного, отрадного обмана,
Незримый для тебя, с мечтою о тебе,
Одну тебя люблю наперекор судьбе.

1823

149. ГРЕЧЕСКАЯ ОДА

(Песнь греческого воина)

Блестящ и быстр, разит наш меч
Поработителей Эллады;
Мы бьемся насмерть, без пощады,
Как рая жаждем грозных сеч;
И станут кровью наши воды,
Доколь не выкупим свободы.

Мы зрели казнь своих друзей,
Неверной черни исступленье,
Пожары градов, оскверненье
Святых господних алтарей.

Не скорбь нам помошь, не угрозы, —
Нам кровь нужна за наши слезы!

Так! дивным знаком сих знамен,[1]
Красой наследственного брега,
Стыдом измены и побега,
Бесчестьем наших чад и жен, —
Прияв булат на бранну жатву,
Отмстить врагам даем мы клятву!

Не будет радости у нас;
Без жениха увянет дева,
Поля заглохнут без посева,
Свирелей мирных смолкнет глас,
Доколь над турком в память века
Не совершится мщенье грека.

О, сердцу льстящие мечты!
Надежды близкой, грозной тризны!
Нагряньте с гор, сыны отчизны,
Сомкнитесь, латы и щиты!
Гряди, святое ополченье:
Во имя бога мщенье, мщенье!..

Декабрь 1823
Одесса

150. ЭЛЕГИЯ

На грозном океане света,
Как волны легкие, мелькают наши лета,
Заметные единый миг.
Усилия племен земных,
Победный меч, скрижаль поэта —
Всё гибнет наконец.
А если медленным преданьем
И сохранится нам минувших дней венец:
Иль мужа доброго прекрасный образец,

---

[1] На знаменах греческих инсургентов изображен крест с надписью «свобода».

Иль мысль, внушенная небесным созерцаньем, —
Как перлы, случаем изверженны на брег, —
Мы сами, жадные к заботам современным,
    Средь слабых дум, средь праздных нег,
Вниманья не даем векам, давно смененным,
    Ни веры памятникам их.

    Так в бездне хладного забвенья
    Всё потопляет смертный миг!
    Но сколько в жизни утешенья
    В замену будущих утрат?
Кому неведомо очарованье счастья?
    Кто, полный нежного участья,
Беспечный, не вкушал семейственных отрад?
    Не услаждался гласом друга,
    Приветным лепетом детей,
    Или, на склоне бурных дней,
Твоими ласками, о верная подруга?
    Любовь! А твой небесный жар
Чье сердце чистое без тайных нег оставил?
    Чей вдохновенный, гордый дар
    Твоих восторгов не прославил,
    Твоих надежд, тоски твоей
    Очаровательных речей?
    Я помню сам лета младые,
    Их обольстительный обман,
    И кудри пепельно-златые,
    И, будто пальма, стройный стан,
    И взор задумчиво-приветный,
    Живое зеркало души.
    Я помню: робкий, незаметный,
    Я милую любил в тиши.
    О, первой грусти упоенье,
    Любви, надежд благая лесть,
    Когда для чувства — вдохновенье,
    И для блаженства — чувство есть!
    Каким волшебством непонятным,
    Каким слияньем лучших дум
    В те дни всё услаждает ум,
Всё душу радует весельем необъятным:
    Блистанье неба, шепот струй,
    Любимых уст простые речи,

Свиданье, скромный поцелуй
И жажда новой, милой встречи!
Не зная вас, не пил бы я
Сладчайшей чаши бытия!

Зачем же призраки сердец славолюбивых
На блага верные менять
И мнимой вечностью деяний горделивых
Мир человека возмущать?
К забавам жизненным беспечное пристрастье
Не тщетно с жизнью нам дано:
«Как ваши дни, — гласит оно, —
Невозвратимо ваше счастье;
Цветите, радуйтесь, покуда длится срок!»
Но гордому уму невнятен сей урок!
Скучает негой он, он славных бедствий просит
И, полный силы неземной,
Свои желания в потомство переносит,
Блуждает в будущем мечтой.

⟨1824⟩

151. ЭЛЕГИЯ

На скалы, на холмы глядеть без нагляденья;
Под каждым деревом искать успокоенья;
Питать бездействием задумчивость свою;
Подслушивать в горах журчащую струю
Иль звонкое о брег плесканье океана;
Под зыбкой пеленой вечернего тумана
Взирать на облака, разбросанны кругом
В узорах и в цветах и в блеске золотом, —
Вот жизнь моя в стране, где кипарисны сени,
Средь лавров возрастя, приманивают к лени,
Где хижины татар венчает виноград,
Где роща каждая есть благовонный сад.

1824
Алупка

152. МОЯ ЛЮБОВЬ

За днями дни бегут толпой,
Следов их сердце не находит;
Но, друг бесценный, образ твой
Поныне властвует душой
И с памяти моей не сходит.

Я посещал прекрасный край: [1]
Там ухо ропот моря слышит,
Беззнойно, долго светит май,
И человеку тихий рай
В тени олив и лавров дышит.

Там, нежась в лени и в мечтах,
В час лунных, сладостных туманов,
Как будто видишь на горах,
Вокруг мечетей, на гробах,
Блуждающие тени ханов.

Там жены, тайно, сквозь покров,
Назвав себя, лукавым взглядом
Манят счастливых пришлецов
На мягкий одр, на пух ковров,
В гарем, увитый виноградом.

Но в той стране, на бреге том,
К иным занятиям остылый,
Без цели странствуя кругом,
Мечтал, грустил я об одном —
Всё о тебе, мой ангел милый!

Как ночью песня соловья,
Как пленнику родные звуки
На бреге чуждого ручья —
Отрадна мне любовь моя,
Слиянье неги, счастья, муки.

Люблю, любовь потребна мне!
Я услажден, утешен ею!

---

[1] Тавриду.

Наскучу ль жизнью в тишине,
Мне милый лик блеснет во сне —
И вновь я к жизни пламенею.

1824

153. ДЕВУШКА — ВЛЮБЛЕННОМУ ПОЭТУ

Поверьте мне — души своей
Не разгадали вы доселе:
Вам хочется любить сильней,
Чем любите вы в самом деле.
Вы очень милы — вы поэт.
Творенья ваши всем отрада;
Но я должна, хоть и не рада,
Сказать, что в вас *чего-то* нет.
Когда с боязнью потаенной
Встречаю вас наедине,
Без робости, непринужденно
Вы приближаетесь ко мне.
Начну ль беседовать я с вами —
Как будто сидя с автора́ми,
Вам замечательней всего
Ошибки слога моего.
Со мной ведете ль разговоры —
Без выраженья ваши взоры!
В словах нет чувства — только ум!
И если б, в беззаботной доле,
Была я памятлива боле, —
То, затвердив из модных дум
Сто раз печатанные слезы,
Желанья, сетованья, грусть, —
В стихах я б знала наизусть
Все изъясненья вашей прозы!
Простите мне язык простой:
Нет, не хочу судьбы такой!
С душой, надеждою согретой,
Хочу в дни лучшие мои
Любимой быть я — для любви,
А не затем, чтоб быть воспетой.

28 (?) сентября 1824

154. ПЕСНЯ

«Друг веселий неизменный,
Для чего, певец младой,
Нынче бродишь потаенно
Всё один, одной стезей?
Молви нам: или то скука,
Иль то память о былом,
Или мысли, или звука
Ищешь пламенным умом?»

«Нет, друзья! от вас украдкой
Не скучаю, не грущу,
Не готовлю песни сладкой,
Светлых мыслей не ищу.
Я брожу у милой окон,
И одним лишь занят я:
Не мелькнет ли темный локон,
Не блеснет ли взор ея!»

⟨*1825*⟩

155. ЭЛЕГИЯ

Не озабочен жизнью я!
Равно мой ум и сердце праздны:
Как бой часов однообразный,
Однообразна жизнь моя.

Напрасно возвратить я мнил
Под благосклонным небом Юга
Напевы счастья и досуга
И бодрость юношеских сил.

Напрасно сердце обновить
Алкал любви очарованьем
Иль славы гордым обладаньем
Любви потерю заменить.

Не изменился жребий мой!
Я вяну, скукой изнуренный,
Как вянет цвет, перенесенный
Под небо родины чужой.

⟨1825⟩
Одесса

156. НА КОНЧИНУ Р⟨ИЗНИЧ⟩

Сонет

Посвящ⟨ается⟩ А. С. Пушкину

Ты на земле была любви подруга:
Твои уста дышали слаще роз,
В живых очах, не созданных для слез,
Горела страсть, блистало небо Юга.

К твоим стопам с горячностию друга
Склонялся мир — твои оковы нес,
Но Гименей, как северный мороз,
Убил цветок полуденного луга.

И где ж теперь поклонников твоих
Блестящий рой? где страстные рыданья?
Взгляни: к другим уж их влекут желанья,

Уж новый огнь волнует души их;
И для тебя сей голос струн чужих —
Единственный завет воспоминанья!

Июль 1825
Одесса

157. СЕТОВАНИЕ

Как доблестный корабль, друг моря и светил,
В недвижной пристани, без волн и без ветрил,
Стоит окован, обескрылен, —
Мой дух, изнеженный бездейственной мечтой,
Дряхлеет в праздности немой
И разорвать свой плен бессилен.

«Чего ты ждешь, корабль?.. Оставь сей пыльный брег!» —
Я молвил, и — смотри! — величественный бег
Уж он простер по океану...
Когда ж, когда ж и я, стряхнув душевный сон,
От лени вырвавшись, как он,
И окрилюся, и восстану!

Нет, в самой праздности мой благородный ум
Гордыней прошлых дней, избытком новых дум
Не раз, как море, волновался,
Как море между скал, и бился, и гремел,
И, жадный славы, жадный дел,
Разлиться в песнях порывался.

Я слышу и теперь мятеж его святой!
Он кличет, он влечет! о! замолчи, постой,
Постой, властитель беспощадный!
Но он как вихорь встал, все узы он расторг,
И охватил меня восторг,
Как жертву бога пламень жадный!

Раскрылся предо мной высокий прежний путь,
Приливом бодрых чувств восколебалась грудь,
Затрепетали сердца струны!
А! дайте ж лиру мне, судьбы бессмертный дар:
Да перелью мой вещий жар
В ее гремящие перуны!

Я, как орел, с вершин направлю свой полет!
При имени моем гонимый отдохнет
И дрогнет дерзостный гонитель!
Чтоб злобу поразить, проникну в самый ад
И насыщу душевный глад,
И буду славы покоритель!

Как жалкий раб земли, от колыбельных дней
Я не был обречен судьбиною моей
Бесчувственным заботам света;
Высоких мыслей клад мне был от неба дан,
И вечным жаром, как волкан,
Моя душа была согрета.

Уже я чувствовал отвагу юных сил;
Меня сокрытый бог насильственно стремил
На поприще Труда и Славы...
Но, легкомысленный, я дар свой пренебрег
Для уз любви, для томных нег,
Для их подслащенной отравы.

Я мирно отдался в свой произвольный плен;
Проникнут гласом дев, как пением сирен,
Я был объят очарованьем...
Казалось, тихий вал меня к Эдему нес,
Я плавал в океане роз,
Был напоен благоуханьем.

Но сердцем я клянусь! — и в рабской неге той
Я не был обаян земною суетой,
Земного счастия кумиром!
Мой дух был усыплен, но всё я был певец,
И обреченный мне венец
В цвету затоптан не был миром!»

Так, сидя на скале и шумом моря полн,
Я вслух согласовал с порывным плеском волн
Мои заветные мечтанья;
Я трепетал, кипел, ловил победный миг,
Но грозный океан утих,
И сон исчез очарованья

С вечерней сладостью, с вечернею луной
Всё погрузилося в божественный покой,
Душа склонилась к прежней неге.
Лишь изредка шептал неясный голос в ней,
Как легких, медленных зыбей
Звук, умирающий на бреге.

Август 1825
Одесса

158—159. *ГРЕЦИЯ*

Два сонета

1

Давно ль твой плач, как жалкий плач вдовицы,
Твоим сынам был праведный упрек?
О Греция, казалось, бог обрек
Тебя мечу карательной десницы!

Бесплодней скал, мрачнее стен темницы,
Казалось, ты погибнула навек,
И прозябал на славном прахе грек,
Как вялый мох на мраморе гробницы.

Узрев тебя, мы восклицали: «Нет!
Угасло там мужей великих племя!
Там край рабов: им груз цепей не бремя;

Наследных прав для них не свят завет».
Но дивный нам ты берегла ответ
И грозное приготовляла время.

2

Внемли! Чей зов потряс пещер сих своды,
Глубокий мир сих вековых дубрав? [1]
Дрожат сердца, знакомый глас узнав,
Как чуткие перед грозою воды.

Восстал, восстал великий дух свободы!
Воздвигнув крест, булат препоясав,
Как ангел битв, на выкуп славных прав
Он вас зовет, гонимые народы!

И се кругом звук брани пробежал;
Как ратный стан, Эллада восшумела;
Сомкнулись в ряд бойцы святого дела

---

[1] Западная сторона Албании и Мореи.

Грозней твердынь, неколебимей скал, —
Как божий гром, их меч врага попрал,
И слава их по миру загремела!

1825
Одесса

160. ЭЛЕГИЯ

Не ведает мудрец надменный,
Не постигает хладный свет,
Как тяжко тратить постепенно
Все обольщенья юных лет.

«Он с призраком своим простился,
Он стал умнее», — говорят,
Не скажут: «Бедный! он лишился
Своих любимейших отрад».

Престань оплакивать измену
Мечты! О боги! я готов;
Но что ж даете вы в замену
Живых, блестящих, милых снов?

На жизнь я поднял взор бесстрастный;
Что было — есть; но где же ты,
Мир ненаглядный, мир прекрасный,
Зерцало горней красоты?..

Разнесся дым очарованья,
Слетел покров волшебный твой,
И ты без тайн, без упованья,
Однообразный, предо мной

Предстал, как памятник бездушный
Времен минувших торжества,
Как истукан, жрецу послушный,
Златой кумир без божества!

1825

161. ПЕСНЬ ЛЮБВИ

Проникни в дух мой охладелый,
Любви спасительная власть!
И жизни, рано помертвелой,
Отдай веселье, силу, страсть.

Лишь тот познал красы земные,
Лишь тот воистину блажен,
Кого любовь в лета младые
Прияла в неискупный плен.

На что ему венцов сиянье?
На что сокровищ мрачный клад?
Его мечта, его желанье
Ликуют в области отрад.

К чистейшей, сладостнейшей цели
Стремится без боязни он,
Чтоб очи милые узрели
Ее черты сквозь вещий сон,

Чтоб, тайным пламенем сгорая,
Игра волненья своего,
Наутро красота младая,
Стыдясь, взглянула на него,

Чтоб силой страстного признанья
Из бледных уст, из томных глаз
Исторгнуть слезы и лобзанья,
Вкусить блаженства дивный час.

Любовь! любовь! владей ты мною!
Твоим волшебством обаян,
Не погибал бы я душою
В глуши безлюдной чуждых стран.

Пустынной жизнью изнуренный,
Не увядал бы в цвете я:
Кружился б образ незабвенный
И днем и ночью вкруг меня.

Всегда прекрасный, вечно юный,
Как солнце ясное весны,
Он оживлял бы сонны струны
Приветным гласом старины.

Играя чувствами моими,
Как своенравный чародей,
Он тайно грезами живыми
Питал бы страсть души моей.

Порой бы мнилось: кто-то дышит,
Склонясь невидимо ко мне, —
Как сквозь дремоту, ухо слышит
Знакомый шепот в тишине.

Как будто кудри шелковы́е
Прильнули вдруг к моим устам...
Как будто перси молодые
Открылись радостным очам...

Ты ль это, милое виденье,
Мой рай, мой гений на земли?
Ах, нет! то сердца обольщенье,
Обман пленительный любви!

1826
Скуляны

162. ОДЕССКИМ ДРУЗЬЯМ

(Из деревни)

В тиши семейственной, под милою мне сенью,
Предавшись сладкому Поэзии влеченью,
Я сердцем памятным средь неги не забыл
Полуденных друзей, полуденных светил.
С отрадой мысль моя в тот край перелетает,
Где небо, как любовь, приветливо сияет,
Где вьется виноград, питомец южных стран;
Где ум и взор и слух пленяет океан,
Неумолкающий, необозримый, чудный,
То ясно-голубой, то ярко-изумрудный;
Где служба царская и служба *добрых* муз
Единомыслием скрепили наш союз.

Но я ль, мои друзья, к противуречьям склонный,
Венчанный розами в отчизне благосклонной,
Вас ныне обману притворною тоской?..
Нет! весел сердцем я, и весел голос мой.
Завидуйте певца благословенной доле:
Я мыслю и ленюсь и странствую по воле.
Ярмом мирских сует стесненная душа
Очнулась, ожила, свободою дыша,
И вдохновение в ней гордо пробудилось;
Пред ней грядущее вновь блеском озарилось;
И, обозрев, кляня мой прежний, темный путь,
Я силу чувствую на славу посягнуть.
Склониться сладостно к утехам деревенским
Тому, кто, не пристав к *несносным* сплетням женским,
К условиям невежд, к служению льстецов,
Ценит по-своему блаженство городов,
И, друг Природы, друг святых ее уставов,
В душе не ослеплен блестящим прахом нравов.
Здесь тишины моей ничто не возмутит:
Не завернет ко мне бродяга — езуит,
Народа русского служитель чужеземный,
Россию осквернять хвалой своей наемной;
Напева нового моих горящих струн
Приходом не прервет городовой болтун,
Как с башни колокол гласящий всенародно,
Где свадьба, где пожар, где праздник благородный.
Я здесь не осужден в кругу жеманных дам
Учтиво потакать бессмысленным речам
Иль слушать набожно премудрые их толки,
Где вместе: вера, бог, булавки и иголки...
Я вижу вкруг себя лишь милых мне людей.
Ты здесь, мой лучший друг от юношеских дней,
Усердный гражданин, философ доброхотный,
Поклонник радости и неги беззаботной,
Сестра любимая! очам моим всегда
Ты здесь являешься, как тихая звезда,
И чистотой души мне небо открываешь.
И ты, моя любовь, и ты здесь обитаешь!
Отрада первая моих сердечных дум,
Ты свежестью ума живишь мой праздный ум,
И, как весна, мила, блистательна, как радость,
Усталых чувств моих восстановляешь младость.

О, сколько в сей тиши утех прекрасных мне!
Светило ль дня горит на яркой вышине
И, воздух раскалив, во мрак дубрав сплетенных
Прогонит пастухов, от зноя утомленных;
Иль летних вечеров полупрозрачный свет
Из хижин вызовет для песен и бесед
Толпы веселых дев, — мы вместе: сном отрадным
Летит наш ясный день. То внемлем ухом жадным
Свободной старины заветную скрижаль,
То, сердцем погрузясь в мечтательную даль,
В роскошном трепете и радости и муки
Мы ловим Пушкина пленительные звуки.
Порой лукавый смех, добросердечный спор
Лениво прерванный пробудят разговор,
И быстро бросится душа к предметам новым.
Когда ж, под сумраком всплывая пурпуровым,
Прохладой, тайнами ночей напоена,
На темный небосклон подымется луна
И землю усыпит волшебным усыпленьем, —
К ней очи устремив с невольным умиленьем,
В мечтах блуждаем мы над озером своим;
Глядим на бездну вод, на облака глядим, —
И мнится: в облаках мелькают перед нами
Живые образы бесплотными тенями;
И мнится: небеса, дубравы и струи —
Всё полно голоса и ласки и любви,
Как будто бы душа духовной лире внемлет
И в откровениях чудесный мир объемлет.
О други! чья приязнь, чьи теплые мольбы
Мне столько милых благ исторгли у судьбы?
Сбылись мои мечты, сбылись мои желанья,
Мой рай вокруг меня; сосуд очарованья
Я пью — и, прослезясь, взываю к небесам:
«Как жертва чистая да вознесется к вам
В сих радостных слезах певца благодаренье;
Вы ниспослали мне и мир и наслажденье, —
Хвала вам! но еще дерзаю вас молить·
Пошлите силу мне ваш дивный дар хранить».

Июнь 1826
Ярославец

163. ПОЭЗИЯ

Сонет

Ее гармония святая
Из дивных звуков сложена;
В них блещет вечная весна,
Благоухает воздух рая.

Ликует сердце, ей внимая,
Всё внемлет: дол и вышина;
Но мир не знает, кто она,
Сия певица неземная!

Перунам Зевсовым равны
С душевной пламенной струны
Поэтов сорванные звуки!

Им всё отверсто: рай и ад,
Душа — сосуд живых отрад,
И сердце — кладезь хладной муки.

1825 ⟨1827⟩

164. ГРЕЧАНКЕ

Царицей дев наречена
Ты вдохновением поэта;
Гордись! Ты будешь им воспета,
Ты будешь по свету слышна.
На резвых играх Терпсихоры,
Где звон музыки, гул речей,
Мельканье ножек, блеск огней
Обворожают слух и взоры,
Где, удаль праздников любя,
Весельем жарким младость дышит,
Одну тебя он в шуме слышит,
В толпе он зрит одну тебя.
Прелестным станом упоенный,
Влекомый страстною мечтой,
Не раз он в пляске окрыленной
Кружился радостно с тобой.

Когда же локон твой касался
Его влюбленного чела,
Какой в нем трепет разливался!
Как резво кровь его текла!
Гордись, гордись! он в лиру грянет!
Он твой!.. Как бледный цвет пустынь,
Уж ныне в мраке не увянет
Краса, достойная богинь.
Обречена любви и славе,
Двойным увенчана венцом,
Ты в пиитической державе
Предстанешь с царственным челом.
И, веря гордому напеву
Певца, наперсника харит,
Про победительную деву
С восторгом мир заговорит...

Я в дивный пояс Афродиты
Твой стан воздушный облеку;
Сотку из роз твои ланиты,
Из роз твои уста сотку.
В глаза, под гордые ресницы,
Я брошу быстрый огнь зарницы,
И в них зажгу я тихий свет —
Любви таинственный привет.
Как с девственным челом Дианы
Порой играют облака —
То в сребротканые туманы
Ее опутают слегка,
То, разбегаяся мгновенно,
Как тени творческой мечты,
Вновь кажут ночи усыпленной
Ее алмазные черты, —
Так будут кольца шелковы́е
Летучих облачных кудрей
Играть, небрежно рассыпные,
С красой блистательной твоей.
Я полн твоим очарованьем,
Тебе Олимп я покорю;
Всю блеском дивным озарю,
Всю обовью благоуханьем!
Певца всемощная любовь

Тебя бессмертьем увенчает.
Пою — во мне сам Феб пылает!
А ты награду мне готовь!

13 февраля 1827

165. В ПАМЯТЬ ВЕНЕВИТИНОВА

1

Блеснул он миг, как луч прелестный мая,
Пропел он миг, как майский соловей;
И, ни любви, ни славе не внимая,
Он воспарил в страну мечты своей.
Не плачь о нем, заветный друг поэта!
Вне жизни, он из мира не исчез:
Он будет луч божественного света,
Он будет звук гармонии небес.

2

Благословим без малодушных слез
Его полет в страны эфира,
Где вечна мысль, где воздух слит из роз
И вечной жизнью дышит лира!
Друзья! Он там как бы в семье родной,
Там ангелы его целуют,
Его поят небесною струей
И милым братом именуют.

1827

166. КОЛЬЦО

«Зачем горит твое лицо?
О чем ты, юноша, тоскуешь,
Когда украдкою целуешь
Твое чугунное кольцо?

Чей это дар? каким заветом
Он тайно мучит грудь твою?..
Иль нам неслышимым приветом
Он говорит тебе: люблю?

Иль, памятник любви минутной,
Ее обеты пережив,
Еще тебя томит он смутно,
Как счастья прошлого отзыв?

Иль друг чувствительный, незлобный,
Во цвете взятый в лучший свет,
На нем, как на доске надгробной,
Свой краткий начертал завет?..»

«Нет, нет, певец! не дружбой скромной
Освящено мое кольцо,
Не память девы вероломной
Мне сердце жмет, мрачит лицо!

Чугун сей милый и печальный
Превыше суеты земной:
То дар предсмертный, дар прощальный,
Благословение родной!»

1827

167. ЧЕНЕРЕНТОЛА

Как Ченерéнтола мила,
Как Ченерентола гонима,
Ты добрым колдуном хранима
В отцовском замке не была,
И принцем не была любима.
Заснув в домашнем уголке,
Не просыпалась ты на бале,
И не печатали в журнале
О изумрудном башмачке,
Тобой потерянном на бале.

В наш век холодный нет чудес!
Меж современников постылых
Нет колдунов, нет принцев милых:
Земля чуждается небес!
Жила ты просто, в скуке, в горе,
Сиротка сердцем и судьбой,
С заветной думою во взоре,
В душе с привычною мольбой.
Ты, кроме веры да печали,
Не знала в жизни ничего;
Надежды резво не играли
Вкруг изголовья твоего!
Лишь иногда глас дружбы тайной —
Привет сердечной полноты —
Смущал отрадою случайной
Твои унылые мечты!..

Я говорил судьбе жестокой:
«Зачем ты губишь милый цвет?
Зачем лилее одинокой
Опоры, тени в мире нет?»
Судьба молчит, вещать не смея,
Судьба ответа не дает,
А цвет прекрасный, а лилея
Бледнеет, вянет и падет!

⟨1828⟩

168. РОМАНС

(На голос вальса Беетговена)

«Когда всё пирует и блещет вокруг,
Зачем ты так мрачен, пустынный наш друг?
Что вспомнил, надумал? что душу грызет?
Пей с нами: печали вино унесет!»

«Вино не уносит властительных дум:
Их крылья тяжелы, собор их угрюм!
Весельем дышать, о друзья! вам легко —
Веселье ж мое далеко, далеко.

За призраком милым я сердцем пошусь,
Я страстью сгораю, разлукой томлюсь,
И в грусти безумной мне счастье одно:
Всё верить тому, чего нет уж давно!

Играйте и пойте, пируйте, друзья:
По-своему счастлив, хоть сумрачен я!
Когда ж с упованьем расстанусь моим,
Скажите: дух смерти витает над ним!»

1829
Адрианополь

169. МЫСЛЬ О ЮГЕ

Я взлелеян югом, югом,
Ясным небом избалован;
К югу, югу верной думой,
Словно цепью, я прикован.

Посмотри: там волны моря
Бьются, плещут, голубые,
Все осыпанные блеском,
Как надежды молодые!

Посмотри: там пирамида —
Тополь в виноградных лозах;
Вкруг фонтана вьются розы,
И балкон алеет в розах!

Посмотри: там черны очи,
Черны очи с долгим взором,
С огнедышащей любовью,
С огнедышащим укором!

Там гармония, сиянье,
Благовонье, наслажденье;
Север гордый! север гордый!
Что ж ты дашь мне в утешенье?

⟨1830⟩

170. ИМЯ МИЛОЕ РОССИИ

У подножия Балкана,
На победных берегах,
Имя милое России
Часто на моих устах.

Часто, вырвавшись из града,
Всадник странный и немой,
Я в раздумьи еду, еду
Долго всё на север мой.

Часто, родина святая,
За тебя молюсь во сне;
Даже в образах чужбины
Верный лик твой светит мне.

Слышу ль моря плеск и грохот —
Я сочувственно горжусь,
Мысля: так гремит и плещет
Вновь прославленная Русь!

Вижу ль минарет, всходящий,
Белый, стройный, в облака, —
Я взываю: наша слава
Так бела и высока!

И, объятый гордой думой,
Я не помню сердца ран:
Имя милое России
Мне от скорби талисман.

Февраль 1830
Бургас

171. СУДЬБА

Со дня создания подъят над смертным родом
Незримый, вечный меч Судьбы:
Его не избежишь обдуманным уходом,
Его не искусят чистейших уст мольбы!

Он слепо падает, вращаем в длани твердой,
На слабый цвет, на идол гордый,
Разит без выбора земных племен толпы!

А человек — игра живая
Коварных снов, надежд, сует, —
В мечтах торжественных до неба досягая,
Не помнит грозных, близких бед.
Как бурный вихрь они нагрянут,
Его блаженство разметут,
И никогда потом отрады не заглянут
В его развенчанный приют!

1830

172. ЗВЕНО

Былых страстей, былых желаний
Пересмотрел я старину;
Всю цепь моих воспоминаний
Я подобрал звено к звену.

Какою яркою печатью
Сверкает каждое звено!
Но чувства тихой благодатью
Меня проникло лишь одно.

Ах! то звено поры прекрасной,
Поры надежд и чистоты,
Поры задумчивости ясной
И целомудренной мечты.

И я из цепи разноцветной
Исторгнул милое звено,
Чтоб в грустный час, как луч заветный,
Оно светилось мне одно.

Декабрь 1830

173. СТАНСЫ

Ни дум благих, ни звуков нежных
Не хочет раздраженный мир;
Он алчет битв и бурь мятежных;
Он рвется на кровавый пир.

За тучей тучу Запад гонит;
Дух тьмы свой злобный суд изрек;
Земля растерзанная стонет,
Как пред кончиной человек.

Теперь не суетную лиру
Повесь на рамена, певец!
Бери булат, бери секиру,
Будь гражданин и будь боец.

Но прежде с пламенем во взоре,
Как богом избранный Пророк,
Воскликни: «Горе, горе, горе
Тому, кто вызвал гневный рок!»

Декабрь 1830

174. МЫСЛЬ О СЕВЕРЕ

— Морозная ночь! полнолунная ночь!
Блеск неба и снега вокруг! —
«Певец! простодушных друзей не морочь,
А юг твой, а песни про юг?»
— Мой демон, молчи! вещих струн не порочь:
Мысль сердца, как птица, вольна.
Морозная ночь! полнолунная ночь!
Как весело: снег и луна!

Любуйся: уж дым не ложится на дол,
Над кровлей не вьется венцом,
Он бел и легóк; как пророка глагол,
Он к небу восходит столбом.
Любуйся: вдоль улиц в решетчатый свод
Не льется ручей дождевой;

Там, словно сребро до боярских ворот,
Разостлан ковер снеговой.

На воздух, на воздух! Из хат, из палат
Детей своих кличет мороз.
Вот он, наш кормилец! Как щеки горят —
Весенних румянее роз!
Какая отвага и удаль в очах!
Льдяная нагайка в руке,
И прянул он в сани, и мчится в санях
На бурном гнедом рысаке.

О родина! в снежных сугробах играй
Назло полуночной судьбе.
Без роскоши солнца, без неги твой край,
Народ твой с природой в борьбе;
Но крепость и волю дарует борьба,
Но дух возвышает она.
Морозная ночь! полнолунная ночь!
Ты сил богатырских полна!

Между ноябрем 1830 и 1831

175. ПРИГЛАШЕНИЕ

Приди, я жду тебя в томлении бессонном!
Я жду тебя одна на ложе благовонном,
С восточной роскошью любви и наготы,
Одна с лампадою, как любишь, милый, ты!
О, верь мне, никогда в восторгах сладострастных
Ты не испытывал таких ночей прекрасных,
Как будет эта ночь! Мой дух тобой объят.
Лобзаний полные уста мои дрожат,
Грудь ноет и горит, и брачные виденья
Рисуют предо мной все виды наслажденья.
Я увлеку тебя в небесную страну,
Я в море огненном с тобою потону,
И завтра скажешь ты, меня целуя в очи:
«О, нет! не пережить другой подобной ночи!»

Январь 1832
Яссы

176. ОТРОКОВИЦЕ

Не упреждай годов; зрей тихо; не вреди
Развитию красот, сокрытых впереди.
Утехи ранние отрава, а не сладость:
Лишь целомудрием цветет и блещет младость.
О милая! дозволь златой твоей весне
Без искушения, в беспечной тишине
Допраздновать свой век. Дни счастья не изменят.
Придет твоя пора, и юноши оценят
Влюбленной думою все прелести твои:
Блеск утренний ланит, густых кудрей струи,
Уста цветущие с двойным жемчужным рядом
И светлые глаза с победоносным взглядом.

1832

177. STRAND-WEG[1]

(Береговая дорога от Мемеля до Кенигсберга)

1

Песок и море; грустный вид!
Со смертью жизни сочетанье:
Шум вечный, вечное молчанье!
Здесь распростертый он лежит,

[1] Дорога от Мемеля до Кенигсберга доселе следует по берегу моря. Берег образован из сыпучего песка, так что экипажи для облегчения лошадей часто упираются одним колесом в море. В продолжение трех перепряжек, путешественник решительно не видит ни произрастений, ни человеческого жилища. С севера необъятная пустыня вод; с юга ветром набросанные песчаные курганы, кой-где прибрежные камни да небольшие сараи, поставленные для укрытия от непогод путников и скота — вот общий очерк этой нагой дороги. Даже почтовые лошади приводятся из-за песчаных возвышенностей, где есть несколько деревень, но вовсе окруженных бесплодием. Однообразие почвы и медленность переезда утомили бы меня до крайности, если б в это время необычайность и быстрота воздушных явлений не развлекли моего воображения. То было в средних числах равноденственного марта, и я в жизни моей не помню дня, который бы заключал в себе такие видоизменения, такие внезапные и решительные переходы от дождя к солнцу, от ясного неба к непроницаемому туману, от тепла к холоду и метели. Может быть, влиянию этой чудной погоды обязан я некоторым поэтическим раздражением, которое выразилось в помещаемых здесь стихах. *(Извлечено из путевых воспоминаний 1833 года).*

Как труп недвижный, беспробудный.
Вотще над ним гремит волна,
Сверкая ризой изумрудной,
Неистощимых ласк полна!
Ее объятья и лобзанья
Глагола не дают устам,
На коих с дня миросозданья
Наложена печать молчанья,
Да будут вечной тайны храм.

И море целое возьми,
И бури хищными крылами
Восколебай и подыми,
И затопи его волнами
Весь одр безжизненный песков —
Нет! и тогда твой грозный зов
Сна первобытного не взбудит,
И пред могуществом твоим
Всё мертвым мертвое пребудет
И безглагольное немым.

Не так ли племена земные,
С начала данных твари дней,
Пытают камни гробовые
Упорной думою своей
И алчут в тайны роковые
Проникнуть? Тщетная борьба —
Нема грядущего судьба.
И может быть, когда б разъяли
Мы смерти грозную печать,
Мы б сами небо заклинали
Незнанья мир нам даровать!

2

Песок и море! Этот брег
Как будто сотворен для летних, мирных нег,
Для звучных игр и прихотей купанья.
Вокруг какая тишина!
Какая чистая и сильная волна!
Какое ложе для мечтанья!

О! верно, в алой мгле тех дивных вечеров,
Когда закат горит в отливах светозарных,
Здесь, покидая мрак палат своих янтарных,
Своих коралловых садов,
Ундина северного моря
Всплывает русой головой,
И жадно плавает, с жемчужной пеной споря
Высокой груди белизной;
И жадно воздух пьет, и брызгами играет;
И косу длинную по влаге расстилает,
Как сеть из ткани золотой;
Иль вдруг, причудница, песнь дивную заводит,
Из бездны кличет свой народ,
И, слушая ее, за нею рыба ходит,
Сверкая чешуей на темном лоне вод.

3

Песок и море: ни жилища,
Ни поля, ни дерев, ни гор;
Как мрачным зрелищем кладбища,
Здесь утомлен упорный взор.
Пустынен берег, и пустыня
На зыбкой бездне моря синя!
Лишь кой-где на мели разбитая ладья
Обезображенной кормою
Торчит над бурною волною,
Обломок жалкий бытия!
Да невод, к свае прикрепленный,
Кой-где чернеющий в песке,
Напоминает мысли сонной,
Что человек невдалеке!..

Беги отсель ты, чья душа,
Заемной жизнию дыша,
Не знает, нищая, отрады самобытной,
Ключей живительных сердечной глубины!
Но ты, питомец тишины,
Ты, собеседник ненасытный
Неумолкающей мечты,
О, приходи сюда! На обнаженном бреге,

Подобно мне, воссядь средь мира пустоты
И одиночества предайся дикой неге,
Затем что много, много дум
Наводит моря вещий шум!

И если, звуками той музыки волшебной
В страну видений унесен,
Ты в сердце оживишь иль образ, или сон,
Давно разрушенны судьбиною враждебной...
О, ведай, странник! что и я
Здесь так же вспоминал весны моей края,
Моей любви истлевшие одежды
И юности разбитые надежды,
Как эта бедная ладья!

1833

178—179. *ДВЕ ПЕСНИ*

1

РАЗМОЛВКА

«Сорентинка, голубица
Померанцевых садов,
Что так пристально ты смотришь
Вдаль от наших берегов?

Всё на море голубое
Да на резвые ладьи, —
Уж не рвутся ли на волю
Думы праздные твои?

Поцелуй меня: ты знаешь,
Я ревную иногда...»
— «Милый, я хочу в Неаполь;
Повези меня туда».

«Что в Неаполе, мой идол!
Там обычный скучный свет;

Много стуку, много блеску,
Для любви ж и места нет.

А под тихой нашей сенью
Всё к согласию манит.
Даже в листьях голос неги
Сердцу внятно говорит».

«Милый, милый! здесь пустыня,
Там же светлый пир людей;
Там забавы, там уборы,
Вечный праздник для очей.

Там по улице Толедской
Мы вдвоем пойдем гулять,
Пред народом ленты, цепи
Отмечать и выбирать. . .»

«Сорентинка, голубица
Померанцевых садов,
Больно мне твое признанье.
Едем в город — я готов.

Но, в узорны ленты, цепи,
Как Мадонна, убрана,
Знай — под свой навес зеленый
Ты воротишься одна.

Там, где сердцу счастье снилось,
Не хочу припоминать,
Что любовь и сельской девы
Откупная благодать».

2

ПРИМИРЕНИЕ

За прихоть женского тщеславья,
За резвый бред души младой,
В безумном гневе, тень бесславья
Набросил я на идол мой.

И думал: «Нет! мечты послушной
За нею вслед не повлачу:
Я не хочу любви бездушной,
Корыстных благ я не хочу».

Но как же грудь моя забилась,
Когда внезапною грозой
Она, прелестница, явилась
В слезах и в блеске предо мной!

Когда небесные все силы
Призвала, дни свои кляня,
И застонала: «Милый, милый,
Ужель разлюбишь ты меня!»

В одно мгновенье гнев и пени —
Всё разлетелося как дым, —
И вот уж вновь в зеленой сени,
Сплетясь руками, мы сидим.

Глядим на море, где трепещут
Заката яркие струи,
И наши взоры так же блещут
Златыми искрами любви.

1833

180. НЕАПОЛЬ, ПРОЩАЙ

(Посвящается М. В. А—г)

Неаполь, прощай! О, недолго мой взор
Красою твоей любовался,
Отливами дивными моря и гор,
Лазурью небес упивался!
Как изгнанный дух, покидая свой рай,
С тобой расстаюсь я, Неаполь. Прощай!

Прощай, голубой, полнозвучный залив,
Живая Неаполя лира!

В час ночи, когда твой немолчный призыв
    Носился по безднам эфира,
Гремучий и жалобный, вещий без слов, —
Мне мнилось: то голос отживших веков.

И ты, мой любимец, надводный чертог,
    Ты, замок плавучий Капрея,
Прощай! Кто прекрасного чувство сберег,
    Тот, в сердце твой образ лелея,
Его сохранит до заката мечты,
Как милые милого друга черты.

А вот и Везувия грозный панаш,
    Как облако, к небу восходит.
Привет тебе, старец, недремлющий страж!
    Очей с тебя странник не сводит
И мыслит, тобою любуясь: «Вот он,
Кем древнего мира обломок спасен!»

Прощайте, балконов зелены шатры,
    Садов благовонные своды,
Звон музыки, песни, ночные пиры,
    Разгул нищеты и свободы, —
И ты, сорентинка, цвет юга златой,
Поэзии Тасса отрывок живой!

Край солнца, чудес вечно юных страна,
    Где создал Эдем свой Виргилий!
На лаве твоей жизнь, как чаша, полна
    Без грубых забот и усилий;
Душа, упоенная внешней красой,
Ликует и пищи не хочет иной.

О, что же отныне мой путь озарит
    Таким вдохновительным светом?
Что душу, как ты, освежит, обновит
    И врежется в память заветом?
Мне грустно; отныне мне счастья не знать:
Кто видел Неаполь, тому умирать.

Март 1834

181. ДОМ НА БОСФОРЕ

Зеленый сад, фонтан и розы;
Над зеркалом воды прохлады полный дом;
С навеса вьющиеся лозы;
Стена заветная кругом
(Приют домашних тайн), а в стороне кладбище;
Ряд кипарисов, минарет —
Вот очерк твой, восточное жилище!
Восток! вот милый твой привет!

О! в этом светлом заточенье,
Наверно, жизнь как сон легка.
Понятно лени здесь влеченье,
Понятна сладость чубука.
Сядь у окна, кури, — дым вьется, взор ликует,
Ряды картин мелькают пред тобой,
Как будто их живописует
Волшебный перст, лелея отдых твой.

Здесь — ткань пролива голубая
С живыми, яркими узорами ладей;
Там пирамиды гор; там башня вековая,
Увечный страж гробов минувших дней;
Подале цепь дворцов; а дале у потока
Толпы народа, блеск одежд, шатры дерев,
И всё озарено алмазным днем востока,
Как рай очами райских дев.

Но вот за синею громадой Истамбула
Закат то розами, то золотом горит;
Свой звездный плащ ночь тихо развернула,
Умолк последний звук молитвы. Море спит.
Ты близок, час утех и чувственности страстной.
О! сколь пророка благ закон!
Для мысли — светлый мир; для неги — мир прекрасный
Гарема чистых дев и жен.

И правоверного приемлет
В ревнивый свой чертог решетчатый гарем.
На персях счастья там он дремлет,
Там предвкушает он Эдем.

Но только тонкий луч востока
К его очам сквозь полог проскользнет,
Он, бодрый, вновь спешит благословлять пророка,
Любуясь зрелищем холмов своих и вод.

1836

182. ОТРАДЫ НЕДУГА

От всех тревог мирских украдкой,
Приятно иногда зимой
С простудой, с легкой лихорадкой
Засесть смиренно в угол свой;
Забыв поклоны, сплетни, давку,
И даже модных дам собор,
Как нектар, пить грудную травку
И думам сердца дать простор.

Тогда на зов воображенья,
Привычной верности полны,
Начнут под сень уединенья
Сходиться гости старины:
Воспоминания, виденья,
Любви и молодости сны.
Ум просветлеет; голос внятный
В душе опять заговорит,
И в мир созданий необъятный
Мечта, как птица, улетит...

Пройдут часы самозабвенья,
Посмотришь: день уж далеко,
Уж тело просит усыпленья,
А духу любо и легко, —
Затем что, голубем летая
В надзвездном мире вечных нег,
Он, может быть, хоть ветку рая
Принес на радость в свой ковчег.

1838

183. ЛЮДИ И СУДЬБА

Со всех концов земли, как смутный пар с полей,
Восходит каждый миг до неба
Неистощимый вопль людей:
Кто просит радостей, кто хлеба,
Один — бесстрастия, другой — борьбы страстей;
Тот молит обновить скудеющие силы,
А тот — уснуть скорей во глубине могилы.

И всем им строгий глас судьбы
Дает один ответ: «О смертные безумцы!
Зачем ваш плач, зачем мольбы
И праздных жалоб ропот шумный?
Вовек неколебим державный мой закон.
Жизнь вашу жизнь иная сменит,
Но так же тверд пребудет он,
И никакая власть его не переменит.
Рукою праведной вам жребии даны,
И если благами неравны ваши доли —
Вы общей участью равны
И все равно одарены
Сокровищницей чувств и воли.
Для полной цели естества
Всё нужно: радость и страданье,
Блеск солнца, грохот бурь, позор и торжества,
И жизни цвет, и жизни отцветанье.
Храните ж мой завет святой:
Терпите в скорбный час, в отрадный час ликуйте,
Мужайтесь волею, но суетной мольбой
Суда небес не испытуйте».

1838

184. ЖАЛОБА

Где прежних дум огонь и сила?
Где вдохновение младой моей поры?
Я старец: чувственность, как бездна, поглотила
Обильной юности дары.

Прекрасна жизнь, когда любовь и слава
Души единая корысть:
Тогда мечта полна, светла и величава,
Тогда творит перо, творит резец и кисть.

Но — горе мне! — высокой цели радость
Невластна более мне душу волновать:
Кто раз вкусил земной отравы сладость —
Утратил духа благодать.

Отдай мне, ангел мой, хоть на одно мгновенье
Мой чистый, мой сердечный труд:
Игривой мысли вдохновенье,
Заветных образов сосуд!

Отдай мне нить моих созданий,
Тревогой светскою разорванную нить:
Усталый от сует, как ратник после брани,
Я жажду душу обновить!

Безумная мольба! Минуло то, что было!
Усопших душ ничто не воскресит!
Я кличу ангела, но ангел светлокрылый
Лишь издали мелькнет и — мимо пролетит!..

Сентябрь 1839

185. ПЕСНЯ

ПОСВЯЩЕНА А. О. СМИРНОВОЙ

Любил я очи голубые,
Теперь влюбился в черные.
Те были нежные такие,
А эти непокорные.

Глядеть, бывало, не устанут
Те долго, выразительно;
А эти не глядят; а взглянут —
Так словно царь властительный.

На тех порой сверкали слезы,
Любви немые жалобы,
А тут не слезы, а угрозы,
А то и слез не стало бы.

Те укрощали жизни волны,
Светили мирным счастием,
А эти бурных молний полны
И дышат самовластием.

Но увлекательно, как младость,
Их юное могущество.
О! Я б за них дал славу, радость
И всё души имущество.

Любил я очи голубые,
Теперь влюбился в черные,
Хоть эти сердцу не родные,
Хоть эти непокорные.

⟨1843⟩

186. ПЕВЕЦ

Быль

«Вино и песни любит младость,
Пиры и девы нужны ей
И увлекательная радость
Как день сверкающих ночей!

Ищи отрад в народных спорах,
Кто хочет! Счастье мы найдем
В разгульных звуках, в милых взорах
И в чашах с пенистым вином», —

Так пел германец. Вдруг по граду,
Как буря, грянул грозный клик...
Прервал певец свою балладу
И ухом к буре той приник, —

И, слово страшное «свобода»
Услышав, бросил лиру он...
И вот уж вдаль волной народа
Он, как потоком, унесен.

Умолк мятеж! Смирились люди;
Как прежде, тих и светел град,
Отрада вновь проникла в груди...
Но где же ты, певец отрад?

О горе! с площади кровавой
Не воротился к лире он!
И песнь, дышавшая забавой, —
То был его предсмертный стон.

Напрасно ж ты, мечтатель юный,
Вне жизни думал жизнь создать;
Ты сладко пел, но лгали струны —
Событий носим мы печать!

В дни бурь — поэзии нет мира;
Делам и песням путь один...

Ф. А. ТУМАНСКИЙ

Федор Антонович Туманский (1799—1853)[1] — троюродный брат В. И. Туманского. По окончании Киевской гимназии вышних наук учился в Московском университетском благородном пансионе и Московском университете (1817—1821) на отделении словесных наук. В пансионе он не пользовался никакой литературной известностью и, возможно, даже ничего не писал.[2] Окончив курс, Туманский 21 июня 1821 года поступил в департамент духовных дел, где был сослуживцем Панаева, Б. Федорова, Воейкова и Л. С. Пушкина, с которым у него установились близкие дружеские отношения; по-видимому, через него он коротко знакомится с Дельвигом и Баратынским и входит в дельвиговский кружок.[3] В 1823 году появляется (под анаграммой) первое известное нам его стихотворение («Родина»). Он принимает участие в подготовке к изданию стихотворений Пушкина, а в 1825—1830 годах выступает в «Северных цветах» как автор нескольких элегий, которые встречают признание у современников и даже перепечатываются несколькими годами позднее. Туманский не выходит за рамки элегической традиции 1820-х годов; его стихи принадлежат к показательным и удачным ее образцам. Его «Птичка» (1827), соотносящаяся с аналогичными стихами Пушкина и Дельвига, приобрела особую популярность; современники ставили ее выше, нежели пушкинскую. Сам Туманский, человек флегматичный и беспечный, относился к своему творчеству как типичный дилетант; его равнодушие к поэтическим лаврам в значительной мере было причиной того, что до нас дошло не более 10 его стихотворений. В 1825—1827 годах Туманский служил в департаменте разных податей и сборов, а в 1828 году был определен в штат канцелярии полномочного

---

[1] А. А. Кондратьев, Ф. А. Туманский. Материалы к биографии. — ЦГАЛИ, ф. 5, оп. 1, № 119; в формулярном списке 1821 г. в ЦГИА (ф. 1349, оп. 4, № 102, лл. 193 об., 194) указан возраст 21 год.

[2] «Русский архив», 1874, № 9, с. 728.

[3] «Русский архив», 1863, № 4, с. 350.

председателя диванов княжеств Молдавии и Валахии.[1] В 1834 году он оставляет службу и поступает на нее вновь лишь в 1837 году — уже в Петербурге, в хозяйственный департамент министерства внутренних дел; в 1837—1838 годах он принимает участие в редактировании «Журнала министерства внутренних дел». В 1841 году он получает назначение секретарем консульства в Молдавии. С 1851 года Туманский — генеральный консул в Сербии; в Белграде он и скончался 5 июля 1853 года.

187. РОДИНА

Есть на земле безвестный уголок,
Уединенный, неприметный:
Знакомый луг, знакомый лес, поток,
И в них дух добрый и приветный.
Он издавна живет в том уголке,
Летает птичкой по дубравам,
Шумит в бору, купается в реке
И улыбается забавам.
Сберется ль в луг красавиц хоровод —
Он между ними невидимкой,
И под вечер он в сумраке поет
Любовь с пастушеской волынкой.
Я не видал его в стране родной,
Но с ним почувствовал разлуку,
Когда, в очах с прощальною слезой,
Я посох странника взял в руку.
Он вкруг меня в унынии шептал:
«Куда? не я ль тебя взлелеял?»
Он за рубеж отчизны провожал
И грустью на меня повеял.
Казалось мне, покинут детства друг,
Который вместе рос со мною.
Недаром же с тобой разлуку, добрый дух,
Зовут по Родине тоскою!

1823

---

[1] «Летописи Государственного литературного музея, кн. 1. Пушкин», М., 1936, с. 77.

188. К ....

Я не был счастьем избалован;
Нет, нет, красавица моя,
Уж я давно разочарован,
Узнал всю бедность бытия;
И сердцем я привык не верить
Всем лучшим благам жизни сей!
К чему ж напрасно лицемерить
И взором пламенных очей,
И сладким шепотом речей,
И ласкою руки притворной?
Я не любви твоей хочу,
Я к нежности твоей упорной
Души ничем не приучу.

⟨*1824*⟩

189. ЭЛЕГИЯ

Когда на зов души унылой
Встают из тайной глубины,
Как привиденья над могилой,
Минувших лет златые сны,
И ей представятся, как прежде,
В знакомой сердцу красоте
Мечты в блистательной одежде,
Любовь в цветущей наготе
И всё, что рано обольстило
Зарю счастливых первых лет,
Чем приманил к себе так мило
Младую жизнь лукавый свет,
Когда в чаду очарованья,
Восторгов и надежд полна,
Все радости, все упованья
Ему поверила она;
Когда мечта волшебной властью
Прекрасный созидала мир
И с верой пламенной ко счастью
Боготворила свой кумир,

В грядущем смело начертала
Свою судьбу перстом златым,
И быстро юность улетала,
Как легкий с жертвенника дым;
Когда сзовет воспоминанье
Все призраки минувших лет —
Их отдаленное сиянье,
Их утешительный привет
Часы унынья сокращает.
Что память? Черная доска,
На коей времени рука
Всю нашу жизнь изображает
И долгий вечер старика
Началом повести пленяет.

⟨1826⟩

190. К УВЯДАЮЩЕЙ КРАСАВИЦЕ

Взгляните на нее! Смиренье
И кротость на ее челе:
Она и бога и творенье
Могла прославить на земле.
Взгляните на нее! Как нежно
В сих угасающих очах,
В ее улыбке безнадежной
Видна утрата лучших благ
И скорбь души без championськ упованья!
Так в зимний хладный день одна
На бледном своде без сиянья
Стоит бесцветная луна.

⟨1826⟩

191. ЭЛЕГИЯ

Невидимо толпятся годы,
В их бездне исчезают дни,
Как в море льющиеся воды,
Как миг блестящие огни.

За тайной мглою кроет время
День улетающий за днем,
И тяготеет жизни бремя,
А годы кажутся нам сном.
Иного память утомилась,
Считая ряд прожитых лет;
Ей жизнь как будто бы приснилась,
Минувшее — как дымный след.
Но там, в толпе полупрозрачной,
Мелькают памятные дни,
Как сквозь туман долины мрачной
Блестят приветные огни;
На них ли радости сиянье,
Иль скорби черная печать, —
Они живут в воспоминанье,
Их любит сердце отличать;
Их время от него не спрячет,
И старец, покидая свет,
И улыбнется и заплачет,
Взглянув на жизнь минувших лет.

⟨1826⟩

192. ПТИЧКА

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.
Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.

⟨1827⟩

193. ПУШКИН

Еще в младенческие лета
Любил он песен дивный дар,

И не потухнул в шуме света
Его души небесный жар.
Не изменил он назначенью,
Главы пред роком не склонял,
И, верный тайному влеченью,
Он над судьбой торжествовал.
Под бурями, в глуши изгнанья,
Вмещая мир в себе одном,
Младое семя дарованья,
Как пышный цвет, созрело в нем.
Он пел в степях, под игом скуки
Влача свой страннический век, —
И на пленительные звуки
Стекались нимфы чуждых рек.
Внимая песнопеньям славным,
Пришельца в лавры облекли
И в упоеньи нарекли
Его певцом самодержавным.

⟨1829⟩

П. А. ПЛЕТНЕВ

Петр Александрович Плетнев (1792—1865) выступал как поэт лишь до середины 1820-х годов. Родившись в Твери, в семье священника, он в 1810 году был перевезен в Петербург и помещен в Санктпетербургский педагогический институт. По рекомендации директора института (а затем и Лицея) Е. А. Энгельгардта, заметившего Плетнева, он восемнадцати лет уже начинает деятельность педагога. Плетнев сближается с пансионскими литераторами (Р. Т. Гонорским, И. С. Георгиевским), посещает публичные выступления (в частности, Крылова в 1811 году); в 1810 году знакомится с А. И. Тургеневым, ставшим его первым литературным покровителем. По окончании института (в 1814 году) Плетнев остается там в качестве учителя и одновременно (с 1815 года) преподает историю в Военно-сиротском доме.[1] В 1817 году начинается тесная связь его с Кюхельбекером, сослуживцем по институту, и через него — с Дельвигом,[2] в 1816 или 1817 году он знакомится и с Пушкиным.

С 1818 года Плетнев начинает печататься (под анаграммой «*» или инициалами «П. П.») — в «Благонамеренном», «Сыне отечества», затем в «Соревнователе», «Невском зрителе», «Журнале изящных искусств» (1823) и альманахах. Первые стихи Плетнева — элегии, послания, баллады («Пастух», 1820; «Могильщик», 1820), отмеченные сильным влиянием Жуковского и отчасти Батюшкова, носят подражательный, даже ученический характер. В 1819 году Плетнев становится действительным членом Обществ любителей словесности, наук и художеств и российской словесности. Связь с первым у него в значительной мере случайна; в последнем он является одним из активнейших членов и одно время негласно редактирует «Соревно-

---

[1] Формулярный список. — ЦГИА, ф. 1348, оп. 4 (1817 г.), № 17.
[2] «Русский архив», 1866, с. 1202.

ватель».[1] Он близок с Ф. Глинкой и Гнедичем[2] и в особенности с кругом Дельвига. В 1820 году он принимает участие в борьбе против В. Н. Каразина и его группы. Гораздо менее успешны были попытки Плетнева сблизиться с кругом Карамзина и «арзамасским братством»; он оказывается чужим даже Жуковскому, в еще большей мере — Карамзину и Вяземскому. В 1822 году он вызвал резкое недовольство Батюшкова и прежних арзамасцев, в том числе Пушкина, опубликовав стихотворение «Б⟨атюшков⟩ из Рима»; болезненно мнительный Батюшков усмотрел в нем враждебное выступление с намеками на падение своего таланта. Между тем в критических статьях этого времени Плетнев заявляет себя решительным приверженцем «новой школы» Батюшкова—Жуковского (см. его «Разбор элегии Батюшкова „Умирающий Тасс"», 1823; «Путешественник (Из Гете)», 1823); специальные статьи он посвящает также «Кавказскому пленнику» Пушкина (1822), идиллии Гнедича «Рыбаки» (1822), антологическим стихам Пушкина и Вяземского (1822) и др. Несомненное тяготение к молодым «романтикам» сочетается у Плетнева со своеобразным эклектизмом критической и эстетической позиции и зависимостью от традиционной нормативной поэтики. Плетневу вообще свойственна осмотрительность и преимущественная комплиментарность суждений, что отмечал и Пушкин, советуя ему «не писать добрых критик» и отрицательно оценивая одну из наиболее крупных его работ «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» (1824); в ней Плетнев выступил как сторонник «элегической школы» ламартиновского типа, поддерживая как традиционную «унылую» элегию А. Крылова или М. Милонова, так и обновленную элегию Пушкина. В собственных стихах 1818 — начала 1820-х годов Плетнев также эклектичен. Симптомы отхода от подражательности обнаруживаются у него в изобилующей реалиями элегии «К моей родине» (1819) и в особенности в опытах исторической элегии («Гробница Державина», 1819; «Миних», 1821), где традиция медитативной элегии служит для разработки общественно значительной исторической картины или эпизода, предвосхищая, таким образом, некоторые черты рылеевских дум. Тем не менее Плетнев не пошел дальше усовершенствованной «унылой» элегии; созданные им образцы лишены динамического и драматического начала и свидетельствуют не столько о большом поэтическом даровании, сколько о литературном вкусе,

---

[1] «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. 2, СПб., 1896, с. 376.

[2] И. Н. Медведева, Н. И. Гнедич и декабристы. — «Декабристы и их время», М.—Л., 1951, с. 134.

отражающем устремления и уровень поэтической культуры прежде всего дельвиговского кружка.

В начале 1820-х годов Плетнев захвачен ростом общественных настроений в кругу «соревнователей» и обращается к традициям общественной сатиры и «высокой» оды XVIII столетия (ср. его разбор оды В. Петрова, 1824). Эти тенденции отразились в его оде «Долг гражданина», посвященной Н. С. Мордвинову и перекликающейся с «Гражданским мужеством» Рылеева.[1] Прямое утверждение общественной функции поэзии содержится и в его послании «К Вяземскому» (1822), где намечен и ряд социально значительных тем и предметов сатирического обличения (общественный индифферентизм, злоупотребления крепостничества и т. д.); в известном смысле Плетнев следует здесь за сатирой Милонова, которой он дал высокую оценку в специальном разборе (1822). В 1823 году, однако, обозначается и отход Плетнева от радикального крыла «соревнователей». А. Бестужев сообщал о появлении в обществе «партии Дельвига — Плетнева», к которой примкнули Гнедич и Ф. Глинка. Полемика возникает в связи со статьей Плетнева о «Полярной звезде»[2] и «Письмом к графине С. И. С.». Греч, Бестужев и другие упрекают Плетнева в недооценке Державина, преувеличении значения творчества Жуковского и Баратынского и т. д. Эта борьба являлась следствием как конкуренции между «Полярной звездой» и «Северными цветами», так и идеологических разногласий «левого» и «умеренного» крыла «ученой республики».

Издание «Северных цветов» привело к обособлению дельвиговского кружка, которое, впрочем, не было абсолютным: в 1824 году Плетнев — один из наиболее активных «соревнователей» и в то же время ближайший сотрудник Дельвига по альманаху. Литературно-общественная позиция Плетнева выразилась в ряде его посланий — Баратынскому, Дельвигу, Гнедичу, Пушкину, в которых получил отражение характерный культ дружбы и поэтического творчества. Лучшее из них — послание к Пушкину; высоко оцененное самим Пушкиным, оно положило начало их дружескому сближению. Другой литературной удачей Плетнева было послание «К рукописи Б⟨аратынско⟩го стихов», одно время приписывавшееся самому Баратынскому и, действительно, довольно близкое к его поэтике. Для посланий

---

[1] Ю. Стенник, Стихотворение А. С. Пушкина «Мордвинову». — «Русская литература», 1965, № 3, с. 172.

[2] В. Базанов, Ученая республика, Л., 1964, с. 294; «Литературное наследство», 1956, № 60, кн. 1, с. 204, 228; «Сын отечества», 1825, № 2, с. 200.

Плетнева обычна автобиографическая идея «поэзии в душе», компенсирующей скромные размеры поэтического таланта; элегические мотивы одиночества, отчужденности также в известной мере имеют у него автобиографический подтекст.

С начала 1820-х годов Плетнев занят не только литературной, но и издательской работой: он участвует в изданиях В. Л. Пушкина, Озерова, Жуковского, а впоследствии делается постоянным и преданным литературным комиссионером Пушкина, связи с которым навлекли на него подозрения в неблагонадежности и в 1826 году послужили материалом для секретного следствия.[1] Во второй половине 1820-х годов обнаруживается явное тяготение Плетнева к антологической лирике; он создает несколько антологических элегий, принадлежащих к числу удачных образцов этого жанра («Ночь», 1827; «Море», 1827; «Безвестность», 1827, и др.). С конца 1820-х годов Плетнев совершенно оставляет поэтическую деятельность; он преподает и помогает Дельвигу в издании «Северных цветов» и «Литературной газеты», где помещает несколько небольших рецензий. Смерть Дельвига была для Плетнева тяжелым ударом, вызвавшим длительную депрессию. В 1835—1836 годах Плетнев — один из ближайших помощников Пушкина в его журнальных начинаниях и работе над «Современником». После смерти Пушкина он становится издателем этого журнала, задачу свою он видит в культивировании «пушкинских начал» в литературе, которые понимает чрезвычайно узко и консервативно. Начиная с 1830-х годов Плетнев пишет серию литературных очерков-портретов, в известной мере с той же задачей («Александр Сергеевич Пушкин», 1838; «Евгений Абрамович Баратынский», 1844; «Жизнь и сочинения И. А. Крылова», 1845; «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского», 1852, и др.), имеющих, однако, значительную историко-литературную и нередко мемуарную ценность; выступает с критическими разборами произведений Гоголя, Островского, Писемского; продолжает педагогическую деятельность как профессор и ректор Петербургского университета. Литературно и лично он связан в поздние годы с Жуковским, Вяземским; более всех — с Я. К. Гротом, издавшим впоследствии трехтомное собрание его сочинений.[2]

---

[1] О связях Плетнева с Пушкиным см.: Пушкин, Письма последних лет (1834—1837), Л., 1969, с. 446.

[2] О Плетневе см.: В. Н., Жизнь и литературная деятельность П. А. Плетнева. — «Русская старина», 1908, № 6, с. 633; № 7, с. 89; № 8, с. 265; И. Н. Розанов, Пушкинская плеяда, М., 1923, с. 47.

194. ГРОБНИЦА ДЕРЖАВИНА

Элегия

> В сем прахе не умолкнет пенье
> Душой бессмертной полных струн...
> И будет пламень, в *нем* горевший, согревать
> Жар славы, благости и смелых помышлений
> В сердцах грядущих поколений!
>
> *Жуковский*

Молчит угрюмый бор, одетый ночи мглой,
И дремлет брег над Волховской пучиной;
Последний отзыв волн, уснувших под скалой,
Умолк в бегу за дальнею равниной;
Туманы разлились по злачным берегам
И зыблются прозрачной пеленою;
Бледна, задумчива, по синим небесам
Луна течет над гладкою рекою;
На скатах дальних гор, в окрестности немой,
Как призраки, являются селенья,
И Новгород, как гроб обширный, предо мной
Лежит, простерт в тиши уединенья;
И мнится, здесь, меж тем, как маки сыплет сон
Над древнею полночных стран столицей,
С губительной косой стоит незримый Крон,
Грозя своей всемощною десницей.
Везде разбросаны, неумолимый бог,
Побед твоих ужасные трофеи:
Обломки мраморны покрыл зеленый мох,
И гордые упали мавзолеи;
Полуразрушенный, и под твоим ярмом
Как скованный чугунными цепями,
Великий Новгород, склонившись в прах челом,
Уж не взмахнет орлиными крылами.
Иду... и ряд могил в траве передо мной
Широкою простерся полосою.
Сюда, надменные счастливцы под луной!
Спешите здесь, полуночной порою,
Прочесть свою судьбу! Под мрамором в пыли
Истлевшие давно здесь полубоги
Вам возвестят, куда идут сыны земли
И розами с украшенной дороги.

Страна забвения! И под моей ногой,
Как меж гробниц уединен блуждаю,
Быть может, здесь лежит протекших лет герой
И я в сей миг героя попираю;
И не шумит над ним, взносясь до облаков,
Тот гордый лавр, которого листами
Убранное чело наперсника богов,
Как солнце, светлыми цвело лучами!
Но что за тени там, чуть зримые в дали,
На свежую могилу низлетают
И урну с двух сторон, как стражи, облегли
И, мнится, слух на голос преклоняют?
Кто та́инственная посланница небес,
Поникшая венчанною главою,
Порфиру опустив с рамен, потоки слез
Струит в ночи над гробовой доскою?
И кто сопутник ей, повергший меч и щит
И шлем к подножию безмолвной урны,
Простерши древнюю геройску длань, скорбит,
Подъемля взор на небеса лазурны?
И кто в могиле ты: блюститель прав, герой,
Народов ли и стран завоеватель,
Служитель алтарей иль, избранный судьбой
Для блага царств, мудрец-законодатель?
Безмолвие... В гробах и на гробах всё спит!
Лишь тайное в глазах моих виденье,
Лишь преклоненный слух как бы душе гласит:
С зарей и ты услышишь песнопенье!
Но вот проснулся день: восточных облаков
Пушистые края озолотились;
Бегут туманы с гор, полей и берегов,
За ними Сириус и ночь сокрылись.
Безмолвны тени ждут — безмолвен тлеет прах;
Но первое лишь веянье зефира,
Струяся по полям, взыграло на листах...
Воскреснула невидимая лира:
То льется по лугам, как песня соловья
Весеннего, ее очарованье;
То ропчет, как ручья прозрачного струя
Или ветвей древесных трепетанье;
То вьется, будто вихрь, несется по лесам
И рассыпается на долы градом;

Гремит, как бурный гром, гремящий по горам,
Или ревет, как Суна, водопадом.
И радость вкруг меня, как солнца луч златой,
Воскресла на гробах, и легки тени,
Вняв гласу сладкому, с весельем предо мной
Сокрылися в своей небесной сени.
И тайна с глаз моих снимает свой покров:
Здесь *он* лежит... Колена преклоняю
Пред урною твоей, любимец, друг богов,
С благоговением твой прах лобзаю!
О счастливый Певец счастливейших времен!
Придут, придут сюда из отдаленья
Грядущих чада лет и чуждых нам племен
Блуждать, как я, и слушать песнопенья —
И дряхлый Новгород тобою не умрет...
В развалинах отечества Вадима
Еще придут искать твоей гробницы след,
Как в Риме прах Певца Ерусалима.

(1819)

195. К МОЕЙ РОДИНЕ

Элегия

O quid solutis est beatius curis,
Cum mens onus reponit, ac peregrino
Labore fessi venimus Larem ad nostrum
Desideratoque acquiescimus lecto!

Catullus, ad Sirmionem [1]

Забуду ль в песнях я тебя, родимый край,
О колыбель младенчества златая,
Немой моей мечты прибежище и рай,
Страна безвестная, но мне драгая;
Тебя, пустынное село в глухих лесах,
Где, с жизнию обнявшись молодою,

[1] Как сладостно, тревоги и труды сбросив,
Заботы позабывши, отдохнуть телом,
Усталым от скитаний, и к родным ларам
Вернуться и в постели задремать милой.
Катулл, К Сирмию (лат., перевод А. И. Пиотровского).

Я в первый раз смотрел, что светит в небесах,
Что веет так над зыбкою водою?
Забуду ль на холме твой новый божий храм,
Усердьем поселян сооруженный,
С благоговением где по воскресным дням
Я песни божеству певал священны;
Могилы вкруг него, обросшие травой,
Неровными лежащие рядами,
Куда ребенком я ходил искать весной
Могилу ту, меж серыми крестами,
Где мой лежит отец... младенца своего,
Меня лишь на заре моей лобзавший;
Где, с тайным трепетом, я призывал его
И милой тени ждал, ее не знавши?
Забуду ль вас, о мирные луга,
Прикрытые со всех сторон елями,
И обращенные под нивы берега,
И вас, поля, усеянны камнями;
Вас, низки хижины, к потоку с двух холмов,
Лицом к лицу, неправильно сходящи,
И зыбкий, ветхий мост, и клади меж брегов,
И темный лес, кругом села шумящий?
Забуду ли тебя, о *Теблежский* ручей,
Катящийся в брегах своих пологих
И призывающий к себе струей своей
В жары стада вдруг с двух полей отлогих,
Где чащи ольховы, по бархатным лугам
Прохладные свои раскинув тени,
Дают убежище от зною пастухам
И нежат их на лоне сладкой лени?
Когда, когда опять увидишь ты меня
На берегу своем, ручей родимый?
Когда журчание твое услышу я
И на пологие взгляну долины?
И буду ли когда еще внимать весной,
Как вдоль тебя, работу начиная,
В лугах скликаются косцы между собой,
Знакомую им песню запевая?
Увижу ли опять, как лето озлатит
Твои поля, двукратно удобренны;
Как нивы жнец кривым серпом опустошит,
На полосе по целым дням согбенный?

По-прежнему бы там, веселый домовод,
Я в осень ждал с посеву урожая,
Иль, с заступом в руках, копал свой огород,
Малину в нем, смородину сажая;
А в зимни вечера я слушал бы ловцов,
Как днем, гоняяся на лыжах легких
С борзыми по снегам, в глуши лесов,
Они стада травили зайцев робких!
Настанет ли пора опять в свой низкий дом
Под кров соломенный мне возвратиться,
Сквозь тусклое стекло смотреть на лес кругом
И с прежними друзьями веселиться?
Я вас приветствую, о милые мои,
Протекших ранних лет друзья драгие!
Любите ввек свои приволжские краи,
Благословенные и нам родные!
Природа нежит вас, как мать своих детей:
Цветите, как в долинах ароматных
Цветут у вас цветы; живите средь полей
Наследственных и хижин благодатных!
За рубежом родным утех для сердца нет!
И обольстясь, как я, приманкой счастья,
Вы тщетно стали бы, перебегая свет,
Искать себе приюту от ненастья!
Пускай всегда челнок ваш в пристани стоит
И пенные под ним не ропщут волны!
Смотрите с берега, как зыбь в морях кипит,
Боязни чуждые и счастья полны!
Когда же мой челнок к родимым берегам,
Когда опять попутный ветр пригонит
И снова странник ваш на грудь своим друзьям
Усталую от дум главу преклонит?
Примите, милые, далекие друзья,
Сердечные мои воспоминанья!
По гроб душою к вам стремиться буду я
И ваши тайно все делить желанья.
А ты, сокрытое село в своих лесах!
Тебе певец, подъемля к небу руки,
Тебе, горячею мольбой, всех молит благ
И в дань шлет тихие сердечны звуки.
Пустыня милая, прелестная своим
Невозмущаемым уединеньем!

С какой я радостью б, по просекам глухим,
Влетел в тебя! С каким бы восхищеньем,
Заботы бросив все на берегах Невы,
Домашним образам я поклонился
И, запершись в тиши от шуму и молвы,
На ложе сладостном опять забылся!
С каким веселием опять бы я в тебе,
Навеки разорвав оковы света,
Свободою дышал и, вслед своей судьбе,
Пошел, закрыв глаза... как в прежни лета!

⟨*1820*⟩

196. К ДЕЛЬВИГУ

Дельвиг, где ты учился языку богов?
Жадно ловит мой слух твои песни,
К лире, полной восторга, склоняясь,
И сердце кипит.

Где твой гений приветной улыбкой тебя
Встретил в первом с тобою свиданьи?
Как манил за собой он любимца
На светлый Олимп?

Там тебя обрекли на служенье себе
Вечно юные девы камены;
Там священные тайны поэту
Открыли они.

Только небо высокие истины шлет,
Душу жаром святым наполняет,
Будит голос и движет устами
Пророков своих.

Тщетно чернь отрясает туман с своих глаз:
Вечно темной стезей она бродит,
Низкой доле судьбой обреченна;
Ей мир без красы.

Чуждо сердце восторгов высоких, святых,
Если небо ему не отверзлось
Иль с улыбкой ключа не вручило
К загадкам своим.

В низких мыслях погубит с бесславием век,
Целый век свой отверженный небом,
Не отделится здесь от земного,
Без жизни умрет.

⟨1820⟩

197. К РУКОПИСИ Б⟨АРАТЫНСКО⟩ГО СТИХОВ

Быть может, милый друг, разгневанные боги
Внезапно уведут меня с земной дороги,
И свеет легкий ветр следы моих шагов;
Быть может, ни один из юношеских снов
Не сбудется со мной; и в тайном отдаленье,
Как жертву, ждет меня холодное забвенье.
Пусть свиток сей хранит руки моей черты,
И сбудется со мной хоть часть моей мечты!
С благоговением потомок просвещенный
Рассматривать начнет твой свиток драгоценный
И (любопытствуя, по чуждому перу)
Прочтет мои стихи — и весь я не умру!

⟨1821⟩

198. УДЕЛ ПОЭЗИИ

Как месяц молодой на спящую природу
Лучи серебряные льет;
Как ранний соловей веселье и свободу
В дубраве сумрачной поет;
Как светлый ключ в степи, никем не посещенной,
Прохладною струею бьет —
Так вдохновенный жрец Поэзии священной
Свой голос громкий подает:

Он пламенную песнь над хладною землею
В восторге чистом заведет;
Промчится глас его, исполненный душою,
И невнимаемый умрет...

1821

199. К Н. И. ГНЕДИЧУ

Служитель муз и древнего Омера,
Судья и друг поэтов молодых!
К твоим словам в отважном сердце их
Есть тайная, особенная вера.
Она меня зовет к тебе, поэт!
Дай искренний совет:
Как жить тому, кто любит Аполлона?
Завиден мне счастливый жребий твой:
С какою ты спокойною душой
На высоте опасной Геликона!
Прекрасного поклонник сам и жрец,
Пред божеством своим в мольбе смиренной
Забыл ты свет и суд его пременный,
Ты пренебрег минутный в нем венец,
Отдав свой труд единому потомству.
А я, как раб, страстям моим служу
И только ощупью брожу:
Пленясь хвалой, я вероломству
Младенчески, как дружбе, отдаюсь
И милые делю с ним сердца тайны;
То, получив в труде успех случайный,
С отважностью за славою стремлюсь
И падаю, другой Икар, в пучину;
То, изменив бессмертия мечте,
Ищу любви в бездушной красоте
И в грации записываю Фрину.
Зачем скрывать? В поэзии моей
Останется лишь повесть заблуждений,
Постыдная уму игра страстей,
А не огонь небесных вдохновений.
Бессилен я владеть своей душой
И с музою согласно жить одной:

Мне нравится то гул трубы военной,
То нежный звук свирели пастухов,
То цитры глас уединенный,
Ласкающий стыдливую любовь,
И часто грозного Ахилла
(Когда в живых твоих стихах
За ним стремлюсь) в моих мечтах
Сменяет резвая Людмила.
Так поутру на пурпурный восток,
Где царь светил является прекрасный,
Дитя глядит с улыбкой ясной.
От золота лучей горит поток,
Окрестный лес и дальних гор вершины;
Пред ним чудесные картины,
Воскреснувшей природы вид;
Но он, невольник чувств, бежит
За мотыльком, над ближними цветами
Мелькающим блестящими крылами.

И музы мстят неверностию мне
За резвые мои в любви измены.
Как часто глас невидимой сирены
Я слышу в тишине!
Склоняю слух к пленительному звуку
И в радости накладываю руку,
Чтоб голос струн с ее мне пеньем слить, —
Коварная ... мгновенно умолкает;
Восторга звук на лире умирает,
И я готов бездушную разбить.
О, сладкое, святое вдохновенье,
Огонь души и сердца упоенье!
Я чувствовал, я помню этот жар,
Как муза мне с улыбкой мысль внушала, —
Передо мной теперь одни начала,
Погибнувший небесной девы дар.
Поверишь ли: я часто в грусти тайной
Завидую тому, кто, чуждый муз,
С беспечностью одной хранит союз,
Не зная ввек беседы их случайной.
Когда младой художник посетит
Развалины разрушенного града,
Он плачет там: он горестного взгляда

В страдании души не отвратит
От славных сих разбросанных обломков,
Где в каждой он возвышенной черте
Находит дань небесной красоте
Или урок, священный для потомков, —
Так я в унынии сижу
Над мыслию, счастливо мне внушенной
И в пламенном стихе изображенной;
Прикованный, я на нее гляжу,
Как на кусок разбитого кумира:
Отброшена безжизненная лира;
Не уловить исчезнувшей мечты,
И не видать мне полной красоты!

Доступный друг веселью и страданью!
Я всё принес к тебе на суд,
Всё, что сулил мне благотворный труд
И что вверял я упованью;
Я разделил все радости с тобой
И муки все в моей суровой доле:
Скажи, еще ль бороться мне с судьбой
Иль позабыть обманов сладких поле?
Быть может, я вступил средь детских лет
На поприще поэзии ошибкой, —
Как друг, скажи мне с тихою улыбкой:
«Сними венок, ты не поэт!»

⟨1822⟩

200. К МУЗЕ

Много дней мимотекущих
С любопытством я встречал;
Долго сердцем в днях грядущих
Небывалого я ждал.

Годы легкие кружили
Колесом их предо мной:
С быстротой они всходили
И скрывались чередой.

Что всходило — было прежде
И по-прежнему текло,
Не ласкалося к надежде
И за край знакомый шло.

И протекшее с грядущим
(Не делила их и тень!)
Видел я в мимотекущем
Как один туманный день.

Половины дней не стало;
Новый путь передо мной;
Солнце жизни просияло, —
Мир явился мне иной.

Красотой плененный света,
Оживаю будто вновь:
К вам, утраченные лета,
В сердце жалость и любовь!

Возвратил бы вас обратно;
Порознь обнял бы опять!
О, как сердцу бы приятно
Вам теперь себя отдать!

Кто ж, души моей хранитель,
Победивший тяжкий рок,
И веселья пробудитель,
В радость жизнь мою облек?

Муза! ты мой путь презренный
С гордостью не обошла
И судьбе моей забвенной
Руку верную дала.

Будь до гроба мой вожатый!
Оживи мои мечты
И на горькие утраты
Брось последние цветы!

⟨1822⟩

201. К ВЯЗЕМСКОМУ

Любезный Вяземский, затейливый остряк,
Упрямой глупости писцов жестокий враг,
Презревший робкое ласкателей потворство!
Давно твоих стихов аттическую соль
И музы пламенной благое ратоборство
Я искренно люблю. Но, признаюсь (позволь
Знакомцу новому сказать чистосердечно!),
Мне нравится не всё в тебе, наш Буало!
Поборник истины, ты с гневом гонишь зло, —
А всё порок один клеймишь бесчеловечно.
Скажи, поэт: за что вооружился ты
Против писателей дурных своей сатирой?
За что лишь им грозишь ты мстительною лирой
И разгоняешь их прелестные мечты?
Несчастные слепцы, отверженные Фебом,
Виновны ли они пред неприступным небом?
Пусть песни их ничей не услаждают слух, —
Но жизнию горит их деятельный дух.
Ужель в твоих глазах невинная утеха,
Как преступление, заслуживает месть?
Она сама себе бесчестие иль честь,
Награда славная или источник смеха.
Кто слабости изъят, когда он человек?
Пусть долг свой платит всяк природе целый век
Такою малостью; пускай всю жизнь не знает
Иных пороков он и, безобидный враль,
Проснувшись для стихов, над ними засыпает:
Я не виню его, хоть мне его и жаль.
Другое, Вяземский, обширнейшее поле
Для музы выбери! Она пройдет его
Со славой для ума и вкуса твоего;
Она доставит нам прямых уроков боле.
Взгляни на сонмище презрительных невежд,
Постыдной леностью бесчестно усыпленных!
Порода их зовет средь подвигов почтенных
Хранить свой давний блеск: от них ли ждать
надежд?
Другие подвиги услужливая скука
Выдумывает им: веселою гурьбой
Они против зверей летят на славный бой,

И зайцев побеждать знакома им наука.
По долгу своему защитники полей
И хижин поселян, они для насыщенья
Безумных прихотей беспечности своей
Разносят по полям следы опустошенья.
Напрасно земледел, согбенный над сохой,
Бродил вдоль полосы протекшею весной
И пóтом орошал наследственное поле,
Богатство милое в его несчастной доле;
В невинной радости напрасно слезы лил,
Любуясь издали волнующейся нивой:
Они промчалися — как лютый вихрь сгубил
Созревшие плоды руки трудолюбивой.
Всмотрися, Вяземский, в героев молодых,
Отважно рвущихся на поприще Беллоны!
Чего отечество потребует от них?
Одной ли дерзости и крепкой обороны?
Созрела ль их душа? Напитан ли их ум
Высоким знанием и мужества и чести?
Их сердце нежное, среди прекрасных дум,
Училось ли смягчать порывы низкой мести?
О, сколько подвигов бессмертных и святых
Готовит поприще блистательное их!
Но что ж увидишь ты в толпе сих Леонидов,
Защитников граждан, отечества опор?
Куда направлен их нетерпеливый взор?
Где радостный конец их горделивых видов?
Они свершили всё, им нечего желать,
Они достигнули своей далекой меты,
Когда блестящие надели эполеты.
Счастлив еще иной, когда успел сыскать
Иль друга нежного, иль тихие забавы!
Зачем притворствовать? Не часто ль видим мы
Героев будущих, воспитанников славы,
Внезапно гибнущих, как будто от чумы,
От поединков сих, постыдного убийства?
Где Ювеналов бич и мщение витийства?
Вооружися им! Злодейства не щади,
Когда уже оно с открытой головою!
Разбойника в позор казнят на площади, —
А как того назвать, кто хладною рукою
В преступном мщении возносит буйно меч,

Чтобы другого жизнь насильственно пресечь?
Зачем тебе молчать, наследник Ювенала?
Вступись в свои права и заклейми порок!
Пускай для черни он и силен и высок —
Тебе ль робеть его губительного жала?
Ужель не видишь ты, как гибельная лесть,
Забыв обет царю, унизив долг и честь,
Пронырствами идет на высшие ступени
И мыслит попирать незыблемый закон?..

Судья в расправе чужд и отдыха и лени,
И правду грозную таить не любит он;
Тот не поэт, кто ждет от муз одной забавы;
Для добродетели пиши, пиши для славы!
Пусть смелый голос твой злодеев устрашит —
И лаврами тебя отечество почтит.

‹1822›

202. К А. С. ПУШКИНУ

Я не сержусь на едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы;
И, может быть, взыскательный урок
Ослабшие мои возбудит крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лишних слов,
Утешнее хвалы простонародной:
Я узнаю судью моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холодной.

Притворство прочь: на поприще моем
Я не свершил достойное поэта.
Но мысль моя божественным огнем
В минуты дум не раз была согрета.
В набросанных с небрежностью стихах
Ты не ищи любимых мной созданий:
Они живут в несказанных мечтах;
Я их храню в толпе моих желаний.
Не вырвешь вдруг из сердца вон забот,
Снедающих бездейственные годы;

Не упредишь судьбы могущей ход,
И до поры не обоймешь свободы:
На мне лежит властительная цепь
Суровых нужд, желаний безнадежных;
Я прохожу уныло жизни степь
И радуюсь средь радостей ничтожных.
Так вырастет случайно дикий цвет
Под сумраком бессолнечной дубровы
И, теплотой отрадной не согрет,
Не распустясь, свой лист роняет новый.

Минет ли срок изнеможенья сил?
Минет ли срок забот моих унылых?
С каким бы я веселием вступил
На путь трудов, для сердца вечно милых!
Всю жизнь мою я им бы отдал в дар:
Я обнял бы мелькнувшие мне тени,
Их оживил, в них пролил бы свой жар
И кончил дни средь чистых наслаждений.

Но жизни цепь (ты хладно скажешь мне)
Презрительна для гордого поэта:
Он духом царь в забвенной стороне,
Он сердцем муж в младенческие лета.
Я б думал так; но пренеси меня
В тот край, где всё живет одушевленьем,
Где мыслию, исполненной огня,
Все делятся, как лучшим наслажденьем,
Где верный вкус торжественно взял власть
Над мнением невежества и лести,
Где перед ним молчит слепая страсть
И дар один идет дорогой чести!
Там рубище и хижина певца
Бесценнее вельможеского злата:
Там из оков для славного венца
Зовут во храм гонимого Торквата.
Но здесь, как здесь бороться с жизнью нам
И пламенно предаться страсти милой,
Где хлад в сердцах к пленительным мечтам
И дар убит невежеством и силой!
Ужасно зреть, когда сражен судьбой
Любимец муз и, вместо состраданья,

Коварный смех встречает пред собой,
Торжественный упрек и поруганья.

Еще бы я в душе бесчувствен был
К ничтожному невежества презренью,
Когда б вполне с друзьями муз делил
И жребий мой и жажду к песнопенью.
Но я вотще стремлюся к ним душой,
Напрасно жду сердечного участья:
Вдали от них поставлен я судьбой
И волею враждебного мне счастья.
Меж тем как вслед за днем проходит день,
Мой труд на них следов не налагает,
И медленно с ступени на ступень
В бессилии мой дар переступает.
Невольник дум, невольник гордых муз
И страстию объятый неразлучной,
Я б утомил взыскательный их вкус
Беседою доверчивости скучной.
К кому прийти от жизни отдохнуть,
Оправиться среди дороги зыбкой,
Без робости вокруг себя взглянуть
И передать с надежною улыбкой
Простую песнь, первоначальный звук
Младой души, согретой первым чувством,
И по струнам движенье робких рук,
Не правимых доверчивым искусством?
Кому сказать: «Искусства в общий круг,
Как братьев, нас навек соединили;
Друг с другом мы и труд свой, и досуг,
И жребий наш с любовию делили;
Их счастием я счастлив был равно;
В моей тоске я видел их унылых;
Мне в славе их участие дано;
Я буду жить бессмертием мне милых»?
Напрасно жду. С любовию моей
К поэзии, в душе с тоской глубокой,
Быть может, я под бурей грозных дней
Склонюсь к земле, как тополь одинокой.

*⟨Сентябрь — первая половина
октября 1822⟩*

203. СУДЬБА

Неизбежимый рок следит повсюду нас:
Ему обречены мы все, во всякой доле,
И он, нежданный, к нам идет в свой страшный час.

Сидит ли мощный царь беспечно на престоле,
Иль мчится по морю с заботою пловец,
Иль жадно славы ждет на ратном воин поле, —

Равно им близок всем погибельный конец —
И жертвы, избранной властительной судьбою,
Ни злато не спасет, ни храбрость, ни венец!

Напрасно, окружен ласкателей толпою,
Поверит счастию увенчанный Помпей
Иль Цезарь, взявший власть победною рукою:

Им преждевременной погибели своей
На миг не отвратить. Как страж, во тьме сокрытый,
Она внезапно их постигнет средь честей.

Блажен, чей полон дух незыблемой защиты
Противу гневного явления судьбы!
Блажен, кто чист душой! Он, счастьем позабытый,

Среди томительной с напастями борьбы,
Как прежде, правый путь, им избранный, свершает
И смерть приветствует без слез и без мольбы.

Так из семьи друзей в темницу поспешает
Божественный Сократ, с спокойствием в лице;
Так мученик святой за веру умирает,
Лобзая тяжкий крест, в страдальческом венце!

⟨1823⟩

204. УМЕРШАЯ КРАСАВИЦА

Я был свидетелем печального обряда:
Я видел красоту, увядшую в весне;
Подруги томные, предавшись в тишине
Заботе горестной последнего наряда,
Ей приготовили румяные цветы
И возложили их трепещущей рукою
На тихое чело отцветшей красоты,
И облекли ее лилейной пеленою.
И в очередь свою, с унынием очей,
Подруга каждая приближилася к ней:
Последний знак любви, последнее лобзанье
Ей отдали они при воплях и рыданье.

Но я смотрел на гроб без жалости и слез;
Я тайно чувствовал безвестную отраду:
О дева прелести, ты лучшую награду
За жизнь минутную прияла от небес!
Почия тихим сном без ропота и муки,
Еще не преступив предела лучших дней,
Не испытала ты болезненной разлуки
С неверною красой и радостью своей, —
И, неизменная в живом воспоминанье,
Ты будешь для души как сладкое мечтанье.

(1823)

205. РОДИНА

Есть любимый сердца край;
Память с ним не разлучится:
Бездны моря преплывай —
Он везде невольно снится.

Помнишь хижин скромных ряд,
С холма к берегу идущий,
Где стоит знакомый сад
И журчит ручей бегущий.

Видишь: гнется до зыбей
Распустившаяся ива
И цветет среди полей
Зеленеющая нива.

На лугах, в тени кустов,
Стадо вольное играет;
Мнится, ветер с тех лугов
Запах милый навевает.

Лиц приветливых черты,
Слуху сладостные речи
Узнаешь в забвеньи ты
Без привета и без встречи.

Возвращаешь давних дней
Неоплаканную радость,
И опять объемлешь с ней
Обольстительницу-младость.

Долго ль мне в мечте одной
Зреть тебя, страна родная,
И бесплодной жить тоской,
К небу руки простирая?

Хоть бы раз глаза возвесть
Дал мне рок на кров домашний
И с родными рядом сесть
За некупленные брашны!

⟨*1823*⟩

206. ПОСЛАНИЕ К Ж⟨УКОВСКОМУ⟩

Внушитель помыслов прекрасных и высоких,
О ты, чей дивный дар пленяет ум и вкус,
Наперсник сча́стливый не баснословных муз,
Но истины святой и тайн ее глубоких!
К тебе я наконец в сомненьи прихожу.
Давно я с грустию на жребий наш гляжу, —

Но сил недостает решительным ответом
Всю правду высказать перед неправым светом.

В младенческие дни, когда ни взор, ни слух
За тесный наш предел с заботой не стремятся,
Когда нам резвые забавы только снятся
И пламени страстей не знает кроткий дух,
Зачем уроками возвышенных деяний
С душой роднить толпу чарующих мечтаний?
Смотри на юношу, как жадно ловит он
Движенье, взгляд иль звук, где чувство промелькнуло!
Счастливец молодой, он видит милый сон:
Еще его надежд ничто не обмануло.
Душа напоена и тем, что свято есть,
Что за предел земной все мысли увлекает,
И тем, что изрекла в законах вечных честь,
И тем, что нежный вкус, что строгий ум питает;
Свобода, слава, долг на поприще зовут;
И выбран жизни путь: пришла пора желаний;
Там дружба и любовь в объятия нас ждут
С богатством пылких чувств, сих милых нам стяжаний.
Мечты прелестные, чистейший огнь души,
Не исходите вы из стен, где освящали
Утехи кроткие и кроткие печали!
Останьтеся навек в неведомой тиши!
На жизненном пиру, в веселых сонмах света,
Не ждите вы себе ни места, ни привета!
Бездушные рабы смешных уму забав
Не знают нужды в вас: они свой сан презрели
И, посмеянием всё лучшее поправ,
Идут своим путем без мыслей и без цели.

Какое чувство там удастся разделить,
Где встретится с тобой иль шут, или невежда,
Где жребий твой решит поклон или одежда
И где позволено лишь глупость говорить?
Отрадно ли душе, желаньем увлеченной
Возвышенной любви и милых сердцу уз,
Любовию сгорать к красавице надменной,
Для коей твой наряд есть разум твой и вкус?
Я с горем оценил сей пышный цвет природы,
Сих похитительниц веселья, сна, свободы,

Их сладость голоса, искусство ног и рук;
Наружностью одной глаза они пленяют:
Так вазы чистые пред зеркалом сияют, —
Но загляни, что в них: огарок иль паук.

Один несчастный был: он, гладом изнуренный,
В ужасной нищете добыча мрачных дум,
Не призренный никем и дружбою забвенный,
Судьбы не победил и свой утратил ум.
Но в памяти его осталося желанье
От глада лютого себя предохранять:
Он камни счел за хлеб и стал их сберегать;
И с благодарностью он брал их в подаянье,
Когда без умысла игривою толпой
С сим даром вкруг него детей сбирался рой.
И что же наконец? Он, бременем томимый,
Упал, и подавлен был ношею любимой.
Вот страшный жребий наш! Ослеплены мечтой,
Мы с наслаждением спешим в свой век младой
Обогатить себя высоким и прекрасным;
Но может быть, как он, с сокровищем опасным,
Погибель только мы найдем в пути своем
И преждевременно для счастья с ним умрем:
Оно к земным бедам свои беды прибавит,
Рассудок омрачит и сердце в нас раздавит.

⟨1824⟩

207. А. Н. С⟨ЕМЕНО⟩ВОЙ

Покой души, забавы, ожиданья,
Счастливые привычки юных лет,
Все радости, чем нам прекрасен свет
При шепоте игривого мечтанья,
От нас судьба берет без состраданья,
И время их свевает легкий след,
Как хладный ветр уносит поздний цвет,
Когда пора настанет увяданья.

Одно душа заботливо хранит,
Как тайный дар любви первоначальной:

От ранних лет до старости печальной
Друг первый с ней. Его улыбка, вид,
Движенья, взор — всё с нею говорит,
Всё к ней летит, как звук музыки дальной.

(1824)

208. ИЗМЕНА

Улетает, улетает
Легкокрылая мечта;
Изменяет, изменяет
И весна и красота.

Что спешите? Поиграйте!
Оживите сердце вновь!
Улыбнитесь и отдайте
Первых лет моих любовь!

Всё напрасно: ни желанья,
Ни надежды не сбылись!
Не услышали призванья:
Полетели, унеслись.

Так осеннею порою
С увядающих полей
Поднимается грядою
Стадо вольных журавлей.

(1824)

209. К ВЕСЕЛОЙ КРАСАВИЦЕ

Когда с беспечностью игривой
Ты веселишь своих подруг,
Поешь, кружишься, или вдруг
В своей невинности счастливой
С улыбкой взглянешь на меня
И с тайным чувством встречу я,

Как две звезды средь ясной ночи,
Твои сияющие очи, —
Не наслажденье, не любовь
Тогда в лице моем волнует
Внезапно вспыхнувшую кровь:
Мое предчувствие рисует
Близь каждой радости печаль;
Душа моя полна участья,
Меня тревожит жизни даль;
Я твоего боюся счастья:
Чем лучше утро настает,
Тем реже солнце днем сияет,
И цвет скорее отцветает,
Чем он прекраснее цветет.

⟨1825⟩

210. ВОСПОМИНАНИЕ

Как ветер полевой опавшими листами
Играет на лугах по прихоти своей,
Так водит нас судьба вдоль жизненных путей.
В невольном странствии не ведаем мы сами —
Куда лежит наш путь и что вдали нас ждет!

Минутные друзья под кровом безмятежным,
Мы всё нашли, что жизнь прекрасного дает,
И круг разрознен наш, где счастьем ненадежным
На миг повеселить судьба хотела нас!
В дорогу новую и с новым ожиданьем
Какой от прошлого нам взять с собой запас?
Пускай, беседуя с немым воспоминаньем,
Мы тайно сохраним хоть призрак прошлых дней,
И наши радости, чуть слышимо провея,
Мелькнут нам в воздухе опять толпой своей —
Так путник часто пьет на бархате полей
Воздушный аромат, где отцвела лилея.

1825?

211. СТАНСЫ К Д⟨ЕЛЬВИГУ⟩

Дельвиг! как бы с нашей ленью
Хорошо в деревне жить;
Под наследственною сенью
Липец прадедовский пить;

Беззаботно в полдень знойный
Отдыхать в саду густом;
Выйти под вечер спокойный
Перед сладким долгим сном;

Ждать поутру на постеле,
Не зайдет ли муза к нам;
Позабыть все дни в неделе
Называть по именам;

И с любовью не ревнивой,
Без чинов и без хлопот,
Как в Сатурнов век счастливый,
Провожать за годом год!

⟨1826⟩

212. НОЧЬ

Задумчивая ночь, сменив мятежный день,
На всё набросила таинственную тень.
Как опустелая, забвенная громада,
Весь город предо мной. С высот над ним лампада,
Без блеска, без лучей, унылая висит
И только для небес недремлющих горит.
Их беспредельные, лазурные равнины
Во тме освещены. Люблю твои картины,
Мерцанье звезд твоих, поэзии страна,
Когда в полночный час меж них стоит луна!
С какою жаждою, насытив ими очи,
Впиваю в душу я покой священной ночи!
Весь мир души моей, создание мечты,

Исполнен в этот миг небесной красоты:
Туда в забвении несусь, покинув землю,
И здесь я не живу, не вижу и не внемлю.

⟨1827⟩

213. МОРЕ

Воспоминание, один друг верный мне,
Разнообразит дни в печальной стороне.
Бесцветной пеленой покрылись неба своды
И мертвы красоты́ окованной природы,
А взор мой в этот миг, пленяясь и горя,
Объемлет с жадностью привольные моря,
А слух мой ловит гул и плеск волны мятежной —
Музы́ку вечную обители прибрежной.

⟨1827⟩

214. РЫБОЛОВ

Прибрежный рыболов на родине моей,
Оставя влажный груз развернутых сетей,
По склону волжских струй, бездеятелен, весел,
Плывет на челноке без паруса и весел.
Усталый от трудов, качаясь над водой,
Протяжной песнью он забавит отдых свой.
Далеких замыслов и суетности чуждый,
Не знает он похвал, не чувствует в них нужды.
Любуясь на небо, на волны, на скалы,
На позднюю зарю и дым вечерней мглы,
В пустынных берегах невнемлемый, незримый,
Выводит для себя напев страны родимой.

В привычный лени час, между трудов и сна,
К созвучию стихов душа моя жадна.
Они за мыслию то важной, то игривой
Переливаются то медленно, то живо.
Согласный лепет их пленяет строгий ум
И освежает в нем забытых много дум.

Но в праздности ночей, питая вдохновенье,
Храню его дары в моем уединенье,
Без разделения и хладного суда
Забавой пользуюсь любимого труда,
Как улетающим, но сладостным мечтаньем,
Как сном несбыточным, но сходным с ожиданьем.

⟨*1827*⟩

215. БЕЗВЕСТНОСТЬ

За днем сбывая день в неведомом углу,
Люблю моей судьбы хранительную мглу.
Заброшенная жизнь, по воле провиденья,
Оплотом стала мне от бурного волненья.
Не праздно погубя беспечность и досуг,
Я вымерял уму законный действий круг:
Он тесен и закрыт; но в нем без искушенья
Кладу любимые мои напечатленья.
Лампада темная в безмолвии ночей
Так изливает свет чуть видимых лучей,
Но в недре тишины спокойно догорает
И темный свой предел до утра освещает.

⟨*1827*⟩

Н. М. КОНШИН

Николай Михайлович Коншин (1793—1859) — потомок обедневшего дворянского рода. Учился в гимназии (по-видимому, в Воронеже), затем был отправлен в Петербург для определения в корпус. Из-за отсутствия необходимых документов мальчик, после долгих мытарств, попадает лишь в роту для разночинцев; в 1811 году он получает чин подпрапорщика и выпускается в армию (в полевую артиллерию), несмотря на блестяще выдержанный экзамен, дававший ему право на службу в гвардии. В 1814 году он участвует в походе к Варшаве и к Кракову; в Шклове он знакомится с учителем французского языка А. Старынкевичем, по-видимому стимулировавшим его интерес к литературе. Коншин следит за современной поэзией, усиленно читает Жуковского; в остальном ведет обычную жизнь армейского офицера, деля свое время между товарищескими кутежами, походами и любовными увлечениями. В 1819 году он вступает в Нейшлотский полк в Финляндии, где служит в чине штабс-капитана (с 1821 года — капитана). Здесь зимой 1820 года начинается его знакомство и затем дружба с Е. А. Баратынским, переведенным сюда унтер-офицером; здесь он находит интеллектуальную среду, «уголок европейской образованности и поэзии», с налетом и политического вольномыслия. [1]

Первый известный нам поэтический опыт Коншина — его послание к Баратынскому (1820). В последующие годы жанр дружеского послания, отмеченный сильным влиянием Баратынского, утверждается в поэзии Коншина; от Баратынского же идет и «финляндская тема», с характерной ориентацией на скандинавскую мифологию;

---

[1] См.: А. А. Амбус, Е. А. Баратынский в Финляндии. Историко-биографический комментарий. — «Русская филология. I. Сб. студенческих научных работ», Тарту, 1963, с. 112.

тема эта сохраняется в стихах Коншина до конца 1820-х годов. Через Баратынского Коншин устанавливает связь с Вольным обществом любителей российской словесности, куда он и был принят в 1821 году; в 1821—1822 годах, будучи в Петербурге, он сближается (также через посредство Баратынского) и с кругом Дельвига; с последним он общается во время своих последующих наездов в Петербург и при посещении в 1822 году Дельвигом, В. Эртелем и Н. И. Павлищевым Роченсальма. Петербургскому кружку посвящен ряд стихотворений Коншина («К нашим», 1821; «Поход», 1822; «Ропот», 1822, и др.). Элегическая и анакреонтическая лирика Коншина 1820-х годов несамостоятельна и создает ему репутацию поэтического «спутника» — подражателя Баратынского. Для Коншина характерна ироническая «прозаизация», сочетание поэтизмов со сферой разговорно-бытового просторечия («Отрывки из послания к доктору о привычке к чаю», 1820; «Поход», 1822, и др.). В середине 1820-х годов Коншин активно печатается в журналах и альманахах («Полярная звезда», «Мнемозина», «Невский альманах», «Новости литературы» и др.).

В 1823 году Коншин вместе с Баратынским сочиняет сатирические куплеты, задевающие власть и общество; в результате возникшего конфликта он выходит в отставку (1824) и уезжает из Финляндии; в 1824—1827 годах он служит в качестве чиновника в Петербурге, Костроме и Твери. В его стихах появляются и новые тенденции — к аллегоризму, даже мистического толка («Владетель волшебного хрусталька», 1825; «Баул», 1826; «Дверь», 1826). В 1829—1837 годах Коншин — правитель канцелярии главноуправляющего Царским Селом и дворцовым правлением; в 1830 году вместе с Е. Ф. Розеном он издает альманах «Царское Село», объединивший произведения литераторов дельвиговского круга; к 1831 году относится и наиболее интенсивное общение его с Пушкиным.[1] В 1830-е годы Коншин начинает выступать в печати и как прозаик («Две повести», 1833; роман «Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 г.», 1834, и др.); повести Коншина были приняты критикой сдержанно, а роман вызвал уничтожающую рецензию Белинского.

С 1837 года Коншин служит директором училищ в Твери; с 1850 года — директором Демидовского лицея в Ярославле. В 1840—1850-х годах он усиленно занимается историей (прежде всего русской медиевистикой), общается с Погодиным, Шевыревым, Плетневым, Языковым; пишет мемуарные заметки о Дельвиге, Жуковском,

---

[1] Пушкин, Письма последних лет (1834—1837), Л., 1969, с. 416.

Баратынском [1] — в известной степени движимый желанием противопоставить «золотой век» русской поэзии современной литературе (как Белинскому, так и Сенковскому), которую он решительно отвергает. В его стихах конца 1830 — 1840-х годов усиливается медитативно-философское начало; традиционные элегические мотивы приобретают у него теперь черты обостренного социального и личного пессимизма. Печатается он в «Маяке» (1840—1841), «Москвитянине» и «Современнике». Умер Коншин в Омске 31 октября 1859 года. [2]

216. БОРАТЫНСКОМУ

Куда девался мой поэт?
Где ты, любимец граций томный?
Умолк, умолк, и вести нет!
А я букет цветочков скромный
Наместо лавровых венков
Творцу элегий посвящаю
И вместе с ними приплетаю
Своих десятка два стихов.

Мой друг, благодари богов
За дар Поэзии прекрасный;
Но дар сей будет — дар напрасный
В шуму невежд и болтунов.
Уже тобой забыта лира;
Паук заткал ее струны;
Цевница и свисток сатира
Лежат в пыли, погребены
У ног бездушного кумира;
Забыты боги и Темира
И сладкие о счастьи сны!

А я, в глуши уединенья,
Дыша свободою моей,
Младой красавице полей
Даю уроки наслажденья.

---

[1] «Русская старина», 1897, № 2, с. 273; «Краеведческие записки Ульяновского краеведческого музея», вып. 2, Ульяновск, 1958.

[2] Биографию Коншина см.: А. И. Кирпичников, Очерки по истории новой русской литературы, изд. 2, т. 2, М., 1903, с. 90.

Пою и Вакха, и вино;
Пишу стихи, читаю, плачу.
Поэт! на время всё дано —
Так время ль тратить наудачу?

1 августа 1820
К. Валькиала

217. Е. А. БАРАТЫНСКОМУ

Поэт, твой дружественный глас
Достиг до узничьей темницы —
И в сердце жизнь отозвалась
На звук знакомыя цевницы.

Давно уж, скуки снедь немой,
Оно без чувства хладно билось;
Но снова чувство оживилось
О счастьи тихою тоской!

Куда девались, друг-поэт,
Сии порывы к наслажденью,
Сей мир волшебный юных лет
И вера сердцем сновиденью!

В объятьях ветреных Лаис
Любить способность онемела;
Страсть к славе, к жизни охладела,
Желанья роем унеслись!

К нам путь завеяла метель
Свободе, резвому веселью,
И жизни жесткая кудель
Полубольной прядется Ленью.

Один лишь Силы звучный глас
Смущает мрачное безмолвье,
И краснощекое Здоровье
Вспорхнуло с Радостью от нас!

1820

218. БОРАТЫНСКОМУ

Забудем, друг мой, шумный стан
И хлопотливые разводы,
Для нас блаженный отдых дан
На лоне матери-природы.
По свежей зелени полян
Пойдем учить любви прекрасных,
И скроемся от дней ненастных
Под мирной кровлей поселян.

Но что-то всё не веселит;
Ах, что-то всё не то, что было!
Уже восторг в груди молчит
И сердце ко всему остыло;
Как будто радость отнята,
Как будто нет уж наслажденья!
Исчезла жизнь воображенья,
Способность чувствовать не та!

Итак, уносит всё с собой
Пора прелестная мечтаний!
В восторге юности златой,
В толпе ребяческой желаний
Давно ль я весело скакал
Над жизни светлою струею
И с доверяющей душою
Младую радость обнимал!

1820

219. К НАШИМ

Друзья, сегодни невзначай
    Пришла мне мысль благая
Вас звать в *Семеновский*, на чай.
    Иди, семья лихая!
В туфлях, халатах, в семь часов
    Ко мне съезжайтесь прямо,

И каждый, братья, без чинов
Тащись с любимой дамой.

Приди, *Евгений*, мой поэт,
Как брат, любимый нами,
Ты опорожнил *чашу бед,*
Поссорясь с небесами;
Запей ее в моем углу,
За чашею веселья —
Светлее будущего мглу
Увидишь от похмелья.
Не знает Бахус черных дней,
Ему как лужа море.
Приди, и с музою твоей,
Плаксивою, как горе;
Пусть сердцу братьев говорит
Волшебными устами —
Младая грудь ее горит
Свободой и богами.

И Дельвиг, председатель муз,
И вождь, и муж совета,
Покинь всегдашней лени груз,
Бреди на зов поэта.
Закинь на полку фут и вес
Философов спесивых,
Умножь собой толпу повес,
Всегда многоречивых.
Ты любишь искренно друзей,
Ты верен богу Пинда,
Ты чинно род семьи своей
Ведешь от Витикинда, —
С младою музою твоей,
Опередившей годы,
Гряди в веселый круг друзей
На празднество свободы.

И *Чернышов*, приятель, хват,
Поклонник Эпикуру,
Ты наш единоверный брат
По Вакху и Амуру,

И нашим музам не чужой —
Ты любишь песнопенья:
Нередко делим мы с тобой
Минуты вдохновенья.
И бог любви, и сатана
Равно нас, грешных, мучит,
И бес румяный, бог вина,
Науке жизни учит.
Приди на прямодушный зов
Армейского солдата;
Мой беззаботный философ,
Люблю тебя как брата!
Ты в скуке не провел и дня,
Ты денег не хоронишь,
Мундир гвардейский, четверня,
Но ты не фанфаронишь;
Ты любишь бранный шум и треск
И любишь наслажденье,
И знаешь, что мишурный блеск —
Плохое украшенье.
В чертогах, в городском шуму
И в подземельной хате
Уважен умный по уму
И мил в своем халате!

Болтин-гусар, тебе челом,
Мудрец златого века!
Ты наслаждаешься житьем
Как правом человека;
Ты храбр, как витязь старины,
И прям, как наши деды,
Ты любишь страсть родной страны —
Роскошные обеды,
Ты пьешь с друзьями в добрый час,
Без бабьего жеманства, —
Святая трезвость во сто раз
Безумнее и пьянства!
Дай руку, брат, иди ко мне,
Затянем круговою!
Прямые радости одне
За чашей пуншевою...

Напьюсь — и светел божий день,
И люди будто люди,
И Пашу целовать не лень —
Прижмусь к упругой груди;
Трезв — и люди мне, гусар,
Негодные созданья,
И холоден смышленый жар
Наемного лобзанья.

Соберемся ж, братья, заодно,
Иди, семья лихая!
Вас ждет и чай мой, и вино,
И муза молодая;
И вечер посвятим богам,
Подателям блаженства.
Друзья, цензуры нет пирам
Для дружбы и равенства!

1821

220. ТРИ ВРЕМЕНИ

Певец, вдохновенный от юности Фебом,
Младой, своенравный любимец богов,
На лире согласной я славил любовь,
И песни дышали любовью и небом.
Исчезли виденья восторженных лет,
И опыт поэту внушил благородный,
Что гимнов не стоит сей идол холодный,
Сей пол легковерный Лаис и Лилет.

На поле широком убийства и славы
На брань за свободу я гордо ходил;[1]
Я ужасы боя душой полюбил,
И ночь без ночлега, и ратников нравы.

---

[1] Война 1812.

Но дерзкая младость, как птица, вольна,
Ее не прикормишь кровавой пирушкой:
Не долго игрушка слывет не игрушкой,
И сердце не долго волнует война.

Но с Вакхом румяным обрел я былое:
Он прежнюю радость певцу возвратил.
Златой виноградник я сам рассадил.
Любимцу Зевеса, Эвану — Эвоэ!
И холодом смерти в нем время не дует,
И сердце не видит обманчивых снов,
Лишь шумно порою в нем Дружба пирует
Иль скромная шепчет приветы Любовь.

1821

221. ПРОШЕДШЕЕ

За рубежом владычества мечты
Я не скажу: исчезло сновиденье, —
Еще горишь в унылом сердце ты,
Прошедшего прекрасное явленье!
Нет, то не сон — усталых чувств игра,
Не устает души младая сила...
Пришла зима, но зиму предварила
Цветов пора.

Я хладен стал, я радость разлюбил,
И жизнь моя похожа на искусство;
Утратил я душевных признак сил —
Любови всеобъемлющее чувство;
И с миром связь беспечно разреша,
Живу один, спокойней и небрежней...
Но к прежнему горит любовью прежней
Еще душа.

1821, 1822

222. МЕЧТА

С померкшим ликом
В волненьи диком
Брожу один
В тени долин,
И исполин,
Мечта, шагает
И пробегает
Былые дни...
Прошли они!
Вспорхнула младость
Из сердца прочь;
Исчезла радость,
Здоровья дочь;
Тоска, как ночь,
Сменила ясный,
Младой, прекрасный
Весенний день;
И для обмана
Во мгле тумана
Коварна тень
Сокрыла бездны;
И, безнадежный,
Брожу давно:
В душе одно
Воспоминанье,
Но и оно
Мне на страданье
Уже давно!

И мысль бежала
В быль старых дней,
И смерть лежала
В груди моей;
Но ночь спустилась,
И освежилась
Земля росой;
И — глас надежды
Еще раз вежды
Росит слезой!

1821

223. ПОХОД

Звучит призывный барабан,
Окончилось служенье Фебу;
Певец взглянул прискорбно к небу
И спрятал лиру в чемодан.

Сбылось пророчество молвы,
Сбылись предчувствия угрозы...
Но он глядит еще сквозь слезы
На берег родственной Невы.

Еще он видит милый дом,
В туманы утра облеченный.
Там круг друзей его бесценный,
Там всё любимое певцом...

Глядит, как мертвый истукан;
Потухший взор угрюм и страшен...
Выходит солнце из-за башен;
Звучит призывный барабан!

⟨1822⟩

224. ЖАЛОБА

Где вы, радости
Светлой младости,
Где вы!
Песни ясные
И прекрасные
Девы!
Думал вечны я
Те сердечные
Узы;
Думал верны я
Легковерные
Музы!

1822

225. КОМУ-НИБУДЬ

(Посвящено сестре)

Тоска любви волнует грудь,
И мрачен сердца сон печальный,
И снится образ идеальный,
Твой милый образ, *Кто-нибудь!*

И этот сон не даст уснуть,
Сон этот враг успокоенью,
И следует повсюду тенью
Душою жданный *Кто-нибудь!*

Но краток жизни быстрый путь;
Проходят дни, пройдут напасти;
Сожгут погибельные страсти
И молодость, и кровь, и грудь.

Тогда приютно отдохнуть
На смертном холоде придется,
И — радость! — сердце не забьется
Тоской, тобою, *Кто-нибудь!*

1822

226. РОПОТ

Тоска ученья и дожди,
Тоска заботы и досуга,
И Роченсальм, и боль в груди —
Ненастной осени услуга —
Всё, всё свести меня с ума
Берет отчаянные меры;
Уж бродят в голове химеры,
И в бедном сердце кутерьма!

Всё удалил я от себя;
Всего страшусь, всё ненавижу.
Одних лишь вас, мои друзья,
Одних лишь вас и сплю, и вижу.

Что в силах здесь меня развлечь?
Душа давно всё разлюбила...
Не может никакая сила
Вас из груди моей извлечь.

Спеши, Зима, желанный друг!
Неси мне радости свиданья!
Отдай назад моих подруг,
Мои надежды и желанья!
Красы усердный богомол
Тотчас летит за подорожной,
Тотчас на плечи плащ дорожный,
Крестится, в сани и — пошел!

⟨1822⟩

227. ФИНЛЯНДИЯ

Вы, юный друг мой, не забыли
Поэта прежнюю любовь;
Вы языком счастливой были
Ему откликнулися вновь!
Он забывал уж образ милый
Подруги лет его весны —
Он погасил в груди унылой
Воспоминанья старины;
В пустынях полуночной дали
Он топчет допотопный прах;
Безбожно боги обсчитали
Его в здоровьи и в летах;
С людьми не знает он союза:
Оставил лиру и перо,
Его заботливая муза
Стирает пыль с его бюро.
Здесь солнце тусклое не греет,
И дни и ночи тяжелы;
Здесь чуть лишь ель зазеленеет,
Прильнув над трещиной скалы;
Здесь нет поры условной года,
Здесь только стужа иль тепло,
И грозно дикая природа,

Подъяв гранитное чело,
Глядит на жизнь, на наше племя
С тех пор, как время создано;
Глядит бесчувственно на время,
Не изменяясь, как оно;
О темя бури рассекая,
С земли бегущие к морям,
Ее развалина немая
Уныло воет по ночам!
Здесь всё питает, всё лелеет
Покой задумчивой души:
Невольно сердце каменеет
В безлюдьи каменной глуши.
Я не ропщу и не страдаю,
Забыл грустить, забыл любить;
Привык к убийственному краю,
Где думал дня не пережить;
Громад *нетленных* убегая
За дверью хижины моей,
Я философствую, зевая,
О милой *бренности вещей!*

1823

228. БОРАТЫНСКОМУ

Напрасно я, друг милый мой,
Желал найти науку счастья;
Напрасно, всех любя душой,
Просил любови и участья...
Участья... Кто его найдет?
О, люди холодны, как лед...
Мои труды вотще пропали,
Но чувства опытнее стали —
Мне люди в наготе предстали —
Я пожалел моих хлопот.

В наш век счастливый, век прекрасный
Приветлив ласковый народ;
Всё дышит тишиной согласной,
Друг другу братски руку жмет;

Пристойно скромны изуверы,
Пристойно воры ждут ночей,
Не давят жертв во имя веры,
И нет державных палачей...
Чего ж желать мне оставалось?
К чему я стал себе злодей?
К чему рассматривать людей?
Пусть было б всё как всё казалось.

Так, друг, теперь я вижу сам,
Уже нет нужды мне в совете —
Науки счастья нет на свете,
И дать не могут счастья нам.
Счастлив, кто в уголку уютном
Для жизни нужным не убог
И в исступлении минутном
С любовью позабыться мог;
Кто свету ввек не доверялся,
Один пирует жизни пир,
Кому так свет не представлялся,
Как в микроскоп фламандский сыр!

1 августа ⟨1823⟩
На Котке

229. АРИЯ

(На голос: Nargeons la tristesse) [1]

Век юный, прелестный,
Друзья, улетит;
Нам всё в поднебесной
Изменой грозит;
Летит стрелой
Наш век младой;
Как сладкий сон,
Минует он.
Лови, лови
Часы любви,
Пока любовь горит в крови!

---

[1] Отбросим печаль (франц.). — *Ред.*

Затмится тоскою
Наш младости пир;
Обманет мечтою
Украшенный мир;
Беднеет свет;
Что день, то нет
Мечты златой,
Мечты живой!
Лови, лови
Часы любви,
Пока любовь горит в крови!

Как май ароматный —
Веселье весны;
Как гость благодатный
Родной стороны, —
Так юность дней,
Вся радость в ней...
Друзья, скорей
Всё в жертву ей!
Лови, лови
Часы любви —
Пока любовь горит в крови!

⟨*1825*⟩

230. ЗАПАД

Егда даси преподобному твоему видети нетление.

Царь Давыд

Есть на *Западе* темном стеною скала,
Скалу тайная дверь сторожит;
Дверь та всела, вросла, дверь та корни дала,
Залилась в вековечный гранит.
Под скалу не скребись — не подрыться под низ:
Безответен там заступа гул;
На скалу не скребись — неба в дальную высь
Неприступный хребет потонул.

Что ж скала залегла — что задвинул гранит —
Что же тайная дверь сторожит?..
Но на *Западе* темном скала та лежит
И за тайною дверью молчит!

⟨*1826*⟩

231. ЖАЛОБЫ НА П⟨ЕТЕР⟩БУРГ

В дымном городе душно,
Тесно слуху и взору,
В нем убили мы скучно
Жизни лучшую пору.
В небе — пыль либо тучи,
Либо жар, либо громы;
Тесно сжатые в кучи,
Кверху кинулись домы;
Есть там *смех*, да не *радость*,
Всё блестит, но бездушно...
Слушай, бледная младость,
В дымном городе душно!

1828

232. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА К ВАМ

Я взглянул в ваш край счастливый,
Вашим кланялся богам,
Но узнал, что бес ревнивый
Стережет дорогу к вам:
Всё беды без промежутка,
Рвы и реки на пути,
И от Медного не шутка
До Бернова довезти!
На извилистых дорожках
Ни приметы, ни версты;
То грозят на курьих ножках
Допотопные мосты,
То пугает бес лукавый
Быть под горку на боку,

То по горло переправой
Вас потешить чрез реку;
Мнишь: аминь дороге тряской,
Цель сердечная близка, —
Глядь — опять перед коляской
Змеем кинулась река,
За деревней, с гору ростом,
Лег горбатый домовой,
Вдоль дороги черным мостом
Перегнулся над рекой;
Страх! опять по шею в воду
Прямо кинешь лошадей,
Бьешься час, не зная броду,
В гору выедешь, и с ней
Наконец блеснет желанный,
Мирным стражем ваших мест,
Колокольни деревянной
На вечернем небе крест;
Бес-проказник исчезает,
Ободрился паладин,
И над рощею всплывает
Милый сердцу мезонин.

1838

233. ВОСПОМИНАНИЕ

Друг того, чей взор тоскующий
Не вздремнет на ложе сна,
Звездной тверди гость кочующий,
Солнце полночи, луна,
Я люблю твой лик божественный,
Но не греет он в ночи,
И не властны тьмы торжественной
Разогнать твои лучи...
Да, но есть еще сияние,
Есть луна небес других:
Там горит воспоминание
Благ утраченных моих.
При звезде его негреющей
Их душа распознает,

Но ни искры пламенеющей
С них на сердце не падет!

12 декабря 1838

234. ВОРОН

Здорово, друг ворон, бездомный, бессонный,
Разумная птица моя!
Сосед мой, мой ворон, мой гость благосклонный,
Прилет твой приветствую я.
Зачем ты так близко к жилищу живого
И зорко так в очи глядишь?
Иль вещую тайну из мира другого
Ты молча на сердце таишь?
Всё знаю, друг ворон, вещун запоздалый:
Ты поздно подсел под окно, —
Всё знаю, мой ворон, мне сердце сказало,
И сердце сказало давно!

1839
Тверь

235. ПУТЕШЕСТВЕННИК

Уж много лет как я, друг милый,
Оставя отчий дом,
Побрел, влекомый тайной силой,
Неведомым следом.

След всё вился в дичи опасной,
Всё глубже впадал в лес
И вдруг над пропастью ужасной
Заглохнул и исчез.

И вдруг призванья глас желанный
Умолк в моей груди...
Стою, седеет бор туманный —
И бездна впереди.

1830-е годы

236. ПРИСТАВ ДОМА СУМАСШЕДШИХ К ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЕ

Красавица, зачем нас посетила?
Что в этот гроб тебя могло привесть?
Придет пора, засыплется могила —
Тогда приди, на свежем дерне сесть...
Знакомы вы? .. Гляди смелее в очи:
В них нет любви, но и укора нет;
Ему слились, как привиденья ночи,
Все образы, без красок и примет.
Не бойся же, не вскрикнет, не узнает:
Всмотрись в его бездонные глаза, —
В них не земной теперь огонь пылает,
В них не блеснет знакомая слеза.
На пламени и козней и коварства
В нем мир земной, перепылав, погас;
Зато, царем заоблачного царства,
Как гордо он теперь глядит на нас!

10 апреля 1840

В. Н. ГРИГОРЬЕВ

Василий Никифорович Григорьев родился 25 января 1803 года в семье бедствующего петербургского чиновника. Одиннадцати лет был отдан в Петербургскую губернскую (будущую 2-ю) гимназию, которую окончил в декабре 1820 года. Из гимназии, отличавшейся рутинерством и бездарностью преподавателей, Григорьев вынес лишь чрезвычайно скудные сведения; однако он с благодарностью вспоминал впоследствии профессора русской словесности Н. Бутырского, который ободрил и поддержал первые поэтические опыты Григорьева — перевод из Оссиана «Гимн солнцу» и переложения псалмов. С начала 1820-х годов Григорьев начинает помещать в «Благонамеренном» свои стихи, преимущественно переводы из Салиса, Ламартина, Маттисона, Клопштока и др. Общение с Бутырским и товарищами по гимназии (в частности, П. Ободовским) вводит его в круг литераторов; одновременно Григорьев усиленно пополняет недостатки своего образования чтением и изучением языков. В 1821 году он поступает на службу в Экспедицию о государственных доходах, однако, несмотря на трудолюбие и исполнительность молодого чиновника, служебная карьера поначалу ему явно не удается. В декабре 1823 года уже получивший некоторую известность своими стихотворениями Григорьев избирается по представлению Рылеева членом Вольного общества любителей российской словесности.

Литературно-общественная позиция Григорьева в это время складывается под непосредственным влиянием декабристского крыла Общества; в его творчестве этих лет преобладающая роль принадлежит гражданским мотивам. По-видимому под воздействием Рылеева и Ф. Глинки, он возвращается к псалмодической лирике, используя библейскую образность для создания ораторских инвектив, насыщенных гражданским содержанием в духе аллюзионной декабристской поэзии («Падение Вавилона», 1822; «Чувства плененного певца», 1824; «Жа-

лобы израильтян», 1824); характерно и обращение его к теме новгородской вольности («Берега Волхова», 1823) и наиболее героическим эпизодам русской истории («Нашествие Мамая», 1825); в том же русле декабристской литературной традиции идет и его известное стихотворение «Гречанка» (1825), наряду с «Грецией» Туманского один из наиболее значительных в литературе 1820-х годов откликов на греческое восстание. Весной 1825 года Григорьев впервые посещает Кавказ; «кавказская тема» с этого времени становится одной из важных в его творчестве.

Ни восстание 14 декабря, ни следствие по делу декабристов не коснулись Григорьева; однако еще в 1828 году в «Северных цветах» он печатает «Сетование» — одно из лучших своих стихотворений, проникнутое ощущением гражданской скорби и, несомненно, связанное с недавними событиями. Григорьев сохраняет и расширяет литературные связи: с Гречем и Булгариным (в «Сыне отечества» и «Северном архиве» он печатается еще в 1830-е годы), с Измайловым; в кружке Дельвига он знакомится с Пушкиным; у Булгарина (в 1826 году) — с Грибоедовым. В апреле 1828 года Григорьев отправляется в длительную служебную командировку на Кавказ; здесь он встречается со ссыльными А. Бестужевым и В. С. Толстым и присутствует на обеде по случаю свадьбы Грибоедова; в 1829 году он же первым встретил тело убитого Грибоедова, о чем рассказал в одном из своих очерков. Посетив Грузию, Нахичевань, Пятигорск, составив обозрения Нахичеванской провинции, персидской границы и торговли в Закавказском крае, Григорьев в конце декабря 1830 года вернулся в Петербург, с репутацией авторитетного знатока экономики и статистики. В 1832—1835 годах он постоянно находится в разъездах по служебным поручениям — в Олонецкой и Архангельской губерниях, в Пскове, на Украине, в Прибалтике, в Крыму.[1] Путевые впечатления проецируются в его поэзию, в частности «восточной темой», разрабатываемой, однако, в духе традиционной для романтической поэзии 1830-х годов «ориентальной» экзотики. Из стихов Григорьева исчезают общественные мотивы; происходит и смена жанровых форм. Он культивирует романс, лирический монолог, философско-дидактическую балладу; поэтика его приобретает черты «бенедиктовской» напряженности и мелодраматизма, однако без бенедик-

---

[1] См. формулярный список Григорьева — ГПБ, ф. 225 (Григорьева), № 1 (1850 г.); см. также: В. Шадури, Декабристская литература и грузинская общественность, Тбилиси, 1958, с. 345; И. Андроников, Тетрадь Василия Завелейского. — «Прометей», 1968, № 5, с. 220.

товских крайностей. Стихотворения Григорьева 1830-х годов не выделяются как сколько-нибудь заметное и оригинальное явление и представляют интерес главным образом как факт эволюции поэтического стиля.

Во второй половине 1830-х годов поэтическая деятельность Григорьева почти прекращается; в поздние годы он дает своему творчеству невысокую оценку, рассматривая его не как «дар, ниспосланный... свыше», а как «минутную вспышку довольно живого воображения», результатом которой было то, что из него «не вышло ни настоящего поэта, ни истинно дельного чиновника».[1] До конца жизни он остается в департаменте государственного казначейства, последовательно получая назначения правителя канцелярии, исправляющего должность начальника отделения, наконец вице-директора (с 1858 года). В 1842 и 1846 годах он совершает две заграничные поездки. Умер Григорьев 5 декабря 1876 года в отставке, дослужившись до чина действительного статского советника. После него остались обширные мемуары («Заметки из моей жизни», 1851—1863) преимущественно бытового характера, с некоторыми ценными сведениями, касающимися его встреч с писателями.[2]

237. ГОРНЫЙ ПОТОК

О юноша бессмертный!
Куда стремишься ты,
Рождением безвестный,
С нагорной высоты?
О, как ты мил, прекрасен
В серебряных кудрях!
Как грозен ты, опасен
В утесистых скалах!
И со́сна вековая
Перед тобой дрожит,

---

[1] «Заметки из моей жизни». — ГПБ, ф. 225, № 5, л. 10.

[2] Публикацию этих отрывков см.: Н. К. Пиксанов, Русские писатели в неизданных воспоминаниях В. Н. Григорьева (Пушкин, Грибоедов, Рылеев, Бестужев и др.). — «Современник», 1925, № 1, с. 127.

К земле главу склоняя...
Вмиг корнем вверх летит!
Бегут скалы упорны,
Веков седых престол;
Ты ступишь — глыбы горны,
Треща, катятся в дол!
И солнце одевает
Тебя своей красой
И часто наряжает
В цвет неба голубой.
Зачем же так стремиться
В угрюмый океан?
Иль хочешь удалиться
От близких к небу стран?
Или тебе постылы
Лазурь, краса небес
И в старину твой милый
Приветливый утес?
О юный! не стремися
Ты в Океан седой...
Или навек простися
С свободою златой!
Ах! и тебе приманчив
Наружный тихий вид;
Но знай, что он обманчив,
Хоть Океан молчит.
Пусть месяца мерцаньем
Ты будешь осребрен,
Пусть утренним сияньем
Ты будешь озлащен...
Но что покой, отрада,
Что месяца привет,
Что блеск прелестный злата,
Когда свободы нет?
Ты здесь везде властитель,
Везде как мощный царь:
Земля — твоя обитель!
Утесы — твой алтарь!
А в море ветр твой спутник,
Вожатый вод твоих;
Ты в нем навеки узник
Во власти вихрей злых!

О юный! не стремися
Ты в Океан седой...
Или навек простися
С свободою златой!

⟨*1821*⟩

238. ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА

Погиб тиран! Возденем к небу длани!
Давно ли мы, с поникшею главой,
Несли ему уничиженья дани,
Омытые кровавою слезой?
Давно ли меч, в крови ненасытимый,
В руке убийц властительных сверкал?
Виновник бед и язв неисцелимых,
Давно ли он народы пожирал?
Всевышний внял сынов своих моленью —
И нет его! меч гордый преломлен;
Конец бедам, конец уничиженью,
И иго в прах с страдальческих рамен!
Столетний кедр, воспитанник Ливана,
Воздвигнулся ветвистою главой,
Возвеселясь погибелью тирана.
«Он пал, — гласит, — он пал, властитель мой!
Ликуй, Ливан! Под острием железа,
Свободный днесь, уж не падет твой сын
И, опершись на рамена утеса,
Возвысится, как мощный исполин!
Смерть варвара смутила мрачны сени:
Узрев его, содрогся хладный ад;
Воспрянули из мрака сильных тени,
И, на него вперивши робкий взгляд,
Они рекли: «И ты, царь Вавилона,
Познал и ты ничтожества удел!»
Давно ли он с блистательного трона
Величием, гордынею гремел?
Днесь труп его, источенный червями,
Лежит во мгле, осклабив тусклый взор;
Заутра вихрь с поблекшими листами
Снесет его надменности в укор...

Денницы сын, блестящее светило,
Чья длань тебя низринула с небес?
Чье мщение в единый миг сразило
Могучего, как вековый утес?
Не ты ли рек: «Сравняюся с богами,
Превыше звезд поставлю мой престол,
К моим стопам падут цари рабами...»
Ты рек — и пал, главой склонясь на дол!
Угаснет день — и путник утомленный
Зайдет сюда — и труп увидит твой.
«Вот смертный тот, — он скажет, изумленный, —
Кто управлял Вселенныя судьбой,
Кто услаждал свой слух цепями рабства,
Под чьей стопой являлась степь кругом,
        Пред кем в плену дымились царства,
Стенал народ под варварским жезлом!»
Чудовище, природой отчужденный,
Проклятие с забвеньем твой удел!
Твой труп, один, лежит непогребенный,
Лишь хищный вран крылом его одел!
Где замыслы гордыни величавы?
Как сорванный ветрами лист сухой,
Исчез и след твоей гремевшей славы...
Дрожи, тиран, не дремлет мститель твой!

(1822)

239. РЕКА ЖИЗНИ

Из стран *Рождения* река
По царству *Жизни* протекает,
Играет бегом челнока
        И в *Вечность* исчезает.

В ней редко видишь тишину
И редко струй успокоенье,
Но чаще бури быстрину,
        Волны с волной боренье.

Не отдыхая, Жизнь плывет
По сей реке туманной

И борется с волнами бед
        До пристани желанной.

Лишь муза с берега глядит
На изнуренье Жизни хилой
И розами ей путь кропит
        Окрест кормы унылой.

О муза, спутник дней моих,
Будь неизменный мой вожатый!
Твой взгляд умножит радость их
И облегчит души утраты.

⟨1822⟩

240. К С—У, ОТЪЕЗЖАЮЩЕМУ НА РОДИНУ

Прости, любезный! Добрый путь!
Лети на родину святую
В семье родимой отдохнуть,
        Изведать жизнь прямую!
Младенчества беспечный миг
Там сердцу внятно отзовется
И свежесть прежних чувств твоих
С душою юноши сольется;
Природа встретит там тебя
С давно знакомою улыбкой;
Ты очаруешься, промолвишь вне себя,
Что заведен туда ошибкой...
Коснешься в радости немой
Бедáми скованной цевницы —
Она откликнется на глас призывный твой
И грянет гимн заутренней деннице!..
Там всё тебя одушевит:
И дикий дым родного крова,
Умолкших сел вечерний вид,
И свежесть утра золотого...
А здесь, мой друг, приличий светских хлад;
Здесь тухнет пламень вдохновенья, —

И если иногда и прояснится взгляд
Восторгом песнопенья,
То — уцелевший злак под черепом зимы;
То — огонек в глуши полупотухший;
То — слабый луч, чрез скважину тюрьмы
На узника украдкою скользнувший...

⟨1822⟩
Петербург

241. ТОСКА ОССИЯНА

О арфа! пусть твой слабый стон,
Исторгнутый десницей устарелой,
Пробудит хоть на миг бесславный сон
Родительской страны осиротелой!
Пусть с сей скалы, подножия дубов,
Ровесников моей седи́ны,
Прольется старца песнь. Реви с борьбой валов,
Осенний ураган, взрывай дубрав вершины!
Надвинь на свод пустых небес
Громады туч свинцовых!
Ты, ночь, раскинь свой креповый навес
И мрачные набрось на мир оковы!
Свершилось! нет того, чья сталь меча в боях,
Как бы звезда победная, блистала
И в вражеских трепещущих устах
Прощание с сей жизнью вынуждала...
Свершилось, нет Фингала!

События минувших дней,
Пожранных вечностию жадной,
Проснитесь в памяти моей:
Да огласит сей холм Фингала подвиг ратный!
Я помню (и тогда кипела кровь во мне
И меч дрожал в руке нетерпеливой):
Сверкали копьями — и в шумной вышине
Свистали стрелы боевые...
Железо тупится; со строем сшибся строй;
Удар в ответ удару стонет;
Фингал далек от нас: бегу к нему стрелой —

И что ж? врагов страх с тылу гонит!
Бегут лучей его копья, —
Так утром дымные туманы,
Покрывшие восточные курганы,
Редит огнистая заря!
Катмора ищет взор Фингала, —
Сошлись; уж рок колеблется меж них..
Конец взгремел... И гордо отлетала
Душа Катморова в страданиях немых.
Но будь утешен ты, Катмор!
Фингал жалел твоей погибшей славы
И с гордостью вперял свой храбрый взор
На труп твой величавый!
Но должен ли я днесь тебя, родитель мой,
В пылу побед венчать венком лавровым?
Нет, нет! Мне суждено настроить голос свой
В надгробну песнь над хо́лмом новым.
Недаром стон глухой трикраты сон лесов
Смущал полуночной порою;
Недаром гром гремел и вой зловещих псов
Мне сердце раздирал тоскою;
Недаром арфа в черный день
Сама собою содрогалась,
Как будто бы чья жалобная тень
Эфирными перстами к ней касалась.
О, сколько бедствий в жизни сей
Судьба мне завещала!
Давно ль всхолмилася на лоне сих полей
Могила храброго Фингала, —
И вечной ночи мрак смежил
Мои увлаженные вежды!
Мне мир как гроб, лишенному светил,
Лишенному надежды!
Одна осталась мне отрада — обнимать
Твой прах холодными перстами.
Ты зришь меня, — но мне тебя уж не видать!
Когда ж, когда ж воздушными крылами
К тебе, родитель, понесусь
В надоблачный чертог летучий?
Когда с землею я прощусь,
Где шаг — то друга гроб или курган могучих?

Узрю ль тебя, желанная страна?
Ото́прутся ль врата отчизны?
Железная судьба, ты хочешь, чтоб до дна
Испил я чашу горькой жизни...

(1822)

242. БЕРЕГА ВОЛХОВА

(Посвящено Алексею Романовичу Томилову)

День упадал во глубь лесов;
В долине вечер воцарялся,
И меж высоких берегов
Спокойно Волхов разливался.
Над ним нависнувши стеной,
Твердыни праздные[1] дремали,
Вблизи синел курган крутой,
И тени на водах лежали.

Воспоминанья прошлых дней
На сих местах в моей душе теснились:
Так — здесь толпы богатырей
С пришельцами за кров родимых бились;
Правдивым мщением кипела русских грудь,
Свободу жизни ограждая, —
И часто Волхова багро́вел светлый путь,
Враждебных трупы увлекая.
Быть может, богатырь на камне сем острил
Свой меч, притупленный щитами;
Иль, обессиленный, склонясь над ним, просил
Он у небес победы над врагами.
Теперь всё смолкло здесь! Лишь в бурю вран
кричит,
Гнездяся в башне позабытой;
На ржавых вереях дверь дряхлая скрыпит,
И свищет ветр в стене разбитой.
Иль время иногда рушительной рукой
С вершины камни обрывает, —
И Волхов с шумом поглощает
Потомков древности святой.

---

[1] Рюрикова крепость.

Так старец, ослабев от бед,
Теряет ветхие седины,
И алчной вечности пучины
Уносят их минутный след!..

О Волхов! берегов твоих
Не оглашает днесь ни голос грозной битвы,
Ни тяжкий стон последния молитвы,
Ни вопли дев с полей родных.
К тебе певец идет с довольною душой:
Он любит с башни зреть, задумчивости полный,
Как ты волнуешься сребристою струей,
Колебля рыбарей разбросанные челны;
И перед ним цветущее село
Склоняется над тихими водами,
Любуяся в их светлое стекло;
Здесь берег обнялся зелеными лугами,
Там он стеной песчаною обвис,
И ели древние над ним шатром сплелись!

Мне не забыть тех томных впечатлений,
Питавших мысль мою при Волховских струях.
Картинные брега, я помню вас в мечтах,
Как помнят призраки веселых сновидений!..

⟨1823⟩

243. К УЕДИНЕНИЮ[1]

Сплетайся ветвь осины луговой
С березой, с липою душистой!
Зеленый кров раскинься надо мной!
Повей деревни воздух чистый!

Под сень твою певец душой летит,
О сельское уединенье!
Твой сладкий мир в нем дух животворит
И пробуждает вдохновенье.

---

[1] Писано пред отъездом в деревню.

Позволь и мне возлечь под твой приют
И оживить свой дар убогий:
Там суеты меня не развлекут,
Там стихнут ложных чувств тревоги.

Там вознесусь душою к небесам,
Расторгнув цепь земных желаний;
Там воскурю сердечный фимиам
Перед владыкой мирозданий.

Откройся же природы сельской лик!
Развейся ткань полей зеленых!
И разносись жнецов веселый клик
На нивах, жатвой озлащенных!

Там листьев шум, душою овладев,
Мечты на юношу навеет;
Там матери пленительный напев
Младенца тихим сном лелеет...

⟨1823⟩

244. ЗАМЕРЗШИЙ ВИНОГРАД

Что сохнешь ты и листья опустил,
Мой виноград, унизанный кистями?
Знать, и тебя на гибель застудил
Холодный ветр, промчавшийся полями.

Друзья твои глядят с немой тоской
На твой приют: уж стены запустели,
Где ты вился́ зеленою лозой,
Где в пурпуре твои плоды созрели.

Жизнь пылкая угаснула в стеблях,
Свернулся лист, безвременно иссохший;
Взойдет заря — и пропадет твой прах,
Как след людской среди пустынь заглохших.

Ах, как и ты, умрет младой певец!
В цепях тоски его душа хладеет,
И недалек безрадостный конец:
Как в зной роса, в нем жизнь уже скудеет.

(1823)

245. БЛИЗОСТЬ МИЛОЙ

Катится ль над озером радостный день;
Светлеет ли месяц в потоке,
Прорезав лучами вечернюю тень,
Иль ночь разлилась на востоке, —

Ты всюду сливаешься с мыслью моей,
Ты с ней неразлучна и в мраке ночей.

Шумит ли волна под наклоном берез,
Вставая на берег песчаный;
Шелóхнется ль роща с рассветом небес,
Стрясая ночные туманы, —

Ты всюду сливаешься с мыслью моей,
Ты с ней неразлучна и в мраке ночей.

Белеет ли вихрем встревоженный прах,
Столбом пронесясь над равниной;
Торопится ль путник на темных полях
Завидеть шалаш свой пустынный, —

Ты всюду сливаешься с мыслью моей,
Ты с ней неразлучна и в мраке ночей.

(1823)

246. ЧУВСТВА ПЛЕНЕННОГО ПЕВЦА

(Подражание 136 псалму)

Тоскуя, сидел я на бреге потока.
Позор вавилонян рассвет озарял:

Сатрап, попирая царицу Востока,[1]
Веками сплетенный венец обрывал!
И в рубищах девы бежали толпою,
В слезах озираясь на отческий кров,
Где жили они безмятежной душою,
Где юности светлой вкусили любовь.

Средь пышных развалин бродил я мечтами,
Смотря на извивы свободной струи.
И песней хотели. Мне славить струнами
Победы сатрапа и узы священной земли?
Нет! лучше иссохни под цепью десная
И пылкое сердце в неволе истлей,
Чем арфу порочить, душе изменяя,
И песнию слух твой лелеять, злодей!

Повесил я арфу на ветви оливы.
О Са́лем, да будет свободен в ней звук!
Когда твоей славы замолкли отзывы,
Я спас ее с жизнью от вражеских рук.
И в рабстве Евфрат небеса отражает
И гордо по нивам плененным бежит.
Так сердце певца гнев судьбы презирает
И песнию робкой врага не дарит!

⟨1823⟩

247. К НОЧИ

Приди скорей, подруга снов!
Напой меня тоски забвеньем
И обмани мою любовь
Веселым, долгим сновиденьем!
Когда же звуки милых слов
Проникнут душу умиленьем, —
Не вдруг снимай с меня покров,
Помедли тяжким пробужденьем...

⟨1824⟩

---

[1] Страна Иерусалимская.

248. К НЕВЕРНОЙ

Не отравляй моей тоски
Улыбкой, ласкою притворной
И сердца снова не влеки
К мучениям любви упорной!
Невинный жар твоих ланит,
Очей веселое сиянье, —
Всё помню я, — но не слетит
Ко мне любви очарованье.
Нет, не слетит оно назад
К моей душе полузабытой:
Так оставляет аромат
Сосуд, небережно разбитый!..

⟨1824⟩

249. ГРЕЧАНКА

Зачем в руке твоей кинжал,
Дочь вдохновенного Востока?
Младые перси панцирь сжал
И кудри девы черноокой
Шелом безжалостно измял?

Тебе ли свой воздушный стан
Обременять таким нарядом?
Тебе удел природой дан —
Влечь юношей волшебным взглядом,
Их жизни прояснять туман.

Скажи: не родственная ль месть
Тебе кинжал вложила в длани?
Или твоя страдает честь,
Или ты мыслишь в бурях брани
Любви измену перенесть?

«Не изменяла мне любовь;
Ах, тяжелы судьбы удары!
Чем я жила — не придет вновь:
Там, над обломками Ипсары,
Дымится греческая кровь!..

Не спрашивай, где мой отец,
Где в муках мать моя изныла,
Где сердца верный первенец, —
Там, там надежд моих могила,
Ипсара — терновый венец!

Но среди бед не пал мой дух:
Мне внятен стон моей отчизны.
Он в полночь мой тревожит слух
Сквозь краткий сон печальной жизни,
Как при последнем часе друг!

Хлад северный не леденит
Утес срывающие воды —
Так цепи звук не заглушит
Не спящий в сердце глас свободы:
Месть варварам — мой твердый щит!

Прости!» — Зачем слеза в очах?
Тяжка кровавая обида?
Не унывай: на небесах
Не гаснет солнце Леонида,
И не остыл Эллады прах!

Пусть нежатся среди пиров
Похвал изысканных кумиры!
Лесть ляжет с ними в мрак гробов;
Но ты... ты достоянье лиры,
Живой посредницы веков!

1824

250. НАШЕСТВИЕ МАМАЯ

(Песнь Баяна)

Не туча над Русью всходила востоком,
Не буря готовила гибель земли,
Не воды с Кавказа срывались потоком, —
Под знамя Мамая ордынцы текли.
Стеклися и хлынули в Русское царство!
Но дремлет ли в праздном бессильи орел,
Когда расстилает сетями коварство,
Готовя великому тесный удел?

Воскресло, воскресло ты, чувство свободы,
В сердцах, изнуренных татарским ярмом!
Так глыбой не держатся горные воды
И тощею тучею мещется гром.
Я зрел: на распутьях дружины теснились;
Из мирного плуга ковался булат;
И плакали жены, и старцы молились,
И мщением искрился юношей взгляд.

Как листья дубравы под вешним дыханьем,
За Доном взвевались знамена татар;
Осыпаны вечера ярким сияньем,
Доспехи ордынцев горели, как жар;
Как листья дубравы под холод осенний,
С рассветом ложились без жизни ряды;
Тускнели доспехи под кровью сражений,
И долу клонилося знамя Орды.

Почто ж не любуешься с выси кургана
Воинственным полем, надменный Мамай?
Не зиждешь, как прежде, победного стана?
Бежишь, как безумный, в отеческий край?
Сын варварства! в нем ли найдется утрата?
Тебя оглушат там проклятия вдов;
Сестра там заплачет за лучшего брата,
Отец за надежду, последних сынов.

Не знал ты, что чувство свободы сильнее,
Чем алчность корысти, душ купленных жар;

Не знал ты, что сердцу звук цепи слышнее,
Чем звонкого злата о злато удар.
Днесь поздо клянешь ты улусов кумиры,
На русское небо боишься взглянуть.
Беги! не сорвать тебе с князя порфиры:
Цепь рабства не давит уж русскую грудь!

⟨*1825*⟩

251. ВЕЧЕР НА КАВКАЗЕ

Сын Севера, с каким благоговеньем
Я жадный взор питал полуденной страной,
Где мысль объемлется невольным вдохновеньем
И падает во прах пред дивной красотой!
Преодолев кипящие стремнины,
Где жаркая струя сквозь камни пронялась,
Мечук,[1] с твоей крутой вершины
Я обнимал душой утесистый Кавказ!
Светило дня на запад упадало
И, заревом подернув цепи гор,
Громам Ермолова в укор,
Кавказской вольности вертепы освещало:
Громады снежные, как ряд седых веков,
В немом величии сияли
И два шатра из яркой ризы льдов
На раменах своих держали.[2]
Как темное орлиное крыло,
На север туча налегала
И Бешты[3] пасмурной чело
Венцом туманным обвивала;
На яркой зелени лугов
Бродили тени облаков;
Река то лентой извивалась
В благоуханных берегах,

---

[1] Мечуком называется гора, у подошвы которой находятся *горячие минеральные воды.*

[2] Эльбрус — двуглавый.

[3] Гора близь минеральных вод.

То за курганами терялась
И с шумом падала в овраг.
Почуя близость непогоды,
Орлы летели к небесам
Навстречу молнии, громам,
Как званные на пир природы!
Еще светлел упорный день
Над озаренными скала́ми,
А за восточными холмами
Росла ночная тень.
По туче гром за громом рвался,
Летала молнии стрела,
И мрак за нею озарялся
Вкруг белоглавого орла.
Вот солнца лик утесом заслонился;
Последний свет струей извился
И, на Эльбрусе отразясь,
В туманном воздухе погас...

О вольность дикая племен неукротимых,
Не твой ли вечер вижу я?
Померкнет скоро жизнь твоя
В ущельях гор непроходимых!
Невзгода брани уж висит:
Ермолов двинется громами,
И твой орел, Россия, осенит
Кавказ широкими крылами!

Май 1825

252. ЗИМНЯЯ НОЧЬ В СТЕПИ

Холодный вихрь крутит снегами;
И степь, как жертва непогод,
Своими тощими боками
Поддерживает неба свод,
Блестящий яркими звездами.
Мороз невидимо трещит,
И полумесяц раскаленный

На пламенном столбе стоит,
Светя над миром утомленным,
И степь бескровна, мнится мне.
Как тяжело в пустынной доле!
Туда, мечты, ко звездной вышине!
Покиньте жизни нашей поле!
На нем, как степью, вихорь бед
Следы веселья завевает;
И, как назло, надежды свет
Путь бесприютный озаряет;
Как звезды, радости блестят
Над странником — он к ним стремится,
А на душу земного хлад
Тяжелой цепию ложится!

⟨1826⟩

253. БЕШТАУ

Ровесница векам первовременным,
Твое чело дерзал я попирать.
Как весело питомцам жизни бренным
Из-под небес отважный взгляд бросать!
Внизу, как ад, во мгле овраг зияет,
В венце лучей стоит над ним скала...
След вечности! здесь время отдыхает,
Его коса здесь жертвы не нашла.

О жизнь певцов, святое вдохновенье,
Я вижу твой незыблемый алтарь!
Как змей без сил, под ним шипит забвенье,
Земных страстей неодолимый царь.
О, сколь блажен, кто с пламенной душою
На сей алтарь свой звучный дар принес:
Он цепь земли отбросил за собою
И чувствовал присутствие небес...

⟨1826⟩

254. СЕТОВАНИЕ

(Израильская песнь)

Восплачь о том, кто плачет в Вавилоне!
Его земли померкнул светлый лик;
И вместо арф в разрушенном Сионе
Предателей встает безумный крик.

Израиля питомец вдохновенный,
Без песень ты! тебе в ручье родном
Не прохлаждать стопы окровавленной:
Изноешь ты на береге чужом!

«Я суд небес в день скорби призову,
Не мне земля, — душа твоя твердила. —
Орлу дано гнездо, пещера льву,
Приют рабам... Иакову могила!»

⟨1827⟩

255. ГРУЗИНКА

Она мила невинной красотою:
Ее душа, как снег на теме гор,
Блистающий полуденной порою,
Еще чиста; в ней тих и ясен взор,
Он страстию не возмущен земною.
Смотрите, вот она в кругу подруг,
Под звуки бубн лезгинку пляшет с ними;
И стар и млад, толпой теснясь вокруг,
В ладоши бьют с припевами живыми.
Свежей весны и тополя стройней,
Она, всплеснув лилейными руками,
Помчалася — и всё быстрей, быстрей, —
И вдруг стоит — и черными очами
Поводит... Но пленять недолго ей!
Ее краса мелькнет как сновиденье:
Заметили вы юношу в толпе?
Как он глядел, с безумным упоеньем,
На обреченную его судьбе!

Едва узрев зарю прекрасных лет,
Едва вздохнув в своей свободной доле,
Она, как лань, с ним под венец пойдет,
А от венца к томительной неволе.

⟨1828⟩
Тифлис

256. КНЯЗЬ АНДРЕЙ КУРБСКИЙ

Как стая лебедей, застигнутых грозой,
　　В полях шатры литовские белели:
Душа Батория рвалась на Русь войной,
　　Сердца граждан к герою пламенели.
О стены Полоцка! Давно ли жребий битв
　　Вас воротил под русские знамена?
И снова слышен вопль отчаянных молитв:
　　Там за Двиной куют оковы плена...
Нестройный шум кругом обходит вражий стан,
　　Не дремлет рать, а ночь уж над землею,
Леса безмолвствуют — и стелется туман
　　По-прежнему над спящею рекою.
Судьба грядущего волнует сонм вождей,
　　Их бодрый дух, как снасть под бурей,
　　　　　　　　　　　　　　гнется, —
Но кто средь них пришлец? Он жгет огнем очей,
　　И в верности перед мечом клянется...
Князь Курбский, отрекись! Ряд доблестных могил
　　И бедная отчизна пред тобою...
Свершилось! Мести яд в нем чувства отравил
　　И занял мысль предательной войною.

«Иду — смирися, Иоанн,
На окровавленном престоле!
Кто станет за тебя, тиран?
Народ, замученный в неволе, —
Худая рать против граждан...
Прошло твое златое время!
Я помню, как во цвете дней,
Пороков низких сбросив бремя,

Завесу тьмы сорвав с очей,
На лобном месте ты явился
С толпой бояр и воевод...
И некий свет в Москве разлился!
От тяжких снов восстал народ
И, чувством сладостным томимый,
Подвинулся со всех концов:
Так царь светил, еще незримый,
Из мрака гор влечет орлов.
Стеклись и стар и млад, как волны,
Залив всю площадь близь царя,
И стихнули, благоговенья полны,
Преображенного узря.
Величие души прямое
Мятежную сменило кровь,
В нем разожглась к добру любовь,
В очах раскаянье живое;
Как он молил забыть беды́ —
Исчадье своевольной жизни —
И клялся мудрости плоды
Взлелеять для драгой отчизны!
Друзья царя, в толпе вождей
Адашев и Сильвестр стояли:
Залог надежды лучших дней,
Как две звезды, они блистали.
Я зрел, как царственный обет
Из уст в уста передавался —
И русский, жертва долгих бед,
В слезах пред небом умилялся...
И души всех в единый щит
Слились за Русь, царя и бога!
О, сколь прекрасен зрелся вид!
К высоким подвигам дорога
Отверзлась, с нетерпенья длань
Хватала меч, ища обиды, —
Громить ли буйную Казань,
Смирить ли полчища Тавриды?
Народный дух, как исполин,
Восстал из бездны испытаний;
Над ним, рассеяв мрак годин,
Зажглась звезда завоеваний...

А днесь? Тиран, ты заглушил
Спасительный закон природы —
И Русь родную превратил
В гроб древней славы и свободы!
Под шумом буйственных пиров,
Отец-губитель беспощадный,
На трупы свежие сынов
Ты зришь с улыбкой кровожадной.
Не песнь побед, не клик граждан,
Лишь жертвы вопль твой слух пленяет;
И солнце, сняв с Москвы туман,
Ряд новых казней освещает:
Как злак, падет и стар и млад,
Муж битвы и душа совета;
Не смей оплакать брата брат:
Дерзнувший бросить мщенья взгляд
Наутро уж невзвидит света.
Без места в думе мудрый муж,
Влачись, как тать, в чужбину;
Ватага злых, наемных душ
Сменила царскую дружину.
Давно погасли две звезды:
Адашев, друг добра и чести,
Не избежал злой клеветы
И царской легковерной мести;
Он твердо перешел к цепям
От ступеней скользистых трона
И, жизнь вручая небесам
С мольбой, не обнаружил стона.
А там, где хладный океан
Таит отшельников обитель,
Отрада скорбных россиян,
Почил Сильвестр, вражды гонитель, —
И днесь кто даст благой совет?
Друзья царя — враги народа:
Басманов, изверства клеврет,
Увечный духом воевода;
Свирепых кровопийц глава,
Малюта, изверженье ада;
И Вассиян, злый пастырь стада,
Змея сердец, — его слова
Текут красно с отравой яда.

Но, царь! Уж близок божий гнев!
Се глады землю наказуют,
Меч варваров и язвы зев
В Руси безвыходно пируют;
Растут пожары в городах,
И пепл Москвы не остывает;
Давно успеха нет в боях,
То весь, то область отпадает.
Смирись, — иду! . .»

И стройно двинулась Баториева рать.
Уж развились отечества знамена:
На бодрых ратников нисходит благодать —
И далека от мыслей их измена;
Как доброй матери, их жизнь отчизне дань.
Молитеся! Кровавый день зарделся,
Как птица вещая, окрест завыла брань. . .
И Курбский злым весельем разгорелся —
О, горе русскому! . .

С небес спустилась ночь. Мятежная Двина
Раскинувшись, спокойно засыпает;
Сразив толпы теней, плывет над ней луна
И грозную окрестность освещает.
Твердыни Полоцка в развалинах горят;
Раскинут стан под яркими огнями,
Про битву смелую литовцы говорят —
И пьют вино победными ковшами.
Разнесся далеко веселья шумный гул,
Вот по рядам ходить ковши устали,
Песнь звучную младой литовец затянул —
И сон забыт, ей ратники внимали:

«Сладко в отчизне, под сению мира,
Гражданам день за днем провожать;
Но ратнику слаще, под бурею битвы,
За знамя отчизны грудью стоять!
Братья! Чей голос я слышу за нами?
«Вы отстояли матерь-Литву,

Пред вами белеет дорога с чужбины,
И крепость склонила вражью главу».

Голос знакомый! Он дух укрепляет,
Вспыхни наутро новая брань —
Мы снова, бодрее сомкнемся рядами,
Вперед! За отчизну дрогнет ли длань?..»

Клубится дым над пепелищем битвы,
В сеть облаков закралася луна;
Отвторился по стану глас молитвы,
И сладкий сон наводит тишина.
Почила рать; сквозь сон светлеют лица,
Игра мечты — и лепет на устах:
Им снится мир, на родине светлица,
И взоры дев, и встречи в городах.
Густеет мрак; ряд бледных привидений,
Шатры вождей в безмолвии стоят;
И лишь в одном нет благодатной тени —
Там поздние огни лампад горят;
Задумчиво муж битв сидит пред ними,
Его очей бежит отрадный сон
С спокойствием, с виденьями благими;
Не мыслию победной занят он,
И не горит к Литве святой любовью;
В углу шатра стальной доспех висит,
Широкий меч, облитый русской кровью,
Как божий гнев, очам его блестит...
И в памяти минувшее восстало:
Он, юноша, был родины щитом,
В венце побед чело его сияло,
Он не краснел перед своим мечом,
И лишь за Русь в нем сердце трепетало!
Башкира степь, Ливонии поля
И вышины зубчатые Казани
Еще хранят высокие дела
Его души и меченосной длани;
Как взоры чад преступного отца,
Они пред ним украдкою мелькают,
Но не яснят угрюмого лица:
Невинные, но душу раздирают!
Ночь протекла, — и не смыкал очей

На родину пришедший со врагами;
В его душе утих порыв страстей, —
И на восток смотрел он со слезами,
И проклинал кровавый пир мечей.

(1829)

Примечание

Князь Андрей Михайлович Курбский, знаменитый вождь, писатель и друг Иоанна Грозного. В Казанском походе, при отражении крымцев от Тулы (1552) и в войне Ливонской (1560 г.) он оказал чудеса храбрости. В сие время Грозный преследовал друзей прежнего своего любимца Адашева, в числе которых был и Курбский: ему делали выговоры, оскорбляли, и, наконец, угрожали. Опасаясь погибели, Курбский решился изменить отечеству и бежать в Польшу. Сигизмунд II принял его под свое покровительство и дал ему в поместье княжество Ковельское. Отсюда Курбский вел бранную и язвительную переписку с Иоанном; а потом еще далее простер свое мщение: забыв отечество, предводительствовал поляками во время их войны с Россиею и возбуждал против нее хана Крымского. Он умер в Польше.

257. К ***

Жар юности блестит в его очах,
Еще его ланиты не завяли,
Порой мелькнет улыбка на устах, —
Но на душе тяжелые печали.
Он чуть узрел любви волшебный свет,
Как вихрь сует задул его лампаду;
Хотел вкусить он дружества привет
И сладкую взаимности отраду,
Но Рок и тут! — и вот прекрасный друг
Уж увлечен на жертву смерти жадной!
И юноша, тая в груди недуг,
Бредет один в сей жизни безотрадной.
Так в Таврии угрюмый кипарис
На кладбище растет уединенно:
В нем никогда птиц гнезда не вились,
И лилия красой своей смиренной
В его тени беспечно не цвела;
И лозы гибкие к нему не припадали,
Не ластились, и мрачного чела
Гирляндою живой не украшали.

(1834)

258. РОМАНС

От огня твоих очей,
Дева юга, я томлюсь
И под музыку речей
В край надзвездный уношусь.

Я счастлив наедине,
Будто с ангелом, с тобой, —
И земля, как в сладком сне,
Исчезает подо мной.

Но когда тебя вокруг
Дети суетной толпы
И ласкают юный слух
Дерзновенные мольбы,

Мыслит гордый твой отец:
«Дочь моя блестит красой,
Схватит княжеский венец,
Будет знатной госпожой», —

Я смущен — кляну тогда
И красу и блеск очей:
То падучая звезда,
Вестник гибели моей.

⟨1834⟩

259. ГРОЗА

Был знойный тяжкий день. Как лавой, обдавало
Палящей воздуха струей,
И солнце с вышины докучливо сияло
Над истомленною землей.
Пустыней путник шел. Он вмладе жертва горя;
Окрест его ни тени, ни ручья,
Лишь, как назло, вдали чернеет лес и моря
Синеются зыбучие края.
Томимый жаждою, он страждет, молит бога
Смочить гортань его хоть каплею воды;

«Но внемлет ли богач мольбе убогой?
На небе вечный пир, а на земле беды!» —
Так путник возроптал в безумии своем...

Нежданный грядет вразумления час!
Как девицы грудь перед близким свиданьем
Колеблется трепетным, скрытным дыханьем,
Хлябь моря блестящей волной поднялась.
Из мрачныя бездны встает великан:
Он солнце затмил — и главой с небесами,
Пятой упираясь в седой Океан,
Из мощныя длани метать стал громами.
В глубь леса вонзилися молний лучи, —
И дуб преклонился челом горделивым!
Казалося, ангелов гневных мечи
Смиряли сынов мирозданья кичливых.
Звучала земля, как хвалебный кимвал,
Как будто обитель любви, а не злобы;
Казалось, глаголу небес отвечал
Раскаянья стон из земныя утробы.
И путник, с смятенной, покорной душой,
Склонившись ко праху, лежал как убитый;
Лишь грудь подымалася теплой мольбой,
Лишь чистой слезою блестели ланиты.
Свершив покаянье, он к небу воззрел,
Но там уж светлело! глагол вразумленья
Молчал, — и по тучам свинцовым алел
Трехцветной дугою завет примиренья!
Как манной, земля напиталась дождем,
По воздуху веяло свежей прохладой, —
И путник шел снова далеким путем,
Как бы обновленный небесной отрадой.

1834

260. РОМАНС

Не верю я! как с куклою, со мною
Играешь ты, моей невинностью шутя:
Мне ль покорить тебя неопытной душою...
Не верю я!

Не верю я! один лишь хладно-смелый,
Чья речь впивается, как едкая струя,
В ком от страстей и ум, и сердце перезрело,
Мил для тебя!

Не верю я... но иногда так нежно,
Так упоительно ты взглянешь на меня,
Что исчезаю я под властью неизбежной,
Весь вне себя!

Прости меня! тебе ли лицемерить:
В твоих очах горит моей любви заря,
И с трепетом души уж я готов поверить,
Как счастлив я.

1835

А. А. ШИШКОВ

Александр Ардалионович Шишков (1799—1832) был племянником адмирала А. С. Шишкова. Рано оставшись круглым сиротой, он воспитывался в доме дяди и получил хорошее образование: с детства знал несколько европейских языков и увлекался литературой и театром. Писать он начал рано: уже в 1811 году (несомненно, при участии А. С. Шишкова) выходит отдельной брошюрой его «Преложение дванадесятого псалма». Постоянно общаясь с кругом «Беседы» и молодыми приверженцами Шишкова (А. И. Казначеевым, С. Т. и Н. Т. Аксаковыми), он явно тяготел к новым веяниям в литературе (так, он хранил у себя памфлет Батюшкова «Певец в Беседе любителей русского слова»). Захваченный общим патриотическим подъемом 1812 года, юноша в 1815 году зачисляется в чине поручика в Кексгольмский полк и совершает заграничный поход; 10 января 1816 года он переводится в Гренадерский полк, стоявший в Царском Селе. Здесь он знакомится с Пушкиным и с другими лицеистами, в 1817 году — с Кюхельбекером. Пушкин адресует ему послание («Шишкову», 1816), где характеризует его как поэта-эпикурейца и, по-видимому, политического вольнодумца. Ранняя лирика Шишкова до нас не дошла. В 1817 году Шишков уже штаб-ротмистр Литовского уланского полка; в мае 1818 года, в результате вмешательства А. С. Шишкова, обеспокоенного «юношескими увлечениями», бретерством и «пороками» племянника, его переводят в Кабардинский полк и отправляют в Грузию под начальство А. П. Ермолова. Эта поездка отразилась в его «Перечне писем из Грузии», своеобразном «путешествии», выдержанном в стернианской лирико-иронической манере, со стихотворными вставками. В Грузии Шишков провел три года, живя главным образом в Кахетии и Тифлисе, где был дежурным офицером при корпусном штабе и участвовал в нескольких экспедициях. В офицерском кругу он лишь укрепляет свою репутацию кутилы и бретера; однако в Тифлисе, по-видимому, поддерживает отно-

шения и с литературными кругами; известно, что он общается там с Кюхельбекером. Его стихи южного периода (и, возможно, более ранние) составили сборник «Восточная лютня» (1824); сюда вошли дружеское послание (Н. Т. Аксакову, 1821), горацианская любовная лирика, восточная баллада («Осман»), сатира-послание («К Метеллию»), включающаяся в круг аллюзионных декабристских инвектив. Вероятно под влиянием «Руслана и Людмилы», он начинает работу над сказочно-богатырской поэмой «Ратмир и Светлана», но, оставив этот замысел, пишет байронические поэмы на экзотическом материале («Дагестанская узница», позднее «Ермак» и «Лонской», известный в отрывке). Отмеченные сильным влиянием Пушкина (прежде всего «Кавказского пленника»), они создали Шишкову репутацию подражателя и были приняты критикой крайне сдержанно (см., например, эпиграмму Баратынского «Свои стишки Тощев пиит...», 1824 или 1825). В 1821 году Шишков, навлекший на себя неудовольствие Ермолова, переводится на Украину, в Одесский пехотный полк; около 1824 года он женится здесь на дочери отставного поручика Твердовского, похищенной им у родителей. В Одессе Шишков пытается обновить свои прежние литературные связи, в том числе с Пушкиным, который пишет ему в 1823 году дружески-ободрительное письмо. В январе 1826 года его арестуют по подозрению в причастности к тайным обществам и привозят в Петербург; следствие оканчивается быстро за отсутствием улик. В 1827 году его постигает новый арест: III отделению стали известны его послание «К Ротчеву», проникнутое декабристскими настроениями, и экспромт «Когда мятежные народы...», прямо направленный против правительства, хотя написанный, возможно, еще до 1825 года. 7 октября 1827 года Шишкова переводят «под строгий надзор» в Динабург. Тяжесть его положения усугубляется отсутствием всяких средств к существованию; лишь помощь А. С. Шишкова позволяет его жене с двухлетней дочерью выехать с Украины. В его письмах А. С. Шишкову звучит почти отчаяние. Между тем в Динабурге Шишков много пишет и переводит, общается с заключенным Кюхельбекером и налаживает связи (по-видимому, через Аксакова) с Погодиным и кругом «Московского вестника». Шишкову претит позиция «Московского телеграфа», с которым он вступает в полемику, и лишь по необходимости он продолжает сотрудничать с Воейковым, редактором «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“». В 1828 году выходит его сборник «Опыты ... 1828 года», включивший и стихи, написанные еще на юге. Среди них выделяется цикл посланий («Щербинскому», «Х.......у» и др.), содержащих этический кодекс гражданина в его декабристском понимании и стилистически близких

к публицистическим поэтическим декларациям эпохи декабризма, с их характерной символикой, «словами-сигналами» и т. п.; к ним примыкает и «Бард на поле битвы» с трагической темой «тризны по павшим», которую мы находим, например, у А. И. Одоевского. Вместе с тем (как это, впрочем, характерно и для поэзии декабристов после 1825 года) в его стихах ясно ощущается мотив изгнанничества и личной трагедии («Глас страдальца», «Другу-утешителю», «Родина», «Жизнь»). В Динабурге Шишков обращается к изучению польской и немецкой литературы; он переводит отрывок из «Конрада Валленрода» Мицкевича и начинает большую работу по переводу поэзии, прозы и драматургии Гете, Шиллера и немецких романтиков: З. Вернера, Кернера, Раупаха и в особенности Тика («Фортунат», «Эльфы», «Белокурый Экберт», «Руненберг» и др.). В 1829 году Шишков вновь был предан суду за проступки дисциплинарного характера; как человек «вовсе неблагонадежный к службе», он был уволен в отставку с запрещением жить в столицах. В 1830 году он поселяется в Твери, где в следующем году выпускает четыре тома «Избранного немецкого театра»; продолжает сотрудничать в «Московском вестнике», затем в «Телескопе» и «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», где публикует кроме стихов незаконченный сатирический «Опыт словаря»[1]; печатает в «Северной пчеле» две главы начатого им романа «Кетевана, или Грузия в 1812 году» (1832). Его литературное окружение составляют И. И. Лажечников, Ф. Н. Глинка, кн. И. Козловский. В конце 1820-х — начале 1830-х годов творчество Шишкова воспринимает ряд черт немецкой романтической поэтики (некоторые из них — романтическую иронию, элегический тон, тяготение к фольклору — Шишков отмечает в предисловии к переводу «Фортуната» Тика). В «Эльфе» (1831) он обращается к излюбленному Тиком жанру драматической сказки, стремясь соединить «наивную» поэзию с углубленным подтекстом и романтической символикой для создания эмоциональной атмосферы; попытку опосредованной, «суггестивной» подачи драматической ситуации он делает в балладе «Агриппина» (1831). Вместе с тем основой творчества Шишкова остается все же рационалистическая поэтика (ср. аллегорическое послание к Глинке, «Демон» и т. д.). Поэтическая лексика и фразеология Шишкова в поздний период тяготеют к афористичности и иногда к разговорному просторечию («К Эмилию»). Заслуживает внимания и попытка Шишкова перевести «Пролог в театре» из «Фауста» Гете в стилистическом ключе

---

[1] «Литературные прибавления к „Русскому Инвалиду“», 1832, № 42.

русской романтической поэзии 1830-х годов; стремление передать стилистическое и интонационное богатство сцены приводит у него к значительному обогащению самой традиционной поэтики (см. последний монолог Поэта). Поэтическое развитие Шишкова было оборвано случайной и трагической смертью: он был зарезан во время драки 28 сентября 1832 года.[1]

261. Н. Т. А⟨КСАКОВ⟩У

Я видел Кур; он катит воды
Под тенью виноградных лоз;
Я был в стране, отчизне роз,
Обильной прелестьми природы.
Там чист и ясен небосклон;
Там рдеет пышный анемон,
Чинар гордится красотою;
И путника во время зною
Душистый персик и лимон
Манят к забвенью и покою.

Я дев прелестных видел там:
Их бег был легкий бег джейрана;
Как пар весеннего тумана,
Спускалась дымка по грудям
С лица до стройного их стана.
Они пышней гиланских роз,
Приятней сладкого шербета!
Не так любезен в полдень лета
Для нимф прохладный ток Гаета,
И страстных гурий нежный взор,
Всегда приветный, вечно юный,
Небесных пери звучный хор
И Сади ропщущие струны.

---

[1] О Шишкове см.: М. И. Мальцев, А. А. Шишков и А. С. Пушкин. — «Ученые записки Саратовского гос. университета», серия филологич. наук, 1948, т. 20, с. 92; М. И. Мальцев, А. А. Шишков и декабристы. — «Труды Томского гос. университета», серия филологич. наук, 1950, т. 112, с. 311; В. Шадури, Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии, Тбилиси, 1951.

И я не раз с невинных дев
Срывал рукой нетерпеливой
Покров досадный и ревнивый
И взоров их притворный гнев
Тушил под пальмой молчаливой!

Но где ж отчизны край родной?
Где хата дымная под снегом?
Когда ж помчусь я быстрым бегом
К твоей груди, товарищ мой,
И, дружнюю сжимая руку,
Когда ж я позабуду скуку
С тобой за чашей круговой?

⟨1821⟩

262. ОСМАН

Осман! почто один, безмолвный и угрюмый,
Твой скорби полный взгляд с холма вперяешь в даль?
Почто орлиный взгляд подернут тяжкой думой,
И празден твой колчан, и пыль покрыла сталь?

Осман! ты страшен был врагам в пылу сражений,
Когда твой острый меч, предвестник лютых бед,
Как язва лютая, как разрушитель-гений,
По трупам пролагал победы славный след!
Ты грозен был, Осман, когда, на холм высокий
С дружиной устремясь, симун в полете злом,
В крови твоих врагов багрил кинжал широкий;
Но сброся острый меч и тяжкий сняв шелом,
Ты был краса пиров, Осман голубоокий!
Я помню юных дев, — их неподвижный взор
В пирах к тебе, Осман, невольно устремлялся,
В движеньях, в их очах огнь страсти прорывался,
Желанья тайного понятный разговор.

Почто ж, Осман, один, безмолвный и угрюмый,
Твой скорби полный взгляд с холма вперяешь в даль?

Почто орлиный взгляд подернут тяжкой думой,
И празден твой колчан, и пыль покрыла сталь?

Что вижу? твой гарем вокруг объемлет пламя,
Твердыни погребли позор любимых жен;
О ужас! над луной взвевает вражье знамя,
Народ погиб мечом, вожди познали плен.

Рогдай! к победам вновь твоей дружины смелой,
Предтечей гибели, не поведет Осман;
Погибнет в праздности твой конь осиротелый,
Источит ржавчина звенящий твой колчан;
И дева роскоши, с приветливой улыбкой,
Твой стан, твой легкий стан обняв рукою гибкой,
Не поднесет к устам дымящийся кальян.

(1824)

263. К МЕТЕЛЛИЮ

Нет! лучше соглашусь, судьбой, людьми забвенный,
В песчаной Ливии влачить мой век презренный;
Иль с бедным рыбарем, спуская утлый челн,
Трапе́зу скудную испрашивать у волн,
Чем каждый день встречать злодеев сонм веселый!

Метеллий! помоги узнать римля́н и Рим!
Твой Муций в рубище, оставлен и гоним;
Он презрен, осужден, — тогда как Флакк дебелый,
При плесках почестей, с красивого коня
Взор покровительства бросает на меня!
Погибни навсегда воспоминанье дня,
Когда в крови, в пыли, весь язвами покрытый,
Твой Муций проложил путь чести знаменитый!
Метеллий! помнишь ли день римского стыда,
Когда покрыли Тибр враждебные суда,
Когда патрициев кровавая измена
Приблизила к стенам злодейские знамена?

Где был тогда сей Флакк? среди трусливых жен,
Не он ли звал к себе постыдный рабства плен?
И, с воплем охватя домашнего пената,
Не он ли обнимал, рыдая, слитки злата?
О, римлян доблестных бесчестье и позор!
Я помню вид его и унижённый взор!
Еще вдали от стен кипела сеча брани,
А он вздевал к богам трепещущие длани,
И жен, и робких жен усугубляя страх,
Язык коснеющий мертвел в его устах!

Где ж правда? где ж трудов стяжанье и награда?
Отчаянье в полях, коварство в недрах града,
И веси отцвели, как в осень злак полей.
Едва, в поту лица, в кругу своих детей,
Полвека протрудясь над непокорной нивой,
Осмотрит свой запас старик трудолюбивый
И, в скирды уложив стараний тяжких плод,
Довольный, оботрет с чела кровавый пот, —
Как алчность вечная несытого владельца
Пожрет надежду, труд и счастье земледельца.
Закона глас молчит! под сень его злодей
Спокойно кроется от дремлющих судей.

О! скоро ль гром небес, сей мститель справедливый,
Злодейства сильного раздастся над главой,
Исчезнет власть твоя, диктатор горделивый,
И в Риме процветет свобода и покой?
Метеллий! доживу ль минуты толь счастливой?
Иль кончу скорбный век среди *римля́н рабов*?
Нет, нет! настанет день. Свободный от оков,
Как аравийский конь при звуках близкой брани,
Воспрянет римлянин, мечом в кровавой длани
Омоет свой позор и стыд своих отцов!
И скоро! Но дотоль, спокойный и безвестный,
Наследья скромного сокроюсь в угол тесный,
И там, вдали сует, вблизи домашних лар,
Свободой и собой твой Муций насладится,
Доколь настанет день, доколь не разразится
Отмщенья грозного решительный удар.

⟨1824⟩

264. ДРУГУ-УТЕШИТЕЛЮ

Элегия

Тебе ль понять мое мученье
И иссушить источник слез?
К чему мне дружбы утешенье?
Оно вечерний луч небес,
И благотворный и отрадный,
Когда он блещет, серебрит
Увековеченный гранит,
Но не согреет камень хладный.

Привыкши быть с моей тоской,
Я раздружился с упованьем;
Издавна цепью роковой
Ее жестокий жребий мой
Связал с моим существованьем;
Исчезну я, как призрак сна,
Как искра яркая на снеге,
Как в шуме бранном тишина,
Как одинокая волна,
Забыта бурею на бреге.

⟨1826⟩

265. Щ⟨ЕРБИНСКОМ⟩У

Дай руку мне, товарищ мой!
Пойдем, пойдем навстречу рока!
Поставим твердою душой
Против завистника порока
Дела, блестящие собой.
И верь мне, зависть оробеет
Пред добродетелью прямой,
Как ночь осенняя бледнеет
Перед румяною зарей.

⟨1826⟩

266. УКРАИНА

Я всё люблю в тебе: и злак твоих полей,
И полдень пламенный, и в роскоши ночей
Певца весеннего на яблоне ветвистой,
И селы мирные в тени твоих садов,
И запах лип твоих, и дев, и воздух чистый,
И песни поселян на ниве золотистой,
И первую души моей любовь.

⟨1826⟩

267. РОДИНА

Гонимый гневною судьбой,
Давно к страданьям осужденный,
Как я любил в стране чужой
Мечтать о родине священной!
Я вспоминать о вас любил,
Мои младенческие годы,
И юной страсти первый пыл,
И вьюга русской непогоды!

И я опять в стране отцов,
И обнял я рукою жадной
Домашних пестунов-богов;
Но неприветлив мрамор хладный,
И не приют родимый кров!
Простите ж, сладкие мечтанья
Души обманутой моей;
Как сын беды, как сын изгнанья,
По зыбкой влажности морей
Ветрилам легких кораблей
Препоручу мои желанья.

⟨1826⟩

268. РОТЧЕВУ

Велико, друг, поэта назначенье,
Ему готов бессмертия венец,
Когда живое вдохновенье
Отчизне посвятит певец;
Когда его златые струны
О славе предков говорят;
Когда от них сердца кипят,
И битвой дышит ратник юный,
И мать на бой благословляет чад.

Души возвышенной порывы
Сильнее власти роковой.
Высоких дум хранитель молчаливый,
Он не поет пред мертвою толпой,
Но избранным приятна песнь Баяна,
Она живит любовь к стране родной,
И с ней выходит из тумана
Заря свободы золотой,
Боготворимой, величавой.
О, пой, мой бард, да с прежней славой
Нас познакомит голос твой,
Но не лелей сограждан слуха
Роскошной лютнею твоей:
Они и так рабы страстей,
Рабы вельмож, рабы царей,
В них нет славян возвышенного духа
И доблести нетрепетных мужей.

Они ползут к ступеням трона,
Им лесть ничтожная дана.
Рабов воздвигнуть ото сна
Труба Тиртеева нужна,
А не свирель Анакреона.

1827

269. Х.......У

Так, друг мой, так, бессмертен тот,
Кто богом обречен для славы,
Чей дух, как явор величавый,
Несокрушим от непогод.
Его удел, в разврате века,
Гоненье, ненависть, укор;
Но верь мне, вечно светел взор
С душой бесстрашной человека!
И в униженьи он велик:
Сократ в последнюю минуту
Душою твердой не поник
И выпил весело цикуту.
Ему ль пред смертью трепетать?
Он горд, он жалости не просит;
Великой истины печать
Он на челе высоком носит,
И славы грозные дела
В веках грядущих он читает,
И зависть, и ехидну зла
Ногой безвредно попирает.

⟨1828⟩

270. БАРД НА ПОЛЕ БИТВЫ

Склонялся день; один с своей тоскою,
С мечом зазубренным и лирой боевою,
Среди друзей, добычи метких стрел,
Печальный бард задумчиво сидел.
Его ланит не орошали слезы,
И персей вздох не волновал;
Но взор певца, как взор угрозы,
На трупах отдыхал.

Он пережил сынов своей отчизны,
И суждено певцу веселых дней
Свершить обряд печальной тризны
На трупах тлеющих друзей.

И он поет им песнь прощанья,
И тихий глас его уныл,
Как в полночь ветра завыванья
Среди чернеющих могил.

«Погибли вы, дружины славы,
Питомцы грозные побед!
Исчез ваш подвиг величавый,
Как легкий сокола полет,
Как в воздухе орлиный след;
Я помню вас в пирах веселых,
На поле чести помню вас:
Я гибель злым читал не раз
На челах мстительных и смелых;
Но вы погибли, ваш удел
В руках судьбы отяжелел!»

Так пел певец. В его душе лежала
Неодолимая тоска,
И на струнах его рука
Немела и дрожала;
И року буйственный укор
Изображал певца унылый взор.

Он вам завидовал, вам, падшие на брани!
Вам, мстители за край своих отцов!
За иго рабское, за дани —
Благодеянья пришлецов.

И взор его воспламененный
По хо́лмам дальным пробежал;
Он струнам арфы вдохновенной
Восторг душевный передал:

«Ко мне из мрачного Аида!
Нам вождь — и мщенье, и обида,
И стон друзей, и слезы жен,
И угнетенных слабый ропот,
И победивших наглый хохот,
И наших дев позорный плен.
Пусть бурной непогодой веет
Ваш дух во вражеских рядах;

Пусть бегство стыд напечатлеет
На их бесславных знаменах!
Тогда, певец побед и чести,
На их разбросанных костях
Прославлю дух правдивой мести;
Родится жизнь в моих струнах,
И голос барда, голос смелый,
Из края в край промчит молва,
И незабвенные слова
Услышат дальние пределы».

Потухнул день, замолк певец,
Восторженный великой думой;
Казалось, взор его угрюмый
Искал страдальческий венец;
Он вызывал погибших к битве новой,
Но вкруг него сон мертвый повевал,
И тщетно глас его суровый
О славе мертвым напевал.[1]

⟨1828⟩

271. ТРИ СЛОВА, ИЛИ ПУТЬ ЖИЗНИ

«Тяжка мне, страдалец, кручина твоя,
Приятно помочь в огорченье, —
Но помни три слова, в них тайна моя:
Надежда, готовность, терпенье.
Без них ты собьешься с дороги в степи
И цели твоей не достигнешь,
Иль в мрачной темнице, на тяжкой цепи,
Печальною жертвой погибнешь.
Уж многих я видел в дремучих лесах,
Все мчались к таинственной цели;
Но скоро их обнял и трепет и страх,
И кости гостей забелели».

---

[1] Отрывок сей взят из одного старинного испанского романа, содержание которого относится ко времени владычества мавров в Испании.

И путник-страдалец свой крест лобызал,
И дальше пустился в дорогу;
Он помнил три слова, их старец сказал,
Три слова, приятные богу.
И путник сокрылся в туманной дали;
Три слова — и в прах привиденье,
И к цели желанной его довели
Надежда, готовность, терпенье.

⟨1828⟩

272. ЭЛЬФА

Лес. Ночь.

Сова

Ненавистное светило
Скрылось дальнею горой.
Мне приятен мрак ночной;
Широко расправлю крила,
Пролечу между дерев, —
Пусть услышат мой напев
Над пустынною могилой.

Хор птиц

Как хорош совы напев
Над пустынною могилой!

Ворон

Черен, как душа злодея,
В час полночи встрепенусь,
Выше леса подымусь;
С длинных крыльев хладом вея,
Рассеку ночную тьму,
Сяду, крикну на дому
Беззаботного злодея;
Пусть вздрогнёт он: житель скал,
Черный ворон прокричал.

Хор птиц

Горе, горе! житель скал,
Черный ворон прокричал!

Эльфа

Летите прочь; не пойте страшных песен.

Сова

Разве лес обширный тесен?
Не мягка у нас трава?
Разве петь не могут песен
Черный ворон и сова?

Хор птиц

Разве лес обширный тесен?
Не мягка у нас трава?
Разве петь не можем песен
Мы, и ворон и сова?

Орел

Умолкните, питомцы мглы!
Иль быстрый, как полет стрелы,
Взовьюсь под громовые тучи,
Бедой над вами поплыву,
Сожму в когтях моих сову
И на зеленую траву
Посыплю пух ее летучий.

Ворон

На радость нам дается ночь:
Орел, не улетим мы прочь
До поздней, темной полуночи.

Орел

Молчи, искатель темноты!
Я дерзко устремляю очи
К светилу горней высоты;
На тучах гнезда я свиваю,
В раскатах грома я пою,
Браздой перуна обвиваю
Главу бесстрашную мою;
В заре купаюсь, и свободный
В степях надоблачных парю;
Так замолчи же, ворон черный,
Иль кровью перья обагрю.

Хор птиц

В заре купается орел,
Он вьет гнездо в громовой туче,
Ему венок перун всежгучий,
И свод небес его удел;
Исчадья ночи, дети тьмы,
Перед орлом замолкнем мы.

(Улетают.)

Эльфа

О, где мой рай, где светлые подруги,
Сотканные из радужных лучей?
Сладка их жизнь, и сладки их досуги!
Легче легких мотыльков,
Эльфы вьются над поляной,
Исчезают в вышине,
И в лучах зари румяной
Дружно резвятся оне.
Пища эльф — дыханье розы;
Их одежда — травки тень;
На листке Авроры слезы —
Их купальня в жаркий день.
Резвитесь вы! мне не резвиться с вами:
Тяжелая лежит на мне вина;
Хочу взмахнуть эфирными крылами,
Хочу лететь и слиться с облаками,
Но на землю влечет меня она!

Орел

Эфирная дева, напрасны стенанья:
Наш лес безответный не слышит тебя.
Льешь слезы — их жадно глотает земля;
Вздыхаешь, но громче совы завыванья,
И ветер пустынный, и говор ручья.

Эльфа

Подруги услышат! я знаю, оне
Свились надо мною в ночной тишине;
Я слышу их песни в дрожащем листке,
Я вижу, их очи блестят в ручейке.

Пусть ветры бушуют, пусть воет сова:
Подруги мне шепчут надежды слова.

Хор незримых эльф

Отчужденная от рая,
Плачет Эльфа молодая
О жилище светлых дев.
Справедлив владыки гнев!
Он сказал: пусть Эльфа стонет,
Пусть во сне и наяву
Слезы горестные ронит
На зеленую траву,
На листки пустынной розы, —
Зарумянится заря
И подымет девы слезы
К трону вечного царя.

Эльфа

О! как мой слух лелеет голос милый!
Спуститеся, коснуться вас хочу;
О! дайте мне божественные крилы,
Взовьюсь и полечу!

Хор незримых эльф

Не смертным знать тайны природы,
В удел им дана слепота.
Пусть смотрят на землю и воды
И небо глазами крота.

Пусть смотрят на землю: увидят ли в ней
Живущее племя бессмертных огней?
Нет, гномы незримы для бренных очей.

Пусть смотрят на воды: поток-исполин
Клубится и скачет по скату долин,
И в нем златовласых не видят ондин.

Ты ж открыла смертной деве
Тайну бытия земли,
И судьбы, в правдивом гневе,
Приговор произрекли:

Эльфа, изгнана из рая,
Как гонимый ветром пух,
Как проклятый небом дух,
Невидимо в край из края
За вину свою блуждая,
На тоску осуждена.
Всюду с нежною любовью
Вновь родившихся она
Нянчить и любить должна;

Но нежный младенец, взлелеянный ею,
От ней же погибнуть судьбой осужден —
Таков непреложный закон!

Лес. Солнце всходит. Эльфа при колыбели.

Приветствую тебя, горящее светило,
Небесных тел краса, желанный гость земли,
Ты отягченну сном природу пробудило,
Тобою жизнь зажглась в бесчувственной пыли!
Приветствую тебя, прекрасное светило.
От восхода до заката
Полилися, потекли
Волны огненного злата,
Твердь небесную зажгли;
Отразились, запылали
На гранитном теме гор,
И слились, и разостлали
Пышный на землю ковер.
Ты спишь, дитя? сладка твоя дремота,
Не возмутит ее зловещий сон,
Не сокрушит томящая забота;
Чем, малютка, винен он?
Для чего родимой груди
Он лишиться осужден?
Закон суровый начертали люди;
Бог начертал естественный закон.

(Срывает ветку и обмахивает дитя.)

Спи, мой малютка,
Эльфа с тобой;
Эльфа отгонит черную мошку
Белой рукой;

В полдень заслонит
Тихо, тихонько
Веткой густой;
Спи, мой малютка,
Эльфа не дремлет,
Эльфа с тобой.
Смотрю, бывало, светлыми очами
И вижу всё: лечу, несусь
Под облака воздушными путями
И там с подружками резвлюсь,
То на цветке беспечная качаюсь,
То с соловьем перекликаюсь,
Маня его и притаясь.
Теперь нет крил, не вьюсь под облаками,
Не тешусь, легче ветерка летя.
Спи, малютка, спи, дитя,
Я душистыми листами
Устелю твою постель,
Я поставлю колыбель
Между свежими цветами,
С васильков сберу росу,
С ульев меду принесу,
Я росой тебя умою,
Сладким медом накормлю,
И тихонько над тобою
Песенку спою.

Дитя просыпается.

Невинного как сладко пробужденье!
Не так ли первый человек взглянул
На солнце в первое мгновенье?
Опять заснул!

⟨*1829*⟩

273. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Незваный гость на пире света,
Я встретил жизни у дверей
Холодность гордого привета
Меня чуждавшихся людей.

Я покраснел, взошед без зова,
И вышел, и за мною снова
Вином заискрился бокал,
И каждый пел и пировал...
Но имя гостя убылова
Никто в пиру не вспоминал.

⟨1830⟩

274. ЖИЗНЬ

Элегия

Родился я, и грудью нанятою
Меня чужая выкормила мать,
И, колыбель качая с сиротою,
Ленивая, старалась усыплять.

Я отроком не знал родных объятий,
Наставником наемник мне служил,
И жар небесной, чистой благодати
При нем мне чужд и непонятен был.

Я возмужал: как путник в час полночи,
Брел ощупью неведомым путем;
Но в мрак ночной вотще вперяя очи,
Всё более тонул, терялся в нем.

И вот теперь я, старец поседелый,
Как истукан, над бездною стою, —
Но страха нет в душе оледенелой:
Над бездной песнь последнюю пою!

⟨1831⟩

275. АГРИППИНА

На гладком озере играли
Лучи серебряной луны,
И весла мерно рассекали
Поверхность дремлющей волны.

Склонясь на ткани дорогие,
Горда, как молодой орел,
Когда впервые он взлетел,
Взвился под тучи громовые
И устремил довольный взор
На мрак лесов, на темя гор,
Лежала молча мать Нерона.
Трирема тихо с ней плыла,
И молодая Ацерона
К ногам царицы прилегла.
Сбылись желанья, Агриппина!
Британик встретил свой конец;
Ты на чело младого сына
Взложила Августов венец,
И твой Нерон тебя ласкает,
Нечистых уст коснулась ты, —
Он так усердно выполняет
Твои блестящие мечты!
Весь мир есть твой, и без преграды
Ты жизнь и смерть с собой несешь,
И се — на торжество Паллады,
Нероном званая, плывешь.
Лежала молча мать Нерона,
Трирема медленно плыла,
И молодая Ацерона
К ногам царицы прилегла.
Но кормчий бдительный не дремлет,
Во мраке взор его горит.
Чему так пристально он внемлет?
Кого так чутко сторожит?
К богам прибегни, Агриппина!
Прострись, молящая, в слезах,
Да избежишь объятий сына,
Тебе отверстых в сих волнах...
Но поздо! подан знак условный —
Ты узнаешь ли сына, мать?..
И расступившиеся волны
Над судном сдвинулись опять.

⟨1831⟩

276. ИЗ ГЕТЕВА «ФАУСТА»

Директор театра

В моих заботах и печали
Вы мне нередко помогали;
Скажите ж мненье ваше мне:
Успешно ль в этой стороне
Пойдут дела? а мне б желалось
Толпу народа приманить,
Чтоб множество ко мне сбегалось,
И всех путем повеселить.
Уже готово возвышенье,
В партере зрители сидят,
Молчат и пристально глядят,
И ждут — чудес на удивленье.
Скажу вам правду про себя:
Я мастер угождать народу,
Сегодня ж в затрудненьи я:
Хотя хорошего он сроду
Не постигал и не видал,
Но бездну книг перечитал.
Откуда ж новых впечатлений
И свежих мыслей наберем?
И как от сильных потрясений
Его на радость наведем?
Мне, признаюсь, весьма приятно,
Когда валит ко мне народ
И ждет билета у ворот,
Как будто пищи благодатной
Пришел просить в голодный год.
А всё поэт! он дивной силой
Творит такие чудеса!

(Поэту)

Прошу ж покорно вас, мой милый,
Почудесите два часа.

Поэт

Не вспоминай мне о толпе презренной:
Она восторг души моей мертвит;
Сокрой меня от черни ослепленной:
Она певцу насильно петь велит;

Но поведи к обители священной,
Где луч бессмертья для певца горит,
Туда, где дружба и любовь святая
Душе его готовят негу рая.
Толпа чужда высоких вдохновений,
Язык богов непостижим для ней;
Для кратких он не сотворен мгновений,
Невнятен он и чуден для людей.
Сквозь мрак веков проникнуть должен гений,
Чтобы облечься красотой своей.
Блестящее живет одно мгновенье,
Изящное — потомков удивленье.

Комик

К чему потомков вспоминать,
А современных презирать?
Кто слепо черни угождает,
Того и чернь не огорчит;
Кто круг деяний расширяет,
Тот и успех свой ускорит.
Так, с богом! Начинайте смело,
На сцену выводите нам
Фантазию со свитой целой,
С рассудком здравым пополам,
С умом, желаньями, страстями,
Надеждой, страхом, чудесами,
Лишь бы дурачество и блажь
Могли вы приютить туда ж.

Директор

И не жалейте происшествий, —
От них зависит ваш успех;
Побольше перемен и действий,
И угодите вы на всех.
Толпу чудес толпе народной
Представьте кучею огромной —
Пусть каждый часть свою возьмет,
Пусть выбирает что угодно
И удовольствован идет.
Разбив на части сочиненье,
Писать гораздо легче вам,

Притом, хоть целое творенье,
А всё растащат по клочкам.

Поэт

Наемника презренные расчеты!
Прямой поэт не постигает их.
Мне жаль, что выгод мелочных
Вы полюбили обороты.

Директор

Упреком я не оскорблен,
И слишком твердо в том уверен,
Что если кто успеть намерен,
Тот будь проворен и умен.
Подумайте, зачем так много
И для кого трудитесь вы?
И кто потом, ценитель строгий,
Раздаст хулы иль похвалы?
Один к нам тащится без цели,
Другой чуть встал из-за стола;
Тому наскучили дела,
Тому веселья надоели.
Без дальних мыслей, наугад
К нам все бегут, как в маскарад.
И что вам грезится, поэты?
Пиеса ваша принята,
И все разобраны билеты,
И все наполнены места.
Но присмотритеся поближе:
Кто ваши зрители, певцы?
В партере — черствые глупцы,
И в ложах — чуть ли не они же.
К чему ж терзать Парнасских дев?
Поверьте мне, перемените
Ваш поэтический напев;
Пишите только и пишите,
Туманьте зрителей умы, —
Рукоплесканья вам награда,
И все довольны будем мы.
Но что? печаль или досада
Волнует вас?

Поэт

Ищи себе слугу —
Наемника! служить тебе не стану,
И не хочу и не могу!
Певцу ль лишить себя свободы
Для угожденья твоего?
В нем жар души, высокий дар природы!
Он шутовством унизит ли его?
Стихии чем он побеждает?
Чем потрясает он сердца?
Гармонией! она живет в груди певца,
Из ней потоком сладким истекает
И всех сердца собой обворожает.
Когда нить вечная бежит из рук
Природы хладной и спокойной,
Когда всей твари глас нестройный
Сливается в неясный гул и звук,
Кто разделить умеет нить прямую?
Кто раздробить умеет гул глухой
И, сжав слова в гармонию святую,
Созвучием связать их меж собой?
Кто бурей страсти воздвигает?
Кто ум зарей вечерней озаряет?
Кто мучит и волнует грудь
И милой девы путь
Весенними цветами устилает?
Заслугам кто плетет венец,
Беседует с бессмертными богами?
Кто одарен небесными дарами?
Певец!

Комик

Так напрягите ж ваши силы,
И как любовник с девой милой,
Так будьте вы с поэзией своей.
Сначала он случайно к ней подходит,
Потом дивится ей,
Потом влюблен и бога в ней находит.
Всмотритесь только в жизнь людей;
Берите всё, что ни попало,
На сцену выставьте потом.

Иной живет и очень мало,
А всё годится быть комическим лицом.
Картину пеструю представьте
И заблуждений, и страстей,
Немного ясности прибавьте
И искру правды дайте ей.
Тогда к вам юность устремится
И старость дряхлая придет,
И наслажденье насладится,
И пищу грусть себе найдет.
И каждый, постигая чувство,
Его которое живит,
Рукоплесканьем наградит
Певца чудесное искусство.
Они, не знав изящному цены,
Хотят иль плакать, иль смеяться;
Наружным блеском веселятся
И любят прелесть новизны.
Тому, кто век свой доживает,
Ничем не можно угодить;
Кто ж мысль в грядущее вперяет,
Вам благодарен должен быть.

Поэт

Отдай же мне златые годы,
Когда я сам в грядущем жил;
Когда, беспечный сын природы,
Я сладость песен полюбил;
Когда они из юной груди
Лились кипящею струей;
Когда туманом мир и люди
Сокрыты были предо мной;
Когда веселою рукою
Срывал душистые цветы
И был доволен сам собою,
И был богат средь нищеты —
Влеченьем к истине высокой,
Мечтами дивными богат!
Отдай же мне, отдай назад
Мое мучительное счастье,
И силу чувств, и огнь любви,
Весь прежний жар моей крови

И прежний пламень сладострастья —
Отдай мой рай, отдай мой ад,
Отдай мне молодость назад!

⟨1831⟩

277. ПРОЗАИКУ

Видал ли ты Вандиковой Мадонны
Прекрасные, небесные черты?
Моцартовы пленительные тоны
Слыхал ли ты?

Видал ли ты роскошный берег Крыма?
Слыхал ли ты, как о его гранит
Седой хребет волны неукротимой,
Дробясь, шумит?

Видал ли ты младенца в колыбели?
Всмотрелся ли в невинные черты?
И что ему невидимые пели,
Слыхал ли ты?

Нет? Так иди ж дорогою печальной,
Земли пустынной бесприютный сын,
И по скалам, к твоей отчизне дальной,
Бреди один.

Ты не видал Вандиковой Мадонны,
Ты не постиг небесной красоты;
Моцартовы пленительные тоны
Не понял ты!

⟨1832⟩

278. К ЭМИЛИЮ

(Отрывок)

Куда сокрыться мне от тяжкого мученья?
Везде встречаю лесть и вижу преступленья,

И зависть тощую под маской доброты,
И глупость, и позор, и злость, и клеветы!

Эмилий, помнишь ли, как часто в шуме света
Я, грустный, тосковал о роскоши полей,
Где вьется ручеек, где свищет соловей,
Где всё приветствует пустынного поэта?
Безумный, я мечтал в таинственной глуши
Найти прямых людей, найти покой души.
И что же там нашел? В полях такие ж люди,
И здесь подвластные велению судьбы,
Они в ничтожестве страстей своих рабы!
Нет, лучше во сто раз злодей с душой коварной,
И бледный клеветник, и друг неблагодарный,
Которых черные, презренные дела
Давно душа моя сочла и поняла,
Чем скучный властелин курной своей деревни,
Который от утра и до зари вечерней
Своим безжизненным, лоснящимся лицом
Морит политикой, приветами, вином,
И даже в самый час желанного прощанья
Гремит уставший слух жестоким *до свиданья*!
Что сделал я ему? за что такая злость?
Иль, скромной хижины давно желанный гость,
Покинул навсегда я обольщенья света,
Чтоб быть игрушкою безмозглого корнета?
Какие быть со мной имеет он права?
Чем сердце занято? полна ли голова?
Встречал ли грудью смерть он на полях Беллоны?
Раскрыл ли мудрые блюстителей законы
В подпору слабому, в защиту правоты,
Иль слезы горестной, бездомной сироты
Он любит осушать рукой благодеянья?
Или труды его и редкие познанья
Открыли новый свет обширному уму?
Нет — мать-покойница оставила ему
Три сотни мужиков, измученных и бедных,
Портреты прадеда и деда в рамках медных,
Тупую голову с ничтожною душой
И спесь помещичью, а книги ни одной.
Воспитанный в глуши, не зная — что́ науки,
Он часто в праздности сидел поджавши руки

Или со стаею борзых и гончих псов
Топтал на пажитях посевы мужичков.
Меня приязнию он мучит неотступной,
Хоть пошлый я глупец в его беседе умной.
О, сколько, милый друг, людей подобных есть,
Которым дикие названья: ум и честь,
У коих спит душа, у коих в каждом слове
Иль подлость новая, иль глупость наготове.
Как часто в их кругу, терпенье потеряв,
Я должен нарушать приличия устав;
Как часто им твержу: помещик справедливый
Для зайца сельские не разоряет нивы,
У вверенных ему не отнимает сна
И податьми своих не тяготит владений,
Затем чтоб проводить часы беспечной лени
За чашей пенистой шампанского вина...
Он святотатственной не осквернит рукою
Невесту скромную, идущую к налою,
Не развратит рабы подвластного раба,
Тем больше что ее в руках его судьба...
Но тщетен весь мой труд, и там худой успех,
Где правда строгая рождает только смех.
Я слышу шепот их: «Какой чудак брюзгливый!»
И снова от меня с собаками на нивы.

⟨*1832*⟩

279. Ф. Н. Г⟨ЛИНКЕ⟩

В Аравии, под зноем лета,
Усталость, жажду и тоску
Влачит поклонник Магомета
По раскаленному песку;
Но далеко святая Мекка,
А тут ни тени, ни воды,
Тут запустения следы
Напечатлелися от века;
Тут жизни нет — и, утомлен,
У неба смерти просит он!
Но вот оазис! И унылый
Последние сзывает силы

И привстает: «Туда! туда!
Там тень, и травка, и вода,
Там есть и место для могилы!»

Друг! есть оазис и для нас!
Рука таинственной святыни
Нас извлечет, в урочный час,
Из раскалившейся пустыни!
Но как, одним ли мы путем
С тобой до цели добредем?
Возьми ж с собою в путь далекий
Мои пророческие строки:
Тебя послал предвечный бог
Жнецом на жатву просвещенья,
И сам он грудь твою облек
Броней холодного терпенья,
И будет сам вождем твоим
К высокой цели, где с тобою,
Спасенны промыслом святым,
Мы обновленною душою
Его дела благословим!

⟨1832⟩

280. ДЕМОН

К. К—у

Бывает время, разгорится
Огнем божественным душа!
И всё в глазах позолотится,
И вся природа хороша!
И люди добры, и в объятья
Они бегут ко мне как братья,
И, как любовницу мою,
Я их целую, их люблю.
Бывает время, одинокий
Брожу, как остов, меж людей,
И как охотно, как далёко
От них бежал бы в глушь степей,
В вертеп, где львенка кормит львица,

Где нянчит тигр своих детей,
Лишь только б не видать людей
И их смеющиеся лица.
Бывает время, в мраке ночи
Я робко прячуся от дня,
Но демон ищет там меня,
Найдет — и прямо смотрит в очи!
Моли, мой юный друг, моли
Творца небес, творца земли,
Чтобы его святая сила
Тебя одела и хранила
От ухищренной клеветы,
От ядовитого навета,
От обольщений красоты
И беснования поэта.

Сентябрь 1832

А. Г. РОТЧЕВ

Александр Гаврилович Ротчев (1806—1873),[1] сын скульптора, в 1822—1829 годах (с перерывами) учился на нравственно-политическом отделении Московского университета и по своим личным и литературным симпатиям принадлежал к кругу А. И. Полежаева. В 1826 году он подозревался в сочинении вместе с Полежаевым антиправительственных стихов. Связь его с Полежаевым сохранилась и позднее; в 1829 году Полежаев прислал на его имя свое стихотворение «Видение Валтасара» для напечатания в «Московском телеграфе».[2] Ротчев был связан и с оппозиционными студенческими кружками (с братьями Критскими, Шишковыми). В 1827 году он был взят под надзор полиции за сочинение аллегорического стихотворения о дубе и атлете, в котором был усмотрен намек на самодержавие.[3] Печатался Ротчев в «Атенее», альманахах, но преимущественно в «Галатее» и «Московском телеграфе»; в 1829 году он был втянут в резкую полемику Раича с Полевым и перестал сотрудничать в «Галатее». Помимо политических стихов, почти целиком до нас не дошедших, Ротчев пробовал свои силы в области любовной лирики («Вакханка», 1826; «Соломон», 1829; «К молодой девушке», 1829) и в переводах-вариациях, преимущественно из Байрона («Разбитие Сеннахерима», 1826; «Мелодия» (подражание Байрону), 1826; «Тьма», 1828). Под влиянием «Еврейских мелодий» Байрона и отчасти Полежаева у Ротчева вырабатывается стиль романтического ориентализма, типичного для поэзии 1830-х годов; для его стихов характерен

---

[1] В указателе Н. М. Затворницкого — 1807 г. (См.: «Столетие военного министерства. 1802—1902», т. 3, отд. 5, СПб., 1909, с. 272).

[2] «Литературное наследство», 1954, № 59, с. 113; «Московский телеграф», 1829, № 13, с. 127.

[3] В. Шадури, Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии, Тбилиси, 1951, с. 122.

экзотизм, эмоциональная напряженность; в то же время они сохраняют символико-аллегорическую основу аллюзионной политической поэзии 1820-х годов. Одновременно Ротчев выступает как театральный переводчик; с середины 1820-х годов в печати и на сцене систематически появляются его переводы и переделки из Шиллера («Мессинская невеста», 1829; «Вильгельм Телль», 1829; «Орлеанская дева», 1831), Шекспира («Макбет», с немецкого, 1829), Гюго («Эрнани», 1830; «Кромвель», 1830) и др. Переводы Ротчева были предметом полемики, с диаметрально противоположными отзывами; положительно оцениваемые в «Северной пчеле» и «Московском телеграфе», они подвергаются постоянным и очень резким нападкам в «Телескопе», как отличающиеся «неслыханным неуважением к оригиналу». За переводы драм Шиллера Ротчев, впрочем, 15 марта 1829 года был избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. Исключительная плодовитость Ротчева в значительной мере объяснялась его постоянной потребностью в литературном заработке В 1828 году он женился на княжне Е. П. Гагариной; этот мезальянс едва не привел к общественному скандалу. Е. П. Гагариной посвящены и его «Подражания Корану», вышедшие отдельным изданием в 1828 году, но печатавшиеся в журналах ранее, с 1826 года, сразу вслед за выходом первых пушкинских «Подражаний». В «Подражаниях Корану» Ротчев учитывает как опыт своих переводов из Байрона, так и «декабристских» аллюзионных стихов, выбирая для поэтической интерпретации те суры корана, которые давали возможность применений к современной социальной жизни (о социальном неравенстве, гонениях за веру, грядущем торжестве справедливости и т. д.); в них проходит мотив утопического «золотого века» и характерная эсхатологическая тема, развиваемая затем русской поэзией 1830-х годов. Эсхатологические мотивы в свойственной Ротчеву аллегорической трактовке достигают апогея в серии его переводов из «Апокалипсиса» («видения Иоанна»), которые должны были, по-видимому, также составить цикл.

В начале 1830-х годов поэтическая деятельность Ротчева, по существу, оканчивается. В 1830 году он переезжает в Петербург, где поступает на службу в контору императорских театров копистом и исправляющим обязанности переводчика, а в 1835 году переходит на службу в Российско-Американскую компанию. В 1835—1842 годах он совершает заграничные плавания в качестве комиссионера компании, проводит некоторое время в Калифорнии (где, между прочим, управляет известным поселком «Росс») и печатает ряд статей о своих путешествиях (1835—1850-е годы). В 1842 году Ротчев вышел в от-

ставку, но с 1850 года вновь служит в разных департаментах и редакциях газет — «Русского инвалида» (1857—1858), «Северной почты», «Ведомостей Санкт-Петербургской городской полиции» (1862—1866), «Петербургского листка» (1867). В 1869—1871 годах Ротчев опять за границей и помещает в газетах корреспонденции о франко-прусской войне. В последние годы жизни участвовал в издании «Туркестанских ведомостей» (1870) и редактировал «Саратовский справочный листок» (1872—1873), куда привлек круг молодых способных литераторов. Скончался Ротчев в Саратове 20 августа 1873 года.[1]

281. ПЕСНЬ ВАКХАНКИ

Лицо мое горит на солнечных лучах,
И белая нога от терния страдает!
Ищу тебя давно в соседственных лугах,
Но только эхо гор призыв мой повторяет.
О милый юноша! меня стыдишься ты...
Зачем меня бежишь? вглядись в мои черты!
Прочти мой томный взгляд, прочти мои мученья!
Приди скорей! тебя ждет прелесть наслажденья.
Брось игры детские, о юноша живой;
Узнай, — во мне навек остался образ твой.
Ах, на тебе печать беспечности счастливой,
И взор твоих очей как девы взор стыдливый;
Твоя младая грудь не ведает огня
Любви мучительной, который жжет меня.
Приди, о юноша, прелестный, черноокий,
Приди из рук моих принять любви уроки!
Я научу тебя восторги разделять,
И будем вместе млеть и сладостно вздыхать!..
Пускай уверюсь я, что поцелуй мой страстный
В тебе произведет румянца блеск прекрасный!
О, если б ты пришел вечернею порой
И задремал, склонясь на грудь мою главой,
Тогда бы я тебе украдкой улыбалась!
Тогда б я притаить дыхание старалась.

⟨*1826*⟩

---

[1] См.: Б. Модзалевский, Ротчев А. Г. — «Русский биографический словарь», Пг., 1918, с. 313; В. Безъязычный, «Он был человек...». — «Волга», 1970, № 12, с. 177.

282—288. *ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ*

1

Клянусь коня волнистой гривой
И брызгом искр его копыт,
Что голос бога справедливый
Над миром скоро прогремит!

Клянусь вечернею зарею
И утра блеском золотым:
Он семь небес своей рукою
Одно воздвигнул над другим!

Не он ли яркими огнями
Зажег сей беспредельный свод?
И он же легкими крылами
Парящих птиц хранит полет.

Когда же пламенной струею
Сверкают грозно небеса
Над озаренною землею —
Не бога ли блестит краса?

Без веры в бога мимо, мимо
Промчится радость бытия:
Пошлет ли он огонь без дыма
И дым пошлет ли без огня?

2

О Магомет! благое слово,
Как древо пальмы, возрастет:
Его услышав, твой народ
Да укрепится силой новой!
Мной послан дивный Соломон, —
Да озарит он землю светом, —
И в сердце, мною разогретом,
Ко мне горел любовью он;

Ему, избранному со славой,
Созданья тайну я открыл;
Ему я бурю покорил;
Безгласен стал пред ним лукавый:
Он погружался в глубь морей
По мановенью Соломона
Или, прикованный у трона,
Он трепетал царя царей!
О Магомет! реки творенью:
Сильна Великого рука!
Да не созиждут храм спасенью
На бреге зыбкого песка!

3

Богач, гордясь своим именьем,
Забыв всесильного творца,
Так нищему сказал с презреньем:
«Мое блаженство без конца!
В моих садах древа с плодами
Неувядаемо цветут.
Мне ль бога умолять делами?
Не верю я в господний суд! . .»
— «Он мещет гром рукою смелой, —
Ему смиренно нищий рек. —
Смотри, строптивый человек,
Чтоб над тобой не загремело
За то, что длань его дала
Тебе дары свои обильно,
А ты строптивого чела
Не преклонил пред дланью сильной!»
Минула ночь; восстав с зарей,
Богач увидел горделивый
Опустошенные грозой
Сады цветущие и нивы!
И он воспомнил близость дня,
В который веруют народы,
В который будет вся земля
Равна, как равны моря воды!

4

Когда в единый день творенья
Творец свой утвердил престол
И человек един из тленья,
Как будто некий бог, исшел, —

Тогда мирам сказал создатель:
«Из праха человек возник,
Но, воли гордой обладатель,
Моею властью он велик!

Почтите вы, красы земные,
Венец созданья моего,
И покоритеся, стихии,
Пред мощной волею его!»

Но искуситель дерзновенный
Один главы не преклонил —
И гнев создателя вселенной
Его проклятьем поразил.

Стал Сатана, исполнен страха:
«Внемли ж, о сильный бог, меня:
Его ты сотворил из праха;
Тобой я создан из огня!»

5

На бреге моря странник скудный
В сияньи ангела узрел:
«Гряди за мной на подвиг трудный:
Тебе высокий дан удел!
Я тайны дивные открою
Твоим слабеющим очам!»
И ангел божий по волнам
Направил челн своей рукою.
Вдруг доску утлого челна
Он раздробил средь бездны смело;
Трепещет странник; но взгремело:
«Будь верой грудь его полна!»

И, силой вышнего хранимый,
Промчался челн их невредимо.
Они грядут в далекий путь.
Узрев младенца пред собою,
Дух бога, хладною рукою,
Кинжал вонзил в младую грудь!
Убийством путник пораженный,
От трупа отвратил чело;
Но снова рек творец вселенной:
«О смертный! время притекло,
Да узришь светлыми очами:
Сей челн, стяжанье рыбарей,
Был залит бурными волнами;
Но знай: властитель сих полей
Пройдет, как вихрь неукротимый;
Его жестокая рука
Всё истребит у рыбака;
Но челн худой пройдет он мимо.
Печать проклятия носил
Младенец сей от колыбели, —
Когда б его я не сразил,
Его б нечестия гремели!»

6

Младые отроки с мольбой
Текли к властителю вселенной:
«Мы грянем правды глас святой —
И укротим порок презренный!..»
И, укрепленные творцом,
Закон повсюду возвещали;
Но им народы не внимали, —
И, утомленные путем,
Они узрели власть порока!
Храня в сердцах творца закон,
В пещере скрылися глубокой
И все вкусили сладкий сон.
Заката час и час восхода
Для них в единый миг слились,
Века над ними пронеслись,
И изменилася природа.

Тогда, забыв о прежнем зле,
Бодрее отроки восстали:
Народы всюду ликовали,
Светлее стало на земле.

7

Сильна, творец, твоя рука!
Воздвиг ты горы сильным словом,
И над землею облака,
Как вечный дым, легли покровом.
Земля и небо слышит глас:
«Днесь власть моя всё сотворила,
И чтить меня принудит вас
Моя любовь, мой гнев и сила!
Труба впервые прогремит —
Погаснет жизнь в груди природы;
В другой — и день мой заблестит,
Восстанут из гробов народы!
В сей день, неверным роковой,
Сердца исполнятся тревогой
И, устрашенной саранчой,
Все понесутся к трону бога!»

⟨1827⟩

289—291. ⟨*ИЗ АПОКАЛИПСИСА*⟩

1

ВИДЕНИЕ ИОАННА

«Где тот великий, чья рука
Разломит книгу мирозданья!»
Так ангел рек — и в грудь тоска
Мне пала с голосом воззванья:
Печалью сердца утомлен,
Ни на земле, ни под землею
Не зрел, кто б смелою рукою
Исполнил дивного закон!..

Вдруг ангел чистый, непорочный
К престолу бога приступил.
Он первую печать сломил —
И миру грянул час урочный,
И дивный глас в ушах гремел:
«Гряди и виждь!» — и предо мною
На землю белый конь летел,
И смерть на нем — и ад толпою!..
Народы гладом и мечом
Губила смерть; но голос снова —
И души, падшие за слово,
Я зрел пред вечным алтарем,
И несся вопль: «Творец! когда же
Восстанешь ты за нашу кровь?»
И был ответ: «Моя любовь
Поставлена вам вечной стражей;
Но павших за меня число
Еще предела не прешло!..»
Я взор на небо: дня светило
Лучей навеки лишено,
Луна — кровавое пятно —
Одна по небесам ходила,
И звезды полетели вниз,
Как плод смоковницы незрелой,
Когда ненастье зашумело —
И в свиток небеса свились!

⟨1828⟩

2

ВИДЕНИЕ ИОАННА

Свершилось диво предо мною!
Я видел: ангел нисходил,
И облак стан его покрыл,
И радуга над головою.
Как солнце, лик его пылал —
И пламя по стопам бежало;
Одной ногой на землю стал,
На океан другая пала;
И книгу тайн, судьбу миров

Десницы мощные держали;
Отверз уста, и — семь громов
На грозный голос отвечали:
«Исчезнет времени полет,
Клянусь создателем вселенной,
Землей и глубиною вод,
И твердью, гордо вознесенной!
А ты уготовлять гряди
Мой мир к великому наследью, —
Тебе да будет книга снедью!»
Приял ее, — в моей груди
Запала тайна роковая,
И огнь ее мне душу сжег,
И я, народы обтекая,
Перерождение предрек!

⟨1829⟩

8

ВИДЕНИЕ

Из края в край земли созрелой,
Как гром, как рев летящих вод,
Мне слово дивное гремело:
«Великий град — падет, падет!..
Я не подам за преступленья
Ни в день, ни в ночь отрады злым —
И да столбом от их мученья
Из века в век восходит дым!»
Сходило облако пред мною —
Вдруг замолчал на небе гром!
И ангел с пламенным серпом
Парил, блистая, над землею!
Я слышал: «На полях земли
Да будет по делам награда!
Ты серп сей на поля пошли —
Созрели грозды винограда!»
Я зрел: на землю серп падет —
И жатва собрана обильно!
И ангел в чашу мести сильной
Поверг земли созрелый плод!

В моем пророчественном взоре
Преобразился вид земли!
И небо, и земля прешли —
И в берегах иссякло море!
А предо мной Ерусалим
Стоял, как дева молодая,
Когда пред алтарем святым
Она стоит, красой блистая!..

(1831)

292. СОЛОМОН

«На ложе в полночи заветной
Тебя искала и звала!
Но, друг любимый, тщетно, тщетно:
Тебя на ложе не нашла...»
Так несся голос твой, — но скоро
Меня в объятья приняла
И весь огонь немого взора
Ты в душу мне перелила!..
В сей день, о дочери Сиона,
Мое заклятие, чтоб вы
Не пробудили вновь главы
Прекрасной дщери Соломона!
Пустынный разогнав туман,
Она мне очи ослепила:
Она, как сладкий дым кадила,
Объяла Смирну и Ливан!
Не это ль дева Соломона?..
Вот сильные стеклися к ней!
Ей от нечестья оборона
И меч, и жезл царя судей!..
Из древ Ливана одр богатый
Себе воздвигнул Соломон.
На том одре ковры и злато,
А верх его как небосклон!..
И в ложе дивном всё хранимо
Любовью дев Ерусалима!..

(1829)

П. Г. ОБОДОВСКИЙ

Платон Григорьевич Ободовский (1803—1864), известный главным образом как драматург и театральный переводчик, в 1820—1830-е годы систематически выступал как поэт и добился некоторой известности. Выходец из старинного дворянского рода, он родился в Галиче, учился во 2-й петербургской гимназии и в Высшем училище. Начало его литературной деятельности восходит еще к гимназическим годам; в это время у него (как и у его товарища по гимназии В. Н. Григорьева) определяется тяготение к религиозной символике и аллегоризму немецких сентиментальных и преромантических поэтов, сохранившееся и в дальнейшем, вместе с устойчивым интересом к немецкой литературе («Детство (Из Маттисона)», 1829; «Близость милой» Гете, 1829; отрывки из «Песни о колоколе» Шиллера, 1830, и др.). Во многом он пытается следовать Жуковскому; среди его ранних, не попавших в печать опытов есть баллада в подражание «Людмиле» («Эдвин и Клара», 1820); он пишет дескриптивную элегию с символическим пейзажем, подражая «Славянке» («Карповка», 1821); однако в своем стремлении к аллегоризму Ободовский идет значительно дальше своего учителя. Особое место в его творчестве занимает традиция «переложений псалмов», к которым непосредственно примыкает серия «кантат» на евангельские сюжеты (так обозначены в рукописи «Торжество искупителя», 1822; «Искупитель во гробе», 1822; «Плач пленных израильтянок», 1823; очень близко к ним «Падение Иерусалима», 1823). «Кантаты» Ободовского — это жанровые образования, соединяющие в себе лиро-эпическое и драматическое начала, с разнометрическими фрагментами текста. Вообще стихи Ободовского стоят уже вне сложившейся жанровой системы, это прямые аллегории («Утро», 1823; «Отважный пловец на чужбине», 1827), моралистические послания; его элегии («Сельская элегия»,

1825; «Эрминия», 1829; «Лила», 1827; «Мария», 1830) также в значительной мере теряют внешние признаки жанра, сближаясь с «романсами», «стансами» или «мелодиями» 1830-х годов.

В 1823 году, окончив обучение, Ободовский поступает в ведомство Государственной коллегии иностранных дел и одновременно начинает педагогическую деятельность; в 1824—1827 годах он служит в качестве «комнатного надзирателя» и «учителя российской и латинской грамматик» при 2-й гимназии, читает курс русского языка в Воспитательном доме (1824—1830) и является «учителем переводов» в Воспитательном обществе благородных девиц. Служба не приносит Ободовскому удовлетворения; занят он преимущественно поэтической деятельностью. С 13 сентября 1823 года он член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств; участвует как поэт в «Благонамеренном», «Сыне отечества и Северном архиве», «Новостях литературы», «Галатее», «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», «Полярной звезде», «Невском альманахе», «Северных цветах». В 1820-х годах он обращается и к байронической поэме на «восточные» темы. В 1828 году выходит его поэма «Хиосский сирота», получившая большую популярность отчасти из-за своей благотворительной цели: основанная на действительном событии, она распространялась по подписке в пользу пленного греческого сироты. Работает он и над «персидской повестью» «Орсан и Леила». К «ориентальному романсу» (балладе) Ободовский обращался еще в начале десятилетия («Мать-убийца», 1821; «Неутешный бедуин (элегия)», 1821; «Зора. Индийский романс», 1825; оставшиеся в рукописи «Бенгальские розы» и др.). Пишет он и «песни», в том числе и «русские песни», которые у него также близки к романсной форме, а иногда имеют балладный сюжет; не исключено, что некоторые из песен были так или иначе связаны с его драмами.

В феврале 1830 года Ободовский уезжает за границу, где остается до 1835 года, слушая лекции в Германии и Швейцарии; здесь он получает диплом доктора философии. По возвращении в Петербург служит в качестве переводчика департамента внутренних сношений, а с 1839 года возобновляет педагогическую деятельность (инспектор классов училища св. Екатерины, профессор российской словесности Главного педагогического института и т. д.). Как педагог Ободовский пользуется известностью в аристократическом Петербурге. Однако подлинную популярность ему приносят драмы — переведенные, переделанные и оригинальные, — непременная принадлежность русской сцены 1830 — 1840-х годов; огромный успех выпал на долю его «Велизария» (1839). Драмы Ободовского, профессиональные, написанные с хорошим знанием сцены, однако не свидетельствовали об ориги-

нальности дарования и наряду с драмами Кукольника и Полевого трактовали преимущественно мелодраматические и официально-патриотические сюжеты. Столь же официально-патриотический характер носят и его поздние литературные выступления; значительное количество поздних его стихов осталось в рукописи.[1]

293. УТРО[2]

Мглистое небо слилось с Океаном,
Скалы подернуты синим туманом,
Месяц мелькает в густых облаках
Тихо и плавно, как лебедь в волнах.

Дремлют поляны, волнуются ивы,
Древняя роща во мраке шумит.
Ветр-пробудитель крылом прихотливым
Лип ароматных верхи шевелит.

Вот прояснились зарею поляны, —
Жизнь разлилась по росистым цветам.
Сплыли со скал голубые туманы,
Розовый свет пробежал по скалам.

Вот на румяном краю небосклона,
Слитого с гладкой поверхностью вод,
Выплыло солнце из влажного лона.
Тих, животворен светила восход.

О благодетельный зодчий вселенной!
Виден ты нам из величья чудес.
Ты разостлал над землей пробужденной
Рдяное утро, как пышный навес.

---

[1] См.: И. Кубасов, Платон Григорьевич Ободовский. — «Русская старина», 1903, № 11, с. 353; Б. М. Городецкий, Платон Григорьевич Ободовский. — «Исторический вестник», 1903, № 12, с. 987.

[2] С берега Финского залива.

Боже! ты солнца незапным сияньем
Наших очей не хотел ослепить, —
Сон пробуждая денницы мерцаньем,
Слабые вежды помог растворить.

Солнцу подобно из тьмы Вифлеема
Жизни светило взнеслось над землей
Нас провести к вертограду эдема,
Дух окропляя небесной росой.

Алой деннице на праге Востока
Дивных пророков подобен восход.
Все, разгоняя туманы порока,
К сретенью бога будили народ.

Солнцу подобно горит над вселенной
Веры светильник, владыкой возжженный,
Свет разливая на наши сердца,
Путь озаряет к селеньям отца.

1823

294. ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА

Иерусалим, печален образ твой!
Иль туча божеского мщенья
Нависла над твоей главой
С перуном грозным разрушенья?

Ужель грядет на Суд разгневанный Владыка?
Ужель палит тебя горящий лик его?
Нет, нет, не узришь ты божественного лика!
Он скрыт от взора твоего.

Врага ополчая, каратель незримый
Развеет преступных Иакова чад,
Как пепел, грозой по полям разносимый,
И с треском рассыплется царственный град.

Суд близок! трепещет
Салим нечестивый,

Предчувствие казни
Смущает его.

Всклубилися волны
Морей чужеземных,
Средь парусов белых
Сияют орлы [1]

И, крылья расширя,
Горят нетерпеньем
Израиля сердце
В когтях растерзать.

Иерусалим, Иерусалим,
Колосс, до неба вознесенный!
Со всем величием своим
Ты сгибнешь, Римом поглощенный.

Сион! гнев божий над тобой!
Тимпан твой смолкнет сладкозвучный,
И припадет к земле главой
Левит Иеговы злополучный.

Падет пред Римом гордый град!
Орел взлетит на верх Сиона
И устремит свой алчный взгляд
На пепел царства Соломона.

Ожесточенный раб, прибегни к покаянью!
Израиль, обратись к престолу Судии!
Воззри на небеса, верь казни предвещанью, [2]
О горе! сочтены Иеговой дни твои!

Воззри, в полночной тишине,
Предвестник божеского мщенья,
Меч грозный в тучах и в огне
Висит над чадом отверженья.

---

[1] Римские знамена.
[2] О сих предзнаменованиях казни иудеев говорит Иосиф Флавий.

Внимай — скрыпят столпы кедровы,
Врата святилища Иеговы
Незримой, мощною рукой
Разверзлись в полночь пред тобой.

Свет райский воссиял... из облак фимиама
Невидимых устен раздался гневный глас:
«Изыдем!» — Дрогнул храм, огнь жертвенный погас,
Оставил Саваоф чад злобных Авраама.

Израиль, ты богом отвержен всесильным!
Не жди ко спасенью господних чудес;
Ни жертвою тучной, ни гласом умильным
Отца не сзовешь с омраченных небес.

Зри — пылает дивный храм,
Римский меч сверкает в дыме;
Тит во граде. «Казнь рабам!» —
Раздалось в Иерусалиме.

На стенах, по стогнам кровь...
Грудой тел Кедрон стесненный
Плещет пеной обагренной,
Выступя из берегов.

Иерусалим, Иерусалим,
Печать носящий отверженья, —
Ты пал нечестием своим,
Сбылись господни предреченья.

Прославлен Вышний в небесах!
Салима крепкий щит распался,
Святыни храм повержен в прах —
На камне камень не остался.

Пред Римом пал надменный град!
Орел взлетел на верх Сиона
И устремил свой алчный взгляд
На пепел царства Соломона.

1823

295. ПЕСНЯ АЛЬПИЙЦА

Раскинулся плющ, как зеленая ткань,
По скатам Монблана седого,
Мелькает над бездной пугливая лань
При кликах ловца молодого.
Бывало, играл я по воле стрелой;
Душа охладела — и лук обессилел с охладшей душой!

Свирель пастуха пробудилась в горах,
В долинах звучат колокольчики стада,
Алеют снега на угрюмых скалах,
И радужно блещут струи водопада.
Бывало, свергался я с гор, как река;
Душа охладела — и быстрые ноги сковала тоска.

И кто ж благотворный огонь погасил,
Которым душа согревалась?
Кто в сердце убийцу-тоску поселил?
С ним радость давно ли раззналась?
Мой друг! ты погаснул, и с жизнью твоей
Погасло светило моих лучезарных, безоблачных дней.

Я помню, как с другом, при трелях рожка,
За робкой козой беззащитной
Летел со скалы на скалу в облака,
Как горный орел ненасытный.
Лавина с синеющих льдов сорвалась,
Гремящая, с другом в бездонную пропасть стрелой унесла́сь.

С тех пор не отраден семейственный круг,
С тех пор опостыла долина.
Блуждаю в горах, где поко́ится друг,
Где в бездне белеет лавина.
Тоской безутешной томясь, одинок,
Я в бездну закинул с душою моей несогласный рожок.

1823

296. СЕРБСКАЯ ПЕСНЯ

«Стройно ты выросла, дева прекрасная,
Стройно ты выросла, дева моя!
Мирно растя средь поляны душистыя,
Дева, на что устремляла ты взор?
Иль на высокую ель величавую?
Иль на платан, возносящий чело?
Иль на соседнего юношу статного?»
— «Юноша милый, отрада моя,
Я не глядела на ель величавую,
Ни на платан, возносящий чело,
Ни на соседнего юношу статного,
Вечно глядела я, друг, на тебя».

1825

297. ПЕРСИДСКИЙ ВЕЧЕР

Знойный день не пламенеет
На прозрачных небесах;
Погляди, — лазурь темнеет,
Звезды искрятся в водах,
Дремлют белые сирени,
Не колышется ясмин;
Погляди — густые тени
Потянулись средь долин,
И в гостиницах Шираза
Сонных персов не живит
Звук чудесного рассказа
И кальян не веселит.
Все уснули за шербетом
На узорчатых коврах;
Вот взошел над минаретом
Месяц в сребряных лучах.
Поспешим на гроб Гафиса,[1]
Фатьма, рай моих очей,
Чу — под сенью кипариса
Там вздыхает соловей.

---

[1] Персидский поэт, которого могила находится близ Шираза.

Там, при трелях песнопений,
Быстро вечер пролетит
И поэта кроткий гений
На ночь нас благословит!

(1826)

298. РУССКАЯ ПЕСНЯ

Ты не плачь, не тоскуй,
Под окном не сиди,
На дорогу не гляди,
Из далекия сторонки
Друга милого не жди.

Слышишь — трубы звучат...
Пыль всклубилась вдали.
Из чужбины притекли
Со знаменами отчизны
Вои русския земли.

Их сверкают щиты,
Так же знамя шумит,
Что же грудь твоя дрожит?
Ах! под знаменем кровавым
Милый друг твой не стоит.

Сокрушили его
Вражьи копья, мечи!
Пред иконою в ночи
Ты не жги до бела утра
Воску ярого свечи.

Ты не плачь, не тоскуй,
Под окном не сиди,
На дорогу не гляди,
Из далекия сторонки
Друга милого не жди!

(1826)

299. ОТВАЖНЫЙ ПЛОВЕЦ НА ЧУЖБИНЕ

Аллегория [1]

(Посвящается Н. И. Б.)

Обновлю челнок надежный,
В Океан пущусь безбрежный...
Тесный пруд наскучил мне —
Полечу к родной стране!
Мрачен брег чужого края,
Сердце рвется на Восток, —
Там страна моя родная!
Окрылися, мой челнок!
Ночь на бездну вод наляжет, —
Кто мне верный путь укажет?
Для весла достанет сил,
Много на небе светил!
Все они горят, сверкают,
Волны моря осребряют,
Манят нас лучом своим, —
Я не буду верить им!
Совратят с пути прямого,
Заведут к чужим брегам, —
Слаще воздуха родного
Есть ли что на свете нам?
Воссияй на небе чистом,
Мне знакомая звезда,
При твоем луче сребристом
Я браздил стекло пруда!
Лежа в лодке, я качался,
Звездным небом любовался,
На равнине голубой
Ты играла предо мной!
Будь вожатым, луч отрадный,
Озаряй мои стези,
По стеклу пучины хладной
Нитью тонкою скользи.
Развернулся парус белый,
Волны плещут о челнок, —
Полечу с душою смелой
Прямо, прямо на Восток!

1827

---

[1] Аллегорическое изображение поприща Поэзии.

300. ЛИЛА

Луг пушистый зеленеет,
Ароматом дышит лес;
Сердце радостию греет
Свод лазоревых небес.

Блещет зеркало залива,
И в брегах из тростника
Величава, горделива
Льется синяя река.

Звучно сельские напевы
Раздаются вдалеке —
Хороводом идут девы
К тихоплещущей реке.

«Ах, и ты встречаешь, Лила,
Праздник красныя весны?
Не сурова, не уныла,
Взор исполнен тишины.

Ты смеешься, — а бывало,
Слезы капали с ланит
На льняное покрывало!
Разве милый твой забыт?»

«Не кори, я помню друга,
Ах, на радости весной
Украшает зелень луга
Самый камень гробовой».

⟨1827⟩

301. ТВЕРСКАЯ ПЕСНЯ

Что туман клубится облаком
Над тобой, Тверь златоглавая?
Что не весело, не радостно
Выплыл месяц из-за туч седых?
Что ты, Волга, помутилася?..

А бывало, струи светлые
При дыханьи ветра тихого
Серебрилися на месяце!
Ах, быть может, Волга мутная,
Ты сольешься с кровью русскою,
С кровью русской православною!
Не придем мы черпать струй твоих:
Ах, быть может, в рабство горькое
Увлечет нас супостат-злодей,
Увлечет в Орду неверную!
Не глядеться нам в стекло реки,
Не пивать нам струй серебряных!

⟨1829⟩

302. МАРИЯ

Ты розе подобно весну отцвела,
Младая Мария, в чужбине далекой,
Исторгнута грозно судьбиной жестокой
Из сени приютной родного села.
Не долго терзалась тоской неотлучной,
Не долго вздыхала о милом селе, —
Поблекла, как юный цветок злополучный,
Прибитый грозою к песчаной земле.

⟨1830⟩

М. П. ЗАГОРСКИЙ

Рано умерший Михаил Петрович Загорский (1804—1824), как можно судить по ряду данных, был сыном известного анатома, профессора Медико-хирургической академии П. А. Загорского. В 1819 году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета в качестве «вольного студента», но уже в 1821 году тяжелая болезнь заставляет его прервать занятия. 29 января 1823 года он подает прошение о разрешении держать экзамен за университетский курс; однако оканчивает университет лишь в 1824 году. 30 июля того же года он умирает. [1]

Первоначальное литературное воспитание Загорского для 1820-х годов было довольно архаичным. Первые его опыты (шарады, эпиграммы) печатаются в «Благонамеренном» (1820); некоторый успех выпал на долю его сентиментальной баллады «Лиза» (1820), попавшей и в рукописные сборники. Загорский много переводит — из Горация, Вергилия, Шиллера и немецких преромантических поэтов (Фосс, Штольберг); отдает он дань и оссианизму («Морна», 1823; «Кальмар и Орля (из Байрона)», 1823; «Мальвина» и др.). Его оригинальные сочинения наиболее удачны в эпических жанрах: ему принадлежит несколько басен и сказок («Лисица и медведи», 1820; «Два извозчика», 1823; «Два колоса», 1823; «Пьяница» и др.), в которых вырабатывается непринужденный, легко-иронический стиль повествования, примененный потом Загорским и в более крупных формах. Одновременно он обращается к фольклорным темам: уже посмертно, в 1825 году, была опубликована его прозаическая стилизация волшебной

[1] В. П. Степанов, М. П. Загорский. — Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1969, с. 691; Пушкин, Письма, т. 1 (1815—1825), М.—Л., 1926, с. 534; Государственный исторический архив Ленинградской области, ф. 14, оп. 6, № 46, л. 1.

сказки «Оборотень, или Старуха-красавица», переложение из «Слова о полку Игореве» («Ярославна») и фрагменты большой поэмы «Илья Муромец», над которой Загорский работал в течение нескольких лет. Можно думать, что «Илье Муромцу» предшествовала работа над иным сюжетом (о Мстиславе); сохранился набросок, озаглавленный издателями «Нападение богатыря Мстислава на войска хазарского хана (отрывок из повести)» и написанный так называемым «русским стихом» (хорей с дактилической клаузулой), употреблявшимся для имитации былинного стиха, и с прямой цитацией былинных формул. В дальнейшем поэт избирает в качестве героя Илью Муромца, а в качестве образца — «Неистового Роланда» Ариосто и только что появившуюся поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Все это довольно характерно для литературного фольклоризма первых десятилетий XIX века; рассматривая былину, песню и т. д. как форму исторического колорита, национальной старины, Загорский стремится создать на основе вольной переработки мотивов былинного эпоса и древней русской поэзии («Слово о полку Игореве») романтическую волшебно-рыцарскую поэму. Вслед за Пушкиным он сохраняет характерный шуточно-иронический тон повествования, с прямым авторским комментарием, пародийными анахронизмами и бурлескным снижением героев. Пушкин, несомненно, видел в Загорском своего возможного продолжателя и последователя. Прочитав отрывки из поэмы, он писал Плетневу 4—6 декабря 1825 года: «Не уж-то *Ил⟨ья⟩ Мур⟨омец⟩* Загорского? если нет, то кто ж псевдоним; если да: как жаль, что он умер».[1] Немногочисленное сохранившееся наследие Загорского показывает, что «Илья Муромец» был не единственной попыткой создания эпического произведения на фольклорном материале или материале народной жизни. В последние годы он пишет «русскую народную идиллию» «Бабушка и внучка» и «русскую повесть» «Анюта» (1824), где сказывается то же тяготение к национальной старине, «народности», фольклору и стремление выработать национальные литературные формы по аналогии с формами, сложившимися в западном романтизме и даже в доромантической литературе. Так, «русская идиллия» пишется параллельно с переводом идиллии Фосса «Семидесятый день рождения», а «русская повесть» возникает на балладной основе, сюжетно-тематически как бы завершая серию ранних баллад Загорского о разлученных и посмертно соединившихся любовниках. Литературная деятельность Загорского вызывала интерес современников, и смерть его была воспринята как крушение больших и даже

---

[1] Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 13, Л., 1937, с. 249.

«блистательных» надежд. Некоторое время приписывавшиеся ему стихи ходили в списках и после его смерти: его именем было подписано стихотворение А. И. Одоевского «Безжизненный град», найденное у арестованного С. П. Трубецкого; впрочем, распространители стихотворения, по-видимому, смешали М. П. Загорского с М. Н. Загоскиным.

303. АНДРОМАХА

Быстро флот Агамемнона,
На развитых парусах,
Утекал от Илиона,
Обращенного во прах.
На закате свет румяный
Мраку ночи уступал,
Рог серебряный Дианы
В спящем море трепетал.

Воин, бранью утомленный,
Опочивши по трудах,
Край отчизны отдаленной
Видел в сладостных мечтах.
Только легкие порывы
Ветров, спутников судам,
Только кормчего отзывы
Разносились по водам.

Андромаха, в грусти слезной,
Сквозь синеющий туман,
Взор вперя на брег любезный,
Брег фригийских злачных стран,
Где безмолвною могилой
Взят ее супруга прах,
К ним неслась душой унылой
И стенала так в слезах:

«Ах, померкнул трон Приама,
Ах, померкнул он навек,
И падение Пергама
Торжествует лютый грек!

Пали мощные герои,
Как под градом цвет лугов,
И величье гордой Трои
Будет баснею веков.

Тщетно Зевс-громодержитель
Рать данаев отражал,
Тщетно, брани возбудитель,
Марс твердыни защищал:
Час, назначенный судьбою,
С бурным мщением притек,
И священною главою
Илион на прахе лег.

Вижу, вижу ужас боя,
Вижу смерти мрачный пир:
Брань неистовая, воя,
Гонит прочь веселый мир,
С адской радостью когтями
Кроткую оливу рвет
И над грозными полками
Смрадный пламенник трясет.

Гектор, Гектор мой любезный!
Ах, куда тебя стремит
Сила груди дерзновенной!
Храбрость стрел не отвратит:
Там Пелопса горды внуки,
Там коварный Одиссей,
Там Аяксы жаждут руки
Омочить в крови твоей.

Горе, горе мне, несчастной!
Там Пелея сын младой,
Мышцей, взорами ужасный,
Мчится гибельной грозой:
Перед ним бегут дружины,
Как пред вихрем роковым, —
Ах, супруг мой, ты-ль единый,
Ты ль посмеешь биться с ним!

Щит печального Пергама,
Тронься горестью моей,
Тронься воплями Приама
И младенца пожалей!
Ты не внемлешь, — ах, жестокий,
Кто ж несчастным будет щит,
Кто их слезные потоки
И страданье утолит!

Разлученная с тобою,
Где покоем наслаждусь?
Где бессчастной головою
Безопасно я склонюсь?
Ах, смягчит ли вид мой бледный
Чуждых хладные сердца!
Нет ни матери у бедной,
Нет ни доброго отца!

В Плаке, венчанном лесами,
Обладатель Гетеон
Правил сильными мужами, —
Но, увы, погибнул он
Под десницею Ахилла!
Матерь, пленница врага,
В рабстве тягостном изныла:
Гроб ей чуждые брега.

Ты бежишь — но, ах, уж поздно!
Прилетел ужасный миг;
Злобный враг несется грозно:
Свет, беги от глаз моих!
Смерти хладная обитель,
Дай ступить на твой мне праг!
Стой, суровый победитель,
И почти холодный прах!

Закатились очи ясны,
Бледны алые уста,
Страшен прежде вид прекрасный,
И завяла красота!
Борзый конь кипит и мчится,

И кровавою струей
Поле бранное багрится:
Вид ужасный для очей!

Скоро ль, скоро ль час кончины
Мне пошлет всесильный рок?
Я избуду злой кручины;
Слез иссякнет горкий ток;
Там, в жилище безмятежном,
Вновь я сына обрету
И опять в супруге нежном
Счастье прежнее найду!»

Жертва горести и страха,
В сонме плачущих подруг,
Так стенала Андромаха;
Всё безмолвно было вкруг;
Рог серебряный Дианы,
Погружаясь, померкал,
И денницы свет румяный
На востоке возрастал.

⟨*1824*⟩

304. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Богатырская поэма

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Друзья и ты, любезный пол,
Прекрасный телом и душою,
Услада горестей и зол
Минутной жизни под луною!
Внемлите чудные дела
Героя древности далекой,
Который, доблестью высокой
Преодолевши козни зла,
Царю чудесный клад доставил,
Сразил коварство колдунов
И о делах своих заставил
Греметь Баянов-соловьев.

Наперсница мечты прекрасной,
О ты, которая всечасно
Пленяешь новой красотой,
Меняя вечно вид свой дивный!
О ложь! услышь мой глас призывный,
Приди беседовать со мной!
Ты бабушку мою вдыхала,
Когда пред красным огоньком,
Зимою, долгим вечерком,
Старушка мне повествовала
События веков седых,
Красавиц юных похищенья,
Деянья витязей лихих
И с бусурманами сраженья!
Води ж теперь моим смычком
По золотым струнам цевницы
И розы милой небылицы
Рассыпь в творении моем.
Широким лугом, полон думы,
Млад витязь ехал на коне,
Склоня на землю взор угрюмый;
На зеркальной его броне
Последние лучи спирались,
И тихо легким ветерком
Густые перья колебались
На шишаке его стальном.
Уже тяжелые туманы
Покрыли мшистые курганы
И серой, дымной пеленой
Легли над лугом и рекой.
День гаснет на закате алом,
Темнеет голубой восток,
Одетый ночи покрывалом,
И месяц смотрится в поток;
Уж птицы на ночь ищут крова,
Уж волки жадною толпой
Выходят из леса густого
И к стаду крадутся для лова
Чрез хворост хрупкий, где порой
Мелькает их хребет седой.
Как вдруг с полуночи далекой
Восстала буря; ветр жестокий

Нагнал седые облака;
Вихрь в чистом поле закружился;
Завыла пенная река;
Гул грома глухо прокатился,
И черной тучей облачился,
Біеднея, месяц золотой.
Остановился путник мой,
И, всюду обращая очи,
Он ищет места, где б с конем
Провесть в покое время ночи, —
Но степь унылая кругом,
Дремучий лес вблизи чернеет,
А в отдалении немом
Хребет угрюмых скал седеет,
Сияньем лунным осребрен;
Нигде не видно кровли дымной
Над хижиной гостеприимной,
И стад усталых на загон
Пастуший рог не созывает.
Уж дождик капать начинает —
Приюта нет, и вот герой
В густую бора сень вступает;
Сначала гладкою стезей
Конь бодрый медленно шагает;
Но вскоре в глубине лесной
Кривая тропка исчезает
И цепкий терн, сплетясь стеной,
Ему дорогу заграждает.
На землю витязь соскоча,
Повел соратника лихого
И сталью крепкого меча,
Сквозь дичь кустарника густого,
Стезю неверную кладет.
Ни зги не видя пред собою,
Идет он медленной стопою
Куда судьба его ведет,
Склоня чело, без всякой цели,
И часто головой своей
Стучит об дубы и об ели.
Гроза час от часу сильней
Ревет над лесом, будто хочет
Расстроить весь природы чин;

За громом грозно гром грохочет
И эхом бора и долин
В стократных гулах раздается;
Перун, раздвинув облака,
Змиями огненными вьется,
И дождь сквозь листья, как река,
Шумит с лазури помраченной, —
Казалось, Тартар раздраженный
Переселился в бор глухой.
Уж целый час идет герой,
Но буря вовсе не стихает;
Дождем промочен до костей,
Дрожа невольно, он внимает
Стенанье птиц и крик зверей,
И сердце в нем с досады ноет:
То волк вдали протяжно воет,
То слышно вещее «куку»,
То ведьма дикою сорокой
Кричит, качаясь на суку;
То крыл совы размах широкий,
Как вихорь, в воздухе свистит;
То филин в темноте блестит
Своими яркими очами;
То машет жесткими крылами
Ему навстречу нетопырь;
То грозный леший меж кустами
Несется с шумом; то упырь
Сзывает криком труболеток;
То стаи пагубных красоток
Русалок с хохотом плетут
Зеленых кос блестящи волны
И витязя к себе зовут, —
Но он, задумчивый, безмолвный,
Другой красавицею полный,
Не внемлет им и всё вперед!
Вдруг видит он: в дали туманной
Зарделся звездочкой румяной
Сквозь чащу леса яркий свет.
Он быстрые шаги сугубит,
Сильней кусты и корни рубит
И скоро видит пред собой
Полянку; над водой потока,

Дубов под тенью вековой,
Соломой крыта, одинока,
Избушка ветхая стоит,
Паденьем скорым угрожая;
В ее окошко свет блистая,
По зеркалу ручья скользит
И, на муравку упадая,
На ней окончину чертит.
Вот богатырь, прося ночлега,
Три раза брякнул в дверь кольцом,
И старец с благостным лицом
И бородой белее снега
Выходит слабою ногой,
В дугу согнувшись над клюкой,
Улыбкой гостя привечает;
«Добро пожаловать! — вещает. —
Готов я сердцем и душой
Делиться хижиной с тобой!
Орехи, желуди сухие,
Пустыни дикие плоды
И чаша светлыя воды —
Вот яства грубые, простые.
Что может дать анахорет,
Который целых тридцать лет
Провел в тиши уединенья,
Забывши прелести сует
И света шумного волненья?
Здесь вкусишь ты спокойный сон
Не на богатом мягком ложе,
Но меньше ль мил и сладок он
И на звериной жесткой коже
Тому, кто духом не смущен?»
Как хлад росы во время зною
Приятен нивам золотым,
Так старца речь сладка герою,
Который следует за ним.
Хозяин гостя дорогого
У огонечка посадил
И скромный ужин предложил;
И оба, кушая, ни слова.
За косяком сверчок поет;
Вокруг пустынника седого,

Мурлыча, вьется жирный кот —
То под рукой его пройдет,
То на колени смирно сядет,
Пушистым поводя хвостом,
То спину выгнет колесом
И ждет, пока его погладит.
«О сын мой! — наконец прервал
Старик глубокое молчанье. —
Зачем ты в юности избрал
Столь тяжкой жизни состоянье?
Честей ли, славы ли желанье,
Любовь ли к девушке какой,
Гоненья ль мачехи-судьбины,
Другие ль тайные причины
Тебя принудили — покой
Покинуть с хижиной родной,
По свету белому скитаться,
Сносить морозы, голод, зной
И всем напастям подвергаться?
Откройся, кто ты? И на свет,
На своды неба голубые
Где ясный взор открыл впервые?
И ежели ты жертва бед,
Быть может, слезы состраданья
Смягчат души твоей терзанья».
И витязь мой, вздохнувши раз,
Так начал старцу свой рассказ:
«На берегу реки широкой,
В струях которой Волхв жестокий
Обрел конец преступных дней,
Живет Росслав, старик почтенный,
От нежной юности своей
На службу родине бесценной
Он долгий век свой посвятил;
Но с старостью лишившись сил,
Сокрылся в край уединенный,
Где возрастал я вместе с ним
И чтил отцом его моим.
Едва румяною зарею
Воспламенялись небеса,
Я с гибким луком и стрелою
Спешил в дремучие леса

И там за прыткими зверями
Гонялся быстрыми ногами;
Или на легком челноке,
Бесстрашно рея по реке,
Бросал я уду роковую;
Когда же полдень наступал
И зной палящий разливал,
Укрывшись в хижину простую,
Готовил пищу я с отцом
И после краткого обеда
Работал с ним в саду своем;
А в тихий вечер, пред огнем,
Его приятная беседа
Меня учила — как добром
Платить за зло врагам коварным,
Несчастным, слабым помогать
И новыми неблагодарным
Благодеяньями отмщать.
«Мой сын! имей всегда терпенье, —
Твердил он часто мне. — Учись
Не падать духом в заключенье;
Неверным счастьем не гордись
И чти богатством — добродетель!»
Или повествовал он мне
Об отдаленной старине,
О битвах, коим был свидетель, —
И я в восторге трепетал,
Внимая твердость Сеятослава,
Когда к дружинам он взывал:
«Друзья, погибнем! с нами слава,
Костям холодным нет стыда!»
И время в сладостях труда
Неслось стрелою быстролетной, —
Я в девятнадцатой весне
Себя увидел неприметно,
И вспыхнул новый жар во мне.
Забилось сердце ретивое
Желаньем славы и честей,
И я, в бездейственном покое,
Уже не видел красных дней.
Какой-то глас неизъяснимый
В душе тоскующей вещал —

И вот из хижины родимой
К стране далекой отзывал.
Однажды в сумрачной дубраве
Заснул я, с мыслями о славе,
И видел непостижный сон:
Старик, летами отягченный,
Предстал мне, светом окружен,
Воззрел с улыбкой благосклонной
И тихим гласом говорил:
«Илья, исполни приказанье! —
Прости, хозяин, я забыл
Сказать тебе мое названье. —
Оставь безвестный уголок,
Где юный возраст твой протек,
И к Киеву спеши отселе:
Там храбрость окажи на деле
И будешь славою высок».
Тут он умолк и вдруг сокрылся...
Я в удивленьи пробудился
И к доброму отцу бежал
Сказать всё виденное мною;
Он с горестью меня внимал,
И кроткий взор блеснул слезою.
«Илья! — печально он вещал. —
Неумолимая судьбина
Велит разлуку нам сносить,
И уж в последний имя сына
К тебе могу я обратить.
Склони к речам моим вниманье:
Я не отец твой!..» — Тут рыданье
Пресекло речь его, а я,
Как громом, пораженный ею
И горьких слез источник лья,
Упал без чувств к нему на шею.
И долго были мы в таком,
Подобном смерти, состоянье,
Не помня ничего. Потом
Он продолжал повествованье.
«Однажды, в сумраке ночном,
Я возвращался к мирной кровле,
Проведши целый день на ловле,
И вдруг старик явился мне, —

Его ты видел, без сомненья,
В своем пророчественно́м сне, —
Спокойный взор внушал почтенье,
И обнаженное чело
Небесной благостью цвело.
Глубоким сном младенец спящий
В его объятиях лежал,
И добрый конь за ним бежал,
Неся доспех, во тьме блестящий.
«Росслав, — он молвил, — будь отцом
Сего невинного созданья:
Учи его владеть мечом,
Наставь на добрые деянья,
И нежные твои старанья
Бог не оставит без наград.
Когда весна цветы по лугу
Рассыплет девятнадцать крат,
Тогда вручи ему кольчугу,
Сей щит, сей шлем и сей булат, —
Ни панцирь, ни шелом косматый
Его удара не снесут:
Он рубит их, как хрупкий прут;
А эти блещущие латы
Волшебной силой созданы, —
Безвреден тот, на ком они:
Ни стрел свистящих град пернатый,
Ни копие, ни острый меч
Не могут стали их рассечь.
Пусть едет он, покрытый ими,
Блуждать под ясною луной
И ищет храбрыми своими
Делами — славы вековой».

⟨ИЗ ПЕСНИ ВТОРОЙ⟩

⟨Бой богатыря с Саганом, печенежским царевичем, и что было с Саганом после поединка⟩

Уже он с версту проскакал
И видит влево от дороги
Поросший лесом холм пологий;
Вокруг гуляет конь лихой,
Питаясь сочной муравою,

И юный витязь под бронею,
Подперши голову рукой,
Сидит на скате, отененный
Густым ракитовым кустом,
И близ него стальной шелом,
Высоким гребнем осененный,
И меч, окованный сребром,
Лежат на дерне молодом —
То был владыки печенегов
Неукротимый сын, Саган,
Питомец брани и набегов
И бич окрестных мирных стран.
И в зной, и в холод, в край из края
По свету белому блуждая,
Он смелых витязей искал
И поединки предлагал.

Он видит юного героя
И признает его бойцом,
Достойным рыцарского боя
С таким, как он, богатырем, —
Покрывшись шлемом и щитом,
Коня лихого кличет свистом,
И зов раздался в поле чистом,
И конь к наезднику спешит,
И уж в седле Саган проворный,
И уж на Муромца летит,
Как резкий вихрь с вершины горной.

От боя Муромец не прочь:
Тотчас, нахмурившись как ночь,
Он скачет в поле для разбегу,
Встает в железных стременах
И бурей мчится к печенегу,
Взрывая бегом тонкий прах.

Как вихри, разорвав заклепы,
Стремятся в ярости своей —
Так друг на друга средь полей
Стремились витязи свирепы;
Ужасна встреча их была
И всю окрестность потрясла;

Их копья разлетелись в щепы,
Илья не сдвинулся с седла,
Но сын Каганов закачался
И, в лужу с лошади скатясь,
Далеко вкруг разбрызгал грязь.
Илья чуть-чуть не засмеялся,
Увидя спорников позор,
Но, добродушный, удержался
И руку помощи простер:
Он вытащил его из тины,
Помог стереть с доспехов грязь
И после, дружески простясь,
Поехал далее с равнины.

Повеся голову на грудь,
И печенег коня направил
Из оных мест, но предоставил
Ему свободу — выбрать путь,
И скоро конь его могучий
Заехал в бор густой, дремучий.
Казалось, смертный никогда
В его святилище немое
Не пролагал еще следа;
Всё было мрачно, гробовое
Молчанье царствовало вкруг,
Копыт лишь конских частый звук
В безмолвной чаще раздавался,
Пугая галок и ворон,
И, громким эхом повторен,
В дали таинственной терялся.
Чем дале витязь в темный бор,
Тем путь трудней: повсюду терны
Непроницаемый забор
Плетут ветвями; конь проворный,
Натужа каменную грудь,
И рвет, и ломит их, и топчет —
Лишь гул в лесах пустынных ропщет —
И прочищает трудный путь.
Но скоро острыми иглами
Вся грудь исколона была,
И кровь багровыми ручьями
На землю черную лила;

Усердный конь, лишенный силы,
С главой поникшей стал, унылый;
Саган, проворно соскоча,
Повел соратника лихого
Сквозь дичь кустарника густого,
И сталью крепкого меча
Он машет влево, машет вправо
И с гневом рубит терн кудрявый;
Проснулся лес, поднялся стон,
Кусты трещат и уступают,
И отголоски повторяют
И стук, и свист, и треск, и звон.

Меча ножнам не отдавая,
Саган до вечера блуждал
И взором выхода искал —
Но всюду дичь и тьма густая!
Еще на западе златом
Заря, алея, догорала,
Но в боре диком и густом
Такая темнота настала,
Что печенежский богатырь,
Как франт в очках, как нетопырь,
Который смеет в полдень ясный
Расстаться с щелью безопасной,
Ни зги не видел пред собой
И часто буйной головой
О пни так сильно ударялся,
Что искры сыпались из глаз
И звон ужасный раздавался
В ушах Сагана всякий раз.

Вдруг — будто струй игривых ропот —
Из-за дерев раздался шепот:
«Кто б ни был ты, младой боец,
Когда душе надменной дорог
Победой купленный венец,
Последуй мне без отговорок!»
И витязь следует на зов,
И голос далее и дале
Ведет его во мрак лесов.

Но вот в туманном покрывале,
Подобно круглому щиту,
Луна взошла на высоту,
Сквозь леса своды зеленисты
Проникнул луч ее сребристый
И озаряет темноту.

Уж было с час, как витязь смелый
Шел за таинственным вождем,
И сердце сильно билось в нем
И любопытством пламенело.
И вот река ему видна
Из-за кустов; освещена
Сребро-блестящею луною,
Сагану кажется она
Широкой огненной стезею;
Он стал на береге крутом;
«Сюда!» — с другого зов раздался...
Но виноват! я заболтался,
Забыл о Муромце моем!..

⟨ИЗ ПЕСНИ ПЯТОЙ⟩

⟨Нечаянное нападение Ильи Муромца на стан печенежский⟩

И витязь ехал день, другой;
На третий — тихие долины
Уж вечера дымились мглой
И солнца круг до половины
Закрыт был дальнею горой —
Он видит город пред собой.
Под оным — длинными рядами
Белеют бранные шатры;
И тел кровавые бугры,
И поле, взрытое конями,
И лат иссеченных костры,
И кровь, текущая ручьями,
И томный звон в градских стенах,
Зовущий жителей к молитве,
И клики шумные в шатрах —
Всё говорит о страшной битве,
Недавно бывшей в тех местах.

Печально витязь озирает
Залитый кровью злачный луг,
И ратоборный, пылкий дух
Отважный подвиг замышляет.
В дубраве ближней притаясь,
Он темной ночи ждет прихода
И не спускает зорких глаз
С златого западного свода.
И постепенно меркнет день,
Луна восходит одинока
И за собою от востока
Густую расстилает тень;
Долина кроется в тумане;
Всё мрачно вкруг — и в шумном стане
Зажглися частые огни;
Встают багровыми столпами
И под седыми облаками
Играют заревом они.

Мой богатырь от нетерпенья
На месте смирно не стоит:
Он весь желанием горит
Стоптать, рассеять ополченья, —
Помедлить ум ему велит
И выжидать для нападенья
Глухого полночи мгновенья.

Но не слыхать уж песен гула,
Погасли частые огни,
Лишь кой-где тлеют головни,
И рать притихла и заснула.
Тогда, усердно помолясь
Святому Спасу и Николе
И три раза перекрестясь,
Мой Муромец помчался в поле;
Как буря, как нежданный гром,
Он в стан ворвался с криком брани,
И меч в его могучей длани
Стал истребления серпом.

Друзья мои! вообразите,
Что вы ничем не смущены,

В постелях пуховых храпите
И грезите златые сны,
И вас нечаянно разбудит
Подкопа взорванного звук —
Каков тогда ваш ужас будет?
Придете ли в себя вы вдруг?
Таков был ужас печенегов
(От их губительных набегов
Тогда Чернигов трепетал),
Когда Илья на них напал, —
Обезоружены и наги,
Незапностью лишась отваги,
Они не знают, что начать:
Иной пускается бежать,
Иной спешит вооружиться
И, шлемом думая покрыться,
Вздевает на уши котел;
Иной, схватя шатерный кол,
Кого ни встретит, им колотит...
Но витязь врезался в толпы
И стелет трупы, как снопы,
Цепом булатным их молотит
И душу вывевает вон;
С главы до ног окровавлен,
Еще не сыт, еще трудится,
Здесь громом бьет, там вихрем мчится, —
Повсюду крик! повсюду стон!
И треск щитов! и шлемов звон!
Но изумленные граждане,
Тревоги шум послыша в стане,
Бегут к воротам и стенам
И видят силою геройской
Врагов рассыпанное войско.
Они бросаются к щитам,
Смыкаются под знаменами,
И вот, как бурный ток реки,
Надменный осени дождями,
Из града вылились полки
Неукротимыми толпами.
Всю ночь несытый русский меч
Не уставал злодеев сечь;
С широких басурманских плеч

Катились головы, как тыквы,
И застилали поле битвы.

Но с алой утренней зарей
Врага живого под стеной
Ни одного не зрели боле.
Лишь кровью залитое поле,
Лишь груды безобразных тел,
Обломки копий, тучи стрел
Остались признаком набегов
И грозной казни печенегов.

⟨РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ ПЕСНИ ПЕРВОЙ⟩

1

Приди, Мечта, беседовать со мною,
Игривая наперсница небес,
И легкою, небрежною рукою
Сорви покров с неведомых чудес,
Забвения покрытых дикой тьмою!..
Ты внемлешь, — уж туман исчез...
И, ясными одетое лучами,
Минувшее сияет пред очами.

2

Вот Киева зубчатая стена
И светлый дом Владимира Владыки!
Шумит народ, как бурная волна,
И витязей лихих мелькают лики,
И между них, как полная луна,
Владычеством сияет князь великий,
И вкруг его, как звезды, три княжны
И доблестью цветущие сыны!

3

Вот хлынули свирепые дружины!
Под тяжестью стеснившихся полков
Сгибаются широкие равнины!

Белеет ряд бесчисленных шатров!
И крик людей! и топот лошадиный!
Проснулся гул вдоль дремлющих лесов!
Над Киевом простерся мрак боязни,
Уныли все и ждут небесной казни.

4

Я вижу вдруг погибельную сечь!
Там быстрая стрела сквозь воздух мчится!
Там падает, свистя, несытый меч!
Там палицей тяжелый шлем дробится!
Там голова летит с широких плеч!
Там бледный труп в крови с коня валится!
Повсюду страх, и стон, и треск, и вой,
И льется кровь обильною рекой.

5

Вот Муромец Илья, герой могучий,
На удалом коне своем летит;
Ни зной, ни мраз, ни дождь, ни гром трескучий —
Ничто ему препоны не творит;
Чрез цепи гор, чрез степь, чрез лес дремучий
За славою без страха он летит:
Там злобных ведьм, там леших истребляет,
Там яростных гигантов побеждает.

6

Проснись, проснись, прекрасная княжна!
Уже близка минута избавленья!
Напрасна злость седого колдуна,
Напрасны все злодея покушенья.
И черная наука не сильна
Пред витязем, любимцем провиденья!
Ликуй, герой! враг злобный усмирен
И подвиг твой любовью награжден!

7

Уже бегут полки иноплеменных,
Как стадо птиц пред грозною зимой.
Умолкнул гром, и после бурь военных
Светлеет мир над Киевской страной, —

И в гриднице чертогов позлащенных
Пирует князь с дружиной удалой,
И громкий звон серебряных стаканов
Мешается с цевницами баянов.

8

Но что с тобой, о муза, удержись!
Куда тебя умчало восхищенье?
Хоть ты друзей немного постыдись!
Ты о себе худое дашь им мненье, —
Они тебя послушать собрались,
А ты кричишь, как дура, в исступленье:
«Вот там! вот здесь! я вижу то и то!»
Но ничего не видит здесь никто.

9

Сядь лучше здесь на канапе широком,
Чем лезть на верх крутых Парнасских гор;
Друзья все ждут в молчании глубоком
И, на тебя вперивши робкий взор,
И повести не смеют даже оком:
Начнем же им рассказывать свой вздор!..
Но берегись излишнего болтанья,
Чтоб их глазам не навести дреманья.

305. ⟨ОПИСАНИЕ САДА⟩

Он сходит в сад. Прелестный край
Его восторгом наполняет:
Он в восхищении считает
Себя перенесенным в рай.
Там лето пламенное купно
С прелестной царствует весной,
И, мнится, для зимы седой
То место вовсе неприступно.
Там рощи кедров, пальм, дубов,
Лимонных, миртовых дерев

И золотых акаций сени
На мягкий луг кидают тени.
С веселым шумом вдоль лугов
Потоки резвые сверкают —
То скаты бархатных холмов
Струей ленивой обмывают,
То вдруг уходят в тень дубов,
То вновь из мрака выбегают
И льются в чистый водоем,
Где рыбы редкие стадятся
И чешуею серебрятся.
Шумя серебряным столпом,
Встают в куртинах водометы,
Пред солнцем выгнувшись серпом,
Прекрасной радугою блещут
И, рассыпаяся дождем,
Алмазы, перлы долу мещут
И рдеют пурпурным огнем.
На долах, на холмах, под тенью
Беседки светлые стоят
И к мирному отдохновенью
Своею пышностью манят;
Отражена во влаге ясной,
Дерновых островов гряда
Сияет зеленью прекрасной
На гладком серебре пруда,
Как ряд каменьев изумрудных;
Хор птиц неведомых и чудных,
То в синеве небес кружась,
То в темной зелени таясь,
Пространство пеньем оглашают,
И с ними страстный соловей,
Певец любви и красных дней,
Свою мелодию сливает;
Душистый вешний ветерок,
Как дух бесплотный, повевает:
То тронет спящий ручеек
И зарябит хрустальный ток,
То шепчет в зелени дубравы
Или, слетевши на лужок,
Лобзает розы величавы
Или смиренный василек.

Но более всего дивило,
Что сад был так расположен,
Что вовсе неприметно было —
Искусство ли его садило
Или природой создан он.

1820—1824

П. П. ШКЛЯРЕВСКИЙ

Павел Петрович Шкляревский родился 15 января 1806 года в г. Лубны Полтавской губернии в семье священника.[1] На одиннадцатом году мальчик был отправлен в Петербург, к дяде, который дал племяннику хорошее воспитание и образование, сначала дома, а потом (в 1823—1827 годах) в петербургской (впоследствии 3-й) гимназии. Здесь Шкляревский начинает писать стихи; хорошо владея несколькими древними и новыми языками, он переводит Салиса, Маттисона, Гете, Шиллера, Клопштока, Байрона, В. Скотта. Его первые печатные выступления относятся к 1823 году; несколько его стихотворений А. Е. Измайлов поместил в «Благонамеренном» (1823), «Календаре муз» (1826 и 1827) и «Невском альманахе» (1826); одно появилось в «Северных цветах на 1827 год». В гимназии Шкляревский сблизился с будущим историком М. С. Куторгой, издавшим впоследствии посмертный сборник его стихов; в 1827 году оба они поступили в Петербургский университет (Шкляревский на философско-юридическое, Куторга на словесное отделение), а в следующем году в числе других соискателей были направлены в Дерпт, в Профессорский институт. Здесь Шкляревский ревностно возобновляет прерванные занятия; его успехи в изучении филологии и философии высоко оцениваются профессорами; однако уже в 1829 году он заболевает и 5 июля 1830 года умирает от туберкулеза легких.

До нас дошло около трех десятков стихотворений Шкляревского, главным образом переводных; в стихах этих уже успели определиться некоторые особенности своеобразной и оригинальной поэтической манеры. Шкляревский не следует эпигонам элегической поэзии 1820-х годов, — он тяготеет к философской символике и усложненной и несколько абстрактной образности. Современники не без

[1] Е. А. Бобров, Жизнь и поэзия Павла Петровича Шкляревского. — «Сб. Учено-литературного общества при императорском Юрьевском университете», Юрьев, 1909, т. XIV, с. 18.

основания замечали в его стихах мистический оттенок, в частности идущую от немецкой поэзии и Жуковского идею двоемирия («Детство»). Характерны для него и эсхатологические мотивы, которые получат затем развитие в русской поэзии 1830-х годов. Представляют интерес и архаизаторские тенденции Шкляревского, несомненно идущие от увлечения этимологией: намеренное и постоянное обращение к славянской лексике — у него не только следование традиции «высокой поэзии», но и попытка отыскать новые и необычные экспрессивные средства путем обнажения этимологических связей слова и разрушения его привычной ассоциативной сферы; отсюда его смелые и непривычные неологизмы, несколько напоминающие словотворчество Языкова («Пляска», 1826; «К другу», 1827, и др.).

306. ФИАЛКА

Где гибкий орешник сплетается с ивой,
  Фиалка под сенью ветвей
Цветет, помрачая красою стыдливой
  Цветы и садов и полей.

Как нежно листочков лазурных блистанье
  Под каплей жемчужной росы;
Но видел я очи: нежней их сиянье
  Сквозь чистую перлу слезы!

Едва загорелось дневное светило —
  И высохла в листьях роса, —
Не долей блестела в очах моей милой
  Разлуки печальной слеза.

1824

307. ПЕВЕЦ

Из Гете

«Что слышу, на мосту звучит?
Чьи клики пред вратами?
Да своды замка огласит
Та песня перед нами!» —
Так царь воскликнул — паж летит;

Примчался паж — царь говорит:
«Впустить в чертоги старца!»

«Приветствую тебя, собор
Героев и прелестных!
Что зрю? Се звезд несчетный хор!
Се вождь светил небесных!
Се красоты и славы храм!..
Смежитесь, очи; здесь не вам,
Дивяся, восхищаться».

Певец склонил на арфу взгляд;
Коснулся струн — бряцают.
Отвагой рыцари кипят,
Ланиты дев пылают.
Умолк. Царь услажден игрой —
И цепью повелел златой
Украсить выю старца.

«Не мне дари ты цепь сию!
Цепь — рыцарям могучим:
Их копья не страшат в бою,
Треща, как лес дремучий!
Цепь канцлеру златую дай:
Под бременем забот — пускай
Еще златое носит.

Подобно птице я пою,
Что на ветвях витает;
И песнь моя — за песнь мою
Богато награждает.
Просить дерзну ли об одном?
Вели кипящую вином
Поднесть златую чашу».

Он взял — и осушилось дно.
«О, сладостный напиток!
О, благо дому, где вино —
Даров небес избыток!
В день счастья вспомните певца
И столь же пламенно Творца,
Как вас певец, прославьте».

1825

308. ПЛЯСКА

Зри, как быстро четы волною игривой кружатся,
Чуть досязая земли резво-крылатой стопой!
Тени ли зрю я воздушные, свергшие тела оковы?
Эльфы ль в сияньи луны светлою цепью плывут?
Как, зефиром колеблемый, дым струится летучий,
Словно в сребристых зыбях легкий колышется челн,
Скачет, топочет стопа под сладостный лад переливов;
Рокот, бряцание струн живость вливают в тела.
Вот, как будто стремясь расторгнуть цепь хоровода,
Там в стеснившийся ряд мчится отважно чета.
Быстро пред ней расступается ход, исчезая за нею;
Словно волшебным жезлом вдруг заграждается путь.
Мигом от взоров она потерялась; в смятении диком
Гибнет пленительный строй, двигаясь, рушится мир.
Нет, там ликуя несется она; развивается узел;
Лишь в измененной красе вновь учреждается чин.
Рушася вечно, зиждется вечно, вращаясь, творенье;
Тайный закон естества правит игрой перемен.
Но отчего же, вещай, непрестанно зыблются лики
И в движеньи существ царствует вечный покой?
Всяк — владыка, свободен, лишь сердца внушенью подвластен
И скоротечно спешит общей, известной стезей?
Хочешь ли знать? То устав Гармонии — мощной богини:
Дружною пляской она буйный смиряет скачок;
Как Немезида, златой сладкозвучья уздой укрощает
Дикую радость души, пылкий, кипящий восторг.
Или вотще для тебя рокочет музыка вселенной?
Иль не чарует тебя стройного пенья поток?
Ни восхитительный лад, согласие чудное тварей,
Ни круговой хоровод, плавно в пространствах небес
Светлые солнцы вратящий на поприщах, смело извитых?
Меры, хранимой в игре, в действиях ты не блюдешь.

1826

809. К ДРУГУ

(Во время грозы)

Пусть с ужасом бледным порок боязливый
В ущелия темных вертепов летит
И мщенья трепещет судьбы справедливой,
Что в пламенных тучах по небу парит.

С высот осененная мощной рукою,
То бурю кротящей, то вержущей гром,
Стоит, как в сиянии дня, под грозою,
Осклабяся, Доблесть с подъятым челом.

В перунах, секущих померкшие своды,
В борющихся вихрях, в стенаньи дубров
Ей слышатся те же глаголы природы,
Как в шорохе зыблющих злак ветерков.

Изрыто пременами поприще света;
Несчетно виется на оном путей;
Но вечна одна провидения мета:
Виются стези — и сливаются в ней.

Всеобщее благо равно пламенеет
В светилах, над синим эфиром горит,
Как в розе нагбенной росою алеет
Иль в нежных малиновки трелях звучит.

Вовек да не тмит, о мой друг незабвенный,
Души твоей светлой мечтательный страх:
Эгидой ума от тебя отраженный,
Пускай он гнездится в растленных сердцах.

Да нежно хранит тебя горняя сила
И дни твои в радужном блеске текут;
Да ангелы окрест лазурные крила,
Как сень, над главою твоей распрострут.

Когда по безбрежным пучинам творенья
Последний прокатится рокот громов,

Расстроит согласные звезд песнопенья
И мертвых воздвигнет под склепом гробов, —

Спокойно да узришь с отрадой священной
Конечную бурю, сквозь вихри огня,
Сквозь пепел и дым, по обломкам вселенной,
Ведущую в свет невечернего дня!

1827

810. ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Не голубки воркование
Разливается по рощице:
Ярославны голос стелется
По стенам Путивля древнего.

«Где ты, Игорь — радость, счастие
Ярославны одинокия,
Как в долине ландыш вянущий?
Прилети веселой птичкою
На поля цветущей родины,
Прилети в мои объятия,
Осуши с лица печального
Поцелуем слезы горькие...
Ах! когда б была я горлицей —
Полетела б к другу-голубю
Вдоль Дуная серебристого;
Прилетела б в поле ровное —
Там крылом любви невинныя
У шатра в лугу муравчатом
Обняла бы князя милого!
Отерла бы раны горькие
Рукавом бобровым с ласкою!..
Ветер, ветер! Что с насилием
Веешь крыльями холодными?
Ах! зачем стрелу пернатую
Не отвеял ты от Игоря?..
Ах! зачем мое веселие
Ты развеял резво по лугу
Вместе с листьями поблекшими?

Мало ль гор крутых — играть тебе
С облаками серебристыми;
Корабли лелея по морю,
Веять в парусы игривые?..
Солнце светлое, прекрасное!
Всем ты мило, всем прелестно ты,
Всем сердцам блестишь ты радостью
На лазури неба чистого!
Ах! зачем лучи каленые
Пролило на милых воинов?..
Лук засох унывших ратников,
Притупились стрелы острые,
Щит и шлем покрыты пылию!..
Светлый Днепр! река широкая!
Ты пробил сквозь горы каменны
Путь в пределы Половецкие.
Ты лелеял Святославовы
Ладии — на белых парусах,
Белой, лебединой стаею
Рассекавшие поверхность вод!
Ах! лелея на зыбях своих,
Ты неси ко мне любезного —
Дабы с утренней денницею
Или с месяцем серебряным
Мне не лить с тоскою, горестью
Слез на волны моря синего!..
Ах! когда бы знала бедная,
Что сразили друга Игоря,
Не ходила б к морю синему!
Не мочила бы бобрового
Рукава в слезах катящихся!
Не смотрела б в даль пустынную,
Не белеют ли там парусы,
Резвым ветром воздымаемы!
Не лила бы слез потоками
На песок, на камни хладные!»

1820-е годы

311. ДРЕВНЯЯ ГРЕЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

1

Шествуйте, еллинов чада!
Бранное время пришло!
Не мы ль свободы ограда?
Мы ли понизим чело?
Явимся местью отчизны,
Свергнем тиранства ярем;
Не опозорим сей жизни!
Други, сразим иль умрем!
К мечам, сыны свободы! В бой
С свирепыми врагами!
Прольем их черну кровь рекой,
Самих попрем стопами!

2

Спарта, ты спишь — и оковы
Грудь бременят: о, воспрянь!
Кликни Афинам: «Почто вы
Дремлете! Йдем на брань!»
Пусть на сем подвиге смелом
Будет и жезл ваш и щит
Доблий душою и делом
Храбрый герой — Леонид!
К мечам, сыны свободы! В бой
С свирепыми врагами!
Прольем их черну кровь рекой,
Самих попрем стопами!

3

Вспомните: он Фермопилы
Своею славой огласил,
Персов несметные силы
С горстью своих сокрушил,
Отдал свободе священной
Радостно жизнь он свою,
Храбро, как лев разъяренный,
Пал на кровавом бою.

К мечам, сыны свободы! В бой
С свирепыми врагами!
Прольем их черну кровь рекой!
Самих попрем стопами!

1820-е годы

812. ДЕТСТВО

Пурпуром пылает
Облаков гряда;
Ласково сияет
Вечера звезда;
Нежной Филомелы
Льется в роще трель;
В хоровод веселый
Нимф зовет свирель —
Ах! в сей час отрады
Устремляю я
Горестные взгляды
К вам — утех семья,
Радости былые,
Счастия привет,
Игры золотые —
Прелесть майских лет.
Сумрак расступился,
Над рекою бор
Черный озарился;
Сквозь туманный флер
Вновь луна сверкает
Перлами лучей, —
Так порой слетает
Мрак с души моей,
В час, когда, блистая
Прелестию дня,
Гостья неземная
Посетит меня,
Нежно улыбнется,
Словно дочь весны,
И опять сольется
С мглою старины.

Сколь прекрасен в белой
Ризе и в венке,
С розой облетелой,
С лилией в руке,
Мирный смерти гений,
Детства милый брат,
Чистых наслаждений
Красящий закат!
Юность нас пленяет,
Как зари восход;
Как сквозь дым мерцает
Ночь с толпой забот;
Там, в стране прекрасной,
Чище дня рассвет,
За денницей ясной
Вечер не придет.

1820-е годы

А. Д. ИЛЛИЧЕВСКИЙ

Алексей Дамианович Илличевский, лицейский однокашник Пушкина, родился в 1798 году в семье чиновника, занимавшего в 1812—1819 годах должность губернатора в Томске. Учился в Санкт-петербургской гимназии, затем в Царскосельском лицее (1811—1817), где пользовался репутацией способного, но честолюбивого и склонного к карьеризму ученика. Среди лицеистов считался поэтическим конкурентом Пушкина. Илличевский — неизменный участник рукописных лицейских сборников и журналов («Для удовольствия и пользы», 1812; «Лицейский мудрец», 1815), где помещает свои карикатуры, басни, эпиграммы, анакреонтические стихи; составитель «Лицейской антологии, собранной трудами пресловутого -ийший» (лицейский псевдоним Илличевского). Творчество Илличевского было очень типично для культа «легкого стихотворства», господствовавшего в Лицее. С 1814 года он начинает систематически выступать в печати («Вестник Европы», 1814; «Российский музеум», 1815; «Кабинет Аспазии», 1815; «Северный наблюдатель», 1817). В 1817 году, по окончании Лицея, Илличевский уезжает в Сибирь в качестве чиновника Сибирского почтамта в Тобольске; прощальные послания ему адресовали Дельвиг и Пушкин. Живет он в Томске, у отца, занимавшего в это время должность томского губернатора. Он не теряет связи с петербургскими литераторами, переписывается с Кюхельбекером, своим лицейским товарищем,[1] в 1819 году избирается в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств и печатает анаграммы, шарады, басни и эпиграммы в «Благонамеренном» (1820—1821, 1823). В 1820 году он помещает здесь и статью «О погрешностях в стихосложении», где пытается определить и обосновать

---

[1] «Пушкин и его современники», вып. 31—32, Л., 1927, с. 151.

принципы «легкой поэзии» на русской почве. В 1821 и 1822 годах он приезжает в Петербург, где возобновляет связи с Дельвигом и постоянно участвует в традиционных празднованиях лицейских годовщин. Принят он и в салоне Пономаревой; 2 февраля 1823 года он выходит в отставку[1] и 16 февраля уезжает в заграничное путешествие (в Париж),[2] 4 марта 1825 года вновь поступает на службу (в министерство финансов, затем в департамент государственных имуществ). Стихи его появляются в «Новостях литературы» (1824, 1826), «Московском телеграфе» (1827) и «Северном Меркурии» (1830). Творчество его не претерпевает заметных изменений; он лишь совершенствует стилистическую отделку, улучшает версификацию и т. д. В 1827 году он собирает разновременные стихи в сборник «Опыты в антологическом роде»; в предисловии он вслед за Батюшковым выступает в защиту «легкой поэзии» как полноправного жанра, знаменующего собой «успехи словесности» и «усовершенствование языка». Представления Илличевского об антологической поэзии уже архаичны для конца 1820-х годов; «антологию» он понимает, в духе поэтической практики XVIII века, как собрание небольших стихотворений галантно-эротического, эпиграмматического или моралистического характера, отличающихся изощренностью стиля и поэтической техники и афористичностью построения. Даже в структуре и жанровом делении своего сборника Илличевский следует доромантической «Anthologie Française» (1816), откуда он заимствует около трети стихов в «Опытах»;[3] ориентируется он и на русских продолжателей традиции — И. И. Дмитриева, Батюшкова, В. Л. Пушкина. Созданные Илличевским образцы в ряде случаев несомненно удачны и принадлежат к лучшим достижениям «легкой поэзии» в 1820-е годы: они отличаются непринужденностью, остроумием, в иных случаях даже виртуозностью формы; в то же время в них отсутствует как глубина, так и оригинальность. После 1827 года Илличевский печатается лишь изредка. В 1828 году он довольно близко об-

---

[1] Формулярный список его — ЦГИА, ф. 1349, оп. 4, № 167 (1835 г.), л. 27 об.; биография — Н. Гастфрейнд, Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею. 1811—1911, т. 2, СПб., 1912, с. 119.

[2] См. запись его 15 февраля 1823 г. «перед отъездом в Париж» в альбоме С. Д. Пономаревой (ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 70); письмо А. Е. Измайлова П. Л. Яковлеву 16 февраля 1823 г. — Рукописный отдел института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), 14. 163/LXXVIII, б. 7, л. 24. В дальнейшем название этого архива дается сокращенно: ПД.

[3] Б. Томашевский, Заметки о Пушкине. —«Пушкин и его современники», вып. 28, Пг., 1917, с. 59.

щается с Дельвигом и Пушкиным и поддерживает связь с лицеистами, главным образом 1-го курса. Более всего, однако, он озабочен своим продвижением по службе, которое совершается медленно (лишь в 1831 году он был утвержден начальником 5 отделения департамента государственных имуществ, а в 1834 году получил чин статского советника). Умер Илличевский 6 октября 1837 года, после тяжелой двухлетней болезни.

313. ОТ ЖИВОПИСЦА

Всечасно мысль тобой питая,
Хотелось мне в мечте
Тебя пастушкой, дорогая,
Представить на холсте.
С простым убором Галатеи
Тебе я прелесть дал;
Но что ж? напрасные затеи —
Я сходства не поймал.

Всё стер и начинаю снова.
Я выбрал образцом
Елену, в пышности покрова,
В алмазах и с венцом.
То ж выраженье благородства,
Как и в чертах твоих;
Но погляжу — опять нет сходства, —
Не стало сил моих.

Так! видно мысль одна дерзает
Постичь красу твою:
Пред совершенством повергает
Искусство кисть свою.
Амур всего удачней пишет
В сердцах твой милый вид,
А страсть, которой сердце дышит,
Навек его хранит.

1815

814. ДЕРВИШ

Шел Дервиш; утомясь в степи, палимой зноем,
На опровергнутый садится истукан.
«Кому же сладостным обязан я покоем?» —
Подумал и прочел он надпись: *Тамерлан.*
«Возможно ли? тому, кто мир страшил разбоем!
Теперь, забытый в нем, он путником попран».

⟨1821⟩

815. ТРИ СЛЕПЦА

Судьбой на все страны́ земные
Постановлен один закон —
Вселенной правят три слепые:
Фортуна, Смерть и Купидон.
Жизнь наша — пир, с приветной лаской
Фортуна отворяет зал,
Амур распоряжает пляской,
Приходит Смерть — и кончен бал.

⟨1826⟩

816. N. N., ПОДНОСЯ ЕЙ ЯБЛОКО

Я выбран, как Парид, судьей;
Ты торжествуешь, как Киприда;
Решил не хуже я Парида, —
Заплатишь ли подобно ей?

⟨1826⟩

817. 19 ОКТЯБРЯ

Друзья! Опять нас вместе свел
В лицейский круг сей день заветный.
Не видели, как год прошел, —
Мелькает время неприметно!

Но что нам до него? Оно
Коснуться братских уз не смеет,
И дружба наша, как вино,
Тем больше крепнет, чем стареет.

1826

318. ОРЕЛ И ЧЕЛОВЕК

С подоблачной вершины гор
Орел под своды неба вьется,
Вперив на солнце смелый взор,
Громам и молниям смеется;
А человек, сей царь земли,
В ничтожестве своем тщеславный,
Мечтает быть с богами равный
И пресмыкается в пыли.

⟨1827⟩

319. АКТЕОН И МЕНЕЛАЙ

От нимфы мстительной рогами
За то наказан Актеон,
Что видел дерзкими очами,
Чего б не должен видеть он;
Елены же супруга ими
Украсил лоб Венерин сын
За то, что видел он с другими
Что видеть должен бы один.

⟨1827⟩

320. ПРАВЕДНЫЙ СУД

Когда Орфей, гласит преданье,
Проник Айдеса в глубину,
Певцу за дерзость в наказанье
Велели возвратить жену;

Тут бедный муж струнам коснулся
И лирой Тартар огласил —
Плутон игрой его тронулся
И от жены освободил.

⟨1827⟩

321. РАЗНЫЕ ЭПОХИ ЛЮБВИ

Невинности златые годы!
Любви непокупной куда вы скрылись дни?
Тогда любовников расходы
Считались нежности и ласки лишь одни.
Теперь уже не то, и средствами иными
Любовник действовать на милых принужден:
Кто платит вздохами одними,
Одной надеждой награжден.

⟨1827⟩

322. ОПАСЕНИЕ ИЗЛИШНЕЙ ЛЮБВИ

Два дни я с милою в разлуке,
И вот любви ее порукой два письма:
В одном она, предавшись скуке,
В тоске по мне сходя с ума,
Твердит, что уж со мной рассталась больше году;
В последнем — что меня не видит уж сто лет, —
Ну, если день еще пройдет,
Ведь скажет, может быть, что не видала сроду.

⟨1827⟩

323. СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Другого мысль проникнуть сразу,
Себя уметь скрывать всего,
Смеяться, плакать по заказу,
Любить и всех и никого,
Льстить и ругать попеременно,

Лгать и обманываться век —
Вот что зовется совершенный
В понятьи светском человек.

⟨1827⟩

324. К ДРУЖБЕ

О Дружба! лучший дар всещедрых к нам богов!
Ты наполняешь жизнь весельем безмятежным
И, не изменчива, как резвая любовь,
Под старость дней еще живишь участьем нежным;

Ты золотой осуществляешь век,
Спрягая с постоянством счастье,
И, если б сохранил невинность человек,
Ты б называлась — сладострастье.

⟨1827⟩

325. МЫСЛЬ АРИСТИППА

Родится человек, умрет,
Умрет и больше не родится.
Что прошлого жалеть, грядущего страшиться?
Вчера прошло и не придет,
Дождемся ль завтраго? Сей день нам дар судьбины;
Кто с наслажденьем жил, тот тайну жить постиг, —
Так поживем же краткий миг
Между рожденья и кончины!

⟨1827⟩

326. КОРСАР И ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Разбойником назвал Корсара обладатель
Ста сильных кораблей. Тот молвил: «Власть твоя:
С суденышком — разбойник я,
А с флотом — ты завоеватель».

⟨1827⟩

327. ДОГАДЛИВЫЙ ХОЗЯИН

Зимою пятый час, а свечи жечь пора.
Соседа Климыч ждал, сам вышел со двора;
Но, уходя, мелком на притолке оставил:
«В шесть буду, подожди меня».
Сосед шутник внизу прибавил:
«А если не прочтешь, так высеки огня».

⟨1827⟩

328. ВЛАСТЬ КРАСОТЫ

Власть красоты, увы! сильнее всех властей:
Я глупостью считал гнев греков, казнь Пергама,
Глупцами Гектора, Ахилла и Приама,
Гомера ж, певшего их глупость, всех глупей.
Я не любил еще; теперь, влюбясь в Глицеру,
Решиться для нее на всё готов я сам:
Всё вижу иначе, дивлюсь певцу Гомеру,
Все правы — и Ахилл, и Гектор, и Приам.

⟨1827⟩

329. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Безостановочно в стекле пересыпаясь,
Сколь убедительно песок сей учит нас,
Что так и жизнь уходит, сокращаясь,
И с каждым днем к нам ближе смертный час.
О, слабый человек! что дни твои? мгновенья!
В сем кратком поприще скользишь ты каждый шаг;
Не примечая, в гроб стремишься с дня рожденья;
Из праха созданный, рассыплешься во прах.

⟨1827⟩

330. МЕРА ЖИЗНИ

Существованье человека
Часами радостей сочтя,
Ничтожество познаем века
И в дряхлом старике — дитя.
Будь кратко поприще земное,
Лети лишь в счастьи и в покое
Станица легкокрылых дней;
Мой выбор без предубеждений:
Жизнь измеряется верней
Числом не лет, а наслаждений.

⟨1827⟩

331. ИСТОРИЯ ПЯТИ ДНЕЙ

Открыться Лидии не смея,
Я в первый день ее любил;
Назавтра, несколько смелее,
Ей тайну сердца объявил;
День ото дня нетерпеливей,
Назавтра руку ей пожал;
Назавтра, прежнего счастливей,
У милой поцелуй сорвал;
Назавтра, миртами венчанный,
Я осчастливлен был вполне;
Но в тот же день, непостоянный,
Я пожалел о первом дне.

⟨1827⟩

332. ЭПИЛОГ

Счастлив, кто на чреде блестящей,
Водимый гением, трудится для веков;
Но змеи зависти шипящей
Тлетворный точат яд на лавр его венков.

Я для забавы пел, и вздорными стихами
Не выпрошу у Славы ни листка,
Пройду для Зависти неслышными шагами
И строгой Критики не убоюсь свистка:
Стрела, разящая орла под облаками,
Щадит пчелу и мотылька.

⟨1827⟩

333. АКЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

Вплывя в пространный круг сухого океана,
Повозкой, как ладьей, я зыблюсь меж цветов
В волнах шумящих нив, в безбрежности лугов,
Миную острова багряные бурьяна.

Уж смерклось, впереди ни тропки, ни кургана;
Ищу на небе звезд, вожатаев пловцов:
Там блещет облако — то Днестр меж берегов,
Там вспыхнула заря — то фарос Акермана.

Как тихо! подождем! мне слышится вдали,
Чуть зримы соколу как вьются журавли,
Как легкий мотылек на травке колыхнется,
Как скользкой грудью змей касается земли:
Пределов чужд, в Литву мой жадный слух несется...
Но едем далее, никто не отзовется.

⟨1827⟩

334. БАХЧИСАРАЙСКИЙ ДВОРЕЦ

Наследье ханов! ты ль добыча пустоты?
Змей вьется, гады там кишат среди свободы,
Где рабство прах челом смешало в древни годы,
Где был чертог прохлад, любви и красоты!

В цветные окна плющ проросшие листы
Раскинув по стенам и занавесив своды,

Создание людей во имя взял природы,
И пишет вещий перст: развалина! Лишь ты,

Фонтан гарема, жив средь храмин, мертвых ныне,
Перловы слезы льешь, и слышится, в пустыне
Из чаши мраморной журчит волна твоя:
«Где пышность? где любовь? В величии, в гордыне
Вы мнили веки жить — уходит вмиг струя;
Но ах! не стало вас; журчу, как прежде, я».

⟨1827⟩

335. МЕЧТА ПАСТУШКИ

Когда мечтами легких снов
Окован дух наш утомленный,
Герой бесстрашно в сонм врагов
Летит на зов трубы военной;
Оратай с плугом по браздам
Влачится мирными волами;
Пловец несется по морям,
Борясь с кипящими волнами;
А я — о бурях, о войне,
По счастью, чуждая понятья,
Любовь лишь зная, — и во сне
Стремлюся к милому в объятья.

⟨1829⟩

М. Д. ДЕЛАРЮ

Михаил Данилович Деларю (1811—1868) родился в Казани, в семье начальника архива инспекторского департамента Главного штаба. Проведя раннее детство в Казани, в 1820 году поступил в Царскосельский лицей, который окончил 29 июня 1829 года. Большое влияние на Деларю оказала лицейская традиция, начатая первым (пушкинским) выпуском и существовавшая и позже, хотя уже в ослабленном и искаженном виде; еще в 1840-е годы Деларю принимает участие в праздновании лицейских годовщин и поддерживает переписку с бывшим директором Лицея Е. А. Энгельгардтом, который воспринимает его как одного из носителей «лицейского духа». Еще лицеистом Деларю познакомился с Пушкиным и, вероятно, тогда же вошел в кружок лицеистов разных выпусков, группировавшихся около Дельвига. По окончании Лицея Деларю поступает на службу в департамент государственного хозяйства и публичных зданий, а с 1833 года служит секретарем в канцелярии военного министерства.

Поэтическая деятельность Деларю началась еще в Лицее в конце 1820-х годов; дебютировал он в печати переводом из «Метаморфоз» Овидия (1829). С 1830 года он активно сотрудничает в изданиях Дельвига — «Северных цветах» и «Литературной газете». Как поэт Деларю развивается под непосредственным влиянием Дельвига; он воспринимает прежде всего «антологическую» линию его творчества, культивируя гекзаметр и элегический дистих и создавая образцы излюбленных Дельвигом жанров — антологической эпиграммы, идиллии («К Неве»), фрагмента — «подражания древним» («Прелестнице»), сонета. Подобно Дельвигу, он стремится расширить сферу «антологии», пытаясь воспроизвести дух восточной любовной лирики («Эротические станцы индийского поэта Амару»), обращаясь и к русским народнопоэтическим мотивам, впрочем едва намечающимся («Ворожба»). Эти эксперименты не вели у Деларю ни к созданию

поэтической типологии чужих культур, ни к преломлению принципов антологической лирики в пределах традиционных жанров; они остановились на стадии стилизации и послужили для Деларю лишь школой «слога». Критика ценила «знание языка» и стилистическую выдержанность стихов Деларю; его поощряли Плетнев и Дельвиг, писавший ему: «Пишите, милый друг, доверяйтесь вашей Музе, она не обманщица, она дама очень хорошего тона и может блестеть собственными, не заимствованными красотами».[1] Пушкин, напротив, невысоко ценил его поэзию за «чопорность» и «правильность», не находя в ней «ни капли творчества, а много искусства».[2] В поэзии Деларю определяются и мотивы и темы, получившие широкое распространение в 1830-е годы, например тема «демона», «падшего ангела», взятая им от Жуковского (переводившего Клопштока и Т. Мура); в трактовке ее Деларю всецело следует за Жуковским, воспринимая как раз наиболее слабые стороны его творчества («серафический» аллегоризм, моралистичность). Смерть Дельвига была непоправимой потерей для Деларю; со времени распада дельвиговского кружка его творчество идет на убыль. В 1831—1834 годах он еще поддерживает общение с литературными кругами; сближается с Пушкиным, которому оказывает некоторые услуги, в частности предупредив его о перлюстрации его писем и т. д.,[3] в 1834 году, будучи в Казани, принимает участие в деятельности литературного кружка А. А. Фукс. В том же году за перевод стихотворения В. Гюго «Красавице», признанный безнравственным и кощунственным, Деларю был отстранен от должности. В 1837 году он получает место инспектора одесского Ришельевского лицея. В 1841 году из-за слабого здоровья и трудной служебной обстановки выходит в отставку и занимается почти исключительно хозяйственными делами в своем имении под Харьковом, пытаясь выйти из материальных затруднений. К литературе он возвращается лишь спорадически, опубликовав в одесских изданиях и плетневском «Современнике» несколько переводов из Овидия и выпустив в 1839 году гекзаметрическое переложение «Слова о полку Игореве».

---

[1] Отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф. 445, № 228, л. 73.

[2] Письмо Плетневу около 14 апреля 1831 г. — Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 14, М.—Л., 1941, с. 162.

[3] «Русская старина», 1880, № 9, с. 217; № 10, с. 424; Пушкин, Письма, т. 3 (1831—1833), под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, М.—Л., 1935, с. 50, 247.

336. ПАДШИЙ СЕРАФИМ

Гонимый грозным приговором,
За райским огненным затвором
Скитался падший серафим,
Не смея возмущенным взором
Взывать к обителям святым.
Ему владеющий вселенной,
Творец миров и горних сил,
За дух кичливый и надменный
Перуном крылья опалил:
С тех пор, кляня существованье,
Творца и всё его созданье,
Вдали эдема он бродил.
Тоскою сердце в нем кипело,
Надежды чистый луч исчез. . .
Но вот однажды от небес
К нему раскаянье слетело
И сердце хладное согрело
Своей небесной теплотой:
С улыбкой нежной состраданья
Давно забытые мечтанья
Над ним взроилися толпой. . .

Поникнув мрачной головою,
В раздумьи тяжком он стоял;
Его тоскующей душою
Какой-то трепет обладал.
«Увы! — отверженный сказал. —
Не мне блистать в эдемском свете,
Не мне предвечного любовь!
Я крылья опалил в полете —
Могу ль лететь к эдему вновь?»

Сказал, и слез ручей обильный
Ланиты бледные свежит, —
Так цвет увядший надмогильный
Роса небесная живит.
И что же? Дивной красотою
Его шесть крыльев вновь цветут,
И он летит. . . туда, где ждут
Прощенных милостью святою.

1827

337. К ГЕНИЮ

Гость благодатный! для чего ты
Приманкой сладостных речей
Велишь восстать душе моей
От продолжительной дремоты?
Зачем твой вдохновенный вид
Своей небесной красотою
К стране надземной за собою
Земного странника манит?
На миг единый очарован
Сияньем звездной синевы,
Дух встрепенется — но увы!
К темнице грустной он прикован,
И разорвать оков нет сил!
Так древле вождь отпавших Сил,
В минуту сладкого забвенья
О крае вспомнивши родном,
Взмахнул опущенным крылом, —
Но опаленное творцом,
Крыло повисло без движенья
Над мощным Демона плечом.

⟨1829⟩

338. МЕФИСТОФЕЛЮ

Враждебный дух, оставь меня!
Твои зловещие рассказы
Душе тлетворнее заразы,
Опустошительней огня!
Твой взор угрюмый и печальный
Мятежным пламенем облит,
Твой голос стонет и гремит
Напевом песни погребальной. . .
И даже в тот священный миг,
Когда в восторгах молодых
В свои любовные объятья
Хотел бы всю природу сжать я,
В устах насмешливых твоих
Кипят укоры и проклятья. . .

И бурные слова твои
Грозой могучей завывают,
И мир восторгов, мир любви
В покровы гроба облекают...
О, удались, молю тебя!
Еще мой дух живой и сильный
Лелеет мощная судьба
Своей улыбкою умильной,
Еще доступна грудь моя
Слезам любви и вдохновений
И чистоты сердечной гений
Не позван небом от меня!

Октябрь 1829

839. К НЕВЕ

Снова узрел я, Нева, твой ток величаво-спокойный;
Снова, как юная дева в объятьях любовника страстных,
Ты предо мною трепещешь, лобзая граниты седые!
Ныне, как прежде, ты блещешь волною кипучей, — но те ли
Думы, то ли веселье на душу мою навеваешь?
Много светлеющих волн умчала ты в дань океану,
Много дней незабвенных ушло в беспредельную вечность!
Помню тот сладостный вечер, когда над волнами твоими
В горький час разлученья бродил я с девою милой:
О, как игриво, как шумно волнуясь, тогда протекала
Ты в объятьях высоких брегов и, казалось, с любовью
К гордым гранитам ласкаясь, шептала им с трепетом звуки,
Сладкие звуки любви неизменной, — и что же? уж тучи
Месяца лик покрывали в трепещущей влаге, и втайне
Мрачно-спокойное недро твое зарождало ненастье!
Помню: вот здесь на устах, распаленных любовью, пылали
Девы коварной уста; убедительно, пламенно было
Полное неги ее лепетанье, — но тоже уж в сердце
Девы обман зарождался, и перси изменой дышали.

⟨1829⟩

340. ВОРОЖБА

Ночь; луна на снег сыпучий
Брызжет искры серебра;
На дворе мороз трескучий,
Но тепла моя нора:
С треском легким и печальным
В камельке огонь горит;
Перед ним в платочке спальном
Няня старая сидит.

Дух волнуется тоскою...
Няня! завтра новый год!
Что-то доброго с собою
Гость желанный принесет?
Знаешь, милая, нельзя ли
Воску ярого принесть
Да про новые печали
Года нового развесть?

С приговорками, с мольбою
Загадай-ка обо мне:
Что? останусь ли с тобою
Я в родимой стороне?
Иль по чуждому веленью
В чужь далекую умчусь,
Или новой мирной тенью
К старым теням поплетусь?

Или нет! зачем далёко
О судьбе своей гадать?
Что назначено жестокой,
Быть тому, не миновать...
Загадай-ка лучше, няня,
Не пройдет ли поутру
Завтра маленькая Таня
Здесь по снежному ковру?

Не блеснут ли мимо окон
Розы свежего лица,
Не мелькнет ли русый локон
У тесового крыльца?

И в восторге, в упоеньи,
Буду ль я в ночной тиши
Целовать в самозабвеньи
Очи девицы-души?

Что же дряхлой головою
Ты насмешливо трясешь?
Полно, старая! с тобою
Разве не было того ж?
В дни, когда была моложе,
Знала, верно, ты, мой свет,
Что восторга миг дороже
Полусотни скучных лет!

⟨*1830*⟩

341. ГОРОД

Холодный свет, юдоль забот,
Твой блеск, твой шум не для поэта!
Душа его не обретет
В тебе отзывного привета!
От света, где лишь ум блестит,
Хладеет сердца упоенье
И, скрыв пылающий свой вид,
В пустыни дикие бежит
Испуганное вдохновенье.

⟨*1830*⟩

342. ПРЕЛЕСТНИЦЕ

Лобзай меня: твои лобзанья
Живым огнем текут по мне;
Но я сгораю в том огне
Без слез, без муки, без роптанья.
О жрица неги! Счастлив тот,
Кого на одр твой прихотливый
С закатом солнца позовет
Твой взор, то нежный, то стыдливый;

Кто на взволнованных красах
Минутой счастья жизнь обманет
И утром с ложа неги встанет
С приметой томности в очах!

⟨1830⟩

343. МОГИЛА ПОЭТА

(Посвящ⟨ается⟩ памяти Веневитинова)

Путник, узнай: здесь лежит аонид вдохновенный питомец:
Грудь молодую певца огнь вдохновения сжег!
Путник! бессмертные дорого ценят небес достоянье!
Тяжко страдал Промефей, хищник святого огня!

⟨1830⟩

344. МУЗА

Восходом утра пробужденный,
Я поднял очи: надо мной,
Склонясь главою вдохновенной,
Венком лавровым осененной,
Стояла дева. Тишиной
Лицо прекрасной озарялось,
Улыбка млела на устах,
И в ясных голубых очах
Олимпа небо отражалось.
Из уст коралловых текли
Очаровательные звуки...
И звуки те мне в грудь прошли,
И, как целебные струи,
В ней утолили сердца муки...
И, упоенный, я узнал
Богиню в деве вдохновенной,
И на привет ее священный
Слезой восторга отвечал.
И с гаснущим лучом денницы,
Легка, как тень, как звук цевницы,
Сокрылась муза в небеса...

Уже исчезла... Но слеза
Досель свежит мои зеницы,
Как животворная роса...
К поэту в грудь, как небо в волны,
Глядятся мир и красота,
И полны слов, и звуков полны,
Дрожат отверстые уста!

⟨1831⟩

345. РОЗА

Мой друг! погляди,
Как роза младая
Грустит, увядая
На нежной груди...
«Таинственной силой,
Цветок! оживи
И снова живи
Для радости милой,
Для сладкой любви!»
Но роза не внемлет...
На звуки мои
Главы не подъемлет
И с негою дремлет
На лоне любви.
«О юноша! — мнится,
Сквозь легкого сна
Мне веет она. —
Пусть рок мой свершится!
Но я не грущу:
Я думою страстной
У лона прекрасной
Могилы ищу!»

⟨1831⟩

346. АНФОЛОГИЧЕСКОЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

Гимны любви по внушению муз в тишине я слагаю,
Но лишь о Дельвиге я грустную песнь поведу, —
Чувствую: слёзы в очах, животворней влиянье бессмертных...
Музы! знать, память о нем вам, как и дружбе, мила!

1831

347—351. *ЭРОТИЧЕСКИЕ СТАНЦЫ ИНДИЙСКОГО ПОЭТА АМАРУ*

1

НОВОБРАЧНАЯ

«Он спит: усни и ты,
О милая подруга!»
Так сестры мне шепнули
И скрылись от меня...
И я, с чистейшей страстью,
В невинной простоте,
Тихонько приближаю
Уста мои к щеке
Супруга молодого...
Но он затрепетал,
И поздно я узнала,
Что юноша лукавый
Лишь сном притворным спал.
О, как мне стыдно стало!
Но милый незаметно
Рассеял мой испуг...

2

ПОКОРНЫЙ ЛЮБОВНИК

«Итак, уж решено!
И ненависть сменила
Любовь в груди твоей!
Пусть будет так, согласен!

Ты требуешь — и должно
Неволей покориться!
Но возврати, прошу,
Перед разрывом нашим
Все ласки, все лобзанья,
Мной данные тебе!»

3

НЕТЕРПЕНИЕ

«О, если б знала ты,
Мой друг, как ты прекрасна
Без этих покрывал!..»
И жадною рукою
Любовник уж искал,
Играя, разрешить
Ему докучный пояс...
Меж тем рой юных жен,
Сопутствовавших деве
К убежищу любви,
Заметив огнь желанья,
В очах ее блеснувший,
Спешат уйти, но прежде
С усмешкой хитрой шепчут
Ей на ухо советы,
Которые лукавство
Внушило их устам.

4

ВЕРХ НАСЛАЖДЕНИЯ

Пусть в лоне нег живейших,
Когда власы ее
Взвевают в беспорядке,
Столь милом для очей,
И серги, в быстрой встрече
Ударившись, звенят;
Когда чело прекрасной
Жемчужною росою
Унизано слегка, —

О, пусть в сие мгновенье
Любовница твоя
К тебе вдруг обратит
С томленьем страстным очи,
Усталые от нег...
Скажи, счастливый смертный,
Что большего и боги
Могли бы для тебя?

5

ЗАТРУДНЕНИЕ

Любовник наглый этот,
Которого прогнала
Я от себя во гневе,
Который столь жесток был,
Что скрылся в тот же миг, —
Коль с наглостию новой
Воротится изменник,
Скажи, души подруга,
Что делать мне тогда?

⟨1832⟩

352. СТАТУЯ ПЕРЕТТЫ В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ САДУ

Что там вдали, меж кустов, над гранитным утесом мелькает,
Там, где серебряный ключ с тихим журчаньем бежит?
Нимфа ль долины в прохладе теней позабылась дремотой?
Ветви, раздайтесь скорей: дайте взглянуть на нее!
Ты ль предо мною, Перетта? Тебе изменила надежда,
И пред тобою лежит камнем пробитый сосуд.
Но молоко, пролиясь, превратилось в журчащий источник:
С ропотом льется за край, струйки в долину несет.
Снова здесь вижу тебя, животворный мой гений, Надежда!
Так из развалины благ бьет возрожденный твой ток!

⟨1832⟩

358. НОЧЬ

Склонясь в пучину спящих вод,
    Потухнул ясный день,
И на сапфирный неба свод
    Легла ночная тень.

Возжженны в лоне темноты,
    Как очи божества,
Взирают звезды с высоты
    На бездну естества.

И мир и тишина вокруг,
    Как будто в мгле ночной
Провеял тихий ангел вдруг
    Невидимой стезей.

И вот за ним сквозь облаков
    На землю с вышины
Виется сонм ночных духов
    В мерцании луны.

Вот ниспустились — и летят
    Вдоль нивы золотой
И злаки томные поят
    Живительной росой.

И я гляжу — и сладко мне,
    Питаюсь думой той,
Что там, в надзвездной стороне
    Есть Промысл над землей;

Что в свете дня, во мгле ночей
    Хранимы им вовек
И дольний прах, и злак полей,
    И червь, и человек!

⟨1832⟩

354. МОЙ МИР

Души моей причудливой мечтой
Себе я создал мир чудесный
И в нем живу, дыша его красой
И роскошью его небесной.

Я в мире том, далеко от людей,
От их сует и заблуждений,
Обрел покой и счастье юных дней,
Обрел тебя, творящий Гений!

Ты красотой, как солнцем, озарил
Мое создание, зиждитель!
Ты ликами бесплотных, тайных Сил
Поэта населил обитель...

Я вижу их: они передо мной
На крыльях огненных несутся;
С их дивных струн, с их светлых уст рекой
Божественные звуки льются.

И звуки те... всё, что любовь таит
В себе высокого, святого;
Чем смелый ум так радостно парит
Над бренным бытием земного, —

Всё скрыто в них... и тайна райских снов,
И сладость пламенной надежды...
При них душа чужда земных оков,
Чужда земной своей одежды.

Так, светлый мир! в гармонии твоей,
В твоей любви я исчезаю
И, удален от суеты людей,
Земную жизнь позабываю.

Так, сладкими напевами пленен,
В дороге путник одинокий
Внимая им, стоит, забыв и сон,
И поздний час, и путь далекий...

⟨1832⟩

355. ВОКЛЮЗСКИЙ ИСТОЧНИК

Сонет

(Е. А. К — ф)

На берегу, Воклюзою кропимом,
От бурь мирских Петрарка отдыхал;
Забывши Рим и сам забытый Римом,
Он уж одной любовию дышал.

Здесь, в тайном сне, Лауры идеал
Мелькнул пред ним бесплотным херувимом,
И с уст певца, в размере, им любимом,
Роскошный стих понесся, зазвучал.

И сладость дум, и звуков сочетанье
Воклюзский ток далече разносил
И навсегда с своим журчаньем слил.

Пришелец, вняв Воклюзы лепетанье,
Досель еще, задумчив и уныл,
В нем слышит грусть, любовь и упованье.

⟨1834⟩

356. КРАСАВИЦЕ

Из Виктора Гюго

Когда б я был царем всему земному миру,
Волшебница! тогда б поверг я пред тобой
Всё, всё, что власть дает народному кумиру:
Державу, скипетр, трон, корону и порфиру, —
За взор, за взгляд единый твой!

И если б богом был, — селеньями святыми
Клянусь, — я отдал бы прохладу райских струй,
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй!

⟨1834⟩

Е. П. ЗАЙЦЕВСКИЙ

Ефим Петрович Зайцевский (1801—1860) получил известность главным образом как «поэтический спутник» Д. Давыдова, хотя их сближает скорее внешняя биографическая общность, нежели общность литературной традиции. Сведения о Зайцевском скудны; он учился в Морском кадетском корпусе, в 1817 году произведен в гардемарины и затем служил на Черном море (с 1819 года в качестве мичмана, с 1824 года — лейтенанта). В 1819 году его встречал в Николаеве В. И. Даль, оставивший о нем лестный отзыв.

Наиболее ранние известные нам стихи Зайцевского относятся к началу 1820-х годов; это традиционная элегия, в ряде случаев прямо ориентированная на известные образцы (например, элегию Баратынского); в это время Зайцевский начинает разрабатывать и жанр дескриптивной элегии, где основное место занимает пейзажное экзотическое описание («Абазия», 1823). Именно этот жанр, иногда включающий лирическую медитацию, исторические и философские ассоциации, оказывается характерным для Зайцевского, и наибольшие поэтические удачи ожидали его как раз на этом пути («Развалины Херсонеса», 1825; «Учан-Су», 1827; «Вечер в Тавриде», 1827). Живя на юге, Зайцевский ищет сближения с литературной средой. Он был, несомненно, вхож в литературные круги Одессы: он посвящает стихи хозяйке одесского литературного салона В. Д. Казначеевой, знаком с В. И. Туманским и А. А. Шишковым.[1] В печати стихи его появляются с 1825 года; печатается он в самых разных столичных изданиях — журналах и альманахах.

Во время русско-турецкой войны 1828 года, служа на корабле «Париж», Зайцевский принял участие в знаменитом морском сражении под Варной, а также в штурме самой крепости, проявил незауряд-

[1] См. обращенные к нему стихи Шишкова в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», 1832, № 28, с. 222.

ную храбрость и получил тяжелую рану в руку разрывной пулей; подвиг его был отмечен Георгиевским крестом, наградой в две тысячи рублей, чином капитан-лейтенанта и долгосрочным отпуском для излечения раны. В 1829 году он уезжает на Кавказские минеральные воды, а в 1830 году, по пути на воды в Германию, посещает Петербург, где принят в кругу Дельвига, знакомится с Пушкиным, Вяземским, Сомовым и помещает два своих стихотворения в «Литературной газете». В 1830 году здесь было помещено и поэтическое приветствие ему Д. Давыдова («Счастливый Зайцевский, поэт и герой. . .», 1828), принесшее ему известность. В 1831—1833 годах Зайцевский посещает Германию, Швейцарию и Италию, встречается с С. А. Соболевским, З. Волконской и Шевыревым, который несколько иронически отозвался о его творчестве в письме к М. П. Погодину. В марте 1833 года он в Петербурге и, привлеченный к участию в Энциклопедическом словаре Плюшара, выходит из редакции вместе с Пушкиным, В. Ф. Одоевским, доктором Гаевским и П. П. Свиньиным в знак протеста против руководства О. И. Сенковского. Как явствует из помет под его стихами, в конце 1830-х годов он снова был в Риме, а в 1840—1841 годах — в Петербурге и Москве.[1] В стихи Зайцевского конца 1830-х годов органически входит «итальянская тема», в сущности продолжающая линию его «восточных» или «южных» стихов. Насколько можно судить по немногочисленным публикациям в русской печати («Маяк», 1840—1842) в поздние годы он обнаруживает тяготение и к антологической лирике («Анио», 1839; «Корабль», 1840).

В 1846 году Зайцевский был причислен к русской дипломатической миссии в Неаполе. В сохранившемся письме к В. И. Фрейгангу 8 апреля 1848 года он описывает революционную ситуацию в Неаполе, — умеренность его политической позиции и боязнь народных волнений не мешает ему приветствовать установление республики;[2] из письма этого явствует, между прочим, что в марте этого года у него наступило резкое ухудшение зрения, грозящее почти полной слепотой. Известно, однако, что он продолжал службу, в 1851—1853 годах был генеральным консулом в Сицилии, в 1853 году вновь вернулся в Неаполь. В октябре 1853 года его видел в Венеции Вяземский. Умер Зайцевский в Неаполе в конце 1860-го или самом начале 1861 года.[3]

---

[1] См.: «Маяк», 1841, ч. 22, гл. 1, с. 3; ч. 23, гл. 1, с. 17; 1842, т. 1, гл. 1, с. 8.

[2] ПД, ф. 265, оп. 2, № 2965, лл. 1—2.

[3] Биографию его, написанную В. Н. Орловым, см.: Денис Давыдов, Полное собрание стихотворений, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1933, с. 292.

357. АБАЗИЯ

Забуду ли тебя, страна очарований!
Где дикой красотой пленялся юный ум,
Где сердце, силою пленительных мечтаний,
Узнало первые порывы смелых дум
И в дань несло восторг живейших удивлений!
Волшебный край! приют цветов!
Страна весны и вдохновений!
Где воздух напоен дыханием садов
И горный ветерок жар неба прохлаждает,
Где нега томная в тиши густых лесов
К забвенью и мечтам так сладостно склоняет!
Где поражают робкий взор
Кавказа льдяного зубчатые вершины,
Потоки быстрые, леса по цепи гор,
Аулы дикарей и темные долины!
Где всё беседует с восторженной душой!
Там сладостно ночей теченье,
Роскошны сны и тих покой!
Там в грудь мою лились восторг и наслажденье, —
И я дышал огнем Поэзии святой!

Июня 6 1823
Сухум-Кале

358. ОДИНОЧЕСТВО

Ни прежней радости, ни муки
Не чувствую в душе своей,
Забыты горести разлуки,
Измены милой и друзей.
Тоской потерь, надежд волненьем
Не озабочен хладный ум, —
Дружась с суровым размышленьем,
Презрев навет любовных дум,
Живу в свободе и на воле.
Далёко скрывшись от очей
Пустынной родины моей,
Блаженствую в безвестной доле.

Лишь иногда, в тиши ночной,
К ней уношусь живой мечтой!
Порою дни любви и счастья
Мне память приведет моя —
Но без сердечного участья
Их вспомню и забуду я.
Так ветер Юга прилетает
Зимой к замерзшему ручью,
Но не живит, не пробуждает
Под хладом спящую струю.
Так дуб, перуном раздробленный,
Стоит без листьев и ветвей
Среди смеющихся полей,
Весенним солнцем озаренных.

1823

359. ВЕСНА

Весна! живи и луг, и лес!
Сними с полей зимы уборы,
Одень в сиянье свод небес
И в зелень сумрачные горы!
Ручей, уснувший в берегах,
Буди живительным дыханьем,
Веди наяд луны с мерцаньем
Плескаться в зеркальных струях!
Зови любовников счастливых
Под кровы девственных аллей:
Пусть их пленяет соловей
И шум потоков говорливых!
Леса! раскиньте сень свою!
Цветы полей — благоухайте!
И негой томною питайте
Лень прихотливую мою!
Пошлите сердцу — упоенье,
Заботам тягостным — покой,
Любви — жар юности живой,
Сну — тень и лире — вдохновенье!

⟨*1825*⟩

360. РАЗВАЛИНЫ ХЕРСОНЕСА

Я прихожу к тебе и тщетно б стал искать
Здесь града славного и поверять преданья:
Везде ничтожества и тления печать!
По сим ли насыпям и камням познавать
Следы блестящего держав существованья?
И это ли удел искусства и труда?
Печальный памятник и опыта и знаний!
Увы! таков конец всех наших начинаний:
Коснулось время к ним — и нет уж их следа!
Племен неверная история покажет
Страницы темные потерянных веков
И любопытному сомнительно расскажет
Бывалые дела исчезнувших жильцов:
Как в веки давние язычества кумиры
Сменились верою спасительной Христа;
Как рати двигались; слагалися порфиры
И пали смелые поборники креста! [1]
Но муза старины не всё нам обновила —
Погибла слава лет и доблести отцов,
Их жизнь великую она не ⟨сохранила⟩
Для песней и похвал возвышенных певцов!
. . . .
И поздний некогда потомок наш пойдет
Искать, где жили мы в успехах просвещенья, —
И пепла нашего жилища не найдет!

⟨1825⟩
Одесса

361. ЧЕРНОЕ МОРЕ

Под звездным сводом южной ночи
Волнуйся, море, предо мной!
Увеселяй и слух и очи
Твоей пустынной красотой!
Музыкой твоего движенья
Тревожь поэта гордый ум,

[1] Генуэзцы, побежденные в Крыму мусульманами.

Буди восторги песнопенья
И силу тайных сердца дум.

Как узнику в окно темницы
Дыханье ветра, луч денницы;
Как в дальней стороне чужой
Речей приветных звук родной;
Как в час вечерний милой девы
Любви веселые напевы;
Как лира Пушкина, как тень
Прохладной рощи в знойный день;
Как глас торжественный свободы
Над угнетенною страной —
Отрадны мне твой шум ночной,
Твои лазуревые воды,
И тишина и непогоды
Твоей стихии вековой!

С душой, растерзанной изменой,
Гляжу на зеркало твое;
Кропи холодной, горькой пеной
И вежды, и чело мое!
Гони часы угрюмой муки,
Часы бездействия и скуки,
Омой следы печальных дней,
Неправосудно данных роком,
И раны скорби и страстей
На сердце хладном, одиноком.

Люблю у тихих вод Тавриды
Приюты скал и тень лесов
И поэтические виды
Кавказа грозных берегов.
Люблю вас, Франгестана девы!
Ваш чистый нрав и красоту,
И дикой вольности напевы,
И дикой жизни простоту!
Люблю вечерние картины:
В звездах горящий Океан
И облеченные в туман
Скалы, заливы и долины.

Люблю твой нежный свет, луна,
Когда для неги сладострастной
На кров гаремов безопасный
Сойдут и ночь и тишина.
Когда Морфей, смыкая вежды,
Хранит младых пловцов покой,
Заснувших тихим сном надежды
У края бездны роковой...

⟨1826⟩

362. ВЕЧЕР В ТАВРИДЕ

Ее превосходительству
Варваре Дмитриевне Казначеевой

И зелень волн, и злак полей
Покрылись темнотою нощи,
Во мраке усыпленной рощи
Сверкает и журчит ручей.
Спокойно воды спят в заливе;
Над темем каменистых гор
Заря, как пышный метеор,
Пылает в радужном разливе
И тихо гаснет. Уж муллы
Раздался голос с минарета.
По воле строгого обета
Текут поклонники Аллы
И набожно во храме стали.
На темном своде заблистали
Златые звезды; но луна
Еще из волн не выходила;
Прохлады веющей полна,
Природа тихо опочила.
Так дева, чистая душой,
Сном безмятежным засыпает;
Так тихо в улье замолкает
Под вечер пчел жужжащий рой.

Как меркнули часы дневные,
Толпой татарки молодые

Поспешно скрылись из садов
Под благосклонный верный кров
Гаремов тайных. Томно льются
Там дни и ночи их! Сберутся
В беспечный круг; о днях былых
Рассказы долгие начнутся,
И цареградских песен их
Напевы звонко раздадутся.

И вот по темным берегам,
По лону вод и по горам
Звездами ярко возникают
Гостеприимные огни.
То потухают, то пылают
В вечернем сумраке они.
Сребристой паруса волною
Висят недвижны на ладьях,
Как крылья лебедя, порою
На тихих спящего водах.
Со дна глубокого долины,
Где томный мирт и лавр живет,
Темнеют ясеней вершины
И стройные, как минарет,
Пирамидальные раины
Несутся гордо в облака.
Цветы во сне благоухали;
Живые воды ручейка
Поили их, и трепетали
Над ними крылья мотылька.
В какой-то неге сладострастной
Роскошно так потоплена,
Лежит прелестная страна
В своей красе разнообразной. . .
Когда ж порой власы седые
Зима распустит на горах
И на вершины вековые
Лить станет в северных снегах —
Уж веет ветр страны полденной,
Снегов исчезнет след мгновенный,
Лучи сияющих небес

Прольются с теплотой отрадной
И о России нашей хладной
Ничто не напомянет здесь!

Но речи, чуждые для слуха,
Но рощи лавров и олив,
Тень кипариса, солнце Юга,
Фосфором искристый залив
Мысль поэтически возносят,
Туда в мечтаньях переносят,
Где ярче блещут и горят
Созвездия на черном своде,
Где страсти знойные кипят
Всежгущей лавою в народе;
Где царство дивной красоты,
Где круглый год весна, цветы,
Где в темные часы ночные
При шуме сребряных ключей
Льет песни страстные, живые
Любовник розы — соловей.

Природы чистой, непорочной
Всё здесь устроено рукой,
Всё дышит негою восточной,
Восточной блещет красотой;
Всё здесь проникнуто, согрето
Лучами юга, всё живит
Роскошно-пламенное лето
И наслаждением томит.

Когда ж не странником минутным
Тебя, Таврида, посещу,
Твоим горам, скалам приютным
Поверясь, счастие сыщу?
Когда покину свет лукавый,
Цепь принуждений разорву,
Рассею ложный призрак славы
И век свой в мире доживу!

⟨1827⟩

363. УЧАН-СУ[1]

(Посвящается Анне Евстафьевне Удом)

Шуми, поток! стрелой несися!
С скалы гранитной и крутой
Отважно падай и дробися
Жемчужной, сребряной росой!

Души вниманьем углубленный,
Люблю немолчных вод однообразный шум!
Твоей гармонией плененный,
Питаю пламень чистых дум.

Не скован в мраморной темнице,
Под сводом золотым в чертогах не журча,
Ты не ласкаешь слух усталый богача
Или седой порок в парче и багрянице.

На персях матери своей,
Природы верный сын, свободный, силы полный,
Пустынные ты катишь волны
Во глубину морских зыбей.

Твоя прозрачная и свежая наяда
Дарит прохладой лес, священный и немой,
И жажду пламенную стада
Поит студеною струей.

Усталый путник отдыхает,
Тобою сладко обаян,
И, уходя, благословляет
Гостеприимный твой фонтан.

Внимательный и на руку склоненный,
В своих задумчивых мечтах
Тебя приветствует пловец уединенный,
Несомый вдоль брегов на легких парусах. . .

---

[1] Так называют татары водопад, находящийся в горах на южном берегу Тавриды, в расстоянии от *Ялт* на один час езды.

Под крыльями парящей непогоды
С двойною силою кипишь, поток седой!
И, с морем согласся свой дикий вопль и вой,
Ты празднуешь гремящий пир природы.

Когда ж в полуденных лучах
Царь дня среди небес безоблачных сияет,
Тирански властвуя на суше, на водах,
До полюсов лицо земли воспламеняет, —

Играя в радугах и пышно озарен,
Очам являешься ты лентой изумрудной;
Уединенный, дикий, чудный —
Ты гением страны любим и охранен.

Свет трона солнцева в кристалле вод разлился,
И в зеркале твоем луч знойный притупился;
И впечатлел зефир на лоне быстрых струй
Благоуханный поцелуй...

Но некогда твои струи багрились,
Окрест пылал воинственный пожар,
И русской кровью здесь упились
Кинжалы мстительных татар.

Глубокая волна их трупы поглотила;
Но гибель их стократ победа искупила!
И ныне уж в полдневный зной
Татарин мирный и беспечный,
Обвеян негою в тени дерев густой,
На русской спит земле под шум и говор твой...

Шуми, поток! стрелой несися!
С скалы гранитной и крутой
Отважно падай и дробися
Жемчужной, сребряной росой!

Перед тобой воспоминанье
Свежит о сих странах заветное преданье:
На них означены свободные бразды
Корыстной Греции или римлян труды.

Торговли урну здесь вращала
Властолюбивая рука венециян
И в недра европейских стран
Рекой сокровища Востока проливала.
Здесь гордо развевал, морями овладев,
Адриатический их лев.

Завидуя стране обильной и прекрасной,
Неся с собою рабства плен,
По ней прошли толпы враждующих племен, —
Их след кровавый и ужасный
На почве Таврии глубоко впечатлен.

Но победителей и побежденных
Забвенью равному здесь кости преданы;
И на могилах безыменных,
Густой травою заглушенных,
Спит гений темной старины...

Увы! среди тревог и суетных волнений
Потоком времени народы протекут,
И волны новых поколений
Покроют землю — и пройдут!

Ничтожества в густом тумане
Так гибнет легковерный свет,
Как исчезает в океане
Бегущих струй минутный след!

Шуми, поток! стрелой несися!
С скалы гранитной и крутой
Отважно падай и дробися
Жемчужной, сребряной росой!

⟨1827⟩

864. ДЕНИСУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ДАВЫДОВУ

Я вызван из толпы народной
Всезвучным голосом твоим,
Певец-герой! ты благородным

Почтил вниманием своим
На службе юного солдата,
О славе мне заговорил,
Призвал меня призывом брата
И лирой свету огласил!
Твоею дружбою, хвалою
Горжуся! Преданной душою
Тебя я чту, пока я жив!
Ты прав, Давыдов, я счастлив!
Счастлив: мне раненую руку
Пожал увенчанный герой,
И славой я обязан звуку
Ахилла лиры золотой.

1828

365. АНИО

Диана, озари Тибур уединенный,
Сивиллы древний храм, портиком окруженный,
Где в ночь, когда всё спит, одна, не зная сна,
Перед треножником, торжественна, бледна,
Пророческим огнем, как жертва, пламенея,
Глаголы вещие выводит Албунея [1]
Над дикой бездной — где лишь скал на мшистом дне
Сверкает и гремит по темной глубине
Поток... вокруг звучат глаголы вдохновенья,
Как шум падущих вод среди уединенья.

1839
Рим

366. КОРАБЛЬ

Один, средь бездны вод и неба пустоты,
Отважный плаватель, куда несешься ты?
Огромный твой корабль с перуном и стрелами
В борьбе с свирепыми и ветром и волнами...

---

[1] Албунея — десятая Сивилла в древнем Тибуре; ей воздавались божественные почести в Капитолии; статуя ее найдена в Анио.

Корабль! иль ты и сам строптив, как некий бог?
Чей дерзкий взор и слух следить без страха мог
Твой смелый вверх полет, то звонкое паденье,
Рев парусов глухой, снастей и свист и пенье
И в вихре влажных искр горящий водорез?..
По черной, адской тьме потопленных небес,
По черной пасти вод, как пасть живой могилы,
Летал и грохотал перун пламеннокрылый,
И море, жадное громаду поглотить,
Вкруг жидким чугуном клокочет и кипит...
Так ты, нетрепетный, своей судьбой водимый,
Один из края в край пучиною носимый,
В мятежном странствии спокойствия не знал...
И я, как ты, корабль, душою испытал,
На море жизненном, под грозными звездами,
Свирепый Аквилон с свирепыми волнами.

Ноябрь 1840
С.-Петербург

В. Н. ЩАСТНЫЙ

Василий Николаевич Щастный родился в 1802 году в семье небогатого дворянина на Волыни. Учился в иезуитском коллегиуме в Кременце, где изучил, в частности, латинский, польский, немецкий и французский языки. В 1819 году вступил юнкером в Митавский драгунский полк; в феврале 1826 года по домашним обстоятельствам вышел в отставку в чине штабс-капитана и определился в государственную канцелярию в Петербурге на должность писца (в 1827 году он получил чин титулярного советника).[1]

В 1828 году в «Альбоме северных муз» А. А. Ивановского появляются его переводы из «Крымских сонетов» Мицкевича и оригинальные стихи; видимо, к 1828 году относится и начало его личного общения с Мицкевичем.[2] Щастный был знаком с нежинскими лицейскими литераторами из круга Гоголя (Кукольником, В. И. Любичем-Романовичем);[3] в конце 1828 года он входит в круг Дельвига, где получает признание в особенности как переводчик «Фариса» Мицкевича (1828). Он переводит и пропагандирует также творчество Ю. Коженевского, своего знакомого по Кременцу; перевод трагедии Коженевского «Отшельник» (1832) был одной из наибольших удач Щастного-переводчика.[4] В 1828—1832 годах Щастный сотрудничает в «Северных цветах», «Невском альманахе», «Подснежнике», «Царском Селе», «Альционе», «Комете Белы», «Литературной газете», то есть преимущественно в изданиях, связанных с кружком Дельвига. Как поэт Щастный отправляется от элегической тради-

---

[1] Архив Академии наук СССР, ф. 738, оп. 1, № 58.

[2] «Литературный архив», 3, М.—Л., 1951, с. 341.

[3] Письма Кукольника Щастному 1828 и 1833 гг. — ПД, ф. 93, оп. 2, № 682 и ПД, ф. 265,.оп. 2, № 1364.

[4] В. Н. Баскаков, Юзеф Коженевский в России. — «Из истории русско-славянских литературных связей XIX в.», М.—Л., 1963, с. 327.

ции 1820-х годов, однако деформирует ее в соответствии с новыми поэтическими вкусами. Он обращается к изображению «сумеречных», даже иррациональных состояний человеческого духа, отступает от рационалистической точности поэтического слова, стремится к увеличению экспрессивности за счет внутренней драматизации и мелодраматизации стихотворения и иной раз позволяет себе вводить в традиционную элегию бытовые, «антипоэтические» картины («Хандра», 1832). После смерти Дельвига Щастный (с М. Л. Яковлевым и др.) разбирал дельвиговский архив и уничтожил значительную его часть, опасаясь вмешательства III отделения.[1]

В 1835 году по состоянию здоровья Щастный оставляет Петербург и переселяется в Житомир, где служит в Волынской гражданской палате (заседателем от короны), а затем в Волынском губернском правлении. В 1840 году Щастный — штатный смотритель Златопольского уездного дворянского училища. К этому времени он, по-видимому, вступает в конфликт с полонофильски настроенными кругами волынского дворянства; в прошениях своих он жалуется на преследующие его недоброжелательство и зависть; в дальнейшем он был обвинен в злоупотреблениях по службе и отрешен от должности «за неуместное посвидетельствование в пользу помещика Млодецкого», находившегося под следствием за угнетение крестьян. В 1853—1854 годах он был в Киеве, где его посетили В. П. Гаевский и М. А. Максимович; далее следы его теряются. Часть бумаг, оставшихся после его смерти, вдова передала М. И. Семевскому в 1884 году.

367. БЕЗУМНЫЙ

Я зрел ничтожества ужасный идеал
И человечество в его уничиженьи, —
Как в постепенном сил страдальца разрушеньи
Небесный огнь ума приметно догорал.

Казалось, сирого забыло провиденье:
Отринут ближними, обманутый судьбой,
Он слышал над своей поруганной главой
Обиды, дерзкий смех и гордое глумленье.

---

[1] А. И. Дельвиг, Мои воспоминания, т. 1, СПб., 1912, с. 124.

Он слышал... но его их голос не смущал!
В нем память о былом уже не говорила:
Неверная ему, как люди, изменила!
И, мнилось, сон его волшебный оковал.

И ярким пламенем огонь самопознанья
В блуждающих очах страдальца не горит:
Так хладный истукан спокойствие хранит,
Не зная радостей и бед Существованья!

⟨1827⟩

368. КТО ПРИПОДНЯЛ НЕСКРОМНОЮ РУКОЙ

Кто приподнял нескромною рукой
    Завес таинственной природы,
Кто знает цель, куда текут толпой
    Владыки мира и народы,
Чей гордый ум отважно досягнул
    Черты, поставленной заветом,
    Кто, ратуя с судьбой и светом,
За Рубикон решительно шагнул,
    Кто одинок, как царь воздушный,
Чье бытие приманок лишено, —
    Тот мира житель равнодушный,
В цепи существ разбитое звено!

⟨1828⟩

369. К*

Напрасно ты печаль твою скрываешь:
Я разгадал тоску души твоей.
Как?.. на заре твоих весенних дней
Ты бедствия предчувствовать дерзаешь?
Взойдет ли день на небе голубом
Иль неба свод ночная мгла оденет, —
Не трепещи: беда тебя крылом
В губительном полете не заденет.

Венчай главу и девственную грудь
Красой тебе подобными цветами;
Ведь юность — пир, нам данный небесами, —
На сем пиру веселой гостьей будь.
Ты радости считай своим доходом,
Печалей же не ведай в жизнь свою:
Брось взор на них скользящий мимоходом,
Но сердцем верь блаженства бытию.
Живи, чужда томительных сомнений;
Но, чувствами не быв с рассудком врозь,
Ты холодом суровых размышлений
Надежды ветвь в цвету не заморозь.
О милая! веселыми глазами
Зари твоей веселый встреть восход;
Не плачь... А то несчастие придет,
Когда его накличешь ты слезами.

⟨1829⟩

370. РЕВНОСТЬ

Когда, подсев к тебе наедине,
Речей твоих вкушаю упоенье,
Зачем порой в душевной глубине
Является преступное сомненье?
Ты хочешь знать, зачем, как демон злой,
Я иногда тебя глазами мерю?
Какой-то страх овладевает мной,
И полноте блаженства я не верю...
Так иногда при блеске торжества,
Случается, уничиженье бродит;
Так иногда во храме божества
Мысль грешная нам в голову приходит.

⟨1829⟩

371. ФАРИС[1]

КАССИДА
В ЧЕСТЬ ЭМИРА ТАДЖУ'Л ФЕХЕР.[2]

Из Адама Мицкевича

Как радостно освобожденный челн,
Красуясь, лебедем по влаге реет ясной,
И веслами ее объемлет сладострастно,
И выею возносится средь волн, —

Таков Араб, когда на степь, не зная страха,
С утеса на коне низринется с размаха,
Когда в сухих струях копыта зашипят,
Как в воду брошенный расплавленный булат.

Уже плывет, уже дробит
Валы сыпучие конь рьяный
И гордо океан песчаный
Дельфина грудью бороздит.
Что раз сильней, что раз сильней,
Едва слегка песку коснется;
Что раз быстрей, что раз быстрей,
Над пыли облаком несется.
Что бурная туча мой конь вороной,[3]
Чело его блещет звездою денницы,
Раскинувши гриву, красавец степной
Полетом ног белых метает зарницы.
Мчись, летун мой белоногий,
Прочь леса, холмы с дороги!
Напрасно пальма молодая
С плодами, тенью ждет меня, —
Я стременами жму коня,
И пальма, от стыда сгорая,
Смущенных взвесть не смея глаз,
Поспешно кроется в оаз
И листьев шепотом тщеславному смеется.
Всё тщетно: бедуин как молния несется.
Там скал громады вековые,
Пустыни стражи межевые,
Сомкнутой цепию стоят;
В меня вперив угрюмый взгляд,

С насмешкой шепот повторяют
И вслед угрозы посылают:
«Куда летит безумец сей?
Там от пронзающих лучей,
В часы томительного зноя,
Не даст тебе прохладу, тень
Зеленовласой пальмы сень.
В шатре не вкусишь ты покоя:
Там свод небесный — твой шатер,
Песок — аджемский твой ковер.
Только скалы там ночуют,
Только звезды там кочуют».
Угрозы ваши тщетны, лживы.
Я ускоряю бег ретивый,
Опережаю легкий прах;
Потом, привстав на стременах
И обернувшись, взор презренья
Бросаю смело я назад...
И со стыдом гигантов ряд
Сокрылся в мраке отдаленья.

Но коршун, внимая угрозам их, мнил,
Что будет пожива, — пустился за мною
И, крылья расширив над шейха главою,
Венцом ее черным трикраты обвил.

«Чую, каркнул, мертвеца: [4]
Вот несутся два глупца —
Всадник ищет здесь дороги,
Ищет корма белоногий...
Из пустыни сей песков
Вам не вынести голов.
Только ветер здесь витает,
Унося свой зыбкий след;
Гады лишь она питает:
В ней для коней пастбищ нет.
Только трупы здесь ночуют,
Только коршуны кочуют».

Он, каркая, дерзко на бой вызывал.
В глаза мы взглянули друг другу трикраты.

Кто ж вздрогнул? Он вздрогнул, соперник крылатый!
Когда же упругий майдан[5] напрягал
И коршуна взором следил я далеко,
Он, взвившися, в небе чернелся высоко:
Сперва казался воробьем,
Еще мгновенье — мотыльком,
Там комаром еще мелькнул —
И весь в лазури потонул.
Мчись, летун мой белоногий, —
Скалы, коршун, прочь с дороги!

Тогда по тверди голубой
Внезапно облак белокрылый
В погоню кинулся за мной,
И, на свои надеясь силы,
Он мнил, в безумии своем,
Прослыть подобным мне гонцом.
Он над главой моей повиснул
И мне угрозу с ветром свистнул:

«Куда, смельчак, направил путь?
Там воздух гибелен тлетворный,
От жажды там растает грудь
И дождик влагой благотворной
Тебе чела не освежит.
Сереброзвучный не журчит
Ручей на почве распаленной,
Навек бесплодью обреченной.
Роса на землю не падет, —
Голодный ветр ее пожрет».

Вотще мне враг грозит хвастливый:
Я стременами жму коня
И продолжаю бег ретивый.
Ему ль, ему ль настичь меня?
Усталый облак стал слоняться,
Главою долу преклоняться
И на хребет высокий скал
Вдруг обессиленный упал,
Снедаемый стыдом и мщеньем.
Я наказал его презреньем
И дале бег мой устремил.

Гляжу назад — уже он был
На небо целое за мною.
Томимый злобою немою,
Он, изменяяся лицом,
Сперва досады багрецом,
Там желчью зависти облился
И, почернев, в горах укрылся.
Мчись, летун мой белоногий, —
Коршун, облак, прочь с дороги!

Я озираюсь... в сих местах,
Ни за плечьми, ни над главою,
Ни на земле, ни в небесах
Погони не было за мною.
Здесь природа, в крепком сне
Погруженная от века,
Стоп не слышит человека;
Спят стихии в тишине.
Так вечернею прохладой
Средь Иемена степей
Ненапуганных зверей
Спит кочующее стадо.

Не призрак ли, не зрения ль обман?
Не первый я среди пустыни:
Окопанный — я вижу — блещет стан
И гордо высятся твердыни,
Белеют кони, сверкают латы...
Узнав, что едет купец богатый,
Наверное, засели удальцы
И сторожат свою добычу.
Я к ним — стоят; я громко кличу —
Безмолвствуют. Что вижу? .. мертвецы!
То караван давно забытый,
Пустыни ветрами отрытый,
Как привидений грозных ряд,
Как будто бы дружина джиннов [6] сильных,
То кости всадников сидят
На остовах верблюдов длинновыйных.
Сквозь гнезда высохших очей,
Из обнаженных челюстей
Безостановочно струится

Ручьями пыльными песок
И шепчет так: «Не возвратится
Самонадеянный ездок
Под независимые сени
Из Ураганових владений,
Где даже алчущий шакал
Еще следов не пролагал».

Степей африканских мутитель летучий,
По топям песчаным ходил Ураган.[7]
Меня он завидел, и гневно-могучий,
Крутясь, изумленный шумел великан:
«Кто это, — он молвил, — наглец дерзновенный,
Который из братьев ничтожный, презренный
Полетом поземным здесь смеет летать,
Дерзает наследье мое попирать?»

С досады топнул он ногою
И двинулся ко мне горою;
Потряс всю Емена страну
И, сильными схватив когтями,
Меня помчал он в вышину;
Дыханьем жег, разил крылами,
То вверх, то вниз меня кидал,
Горячим щебнем засыпал...
Напрасно! Я, воспрянув смело,
Его хватаю пополам,
Грызу, терзаю по частям
Его песчанистое тело.
Тесним бестрепетным врагом,
Хотел он вверх уйти́ столпом:
Рванулся вдруг, переломился,
Там в дождь песчаный превратился
И, как градской огромный вал,
К ногам моим противник пал.
Я отдохнул и в небо взоры
Самодовольные вперил:
Передо мной вращались хоры
Необозримые светил.
Казалося, красавиц ночи,
Наперсниц и подруг луны,

Ко мне с небес устремлены
Златосияющие очи.
В сей стране небытия
Из живых один был я.

Как сладостно груди усталой
Ночной прохладою дохнуть!
Свободно дышит шейха грудь:
Прошедшего — как не бывало;
И воздуха пустыни всей
Едва ль на вздох достанет ей.
Как радостно мой взор гуляет!
Как, быстролетный, без препон,
Неустрашимо он ширяет
За беспредельный небосклон!
Как сладко, любо на свободе
Умильно к матери-природе
Радушные объятья простирать!
Я их простер, и мир, как брата,
Хочу, с востока до заката
Обняв, к груди пылающей прижать!
И мысль сквозь синюю пучину
Летит, летит — и как стрела
В небес вонзается вершину.
Как медоносная пчела,
Впуская жало, с ним хоронит
И сердце вместе — так моя,
Вослед за мыслию летя,
Душа восторженная тонет
В лазурно-ясных небесах,
Где вечно царствует аллах!

⟨1829⟩

Примечания

[1] *Фарис* — у арабов-бедуинов — витязь, наездник (chevalier).

[2] *Таджу'л Фехер.* Под сим именем известен в Аравии граф Вацлав Ржевуский. *Тадж'-ул' фехер* — значит по-арабски *венец славы.*

[3] Описание коня переведено слово в слово с арабского четырестишия, помещенного в примечаниях к Арабской Анфологии Г. де Лагранжа (de Lagrange).

[4] *Чую, каркнул, мертвеца.* На Востоке есть поверье, что хищные птицы предчувствуют смерть человека.

[5] *Майдан* — лук.

[6] *Джинн* — слово арабское, соответственное персидскому *Див* — зловредный дух.

[7] *Ураган* — слово американское: *Урикан*, буря под тропиком. Слово сие употреблено здесь более потому, что оно известнее в Европе, нежели арабские: *Семум, Гарур*, имеющие с ним одинакое значение.

372. ХАНДРА

Бывают часто дни, известные в году,
Когда душа у нас как старец на ходу,
Когда мы тащимся куда не зная сами
И недовольными на всё глядим глазами.
То дни тяжелые, — тогда хотя ступай
За тридевять земель, на самый света край,
Повсюду кажется природа безобразной:
Река игривая течет лениво, грязно,
Насупившись висит свинцовый свод небес,
Как зябнущий бедняк, трепещет мрачный лес,
И колокола звон, и ветра завыванье —
Как умирающих последнее стенанье.
То вынос встретишь ты, то нищие тебя
Обступят, оглушат, таща и теребя.
Проходу не дает народ чернорабочий —
Всё лица бледные, тускнеющие очи...
И наконец, когда успеешь ты уйти
Далёко, за город, чтоб душу отвести
На розовых устах красавицы влюбленной,
В какой-нибудь приют укромный, потаенный, —
Как алчный ростовщик за мотом по пятам,
Хандра твоя тебя преследует и там,
Где ручки полные лицо твое ласкают,
Где двое томных глаз уста твои лобзают.
И там, от белизны атласистых ланит,
На коих поцелуй твой заревом горит,
От пламенной груди, будь молоды вы оба,
Повеет на тебя нежданный холод гроба.

⟨1832⟩

А. П. КРЮКОВ

Александр Павлович Крюков (1803—1833) начал свою деятельность в качестве горного чиновника и изучал маркшейдерское дело в Илецкой Защите (ныне Соль-Илецк). Тяготение его к литературе, насколько можно судить, обнаружилось довольно рано: первые его стихи, попавшие в печать, уже отличаются довольно высоким уровнем поэтической техники. С 1822 года Крюков печатается в «Благонамеренном», «Сыне отечества», «Вестнике Европы» (иногда под анаграммой: «К. Илецкая Защита»). В 1824 году П. П. Свиньин, познакомившийся с ним во время посещения Илецкой Защиты, уже знает о нем как о поэте «прекрасного таланта».[1] В 1826 году Крюков служит в Оренбурге. Он интересуется местным — башкирским, казахским — фольклором, бытом и историей; впоследствии он станет автором ряда этнографических очерков («Оренбургский меновой двор», 1827, и др.) и незаконченного романа «Якуб-Батыр»; в 1825 году он пишет «казахскую» поэму-балладу «Каратай».[2] Некоторое время Крюков проводит в степях северо-восточного Казахстана, занимаясь дорожным строительством; результатом этих впечатлений явились впоследствии повести «Киргизский набег» (1829) и «Рассказ моей бабушки» (1831), последняя из которых послужила одним из сюжетных источников «Капитанской дочки» Пушкина.[3] По автобиографическим намекам в стихах Крюкова можно заключить, что

---

[1] «Отечественные записки», 1825, № 64, с. 152.

[2] «Вестник Европы», 1825, № 1.

[3] См.: Н. И. Фокин, К вопросу об авторе «Рассказа моей бабушки» А. К. — «Ученые записки Ленинградского гос. университета им. А. А. Жданова», 1958, № 261, серия филологич. наук, вып. 49, с. 155; P. Brang, Puškin und Krjukov, Berlin, 1957.

сатирические тенденции в его творчестве привели к столкновению его с провинциальной помещичьей средой. В первой половине 1827 года он покидает Оренбург и переезжает в столицу, где служит в департаменте внешней торговли в должности столоначальника. Он сближается с петербургскими литературными кругами, в частности с кружком Дельвига, и помещает свои стихи и прозу в «Северных цветах» и «Литературной газете». Стихи его принимаются благожелательно; Кюхельбекер называл его в дневнике «небесталанным» подражателем Пушкину.[1] Всего до нас дошло немногим более двух десятков стихов Крюкова, разнообразных в тематическом и жанровом отношении (элегии, альбомные стихи, послания и т. д.). По своей поэтической культуре Крюков стоит на границе 1820-х и 1830-х годов; он не был захвачен исключительно элегическим направлением, прошел мимо антологических тем; в его творчестве ясно ощущается размывание жанровых границ и выделяются традиционные для 1830-х годов темы — «поэт и общество», с преимущественным вниманием к поэтической биографии Байрона, Тассо, и другие. Поздние стихи Крюкова, при внешней традиционности, говорят о значительном, но не успевшем окрепнуть поэтическом таланте. Их специфичной особенностью является ясно выраженное ироническое и сатирическое начало. Крюков примыкает к той линии романтической поэзии, которая особенно охотно разрабатывала в этой тональности тему «поэт в светском обществе» (таково, например, творчество А. А. Башилова, с которым Крюков был лично знаком и обменялся посланиями перед своей поездкой в Крым в 1828 году).[2] Инвективы против «света» и, с другой стороны, провинциального общества сочетаются у Крюкова с характерным романтическим неприятием города. Этот сложный комплекс пронизан ироническими, сатирическими и лирико-элегическими интонациями. Ирония Крюкова получает чрезвычайно широкий диапазон — от сатирической зарисовки и снижения, прозаизации темы («Полночь в городе», 1829) до романтической иронии лирико-медитативного оттенка, углубляющей драматическое содержание («Воспоминание о родине», 1827; «Охлаждение», 1829; «Письмо», 1830). Среди современников Крюков пользовался репутацией эпиграмматиста; так, одно время ему приписывалась пушкинская эпиграмма «В Академии наук».[3] Ранняя смерть Крюко-

---

[1] В. К. Кюхельбекер, Дневник, Л., 1929, с. 157.

[2] См.: «Карманная книжка русской старины и словесности на 1829 год», СПб., 1829, с. 409; «Радуга, литературный и музыкальный альманах на 1830 год», М., 1830, с. 161.

[3] «Русская старина», 1880, № 9, с. 119.

ва (7 февраля 1833 года), после недолгой болезни, перешедшей в белую горячку, вызвала некрологи, где отмечался его «необыкновенный талант». [1]

373. ПУСТЫНЯ

Есть пустыня, в ней таится
Робкий гений Тишины,
Там в источнике глядится
Дочь стыдливая Весны;
Там средь рощи молчаливой
Сени зыбкие сплелись
И береза с дряхлой ивой
Над лужайкой обнялись.

Там, раскланявшись с толпою
Честолюбцев наконец,
Поселился бы с тобою
Простодушный твой певец;
И — забытый шумным светом —
Он бы там увидел вновь
Дружбу с радостным приветом
И стыдливую любовь.

Презря почести земные,
Для тебя, мой друг, одной
Струны арфы золотые
Оживлял бы он игрой...
И рукою белоснежной,
С лаской, движущей сердца,
Ты венком из мирты нежной
Увенчала бы певца!

⟨1825⟩
Илецкая Защита

---

[1] «Санктпетербургские ведомости», 1833, № 45; «Северная пчела», 1833, № 41. Ср.: С. Попов, Современник Пушкина. — «Южный край» (Оренбург), 1968, 3 апреля.

874. ВОСПОМИНАНИЕ О РОДИНЕ

Родимый край, страна отцов!
Как быстро дни мои мелькали,
Когда, не ведая печали,
Я рос в кругу твоих глупцов!
Меня младенца веселили
Их страсти, важность, суеты,
Их занимательные были
И безрассудные мечты.
Любил я жаркие их споры
О гончих, зайцах и полях,
И оглушающие хоры,
И рюмок звон на их пирах.
Но мне забавнее казались
Беседы важных их супруг,
Когда они, составя круг,
Горячим чаем упивались...
Какой был шум! какой был звон!
Одна рассказывала сон,
Другая жизнь своей наседки,
Иные ж с видом простоты
Сплетали злые клеветы
На счет какой-нибудь соседки...
И признаюсь: среди сих дам
Я кой к чему привык и сам.

Судя по них о целом свете,
Я в нем не знал большого зла;
Я верил счастливой планете —
И мирно жизнь моя цвела.
Среди толпы самодовольной,
В дыму желаний и надежд,
Игрой цевницы своевольной
Я забавлял моих невежд.
Их одобреньем быв утешен,
Я восхищался, но они
«Он сумасшедший, он помешан»
Твердили, будучи одни.
Что нужды в том? по крайней мере
Я оставался в доброй вере,
Что и с невеждой и с глупцом

На свете сем ужиться можно
И что Вольтер весьма безбожно
Бросал на них сатиры гром...
Я рос и — вырос. Дни летели.
Мои седые земляки,
Как прежде, чуждые тоски,
Исправно пили, сладко ели,
Травили зайцев и толстели...
Вдруг — бог мой! — одного из них,
Не знаю как, задел мой стих!..
Мгновенно поднялась тревога —
И оглушен был бранью я!
«Он враг людей, отступник бога!» —
Взывали жены и мужья.
Какое множество проклятий
Из уст соотчичей и братий
Упало на мою главу!..
И я дышу! и я живу!
Но я не ждал конца тревоги:
Почтя слезою прах отцов,
Скорей, скорей — давай бог ноги
Бежать от добрых земляков!

И так, их злобою гонимый,
Печальный гость чужих земель,
Покинул я приют родимый,
Почтенных предков колыбель...
От ранних лет к странам далеким
Я был надеждою маним;
Мне быть хотелось одиноким —
В чужой стране, для всех чужим.
Сбылось безумное желанье!
Я был один в толпе людей,
Как осужденный на изгнанье,
Как всеми брошенный злодей...
Мне жить на свете скучно было;
Я мирных радостей не знал;
Душа пустела; нрав дичал,
А сердце тайной грустью ныло...

Блуждая из страны в страну,
Я свет изведал понемногу —

И скоро ль, трудную дорогу
Окончив, мирным сном засну —
Не знаю...

Но клянусь судьбою,
Клянусь мечтами жизни сей,
Что не ступлю опять ногою
На землю родины моей!..
Зачем? к чему? и что бы ныне
Я мог найти в моей пустыне?
Ах! разве чуть приметный след
Давно, давно минувших лет:
Травой заросшие могилы,
Где под хранительным крестом
Двух незабвенных пепел милый
Лежит, объятый вечным сном...
И там же... там есть холм забытый,
Под коим, холоден и тих,
Спит беспробудно муж сердитый,
Забывши мой несчастный стих.
Избави бог меня от злости!
Нет, не дерзнет моя нога
Попрать разрушенные кости
Землею взятого врага!

1 июля 1827
С.-Петербург

375. ПРИЕЗД

Путь трудный кончен. Вот громады
Блестящих храмов и палат.
Как неба вечные лампады,
Огни вечерние горят.

Отрадно страннику сиянье
Гостеприимных сих огней...
Он знал любовь, он знал страданье,
Он знал тоску во цвете дней.

Он рано родину покинул
И долю низкую презрел,

И мрак невежества отринул —
И к просвещенью полетел.

Он избежал невежд смиренных,
Благословя их кроткий сон;
Наукой хладною надменных
Безумцев злобу — видел он.

Он счастья испытал измены
И жизни суетной тщету...
Теперь в хранительные стены
Прими, Петрополь, сироту!

Как капля в бездне вод кипящих,
Как в море легкая струя —
В сени твердынь твоих гремящих,
В твоих толпах — исчезну я!

⟨*1827*⟩

376. ЛЮБОВЬ

Не в шуме, не в кругу бояр,
Не посреди пиров мятежных —
Родится пламень чувствий нежных
И вдохновенной страсти жар.
Забытая порочным светом,
Любовь чужда балетных фей:
Под их убийственным корсетом,
Бедняжке, душно б было ей...
Но там — в стране моей любимой, —
Где в лоне мирной тишины
Поднесь хранятся нерушимо
Простые нравы старины,
Где люди следуют природе,
Где дни невидимо летят,
Где все живут по старой моде —
И знать о новых не хотят;
Где предков мирные пороки
Пощажены насмешкой злой,
Где добродетели уроки

Преподаются не молвой,
Где зависть хладная, немая
Не ищет жертвы в темноте, —
Там царствует любовь святая
В патриархальной красоте.

⟨1827⟩

377. СРАВНЕНИЕ

Всё одолев, поток надменный —
Подобье бури и войны —
Волной гремящею и пенной
Слетает в бездну с крутизны.
С какой отвагой волны злые
Крушат оковы берегов!
Трещат лишь камни вековые
Да корни мшистые дубов!

Так ты, ничем неукротимый,
Презревший свет и гневный рок,
Сердечной бурею гонимый,
Стезею жизненной протек.
Кумир веков — оковы мнений,
Неверный счастия призрак, —
Всё пренебрег ты, гордый гений! [1] —
И гордо пал в могильный мрак!

1828
С.-Петербург

378. ПОДРАЖАТЕЛЬ

Таланта скромный обожатель,
Я не поэт, а подражатель;
Мой не блистателен венок;
Но подражанье — не порок!
Кто вдохновенные творенья
От громких бредней отличит,
Чей дух взволнуют песнопенья

[1] Бейрон.

Любимца нежных пиерид;
Кто не судом науки хладной,
Но пылким сердцем, но душой —
Душой младой, восторга жадной,
Поэт! постигнет гений твой, —
Тот подражай! Его напевы
Не пристыдят его харит —
И добрый друг парнасской девы
Его мечты благословит!

⟨1828⟩
С.-Петербург

379. НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА

Полурассеянный и злой,
С приметой бешенства во взоре,
Внезапно, в темном коридоре,
Вчера я встретился с тобой.
Ты испугалась, как наяда,
Когда явился фавн пред ней, —
И в трепетной руке твоей
Дрожала яркая лампада.
Не отвечая мне, ты вдруг
Сокрылась с легкостью воздушной,
И, признаюсь, на твой испуг
Я сам глядел не равнодушно...
Перепугались оба мы:
Как будто в высоте эфирной
Внезапно встретил духа тьмы
Посланник неба — ангел мирный.

⟨1828⟩

380. ПОЛНОЧЬ В ГОРОДЕ

Пробил на башне час полночный;
Погас луны последний свет;
Приметно тихнет шум немолчный
Бродящих дрожек и карет.

Снотворным сумраком одет
Уснувший город. Все заботы
Легли в объятия дремоты.
Гульбища пусты; тротуар
Освобожден от праздных бар,
От чванных дам большого света,
От величавых матерей,
От их жеманных дочерей,
От хладных *рыцарей лорнета,*
От всех порядочных людей:
Исчезли все.

Теперь, порою,
Бредет чиновник с именин
Или с пирушки мещанин
Под ручку с толстою женою;
Лишь тощий Пинда гражданин,
Отринув сон и ласки лени,
Всегдашний раб своей мечты,
Напрасных ищет вдохновений
Среди полночной пустоты;
Да две-три робкие четы
Украдкою от встреч нескромных
По камню звонкому бегут
В смиренный, тесный свой приют,
Хранимый ларами бездомных, —
И буточник, в тени ночной,
Беспечно вторит оклик свой.

⟨1829⟩

381. ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ

Давно ль, давно ль кристалл звенел,
Как мы за здравье друга пили?
Давно ль, в венке из роз и лилий,
Ты песни радостные пел?
Давно ль цвела, подобно маю,
Любовь при имени твоем? . .
И что ж? с унынием читаю
Его на камне гробовом.

Еще сосуда наслажденья
Касались жадные уста
И пред тобой свои виденья
Сменяла резвая мечта;
Еще рукою прихотливой
Ласкал подругу сердца ты,
А смерти гений молчаливый
Уже спускался с высоты...
И вдруг, под сенью черных крылий,
В очах затмился свет дневной...
И пал венок из роз и лилий
С главы счастливца молодой!

⟨1829⟩

382. ОХЛАЖДЕНИЕ

В лета желаний и страстей
Предпочитал я, верный лени,
Удел свободных песнопений
Приманкам злата и честей;
Любовь была моей отрадой,
А резвой дружбы похвала —
Неоцененною наградой
За невеликие дела...
Но легкой юности мгновенье
Исчезло вдруг, как метеор,
Как сна минутное виденье,
Как милой девы беглый взор!
И вот — мне рифмы стали чужды,
От страстных песен я отвык,
Простые хлопоты и нужды
Завоевали мой язык;
Забыл я вымыслы пустые —
И метромании назло
Пишу бумаги деловые
И начерно, и набело!

1829

383. ДВА ЖРЕБИЯ

Во дворце своем богатом,
С торжествующим лицом,
Средь рабов, сияя златом
И волнистым багрецом,
Ликовал в дыму курений
Счастья баловень младой.
Между тем гонимый гений
С тяжкой странника клюкой,
Изнурен тоской неволи,
Скорбной думою томим,
Чтоб взглянуть на Капитолий,
Тихо брел в державный Рим...

Этот странник — был Торквато.
Кто ж — блестящий и младой —
Кто был тот, который злато
Лил широкою рекой?
Он забыт, с его судьбиной;
Имя гордого давно
Темной времени пучиной
Навсегда поглощено...
Но растет в сияньи славы
Имя дивного певца,
И звучат его октавы,
И горят от них сердца!

25 апреля 1830
СПб.

384. ПИСЬМО

Один, в полночной тишине,
Вчера читал я с грустью нежной
Письмо о *нашей стороне*
От друга юности мятежной.
Его знакомые черты
В душе невольно пробуждали
Давно забытые печали,
Давно убитые мечты;

Невольно пред собой я видел
Людей, заброшенных в глуши,
Людей, которых от души
Или любил, иль ненавидел.
Их лица быстро предо мной
Воспоминанье рисовало,
И снова с ними, как бывало,
Соединял я жребий свой...
И стало жаль мне бед минувших
И заблуждений юных дней,
И упований обманувших,
И неба родины моей.
Проснулось давнее желанье
В знакомый край направить путь,
Узреть небес родных сиянье,
Родимым воздухом дохнуть!
Так древле пленник Вавилона
Душой тоскующей летал
В страну отцов, к холмам Сиона,
И песни грустные слагал.

⟨1830⟩

Е. Ф. РОЗЕН

Барон Георгий (Егор) Федорович Розен (1800—1860) родился в Ревеле; получил основательное домашнее образование, преимущественно классическое. Еще в ранней юности он писал латинские стихи гекзаметром и сафической строфой,[1] а позднее путем самостоятельного чтения приобрел обширную эрудицию в области истории, философии и литературы. В 1819 году Розен поступил в Елизаветградский гусарский полк, и позднее в письме Ф. Н. Глинке вспоминал: «...я начал заниматься вашим языком, будучи гусарским корнетом, и ревностное изучение труднейшего языка для меня услаждалось таинственною красотою Ваших произведений; я сроднился с поэтом, который пленительно высказывал то, к чему лежало сердце мое».[2] Уже в первой половине 1820-х годов Розен начинает переводить русских поэтов на немецкий язык, а затем и писать оригинальные русские стихи. Первые его выступления в печати относятся к 1825—1826 годам («Дамский журнал», «Московский телеграф»); в 1828—1829 годах выходят отдельно его «Три стихотворения» и «Дева семи ангелов и тайна». В 1827 или 1828 году Розен знакомится с кругом любомудров[3] и печатается в «Московском вестнике», а в следующем году, через Шевырева, входит в круг Дельвига — Пушкина и сотрудничает в «Северных цветах» и «Литературной газете». Стихи Розена находят поддержку у Пушкина, Вяземского, Сомова и др. По позднейшим воспоминаниям Розена, Пушкин настойчиво побуждал его заниматься лирической поэзией, отмечая при этом как раз те мотивы и тенденции в его творчестве,

---

[1] «Современник», 1836, т. 3, с. 152; А. Е. Розен, Очерк фамильной истории баронов фон-Розен, СПб., 1876, с. 78.

[2] Письмо от 21 августа 1829. — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва), ф. 141, оп. 1, № 382, л. 1. В дальнейшем название этого архива дается сокращенно: ЦГАЛИ.

[3] «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 699.

которые не совпадали с его собственными.[1] Следует заметить, однако, что гипертрофированное самолюбие Розена и крайне преувеличенное представление о ценности своего творчества наложили отпечаток на его воспоминания; признание его поэтических заслуг не было безусловным, и в нем сказывалось естественное снисхождение к даровитому, но все же чужеязычному поэту: до конца жизни Розен не смог избавиться от стилевой какофонии, вызывавшейся его невосприимчивостью к оттенкам поэтического слова, пристрастием к неологизмам и архаизмам в сочетании с просторечными формами и т. д. В 1847—1848 годах Шевырев вспоминал, что «Московский вестник» неохотно печатал его «немецко-русские» стихи; несколько ироническое наименование его «германо-русским пиитой» нередко в частной переписке (у В. П. Титова, Сомова и т. д.). Общее направление творчества Розена, действительно, вело в сторону от эпигонского потока подражателей Пушкину, он тяготел скорее к немецкой романтической традиции. Восприняв учение Шиллера о независимости эстетических категорий от нравственных, Розен в то же время моралистичен в самом существе своего творчества, предметный мир его стихов постоянно стремится к превращению в дидактическую аллегорию. По своей поэтике стихи Розена близки и к романтической поэзии 1830-х годов, предвосхищая лирику Бенедиктова, которого, наряду с Подолинским, Розен высоко ценил; они отличаются тем же декламационно-риторическим характером, сочетанием разнородных лексических сфер и наклонностью к словесно-образному каламбуру («Тоска по юности», 1826; «Лето жизни», 1827; «Мертвая красавица», 1830; «Три символа», 1833). Розен разрабатывает ряд популярных в 1830-е годы поэтических мотивов и тем: безумия поэта («Видение Тасса», 1828), «естественного человека», стесненного оковами «света» и цивилизации («Пастуший рог в Петербурге», 1831), и др. Стихи его перегружены историческими реалиями и ассоциациями — от древнего мира до средневековья; характерны — впрочем, малоудачные — попытки создать моралистическую балладу на материале прибалтийской истории («Казнь отца в сыне»; «Эсты под Беверином», 1832). Особое место в творчестве Розена занимает русская фольклорная тема, разработку которой он начал переводами на немецкий язык песен Дельвига. Отрицая «простонародность», Розен рассматривал русское крестьянство как средоточие патриархальных нравов, христианских чувств и смирения, а также этических понятий и представлений, близких «естественному человеку». Розен стремится со-

---

[1] Барон Розен, Ссылка на мертвых. — «Сын отечества», 1847, № 6, отд. 3, с. 33.

здать «русскую идиллию» («Родник», 1843), стилизует народную песню, пишет «народные рассказы» в стихах и т. д. «Народный дух», как понимал и практически отображал его Розен, в наибольшей степени проявился в его исторической драматургии, которую Розен считал своим основным литературным делом («Дочь Иоанна III», 1835; «Осада Пскова», 1834; «Россия и Баторий», 1833, и др.). Вполне соответствуя теории «официальной народности», драмы Розена привлекли внимание Николая I, по желанию которого Розен предпринимает переделку их для сцены. Литературные отношения Розена с конца 1820-х годов отличаются крайней сложностью и неустойчивостью, что в значительной мере объяснялось и его личными качествами: у него завязываются связи с Дельвигом, Воейковым, Полевым, Гречем, позднее Сенковским, — в большинстве случаев кончающиеся разрывом или конфликтом; так, критический отзыв Дельвига на поэму Розена «Рождение Иоанна Грозного» (1830) стал причиной их разрыва в 1830—1831 годах. Тем не менее связь с литераторами пушкинского круга у него сохраняется: Розен сотрудничает с ними в «Северных цветах», «Литературной газете», собственных альманахах «Царское Село» и «Альциона» (1830—1833); довольно близкие отношения устанавливаются у него с Пушкиным. Розен выступает как прозаик («Константин Левен», 1831; «Очистительная жертва», 1832; «Зеркало старушки», 1833), как переводчик на немецкий язык Пушкина и Дельвига [1] и в особенности как критик — ему принадлежит обширный и серьезный разбор «Бориса Годунова» (1833), статья о стихотворениях Пушкина (1832), напечатанное в пушкинском «Современнике» не лишенное интереса критическое исследование «О рифме» (1836), где он доказывал необходимость возвращения к безрифменному стиху русской народной поэзии и поддерживал опыты белого стиха у Пушкина, Дельвига и Жуковского. В 1836 году он вместе с Глинкой работал над либретто «Ивана Сусанина». В середине 1830-х годов обнаруживается и консервативность литературных взглядов Розена; став с начала 1840-х годов соиздателем и постоянным рецензентом «Сына отечества», он становится в резкую оппозицию к современной литературе и критике (Белинский, Гоголь, отчасти Лермонтов), которой пытается противопоставить самые разнородные явления литературной жизни 1830-х годов — Пушкина, Жуковского, Булгарина, Полевого, Марлинского

---

[1] См.: С. Г. Исаков, Журналы «Esthona» (1828—1830) и «Der Refractor» (1836—1837) как пропагандисты русской литературы. — «Труды по русской и славянской филологии». XVIII, Литературоведение, Тарту, 1971, с. 26.

и т. д.; с полемической целью были написаны и его мемуары «Ссылка на мертвых» (1847), где он изложил историю своих взаимоотношений с Пушкиным, представляя последнего как литературного антагониста Гоголя. В 1838—1839 годах Розен в качестве секретаря сопровождал великого князя Александра Николаевича в путешествии по Италии и Германии; результатом поездки были его путевые очерки и ряд стихотворений, в том числе исторических («Римские венцы», 1838; «Встреча в Эгерском замке», 1838). В 1830-е годы он продолжает разрабатывать и балладные, символико-аллегорические и псевдофольклорные эпические и лирические темы и сюжеты («Домовой», 1833; «Сороковая невеста», 1837; «Голос духа», 1837; «Вечный огонь», 1842, и т. д.); печатает несколько драм и исторических трагедий. Выйдя в отставку в 1840 году, он вынужден существовать главным образом литературным заработком. Если в 1830-е годы он был непосредственным участником литературной жизни Петербурга, посещая салоны и литературные собрания П. А. Плетнева, Н. И. Греча, А. А. Краевского, Ф. А. Кони, В. И. Карлгофа, И. И. Панаева, А. Ф. Воейкова, то с начала 1840-х годов он живет уединенно на своей даче в Кушелевке, печатается почти исключительно в «Сыне отечества» и «Северной пчеле» и постепенно теряет прежние литературные связи. В 1859—1860 годах Розен служит при Главном управлении цензуры; рапорты его обнаруживают органическое неприятие и непонимание современной литературы и верноподданническое усердие.[1]

385. ТОСКА ПО ЮНОСТИ

Вздрогну́в от ужаса, с трепещущей душою,
Стою на жизненном пути.
Я слышу, вторится грозящею грозою
Глас юности моей, расставшейся со мною,
Ее последний звук: *прости!*

Оледенела ль жизнь в святой груди природы?
Ужель поблек весны покров?

---

[1] А. А. Мазон, Страничка из истории русской цензуры в конце 50-х годов. — «Сборник в честь В. П. Бузескула», Харьков, 1914, с. 253. Биографию Розена см.: «Остафьевский архив кн. Вяземских», т. 3 (примечания В. И. Саитова), СПб., 1899, с. 660.

Ах! расплелись отрад младые хороводы,
Как дети резвые, мои промчались годы,
И лик создания суров!

Здесь духи горести унынье навевают;
Здесь льются слез моих струи —
И чувства сироты от жизни отчуждают.
Во тме прошедших лет, как молнии, сверкают
Воспоминания мои!

Над люлькой юности с ужасным приговором
Несется грусть на крыльях бурь!
Чтоб бога умолить, лечу я к небу взором...
И что же? Тучами и траурным убором
Покрылась светлая лазурь.

Отчизна ль юности за буйными громами?
Не свыше ль проблеск над главой?
Анина милая, одетая лучами,
И развевается в руке ее волнами
Хоругвь любови роковой!

Я узнаю тебя в божественном сиянье,
Прекрасный друг протекших лет!
Любовью ль веет мне теперь твое дыханье?
Могу ль любить душой, остылою в страданье?
Без юности блаженства нет!

Увы! вступаю ль я под гробовые своды?
Волшебница, восторгов мать,
Анина! возврати потерянные годы,
Чтоб вновь мне на руках кормилицы-природы
Грудным младенцем засыпать!

⟨1826⟩

386. ВИДЕНИЕ ТАССА[1]

Тасс и Мансо.

Мансо

Поверь мне, Тасс: виденье то — не дух;
Ты сам творец воздушного мечтанья!
Призра́к пустой — сей непонятный друг,
Без сущности, без жизни, без дыханья!
Ты в бездну дум глубоко погружен:
Мир внутренний твоим стал миром внешним,
И наяву ума чудесный сон
Считаешь ты существованьем здешним.

Тасс

Ни госпиталь Санкт-Анны, ни вражда
Альфонсова, ни злая зависть света,
Феррара вся — вселенная — поэта
Не убедит! Я не был никогда
Безумным, верь: в безумном заговоре
Против меня Италия моя!
Мои враги — о стыд! — мои друзья
Согласны все в жестоком приговоре —
Свести меня с ума — и, Мансо, ты!
Смотри: мой взор — блестит ли он безумьем
Иль выспренним, божественным раздумьем?
Ты побледнел: исчадью темноты
Несносен свет! Не покушайтесь снова
На гения! два громоносных слова,
Единый взмах его орлиных крыл —
И он вам в грудь вонзит когтей кинжалы!
Меня ль включить в темницы и подвалы
К юродивым, как в темный мир могил;
Меня ль убить хотите гневом сильным
И рубищем изодранным и пыльным
Одеть на смех — о варвары!..
Сейчас
Я храмину твою покину: тоже
Считаешь ты меня безумным... Боже!

[1] Историческое предание. Тасс мечтал, что видит привидение, говаривал с ним, и друг его Мансо был однажды изумлен восторгом, каким приветствовал сумасшедший поэт мечту свою.

Мансо

Смири свой гнев несправедливый, Тасс!
Ты душу мне обидою потряс;
Остановись! ты ль ненависти черной
Не различишь от дружбы непритворной?
Безумным счел тебя Альфонсов двор —
Ты награжден всемирным удивленьем;
Ты отплатил ему великим мщеньем:
Их имена в поэме дивной стер —
И их сразит проклятие потомства!
Клянусь: к тебе друзья без вероломства!
Наперерыв *Великого* зовут —
И счастлив тот, кто делит с ним приют!
И я к тебе любовию прикован;
Как некий бог, ты обладаешь мной,
Пересоздал меня, поэт святой!
Где дышишь ты, там воздух очарован
И вьются там прелестные мечты:
Эрминия, Клоринда и Армида,
Три грации бессмертной красоты!..
Тяжка, мой друг, от Тасса мне обида!
Моей тоской ты умилился, ты
Останешься: улыбкою ланиты
Оживлены. Неаполь знаменитый,
Предел небес, ниспадший долу рай,
И Павзилип, и гордый вид волкана,
Сорренто брег, зерцало океана, —
Останься, Тасс: взгляни и оживай!

Тасс

Прости меня за муки и за слезы
В стенах тюрьмы: ожесточен твой друг!

Мансо

Но удаляй мучительные грезы;
Собой дари почаще мирный круг
Своих друзей; забудь тот чудный дух —
Он гения игривое сотканье,
Призра́к еще творимого тобой!
Ты не держи беседы с ним ночной:
Умножится душевное страданье!

Тасс

Не говори: ты не видал его!
Со мной побудь; сегодня добрый гений
Опять придет — невольно ты колени
Согнешь пред ним!.. не знаешь ты всего!
Когда б ты знал! Но что же? Без боязни
Откроюсь в знак доверчивой приязни;
Я расскажу, ты тайну сохрани:
Она свята!.. мы, кажется, одни?

В глазах людей причудливый и странный,
Безумен Тасс!.. Сей дух, как гость нежданный,
Явился мне в златые счастья дни —
И он стоял в таинственной сени,
Во светлую одежду облеченный.
Позвал меня... он мне в лицо дохнул —
Повеял жар по членам... исступленный,
Прошедших лет я слышал ратный гул —
Сей мир померк, другой рассвел... яснее...
Вспылала мысль во мне об эпопее!
Среди забав, средь свадебных пиров
Альфонсовых я слышал духа зов —
Я дал ответ... все, слушая, не знали,
Что было то: их устрашил мой взор!
Но гений сей порой был дух печали...
Жестокий! он пресек мой разговор
И страсти миг с прелестной *Санвитали*...
Меня сразил немой его укор!
Не утолив во мне душевной жажды,
Он множил огнь любви другим огнем;
Меня терзал!.. Он из Феррары дважды
Увлек меня таинственным путем
К моей сестре, пока придворных злоба
Еще певцу не докопала гроба.

Я заключен был в смрадный гроб тюрьмы —
И он со мной, сопленник добровольный,
Восторга свет творил средь грустной тьмы,
Дарил меня в темнице жизнью вольной —
И как друзья, как братья жили мы!

Ерусалим жестоко растерзали!
О, если б вы, бесчувственные, знали,
Что я свой ум, восторг и сердца пыл,
Весь огнь души на искры раздробил,
Чтоб всякому в Ерусалиме слову,
По искре дав, дать светлую обнову!
Что всякий стих — частица жизни, мной
Средь тайных мук вам отданной... не вся ли
Утрачена? Недуг лишь роковой
Остался мне... Когда б вы это знали!
Я слышал весть: темницы слабый свет
Темнее стал, и гнев мой вспыхнул юный,
И на судей подъял свои перуны —
Но он сказал заботливо: «Нет, нет!»
И стихнули бушующие струны,
И скромен был, как девство, мой ответ!

Мансо

Певец! вполне тебе мы знаем цену:
Такой ответ от преданного плену
Бессрочному — от Тасса из тюрьмы —
Он удивил.. рукоплескали мы!
Ты совершил великий подвиг; ныне
Под лавром спи в отеческой долине;
Не признавай могущества духов!
Живи с людьми: мой глас — отчизны зов!
Я именем всего молю, что свято,
Забудь о *нем*! ты страждешь, о Торквато!

Тасс

Умолкни, друг: его не знаешь ты!
Торжественной ему ты клятвы не дал,
Его святых объятий не изведал,
Не созерцал живящей красоты!
Он грудь твою палил ли чудным взглядом?
Тебя, хоть раз, кормил ли сладким ядом,
Восторгами и вечности земной
Желаньем?.. Нет!.. я клятвы не нарушу!
Но чудный дух, подумай, кто такой?
Не трепещи, скажу: за лавр святой
Я демону искусства продал душу...
Я продал всё — и стал его рабом!

Волнуемый его дыханьем чистым
И крест неся, златой, с живым венцом,
Бреду, несусь к вершинам гор лучистым —
И, разума не слыша укоризн,
Не чувствую, безумно упоенный,
Что он, как бог громов воспламененный,
По молниям истощевает жизнь
Моей души, сей тучи вечно-бурной —
И наконец со мной простясь пред урной —
Но что! пришел обетованный час...
То шум его шагов... вот он!

Мансо

(трепеща)

О Тасс!

⟨1828⟩
г. Севск

387. ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ

Меня недуг измучил беспокойный;
Я памяти лишался... Кто-то, мне
Неведомый, в разгоряченном сне
Тогда предстал: то юноша был стройный,
Таинственный и чем-то неземной —
Но бледною был страшен красотой!
И кипарис и траурные розы
Вились венком в распущенных власах,
И, яркие, сияли на листах
Иль крупные жемчу́ги, или слезы!
Его покров — густая тьма ночей,
И крест златой в деснице! Взор очей
Разительной казался мыслью, чудным
Его души перуном иль лучом
Из горних мест! Я робкий взгляд на нем
Остановил — и жизнь дыханьем трудным
Чуть веяла в груди моей... Я знал,
Я чувствовал: он смерти ангел черный!
И смерти страх по сердцу протекал,
И жар меня томил и мраз тлетворный!

Он мне поднес священный крест: с креста
Какой-то огнь потек в мои уста,
Пронзительный, но чудно-благотворный, —
И засветлел внезапно гений черный:
Венок из роз, как звезды, вкруг чела,
Лицо горит румяною красою!
Как облако, над ним летает мгла,
И радуга над гордою главою
Торжественно сгибается... С рамен
Слетел покров — и улыбнулся он
И, крылия златые развевая
И крыльями шумящими махая,
Вспорхнул, исчез в сияньи... Вкруг меня,
Как море, блеск; бежали тени ночи,
И эмпирей восторгов и огня
Меня слепил... с трудом прозрели очи:
В них ударял восход светила дня.

(1829)

388. ВЕСТАЛКА

Скромно очи потупляя,
Легкой грации милей,
Шла весталка молодая —
Гордый ликтор перед ней
«Дай дорогу! — восклицает. —
Деве Весты дай пройти!»
Это имя совращает
Племя Ромула с пути.

Рвенье чистое ко благу
Сильной родины храня,
Уважают за присягу
Жрицу вечного огня:
Жрица девствует, и строго
Ей любить воспрещено;
Слава жрице! власти много
Ей в возмездие дано!

Сходит дева роковая
С Капитольского холма.

Слышен дальний шум — густая
Появилась черни тьма:
Много ликторов пред нею —
Повелительно кричат
И на лобную Тарпею
Осужденного влачат!

Приближается тревога...
Кто ж несчастный? Вот! на нем
Широка, богата тога,
Свеж и молод он лицом!
Он погибнет смертью жалкой,
Рано к теням низойдет!
Всё утихло вдруг... Весталкой
Остановлен смертный ход.

Чернь безмолвно встрепенулась,
Как торжественно рукой
Дева милая коснулась
Бедной жертвы молодой:
«*Невзначай* тебя сретаю:
Да исполнится закон!
Я весталка — я спасаю!
Скиньте цепи — он прощен!»

К бурным чувствиям готовый,
Во́пит радостный народ;
Распадаются оковы,
Дева далее идет —
Ветр играет багряницей,
Ризу белую клубит...
И спасенный вслед за жрицей
С удивлением глядит.

Тибр бушует; ночь глухая;
В древнем храме тишина,
И весталка молодая
Пред огнем святым одна —
В легкой тунике небрежной,
В вольной прелести красы,
И в повязке белоснежной,
И распущены власы.

«Скучно жить во храме Весты,
И скучнее день от дня!
Милых юношей невесты
Трижды счастливей меня!
Сердце бьется, чувства ноют...
Я могла б любима быть!
Я... но заживо зароют —
Нет, не смею я любить!

Квирис юный, мной спасенный!
Честью, славой Рима будь!
Но, фортуной возвышенный,
Ты весталки не забудь!
В лаврах ты знакомой жрице
Пышно в сретение мчись —
С триумфальной колесницы
Ей приветно поклонись!»

⟨1829⟩

389. МЕРТВАЯ КРАСАВИЦА

О боже! мертвая! Ко мрамору ланит
Прилипнул взор мой: ангел милый,
Ах! дева, розами осыпанная, спит —
Не сном любви, но сном могилы!

Лилея смятая! я стражду... то прилив
Кипящей крови грудь стесняет,
То смерти хлад в груди, и снова сердца взрыв
По жилам пламень разливает!

Я не видал тебя во блеске юных дней,
Средь игр любви на солнце мая!
Но, мертвая, ты жизнь зажгла в душе моей...
Ах! что б ты сделала живая!..

Вострепенулся дух, разбилась урна — ты,
Жилище духа под луною, —
Но мысль о вечности над трупом красоты
Светла, как небо над весною!

⟨1829⟩

390. ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Путешествуя ко гробу,
Где почиет твой супруг,
Позабудь мирскую злобу:
Бог вдовице нежный друг!
Покорись же провиденью,
Сокрушенная сестра!
Отдохни под дымной сенью
Постоялого двора!

Нет перины, нет служанки!
Но отвыкнувшей от нег,
Без кровати, без лежанки
Будет сносен сей ночлег;
Как-нибудь тебя пристрою:
Есть подушка и шинель;
Под иконою святою
Постелю тебе постель!

Спи, мой ангел злополучный!
Для несчастнейшей из жен
Непогоду жизни скучной
Да заменит тихий сон!
С верной трубкою сижу я,
Одиноким стражем сна;
Пью, мечтательно тоскуя,
Чашу горского вина.

Дни веселья миновались:
Мы, в разгуле молодом,
По-гусарски восхищались
На девичнике твоем...
Свадьбы день, твое венчанье,
В спальне позднею порой
Многошумное прощанье
С милой девственной женой!..

Помню: в дымке белоснежной,
(Будто было то вчера)

Ты сидела, ангел нежный,
У богатого одра!
А сегодня — провиденью
Так угодно! — ты, сестра,
Бедно спишь под дымной сенью
Постоялого двора!

Магнетическою силой
Поминальных дум моих
Населю твой сон унылый
Легким роем снов златых.
Сны! для спящей радость ваша
Да продлится до утра!
Ну, прости, пустая чаша:
Отдохнуть и мне пора!

⟨1830⟩

391. 26-е МАЯ[1]

В дни соловья, во дни утех и цвета,
Когда с небес слетают счастья сны,
Есть празднество — великое для света:
Как торжество, как *лучший* день весны,
Мы празднуем рождение Поэта,
Чьей жизнию мы все оживлены!
Сей день богам в хвалу и честь мы ставим —
Так! Гения сошествие мы славим!

Давно ль еще, таинственный, как рок,
С уставами ничтожной жизни в ссоре,
По областям Поэзии он влек
Сомненья век, блистательное горе?
Как грозный дух, как бедствия пророк,
Давно ль блуждал в эфирном неба море

---

[1] См. «*Северные Цветы* на 1830 год», стихотв. отдел, стран. 98, и сонет А. С. Пушкина: «*Мадона*».

Неведомым, причудливым путем —
Полночное светило с бунчуком!

Но разлился живой рассвет с востока...
Мадоны лик, как солнце, восходил —
И веяли горé туманы рока
В дыхании светила из светил!
Сей чудный лик для нашего пророка
Игрой лучей весь мир преобразил...
И пролилась — в услышание света —
Сиона песнь из звучных уст Поэта.

27 июня 1831

892. ПАСТУШИЙ РОГ В ПЕТЕРБУРГЕ

Здесь, в столице пышной скуки,
Слышу утренней порой
Идиллические звуки,
Говорящие со мной —
Будто старые мы други,
В детстве слившие сердца,
Будто юные супруги
После брачного венца!

Милый отзыв деревенский,
Звук сердечной простоты!
Ты природы голос женский,
Эхо первой чистоты;
Вестник счастия и мира,
Ты любви волшебный клик;
Ты несозданного мира
Существующий язык!

Рог пастуший! для поэта,
Нежных полного страстей,
Ты дороже блеска света
И петропольских затей!

И он радуется детски,
Что он прост еще душой,
Что досель обычай светский
Не сгубил любви прямой.

Да вовек он не погубит
Нежной детскости моей!
Ум мечтает, сердце любит
Средь бесчувственных людей;
Духа творческая воля
Здесь в столице, средь забот,
Сени рощиц, воздух поля
И пастушек создает.

Так мечтой, свободно-думной
Лишь созданиям своим,
Я живу в тревоге шумной,
Молчаливый нелюдим.
Весь мой чудный мир со мною;
Жизнью собственной дыша,
Первобытной чистотою
Свято девствует душа.

Рог пастуший, рог пастуший!
Молви: внемлют ли тебе
Эти суетные души —
Недруг каждая себе?
Нет! растленные развратом,
Дети неги и тщеты,
Спят еще, в быту богатом,
Сном сердечной пустоты!

Некий тайный глас, быть может,
Укоризной прозвуча,
Совесть спящую встревожит
В бедном сердце богача —
И природы клик утешный
Иногда раздастся там,
Как в столице многогрешной
Рог пастуший по утрам.

⟨1831⟩

393—394. *МИЛОЙ НЕЗНАКОМКЕ*

1

Как иногда, в прекрасный вечер лета,
Пленяет нас волшебный блеск луны,
Так при тебе полна душа поэта
Прелестных тайн и светлой тишины!

Ты для меня не мир, дотоль незримый,
С могучею приманкой новизны;
Ты мне цветок знакомый и родимый —
Явленный лик заветной старины!

Мне говорят: ты божество младое!
Со всех сторон тебе гремит хвала;
Мне говорят: ты солнце золотое!
Твой светлый взор — Амурова стрела!

Пленяешь ты невинностью прекрасной,
Всегда в речах любезна и ловка,
И арфою владеешь сладкогласной,
И в танцах ты, как грация, легка!

Но я тебя лишь вижу на гулянье,
По вечерам, порою у окна;
Безмолвна ты, как снов моих созданье,
И в траурный покров облечена.

Так для меня таинственно и мило
Блестит твой взор, как нежный луч луны:
Ты для меня вечернее светило,
Богиня снов и ангел тишины!

2

В шуме, в блеске, средь веселий
Многолюдной суеты
Вновь глаза мои узрели
Стройный образ красоты:

В светлом платье ты сияла
И приветней, и светлей —
Да, *луна* моя дышала
Жаром *солнечных* лучей!

Лик твой милый, лик твой полный
Ярко вспыхивал порой —
Будто огненные волны
Ходят быстрой чередой...
Вид ли милого предмета
Девы сердце волновал?
Иль хвалебный звук поэта
Душу скромную смущал?

⟨1831⟩

395. ОКТАВЫ

Облачена одеждой голубою,
С огнем в очах и в камнях дорогих,
Обвив меня лелеющей рукою,
Сидела ты в объятиях моих, —
Прекрасною лазурною рекою,
Из берегов исшедшею своих,
Ты жизнь мою любовью потопляла...
Ах, что в тот миг душа моя узнала!

Нас пробудил музы́ки сладкий гром —
Живой призыв на игры Терпсихоры!
Блестя, виясь на звуке плясовом,
Ты на меня порой метала взоры,
И там еще, любовным языком,
Они вели с моими разговоры...
И ты — своей одеждой и лицом —
Как солнца лик на небе голубом!

И я с тобой сжился, как птица с клеткой...
Два смертные в раю — осенены
Цветущих лип таинственной беседкой,
Мы оба... ночь... один надзор луны
За нашею невинностию редкой;
И запах роз, и ангельские сны,

И скромные вкруг стана рук обвивы,
И нежности прекрасные порывы!..

Двенадцать лет прошли... наш мир отцвел —
И мы давно забыли друг о друге,
И сердца детский голос огрубел...
На что мне знать, где ты! В *чужой супруге*
Узнал бы я — кого б узнать хотел!
Зачем тебя я вспомнил на досуге!
Не вспомнил бы, но встретилась со мной
Красавица в одежде голубой.

(1831)

396. ПЕСНЯ

Ягодка ль спелая
Манит прохожих красой наливною?
Лебедь ли белая
С царской осанкой стоит над рекою?
Пташка ль дубравная —
Лучшая гостья из вешних гостей —
Голосом славная,
Песнию чудною тешит людей?

Звездочка ясная
Светит всегда на селение наше!
Девица красная
Всех поселянок милее и краше!
Розовой кровию
Нежные щеки твои налились,
Первой любовию
Грудь взволновалась и глазки зажглись!

Ягодкой спелою —
Девица манит румянцем игривым;
Лебедью белою —
Девица радует станом красивым!
Чудно-нарядная,
Песнь соловья нам весною поет —
Ты, ненаглядная,
Водишь по песни своей хоровод.

Мне ли, счастливому,
Светят твои васильковые глазки?
Мне ли, ревнивому,
Тихо готовишь бесценные ласки?
Звездочка ясная,
С неба родного скатися ко мне!
Девица красная,
С терема к другу сойди в тишине!

⟨1831⟩

397. БЫЛО ВРЕМЯ

Было время! миром целым
Мне казался отчий дом!
Пылкий отрок с сердцем зрелым
Видел рай в краю родном.
Чувства пламень вожделенный
Я лишь кровным посвящал,
Средоточием вселенной
Я семью свою считал!

Было время! отчим домом
Мне казался целый мир!
В чувстве, страстию зовомом,
Я держал открытый пир.
Дружба с светом, дружба с богом!
Всё создание *его*
Было царственным чертогом
Девы — друга моего!

Песни, шум, пиры, веселье —
Золотые времена —
Беспрерывное похмелье
Песни, страсти и вина!
Вдохновительная резвость
Вдруг от сердца отошла —
И непрошеная трезвость
Душу скукой обдала!

В отчий дом я воротился —
Пуст он, родина пуста!

Жизни блеск везде затмился,
Всюду в мире пустота!
Дикий, мрачный и бездомный,
Вею тенью меж теней, —
И на всей земле огромной
Нет уж родины моей!

⟨1832⟩

398. ДОМОВОЙ

Старинная быль

Взывает нас голос царя на войну
Отстаивать грудию землю родную!
Надену доспехи, покину жену —
Кому ж поручу я жену молодую?
Еще ты верна,
Подруга-надежа!
Но слишком пригожа
И слишком страстна, —
Кто ж будет хранителем брачного ложа?

Старуха ли няня? надежда плоха —
Глупец, кто вверяется этой надежде.
Когда уже минуло время греха,
Ум женщины туп, и не то, что был прежде!
А юность остра,
Затейна, лукава,
Увертлива, — право,
Безбожно хитра —
Обман да измена для ней лишь забава!

Кому ж поручу я за нею надзор?
Дворецкому разве: он верен и честен,
Догадлив и бдителен, строг и хитер,
И нрав неподкупный его мне известен!
Ее сторожить
Он ревность приложит;
А ночью не может
При барыне быть —
А ночь-то меня всего пуще тревожит!

И так-то, признаться, никто из людей
Жены молодой сторожить не сумеет,
Как юная кровь разыграется в ней,
Как ум расторопный лукавство затеет.
А кроме людей
Есть добрые духи,
Умнее старухи,
Дворецких хитрей —
На них-то, кажись, не бывает прорухи!

Я верю: в жилище моем *домовой*,
С домашним житьем и порядком он дружен;
Он, верно, хитрее жены молодой, —
Вот сторож, какой для жены-то мне нужен!
Итак, домовой,
Незлобный, негневный,
Мой друг задушевный,
Кормилец ты мой!
Будь барынин дядька, всенощный, вседневный!

Любовников грозно от ней отгоняй;
Держи непокорную в крепкой неволе
И голосом совести ей попеняй;
А буде послушна, держи ее в холе.
Являйся ко мне
Порой с утешеньем,
С твоим донесеньем,
В полуночном сне —
Доволен ли буду ее поведеньем.

«Прости же, голубушка!» Плачет жена,
И мужа объемлет, и стонет, и вопит:
В ней искренность горького горя видна.
Растроганный ратник отъезд свой торопит,
Узнав по всему,
Что мил он ей точно,
Что быть и заочно
Любимым ему,
Что счастье семейное, кажется, прочно!

Но в дальнем походе, на ратном коне,
На ложе ночлега и в битве кровавой —

Повсюду при мысли о милой жене
Его подозреньем смущает лукавый.
Победа сама
Ему не потеха:
Ему ли до смеха?
Он сходит с ума!
Да, ревность веселью большая помеха!

Нет из дому вести, нейдет домовой:
В народе шататься старик, знать, не любит;
Не ведает он, домосед холостой,
Как ревность супружняя мучит и губит!
В яву́ и во сне,
Печально, сурово,
Он ждет домового
В чужой стороне...
«Явись же, старинушка! молви хоть слово!»

И друга дождался!.. Полночной порой
Является сонному некто мохнатый —
Медведь не медведь, а и черт не простой,
Но леший косматый, старик волосатый...
На цыпочках он,
Запачканный, гадкий,
Ступает украдкой;
Отвесил поклон
С еврейской ужимкой, с злодейской ухваткой.

«Что скажешь, мой милый! давно тебя жду;
А женки моей каково поведенье?»
— «Ну, барин, — в ответ он, — себе на беду
Я горькое принял твое порученье!
Дай дух перевесть!
При ней я бессменно
И нощно и денно
Стерег твою честь —
Совсем изнемог, одурел совершенно!

Не смел я досель отлучаться от ней:
Какую дурную ей враг дал повадку —
Скорее я сладил бы с сотней чертей!
Ну вот, расскажу тебе всё по порядку —

Ты ж сердцем скрепись!
По муже сначала
Она горевала,
И слезки лились;
А там уже хитрость ей в душу запала!

Еще не на деле, но смутным умом
Голубка твоя принялась куролесить
И мысленно ведаться с тайным грехом;
А тут пожелала на деле чудесить:
Понравился ей
Какой-то господчик;
Смазливый молодчик
Стал ластиться к ней —
И больно слюбился ей милый дружочек!

В местах, недоступных для нас, домовых,
Где люди гнушаются грешным желаньем,
Там встречи назначены были у них;
И я наконец беспримерным стараньем
Проведать успел,
Что в час полуночный,
Порою урочной
Придет к ней пострел —
И будет осмеян мой барин заочный!

С сердцов я ее пожурил, побранил,
И тайную задал я ей потасовку;
Но выбился я безуспешно из сил!
Что было мне делать? оставить плутовку
На брачном одре,
А друга милóго,
Как вора ночного,
Поймать на дворе —
Как раз проучить шалуна молодого!

И вот! он тихохонько крадется — хвать!
Попался — и лопнула злая затея!
Не стыдно ль чужую жену соблазнять?
И тут положил я зарок на злодея —
И дух в нем сперся,
И кровь охладела,

И плоть помертвела,
Язык отнялся —
Теперь не затеет он глупого дела!»

«Куда же девался ты с ним? — был вопрос. —
Ну тотчас бы камень на шею, да в воду!»
— «Ты выслушай, барин! не кончен донос;
Ну как не жалеть молодого народу!
Сыскался другой,
Сыскался и третий —
Боярские дети —
И оба чредой,
Что красные звери, попались мне в сети!

И тот же на них положил я зарок:
В амбаре стоят они рядом все трое;
Безмолвно клянут свой проступок и рок,
В ужасной недвижности, в мертвом покое!
И *так* простоят
В тяжелой неволе,
Покуда ты в поле;
Приедешь назад —
Тогда-то натешишься ими по воле!

И так наконец унялася жена
И мыслит: меня вот уж третий дурачит!
И в люди с тех пор не выходит она, —
Всё дома сидит, всё тоскует да плачет.
И вот, до того
Ей скучно на свете,
Что нет на примете
У ней никого, —
На время оставила глупости эти».

«Спасибо, дружок! торопись же домой,
За нею смотри неусыпно и строго.
Тебя награжу я, честно́й домовой!
Лети же стрелою, лети, ради бога!..
Набили же мне
Оскомину эти
Боярские дети!» —
И ратник во сне
Сердитой рукою искал своей плети.

А. С. Норов

В. И. Туманский

Труба затрубила... и витязь, со сна,
Подумал, что друг домовой его кличет,
Что снова затеяла что-то жена...
Ошибся! но горькое горе он мычет.
Врагам-то беда:
Их жéстоко рубит,
Колотит и губит, —
А сердце всегда
Ужасно болит и неверную любит.

Домой возвращается рать наконец,
И каждого манит родная хорома,
Лишь витязь наш сердится — горе-свинец
Лежит на душе... Очутился он дома —
И женка бежит
Встречать дорогого;
На шее милóго,
Целуя, висит, —
А тот вспоминает рассказ домового.

И следственно, пасмурен ратника вид.
«Жена, перестань: что за глупые ласки!»
Жена с удивленьем на мужа глядит;
Слезами наполнились светлые глазки:
«Помилуй, мой друг!
Скажи, что с тобою?
Простился со мною
Как добрый супруг —
И вот, воротился с постылой душою!»

И был ей загадочен мужа ответ:
И няню бранит он, дворецкого тоже,
Всю челядь домашнюю, город, весь свет, —
А челядь вполголоса: «Господи боже!»
В амбар он идет
С женой невеселой,
Со дворнею целой —
И, верно, найдет
Своих супостатов — народ помертвелый!

Уж отперт замок, растворяется дверь —
И первый хозяин вошел, оглянулся,

Глазами поводит, что яростный зверь,
И, что-то увидев, глядит — и надулся...
Три кади стоят:
Одна с чечевицей
И две со пшеницей;
Все рядом торчат —
Не пахнут они никакой небылицей.

Он щупает кади, да режет ножом —
И щепки валятся, но крови не видно.
Уверился барин в обмане своем,
И стало ему перед дворнею стыдно.
Дивится она:
Не весь, чего ради
Изрезал он кади;
Не весь и жена,
Зачем их осматривать спереди, сзади?

«Ну, скучно ли было тебе без меня?» —
Спросил он, оставшись глаз на глаз с женою.
Ответ: «Я не знала веселого дня,
И даже я ночью не знала покою:
Ведь злой домовой
У нас поселился;
Всенощно возился
Бесстыдник со мной...
Не ведаю: въяве ль, во сне ль он мне снился?

Лежу и гляжу: старичишка стоит —
Мохнатый, ужасный, как враг-всегубитель,
И речи негодные мне говорит;
Как варом, меня обдает соблазнитель
Дыханьем своим...
За дерзость такую
В глаза ему плюю,
Ругаюся с ним
И драться хочу, но бессилие чую.

Хочу от него оградиться крестом —
Нет мочи, так сильно он держит мне руки;
Смеется: «Голубушка, дело не в том!
Меня полюби — перестанут докуки!»

И так-то злой дух
И мучит и давит,
Пока не избавит
Спаситель-петух
И сгинуть ночного врага не заставит».

Хозяин винится во всем пред женой
И чистосердечно прощения просит,
И во́пит во гневе: «Подлец домовой!» —
И верность жены молодой превозносит:
«Ах, женка, мой свет!
Для друга мило́го
Не помни былого!»
А женка: «Нет, нет!»
И тотчас он выкурил вон *домового*!

⟨*1833*⟩

399. ЭВРИПИД

Он эллин был — счастливый гражданин,
Краса и честь блистательных Афин!
Великий царь, изящного любитель,
Позвал поэта в царскую обитель.
Но там затмились светлые часы,
И горшее из зол судьба наслала:
Певца заели Архелая псы,
И молния на гроб его упала.[1]

⟨*1845*⟩

---

[1] Известно, что знаменитый трагический поэт Эврипид, находясь при дворе македонского царя Архелая, был растерзан царскими собаками и что на гроб его упала молния. Последнее из сих обстоятельств имело, впрочем, у древних значение, совершенно противоположное нашим понятиям.

Н. С. ТЕПЛОВА

Надежда Сергеевна Теплова (в замужестве Терюхина) родилась 19 марта 1814 года в Москве, в зажиточной купеческой семье.[1] Получила хорошее домашнее образование, литературное и музыкальное; вместе с сестрой, будущей поэтессой Серафимой Тепловой (в замужестве Пельской), брала уроки у известного пианиста Шпревица: в семье были прочные музыкальные интересы и часто устраивались домашние музыкальные вечера. Обе сестры рано проявили литературное дарование — тринадцати лет Н. Теплова впервые выступает в печати со стихотворением «К родной стороне», написанным в подражание «Эоловой арфе» Жуковского. В конце 1820-х годов Тепловы уже знакомы с Шаликовым, С. Н. Глинкой; стихи их появляются в «Дамском журнале». По-видимому, они были дружны и с поэтессой М. А. Лисицыной (существуют стихи последней, адресованные С. С. Т⟨епловой⟩, и позднее стихотворение Н. Тепловой «В память М. А. Л⟨исицын⟩ой», 1842).

Круг лирических тем и образов у Тепловой определяется уже в конце 1820-х — начале 1830-х годов и в дальнейшем почти не изменяется, — это романтическая тема конфликта «мечты» и «существенности», тема экзальтированной женской дружбы, религиозные мотивы, в иных случаях приближающиеся к мистическим. В жанровом отношении Н. Теплова тяготеет к медитативному фрагменту, субъективно окрашенной пейзажной зарисовке, лирическому монологу с камерным, интимным колоритом. По своему интонационному и стилистическому строю лирика Н. Тепловой необычайно «прозаична», — эта особенность в дальнейшем превращается в осознанный принцип,

[1] «Биографическое известие о Н. С. Тепловой». — «Стихотворения Надежды Тепловой (Терюхиной). Третье издание (дополненное)». М., 1860; М. Лонгинов. Письмо к редактору (10 мая 1861). — «Русский вестник», 1861, № 20, отд. «Современная летопись».

при том, что уже в 1830-х годах она достигает довольно высокого уровня технического мастерства (см. «Свирель»). Она неохотно пользуется тропами, почти не употребляет богатой рифмы и уже в ранние годы обращается к безрифменному стиху («На смерть девы»). Н. Теплова печаталась очень мало; стихи ее появлялись в журналах, по-видимому, при посредничестве М. А. Максимовича, который с конца 1820-х годов становится литературным «опекуном» обеих сестер. В 1827—1834 годах Максимович печатает стихи Н. Тепловой в «Московском телеграфе», «Телескопе», «Северных цветах», «Деннице».[1] В 1833 году он издал первый сборник стихов Н. Тепловой, который вызвал немногочисленные, но благожелательные отклики, в том числе Белинского и И. Киреевского.[2] В середине 1830—1840-х годов Н. Теплова изредка помещает свои стихи в «Московском наблюдателе», «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», «Киевлянине», «Литературной газете» (1848), «Отечественных записках»; здесь она в 1842 году печатает «Отрывок из повести» — единственный известный нам ее опыт большой стихотворной формы. В 1838 году выходит новое издание стихов Тепловой (с 1837 года она выступает и под фамилией мужа — Терюхина). Мотивы тоски, безнадежности, религиозной резиньяции в ее позднем творчестве усиливаются. Она не остается в стороне от общественных вопросов времени, своеобразно и субъективно отражая психологическую и нравственную проблематику женского движения, — однако перспективы его оценивает пессимистически, так как убеждена в извечности и неразрешимости конфликта между одаренной женской натурой и объективными условиями общества («Совет», 1837; «К...», 1839). В последних ее стихах ясно звучат ноты личной трагедии (раннее вдовство, смерть дочери). Н. С. Теплова скончалась в Звенигороде 16 июня 1848 года.

---

[1] См.: «Киевская старина», 1882, т. 1, с. 162: «Русский архив», 1908, № 10, с. 260.

[2] И. Киреевский, О русских писательницах. — «Подарок бедным, альманах на 1834-й год, изданный Новороссийским женским обществом призрения бедных», Одесса, 1834, с. 140; см. также письма Н. В. Станкевича за 1833 г. — «Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830—1840», М., 1914, с. 266, 436.

400. ПРОСЬБА

Молю, словами не играй,
Не огорчай меня сомненьем,
Моей души не охлаждай
Своим холодным рассужденьем
И не встречай моих очей
Своими ясными очами;
Не проникай души моей,
Не упрекай меня слезами!
Возьми, я отдаю тебе
Благоухающие розы
И собираю в дань судьбе
Давно посеянные слезы.

1830

401. ЯЗЫК ОЧЕЙ

Как много дум невнятных выражает
Один уныло-долгий взор;
И сей беззвучный разговор
Одно лишь сердце понимает!
Язык очей — язык красноречивый!
Внимай ему в час вдохновенный тот,
Когда поэт, мечтой своей счастливый,
Не говорит и не поет.

1831

402. НА СМЕРТЬ ДЕВЫ

Юная дева,
Алая роза!
Ты ли недавно
Нам расцветала
Милой красой?

Пламень мгновенный
Лютой болезни

Цвет твой прекрасный
Быстро сожег!

Мы убираем
Блекшую розу
В светлых уборах,
Будто невесту
В храм обручальный.

Мы обручаем
Юную деву
С вечною жизнью,
С вечным покоем.

Крепко целуя
Милую гостью,
Мы ей навеки
Скажем — *прости*!

Вместе поздравим
С новою жизнью,
С новым блаженством
Лучшего мира...

1831

403. СЛЕЗЫ

Нет, мне не жаль минувших дней,
Дней первой юности моей,
Неясно-пламенных желаний,
Живых надежд, блестящих грез
И романических мечтаний;
Мне жаль моих горячих слез,
Их было так несчетно много.
Не раз, избытком чувств дыша,
В них выливалася душа
Иль сердца смутная тревога,
И их весны моей фиал
Как дань, как жертву принимал.
Теперь утраты, скорби те же,

Но слез тех нет: я плачу реже,
И гнет существенных скорбей
Теперь мне вдвое тяжелей!..

1832

404

Теперь горжусь своей свободой,
Закрывши жизни первый том,
Теперь беседую с природой
И с поэтическим трудом.
Смотрю с улыбкой сожаленья,
Не орошая жарких вежд,
На роковое разрушенье
Моих желаний и надежд.
Уже напрасным ожиданьем
Моя душа утомлена,
И, возвышаясь над страданьем,
В нее нисходит тишина.

1832

405. К СЕСТРЕ

Когда настанет час желанный
Разлуки с жизнию туманной
И от земных тяжелых уз
Я равнодушно отложусь, —
Мир вечной жизни, тихий, ясный,
Тогда почиет на челе;
Но пережить тебя ужасно,
Покинуть тяжко на земле!
Тогда в душе, для услажденья
Минуты смертного томленья,
Я положу завет святой...
И жди меня в часы полночи,
Когда людей смежатся очи
И месяц встанет над рекой.
Приду на краткое свиданье,

Скажу, что я узнала *там*,
И замогильные желанья,
И тайну неба передам.

⟨1833⟩

406. ОСЕНЬ

Уныло воет ветр ночной,
Заглохнул бор, поляны пожелтели,
И не слыхать ни песен, ни свирели
В долине темной и пустой.

Кристальные потоки замерзают,
Их, скована, безмолвствует тоска,
И в небе дымном облака
Туманною грядою пробегают.

Где вы, певцы небесной высоты?
Уже вас нет, вы сладкий гимн отпели;
Цветущие дубравы опустели,
Последние с них падают листы.

И обнаженные, колеблясь, дерева
Таинственный высказывают ропот,
И сердцу слышится их шепот,
До слуха чуткого касаются слова.

Я не грущу с природой мрачной, хладной,
Всё, всё теперь в созвучии со мной —
Всё образ жизни безотрадной
И безнадежности земной!..

11 октября 1835

407. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

Прости, лечу! В дали необозримой,
Как утренний туман, исчезну я,
Невидима очам, для чувств непостижима,
Как темная загадка бытия.

Твои смешны ничтожные усилья,
Тебе нельзя достигнуть до меня:
Я легче воздуха, я получила крылья,
Теперь совсем другая я.

Смотри: как тлен, мои распались цепи,
Мне радостный отныне жребий дан, —
Я беспредельные теперь увижу степи,
Я преплыву безбрежный океан.

Прости, лечу! В красе неизъяснимой
Передо мной и небо, и земля;
И в мире многое мне стало постижимо, —
Теперь совсем другая я.

1835

408. ФЛЕЙТА

Люблю луны волшебное сиянье,
И запах лип, и легкий шум ветвей,
Люблю забот людских молчанье,
Люблю безмолвие страстей.
Люблю в час вечера унылой флейты звуки
И слушаю их нежный перелив,
Склонив главу, скрестивши руки,
В груди дыханье притаив.

1835

409. ЦЕЛЬ

Зачем же мне, с столь пламенной душою,
С столь нежною способностью любить,
Не суждено коварною судьбою
Мои мечты на миг осуществить?
Восторг любви, блаженство и томленье
Зачем же мной не узнаны досель?..
Но краткая минута размышленья —
И вижу здесь таинственную цель:

Что в пламени любезного страданья
Всегда легко очиститься душой, —
Моя ж душа в горниле испытанья
И скудных благ и горести земной.

1835

410. ВОСПОМИНАНИЕ

Ее здесь нет! Когда в тени древесной
В таинственный час вечера стою
И слушаю песнь птички поднебесной,
И сладкую весны прохладу пью,
Тогда твержу с невольными слезами:
«Прости, прости, мой догоревший день!»
И тихими минувшее крылами
Приносит мне утраченную тень
И радует знакомыми чертами.

1836

411. НА СМЕРТЬ А. С. ПУШКИНА

Смиритеся, отважные мечтанья,
Здесь ничему свершиться не дано!
    Великому — предначертанье!
Прекрасному — мгновение одно!

Еще твоих мы ждали песнопений, —
Всё кончено! твой грозный час пробил,
    Наш вековой поэт и гений,
Исполненный могущественных сил!

Так, и тебя судьба не пощадила!
Задумчиво над урною твоей
    Главу Поэзия склонила.
Кто заменит утраченное ей?

    Как важны были начинанья!
    Увы! сколь кратко бытие!

Но имя славное твое
Веков грядущих достоянье!

1837

412. МИНУВШЕЕ

Сердца тяжкое томленье,
Несказанная печаль,
Оскорбленье, сожаленье —
Вас влечет волна забвенья
В неразгаданную даль.
От напрасного страданья
Отдохнуло, сердце, ты,
Отреклося от желанья,
И погиб в воспоминаньи
Образ милой мне мечты.
Но счастливые мгновенья,
Но восторженные дни
Спасены от разрушенья:
На обломках сожаленья
Ярко врезались они.

1837

413. СОВЕТ

К ДЕВ.〈ИЦЕ〉 Д. . . .ЛЬ

Брось лиру, брось, и больше не играй,
И вдохновенные, прекрасные напевы
Ты в глубине души заботливо скрывай:
Поэзия — опасный дар для девы!

Мечтаешь ли на жизненном пути
След огненный прорезать за собою;
Иль думаешь сочувствие найти
В толпе, окованной ничтожной суетою;

Иль юная пылает голова
Мечтой похвал и льстивого вниманья,

И рядишь ты, как жертву на закланье,
Твой смелый стих в блестящие слова, —

Дитя-поэт! За славой не гонись:
Она ничем нам сердца не согреет;
Иль с долей счастия простись:
Где гордый лавр, там мирт не зеленеет!

Что девственно очувствовала ты,
Что думою осмыслила глубоко,
Брось изредка украдкой на листы, —
Да не убьет завистливое око
Твоей возвышенной мечты.

1837

414. СВИРЕЛЬ

Свирель, унылая свирель!
Буди, буди пастушек рано!
Пусть кинут мирную постель
Они с денницею румяной,
Услыша раннюю свирель.

Свирель, унылая свирель,
Сзывай пастушек в полдень знойный,
В приют тот свежий и покойный,
Где бук растет, густеет ель,
Где в травке ландыши белеют,
Семьей березки зеленеют
И трелит нежная свирель.

Свирель, унылая свирель!
Сзывай младых пастушек в поле!
Храни в беспечной, ясной доле,
Гони всё мрачное отсель,
Чтобы тоски они не знали
И с тайной грустью не взывали:
Свирель, унылая свирель!

⟨*1838*⟩

415. К СЧАСТЛИВИЦЕ

Увы! за что ты счастлива так много?
Скажи, какой обет святой,
Какая чистая мольба к престолу бога
Принесена была тобой?

И всё, что кратко, что не наше,
Что видим мы в пролетных грезах сна,
Недостижимого, земного счастья чаша
Сладчайшая тебе поднесена.

Не с пламенным восторгом и слезами
Ты приняла небесное питье,
Но медленно коснулася ее
Холодными, бездушными устами.

А знаешь ли, а чувствуешь ли ты,
Что, в мире ничьему уделу не ревнуя,
Ни счастию любви, ни блеску красоты, —
Одной тебе завидовать могу я?

1838

416. БЕССОННИЦА

Люблю, когда заря сливается с зарей,
И утренний туман седеет над рекой,
И бледная луна на ясном небе тмится;
Когда душа не спит, тогда очам не спится,
Мечты печальные, видений смутный рой,
Как тени из могил, выходят в тьме ночной, —
Всё иссушает грудь, и сердце, и здоровье,
И тяжко голове на влажном изголовье.

(1838)

417. ВЕСНА

Как надмогильный цвет печалит и пленяет,
Так предо мной теперь цветущая весна:
Вотще цветет она, вотще благоухает, —
Ни прежних чувств, ни дум не пробудит она.
Вотще так радостно дубравы зеленеют;
Вотще поэзия задумчивых лесов;
Ужели вновь они былой восторг навеют
И рой надежд и светлых снов?
Нет! тленен внешний мир, и тишина лесная,
И белых ландышей пленительный расцвет, —
Здесь на мгновение их прелесть неземная
И их обманчивый привет.
Они заветно нам для чувства открывают
Нездешних радостей таинственный покров,
И что в них сердце понимает —
Тому ни звуков нет, ни слов...

1841

418

Болит, болит мое земное сердце,
Но не стеснен ничем бессмертный дух,
И, странствуя по жизненной юдоли,
Грядущего я больше не страшусь.
Как будто всё со мною совершилось,
И на земле мне нечего терять,
И только я одно боюсь утратить —
К высокому стремленье и любовь
И на пути задержанной остаться
Губительной завистливою тьмой,
С светильником, угасшим без елея,
В юродивом бессилии души.

1845

Ты миновал, безумья сон,
И дух мой снова пробужден,
И вновь проснулись сердца муки,
И вот — опять передо мной
Всё *он*, страдалец милый мой,
В борьбе со смертью мещет руки,
И нет конца моей тоске,
И горький поцелуй разлуки
Еще не высох на руке.
За этим цепь воспоминаний
Его забот, его скорбей,
Его утаенных страданий
И сиротство моих детей!

Апрель 1846

420. ЛЮБОВЬ

Мечта моя, мною любимая,
Мечта о любви неделимая
Осталась у сердца на дне.
Земному разделу ее, недоступную,
Тебе посвящу я, тебе, Неприступному,
И стану любить в тишине,
И душу, доселе преступную,
Очищу в небесном огне.

1846

В. Г. ТЕПЛЯКОВ

Виктор Григорьевич Тепляков был одной из примечательнейших фигур в русской поэзии 1820—1830-х годов, как по таланту и уровню поэтического мастерства, так и по своей биографии и положению в литературе. Он родился 15 августа 1804 года в семье тверского помещика; воспитывался дома, затем в Благородном пансионе при Московском университете. Уже в пансионе он пишет стихи (биограф его, Ф. А. Бычков, видел в его бумагах стихотворение, датированное 1819 годом). 10 сентября 1820 года он поступает юнкером в Павлоградский гусарский полк, в 1824 году произведен в поручики. Некоторое влияние на него оказал его сослуживец по полку, известный П. П. Каверин, приобщивший его к масонству и, несомненно, способствовавший росту его политического вольномыслия. Каверина и Теплякова связывали и литературные интересы, в их переписке постоянно упоминаются имена поэтов, в том числе Байрона и Пушкина. Каверин, приятель Пушкина и собиратель его стихов, вероятно, знакомил Теплякова и с ходившими в списках антикрепостническими и антиправительственными стихами. В полку у Теплякова вырабатывается своеобразный политический абсентеизм, форма оппозиционности, которая сохранится у него в дальнейшем. Служба его тяготит, к тому же развивающаяся болезнь (ревматизм, болезнь горла) делает ее для Теплякова физически трудной и обременительной. Его влечет литературная деятельность, он пытается завязать связи с петербургскими литературными кругами. 11 февраля 1824 года в Вольном обществе любителей российской словесности читаются его стихи «Незабудка» и «Зораида к шиповнику»; оба стихотворения были отвергнуты. Некоторые связи устанавливаются у него лишь с графом Д. И. Хвостовым и А. Е. Измайловым. Известные нам ранние стихи Теплякова уже обнаруживают несомненный талант и владение поэ-

тической техникой; холодный прием их, как можно думать, объясняется некоторой необычностью их поэтики, предвосхищающей стиль поэзии 1830-х годов, который воспринимался «элегиками» как неточный и разрушающий традицию. Тепляков отдает дань гражданской поэзии: сохранилась одна часть его поэмы «Бонифаций» (1823), выдержанная в духе аллюзионной гражданской поэзии и посвященная восстанию марсельцев против тирании Карла Анжуйского под руководством трубадура Бонифация (XIII век). Вместе с тем поэма отразила и черты «кризиса 1823 года»: герой ее уже тронут скептицизмом, его лирическая биография отмечена чертами байронического драматизма. Характерен и выбор сюжета (исторический Бонифаций был выдан марсельцами Карлу и казнен). Так уже в раннем творчестве Теплякова обозначается тип гонимого и предаваемого героя, который затем заново возникнет в его лирике, приобретя автобиографические черты.

Четвертого марта 1825 года Теплякову удается наконец выйти в отставку. Восстание 14 декабря застает его в Петербурге; он уклоняется от присяги Николаю I и — во избежание вопросов об этом на исповеди — посылает исповедоваться вместо себя своего брата, юнкера лейб-гвардии Конного полка Аггея Теплякова.[1] Обман был раскрыт, и священник донес властям о неблагонадежности Теплякова. Во время обыска у него были найдены предметы масонского культа. 20 апреля 1826 года оба брата были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Сырой каземат окончательно разрушил здоровье Теплякова; он попал в госпиталь, а 24 июня 1826 года, освобожденный из заключения, отправлен в Александро-Невскую лавру на церковное покаяние. Лишь в конце 1826 года, после прошения на высочайшее имя, он был переведен на жительство в Херсон под надзор полиции; здесь он подвергся нападению грабителей и едва не был убит. По вновь поданному прошению на высочайшее имя он был назначен на службу в таганрогскую таможню.[2] К 1826 году, по-видимому, относятся два автобиографических стихотворения Теплякова — «Затворник» и «Изгнанник».

---

[1] Центральный государственный военно-исторический архив (Москва), ф. 1, оп. 1, дело 6285, л. 16 об.; ср.: «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. 2, СПб., 1896, с. 300.

[2] «Русская старина», 1896, № 1, с. 181; № 2, с. 431. Прошения Теплякова — любопытнейший исторический и психологический документ; верноподданническая экзальтация их имеет едва уловимый пародийный оттенок и сочетается с резкой саркастической критикой полицейско-бюрократических порядков николаевской России.

В 1828 году Тепляков определен в штат новороссийского и бессарабского генерал-губернатора М. С. Воронцова; тогда же ему удается добиться разрешения поехать для лечения на Кавказские минеральные воды, где он сближается с кругом Г А. Римского-Корсакова. По возвращении он получает поручение вести археологические розыски на юге России. В марте 1829 года его командируют с археологическими целями в Варну и соседние области, отвоеванные у турок, где еще шли военные действия. Следуя за воинскими частями, неоднократно подвергаясь опасности быть убитым в стычке или заразиться свирепствовавшей чумой, Тепляков собирает древности для Одесского музея и делает несколько важных археологических открытий. Свое пребывание за границей он описал в ряде писем, которые в переработанном виде составили книгу путевых очерков «Письма из Болгарии» (1833),[1] в них Тепляков впервые выступил как незаурядный мастер лирической прозы, в некоторых отношениях предвосхищающий прозу Лермонтова. Одновременно с письмами создается и серия его «Фракийских элегий» (1829), в совокупности своей составляющих своеобразный цикл, объединенный фигурой лирического героя — гонимого судьбой странника. Вернувшись в Россию, Тепляков получает разрешение поселиться в Одессе и входит в кружок одесских ученых, литераторов и любителей искусства (И. П. Бларамберг, Казначеевы, А. И. Левшин, А. Г. Тройницкий, М. П. Розберг и др.). Он участвует в одесских литературных начинаниях — «Одесском вестнике», «Литературных листках», «Одесском альманахе», посещает литературные вечера [2] В 1830 году через своего брата и литературного конфидента Ал. Г. Теплякова он вступает в контакт с «Северными цветами» и «Литературной газетой», где печатает несколько писем и стихотворений, вызвавших интерес и одобрение в пушкинском кругу.

Стихи Теплякова конца 1820-х — начала 1830-х годов во многом отправляются от лирики Пушкина, но уже тяготеют и к поэтической системе послепушкинской эпохи, с ее специфическими формами поэтической условности и резким усилением субъективного начала. Лирический субъект «Странников» (1829), «Фракийских элегий» (1829), «Одиночества» (1832) — изгой, отвергнутый родиной, лишенный друзей и домашнего очага; его странничество — тяжелый и неиз-

---

[1] См.: А. Бруханский, «Письма из Болгарии» В. Г. Теплякова. — «Из истории русско-славянских литературных связей XIX в.», М.—Л., 1963, с. 312.

[2] «Русская старина», 1887, № 2, с. 282; 1896, № 4, с. 191; «Русский архив», 1895, кн. 3, с. 99.

бежный крест: скептик и мизантроп, он осознает свой удел как наименьшее зло из возможных Однако разрыв с естественными страстями и привязанностями, которые он надеется заменить искусственной жизнью чистого интеллекта, оказывается в значительной мере иллюзорным и становится источником внутренней трагедии — одиночества и ностальгии. Выхода из этого круга нет. пройдя бурю, войну, чуму, тепляковский странник вновь видит перед собой перспективу бесконечного скитальчества. Все эти поэтические мотивы в большой мере были отражением умонастроений самого Теплякова. В концепции «Фракийских элегий» и других стихов этого периода они как бы получали историко-философское обоснование: Тепляков неоднократно возвращается к теме исторически бессмысленного круговорота общества, где каждую цивилизацию ждет неизбежная гибель; к теме мировых катаклизмов, уничтожающих культуры («Кавказ», 1828; «Гебеджинские развалины», 1829; отчасти «Чудный дом», 1831).

В 1832 году выходит первый сборник его стихов, изданный А. Г. Тепляковым; в предисловии издателя был сделан намек на драматическую судьбу автора, а поэзия его полемически противопоставлена идеям «положительного века» и «коммерческой литературы». Сборник был построен как лирическая автобиография героя-автора: наиболее «объективные» и оптимистические стихи (первое из них — «Благотворная фея» — утверждало власть поэтической фантазии) открывали сборник; резкий перелом в тональности создавали «Затворник» и «Изгнанник», за которыми следовали стихи о скитальчестве, о духовной драме, саркастические эпиграммы, написанные в Одессе и характеризующие обывательскую рутину провинциального общества; завершался сборник «Чудным домом», с его идеей «суеты сует» земного мира. Книга была принята благожелательно, но коммерческого успеха не имела. В 1833 году выходят «Письма из Болгарии» и ряд стихотворений Теплякова в «Литературных листках». Жизнь в Одессе тяготит Теплякова, его переписка этих лет изобилует мизантропическими и пессимистическими нотами. Одесские друзья и покровители Теплякова (М. С. Воронцов, Р. С. Эдлинг, А. П. Зонтаг) стремятся исхлопотать ему прощение, по просьбе Зонтаг Жуковский представляет ко двору вышедшие книги.

В 1834—1835 годах Тепляков вновь отправляется на Восток, посещает Константинополь, Малую Азию и Грецию. В 1835—1836 годах он около года проводит в Петербурге. Он знакомится с Пушкиным, к которому чувствует благоговейное уважение, общается с Плетневым, Кукольником, Бенедиктовым, входит в кружок Жуковского и В. Ф. Одоевского, своего прежнего товарища по Благородному пан-

сиону.[1] Одоевский принял ближайшее участие в подготовке второго тома его стихотворений, вышедшего к маю 1836 года; том этот включил «Фракийские элегии» и стихи с 1832 года; Тепляков придавал ему большое значение и за печатанием его наблюдал сам.[2] Здесь выделяется цикл любовных стихов с характерной темой измены возлюбленной, в «лермонтовском» варианте: лирический герой, одинокий и враждебный всему миру, сосредоточивает свои душевные силы в любви к единому существу — «ангелу», который ему изменяет. С этой темой ближайшим образом связана вторая, также сближающая Теплякова и Лермонтова, — тема «демона», проклинающего «всю тварь» «в самом себе» и распространяющего «на все миры» «свою бездонную печаль» («Два ангела», 1833; см. вступ. статью, с. 29). Отличительной особенностью поздних стихов Теплякова оказывается ирония, близкая к иронии немецких романтиков; в «Вакхической песне», в «Слезах и хохоте» она приобретает характер сарказма и создает контраст внешне оптимистического тона стихов и глубокого пессимизма содержания. В неопубликованном варианте предисловия к сборнику 1836 года Тепляков указывал, что основными формами современной литературы должны стать «*сатира* и *элегия*, — первая бичующая нравственную ничтожность общества, последняя — оплакивающая утрату его симпатической сердечной естественности».[3] Высшие представители современной поэзии для Теплякова — Гете и Байрон; к ним следует добавить и имя Беранже.

В 1836 году Тепляков, причисленный к константинопольской миссии, вновь едет на Восток — в Грецию, Египет, Сирию, Палестину, Константинополь; снова попадает в районы чумной эпидемии. В мае 1840 года он получает разрешение уехать в Париж, где знакомится с Шатобрианом, Балланшем, Мицкевичем, посещает салоны Сиркуров и Рекамье. Однако и Париж не удерживает его надолго; брат его писал впоследствии, что здесь «он скучал более чем где-нибудь и с грустию вспоминал о жизни своей на Востоке». В июле 1841 года он путешествует по Германии, Швейцарии, Италии. В Риме у него возникает замысел произведения о Беатриче Ченчи, оставшийся неосуществленным, — за время путешествия он, по-видимому, вообще не пишет стихов. Летом 1842 года он возвращается во Францию. В последнем письме брату из Парижа он подводит безрадостный итог

---

[1] См.: Е. В. Фрейдель, Пушкин в дневнике и письмах В. Г. Теплякова. — «Пушкин. Исследования и материалы», т. 6, Л., 1969, с. 284.

[2] «Литературное наследство», 1952, № 58, с. 132.

[3] ПД, 9275 (I) III б. 16, л. 6 об.

своего путешествия: «Что мне теперь с собой делать? Я видел все, что только есть любопытного в подлунном мире, и все это мне надоело до невыразимой степени». 2 (14) октября 1842 года Тепляков скончался от апоплексического удара.[1]

421. БОНИФАЦИЙ

ЧАСТЬ 2

«Промчалась туча грозных бед,
Надежда сердцу улыбнулась;
Небесной благости исполнился обет:
Свобода гордая проснулась.
Пора насилия эхидну растерзать!
Уж полно нашими питаться ей сердцами;
Уж полно трепетной ненáвисти слезами
Кровь милой родины с цепей ее смывать!
Нет! наши язвы и мученья
Перстом нещадного отмщенья
Уж перед богом сочтены, —
И гибелью им в исцеленье
Беды врагов посулены!
По нашим пажитям гоняясь за зверями,
Уже оратая трудами
Не поругается жестокий властелин.
На ниву смятую печальный селянин
Безмолвной грусти взор не кинет;
В сосцах унылых матерей
Млеко для нежных чад от глада не застынет;
Убогий грабежу, рыдая, не покинет
Насущный хлеб своих детей!
Насильем буйного желания злодей
Красу невинную обидеть не посмеет:
Не для него любви цвет милый расцветет,
Не для него прекрасный плод
Под солнцем прелести созреет!

---

[1] Биографию Теплякова см.: А. Г. Тепляков, Воспоминание о В. Г. Теплякове. — «Отечественные записки», 1843, т. 28, № 4, с. 74; Ф. А. Бычков, В. Г. Тепляков (Биографический очерк). — «Исторический вестник», 1887, № 7, с. 5.

Последню старца кровь печаль не охладит,
Грусть пылкой младости чело не избраздит,
И безнадежность лучшей доли
Ее порывов не скует,
И гордый ум в цепях неволи
На лоне лени не заснет.
Пускай, презренный Карл[1], ряды твоей дружины
Дремучи, как полей Арденских исполины;
Пусть туча стрел твоих луч солнечный затмит!
Булат ли, мощною свободой изощренный,
Ряды трепещущих рабов не прояснит!
В груди ли, кровию отчизны обагренной,
От стрел их сердце задрожит!
Не с нами ль твой герой, о родина святая!
Что ж с Бонифацием нам буря боевая?
Как пламень молнии средь тучи громовой,
Врагов погибелью булат его сверкает;
Как глас торжественный победы роковой,
Звон арфы витязя в нас сердце зажигает
Огнем отваги боевой.
Где ж враг? .. на смертный пир, о витязь, мы готовы,
С тобой под вихорь стрел бесстрашно полетим;
С тобой тиранства скиптр свинцовый
В крови тиранов сокрушим!»

Так стан свой доблестных дружина оглашала,
И часто в облаках стрела
Мимолетящего орла
Иль врана, воя, догоняла.
Там ратник сталь свою точил,
Там меч с мечом, гремя, скрестился;
Иной свой дротик в цель пустил,
Иной копьем губить учился.
Меж тем властолюбивый Карл,
Марселя древнего восстаньем устрашенный,
К свободной стороне, насильем угнетенной,
Пределы Фландрии покинув, поспешал.
Уж шум его полков, уж бурных коней ржанье
Брега Лионского залива потрясли,

---

[1] Карл д'Анжу, убийца юного Конрадина, виновник Сицилийских вечерен. См.: Sismondi, Histoire de France и других.

И самовластью на закланье
Уста тирана вновь марсельцев обрекли.
Разлей пожары, месть! лети к ним, истребленье,
Влекися, тощее в цепях порабощенье!
Марсель, потупя взор, колена преклоня,
В руке властителя лобзай свои оковы!
Смирись! за твой позор еще светило дня,
Быть может, зреть тебе позволит Карл суровый.
Смирись! иль утопай в крови своих граждан.
Ты зришь, священная свобода,
Какую тучу мчит неистовый тиран!
И что ж! при токе ль слез — слез твоего народа —
Святой алтарь твой рухнет вновь!
Нет! он лишь под костьми бесстрашных сокрушится,
Трон самовластия на них лишь утвердится.
Нет! жив еще твой огнь в сердцах твоих сынов!
Марсельцам он, сей огнь священный,
В очах вождя горит спасения звездой;
Могуч, как гений их отчизны оскорбленной,
Он храбрых мстить зовет, готовясь в славный бой.
Но солнце блеск свой золотой
Уж ярче на холмы лазурные струило,
И изумруд лугов, и дальний небосклон,
И море синее, и гор румяный склон
Огнем рубиновым, сгорая, обагрило.
Сходила ночь на шумный стан,
И сон уж веял над шатрами;
Последний грохотал в долине барабан,
Последняя труба немела за холмами.
И смолкло всё, лишь ветерок,
Ропща, во мгле древес по листьям пробегает,
Лишь, брызнув искрами, дрожащий огонек
Вкруг рати спящей умирает;
Лишь крики часовых в глуши своих ветвей
Протяжно вторит лес дремучий,
И ржанье гордости своей
Порою с гулом скал сливает конь могучий.

Но кто в раздумьи хладный взор
В ночной тиши с приморских гор
Вперил на пенистые воды?
Я узнаю тебя, герой!

То Бонифаций, друг свободы,
То вождь марсельцев молодой!

На дерне, с арфой золотой,
Пред ним его копье булатное сверкает;
Но дума черная в очах его блуждает;
Но томных месяца лучей
Чело высокое бледней.

Какая ж грусть, о вождь, твой гордый дух
смутила?
Тебе ль грустить? не твой ли меч
Для падшей родины свобода наточила,
Чтоб свой отрадный луч над нею вновь зажечь? [1]
Не ты ли струн своих умел волшебной силой
Героев из рабов безжизненных создать;
Не твой ли дивный глас знал душу девы милой
Неизъяснимых слез блаженством умилять?

Куда ж, младой певец, твое девалось счастье?
Ужель души твоей живое сладострастье
Столь рано грозного страданья обнял хлад?
Весною ль соловей дубраву не пленяет?
Весною ль сердце гор не рвет, не разрывает
И к небу не летит кипящий водопад!
Волшебной думы друг и мученик счастливый,
Где ж луч твоей весны, столь ясный, столь
игривый?
Где сердцу милых снов и радость и тоска
И сердца огненны порывы?

Ах! тот, кого судьбы железная рука
По розам к бездне приводила;
С кем языком любви измена говорила;
Чью искренность добыв коварною хвалой,
Злоречье мщению на жертву отдавало;

[1] Бонифаций III, владетельный барон Кастелланский и трубадур XIII века, восстал с марсельцами против Карла д'Анжу, утеснителя его отечества, убийцы отца его, палача юного Конрадина и виновника Сицилийских вечерен. См.: Millot, Histoire des Troubadours, tome II. — Sismondi, Histoire de la littérature du midi de l'Europe, tome I. — Pappon, Histoire de Provence и других.

Чье простодушие доверчивой рукой
Эхидну зависти ласкало, —
Тот, кто пред низкою толпой,
Обидой горькой уязвленный,
Отмщеньем немощным пылал,
На помощь милых сердцу звал
И плакал, милыми презренный, —
Тот знает, как младой внезапно вянет лик,
Тот в глубине души читает без ошибки;
Тоски насмешливой знаком тому язык
И тайна горестно-язвительной улыбки...
. . . .

1823

422. ЗАТВОРНИК

Земля! не покрывай кровь мою; да
не заглушатся мои стенания в недрах твоих.

Иов

1

Земного бытия здесь нет;
Не тишина здесь гробовая —
Здесь хлад души, здесь сердца бред;
Здесь жизнь, покинув милый свет,
Жива, всечасно умирая!

2

Зари румяной узник ждет;
Но в бездне ль сей она взыграет!
Святую жалость он зовет —
Где жалость? где? — Над сводом свод
Его рыданья заглушает!

8

Как корни древа, перевит
Дедал страданий под землею;
Тюрьма тюрьму во мгле теснит;
Ручей медлительный бежит
Зеленой по стенам змеею.

4

В них сна вотще зеницы ждут —
И между тем в сей мгле печальной
Без пробужденья дни текут;
Минуты черные бредут,
Веков огромных колоссальней.

5

Вотще за мыслью мысль летит,
В хаосе гибельном вращаясь, —
От дум нестройных мир бежит;
Безумства яд душе грозит,
Во все мечты ее впиваясь.

6

И в черноте ль сей глубины
Еще живут воспоминанья?
Льют в сердце звуки старины,
И шум земной, и счастья сны,
Как дальней музыки бряцанье!

7

Здесь шум единый — ветра вой,
На башне крик ночного врана,
Часов церковных дальний бой,
Да крики стражей, да порой
Треск заревого барабана.

8

Почто ж душа к своим летит?
Ах, ни на миг слеза родная
Здесь грусть души не усладит!
С ней звук цепей здесь говорит;
Здесь слезы пьет земля сырая.

9

Как знать? быть может, над землей
Уж солнце вешнее играет;
А в сей пучине — мрак сырой;
Здесь хлад осенний и весной
Всю в жилах кровь оледеняет.

10

Но если солнечным лучом
Мой взор уж больше не пленится,
То над страдальческим одром
Пускай хоть ярый божий гром,
Примчась к оковам, разразится!

11

О, если б узник мог схватить
Стрелу перуна огневую,
Чтоб ею грудь себе пронзить!..
Но нет, страданью ль позабыть
Десницу Промысла святую!

12

О, хоть в виденьи ты ночном,
Моя Психея, мне явися!
О друге гибнущем своем
Вздохни, заплачь перед творцом
Иль горю горько улыбнися!..

1826?

423. КАВКАЗ

Г. А. Римскому-Корсакову

Забуду ли кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные; края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья!..

Пушкин

Отчизна гор в моих очах,
Окаменелые гиганты предо мною;
Громады мрачные, как будто на часах,
Стоят гранитною стеною.
В венце из темного кустарника одна,
Зеленым бисером унизана другая;
Там — голых скал семья чернеет вековая,
Над ней волнистых туч клубится пелена...
Под тяжкими ее стопами
Вокруг богатыми махровыми коврами
Луга холмистые лежат.
На них, из сердца гор, кипучие фонтаны,
Бушуя, серебром растопленным летят;
В гранитных бронях великаны,
Склонясь на пропасти, их грозно сторожат;
И тихо речка голубая,
Змеей сапфирною утесы обвивая,
Журчит меж каменных стремнин.
Но кто сей мрачный властелин?
Иль замок мрачного громад сих властелина?
Огромный, с башнями зубчатыми дворец;
Ряд острых скал — его венец,
Седая дымка туч — одежда исполина.
Ты ль, *пасмурный* Бешту, колосс сторожевой,
В тумане облаков чело свое скрывая,
Гор пятиглавый царь, чернеешь предо мной
Вдали, как туча громовая?
Так, так, уж не во сне я *новый* зрю *Парнасс!*
Уж не восторженный *богинею рассказа,*
О люди, здесь я выше вас
Всей дивной вышиной Кавказа!

Здесь, на скалах Бешту, в утробе сих громад, —
В чертогах матери природы;
Здесь, где гранитные их своды
Со мною о веках минувших говорят!
Проснитесь, спящие под их навесом годы!
Вещай, отчизна гор, которая скала
Кровь Прометееву пила? ..
Скажи, как он страданий вечность,
Неволи горькой бесконечность
За дружбу к смертному сносил?
И никогда душой высокой
Глухую непреклонность рока
О примиреньи не молил? ..
Но посмотрите, как с Востока
Завеса палевых, свинцовых облаков
Свернулась, движется, сбегает...
И что ж? за нею мир духо́в,
Из перлов созданный, мелькает!
Я вижу здания янтарных городов,
Покрытых тонкими из снега кружевами;
Там сфинксы дивные; там странных ликов ряд —
Изида, Озирис, живой хрустальный сад —
В тумане розовом слиялись с небесами!
Но ты, святой Эльбрус, [1] ты будто конь седой,
На коем смерть предстанет миру, [2]
К светилу вечному, к далекому эфиру
Вознесся снежною главой!
Ровесник мира величавый,
Какой орел взлетал на твой венец двуглавый! [3]
Всемирный океан тебя не поглотил:
Твой верх, как мавзолей надменный,
Белел над влажною могилою вселенной
И первой пристанью любимцу неба был! [4]
Ты видел, как на мир тот ураган могучий
Своих несметных сил мчал громовые тучи; [5]
Ты слышал вой их стрел, их бурной керны глас... [6]
Но страшный метеор угас —
И силы грозного — дым, пепла прах летучий!
О вы, которых все мечты
К земле продажною прикованы душою,
Рабы ничтожной суеты,
Придите с дикою громад сих красотою

Кумир души своей сравнить!
Но нет! Пигмеям ли о мелких их заботах,
О их тщеславии, о хладных их расчетах
С престолами громов небесных говорить!

Степей обширною темницей утомленный,
Как радостно, отчизна гор,
Мой на тебя открылся взор!
Восторженный, обвороженный
Красой твоих пустынных скал,
Как часто в дикие дедалы
Я на залетном их питомце проникал!
Как часто пировать в порфировые залы
Чад Эпикуровых сбиралася семья!
Но вы уж скрылися, счастливые друзья,
Как это солнце золотое,
Как это небо голубое,
Как эта теплая кавказская весна!
Как ты мертва теперь, пустынная страна!
Как молчалива ты! лишь ветр в ущельях мшистых
Трепещет — и с вершин кремнистых
От скал отторженный гранит
В глухие пропасти катит...

1 сентября 1828

Примечания

[1] *Но ты, святой Эльбрус...*

Черкесы называют Эльборус *Уах' Гамако*, то есть гора *святая*, чудесная.

[2] *...ты будто конь седой,*
На коем смерть предстанет миру...

См. Апокалипсис. — Клапрот справедливо замечает, что двуглавая вершина Эльборуса имеет вид седла; я прибавлю — черкесского.

[3] *Какой орел взлетал на твой венец двуглавый?*

По наблюдениям г. Вишневского, Эльборус вышиною 16 000 футов. — «Никто не всходил на вершину горы сей; жители Кавказа полагают, что для сего нужно особенное соизволение божие» (*Клапрот*).

[4] *И первой пристанью любимцу неба был!..*

Горские народы говорят, что святой ковчег остановился сначала на вершине Эльборуса, и уже после того отплыл к Арарату (*Ibid.*).

[5] *Ты видел, как на мир тот ураган могучий*
Своих несметных сил мчал громовые тучи.

Тамерлан. — «Когда властитель судьбы и правитель мира решил в высокой воле своей прекратить войну в стране русских и черкесов, он обратил победоносные фаланги и знамена свои к горе *Албрузу*... Знамена завоевателя стран направились с признаком победы против Юри Берды и Ярахена, начальников племени асов (оссетинцев). Дорога была непроходима; но он повелел очистить ее, и, оставя там Амира Гаджи-Сеиф-Эддина с обозами, понес войну к горе *Албрузу*, сражаясь беспрестанно с неверными — и в горных твердынях их, и в их неприступных ущельях». — История Тимура; соч. Шериф-Эддина Езды; персидская рукопись. (См. Voyage au Caucase par M. *Jules Claproth*, t. II, p. 230 et suiv.)

[6] ...*их бурной керны глас.*

Керна — род военной трубы; она была в большом употреблении в войсках Тамерлановых: говорят, что звук ее действительно ужасен и слышен в расстоянии многих миль (Ричардсон. — См. также поэму «Огнепоклонники» Т. Мура).

424—430. *ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ*

(Писаны в 1829-м году)

> Ma bouche se refuse à tout langage qui n'est pas le vêtement même de la pensée... et d'ailleurs... ma lyre est comme une puissance surnaturelle qui ne rend que des sons inspirés.
>
> *Ballanche* [1]

1

ПЕРВАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Отплытие

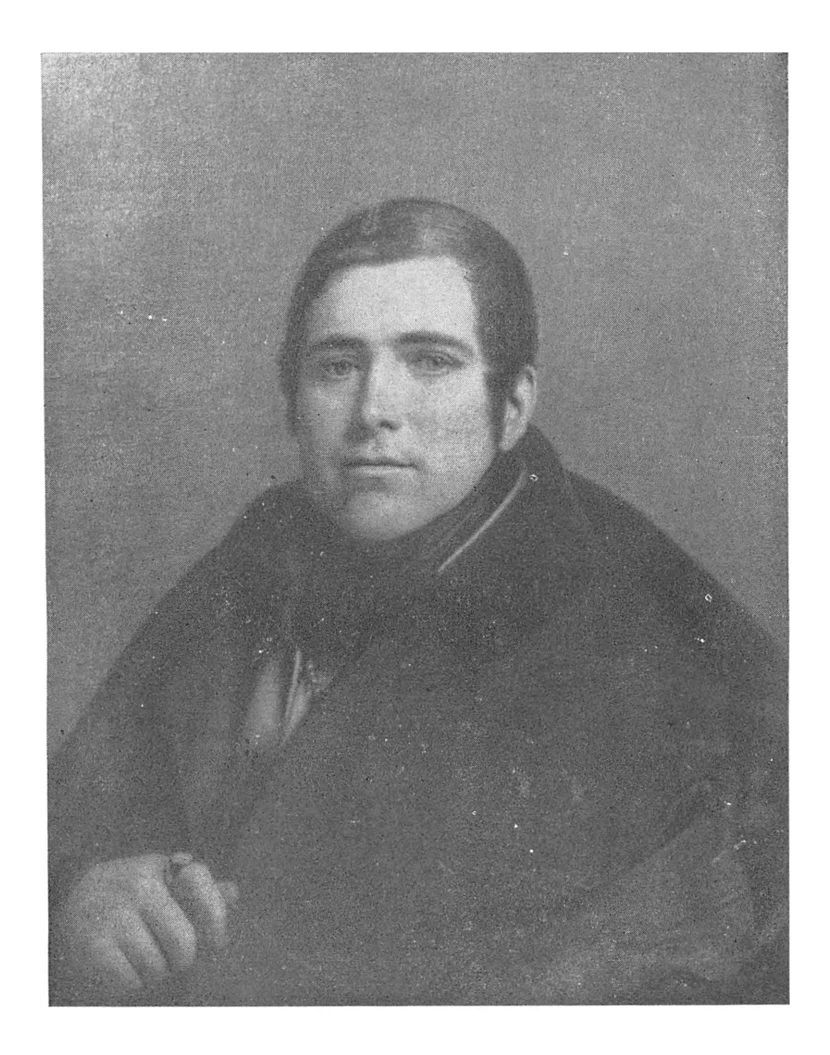
> Adieu, adieu! my native shore
> Fades o'er the waters blue...
>
> *L. Byron* [2]

Визжит канат; из бездн зыбучих
Выходит якорь; ветр подул;

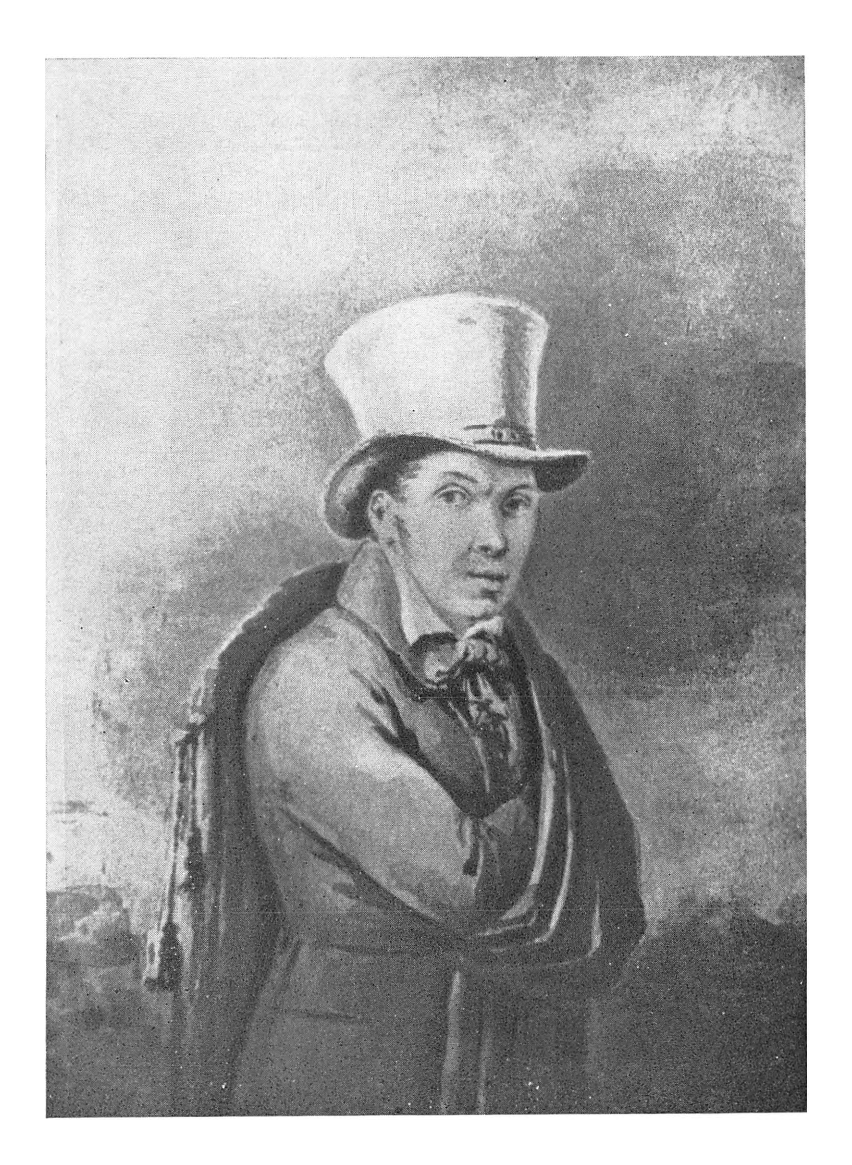
---

[1] Мои уста отказываются от всякого языка, ибо он не является подлинным одеянием мысли... лира же моя, подобно сверхъестественной силе, издает лишь внушенные ей свыше звуки. *Балланш* (франц.). — *Ред.*

[2] Прощай, прощай! мой родной берег исчезает за синими волнами. *Байрон* (англ.). — *Ред.*



П. А. Плетнев



В. Г. Тепляков

Матрос на верви мачт скрыпучих
Последний парус натянул —
И вот над синими волнами
Своими белыми крылами
Корабль свободный уж махнул!

Плывем!.. бледнеет день; бегут брега родные;
Златой струится блеск по синему пути.
Прости, земля! прости, Россия,
Прости, о родина, прости!

Безумец! что за грусть? в минуту разлученья
Чьи слезы ты лобзал на берегу родном?
Чьи слышал ты благословенья?
Одно минувшее мудреным, тяжким сном
В тот миг душе твоей мелькало,
И юности твоей избитый бурей челн
И бездны перед ней отверстые казало!
Пусть так! но грустно мне! Как плеск угрюмых волн
Печально в сердце раздается!
Как быстро мой корабль в чужую даль несется!
О лютня странника, святой от грусти щит,
Приди, подруга дум заветных!
Пусть в каждом звуке струн приветных
К тебе душа моя, о родина, летит!

1

Пускай на юность ты мою,
Венец терновый наложила —
О мать! душа не позабыла
Любовь старинную твою!
Теперь — сны сердца, прочь летите!
К отчизне душу не маните!
Там никому меня не жаль!
Синей, синей, чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

2

Как жадно вольной грудью я
Пью беспредельности дыханье!

Лазурный мир! в твоем сиянье
Сгорает, тонет мысль моя!
Шумите, парусы, шумите!
Мечты о родине, молчите:
Там никому меня не жаль!
Синей, синей, чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

3

Увижу я страну богов;
Красноречивый прах открою:
И зашумит передо мною
Рой незапамятных веков!
Гуляйте ж, ветры, не молчите!
Утесы родины, простите!
Там никому меня не жаль!
Синей, синей, чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

Они кипят, они шумят —
И нет уж родины на дальнем небоскате!
Лишь точка слабая, ее последний взгляд,
Бледнеет — и, дрожа, в вечернем тонет злате.
На смену солнечным лучам,
Мелькая странными своими головами,
Колоссы мрачные свинцовыми рядами
С небес к темнеющим спускаются зыбям...
Спустились; день погас; нет звезд на ризе ночи;
Глубокий мрак над кораблем;
И вот уж неприметным сном
На тихой палубе пловцов сомкнулись очи...
Всё спит, — лишь у руля матрос сторожевой
О дальней родине тихонько напевает,
Иль, кончив срок урочный свой,
Звонком товарища на смену пробуждает.
Лишь странница-волна, взмутясь в дали немой,
Как призрак в саване, коленопреклоненный,
Над спящей бездною встает;
Простонет над пустыней вод —
И рассыпается по влаге опененной.
Так перси юности живой
Надежда гордая вздымает;

Так идеал ее святой
Душа, пресытившись мечтой,
В своей пустыне разбивает.
Но полно! что наш идеал?
Любовь ли, дружба ли, прелестница ли слава?
Сосуд Цирцеи их фиал:
В нем скрыта горькая отрава!
И мне ль вздыхать о них, когда в сей миг орлом,
Над царством шумных волн, крылами дум
носимый,
Парит мой смелый дух, как ветр неукротимый,
Как яркая звезда в эфире голубом!
Толпы бессмысленной хвалы иль порицанья,
Об вас ли в этот миг душе воспоминать!
Об вас ли сердцу тосковать,
Измены ласковой коварные лобзанья!
Нет, быстрый мой корабль, по синему пути
Лети стрелой в страны чужие!
Прости, далекая Россия!
Прости, о родина, прости!

23 марта 1829

2

ВТОРАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Томис

Hic ego qui jaceo tenerorum lusor amorum
Ingenio perii Naso poeta meo.
At tibi qui transis ne sit grave, quisquis amasti,
Dicere, Nasonis molliter ossa cubent.

Ovid., Trist., Lib. III, El. 5, v. 70.[1]

Свинцовой дымкою подернут свод небес,
По морю мутному холодный ветер бродит;
Ряды широких волн шумят, как темный лес,
И, будто рать на бой решительный, проходят.

---

[1] Я, который лежу здесь, нежной любви песнопевец,
От своего и погиб дара поэт я Назон.
Ты же, прохожий, и сам любивший, за труд не сочти ты
Вымолвить: мягко пускай кости Назона лежат.
Овидий, Скорби, кн. III, элегия 5, стих 70
(лат., пер. А. А. Фета). — *Ред.*

«Не буря ль это, кормчий мой?
Как море вихрится и плещет!»
— «О нет, пусть этот ветр глухой
В послушных парусах трепещет!
Пусть бьется море: гневный вал
Еще до нас не долетает,
И наших пушек грозный шквал
Еще с цепей их не срывает!»
— «Смеюсь над бурей я твоей!»
Но что же там, в дали волнистой,
Как пояс желтый и струистый,
Мелькает на краю бунтующих зыбей?

Тебя ли вижу я, изгнанья край унылый?
Тебя ль, бессмертного страдания земля!
О степь, богатая Назоновой могилой! [1]
Ты ль так безжизненна? тебе ль душа моя
Несет дар слез своих печальный?
Прими их! пусть в дали седой
Ты, как холодный труп, как саван погребальный,
Безмолвно тянешься над бездною морской, —
Красноречив твой глас, торжественный покой!
Святая тишина Назоновой гробницы
Громка, как дальний шум победной колесницы!
О! кто средь мертвых сих песков
Мне славный гроб его укажет?
Кто повесть мук его расскажет —
Степной ли ветр, иль плеск валов,
Иль в шуме бури глас веков?..
Но тише... тише... что за звуки?
Чья тень над бездною седой
Меня манит, подъемля руки,
Качая тихо головой?
У ног лежит венец терновый,
В лучах сияет голова,
Белее волн хитон перловый,
Святей их ропота слова.
И под эфирными перстами
О древних людях с их бедами
Златая лира говорит.
Печально струн ее бряцанье:
В нем сердцу слышится изгнанье;

В нем стон о родине звучит,
Как плач души без增 упованья.
Она поет:

1

«Не говори, о чем над урною моей
Стенаешь ты, скиталец одинокой:
Луч славы не горит над головой твоей,
Но мы равны судьбиною жестокой!..
Число ль ты хочешь знать моих сердечных ран?
Сочти небес алмазные пылинки;
По капле вымери бездонный Океан,
Пересчитай брегов его песчинки!
Пускай минувшего завеса раздрана —
Мои беды заглушены веками;
Тоска по родине со мной погребена
В чужой земле, под этими песками.
Не верят повести Овидиевых мук:
Она, как баснь, из рода в род несется,
Течет из уст молвы — и как ничтожный звук
В дали времен потомству раздается!

2

О, как приветствовал на Тибровых брегах
В последний раз я римскую денницу!
Как ты поспешно скрыл, Капитолийский прах,
От глаз моих всемирную столицу!
И ты исчез за ним, мой дом, мой рай земной,[2]
Моих богов отеческих жилище!
Изгнанник! где твой кров? — весь мир перед тобой, —
Прости лишь ты, родное пепелище!
Но нет! и целый мир был отнят у меня:
Изгнанье там поэта ожидало,
Где воздух — снежный пар; туман — одежда дня,
Там, где земли конец или начало![3]
Где только бранный шум иль бурь всегдашних вой
Пустынный гул далеко повторяет;
Свирепый савромат выходит на разбой,
Иль хищный гет убийство разливает![4]

3

Чернее тьмы ночной был цвет моих кудрей,
Когда узрел я берег сей кремнистый;
Промчался год один — и в недре сих степей
Я побелел, как лебедь серебристый!
Вотще в гармонии Овидиевых струн
Все таинства Олимпа обитали:
Упал на их певца крушительный перун —
И в сердце вмиг все звуки замолчали!..
Когда седой мороз над кровлями трещал,
Широкий Истр недвижен становился,
И ветр, как дикий зверь, в пустыне завывал,
И смятый дуб на снежный одр катился, — [5]
По беломраморным, застынувшим водам,
Как новый ток, в час бурного волненья,
Кентавры хищные неслись в то время к нам
С огнем войны, с грозой опустошенья. [6]

4

Душа, сим гибельным тревогам предана,
Могла ль творить, как некогда творила?
Нет! с лиры брошенной Назонова струна
На бранный лук тогда переходила. [7]
И радостно поэт на смертный мчался бой,
И с жизнью вновь к изгнанью возвращался;
Придешь ли ты назад, миг вольности златой?
Иль ты навек с душою распрощался?
Узрю ль я вновь тебя, родимой кровли сень?
Увижу ль вас, отеческие боги?
И тот волшебный край, где солнце каждый день
Златит весны зеленые чертоги?
И ты, о вечный град! узрю ль у ног твоих
Простертый мир перед семью холмами,
Блеск пышных портиков и храмов золотых,
И пену струй под бронзовыми львами?

5

Узрю ль и тот предел, где царственный народ
Благоговел пред гласом Цицерона,

И стогны, где поднесь родимый воздух пьет,
Как жар любви, поэзию Назона?
Моя Италия! к тебе, на светлый Юг,
Помчался б я быстрей крылатой птицы;
О солнце римское! когда ж от скифских вьюг
Оттаешь ты Назоновы ресницы?
Когда... но я вотще о родине стенал!
Надежды луч над сердцем издевался;
Неумолимого я богом называл:
От грусти ум в душе поколебался!
И ты ль тюремный вопль, о странник! назовешь
Ласкательством души уничиженной?
Нет, сам терновою стезею ты идешь,
Слепой судьбы проклятьем пораженный!..

6

Подобно мне, ты сир и одинок меж всех
И знаешь сам хлад жизни без отрады,
Огнь сердца без тепла, и без веселья смех,
И плач без слез, и слезы без услады!
Но в гроб мой мрачного забвения печать
Вотще вклеймить мечтало вероломство —
Его завет певца престанет обличать,
Когда умрет последнее потомство!
Меж тем — пусть на земле, пред суетной толпой,
В ночи времен не гаснет солнце славы —
Пройдет ли луч его сквозь сумрак гробовой?
Моих костей коснется ль величавый?
Вотще труба молвы на безответный прах
Со всех сторон поклонников сзывает, —
Что пеплу хладному в тех громких похвалах,
За кои жизнь всечасно умирает!..»

Умолк божественный — и с лирой неземной
Исчез, как луч во мгле свинцовой...
Взрывает волны ветр глухой,
На море льется блеск багровый.
Громады туч по небесам,
Как будто по морю другому,
Подобно мрачным кораблям,
К сраженью мчатся громовому.

Трепещут груды волн седых
И, как подавленные, воют, —
То не главы́ ль духов морских
Струями локонов своих,
Как серебром, всё море кроют?
Души разбойника черней,
Сошлася с бурей мгла ночная
И, как завеса гробовая,
Весь мир сокрыла от очей.
Лишь пламень молнии струистый
Другого неба свод огнистый
Откроет — и во мгле ночной
С кипящей борется волной.
Темна, как сумрачная вечность,
Она подъемлется, идет...
«Матрос! что вдалеке твой взор распознает?
Что с мачты видишь ты?» — «Я вижу бесконечность!»

«Не буря ль это, кормчий мой?
Уж через мачты море хлещет,
И пред чудовищной волной,
Как пред тираном раб немой,
Корабль твой гнется и трепещет!»
— «Ужасно!.. руль с кормой трещат,
Колеблясь, мачты изменяют,
В лоскутья парусы летят
И с буйным ветром исчезают!»
— «Вели стрелять! быть может, нас
Какой-нибудь в сей страшный час
Корабль услышит отдаленный!»
И грянул знак... и всё молчит,
Лишь море бьется и кипит,
Как тигр бросаясь разъяренный;
Лишь ветра свист, лишь бури вой,
Лишь с неба голос громовой
Толпе ответствуют смятенной.[8]
«Мой кормчий, как твой бледен лик!»
— «Не ты ль дерзнул бы в этот миг,
О странник! буре улыбаться?»
— «Ты отгадал!..» Я сердцем с ней
Желал бы каждый миг сливаться;
Желал бы в бой стихий вмешаться!..

Но нет, — и громче, и сильней
Святой призыв с другого света,
Слова погибшего поэта
Теперь звучат в душе моей!

24 марта 1829

8

ТРЕТИЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Берега Мизии

Erst regierte Saturnus schlicht und gerecht,
Da war es Heute wie Morgen,
Da lebten die Hirten, ein harmlos Geschlecht
Und brauchten für gar nichts zu sorgen:
Sie liebten und thaten weiter nichts mehr;
Die Erde gab alles freiwillig her.

Schiller[1]

Обширный божий мир раскрылся предо мной;
Мой безграничный дух гуляет на просторе,
Не помнит прошлого он цепи ледяной —
Вода ль забвенья это море? ..

Уж семирукий Истр,[1] с покровом на главе,
Стеная над своей коралловою урной,[2]
За мною скатертью лазурной
Далёко утонул в Эвксинской синеве.

Как стар сей шумный Истр! чела его морщины
Седых веков скрывают рой:
Во мгле их Дария мелькает челн немой,
Мелькают и орлы Траяновой дружины.[3]

---

[1] Вначале царствовал простой и справедливый Сатурн,
Тогда Сегодня и Завтра были подобны друг другу,
Тогда жило безмятежное поколение пастухов,
Не имевшее нужды ни о чем заботиться:
Они любили и более не делали ничего,
Земля сама давала им всё необходимое.
Шиллер (нем.). — *Ред.*

Скажи, сафирный бог,[4] над брегом ли твоим,
По дебрям и горам, сквозь бор необозримый,[5]
Средь тучи варваров, на этот *вечный* Рим
Летел Сатурн неотразимый?[6]
Не ты ль спирал свой быстрый бег
Народов с бурными волнами,
И твой ли в их крови не растопился брег,
Племен бесчисленных усеянный костями?

Хотите ль знать, зачем, куда
И из какой глуши далекой
Неслась их бурная чреда,
Как лавы огненной потоки?
Спросите вы, зачем к садам,
К богатым нивам и лугам,
По ветру саван свой летучий
Мчат саранчи голодной тучи;
Спросите молнию, куда она летит,
Откуда ураган крушительный бежит,
Зачем кочует вал ревучий!
Так точно, Промысла не ведая путей,
Неслись полки Судьбы к ее предназначенью:[7]
И вот — из груди царств, от стали их мечей,
Воспрянул новый огнь — и чад глухих степей
Приблизил к цели провиденья!
Пускай их тысячи о брег седых времен,
Как волны шумные, разбились —
Остатки диких сих племен
Преобразили мир и с ним преобразились![8]
Но что же в том! пускай падут
Его старинные обломки,
За поколеньями другие восстают —
На гробе праотцев счастливее ль потомки?..

Владыки древние сих славных берегов,
Кто был блаженней вас, наперсники природы,
Когда средь кочевых, как люди, городов
Вы свято берегли наследие отцов —
Богатство дикой их свободы?
Любовь волшебная и кровных, и друзей,[9]
Обмен сердечных излияний,

Незнанье гибельных страстей,
Незнанье ветреных желаний —
Шатра ль убогого в неведомой тени
Вы золотого века дни
Для скифа бедного всечасно воскрешали? [10]
Первообразного творенья чудеса,
Как пир божественный, очам его сияли;
Как бесконечный сад, дремучие леса
Пред ним, шумя, благоухали.

Ему пещерный свод чертогами служил,
Постелей — луг, блестящий златом;
Природы сын — тогда он был
Всему созданью милым братом.

Затеет пир — к нему толпой
Пернатых музыкантов рой
С своей мелодией слетится,
И миллион над ним огней
Во мраке праздничных ночей
Роскошно с неба загорится.

Пастух и царь в степях своих,
Не зная дальней их границы,
Он был вольней небесной птицы,
Когда с ним вихрь пустынь родных,
Его скакун неукротимый,
Гулял в степи необозримой.

Он был блаженнее царей,
Когда близь матери своей
Пред ним птенцы его играли;
Когда холмов зеленый скат
Толпы его рогатых стад,
Бренча звонками, покрывали;
Когда над горною струей,
В тени древес уединенной,
Домашних пчел привычный рой
Жужжал в долине сокровенной.

Недугом суетных забот
Сердца счастливцев не страдали:
Млеко овец, душистый мед
Их жизнь бродячую питали. [11]
Порой, как пышный злак холмов
Для тучных стад и табунов

Пред их владельцем истощался —
Мгновенно в путь весь дом сбирался.
Пред ним, за ним — ковер степной
Вдали с небесной синевой,
Как пестрый Океан, сливался.
И кочевал счастливый скиф
Беспечно по̀ лесам душистым,
Доколе, над ручьем сребристым,
Роскошный луг, под тенью ив,
Своею свежей красотою,
Своей пахучей муравою
Не обольщал его, — тогда
По новым паствам рассыпа́лись
Скитальцев шумные стада
И новым солнцем озарялись
Передвижные города. [12]

О, для чего я не родился
В их мирной, радостной глуши,
Когда от мудрых грез еще не помрачился
Народ, природы сын, огонь твоей души! [13]
Как птичка божия по воле,
Как вольный ветер в чистом поле,
Я по вселенной бы родной
Летал, семьей своей следимый,
Родными ларами хранимый,
Тоски не мучимый змеей!..

Но что за мыс в дали свинцовой,
Как трон Зефиров бирюзовый,
Сквозь радужный рассвета дым,
Мелькает над волной перловой,
Огнем облитый золотым?

Не ты ль, крылатый Лев, не ты ль на крыльях славы
В сей край с перунами победы прилетал;
Не здесь ли некогда торжественно сиял,
Звезда Венеции, твой отблеск величавый? [14]
В то время волны всех морей
Толпы отважных кораблей,

Тобой рассеянных, топтали;
На царства дани налагали
И дождь сокровищ золотой
В твою утробу проливали!
И где же ныне скипетр твой?
Где дни торжеств и громкой славы?
Пята Ничтожества подъята над тобой,
Рим Океана величавый! [15]
Лишь странник гул твоих побед
Пред этим берегом невольно вспоминает
И взор презрительный на их простывший след,
На след подлунного могущества, бросает!..

Улегся ветер; вод стекло
Ясней небес лазурных блещет;
Повисший парус наш, как лебедя крыло,
Свинцом охотника пронзенное, трепещет.
Но что за гул?.. как гром глухой,
Над тихим морем он раздался:
То грохот пушки заревой,
Из русской Варны он примчался!
О радость! завтра мы узрим
Страну поклонников Пророка;
Под небом вечно-голубым
Упьемся воздухом твоим,
Земля роскошного Востока!
И в темных миртовых садах,
Фонтанов мраморных при медленном журчаньи,
При соблазнительных луны твоей лучах,
В твоем, о юная невольница, лобзаньи
Цветов родной твоей страны,
Живых восточных роз отведаем дыханье
И жар, и свежесть их весны!..

27 марта 1829

4

ЧЕТВЕРТАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Гебеджинские развалины[1]

> Пойду лить слезы и оглашу громкими воплями горы и стези пустыни, некогда столь прекрасные; ибо всё сгорело на них, ибо там нет уж ни единого проходящего, не слышно более гласа того, который обладал ими; ибо от птиц небесных и даже до зверей земных, всё их покинуло и удалилось.
>
> *Иеремия, IX, 10*

Не мира ль древнего обломки предо мной?
Не допотопные ль здесь призраки мелькают?[2]
Не руки ль грозные таинственной косой
Во мгле ничтожества сверкают?
Повсюду смерть! повсюду прах!
Столбов, поникнувших седыми головами,
Столбов, у Тленности угрюмой на часах
Стоящих пасмурно над падшими столбами, —
Повсюду сумрачный дедал в моих очах![3]
Над жатвой, градом пораженной,
Или над рощей, низложенной
Обрывом исполинских гор,
Или над битвенной равниной,
Покрытой мертвою и раненой дружиной,
Чей сумрачный скитался взор?
Пускай же те лишь алчут взгляды
Обнять дремучие громады
Сих чудных, Вечностью сосчитанных столбов:
Вот жатва, смятая Сатурновой пятою,
Вот сучья временем низложенных дубров,
Вот рать, побитая Ничтожества рукою
И в прахе спящая под саваном веков!
Здесь нет земного завещанья,
Ни письмен, ни искусства нет;
Но не древнée ли преданья
Миров отживших дивный след? ..[4]

Дружины мертвецов гранитных!
Не вы ли стражи тех столбов,
На коих чудеса веков,

Искусств и знаний первобытных
Рукою Сифовых начертаны сынов?..[5]
Как знать, и здесь былой порою,
Творенья, может быть, весною,
Род человеческий без умолку жужжал —
В те времена, как наших башен
Главою отрок достигал,[6]
И мамонта, могуч и страшен,
На битву равную охотник вызывал!
Быть может, некогда и в этом запустенье
Гигантской роскоши лилось обвороженье:[7]
Вздымались портики близь кедровых палат,
Кругом висячие сады благоухали,
Теснились медные чудовища у врат,
И мрамор золотом расписанных аркад
Слоны гранитные хребтами подпирали!
И здесь огромных башен лес,
До вековых переворотов,
Пронзал, быть может, свод небес,
И пена горных струй, средь пальмовых древес,
Из пасти бронзовых сверкала бегемотов!
И здесь на жертвенную кровь,
Быть может, мирными венчанные цветами,
Колоссы яшмовых богов
Глядели весело алмазными очами...
Так, так! подлунного величия звездой
И сей Ничтожества был озарен объедок, —
Парил умов надменных рой,
Цвела любовь... и напоследок —
Повсюду смерть, повсюду прах
В печальных странника очах!

Лишь ты, Армида красотою,
Над сей могилой вековою,
Природа-мать, лишь ты одна
Души магической полна!
Какою роскошью чудесной
Сей град развалин неизвестный
Повсюду богатит она!
Взгляните: этот столб, гигант окаменелый,
Как в поле колос переспелый,
К земле он древнею склонился головой;

Но с ним, не двинутый годами,
Сосед, увенчанный цветами,
Гирляндой связан молодой;
Но с головы его маститой
Кудрей зеленых вьется рой,
И плащ из листьев шелковитый
Колышет ветр на нем лесной!
Вот столб другой: на дерн кудрявый
Как труп он рухнулся безглавый,
Но по зияющим развалины рубцам
Играет свежий плющ и вьется мирт душистый,
И великана корень мшистый
Корзиной вешним стал цветам!
И вместо рухнувшей громады
Уж юный тополь нежит взгляды,
И тихо всё... лишь соловей,
Как сердце, полное то безнадежной муки,
То чудной радости, с густых его ветвей
Свои льет пламенные звуки...
Лишь посреди седых столбов,
Хаоса диких трав, обломков и цветов,
Вечерним золотом облитых,
Семейство ящериц от странника бежит
И в камнях, зелени узорами обвитых,
Кустами дальними шумит!..

Иероглифы вековые,
Былого мира мавзолей!
Меж вами и душой моей,
Скажите, что за симпатия́?
Нет! вы не мертвая Ничтожества строка:
Ваш прах — урок судьбы тщеславию потомков;
Живей ли гордый лавр сих дребезгов цветка?..
О, дайте ж, дайте для венка
Мне листьев с мертвых сих обломков!

Остатки Древности святой,
Когда безмолвно я над вами
Парю крылатою мечтой —
Века сменяются веками,
Как волны моря, предо мной!

И с великанами былыми
Тогда я будто как с родными,
И неземного бытия
Призыв блаженный слышу я!..

Но день погас, а я душою
К сим камням будто пригвожден;
И вот уж яхонтовой мглою
Оделся вечный небосклон.
По морю синего эфира,
Как челн мистического мира,
Царица ночи поплыла,
И на чудесные громады
Свои опаловые взгляды
Сквозь тень лесную навела.
Рубины звезд над нею блещут
И меж столбов седых трепещут,
И будто движа их, встают
Из-под земли былого дети
И мертвый град свой узнают,
Паря́ во мгле тысячелетий...

Зверей и птиц ночных приют,
Давноминувшего зерцало,
Ничтожных дребезгов твоих
Для градов наших бы достало!
К обломкам гордых зданий сих,
О Альнаскары! приступите,
Свои им грезы расскажите,
Откройте им: богов земных
О чем тщеславие хлопочет?
Чего докучливый от них
Народов муравейник хочет?..
Ты прав, божественный певец: [8]
Века́ — веков лишь повторенье!
Сперва — свободы обольщенье,
Гремушки славы наконец,
За славой — роскоши потоки,
Богатства с золотым ярмом,
Потом — изящные пороки,
Глухое варварство потом!..

Но я, природы друг смиренный,
Мой цвет, надеждой возращенный,
За то ль так рано побледнел —
Что за бессмысленной толпою,
Пигмейских происков тропою,
Ползти я к счастью не хотел;
Что дар небес, огонь сердечный
Сберечь в груди своей желал
И, в простоте души беспечной,
Пронырства сетью бесконечной
Ничьей стези не преграждал?..
О! помню я, когда, бывало,
Природы всей недоставало
Мне для божественной любви —
Какая в чувствах симпатия,
Какой огонь пылал в крови!..
Но я узнал сердца людские,
Изведал жало клеветы,
Неправды вытерпел гоненья,
Оплакал дружбы измененья,
Надежды попранной цветы;
И прах своих разбитых ларов,
Средь грозных жребия ударов,
Слезой кровавой оросил;
Потом фиал земной кручины
До дна, до капли осушил
И в дальний путь, с крестом судьбины,
По новым терниям ступил...
О! посмотрите ж: для поэта
Едва настало жизни лето —
И где ж, и где его тепло!
В очах уж нет любви магнита,
В усмешке колкой горе скрыто,
И дум перунами чело,
Как море бурное, изрыто;
И жар восторгов прежних стал —
С горнила сброшенный металл!

Но пусть мои младые годы,
Как листья падшие, развеяны судьбой —
Напрасно ль в прелестях вещественной природы
Мой дух незримою пленялся красотой!

Нет, нет! орел, на время пленный,
Свои он узы разорвет
И цепь существ, освобожденный,
В мирах надзвездных разберет;
И у создателева трона
С ним примиренный Аббадона
Вновь к Абдиилу подлетит,
Забудет грусть, не скажет: стражду!
И с ним любви бессмертной жажду
Из чаши солнца утолит...

Но поздно; скоро день заблещет;
Луна и звезды чуть горят;
Промеж седых столбов дубравный ветр трепещет —
И шепчет темный лес, и камни говорят...
Эфирной музыки мотивы,
Как ваши дикие чудесны переливы!
То беглый звук... то странный стон..,
Гул, замирающий печально...
Нет, не земных тимпанов звон
Сей глас развалин музыкальный!..

Но поздно; мой казак не спит:
Вздремнув, уж пикой он сверкает;
Копытом в землю конь разит
И огнь из камней вышибает!
Садимся, едем; путь далек;
Куда приедем — знает рок!
Прости ж, о рой моих видений!
Былого мира прах святой;
И ты, развалин тайный гений,
Прими поклон прощальный мой!..

Апрель 1829

5

ПЯТАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Гебеджинские фонтаны

> Немногие умеют быть счастливы: рабы страстей, носимые попеременно волнами противными, они скитаются, ослепленные, по морям безбрежным. Нет сил противустать буре; нет сил покориться ей! . .
>
> . . . .
>
> Муж добра, муж разума, останься в пристани!
>
> *Пифагоровы золотые стихи*

Вся тварь вокруг меня молчит,
Алмазный полдень с неба льется;
Как раскаленный шар, светило дня горит,
От зноя сердце тяжко бьется.

Глубокий лес передо мной,
Зубцами скал вдали пронзенный;
Над ними снова лес, и будто шлем стальной,
Зеленым гребнем оперенный,
Над лесом вновь утес крутой,
Лазурью неба окруженный.

Туда, туда, под склон древес!
Там воздух легче и живее. . .
Иду; густеет дикий лес,
Вздыхает грудь моя вольнее.
Луч солнца ярко-золотой,
Скитальца спутник прихотливый,
То быстролетно, то лениво
Среди зеленой мглы скользит передо мной.

Томимый жаждою палящей,
За шум струи животворящей
Чего в сей миг бы не дал я!
Иду — и вот в глуши прохладной,
Как голос матери отрадный,
Журчит источника струя.
Прервался лес — и предо мною

Темно-зеленой пеленою
Луг бальзамический лежит.
У ног гранитных великанов
Там двух топазовых фонтанов
Немолчный говор дребезжит.
Над ними сумрак ив плакучих,
Дубов и тополей дремучих
Душа весны животворит.
Их слезы крупною росою
Падут на пестрые цветы
И бриллиантовой змеею,
На солнце, мягкой муравою
Бегут за дальние кусты! [1]

Приют святого вдохновенья,
Твой упоительный покой —
Тревог сердечных усыпленье,
Любви дыханье — воздух твой!
Ее эдем изображая,
С тобой на крыльях дум, о Делия младая,
Уж не в дубравы ль этих скал
Мудрец Тибулл перелетал? .. [2]
Как здесь легко существованье!
Через душевные струящийся края,
Без мыслей, нектар созерцанья —
Единый признак бытия!
О! долго на распутьи света
Я жаждой умственной страдал,
Душой родную душу звал, —
И тщетно! — глас мой без ответа
В пустыне мира исчезал...
Слети же ты на крыльях лени,
Сих одиноких рощей гений;
Весны мелодию на чувства мне навей, [3]
И от полуденного зноя
Дай кровлю страннику под склоном сих ветвей,
И в шуме горных струй душе его пролей
Святую магию покоя!

Так, так! исчез коварный бред,
Горячка сердца миновалась,

И мой изведал ум, что призрак юных лет,
Что всё, чем некогда мечта моя пленялась, —
Не на земле живущий цвет!..
Улыбка славы горделивой —
Подарок черни прихотливой;
Земное равенство — пожар,
Пиры в грязи окровавленной;
А гения высокий дар —
Цепь на скалах Святой Елены!..
О праве площадных друзей
Голодный Арлекин хлопочет;
Стал Крезом он — и на людей
Секиру мстительную точит.
Брамин на парий нападал,
Но Брамы милостей лишился —
И братом он гонимых стал,
И в Человечество влюбился!
Воюя будто за него,
Так целый мир нам ставит сети;
Вы козни поняли его —
И седовласые вам дети
Аршин показывают свой;
Постель Прокустова пред вами,
Вы к ней прикованы гвоздями:
Велики вы — на вас грозой
Топор-уравниватель грянет;
Вы малы — петлей роковой
Вас ложе страшное растянет!..
В глухом хаосе этой тмы
Чего ж искать, к чему стремиться,
Куда бежать, зачем родиться?
И долго ль чувствовать, что мы
Не то, чем созданы быть в мире,
И в ледяном его кумире
Надежды солнце обожать?
О! долго ль горечью земною
Жить сердцу — и с самим собою
В борьбе жестокой изнывать?
Искать веселья в царстве скуки,
Таить свой гнев, любовь и муки
И мраком свет переграждать?
Иль их всемирное боренье —

Завет Адамова паденья?..
Увы! каким бы мы путем
Ни шли к Блаженству — Скорбь земная
Стоит пред радужным дворцом,
Все входы сердцу возбраняя,
Как страж потерянного Рая,
Архангел с огненным мечом!..

Наследья горького пресытившись плодами,
Обняв сей мир души очами,
Что ж делать — *быть или не быть*?
О, если б мог я обхватить
Всю цепь существ ее крылами!
Земные свергнуть суеты,
Попрать ничтожные желанья...
Быть может, мне души всемирной созерцанье
Открыло б ангелов мечты,
И первообраз красоты,
И мысли Вечной в нем сиянье!..
Не так ли некогда Кротонский жил Протей?[4]
Душой гармонию Вселенной
И хор небесных сфер он слышал, упоенный,
В святом безмолвии страстей!
Иль, если б я, в глуши безвестной,
Мог даже, как листок древесный,
Щадимый бурей, прозябать!
Поэзия уединенья,
В твоем бы сердцу вдохновеньи
Лилась эдема благодать!
Когда же снова ключ нагорный
В долине тихой и узорной
Ее нашепчет на меня?
Когда дубравы колыханье,
Дождя меж листьев трепетанье,
Склонясь на сук седого пня,
Сквозь мутный бред услышу я?
Когда порой струи речные,
О берегá дробясь крутые,
С приливом радостей земных
Мне суету представят их?
Когда всего, что в мире зреет,
Живет, растет и каменеет,

Я связь пойму с самим собой —
И, общим движимый движеньем,
В единый гимн со всем твореньем
Солью́ клавир сердечный свой? . .

Но без тебя его бряцанье —
Нестройных звуков сочетанье,
О ты, чей благодатный взор
И в глубь морей, и в недра гор
Льет животворное сиянье!
Ты, для кого сквозь дым златой
На луг росистый утро сходит,
Блистает полдень над рекой,
В безмолвной роще вечер бродит
И грез души на брег морской
Цвет фантастический наводит!
Ты, про кого с густых ветвей,
Сребримых месяцем перловым,
Поет бессонный соловей,
Любуясь озером садовым, —
Ты, чья волшебная струна
И в стоне робкой голубицы,
И в крике матери-орлицы,
И в звуках воздуха слышна! . .

Природа-мать! ты всем богата,
Лишь для моих ли юных лет
Частички неземного злата
В твоей сокровищнице нет!
Нет той, чья б нежность примирила
С надеждой друга своего,
В душе б гармонию святую водворила
И мир бы внутренний его
Пред ним самим разоблачила!
Когда настанет зимний хлад,
Игрив ли горный водопад,
Глухих пещер горяч ли камень?
Но луч весны, но стали взмах —
И жив поток, и яркий пламень
Из камня сыплется в горах!
Любви согретые участьем,

Так, так и вы, мечты мои,
Вновь под безоблачным зазеленели б счастьем!
Поэт без имени, любовник без любви,
Я лишь в тебе, моя Психея,
Искал бы их — и, небом вея,
Живая райская струя,
Мне и любви, и вдохновенья
Лила бы в грудь душа твоя
Сугубое обвороженье!
С тобой, с одной тобой, в блаженной тишине,
Давно забвенному забытым мною светом,
В час зимних бурь камин, цветник приморский летом —
Другой бы вечности не надо было мне!..

Но горный ветер дышит слаще,
Как мир, огромен солнца шар;
Сквозь кружевá древесной чащи
Горит рубиновый пожар.
Струится злато из фонтанов,
И горных зодчество громад
Как озаренный блещет град
Царя пирующих титанов,
И вот уж крупною росой,
Как будто сеткою алмазной,
Цветов и зелени густой
Покрылся шелк разнообразный.
Последний солнца луч угас;
Вокруг мелодия чуть слышимая льется,
Вечерней жертвы тихий глас,
И будто чистых душ эфирный рой несется
К надзвездной родине от нас...

Апрель 1829

6

ШЕСТАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Эски-Арнаутлар

> Певцы сотрудники вождям;
> Их песни — жизнь победам;
> И внуки, внемля их струнам,
> В слезах дивятся дедам.
>
> *Жуковский*

Прочел молитву шумный стан,
Сверкнула пушка пред шатрами,
Последний прогремел в долине барабан,
Последний звук трубы растаял за холмами —
И смолкло всё... лишь ветерок
Орлы знамен приподымает;
Лишь, брызнув искрами, дрожащий огонек
Вкруг рати спящей умирает...
Лишь крики часовых, в глуши своих ветвей,
Протяжно вторит лес дремучий,
И ржанье гордости своей
Порою с гулом скал сливает конь могучий.
Над белым городом шатров,
Над темно-синими горами
Плывет луна меж облаков,
И пушек медь, и лес штыков
Сребрит дрожащими лучами.
Моих лишь сон бежит очей:
Как волны в море кочевые,
Мечты кипят в душе моей —
И будто тени вековые
С вершины гор нисходят к ней...

Нет, нет, минувших браней дети,
Из тайной мглы тысячелетий
Вас вызывать не стану я!
Когда б всей крови здесь пролитой
Из дола хлынула струя,
Иль рати, в сих местах побитой,
Извергла кости бы земля —
С тех пор, как Дария дружины
Топтали Фракии долины,

С тех пор, как варваров на римского Орла
За тучей туча находила
И с Амюратова сошедшая чела
Кроваволунной ночи мгла
Богов отчизну омрачила, —
О! верно б груда сих костей
Как новый Гемус возвышалась
И синева морских зыбей
До дна бы кровью напиталась!..

Отчизны гений боевой
Над сими спящими полками
В сей миг беседует со мной
Как медь звенящими устами.
Что он открыл душе моей —
Того не в силах я поведать;
Но, посреди родных мечей,
Весь божий мир готов проведать!
Чрез неприступный ли Балкан
Себе наш северный титан
Пробьет стезю пятой стальною;
К вратам ли тем, где древний щит
Прикован русскою рукою,
Орел двуглавый полетит
И в Византию ль прах Стамбула,
В когтях с перунами Кагула,
Луну низвергнув, превратит;
Иль дальше, дальше перед нами
Взмахнет широкими крылами, —
Повсюду следовать за ним
Готов певец родимой славы,
В устах с пеаном боевым, [1]
В руках с мечом, сквозь огнь и дым,
В богатый град и в бой кровавый!..

Но вот уж месяц золотой
В сафирном небе догорает;
Дремоты поздней надо мной
Волшебство сладкое летает,
И постепенно умолкает
Мечта земная за мечтой...
Сама в себя душа глядится,

Ве́ка в один проходят миг;
За звуком звук, за ликом лик
Поет, и тает, и родится...
Существ невиданных речам
Мой ум таинственно внимает;
По музыкальным он волнам
В ладье фантазии гуляет,
И неземного бытия
Всё глубже в море проникает
Душа свободная моя...

«К ружью! к ружью!» Неверных тучи
На русский налетают стан:
Гремит призывный барабан,
Как буря воет рог ревучий.
Сверкают яркие штыки,
Ржут кони, чуя супостата,
Над ними копий лес крылатый,
Смыкаясь, движут казаки;
И пушки грозными рядами
Влекутся тяжко меж полками;
В дыму зажженных фитилей
С трескучим блеском искры тлятся,
И сквозь туман желтей, красней
Отливы утренних лучей
На скате неба становя́тся.

Туманом сизым лес и дол
И гор подернута громада, —
Что нужды! знает наш Орел
Дорогу к солнцу Цареграда!
Вперед же, храбрые, вперед!
Но что за гул? Каймой багряной
Вдруг обвились края тумана:
Гора ли тяжкая падет,
Времен разбитая ударом;
Деревню ль молнии налет
Внезапным обхватил пожаром?..

Нет! посмотри́те: в этом рве
Не враны на костях пируют,
Не вихрь дрожит в его траве,

Не воды, с гор крутясь, бушуют, —
Как тучи алчной саранчи,
Толпы врагов на наших рвутся:
В руках, до плеч нагих, мечи,
В чалмах развитых ветры бьются.
Несметней волн они морских:
Внемлите диким воплям их,
Коней их топоту внемлите!
Вперед! рассейтесь, казаки́;
Штыками, Русские полки,
Сердца́ неверных перечтите!
Вперед, стрелки! пусть ваш свинец
Рассеет смерть между врагами:
Родимых доблестей певец
Блюдет вас жадными очами! [2]
В его душе пусть огнь и гром,
И визг ядра, и свист картечи,
И стали треск в дыму густом,
И целый хор кровавой сечи —
Как с воем моря ураган
В одну гармонию сольется
И ей проникнутый пеан,
Как меч о бро́ню, раздается!

Проглянул солнца ясный луч, —
Увы! с беспечностию равной
И крови он кипящий ключ,
И ручеек златит дубравный!
От ярких сабель и штыков
Крутятся искры над землею:
Видали ль гладных вы волков,
Когда они на близкий лов
Бегут нестройною толпою?
Так Оттоманские полки
На наши ринулись штыки!

Забил гремучий барабан;
Рога́ взревели боевые:
Видали ль вы, как Океан
Кати́т, почуя ураган,
Своих валов ряды седые?

Так стройно русские штыки
На вражьи двинулись полки!

Вперед! — и стой! и не дремлите!
Вернее пушки наводите!
Готовься к выстрелу! .. Пали!
И грянул гром, и дым клубами,
Огня пронзаемый браздами,
Как саван лег на одр земли,
Покрытой мертвыми телами,
И волны первые врагов
Разбились о булат штыков.

Но не надолго! .. обхватили
Наш полк передний тучи их,
И сабель полосы кривых
Его перунами покрыли.
Картечи русской свист умолк.
Равны́ ли силы? Но взгляните:
Прирос к земле наш храбрый полк!
Простите ж, други, — и умрите!
Подмоги ружья далеки́,
Пощады нет! но извинтите
В груди́ врагов свои штыки!
Они падут; леса густые
Так под секирами падут,
И жнет их меч, как в поле жнут
Серпы колосья золотые...
Но иногда в толпе сверкнет
Трегранный штык — и конь сердитый,
Беснуясь, на дыбы встает,
И всадник под его копыта,
Облившись кровию, падет.

Спешит подмога; барабаны
С рогами новыми гремят,
И огневые ураганы
Чугунный вновь наносят град.
И враг бежит; его телами,
Как рощей желтыми листами,
Окровавлённый устлан дол.
И чрез Балканские громады

Свои, с победным криком, взгляды
Далеко бросил наш Орел.

И вот уж выстрелов не слышно,
На дол ночная сходит тень,
И солнце гаснущее пышно,
Как в первый мирозданья день.
И будто яства после пира,
Разлитых вин багряный ток,
Где кубок брошенный, где лира,
Где собеседницы венок —
Так трупы храбрых дол узорный
Своей усеяли толпой:
Где красный фес, где кивер черный,
В пыли, с пробитой головой.
Там лик от муки посинелый,
С кровавой пеной на устах;
Там ропот в стиснутых зубах,
В очах — перун окаменелый.
Там падший конь, в порыве мук,
Копытом дерн изрыл кудрявый;
На пушке судорожных рук
Там оттиск видится кровавый...

Но что за воины? их взгляд,
Средь груды вражьих трупов, сжат
Волшебной будто бы дремотой:
Так поселяне в поле спят,
С дневной управившись работой...
Пролома нет в стене стальной;
В одних руках еще сверкают
Штыки кровавые грозой;
Другие руки крест родной
К пробитым персям прижимают!..

Наш храбрый полк, несметный враг
Твою твердыню бил стальную —
И, не попятясь ни на шаг,
Ты весь погиб за честь родную! [3]
Но доблесть храбрых не умрет:
Ее товарищ их походный,

Какой-нибудь старик безродный,
Порою зимних непогод,
В лачуге русской воспоет!
Слезами взор души-девицы
Тогда заблещет сквозь ресницы;
Взглянуть малюток на певца
Мать подведет с лучиной ясной,
И старца повесть не напрасно
Взволнует юные сердца!..

Май 1829

7

СЕДЬМАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Возвращение

Un jour assis sur le rivage,
Bénissant un ciel pur et doux,
Plaignez les marins que l'orage
A fatigués de son courroux.
N'ont-ils pas droit à quelque estime
Ceux qui, las d'un si long effort,
Près de s'engloutir dans l'abîme
Du doigt vous indiquaient le port?

Béranger [1]

И где ж, и где перуны брани?
Где сладость жизни кочевой?
Гигантов призраки над перстью вековой
И цепь живых воспоминаний?

Где скалы Гемуса и Фракии леса,
Как радость ясные над ними небеса
И море, радужным сияющее светом?
Под миртой в мраморе журчащая струя,
И стоны горлицы, и трели соловья,

---

[1] Сидя однажды на берегу, благословляя чистое и спокойное небо, оплачьте моряков, обессилевших под яростью бури. Разве не заслуживают доброго слова те, кто, изнемогая от долгих усилий, поглощаемые бездной, указывали вам перстом на гавань? *Беранже* (франц.). — *Ред.*

И темный кипарис пред белым минаретом?
О! где Востока сон и лень?
Прогулки тайные над озером садовым,
Когда влюбленной пери тень
Скользит над розами, под месяцем перловым?

Их нет! исчез волшебный сон!
Угрюмый Север предо мною;
Как саван бледный небосклон
Вновь над безжизненной раскинулся землею!
По морю темному ревучие валы
Среброголовыми скитаются холмами;
В лесу свистящий ветр, под сенью мертвой мглы,
Качает желтыми листами.
Дрожит окно мое от капель дождевых;
В камине уголья, краснеясь, догорают,
И прах обломков вековых
Скитальца ноги с пеплом их
Вотще, усталые, мешают!
Вотще? Нет, нет! на новый лад
Цветов далеких аромат,
И звуки дивной их природы,
И нравов яркие черты,
И бури бранной непогоды
Мои настроили мечты!
Их гений светлого Востока
Водой живою оросил,
Снам сердца крылья позлатил
И в душу древних дней глубоко
И гул, и отблеск заронил!
О, рой мгновений благодатных,
Как дух свободы необъятных,
Твои ль чары́ забуду я!
Сегодня — город, завтра — волны,
Кипящий стан, утес безмолвный,
И конь, и посох, и ладья!..

В часы полдневные, бывало,
Над ясным морем я сижу
И там души своей зерцало
На мир лазурный навожу.

Над ним Балкан вдали синеет,
Корабль стопушечный белеет,
Скользя, как лебедь, между скал.
Уж близок он — и вдруг пропал
В дыму, над синими волнами,
Как будто скрытый облаками;
Их яркий пламень разорвал —
И громы с корабля глухие
К отбитым рвутся берегам:
То шлет далекая Россия
Родной привет своим сынам! [1]

Но мне пора! ветрило ставьте!
Пловцы, за весла! в море правьте!
Попутный дышит ветерок:
Лети, мой греческий челнок!
И как дельфин челнок трепещет;
Белеет пена под веслом;
Вокруг лазурь морская блещет
Безмерным выпуклым стеклом.
Но тмится небо; ветры свищут;
Как мрамор, зыбь вдали пестра;
Кружится ялик; волны рыщут, —
Друзья, нам к берегу пора!
Пусть вражьи пушки и пищали
С приморских гор на нас глядят —
Тот берег наш — и вот пристали:
Пред нами покоренный град!
Там одр, с подушкою атласной,
Меня под белый полог ждет;
С улыбкой дева сладострастной
Вино отчизны подает.
И в душу взоры черноокой
Свой влажный пламень льют глубоко; [2]
Но в путь уж страннику пора!
Давно мой конь, Араб мой пленный,
Грызет узду и, распаленный,
По камням пляшет у двора!

«Казак, ты сел ли? С богом, с богом!»
И вот по дебрям, между скал,
Как вольный Фарис, поскакал [3]

Я на красавце быстроногом.
Он воздух пьет перед собой,
Дым из ноздрей летит кипящих,
Копыта искры льют струей,
Глаза — два уголя горящих!
Пусть надо мной леса шумят,
Потоков брызги вслед летят,
Чернеют рвы, мелькают горы —
В крови коня мой хлыст и шпоры!
Закрыл полнеба тучи дым;
Смят ураганом дуб косматый;
Летит перун — мой конь крылатый
Стрелою гонится за ним!
Чары́ вина, любви и мщенья,
Как вы, такое ж упоенье
И вихорь бранного огня,
И волн с перунами сраженье,
И в поле бурный бег коня![4]

Покрылся дол сафирной мглою;
Звездами вечный свод горит;
Безмолвный месяц серебрит
Хаос развалин предо мною.
Брожу по мертвым грудам их:
Как грустно там и как отрадно
Искать следы чудес былых,
Топтать героев пепел хладный!
Там рой столетий — в миг один,
Пространство — в точку переходит;
Из темных прошлого пучин
Глагол таинственный выходит.
Царств колоссальных там сыны,
С их гордой славой и паденьем —
Всё и *Ничто* — обнажены
Души суровым размышленьем!..

«Казак! мягка ли здесь трава?
Клади седло мне в голова́;
Накрой плащом!..» — и сон приветный,
Как с древа сладкий, зрелый плод,
На вежди странника падет...
И шепчет ветер лишь рассветный:

«Пора, пора! зари огонь
На темя гор из рая льется;
Высо́ко жаворонок вьется;
Цветы в росе...» И вновь мой конь
Заржал, как будто возрожденный;
И странник, полный новых сил,
Творца, с природой пробужденной,
За новый день благословил.

И вот уж за стеной Балкана,
Под сенью русских он Орлов;
И пьет душою блеск штыков;
И сердце с треском барабана
Сливает средь родных шатров.

А в стане храбрых — много, много
Сердец, засыпанных землей,
Уж не сберет на славный бой
Грозой ревущая тревога!
И что ж за смерть — кровавый меч
Иль огнекрылая картечь
Дремучий строй наш прояснила?
Нет, вы взгляните на живых:
Иная му́ка образ их
Страшнее смерти заклеймила!..

«Ты был ли под ее серпом? —
Так ропщет голос дико-странный. —
Твой мозг морозом иль огнем
Стал, Черной Жницей обаянный?..
Послушай! ночью, средь шатров,
Вчера, как тать, она блуждала
И, будто в поле ряд снопов,
Серпом перунным их считала...
Как море в час грозы ночной,
Одежда Жницы волновалась;
Покрова дымка над главой
Кровавым заревом вздымалась...
И вдруг — подумай! не во сне —
Змеею что-то в уши мне,
Скользнув по сердцу, просвистало...

Смотрю: *она* к устам моим
Устами жгучими припала
И жадно к персям ледяным
Меня с усмешкою прижала!..
И дрогнул дол, и в зев морской
Шатров бегущий ряд бросался;
Один лишь в землю надо мной
Могильным мрамором въедался!..»

И вдруг несчастный замолчал;
Лик пятна черные покрыли;
Сверкавший взор недвижен стал —
И в землю новый труп зарыли.

И что ни день — то всё жадней
Пасть ненасытной становилась,
А небо ясное над ней
Веселым солнцем золотилось!

И зной мертвящий угнетал
Всю тварь; и только стон могильный,
Казалось, в воздухе летал;
На ветке лист не трепетал;
Не пели птицы; ключ обильный
Студеной влаги не давал.

Куда ж бежать от Жницы Черной?
Пред станом город; верно, там
Заразы нет еще тлетворной:
Иду к отверстым воротáм!

Но для чего в тиши ужасной,
Как истуканов мертвый ряд,
Столпился там и стар, и млад?
Иду, зову — призыв напрасный!
И что ж? недвижны очи их;
Как мрамор, в черных пятнах лики, —
Погибли все! иль нет, меж них
Младенца слышите ль вы крики?
Сиротка-ангел, он цветком,
Лишь детской радости послушный,

У Черной Жницы под серпом,
На персях матери бездушной
Играет с пестрым мотыльком!..[5]

Но кто же ты, о дева-роза?
Ужель и твой младой шипок
Едва блеснул — и изнемог
В когтях у раннего мороза?
Ужель, сокровище любви,
Не бьется сердце в сей груди?..
Сих длинных локонов ужели
Мертва златистая струя?..
Творец небесный! не во сне ли
Сей милый образ вижу я!..
. . . .
. . . .

Что в том, как бедная любила,
Где странник перл Востока знал?..
Тиха утраченной могила:
Над ней морской лишь стонет вал!..

О вы, которые хотите
Утешить дух ее в раю,
Слезу сердечную свою
О друге девы уроните!..
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Окончен путь; мой крепкий сон[6]
Уж бранный шум не возмущает;
Штыки не блещут вкруг знамен;
Фитиль над пушкой не сверкает.
Редут не пышет, как волкан,
И огнь его ночной туман
Ядром свистящим не пронзает,
И ярким заревом гранат
Эвксина волны не горят.

И что ж, в глуши ли молчаливой
Теперь промчится жизнь моя,
Как разгруженная ладья,
Качаясь в море без прилива?
Нет, други, нет! я посох свой
Еще пенатам не вручаю;
Сижу на бреге — и душой
Попутный ветер призываю!..

Июль 1829

Примечания

1

ПЕРВАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Отплытие

Общими примечаниями к этой и к другим *Фракийским элегиям* могут служить изданные за два года перед сим *Письма из Болгарии*, археологическое путешествие автора по древней Мизии, во время кампании 1829-го года.

2

ВТОРАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Томис

[1] *О степь, богатая Назоновой могилой!*

«Странно, почему место Овидиева изгнания было до сих пор предметом стольких ипотез, и почему некоторые антикварии искали могилы римского поэта близь берегов Днестра (древнего Тираса). Известно, что это неизъяснимое предположение осуществлено даже названием небольшого городка, построенного на берегу Аккерманского залива и еще до сих пор существующего под именем *Овидиополя.* Стравон обозначает довольно явственно географическое положение древнего *Томиса*... «Вправе от морского берега, по направлению от священного устья *Истера* (Дуная), — говорит он, — находится, в расстоянии 500 стадий, маленький городок *Иструс* (вероятно, нынешний Гирсов). 250 стадий далее — существует *Томис* (Τόμις), другой небольшой городок» и проч. (Strab., lib. VII, cap. VI). Аполлодор, Мела и наконец сам Овидий не оставляют, кажется, никакого сомнения по сему предмету. (См. сего последнего: *Ex Ponto*, IV, El. 14, v. 59. — *Trist.*, III, El. 9, v. 33.) По мнению Лапорт-дю-Тайля и Корая, французских переводчиков Стравона, вычисление расстояний, сделанное размером олимпийских стадий, по нашим новейшим картам, начиная от устья Дуная, называемого Эдриллисом, заставляет

думать о тожестве древнего *Томиса* с нынешним *Томисваром*; но что такое *Томисвар*? Известный ориенталист г. Гаммер, думая видеть развалины *Томиса* на месте нынешнего Бабадага, напрасно проискал во всей *Добруджийской Татарии* «означенного на многих картах» города *Томисвара* и кончил свои исследования откровенным признанием, что «in den ganzen Dobrudscha kein solches Ort existiert» (*Rumili und Bosna, geographische Beschreibung von Mustapha Ben Abdalla Hadschi-Chalfa*;[1] стр. 30, в примечании). От Бабадага г. Гаммер бросается за *Томисом* к нынешней *Мангалии:* «Der See, an welchem das alte *Tomi* lag, — говорит он, — könnte der von *Babadag*, wahrscheinlicher aber, der bei *Mangalia* gelegen sein». (Ibid., стр. 196.)[2] Тожество *Мангалии* с древнею Каллатиею уже давным-давно доказано. Полагая (по таблицам Бартелеми) греческий стадий в $94^1/_2$ французских тоаза и отношение сего последнего к нашей сажени, как 76,734 : 84,000, я нахожу, что расстояние священного устья Дуная от *Томиса*, полагаемое Страбоном в 750 стадий, заключает в себе около 129-ти наших верст. По карте генерала Гильемино, устье Дуная, называемое Эдриллисом, находится от нынешней *Кюстенджи* почти точь-в-точь на таком расстоянии. Сочинитель *Исторической географии* по древним картам Д'Анвилля называет сей последний городок *Константианою* и ставит оный не далее четырех французских лье от древнего *Томиса*. Основываясь как на этом, так и на всех означенных соображениях, я осмеливаюсь думать, что во всяком случае могила Овидия существовала не в одном моем воображении; но могла таиться (и даже весьма невдалеке от меня) в окрестностях *Кюстенджи*, представившейся глазам моим 24-го марта 1829 года, во время моего плавания в Варну» (*Письма из Болгарии*, стр. 13—15).

[2] *Как ты поспешно скрыл, Капитолийский прах,*
От глаз моих всемирную столицу!
И ты исчез за ним, мой дом, мой рай земной...

Овидий сам замечает, что дом его находился близь Капитолия или даже был соединен с ним:

Hanc (lunam) ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernens,
Quae nostro frustra juncta fuere Lari;
Numina vicinis habitantia sedibus, inquam,
Jamque oculis nunquam templa videnda meis,
Dique relinquendi, quos Urbs habet alta Quirini:
Este salutati tempus in omne mihi, etc.

Trist., Lib. I, Eleg. III.

«Смотря на нее (луну) и при свете ее различая Капитолий, который вотще соединен был с моими домашними ларами, «боги, —

---

[1] Во всей Добрудже не существует такого места («Румилия и Босния, географическое описание Мустафы бен Абдалла Хаджи Халфа...») (нем.). — *Ред.*

[2] Море, у которого лежал древний Томис, может быть Бабадагским морем; однако вероятнее, что оно находится у Мангалии (там же, стр. 196) (нем.). — *Ред.*

сказал я, — обитающие в соседственных чертогах; храмы, коих глаза мои уже никогда не должны видеть; боги, мною покидаемые, которыми обладает высокий Град квиринов, — простите навеки!» и проч.

[3] *Изгнанье там поэта ожидало,*
Где воздух — снежный пар; туман — одежда дня,
Там, где земли конец или начало! ..

Ulterius nihil est, nisi non habitabile frigus.
Heu quam vicina est ultima terra mihi!

Trist., Lib. III, Eleg. IV.

«Далее нет ничего, кроме необитаемых льдов: как близка от меня последняя земля мира!»

[4] *Свирепый савромат выходит на разбой,*
Иль хищный гет убийство разливает!

Кому неизвестно, какими ужасными красками изобразил Овидий место своего изгнания, климат Скифии и варварство окружавших его народов: бессов, савроматов, гетов и проч., коих имена, как сам он выражается, не достойны его гения:

Quam non ingenio nomina digna meo!

[5] Овидий в X элегии III-ей книги своих Тристов много жалуется на скифские ветры:

Tantaque commoti vis est Aquilonis, ut altas
Aequet humo turres, tectaque rapta ferat.

«Сила Аквилона, когда он свирепствует, такова, что высокие башни сравнивает он с землею и уносит сорванные крыши».

Описание следствий мороза также весьма живо и подробно:

Pellibus, et sutis arcent mala frigora braccis:
Oraque de toto corpore sola patent.
Saepe sonant moti glacie pendente capilli,
Et nitet inducto candida barba gelu.

Trist., Lib. III, Eleg. X.

«Шубами и мехами сопротивляются они лютому холоду; изо всего тела наружу только одно лицо. Часто отягченные льдом волосы звенят при малейшем движении, и брада белеет от мороза».

[6] *Кентавры хищные неслись в то время к нам*
С огнем войны, с грозой опустошенья.

Sive igitur nimii Boreae vis saeva marinas,
Sive redundatas flumine cogit aquas;
Protinus aequato siccis Aquilonibus Istro,
Invehitur celeri barbarus hostis equo.

Hostis equo pollens, longeque volante sagitta:
Vicinam late depopulatur humum.

Trist., Lib. III, El. X.

«Скует ли сила Борея воды морские или разливы вод речных, тотчас по уравненному сухими (морозными) ветрами Истру налетают к нам на быстрых конях варвары — враги, мощные конями и стрелами, далеко реющими: окрестные страны пустеют».

[7] *Нет! с лиры брошенной Назонова струна*
На бранный лук тогда переходила...

Овидий, в своем Послании к Северу, жалуется на то, что изо всех римских изгнанников один он осужден на труды военные. «Читая стихи сии, — говорит он, — будь к ним снисходителен, ибо не должно забывать, что я пишу их во время приготовления к битве», и проч.

Deque tot expulsis sum miles in exule solus:
Tuta (nec invideo) caetera turba jacet.
Quoque magis nostros venia dignere libellos,
Haec in procinctu carmina facta leges.

Ex Ponto. Lib. I, Epist. IX.

[8] См. *Письма из Болгарии*, стр. 18—20.

8

ТРЕТИЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Берега Мизии

[1] *Уж семирукий Истр...*

По словам некоторых из древних писателей, *Истер* (Дунай) впадал семью устьями в Черное море; шестью, по мнению других, и только пятью, по свидетельству Иродота. Автор *Исторической географии* по древним картам Д'Анвилля замечает, что из этих семи устьев — пять занесены ныне песками.

[2] *...с покровом на главе,*
Стеная над своей коралловою урной...

«На одной из медалей Траяновых он (Дунай) представлен склоненным на урну и покрытым занавесою в знак того, что исток его неизвестен» *(Ноэль).*

[3] *Как стар сей шумный Истр! чела его морщины*
Седых веков скрывают рой:
Во мгле их Дария мелькает челн немой,
Мелькают и орлы Траяновой дружины...

Подробности Дариева похода против скифов и войны Траяновой с Децебалом, царем Дакийским, известны из Иродота и сокращений Диона Кассия.

[4] *Скажи, сафирный бог...*

«Скифы, фракияне и геты чтили Дунай наравне с Марсом, изображавшимся в виде меча, верховным божеством своим» (*Иродот*).

[5] *...над брегом ли твоим,*
По дебрям и горам, сквозь бор необозримый...

«Скордиски обратили страны сии (Мизию, Фракию и проч.) в пустыни, покрытые лесами, которые простираются на несколько дней путешествия» (*Стравон*).

[6] *Средь тучи варваров, на этот вечный Рим*
Летел Сатурн неотразимый?

«Земли, простирающиеся над Дунаем... суть с незапамятных времен большая дорога и поле битвы всех варваров, извергнутых степями Азии на Европу» (*Мальте-Брун*. См. также *Письма из Болгарии*, стр. 47—50).

Рим сделался, по изречению Св. Иеронима, могилою народов, коих он был родителем... «Свет поколений угаснул; с главою империи Римской пала глава целого мира». *

[7] *Так точно Промысла не ведая путей,*
Неслись полки Судьбы к ее предназначенью...

Зозим и Прокопий сохранили нам ответ Генсерика кормчему, спросившему его: на какой народ хочет он плыть войною? — «На тот, против которого бог!» — воскликнул предводитель вандалов. **

---

* Quis credat ut totius orbis extructa victoriis Roma corrueret, ut ipsa suis populis et mater fieret et sepulchrum... ...Postquam vero clarissimum terrarum omnium lumen extinctum est, imo romani imperii truncatum caput est, ut verius dicam, in una urbe totus orbis interiret... obmutui (*Hieron, in Ezech*). — Кто бы поверил, что рухнет Рим, возвеличенный победами над целым миром, что он сам станет для своих народов и матерью и гробницей... ...После того, как угас подлинно славнейший светильник в мире, после того, как обезглавлена была римская империя, и поистине в один город вторгся целый мир... заграждаю уста мои (Иероним) (лат.). — *Ред.*

** Cum e Carthaginis portu velis passis soluturus esset, interrogatus a nauclero, quo tandere populabundus vellet, respondisse: Quo Deus impulerit (*Zozim., De bello Vandilico,* Lib. I, p. 188).

Narrant cum e Carthaginis portu solvens a nauta interrogaretur quo bellum inferre vellet, respondisse: In eos quibus iratus est Deus (*Procop., Hist. Vand.,* Lib. I). — Когда он готов уже был отплыть с распущенными парусами от Карфагенских ворот и хозяин корабля спросил его, кого же он собирается разорить, он ответил: «Кого обрек на это бог» (Зосим, О войне с вандалами, кн. I, стр. 188).

Рассказывают, что, когда он отплывал от карфагенской гавани, моряк спросил его, на кого он хочет идти войной, он же ответил: «На того, на кого разгневался бог» (Прокопий, История вандалов, кн. I) (лат.). — *Ред.*

[8] *Остатки диких сих племен*
Преобразили мир и с ним преобразились!

Орозий сохранил в своей истории любопытное, переданное ему Св. Иеронимом в Вефлеэмской пещере признание Атаульфа, наследника Аларикова: «Я сначала горел желанием, — говорит сей последний, — сгладить с лица земли название Рима и заместить империю кесарей империей готфов. Убежденный потом опытом в невозможности подчинить моих соотчичей власти законов, я переменил намерение и, вместо разрушителя, решился сделаться восстановителем империи Римской». *

[9] *Любовь волшебная и кровных, и друзей*... и проч. См. Лукианова Токсариса.

[10] См. Юстина, кн. 9, гл. 2; Иродота, кн. IV; Стравона, кн. VII; Арриана, кн. IV.

[11] *Млеко овец, душистый мед*
Их жизнь бродячую питали.
См. Юстина, кн. 11, гл. 2.

---

* Nam ego quoque ipse virum quemdam Narbonensem, illustris sub Theodosio militiae, etiam religiosum prudentemque et gravem apud Bethleem oppidum Palestinae, beatissimo Hieronymo presbytero referente, audivi se familiarissimum Ataulpho apud Narbonam fuisse: ac de eo saepe sub testifecatione dedicisse quod ille, quam esset animo, viribus ingenioque nimius, referre solitus esset se in primis ardenter inhiasse, ut obliterato romanum nomine, romanum omne solum Gothorum imperium et faceret et vacaret: esset que, ut vulgariter loquar, Gothia quod Romania fuisset; ...At ubi multa experientia probavisset neque Gothos ullo modo pareri legibus posse propter effrenatam barbariem, neque reipublicae interdici leges oportere, elegisse se vatem, ut gloriam sibi et restituendo in integrum augendoque Romano nomine, Gothorum viribus queret, habereturque apud posteros Romanae restitutiones auctor, postquam esse non poterat immutator (*Oros.*, Lib. VII). — Я сам слышал от блаженнейшего пресвитера Иеронима, что некий муж из Нарбоны, который во время знаменитой войны при Феодосии проявил твердость, благоразумие и тщание под палестинской крепостью Вифлеемом, был в Нарбоне ближайшим человеком к Атаульфу, и часто рассказывал, приводя доказательства своим словам, что Атаульф, будучи велик духом, способностями и телесной крепостью, говорил, что он страстно жаждал быть единственным в первых, чтобы, уничтожив имя римлян, творить и разрушать все римское единой властью готов; говоря просто, чтобы Готию сделать Римом... Убедившись, однако, многократно на опыте, что готов нельзя подчинить законам из-за их варварской необузданности, а запрещать законы республики нецелесообразно, счел себя пророком и жаловался готским мужам, что, к славе своей восстановив и укрепив в прежнем виде римское имя, прослывет у потомков виновником восстановления римских обычаев из-за невозможности стать их разрушителем (Орозий, кн. VII) (лат.). — *Ред.*

«Иногда встречали мы толпы скифов, переходящих беспрестанно с одного места на другое: шатры и крытые колесницы служат им вместо домов; богатство их состоит в многочисленных стадах. Они приносили нам в дар молоко и агнцев, не требуя никакого возмездия» (*Стемпковский*).

[12] *И новым солнцем озарялись*
Передвижные города.

Campestres melius Scythae,
Quorum plaustra vagas rite trahunt domos,
Vivunt, et rigidi Getae,
Inmetata quibus jugera liberas
Fruges, et Cererem ferunt.

Horat., Lib. III, od. 24.

«Счастливее скифы, обитатели равнин, влачащие на колесницах свои бродячие дома! Счастливее суровые геты, собирающие дары Цереры в полях свободных и безграничных!»

[13] *Когда от мудрых грез еще не помрачился*
Народ, природы сын, огонь твоей души!..

Надутые суетными познаниями, почерпнутыми в школах Афинских, непрошеные моралисты и законодатели: Токсарисы, Аварисы, Анахарсисы внесли в отчизну множество мнений и обычаев чужеземных и таким образом поколебали первобытную простоту скифов (См. *Стравона*, кн. VII).

[14] *Не здесь ли некогда торжественно сиял,*
Звезда Венеции, твой отблеск величавый?..

«Видите ли вы этот полукруглый, вдавшийся в море утес? ...он называется Капо-Калакриею. На вершине оного находятся развалины старой крепости, с многочисленными памятниками Венециянского владычества.

Название Capo Calacria (мыс Калакрия) отзывается действительно Венециею: а потому, если верить, что место сие в самом деле принадлежало сей могущественной республике, то должно полагать, что она основала на оном свое владычество по разделении областей Восточной Империи между венециянами и французами в 1204-м году, после взятия Константинополя крестоносцами, бегства Алексия Дуки (прозванного Мурзуфлом) и возведения на престол Восточной Империи Балдуина, Графа Фландрского. Лёбо и другие историки говорят, что, вследствие сего раздела, венецияне взяли, между прочим, на свою часть все приморские места империи, от восточных берегов Адриатического моря до берегов Эвксинского Понта; но если Калакрия находилась в числе сих приобретений, то из сего ясно видно, что Лев Св. Марка проник с этой стороны еще глубже в недра Восточной Империи» (*Письма из Болгарии*, стр. 21 и след.).

[15] *Рим Океана величавый!*

Известно, с какою вежливостью уступил Байрон это дивное *Рим Океана* Леди Морган, коей посчастливилось приложить его прежде к Венеции. Замечая это обстоятельство, автор может только благодарить своих предшественников за обогащение его *Элегии* сим смелым, красноречивым, полным глубокой мысли выражением.

4

ЧЕТВЕРТАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Гебеджинские развалины

[1] Эти необыкновенные развалины находятся верстах в 15-ти от Варны, по направлению к Праводам.

[2] *Не мира ль древнего обломки предо мной?*
Не допотопные ль здесь призраки мелькают?

«Жизнь была часто возмущаема на земле приводящими в ужас событиями. Бесчисленное множество живых существ сделалось жертвою сих переворотов: одни, обитатели сухой земли, поглощены потопами; другие, жители вод, выдвинуты на сушу вместе с морским дном, внезапно возвысившимся; самые племена их навсегда исчезли и оставили в мире только некоторые дребезги, едва распознаваемые естествоиспытателем» *(Кювье)*.

[3] *Столбов, поникнувших седыми головами,*
Столбов, у Тленности угрюмой на часах
Стоящих пасмурно над падшими столбами, —
Повсюду сумрачный дедал в моих очах!

«Обширная площадь развертывается перед вами при выезде из глубины окружающего ее со всех сторон леса. На этой площади, пересекаемой в нескольких местах высоким кустарником, громады сих исполинских колонн тянутся, или лучше сказать, рассыпаны по пространству более трех верст. Я говорю рассыпаны, ибо в расположении оных не заметно ни порядка, ни обыкновенной архитектурной последовательности. Целые тысячи сих чудесных колонн поражают вас самыми странными формами. В иных местах — они возвышаются совершенно правильными цилиндрами; в других — представляют вид башни, обрушенной пирамиды, усеченного конуса; иные делаются книзу толще и кажутся опоясанными широкими карнизами. Есть возвышения, на коих несколько подобных столбов так густо составлено, что заставляют невольным образом думать об остатке древнего портика... Совершенное отсутствие капителей, правильных карнизов и разных других украшений зодчества уничтожает, по крайней мере для меня, всякую возможность рассуждать об архитектурном ордене, по коему бы можно было загадывать о начале сих исполин-

ских развалин... говоря об их искусственном происхождении, я между тем должен признаться, что все сие далеко недостаточно для объяснения *человеческой* цели сих несметных колонн, столько же симметрических, сколько необыкновенных, почти везде однообразных, но рассеянных по пространству, превосходящему всякий размер зданий человеческих. Неужели сии великолепные громады суть не что иное, как массы простых *базальтических* обломков? Неужели эта разительная правильность форм и пропорций есть одна только прихоть природы, обманывающей человека столь совершенным подражанием искусству, в стране, населенной памятниками древности и роями славных исторических воспоминаний? В сем последнем случае, ученые истолкователи природы прилагают, конечно, к подобным феноменам свою любопытную ипотезу о существовании *немых свидетелей* сих неизвестных, огромных переворотов, пред коими исчезают все изменения нашего шара, произведенные людьми, ураганами, вулканическими извержениями, морскими разливами и тому подобными судорогами органического мира и проч. и проч.» (*Письма из Болгарии*, стр. 105 и след.; см. также стр. 193 и след.).

[4] *...не древнее ли преданья*
Миров отживших дивный след?..

«Я полагаю вместе с гг. Делюком и Доломье, что самая неопровержимая в геологии истина есть этот огромный, внезапный переворот, коего поверхность нашего шара сделалась жертвою тому назад не более как за пять или за шесть тысяч лет; что этот переворот... осушил дно последнего моря и образовал страны, населенные ныне.

Но эти страны... были уже обитаемы прежде, если не людьми, то по крайней мере земными животными» (*Кювье*).

[5] *...тех столбов,*
На коих чудеса веков,
Искусств и знаний первобытных
Рукою Сифовых начертаны сынов?..

Синкеллий говорит, что бытописатель Манефон хвалился сведениями, почерпнутыми им не в архивах Египетских, а в священных книгах Агафодемона, сына второго Гермеса и отца Татова, который списал их с колонн, воздвигнутых до потопа Тотом, или первым Гермесом, в земле *Сириадийской* (?). — Иосиф, ссылающийся столь часто на египетского летописца, занял, может быть, у него, в 1-й книге своих *Иудейских древностей*, предание о двух колоннах, одной кирпичной, другой каменной, на коих *сыны Сифовы* начертали знания человеческие, для предохранения их от потопа, предсказанного Адамом. Обе эти колонны существовали долго после Ноева времени. Т. Мур замечает, что на них были найдены только астрономические таинства, и, предпочитая в сем случае *таблицы Хамовы*, приводит слова Яблонского, который, следуя Кассиану, говорит: «Quantum enim antiquae traditiones ferunt Cham filius Noae qui superstitionibus ac profanis fuerit artibus institutus, sciens nullum se posse superbis

memorialem librum in arcam inferre, in quam erat ingressurus, sacrilegas artes ac profana commenta durissimis, inculpsit lapidibus». *

[6] *В те времена, как наших башен*
Главою отрок достигал... и проч.

Мифы о титанах, допотопных обитателях мира, пользовались некогда столь могучей народностью, что не только Св. Августин, но даже отец Кирхер, ученый 17-го столетия, не могли ускользнуть от мысли о гигантах, рожденных *сынами богов* от дочерей человеческих.

«В священных диптиках считается три последовательных времени титанов...

...Я родился не от дуба... я родился не от утеса; плоть моя была медь раскаленная; весь остров Крит мог я обходить кругом в один день по три раза» *(Балланш)*.

[7] *Быть может, некогда и в этом запустенье*
Гигантской роскоши лилось обвороженье... и проч.

Вся эта идеализация допотопного мира основана на некоторых обозначениях Крития, Эвсевия, Лукиана и Плутарха, точно так же, как перенесение столбов Тотовых в древнюю Мизию — на предании о каких-то колоннах, воздвигнутых Сезострисом во Фракии. Нужно ли, впрочем, упоминать, что изображение предшествовавшего Ною времени едва ли, во всяком случае, может быть точнее истории и географии *Орланда* или *Гулливерова странствия*!

[8] *Ты прав, божественный певец...* и проч.

«There is the moral of all human tales;
'Tis but the same rehearsal of the past:
First freedom, and then glory, — when that fails,
Wealth, vice, corruption, — barbarism at last».

L. Byron. Childe Harold's
Pilgrimage, 4, CVIII. **

---

* «Ибо насколько известно по преданиям древних, Хам, сын Ноя, который был обучен лишь суевериям и обыденным знаниям, понимая, что никакую книгу он не сможет взять с собой в ковчег, на который должен был взойти, священные знания и невежественные выдумки высек в твердейшем камне» (лат.). — *Ред.*

** Такова мораль всех человеческих преданий; она — в бесконечном повторении прошедшего: вначале свобода, затем слава; когда они исчезают — богатство, пороки, разложение — и, наконец, варварство. Байрон, Паломничество Чайльд-Гарольда (англ.). — *Ред.*

5

ПЯТАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Гебеджинские фонтаны

[1] См. *Письма из Болгарии*, стран. 116—121.

[2] *С тобой на крыльях дум, о Делия младая,*
Уж не в дубравы ль этих скал
Мудрец Тибулл перелетал?..

Кому из русских читателей неизвестна 1-я Тибуллова элегия, столь прекрасно переведенная Дмитриевым, где внимание сердца останавливается, между прочим, на следующих стихах:

Я о родительском богатстве не тужу;
Беспечно дней моих остаток провожу;
Работаю, смеюсь, иль с музами играю,
Или под тению древесной отдыхаю,
Которая меня прохладою дарит.
Сквозь солнце иногда дождь мелкий чуть шумит:
Я, слушая его, помалу погружаюсь
В забвение и сном приятным наслаждаюсь;
Иль в мрачну, бурну ночь, в объятиях драгой,
Не слышу и грозы, шумящей надо мной, —
Вот сердца моего желанья и утехи!

[3] *Весны мелодию на чувства мне навей...*

«Мелодия, если взять это слово во всем доступном ему объеме, может проистекать (столько же от сочетания звуков, сколько) от последовательности красок или от последовательности благоуханий. Мелодия может проистекать от всякой благоустроенной последовательности известных ощущений, от всякого приличного ряда действий, коих сущность состоит из возбуждения того, что мы исключительно зовем чувством» *(Сенанкур).*

[4] *Не так ли некогда Кротонский жил Протей?*

Пифагор. — «Движения тел небесных производят сладкую, божественную гармонию. Музы, сиренам подобные, поставили на звездах свои престолы. Они-то учреждают мерное течение горних сфер и присутствуют при той вечной, восхитительной музыке, которая слышна только в безмолвии страстей и наполняла, как уверяют, душу Пифагорову чистою радостью» *(Путешествие младшего Анахарсиса).*

ШЕСТАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Эски-Арнаутлар

[1] *В устах с пеаном боевым...*

У древних греков всякий гимн назывался, в собственном смысле, *пеаном*. В Ксенофоновом *Отступлении десяти тысяч* пеан встречается, однако ж, как боевая песнь исключительно.

[2] *Родимых доблестей певец*
Блюдет вас жадными очами!

Некоторые подробности сражения 5-го мая при Эски-Арнаутларе, коим открылась кампания 1829-го года, изложены автором в его *Письмах из Болгарии* (стр. 180—192). Очутясь вовсе неожиданно на поле сей достопамятной битвы, он умственно очеркнул посреди самого ее разгара абрис предлагаемой *элегии*. Впоследствии старался он расцветить ее колоритом только тех впечатлений, кои душа его почерпнула в самом действии кровавой, разыгранной перед ним драмы. По этой-то, может быть, причине ему приятно думать, что звуки *певца родимых доблестей* проникнуты если не душою таланта, то по крайней мере той неподдельной истиной, которую все усилия искусства едва ли вполне выразят кабинетным бряцанием лиры.

[3] *Наш храбрый полк, несметный враг*
Твою твердыню бил стальную —
И, не попятясь ни на шаг,
Ты весь погиб за честь родную!

Охотский пехотный полк.

7

СЕДЬМАЯ ФРАКИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Возвращение

[1] Этою картиною автор очень часто любовался в Сизополе, куда он отплыл из Варны 12-го мая 1829 года, почти за два месяца до перехода через Балкан русской армии.

[2] «*Анхиало, 18-го июля 1829.* Ура, ура! наконец Орлы русские за Балканом. Это бессмертное событие избавило, между прочим, и меня от чумного Сизополя. Как отрадно было смотреть из палатки на отплытие нашей эскадры к противоположному берегу и вскоре потом — на покрытую пушечным дымом Месемврию! Каждый залп артиллерии отзывался в сердце, как труба ангела, воскресителя мертвых. Через несколько дней, по занятии берегов залива Бургасского, нанял я быстролетный греческий *каик* и отплыл на нем из *неблагополучного города Сизополя*, как было сказано в свидетельстве, вы-

данном мне от генерала П. Генерал С. навязал на меня своего переводчика, анхиалота, скрывавшегося почему-то около 8-ми лет в чужбине от турецкого ятагана. К этому изгнаннику присоединилось еще с полдесятка его сограждан. Для всех нас на каике почти не было места; некоторые из наших спутников могли быть поражены чумою; но нетерпение облобызать родимую землю говорило за них моему сердцу громче всех других соображений. Эта филантропия чуть-чуть не обошлась мне, впрочем, довольно дорого, ибо отягченный людьми каик выставлялся из воды едва ли на одну только четверть, а поднявшийся в то же время противный северный ветер кружил, приподнимал и забрасывал его волнами. Только к вечеру усмирилось море. Очень поздно вышел я в Анхиало на берег, и потому был принужден провести весь остаток ночи в беседе с русскими часовыми, не хотевшими впустить меня в город без медицинского разрешения. Это разрешение последовало лишь на рассвете. Забавно было видеть, как вместо карантинного очищения мои нетерпеливые спутники погружались, совсем одетые, в море и как беззаботно направляли потом стопы свои в город. Был какой-то праздник. Народ толпился по тесным, кривым, но пестрым, но разнообразным улицам. Обогатясь, с изгнанием турок, европейской терпимостью, не одна пара любопытных черных очей осыпáла нас из высоких окон своими *электро-магнетическими* искрами. Переводчик Георгий вглядывался в лицо каждому встречному и почти на каждом шагу бросался с восторженным: *«калимера!»* в объятия ближнего или приятеля. Из русских я, вероятно, первый вошел тогда же в здешнюю соборную церковь и, вследствие того, сделался предметом всеобщего шепота. В сравнении с палаткой, где довелось мне прожить слишком два месяца в Сизополе, здесь занял я квартиру истинно господскую. Лестница вверх; обширные полуовальные сени с окнами à jour на живописную панораму города. Вокруг этих сеней комнаты, из коих одна была мне уступлена. Веселый вид, блеск новизны и опрятности дома, приветливость хозяев и — пуще всего — огонь пронзительных, истинно восточных глаз молодой девушки, сестры их — как будто перешли в мое сердце. Эта последняя встретила меня с фиалом туземного красного вина, которое показалось мне, может быть, только потому нектаром, что было озарено лучом, падавшим из очей Гебы прямо во глубину гостеприимной чаши. В своей комнате нашел я кровать с белым пологом, с обтянутыми красным атласом подушками. На этот эпикурейский одр бросился я так жадно, как будто хотел вознаградить себя Эпименидовым сном за все тревоги, возмущавшие мой покой в Сизопольском лагере. Заходящее солнце наводняло уже золотым огнем всю мою комнату, когда, освободясь наконец из-под крыл Морфеевых, я машинально подошел к окошку. Луч заката играл в густоте двух черневшихся у ворот кипарисов, а над ними сияли две звезды очей моей Гебы, любопытно устремленные из противоположного окна прямо на мою светлицу... Уже совсем смеркалось, когда я вышел подышать вечерней прохладою... Анхиало небольшой, но пленительный, но гораздо больше восточный городок, нежели Сизополь. В особенности поразил меня турецкий квартал оного. Это узкая улица, накрытая деревянной решеткою, по протяжению коей вьются гибкие лозы, образуя мозаиковый потолок из виноградных кистей и листьев. На конце этой улицы слева — краснеется дом правившего здесь паши;

справа — белеется минарет, примыкающий по одну сторону — к небольшой, осененной густыми деревьями площадке, с журчащим на середине оной фонтаном; по другую — к Турецкому кладбищу, сумрачной кипарисовой роще, убеленной надгробиями, с крючковатыми восточными надписями, с венчающими их мраморными чалмами. Дымка ночи облекала эту картину; полный месяц наводил на нее свое таинственное сияние; дух запустения блуждал вокруг покинутой мечети; ропот фонтана сливался с печальным воркованием горлиц, которое по временам вырывалось из-под тени могильных кипарисов. Далее слышался торжественный голос моря, распростертого за кладбищем необъятной сафирной равниною в оправе своего отлогого берега... и проч.» *(Отрывок из путевого Дневника, во время кампании 1829-го года).*

[3] *Как вольный Фарис, поскакал...*
Фарисом называют бедуины удалого наездника. — См. известное под сим названием стихотворение А. Мицкевича.

[4] См. *Письма из Болгарии*, стр. 160—162.

[5] Некоторые черты чумной заразы, опустошавшей в 1829-м году Болгарию и Румилию, переданы здесь точно в таком виде, в каком они представлялись глазам автора. «Здесь царство смерти, — говорит он в письме своем от 9-го июля из Сизополя... — Спереди — война, сзади — зараза; справа и слева — огражденное карантинами море. Все сношения с Россией прекращены совершенно. Мы все, и живые, и мертвые, стоим лагерем пред очумленным равномерно Сизополем. Дни наши — суть беспрерывные похороны; наши ночи — ежечасные тревоги, возбуждаемые Абдераманом-пашой, коего силы, состоящие, по уверению пленных, из 18 000 воинов, расположены в 6-ти верстах отсюда. Словом — мы уже думаем совсем не о том, как бы жить и щеголять знаменитыми открытиями; но о том, как бы умереть веселей и покойнее, и проч.»

[6] Из числа жертв этой гибельной заразы, да позволено будет автору принести здесь дань сердечных слез своих священной для него памяти генерала *Свободского*, известного своей *Системой математических выкладок на счетах* и столь замечательно(го) во многих других отношениях. Оригинал по приемам, мудрец по мыслям, ребенок по простодушию, он соединял в себе воображение артиста с отвлеченностью метафизика, с точностью и глубиной математика, и под корою насмешливого бесстрастия таил неистощимое в любви к ближнему сердце. Одинокому, брошенному судьбой на среду чуждого ему поприща, застигнутому вдали от родины смертоносной заразою, он уделил автору два-три аршина своей собственной палатки и не переставал быть ему истинным другом во все продолжение сего тяжелого времени.

431. ЖЕЛАНИЯ

> Si j'étais la feuille que roule
> L'aile tournoyante du vent...
>
> *V. Hugo*[1]

> Мои желания — покой,
> Да щей горшок, да сам большой.
>
> *Пушкин*

1

Рано узнал я желания;
В сердце сначала моем
Речки то было плескание,
Моря волненье потом.
Сладки при ветре стенающем
Были с младенческих дней
Мне пред камином пылающим
Сказки про храбрых и фей.

2

В отрока мысль благодатную
Гений какой-то вдыхал —
Думу, не многим понятную;
С ней я повсюду блуждал.
Часто ручей гармонический
В лес меня дальний манил;
С душой соловей мелодический
Тайную речь заводил.

3

Осенью ль за море ласточки
Реяли вдаль до весны —
Думы на крыльях касаточки
В теплые слал я страны.
Пред орлом, на утесе пирующим,
Пропастей гласу внимал;

---

[1] Если бы я был листком, которым играют крылья вихря.., *В. Гюго* (франц.). — *Ред.*

Над морем, с громами воюющим,
Молниям мысли вверял.

4

Вдруг свои радости скромные
Сердце устало любить;
Грезы какие-то темные
Начали душу мутить.
Слава приснилась мне бранная:
Грудью на вражий перун
Радостно в поле желанное
Мой полетел бы скакун!

5

Сердца меж тем развернувшийся
В праздности цвет увядал;
К персям Лаис прикоснувшийся,
Чувств кипяток остывал.
Бросил я саблю булатную,
Душу изведал людей:
Искру в ней тмил благодатную
Пестрый какой-то пигмей.

6

Сердце воспрянуло праздное:
Посох я странника взял;
В знойных пустынях алмазное
Солнце мой дух обожал.
Жизнь полюбилась мне бурная:
Горы в чужой стороне,
Моря равнина лазурная
Стали отчизною мне.

7

Скрылось меж тем обаяние:
Снова мне снится покой;
Персти могильной стяжание
Золото славы земной!

Кто же над жизнью остылою
Радости солнце зажжет?
Чью душу сестрой своей милою
Громко моя назовет?

8

Рощи ль Прованса душистые,
Скалы ль Таврических волн,
Вы ль, минареты сребристые,
Мой остановите челн?..
Хижина, миром хранимая,
Сад над лазурью морской —
Стали, как дева любимая,
Сердца любимой мечтой!

⟨Апрель 1829⟩

432. СТРАННИКИ

Я гражданин Вселенной.
Сократ

Я везде чужестранец.
Аристипп

Первый

Блажен, блажен, кто жизни миг крылатый
Своим богам — пенатам посвятил;
Блажен, блажен, кто дым родимой хаты
Дороже роз чужбины оценил!
Родной весны цветы златые,
Родной зимы снега седые;
Рассказы няни, игры дев;
Косца знакомого напев;
Знакомых пчел в саду жужжанье;
Домашних псов далекий лай;
Родных потоков лепетанье —
О край отцов, волшебный край!
Сердечные очарованья,
Забуду ль вас!

Второй

Блажен, блажен, кто моря зрел волненье;
Кто божий мир отчизною назвал;
Свой отдал путь на волю провиденья
И воздухом Вселенной подышал!
Бродячей жизни бред счастливый,
Ты, как поэта сон игривый,
Разнообразием богат!
Сегодня — кров убогой хаты,
Деревня, пашни полосаты;
А завтра — пышных зданий ряд!
Искусств волшебные созданья,
Священный гения завет;
Чудес минувших яркий след;
Народов песни и преданья!
. . . .

Первый

Настала осень. Над холмами
Туманы влажные висят;
За море лебеди летят;
Овин наполнился снопами.
Румяным блеском бор покрыт;
Ловитвы рог в горах звучит;
С ружьем, с соседом в поле чистом
Гарцует мирный домосед, —
Уж ночь над долом серебристым:
«Пора домой! ко мне, сосед!»
Вошли. Лилета суетится;
Камин отрадный запылал;
Как жертва, ужин их дымится;
Хрустальный пенится бокал.

Второй

Сосед, ружье, камин, Лилета,
И вновь ружье, камин, сосед —
Однообразна песня эта!
Бесцветен твой сердечный бред!
Среди ль полей своих широких
Встречал ты длинный ряд веков,

Бродящих меж седых столбов,
По залам замков одиноких?
С соседом ли ты зрел своим
Природы блеск, морей равнины?
Как счастлив странник! перед ним
Что шаг — то новые картины:
Там — изумрудный ряд холмов;
Там — разноцветных гор вершины
В одежде новых облаков;
Там — солнца нового сиянье,
Луна над бором вековым,
Иль неба с морем голубым
В дали румяной сочетанье.

Первый

Зима. Клоками снег валит;
Свод неба бледный и туманный,
Как саван, над землей висит.
«О! где же ты, приют желанный? —
Печальный странник говорит. —
Устал я! ночь на землю льется,
Бунтует ветр в глуши лесной;
Вокруг мятель седая вьется —
Нет крова! нет страны родной!»
Но вот избушка в темном поле;
В ней брезжит яркий огонек;
Рад странник! рад — чего же боле?
Есть теплый на ночь уголок!
Вошел. Там мирною толпою
Вокруг трескучего огня,
Делясь беспечностью златою,
Сидит счастливая семья.
Младой пришлец ночлега просит;
Но вот сухой, холодный взгляд
Ответ понятный произносит —
И странник новый в сердце яд
Далёко от людей уносит.
Ах, то ль на родине святой!
Там зеркалом души родной
Ему людей казались взоры —
Иль это бред?

Второй

Обман пустой!
Не сердце ль наше, милый мой,
Есть истинный сосуд Пандоры?
Конечно, много чудаков!
Конечно, многих пустяков
Нам стоят злые их проказы —
Кровавых слез, жестоких снов, —
Но как же избежать заразы?
Она шипящею змеей
Весь мир подлунный обвивает,
И меньше всех лишь тот страдает,
Кто рад, как я, товарищ мой,
По свету пестрому скитаться,
Затем чтоб сердце приучить
Во всей вселенной дома быть,
С людьми приятельски встречаться,
С одними — скромно поболтать,
С другими — смело помолчать,
Над Арлекином посмеяться,
С людьми честными — позевать!

Первый

Согласен. Но одной отрадой,
Одной небесною лампадой
Творец наш жребий озарил.
Мой друг, быть может, с ней одною,
С сей тихой, ясною звездою
Нам свет родного неба мил!
С тобой, любовь, алтарь сердечный,
Двух душ священный фимиам;
Союз божественный...

Второй

Конечно!

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

П е р в ы й

Вотще сей горькой клеветой,
Личиной грусти ледяной
Язвит любовь твой смех притворный, —
Она росою благотворной
Твой зной сердечный прохладит,
Смягчит твой дух окаменелый,
С надеждой сердце примирит;
О луч души осиротелой!
Поток в пустыне бытия,
Любовь, сестра священной Веры,
Лилея ангелов...

В т о р ы й

Химеры!
Где ж эта чистая струя?
Где эту райскую лилею,
В какой степи, в какой глуши
Я всем огнем моей души
У сердца бедного согрею?
Мечты! наш лоб любви престол;
Задигов нос ее символ;
Приманка — ножницы Далилы...
Но я волшебницу нашел;
Моей Армиды образ милый
Со мной везде, во всех краях:
Катится ль солнце в небесах,
Летит ли птичка надо мною —
Я говорю: мы вновь с тобою
В иных увидимся странах!..

1829

433. ЧУДНЫЙ ДОМ

> There are more things in heaven and earth, Horatio,
> Than are dreamt of in your philosophy.
>
> *Shakespeare*

> В небесах и на земле, Горацио, есть тысячи вещей, коих существование никогда и не грезилось вашим философам.

1

Есть царство златых, бриллиантовых дум;
По их океану блуждая,
Как сладко пирует воспрянувший ум,
Вещественный мир покидая!
К духам бестелесным, могучий Алкид,
За грань он подлунной далёко летит;
Но тише... вся тварь умолкает...
Уж сумрак глубокий обнялся с землей;
Вы слышите ль: полночь на башне седой,
Как дальний орган, завывает!..

Вот час, когда сердце раздумье грызет;
Минувшего призрак унылый
Ряды незабвенных знакомцев ведет,
Далеких и взятых могилой.
В заре улетевших, утраченных дней
Улыбки, и слезы, и звуки речей
Умолкших давно воскресают.
В сем мире, как в зале пустом, один я
Брожу и взываю: «Где ж пир и друзья?»
— «Где, где?» — лишь мечты повторяют!

Но нет, — то не эхо взволнованных дум,
Не голос души говорящей:
Я слышу тяжелый, медлительный шум;
Я вижу, при лампе горящей,
Туманным покровом одеянный лик.
Как ветр воплощенный, мелькнул он — и вмиг
К одру моему приклонился.

О брат! не в твоей ли груди предо мной,
Как перун огневой, ятаган роковой
Средь кровавого дыма сокрылся?

Что ж, бесценный мой гость, невозвратных ли дней
Ты вспомнил беседы златые,
Когда у бивачных будили огней
Друг в друге мечты мы родные?
И, жизни листая таинственный том,
Весь пошлый роман сей и в том, и в другом
Довольно пустым находили;
Свергали земного мучительный груз
И в царстве ума, средь божественных муз,
Тень чистого счастья следили?

Скажи ж, воплотился ль земной идеал?
Прекрасное вправду ль нетленно?
Кручины подлунной иссяк ли фиал
Пред солнцем любви неизменной?
И грустно пришлец покачал головой,
И как дым отлетел, и меня за собой
Повлачил непонятною силой.
Ряд покоев пройден, в мертвом всё было сне,
Только я и мой вождь в их немой глубине
Шум пробуждали унылый.

И в последней стене пред бесплотных вождем
Неприметная дверь отворилась,
И лестница, древним поросшая мхом,
Повитая плю́щем, явилась.
Мы с нее — и гранит вековой зазвучал;
Бледный луч, трепеща, по ступеням мелькал
От главы предлетящей мне тени.
И казалось, века необъятной чредой,
Молчаливо склонясь серебристой главой,
На каждой сидели ступени.

Сошли. Запустенье пред нами брело
По мрачно-глухим переходам;
Протяжное эхо, очнувшись, пошло,
Шепча, замирая по сводам.

Как прежде, луч бледный от тени бежал
И, мрак пробивая, очам открывал
Вдали чудеса подземелья.
Ничтожество с блеском, с блаженством земным,
Без гласа былое с грядущим немым
Сливались в таинственной келье.

Там гном безобразный прикован сидел
К богатствам подземного мира;
На черепе голом в крапиве горел
С алмазом рубин меж сапфира;
Близ лиры разбитой венец увядал,
Под ржавчиной бранной булат исчезал
И древних событий скрыжали;
На мраморе таинств умерших черты,
Раздранные свитков заветных листы
В пыли гробовой истлевали.

Вдруг взорам в мерцаньи внезапных лучей
Две бронзовых двери явились;
Два мраморных сфинкса у дивных дверей,
Как тайные стражи, теснились.
Гремя, отворились врата предо мной,
И зал необъятный, как храм вековой,
Нас принял под темные сени.
Там в странных одеждах, с поникшим челом,
Чудесные лица за длинным столом
Сидели безмолвно, как тени.

Пред ними орудия знаний людских
Огромную смесь представляли:
Там сферы стояли над грудами книг,
Близ циркулей свитки лежали.
И мнилось, там всё, чем, над мраком мирским
Возвысясь, роднится наш ум с неземным,
Во храме бессмертия жило.
Я к мудрой беседе шел робкой стопой;
Но черной повсюду над нею строкой —
«Ничтожество» — врезано было.

Недвижных скелетов безжизненный ряд
Над прахом ничтожным столпился

И, будто для славы, средь грозных палат,
Подобно живущим, трудился.
Вдруг бури нежданной свирепый налет
Потряс их огромный, их сумрачный свод;
Всё черной подернулось мглою.
Нарушился вечный порядок земли...
Но как передать вам виденья мои?
Над бездной стоял я глухою!..

2

О! кто обновит мой утраченный бред —
Сердечного моря разливы?
Мечты первобытной блаженный рассвет,
Страстей благородных порывы?
Как ярко всё в мире мне прежде цвело!
Где ж прежнего сердца святое тепло —
Души фимиам ароматный?
Доверенность к жизни, надежда, любовь,
Любовь всей природы — в груди моей вновь
Не вспыхнет ваш огнь благодатный!

На месте, где дивный собор мудрецов
Мне в зале волшебном явился, —
Хаоса немого тяжелый покров
Над черной пучиной клубился.
Толпы величавых, безмерных теней,
Как грозные тучи, мелькали над ней —
То боги ль подлунные были?
Мечтая ль о славе своей на земле,
Они ее призрак в сей пасмурной мгле
Средь общих развалин следили?

Но где ж мой вожатый? Меня он манил
За грани зияющей бездны;
В ней яростно бурный источник бродил,
О мост разбиваясь железный.
Я быстро промчался дорогой стальной —
И всё как в тумане исчезло за мной:
Мне виды открылись иные.
Согретые теплой душою весны,
Под чудным влияньем не нашей луны,
Сады красовались густые.

Там персик румяный с лимоном златым
Над влагой алмазной сплетался;
Зеркальный источник по перлам родным
Меж пестрых цветов извивался.
Зеленых дедалов душистую тень,
Казалось, хранила блаженная Лень;
Казалось, там Сон молчаливый,
Беспечно склонившись над ложем ручья,
Забыться под яркую трель соловья
Звал в сумрак развесистой ивы.

Магическим эхом под склоном древес
Эоловы арфы звучали,
И вдруг предо мною чертоги чудес
Сияньем златым заблистали.
Средь пышной ограды кипучий фонтан
Вокруг рассыпал серебристый туман,
Из бронзовой пасти сверкая.
И мраморных ликов недвижимый ряд
Терялся в дедале волшебных палат,
У светлого входа блистая.

Казалось — там творчества гений святой
Поставил свой трон благодатный
И всем, что душе открывает порой,
Украсил чертог непонятный.
Там радужным блеском роскошный кристалл
Узоры атласных ковров оживлял;
Там мрамор страдал и смеялся,
Боролся с любовью и таял от ней,
И мнилось, дух жизни в порыве страстей
На ликах картинных являлся.

Вдруг взорам далекий представился зал;
Оттуда, из двери кристальной,
Клубясь, амврозический пар побежал
С гармонией музыки дальней.
Туда полетел я — и десять смычков,
И десять клавиров, без всяких перстов,
Любимый романс мой запели.
И девы, как сны мимолетные, там
К далеким, казалось, лететь небесам
В движеньях воздушных хотели.

Взгляньте, как их дивный рой
Меж столбов резных мелькает;
Как от люстры золотой
Над эфирною толпой
Купол яшмовый сияет!
Взгляньте, как они вдали
В узах розовых томятся,
Развиваются, кружатся,
Чуть касаются земли!
Взгляньте, как живые звуки
Ловят ножки; как потом
Беломраморные руки
Гибким сходятся плетнем!

Из них одна, недвижная, немая,
Как между звезд красавица луна,
Стоит, высокому раздумью предана.
Пред нею лира золотая;
Но боже! взгляньте, как бледна
И как божественна волшебница младая!
К струнам магическим приникнула она —
И закипело вдохновенье;
И полилось в бряцаньи их
Тоски и радостей земных
Святое, райское забвенье.
Что пела дивная, что серафим поет —
Тимпан ли вам земной то в душу перельет!
Но я узнал ее! она своей тоскою,
Своей улыбкой роковою
Моей души беспечный мир
Мечтами странными от ранних лет смутила;
Ей в бро́не ледяной существенность явила
И звоном струн своих в какой-то чудный мир
Свою невольницу по пропастям влачила.
Доселе яркая звезда
Мелькала мне, чтоб вновь сокрыться, —
Теперь с прекрасной никогда
Моя душа не разлучится!
Так думал — и к милым ногам я упал, —
Бессмертного солнца сиянье,
Души своей душу я в ней обожал,
В ней видел всех благ сочетанье.

На грудь мою слезы святые текли;
Вдруг свечи погасли... и мрак издали
Стоглавою тучей помчался...
Я в страхе воспрянул; мой дух каменел:
Скелет безобразный мне в очи глядел
И к персям моим прижимался.

И где ж эта роскошь, искусств чудеса?
Где прелести дев неземные?
Вокруг меня дебри, глухие леса
И груды развалин седые.
По мраморам белым, по желтым костям
Лишь дух запустенья разгуливал там,
Лишь ветра блуждало стенанье.
Я смутные взоры на прах сей бросал
И череп красавицы — СВОЙ ИДЕАЛ —
Ногой оттолкнул до свиданья.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

С тех пор мне в искусствах, в красе молодой,
В сокровищах знаний и в славе земной
НИЧТОЖЕСТВА зрится стяжанье! ..

1881

434. ОПРАВДАНИЕ

Ah! Si...
Boufflers[1]

О! не вините струн моих
Изнеженное рокотанье:
Не эхо сердца ропщет в них,
Когда пафосских жриц лобзанья,
Звон чаш под тенью лип густых
В их беглом слышатся бряцаньи!
Что мне вам петь? С презреньем я
Гляжу на блеск подлунной славы;

[1] Ах! Если бы... *Буффлер* (франц.). — *Ред.*

Любовь? — но в цвете бытия
Душа проникнута моя
Ее змеиною отравой!..

Рассейте ж славы дым пустой;
Мне о любви не поминайте;
Зовите жриц пафосских рой;
Мой кубок розами венчайте!

Меж тем безумие страстей,
Быть может, и в душе моей
Высокой жизни б не убило,
Когда бы солнце лучших дней
Мою весну озолотило!..
Как знать? — быть может, край родной
И мне приветно б улыбался;
В боях моею бы душой
Дух грозных тысяч зажигался;
И на обломках вражьих стен,
С родных воспрянувший знамен,
Везде б Орел наш развевался.
И гений брани увенчал
Меня бы славою гигантской;
Иль, может быть, на мне б сиял
Отчизны дар, венец гражданский.
Иль дивный клад родных камен
Открыл бы я в глуши времен;
Поток безвестных песнопений
В странах бы дальних зажурчал,
И ярким солнцем русский гений
Над миром радостно б сиял.
О други! крылья соколины
Душа расправила б моя,
Когда бы ранние кручины
Из урны бешеной судьбины
Не проливались на меня!..
. . . .
Рассейте ж славы дым пустой;
Мне о любви не поминайте;
Зовите жриц пафосских рой;
Мой кубок розами венчайте!..

⟨1832⟩

435. ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

Conosceste i dubbiosi desiri?
Dante [1]

Когда вокруг тебя, средь ветреных пиров,
Веселья пошлого морозный блеск мерцает,
Вельможа и богач, и светских мотыльков
Ничтожный, пестрый рой докучливо мелькает, —
Ты помнишь ли, что там, как жребий над тобой,
Угрюм иль радостен, твой раб иль повелитель,
Змеей иль голубем, дух злой иль добрый твой,
Повсюду бодрствует, в толпе незримый зритель?..

Твой друг, когда по нем душа твоя болит,
Наполнит для тебя весь божий мир любовью,
Мечтами райскими твой сон обворожит,
Как дух мелодии приникнет к изголовью...
Далекой области могучий властелин,
В венце рубиновом и в огненной порфире,
Тебе предстанет он таинственно-один
В чертогах радужных, в лазоревом эфире.

В глухую ночь времен с тобой проникнет он,
Тебе в хаосе их покажет царств паденье
И то, чем человек столь жалко ослеплен, —
В пучине тленности, в когтях уничтоженья.
Он тайны чудные царю морских валов
Открыть в коралловых дворцах тебе прикажет;
Тебе в утробе гор, под стражею духов,
Миров исчезнувших сокровища покажет.

К садам надоблачным восхитит он тебя,
Туда, где от любви сердца не увядают;
Где гнезда ангелов над морем бытия
В шипках небесных роз, в рубинах звезд сияют...
Но, если светскою прельстившись суетой,
Ты не поймешь меня и для высокой страсти

---

[1] Знали ли вы затаенную страсть? *Данте* (итал.) — *Ред.*

Закроешь грудь свою... страшись! я недруг твой;
Тебя подавит гнет моей волшебной власти!..

Твой ум, твою красу, как злобный демон, я
Тогда оледеню своей усмешки ядом;
В толпе поклонников замрет душа твоя,
Насквозь пронзенная моим палящим взглядом.
Тебя в минуты сна мой хохот ужаснет,
Он искры красные вокруг тебя рассеет;
Рука свинцовая дыханье перервет,
Мертвящий сердцем хлад под нею овладеет.

С тобой я в дикий бор, как вихрь, перенесусь,
Вкруг сердца огненной опутаюсь змеею;
В него, в твои уста́ медлительно вопьюсь,
Грудь сладострастною воспламеню мечтою.
Но тщетно знойные желанья закипят...
Больной души моей жестокое томленье,
Отрава ревности, напрасной страсти ад
Наполнят грудь твою в минуту пробужденья!..

17 и 18 августа 1832

436. ОДИНОЧЕСТВО

Il faut que je vogue seul sur
l'océan du monde.

Ballanche[1]

В лесу осенний ветр и стонет, и дрожит;
По морю темному ревучий вал кочует;
Уныло крупный дождь в окно мое стучит;
Раздумье тяжкое мечты мои волнует.

Мне грустно! догорел камин трескучий мой;
Последний красный блеск над угольями вьется;
Мне грустно! тусклый день уж гаснет надо мной,
Уж с неба темного туманный вечер льется.

---

[1] Я должен плыть один по океану вселенной. *Балланш* (франц.).— *Ред.*

Как сладко он для двух супругов пролетит,
В кругу, где бабушка внучат своих ласкает,
У кресел дедовских красавица сидит
И былям старины, работая, внимает!

Мечта докучная! зачем перед тобой
Супругов долгие лобзанья пламенеют?
Что в том, как их сердца, под ризою ночной,
Средь ненасытных ласк в палящей неге млеют!

Меж тем как он кипит, мой одинокий ум!
Как сердце сирое, облившись кровью, рвется,
Когда душа моя, средь вихря горьких дум,
Над их мучительно завидной долей вьется!

Но если для меня безвестный уголок
Не создан, темными дубами осененный,
Подруга милая и яркий камелек,
В часы осенних бурь друзьями окруженный, —

О, жар святых молитв зажгись в душе моей!
Луч веры пламенной блесни в ее пустыне,
Пролейся в грудь мою целительный елей —
Пусть сны вчерашние не мучат сердца ныне!

Пусть, упоенная надеждой неземной,
С душой всемирною моя соединится;
Пускай сей мрачный дол исчезнет предо мной,
Осенний в окна ветр, бушуя, не стучится.

О, пусть превыше звезд мой вознесется дух,
Туда, где взор творца их сонмы зажигает!
В мирах надсолнечных пускай мой жадный слух
Орга́нам ангелов, восторженный, внимает...

Пусть я увижу их, в безмолвии святом
Пред троном Вечного коленопреклоненных;
Прочту симво́лы тайн, пылающих на нем
И юным первенцам творенья откровенных...

Пусть Соломоновой премудрости звезда
Блеснет душе моей в безоблачном эфире, —
Поправ земную грусть, быть может, я тогда
Не буду тосковать о друге в здешнем мире!..

1832

437. ДВА АНГЕЛА

...What glorious shape
Comes this way moving; seems another morn
Ris'n on mid-noon...

Milton. Paradise Lost. B. V.[1]

...Sorrow seems
Half of his immortality...

Lord Byron. Cain[2]

1

Есть ангел; чистой красотою
Как вешний блещет он цветок,
Небес под утренней слезою
Свой распускающий шипок.
Его глава, как солнце мая,
Окружена лучами рая.
В его божественных очах
Невинность разума сияет;
На мелодических устах,
Как луч на розовых листках,
Любовь бессмертная играет.
Крылами тихо веет он —
И сфер поющих миллион
В эфире радостно катится.
Ночная ль песня соловья
Иль ропот дальнего ручья,

[1] ...Что за величественная тень приближается;
будто второе утро встает в полдень...
Мильтон, Потерянный рай, кн. 5. — Ред.

[2] ... Скорбь, кажется, — половина его бессмертия... *Лорд Байрон, Каин. — Ред.*

Как нектар, в душу вам струится —
То с нею ангел говорит.
Уст ароматных ли магнит
Иль розы вас влечет дыханье —
То льется ангела призванье.
Атлас ли девственных ланит,
Зажженный поцелуем жарким,
Румянцем вспыхивает ярким —
То отблеск ангельских лучей
Со дна души наружу льется;
Сердечный голос — ангел сей;
Он блещет в магии очей,
Он над младенцем спящим вьется.
Посланник неба, мрак земной
Он солнцем правды озаряет,
Прощать обиды научает
И мир для юности живой
В поющий праздник превращает.
Он дружбы чистый льет бальзам,
Он облегчительным слезам
Страданья очи отверзает.
Он узнику в тюрьме глухой
Горит звездою избавленья
И грудь, пронзенную тоской,
Питает манной утешенья!..

Когда божественный слепец
Пел человека совершенство,
Любви невинность и блаженство
Двух первосозданных сердец, —
Не сей ли ангел солнце рая
Очам души его казал
И, мрак паденья разгоняя,
Пред ней эдем разоблачал?..

На лоне матери-природы
Он и мои младые годы
Когда-то розами венчал;
Игру младенца золотую
Благословеньем оживлял
И в сердце юноши святую
Миров гармонию вдыхал!..

2

Другой есть ангел; бурной ночи
Его подобна красота;
Змеиным жалом блещут очи,
Кровавым заревом уста.
Венец, из острых молний слитый,
Горит вкруг гордого чела,
И белоснежные ланиты
Дум необъятных кроет мгла.
С усмешкой он добро святое
У черной злобы зрит в когтях;
Могильный червь, ничтожный прах —
Пред ним величие земное.
Вы громкой жаждете ль молвы —
Он кажет цепь Наполеона;
Отчизне ль жизнь дарите вы —
Сверкает чашей Фокиона.
Любви ли вас влечет магнит —
Он о Жоконде говорит;
Вы Сминдирида ли судьбиной
Хотите век понежить свой [1] —
Над вашей он, из роз, периной
Вздымает череп гробовой!..
В его фиале мед с отравой —
Всемирной скорби океан;
Чары́ — в премудрости лукавой...
Струящий ненависть волкан —
Он против брата вам влагает
В десницу мстительный кинжал
И хладным пеплом осыпает
Любимый сердца идеал.
Предвечной бури бушеванье —
Его тлетворное дыханье.
Отпадших звезд крамольный царь,
То ядовитой он душою
В самом себе клянет всю тварь,
То рай утраченный порою,

---

[1] Сибарит, знаменитый своей негой и роскошью. Известна, между прочим, его мучительная бессонница от помятого листка роз, составлявших его перину.

Бессмертной мучимый тоскою,
Как лебедь на лазури вод,
Как арфа чудная, поет...
На все миры тогда струится
Его бездонная печаль;
Тогда чего-то сердцу жаль,
Невольных слез ручей катится.
Не гнева ль Вечного фиал
В то время жжет воображенье,
И двух враждующих начал
Душе не снится ль примиренье?..

Когда на крыльях черных дум,
Далёко от земного края,
Пространства бездны измеряя,
Парил Гиганта мрачный ум,
Миров померкших над гробами
Ступени вечности считал, —
Не сей ли ангел бурь лучами,
Своими с Каином речами
Тогда поэта напитал?..
. . . .
. . . .

С тех пор как ты мой ум туманный,
О грозный ангел, посетил —
Какой-то голос дико-странный
В моей душе заговорил...
С тех пор в груди замерзли слезы,
Гляжу на всё с усмешкой я
И попираю жизни розы
В саду земного бытия!..

(1833)

438. МОЯ СТАРУШКА

...Смотри, там в водах
Быстро несется цветок розмаринный;
Воды умчались — цветочка уж нет!
Время быстрее, чем ток сей
пустынный...

Батюшков

1

Придет пора — твой май отзеленеет;
Придет пора — я мир покину сей;
Ореховый твой локон побелеет,
Угаснет блеск агатовых очей.
Смежи мой взор, — но дней своих зимою
Моей любви ты лето вспоминай
И, добрый друг, стихи мои порою
Пред камельком трескучим напевай.

2

Когда, твои морщины вопрошая
О розах мне сиявшей красоты,
Захочет знать белянка молодая,
Чью так любовь оплакиваешь ты, —
Минувших дней блесни тогда весною,
Жар наших душ на лютне передай;
И, добрый друг, стихи мои порою
Пред камельком трескучим напевай.

3

«Как, — спросят, — жил покойный твой
любовник:
Лисицею, иль волком иногда;
У двери ль был торчавший он чиновник?»
Главу подъяв, ответствуй: «Никогда!»
Мой дерзкий смех над бешеной судьбою,
Мой тайный плач ты внукам передай;
И, добрый друг, стихи мои порою
Пред камельком трескучим напевай.

4

Поведай ты, как ураган жестокий
На всех морях крушил мою корму;
Как между тем под молниями рока
Лишь горю льстил твой путник одному.
О! расскажи, как сирой он душою
В твоей любви единый ведал рай;
И, добрый друг, стихи мои порою
Пред камельком трескучим напевай.

5

Когда, грустя, ты дряхлыми перстами
Коснешься струн поэта своего,
И каждый раз, как вешними цветами
Обвить портрет задумаешь его, —
Пари в тот мир ты набожной душою,
Где для любви настанет вечный май;
И, добрый друг, стихи мои порою
Пред камельком трескучим напевай.

⟨*1833*⟩

439. МЕНАДА

Ты вся мила, ты вся прекрасна!
Как пламенны твои уста!
Как безгранично сладострастна
Твоих объятий полнота!

Языков

Сад не блещет уж огнями,
Розами усеян зал;
Кубки брошены с венками,
Голос пира замолчал.
Мы одни. Как сладко дремлет
Голова теперь моя!
Беззаботность дух объемлет;
Только страсти сердце внемлет,
Дева неги, близь тебя!

Как прекрасна ты с обвитой
Виноградом головой,
С пикой тирса, в листьях скрытой,
И в небриде дорогой!
Такова ты, представляя
Хор планет в кругу менад
Или тигров собирая
И с усмешкой им бросая
Багрянистый виноград.

О! напень же снова чаши,
Или выпьем из одной, —
Стопит вместе души наши
Этот нектар золотой.
Но, мой друг, твои ланиты
Чувств пожаром уж горят;
Страстью жилки их налиты;
Пышет грудь, власы развиты,
Знойным солнцем блещет взгляд!

Что ж? от ласк моих ты больше
Юных персей не скрывай
И восторгов бурей дольше
Сердца жизнь усугубляй!
На устах как сахар тает
Твой душистый поцелуй;
С головы венок спадает;
Нежный голос замирает,
Будто ропот горных струй...

Глас сирены лицемерной,
Прочь от слуха моего!
Слава, прочь! я знаю верно,
Что не знаю ничего.
Океан тоски мертвящей —
Ум пытливый мудреца;
Нежный взор, бокал шипящий —
Вот луч рая, золотящий
Блеском радуги сердца!

⟨1836⟩

440. ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Dissipat Evius
Curas edaces. Quis puer ocius
Restinguet ardentis Falerni
Pocula praetereunte lympha!

Horat., Lib. II, od. 8.[1]

1

Наполним бокалы, — я жаждой такой
Доселъ никогда не томился, —
О, выпьем же! Кто не пивал под луной,
За чашей с людьми не мирился?
Всё в пестрой сей жизни коварный обман;
Лишь ты без обмана, шипучий стакан!

2

Всего на пиру я у жизни вкусил;
Душою пред черными таял очами, —
Любил я. О! кто на земле не любил?
Но милыми кто ж обаянный устами,
Всю цену блаженства изведал вполне,
Доколе он страсти томился в огне?

3

В те годы, когда наш младой идеал
Без крыльев нам дружество кажет,
Ласкал я друзей. Кто своих не ласкал?
Но кто же теперь нам докажет,
Что так ему верны бывали друзья,
Как ты, винограда златая струя?

---

[1] Эввий думы гнетущие
Рассеет быстро. Отрок, проворнее
Фалерна огненную влагу
Ты обуздай ключевой водою!
Гораций, кн. 2, ода 8 (лат.). Перевод Г. Ф. Церетели.

4

Любви изменяет нам часто звезда,
Для дружбы душа холодеет.
Лишь ты неизменен, наш нектар, всегда!
Становишься стар ты. И кто ж не стареет?
Но кто же, как ты, похвалиться бы мог,
Что годы сугубят в нем сил кипяток?

5

Девичьим ли сердцем кто в жизни счастлив —
Соперник уж нашего близок кумира:
И вот мы ревнивы. Но кто ж не ревнив?
В тебе лишь гармония мира!
О чаша, чем больше счастливых тобой,
Тем каждый твой рыцарь довольней судьбой!

6

Когда с летом жизни для наших сердец
Разгул милых шалостей гибнет,
К бутылке мы рвемся душой наконец,
И вдруг постигаем, — но кто ж не постигнет, —
Что истины яркой теперь, как всегда,
На дне лишь бутылки играет звезда?

7

Когда отворился Пандоры сундук
И радость исчезла прямая,
Осталась надежда, бальзамом от мук.
Да, да! лишь надежда златая!
Но что нам в ее обольстительном сне:
Рой благ досундучных у чаши на дне!

8

Да зреет же вечно в садах виноград!
Когда мы с своей распростимся весною,
Вино, постарев, наш утешит закат.

Умрем мы. Но кто ж не умрет под луною?
Тогда на Олимпе нас встретит Зевес
И Геба наполнит фиалы небес!

⟨*1836*⟩

441. СЛЕЗЫ И ХОХОТ

Оживите сердце вялое!
Дайте жить по старине!
Иль оплакивать бывалое
Слез бывалых дайте мне!

Жуковский

Alors je suis tenté de prendre l'existence
Pour un sarcasme amer d'une aveugle puissance,
De lui parler sa langue, et, semblable au mourant
Qui trompe l'agonie et rit en expirant
D'abîmer ma raison dans un dernier délire,
Et de finir aussi par un éclat de rire.

A. de Lamartine. Harmonies [1]

В былые дни, пред солнечным закатом,
Когда падет вечерняя роса,
Пылает бор и разноцветным златом
Подернутся над морем небеса;
Когда, браздя лазурные поляны,
Как призраки, блуждают облака —
Там чудный храм, там девы лик румяный,
Там гордый шлем и витязя рука;
Когда вдали на башне одинокой
Златого дня последний миг звучит
И за него, сливаясь в гимн высокий,
Всей твари глас творца благодарит, —
Тогда духовным сладострастьем
Переполнялась грудь моя;
Богатый радостью и счастьем,
Лил слезы я.

---

[1] Тогда я склонен счесть жизнь горькой насмешкой слепой силы, говорить с ней ее языком и, подобно умирающему, который обманывает агонию и смеется, испуская дух, утратить рассудок в предсмертном бреду и тоже кончить взрывом смеха. *А. де Ламартин, Гармонии* (франц.). — *Ред.*

Теперь при мне дивятся ли природе,
Любовь ли чтут наперсницей харит,
О славе ли, о гордой ли свободе
Доверчиво мне юность говорит;
Брамина ль герб толпе надоедает,
Глядит ли в знать мой мальчик Франц Пейрон,
Былой ли шут богатством осыпает
Своих коней, поклонников и жен;
Дивится ль мир звезде Наполеона,
О Байроне ль толкует мне пиит,
Философ ли премудрость Соломона
Всем поровну со временем сулит, —
Тогда к своим я щам и каше
Мечтой восторженной лечу,
Дивлюсь какой-нибудь Малаше
И хохочу.

В былые дни, когда на дерн атласный
Глядит сквозь тень садовую луна
И соловья с кантатой сладострастной
Душа цветов гармонии полна;
Когда в часы прогулки молчаливой
Лилейных рук я трепет ощущал,
Ловил очей огонь красноречивый,
Улыбки блеск душой подстерегал...
Пусть *нерв* то было *раздраженье*, —
Но *фактов* скаредных меня
Тогда не грызло изученье,
И плакал я!

Теперь я зрю ль невинное созданье,
Влекомое к пороку нищетой,
Его спасу ль, дам телу одеянье,
Дам сердцу жизнь — и новою ль душой
Блеснет краса воскреснувшей лилеи,
И влюбится ль творец Пигмалион,
И вдруг потом о бегстве ль Галатеи
С его слугой услышит Селадон, —
Тогда (будь сказано меж нами)
Хоть я, вздохнув, и поворчу,
Но через миг, пожав плечами,
Захохочу.

В былые дни мне душ мечталось братство;
Я долго ждал: не встретится ль Пилад?
Делил бы с ним я бедность и богатство
И за него точил бы свой булат.
В подлунном мире — Аббадона,
Химера в нем твой Абдиил!
Но я читал тогда Платона
И слезы лил.

Теперь судьбы ль я с чадом повстречаюсь,
Его птенцом из праха ль извлеку,
Крестом ли с ним, с безродным, поменяюсь
И братом ли пришельца нареку;
И если он, сей друг, сей брат крестовый,
Меня пронзит кровавой клеветой,
Пришлет мне казнь иль тяжкие оковы
И прибежит позор увидеть мой, —
«Где ж ты?.. Спеши взглянуть,
ленивец!» —
Тогда я Каину вскричу
И, равнодушный несчастливец,
Захохочу.

И стало быть, такими-то судьбами
Пускай с детьми толкует Гераклит;
И стало быть, над зрелыми умами
Да царствует философ Демокрит!
Перед комедией лубочной
Я больше́ плакать не хочу, —
И что б ни сделалось — нарочно
Захохочу!..

⟨1836⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание знакомит читателя с творчеством поэтов пушкинской поры (1820—1830-е годы), не представленных в других сборниках Большой серии «Библиотеки поэта» — как персональных, так и коллективных.[1] В большинстве случаев стихотворное наследие этих поэтов не переиздавалось (даже не было собрано) и практически неизвестно читателю, между тем оно имеет определенную историческую и эстетическую ценность.

Включенные в издание тексты в своей совокупности должны дать читателю и известное представление о качественном своеобразии литературной эпохи 1820 — 1830-х годов. Из числа поэтов избираются те, творчество которых характеризовало различные стороны и стадии поэтического движения времени, в частности литературно-общественную борьбу. В основу деления материала по томам положен отчасти хронологический, отчасти историко-типологический принцип (см. вступ. статью). При распределении материала внутри томов составители стремились по возможности отразить направление поэтической эволюции. Для 1820-х годов своего рода вехами процесса являлись литературные кружки и общества с более или менее определенным поэтическим лицом. Так, первый том начинается поэтами «позднеклассической» и «позднесентименталистской» ориентации — Дашковым, Козловым, Нечаевым; эклектиками, затронутыми романтическими веяниями (Олин) и т. д. Далее идут поэты «михайловского» общества, с характерными для них «легкими жанрами», дидактическим посланием и сатирой, идиллией, литературным памфлетом антиромантического характера. Развитие элегической традиции и рост гражданских, декабристских тенденций в поэзии связаны с деятельностью левого крыла «соревнователей» (В. И. Туманский, Григорьев, отчасти ранний Плетнев) и не входивших организационно в общество А. А. Шишкова и Ротчева. Следующая группа имен принадлежит позднее сложившемуся «дельвиговскому кружку», с его специальными интересами в области антологии, элегии антологического типа, литературной

---

[1] См. например: «Русская стихотворная пародия» (Л., 1960); «Песни и романсы русских поэтов» (Л., 1963); «Поэты кружка Н. В. Станкевича» (Л., 1964); «Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века» (Л., 1970); «Поэты 1840—1850-х годов» (Л., 1970).

песни и т. д. Том завершается В. Г. Тепляковым, уже стоявшим на грани новой поэтической эпохи, предвосхищавшим отдельными чертами Лермонтова.

Второй том, подобно первому, экспонирует материал не столько в хронологическом порядке, сколько в исторической последовательности поэтических явлений и традиций, возникших в ту эпоху. Во второй том вошли поэты либо сложившиеся ранее, но творчески тяготевшие к 1830-м годам, либо всецело принадлежавшие этому времени. За отдельными исключениями литературные пути этих авторов протягиваются к 1840—1850-м и даже 1860—1870-м годам. Их творческий облик отличает более выраженный писательский профессионализм, что стало нормой литературной жизни именно в 1830-е годы. Как правило, почти все поэты второго тома обильно и систематически печатались, издавали сборники своих стихотворений, многие из них выступали на поприще беллетристики или журнальной деятельности. Наконец, в их поэтической практике наблюдается характерное для 30-х годов возрастающее значение больших жанров (поэма, стихотворная повесть), в особенности драматизированных («мистерии», «фантазии», «драматические поэмы»).

Открывается второй том произведениями поэтов кружка С. Е. Раича, литературная деятельность которых представляла собой явление переходного порядка, сочетавшее в равной мере тяготение к романтизму и к гармонической школе. Одна из центральных фигур второго тома — С. П. Шевырев, участник раичевского кружка, вскоре присоединившийся к любомудрам, зачинателям особого, философского ответвления в романтизме 1820-х годов. Далее следует группа романтиков, вступивших в литературу во второй половине 20-х годов: А. Ф. Вельтман, Трилунный, А. И. Подолинский, Л. А. Якубович — поэты, соприкасавшиеся с пушкинским кругом, но в целом далекие от его художественных интересов. Еще более поздний этап в истории романтизма представляют поэты кружка Герцена и кружка А. В. Никитенко — Н. М. Сатин и В. С. Печерин и такие промежуточные фигуры, как В. И. Соколовский и К. А. Бахтурин. Замыкают том произведения поэтов «Библиотеки для чтения» — Н. В. Кукольника, А. В. Тимофеева, Е. Бернета. Им предшествует раздел, посвященный К. П. Масальскому, типичному представителю «торгового направления» в поэзии.

Как и всякая историко-типологическая схема, данная структура, конечно, условна и отражает лишь общие линии развития поэзии в данный период.

При отборе материала составители стремились включать в издание лучшие, наиболее интересные и характерные образцы творчества того или иного поэта. Ограниченный объем двухтомника вынудил либо отказаться от помещения некоторых крупных произведений, либо довольствоваться публикацией отрывков из них. При отборе текстов иногда учитывалось их издание в «Библиотеке поэта». Так, например, не включена в двухтомник поэма «Див и Пери» Подолинского, дважды печатавшаяся в сборниках Малой серии; в ограниченном количестве представлены произведения Шевырева и т. д.

Каждый персональный раздел открывается биографической справкой, содержащей и историко-литературную характеристику данного поэта, поскольку монографические характеристики такого рода

лишь отчасти входят в задачу вступительной статьи. Произведения внутри разделов располагаются в хронологическом порядке; при отсутствии авторской даты и твердых оснований для датирования в ломаных скобках указывается год первой публикации или первого чтения стихотворения. При наличии двух редакций произведения указываются даты каждой. Источник даты в примечаниях не оговаривается, если есть дата в каком-нибудь из изданий, перечисленных в библиографических данных к каждому стихотворению. При датировке стихотворений, печатающихся по альманахам, при отсутствии авторских дат дата цензурного разрешения условно считается датой сформирования альманаха (иногда комплектование альманаха продолжалось после получения цензурного разрешения) и принимается в качестве источника даты для стихотворений, включенных в альманах. Даты цензурных разрешений указываются в Списке сокращений.

Текст произведений критически устанавливается по всем доступным источникам, печатным и рукописным; наличие авторских сборников, посмертных изданий, больших собраний автографов отмечается в специальных преамбулах к примечаниям к каждому разделу; в необходимых случаях здесь же дается анализ и критика источников. В примечаниях к произведениям указывается место первой и последующих публикаций, сопровождавшихся изменением текста (простые перепечатки не отмечаются), вплоть до издания, по которому произведение печатается. Отсутствие формулы «Печ. по...» означает, что текст печатается по первой публикации, являющейся единственным источником текста. Перепечатка стихотворения в прижизненном сборнике без изменений в необходимых случаях обозначается словами «Вошло в...». Далее указывается местонахождение автографа (если он известен), сообщаются сведения текстологического и историко-литературного характера и поясняются реалии, в том числе мифологические, необходимые для понимания текста. Общеизвестные мифологические и исторические имена и факты не объясняются. Редакторские заглавия и конъектуры заключаются в угловые скобки; авторские зачеркивания — в квадратные скобки. Тексты печатаются по современной орфографии; при этом сохраняются особенности орфографии и пунктуации, являющиеся стилевой и интонационной характеристикой текста и отражающие живое звучание стиха. Часто упоминаемые источники обозначаются сокращенно (см. Список сокращений); дополнительные сокращения для отдельных разделов вводятся в специальных преамбулах к примечаниям к каждому разделу. Сведения о датах чтения стихов, за исключением специально оговоренных случаев, взяты из книги: В. Б а з а н о в, Ученая республика, М.—Л., 1964 (для Вольного общества любителей российской словесности) и из протоколов и отчетов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (архив общества — в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки им. А. М. Горького в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова). В первом томе раздел «В. Н. Олин» (тексты, биографическая справка, примечания) подготовлен В. П. Степановым.

В. Э. Вацуро
В. С. Киселев-Сергенин

Условные сокращения, принятые в примечаниях

ААН — архив Академии наук СССР.
AF — Anthologie Française. . ., I—II, P., 1816.
Альбом северных муз. Альманах на 1828 год, изданный А. И‹вановским›, СПб., 1828, ц. р. 31 декабря 1827.
Альциона — Альциона. Альманах на 1831—1833 год. Издан бароном Розеном (на 1831 г. — СПб., 1831, ц. р. 17 октября 1830 г.; на 1832 г. — СПб., 1832, ц. р. 20 ноября 1831 г.; на 1833 г. — СПб., 1833, ц. р. 18 октября 1832 г.).
AP — Anthologia Palatina (по изд.: Anthologia Graeca, t. 1—4, ed. H. Beckby, München, 1957—1958).
Базанов — В. Базанов, Ученая республика, М.—Л., 1964.
Барсуков — Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1—22, СПб., 1888—1910.
БдЧ — «Библиотека для чтения».
Белинский — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, тт. 1—13, М., 1953—1959.
Благ. — «Благонамеренный».
ВЕ — «Вестник Европы».
Гал. — «Галатея».
ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
ГИАЛО — Государственный исторический архив Ленинградской области.
ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея.
ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Гусев — «Песни и романсы русских поэтов». Вступ. статья, подготовка текста и примеч. В. Е. Гусева, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1965.
ДЖ — «Дамский журнал».
ЖДНС — «Журнал древней и новой словесности».
ЖМНП — «Журнал министерства народного просвещения».
ИВ — «Исторический вестник».
Календарь муз на 1826 год, изданный А. Измайловым и П. Яковлевым, СПб., 1826 (ц. р. 15 октября 1825 г.; на 1827 г. — СПб., ц. р. 21 декабря 1826 г.).
КБ — «Комета Белы. Альманах на 1833 год», СПб., 1833 (ц. р. 30 октября 1832 г.).
ЛГ — «Литературная газета».
ЛГК — Отдел рукописей библиотеки Ленинградской государственной консерватории.
ЛГТБ — Ленинградская государственная театральная библиотека им. А. В. Луначарского.
ЛГУ, арх. — архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки им. А. М. Горького в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова.
ЛЛ — «Литературные листки» (Петербург).
ЛЛ (Одесса) — «Литературные листки» (Одесса).
ЛН — «Литературное наследство».

ЛОИИ — Рукописный отдел Ленинградского отделения Института истории.
ЛПРИ — «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"».
МВ — «Московский вестник».
МН — «Московский наблюдатель».
МОЛРС — Общество любителей российской словесности при императорском Московском университете.
Мордовченко — Н. И. Мордовченко, Русская критика первой четверти XIX века, М.—Л., 1959.
Москв. — «Москвитянин».
МТ — «Московский телеграф».
НА — Невский альманах на 1825 [—1833] год, изданный Е. Аладьиным (на 1825 г. — СПб., 1825, ц. р. 4 декабря 1824 г.; на 1826 г. — СПб., 1825, ц. р. 7 декабря 1825 г.; на 1827 г. — СПб., 1826, ц. р. 27 октября 1826 г.; на 1828 г. — СПб., 1827, ц. р. 9 декабря 1827 г.; на 1829 г. — СПб., 1828, ц. р. 27 декабря 1828 г.; на 1830 г. — СПб., 1829, ц. р. 17 сентября 1829 г.; на 1831 г. — СПб., 1831, ц. р. 24 ноября 1830 г.; на 1832 г. — СПб., 1832, ц. р. 21 октября 1831 г.; на 1833 г. — СПб., 1833, ц. р. 10 января 1833 г.).
НЗ — «Невский зритель».
НЛ — «Новости литературы».
ОА — «Остафьевский архив князей Вяземских», под ред. и с примеч. В. И. Саитова, тт. 1—5, СПб., 1899—1913.
Одесский альманах на 1831 год, изданный П. Морозовым и М. Розбергом, Одесса, 1831 (ц. р. 17 марта 1831 г.; на 1839 г. — Одесса, ц. р. 31 декабря 1838 г.).
ОЗ — «Отечественные записки».
ОЛРС — Вольное общество любителей российской словесности.
ОЛСНХ — Вольное общество любителей словесности, наук и художеств.
Памятник отечественных муз. Альманах для любителей словесности на 1827 [1828] год, изданный Борисом Федоровым, СПб., 1828 (ц. р. 21 декабря 1826 и 21 декабря 1827 г.).
ПГП — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, тт. 1—3, СПб., 1896.
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинского дома).
ПЗ — Полярная звезда. Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности на 1823[—1825] год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым (на 1823 г. — СПб., 1823, ц. р. 30 ноября 1822 г.; на 1824 г. — СПб., 1824, ц. р. 20 декабря 1823 г.; на 1825 г. — СПб., 1825, ц. р. 20 марта 1825 г.).
ПЗ 1960 — Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым, издание подготовили В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович, М.—Л., 1960.
ПиС — «Пушкин и его современники. Материалы и исследования», вып. 1—39, СПб. — Л., 1903—1930.
Полевой — «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов», ред., вступ. статья и комментарий Вл. Орлова, Л., [1934].
ПСС — Полное собрание сочинений.
ПССт — Полное собрание стихотворений.

Пушкин — Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. 1—16 (и справочный том), М.—Л., 1937—1959.
Пушкин, Письма, тт. 1—3 — Пушкин, Письма (1815—1833), тт. 1—3, М.—Л., 1926—1935 (тт. 1—2 — под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, т. 3 — под ред. и с примеч. Л. Б. Модзалевского).
Пушкин, Письма, т. 4 — Пушкин, Письма последних лет (1834—1837), Л., 1969.
РА — «Русский архив».
РВ — «Русский вестник».
РИнв — «Русский инвалид».
РЛ — «Русская литература».
РС — «Русская старина».
РФВ — «Русский филологический вестник».
СА — «Северный архив».
СЛ — «Северная лира на 1827 год. Посвящается любительницам и любителям отечественной словесности Раичем и Ознобишиным», М., 1827 (ц. р. 1 ноября 1826 г.).
СО — «Сын отечества».
СО и СА — «Сын отечества и Северный архив».
Совр. — «Современник».
Соревн. — «Соревнователь просвещения и благотворения» («Труды Вольного общества любителей российской словесности»).
СПч — «Северная пчела».
СиН — «Старина и новизна».
Ст. сказка — «Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века». Вступ. статья и составление А. Н. Соколова. Подготовка текста и примеч. Н. М. Гайденкова и В. П. Степанова, «Б-ка поэта» (Б. с.), М.—Л., 1969.
СЦ — Северные цветы на 1825[—1832] год... (на 1825 г. — СПб., 1825, ц. р. 9 августа 1824 г.; на 1826 г. — СПб., 1826, ц. р. 25 февраля 1826 г.; на 1827 г. — СПб., 1827, ц. р. 18 января 1827 г.; на 1828 г. — СПб., 1827, ц. р. 3 декабря 1827 г.; на 1829 г. — СПб., 1828, ц. р. 27 декабря 1828 г.; на 1830 г. — СПб., 1829, ц. р. 20 декабря 1829 г.; на 1831 г. — СПб., 1831, ц. р. 18 декабря 1830 г.; на 1832 г. — СПб., 1831, ц. р. 9 октября 1831 г.).
Тел. — «Телескоп».
ТОЛРС — «Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете».
УЗ — Утренняя заря. Альманах на ...[1839—1843] год, изданный В. Владиславлевым (на 1839 г. — СПб., 1839, ц. р. 15 ноября 1838 г.; на 1840 г. — СПб., 1840, ц. р. 14 октября 1839 г.; на 1841 г. — СПб., 1841, ц. р. 30 октября 1840 г.; на 1842 г. — СПб., 1842, ц. р. 24 июля 1841 г.; на 1843 г. — СПб., 1843, ц. р. 30 мая 1842 г.).
ХГ — «Художественная газета».
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив.
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив (Москва).
ц. р. — цензурное разрешение.
ЦС — Царское Село. Альманах на 1830 год. Издан Н. Коншиным и Б⟨ароном⟩ Розеном, СПб., 1829 (ц. р. 2 декабря 1829 г.).

СТИХОТВОРЕНИЯ

Д. В. ДАШКОВ

1—45. Автографы переводов Д. в большинстве случаев утрачены. Несколько эпиграмм процитированы в его письмах (см., например, письма к П. А. Вяземскому 10 октября 1821 г. и 4 апреля 1823 г. ЦГАЛИ). В архиве А. В. Никитенко (ПД) сохранилась копия на отдельном листке с текстами неопубликованных эпиграмм Д. и оригинальным поэтическим предисловием ко всему собранию — «Приношение друзьям», стилизованным под эпиграмму. По-видимому, работа над переводами охватывает 1818—1824 гг. 4 января 1824 г. Д. сообщал И. И. Дмитриеву, что вновь принялся за нее и прочитал полтома комментариев, «чтобы хорошо понять дюжины две стихов» (РА, 1868, с. 600). Можно думать, что, готовя первую подборку эпиграмм для СЦ, Д. усовершенствовал уже сделанные переводы (см.: РА, 1891, № 7, с. 359).

1. Печ. впервые по копии ПД.

2—45. В цикле «Цветы, выбранные из греческой анфологии» №№ 1—13 впервые — СЦ на 1825, с. 305, с подписью-астронимом: ** и примеч.: «Отрывок из перевода отборных греческих надписей с подлинника. Мера стихов и ударения в именах собственных соблюдены в точности»; № 14—21 — ПЗ на 1825, с. 279, с подписью-астронимом: ** и примеч.: «Другой отрывок сего перевода отборных греческих надписей был напечатан в Северных Цветах, стран. 305—312»; №№ 22—29 — МТ, 1827, № 17, отд. 2, с. 3, без подписи и с примеч.: «Другие отрывки сего перевода отборных греческих надписей, с подлинника, были напечатаны в „Северных Цветах“ и „Полярной звезде 1825 года“» и «благодарностью» Н. А. Полевого «просвещенному переводчику» за доставление эпиграмм в МТ. В экземпляре ГПБ — помета рукой П. А. Вяземского: «Дмит.⟨рия⟩ Вас.⟨ильевича⟩ Дашкова; бывшего министра»; №№ 30—38 — МТ, 1828, № 1, с. 46, без подписи. В экземпляре ГПБ помета рукой П. А. Вяземского: «Д. В. Дашкова»; №№ 39—45 печ. впервые по копии ПД. Названия эпиграмм принадлежат Дашкову. Далее в комментарии к каждой эпиграмме указывается книга и номер в Палатинской антологии.

1. *AP*, VII, 434. *Диоскорид* (втор. пол. III в. до н. э.) — жил, вероятно, в Александрии. Известно около 40 его эпиграмм, любовных и воспевающих доблесть спартанцев, а также эпитафии драматическим поэтам.

2. *AP,* IX, 163.

3. *АР*. VII, 161. *Аристомен* (VII в до н. э.) — предводитель войска мессенцев в борьбе со Спартой. *Антипатр Сидонский* (II—I вв. до н. э.) — автор более 90 дошедших до нас эпиграмм, преимущественно риторического характера (см. также №№ 38, 39, 42). *Кронид* (греч. миф.) — Зевс.

4. *АР*, IX, 177. Перевод свободен и обобщен; в подлиннике — иллюзия эха (слова фригийца «не выстоял» повторены Аяксом в утвердительном смысле: «выстоял»). *Аякс* (греч. миф.) — один из сильнейших, после Ахиллеса, героев Троянской войны. *Фригиец* — троянец. Фригией называли обширную страну в Малой Азии, центром которой была Троя. У поздних античных писателей фригийцы отождествлялись с троянцами.

5. *АР*, VII, 282. *Феодорид* — поэт III в. до н. э. По-видимому, эту эпиграмму (из числа нескольких аналогичных) вольно перевел Батюшков («С отвагой на челе и с пламенем в крови» — в брошюре «О греческой антологии», 1820).

6. *АР*, VII, 55. *Исиод* (Гесиод, VIII в. до н. э.) — древнейший греческий поэт. *Алкей Мессенский* (кон. III — нач. II в. до н. э.) — наиболее крупный из эпиграмматистов своего времени; от него сохранилось 22 эпиграммы. *Сраженного в рощах Локридских*. Согласно легенде, Гесиод был убит в Локриде (область центральной Греции) двумя юношами, подозревавшими его в связи с их сестрой. *Кастальский ключ* — родник на горе Парнас, близ храма Аполлона; считался источником поэтического вдохновения.

7. *АР*, X, 108. Рукопись (копия) — ПД. В подлиннике эпиграмма написана гекзаметром (а не элегическим дистихом, как у Д.). *Кронид* — см. примеч. 3.

8. *АР*, X, 58. *Паллад* (кон. IV — нач. V в. н. э.) — александрийский поэт периода раннего христианства, сторонник языческой культуры, автор 150 эпиграмм сатирического и пессимистического характера.

9. *АР*, X, 69. *Агафий* (ок. 536—582) — византийский поэт и историк; от него дошло около 100 эпиграмм.

10. *АР*, XVI, 129. *Ниоба* (греч. миф.) — жена царя Амфиона, за оскорбление богини Латоны превращенная в камень. *Пракситель* (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор.

11. *АР*, XVI, 210. *Платон* (427—347 (348) гг. до н. э.) — греческий философ, автор нескольких дошедших до нас эпиграмм (см. также №№ 26, 44 наст. изд.).

12. *АР*, V, 139. *Мелеагр* (нач. I в. до н. э.) — один из наиболее значительных авторов любовных эпиграмм эллинистического периода (см. также №№ 20, 21, 43). Настоящая эпиграмма — одна из цикла, посвященного гетере *Зинофиле* (Зенофиле) — была переведена также (но не с подлинника, а с немецкого перевода в «Антологии» Гердера) Н. И. Розенмейером (Благ., 1825, № 37—38, с. 361). *Пан* (греч. миф.) — бог стад и пастухов, покровитель игры на свирели; местопребыванием его считалась Аркадия (область в Пелопоннесе). *Пафия* (греч. миф.) — Афродита. Главным центром ее культа был остров Пафос.

13. *АР*, V, 51 (50).

14. *АР*, VI, 331. *Лентул Гетулик* жил в I в. до н. э. — I в. н. э.

15. *АР*, X, 123. *Немеса* (греч. миф.) — Немезида, богиня мести.

16. *AP*, VII, 646. В подлиннике имя героини Эрато. *Анита* (пер. пол. III в. до н. э.) — поэтесса, родом из Аркадии; представительница буколической поэзии, писавшая на дорийском наречии.

17. *AP*, VII, 264. *Леонид Тарентский* (III в. до н. э.) — выдающийся италийский поэт, связанный с демократическими низами, автор многочисленных эпиграмм и эпитафий рыбакам, ремесленникам и т. д.

18. *AP*, VII, 175. В новейших изданиях эпиграмма печатается под именем Антифила. *Рало* — плуг.

19. Антология Плануда, XVI, 159. *Пафия* — см. примеч. 12. *Длани ли здесь Праксителевой труд.* Статуя Киприды (Афродиты) в Книде, изваянная Праксителем (см. примеч. 10) со своей возлюбленной, гетеры Фрины, была признанным шедевром искусства; ей посвящено несколько эпиграмм Антологии.

20. *AP*, V, 136 (135). Эпиграмма входит в цикл *Мелеагра*, посвященный гетере *Илиодоре* (Гелиодоре).

21. *AP*, V, 8(7).

22. *AP*, VII, 566. Македоний (VI в. н. э.), по прозвищу *Ипат* (консул), — эпиграмматист эпохи Юстиниана, автор 44 дошедших до нас эпиграмм, описательных, вакхических и любовных.

23. *AP*, VII, 313. *Тимон* Афинский (ок. 400 г. до н. э.) — известный мизантроп. Автор эпиграммы неизвестен; приписывая ее самому Тимону, Д., видимо, опирался на рассказ Плутарха, сообщавшего, что эти строки, сочиненные самим мизантропом, были написаны на его надгробии.

24. *AP*, VII, 320. *Игесипп* (Гегесипп) — поэт, сведений о котором не сохранилось; по некоторым предположениям, жил в III в. до н. э.

25. *AP*, XIII, 27. *Фалек* — поэт, живший, по-видимому, при Александре Македонском (356—323 до н. э.); известно 5 его эпиграмм. Изобретатель так называемого «фалекова стиха», одиннадцатисложника; этим стихом написана переведенная Д. эпиграмма. *Кенотаф* — гробница. *Эгейский понт* — Средиземное море.

26. *AP*, VII, 268.

27. *AP*, IX, 378. Принадлежность этой эпиграммы *Палладу* иногда оспаривается. Перевод предназначался для СЦ на 1825, однако цензор А. С. Бируков не пропустил последнюю строку, предложив заменить «крест» «столбом», что вызвало категорическое возражение Д., который предпочел исключить надпись и заменить ее другой (РА, 1891, № 7, с. 360).

28. *AP*, VII, 703. Эпиграмма написана на картину, изображающую Эрота в пастушеском наряде. Сведений о поэте *Мирине,* авторе 4-х эпиграмм в Палатинской антологии, не сохранилось. *Пан* — см. примеч. 12.

29. *AP*, XVI, 275. Рукопись (копия) — ПД. *Посидипп* (род. ок. 310 г. до н. э.) — автор ряда эпиграмм, преимущественно философского содержания. Принадлежность данной эпиграммы Посидиппу оспаривается. Последующие комментаторы толковали изображение как Случай (а не *Время*), вслед за римскими писателями (Федр, Авзоний). *Лисипп* (IV в. до н. э.) — скульптор; статуя была изваяна им для *Сикиона*, его родины.

30. *AP*, XI, 53.

31. *AP*, IX, 575. *Филипп Фессалоникский* (втор. пол. I в.) — автор более 80 эпиграмм, преимущественно описательных; составитель вто-

рой (после Мелеагра) антологии эпиграмм. *Илий* (греч. миф.) — Гелиос, бог солнца. *Меонид* — прозвище Гомера. *Иония* — греческая область в Малой Азии; место создания гомеровских поэм.

32. *АР*, IX, 160. *Иродот* (Геродот, ок. 484—425 гг. до н. э.) — историк, названный «отцом истории»; его «История» получила впоследствии название «Музы» и была разделена на 9 книг, по числу муз.

33. *АР*, VII, 46.

34. *АР*, VII, 64. *Диоген* (414—323 гг. до н. э.) — глава философской школы киников; за свое презрение к жизненным благам получил прозвище «ὁ κύων» — собака. О мраморном изваянии собаки на могиле Диогена в Коринфе упоминает Диоген Лаэрций. *Синопа* — причерноморская греческая колония.

35. *АР*, IX, 61. Авторство иногда приписывается Диоскориду.

36. *АР*, IX, 148. *Иракл*ит (Гераклит, между 540—480 гг. до н. э.) и *Демокрит* (ок. 460—370 гг. до н. э.) — греческие философы, обычно противопоставлявшиеся друг другу как «плачущий» и «смеющийся».

37. *АР*, IX, 138.

38. *АР*, IX, 72. *Ермий* (греч. миф.) — Гермес. *Алкид* (греч. миф.) — Геракл. Некоторые комментаторы приписывают эту эпиграмму Антипатру Фессалоникскому (I в. до н. э. — I в. н. э.).

39. *АР*, VII, 745. Древнейшая версия рассказа о поэте *Ивике* (VI в. до н. э.), популярного в России после баллады Шиллера «Ивиковы журавли», переведенной Жуковским (1813). *Град Сизифа* — Коринф, где журавли, свидетели убийства Ивика, выдали своим криком преступника.

40. *АР*, VII, 399. *Антифил Византийский* — жил, по-видимому, во 2-й половине I в.; автор 50 эпиграмм в Антологии. *Полиник* (греч. миф.) — сын царя Эдипа, изгнанный из Фив своим братом *Етеоклом*, собравшим в поход против Фив коалицию царей. Братья убили друг друга в поединке.

41. *АР*, VII, 346. В подлиннике адресат посвятительной надписи — «благородный Сабин». Д. отходит от оригинала, вводя общепринятый пример неразрывной дружбы — Ореста и Пилада. Эпиграмма иногда приписывается знаменитому сатирику Лукиану (ок. 125—192 гг.), которому принадлежит в Антологии около 40 эпиграмм. *Лифа* — Лета.

42. *АР*, VII, 8. Печ. с исправлением описки в ст. 3 («песни свои»). *Каллиопа* (греч. миф.) — муза эпической поэзии, мать Орфея. *Пиериды* (греч. миф.) — музы.

43. *АР*, VII, 476. Вторая переведенная Д. эпиграмма *Мелеагра* из цикла к Гелиодоре (см. примеч. 20). Художественные достоинства этой эпиграммы отмечались ее читателями еще периода античности; в тексте АР примечание: «Эпиграмма достойная удивления и вся исполненная скорби». Переведена также К. Н. Батюшковым в брошюре «О греческой антологии» («В обители ничтожества унылой. . .», 1820), где она приводится как пример «строгого и чистого вкуса древности» (К. Н. Батюшков, Сочинения, т. I, СПб., 1887, с. 426).

44. *АР*, IX, 823.

45. *АР*, IX, 277.

46—49. СЦ на 1828, с. 71 втор. паг. без подписи (ц. р. 3 декабря 1827 г.). Предположение об авторстве Д. высказывалось (см.:

М. П. Алексеев, Первое знакомство с Данте в России. — В сб.: **От** классицизма к романтизму, Л., 1970, с. 57). В пользу этого предположения есть ряд косвенных аргументов, как историко-литературных, так и стилистических. Д. печатался строго анонимно в узком круге изданий, прежде всего в СЦ, причем просил Дельвига соблюдать тайну авторства (РА, 1891, № 7, с. 358—359); в конце 1827 — начале 1828 г. он активизирует свою деятельность, печатая эпиграммы в МТ. Интерес к итальянскому языку и литературе возник у Д. еще в ранние годы (в 1810 г. он писал письма по-итальянски, см. «Библиографические записки», 1859, № 10, с. 293); в дальнейшем он укреплялся в общении с арзамасцами, в особенности с Батюшковым; Д. поддерживал и Раича, переводчика «Освобожденного Иерусалима» Тассо (см. т. 2 наст. изд.; РА, 1868, с. 605). Помимо прямых итальянских цитат, надписи содержат редкие в русской литературе итальянские огласовки собственных имен (Гоффред, Зербин; ср. также Тассо, Ариосто, Данте — вместо французских Тасс, Дант и т. д.); стремление к фонетической передаче ономастики характерно и для других переводов Д. Как и переводы античной эпиграммы у Д., они написаны элегическим дистихом, архаизированы лексически и синтаксически (ср. латинизированный синтаксис в ст. 1 № 3) и снабжены характерными филологическими примечаниями; по жанру это — надгробная надпись или надпись к изображению. Все это делает предположение об авторстве Д. вполне вероятным.

1. *Гесперия* — древнегреческое обозначение Италии. *Уголино* — граф Уголино делла Герардеска, вождь гвельфов Пизы; история его гибели с детьми от голодной смерти в заточении составляет содержание песни 33 «Ада» Данте.

2. *Вальклюз* (Воклюз) — воспетый Петраркой источник в селе Воклюз близ города Авиньона, где Петрарка жил с 1337 по 1353 г.; здесь он создал цикл сонетов и канцон, посвященных Лауре. *Капитольские стены.* В 1341 г. Петрарка был увенчан лавровым венком на Капитолии (в Риме).

3. *Гроб Ариосто* находится в Ферраре, в монастыре св. Бенедикта. *Дедал* — зд.: лабиринт.

4. *Тассо* — см. примеч. 386. *Песнопевец Соррентский.* Тассо был родом из Сорренто. *Смертью забытый в напастях, погиб он пред самым триумфом.* Ср. «Умирающий Тасс» Батюшкова (1817), где эта тема является центральной. *Гоффред* — Готфред Бульонский, вождь крестоносцев, герой «Освобожденного Иерусалима» Тассо. *Воскресли священные брани* и т. д. Крестовому походу уподобляется здесь начало совместных военных действий России, Англии и Франции против Турции, под властью которой находилась и Палестина. 20 октября 1827 г. морские силы союзников под командованием Э. Кодрингтона разгромили турецко-египетский флот при Наварине, что облегчило победу восставших греков. Об участии Д. в греческих делах см. биографическую справку; о турецком владычестве в Палестине он писал в статье «Русские паломники в Иерусалиме», где есть упоминание и о Тассо («Я смотрел на могилу Готфреда, и вдохновенная Тассова песнь гремела в моем слухе». — СЦ на 1826, с. 237).

50. Благ., 1819, № 12, с. 345, с подписью: В. К—в и датой: 22 апреля. ДЖ, 1823, № 11, с. 177, под загл.: «Весна», с подписью: К. Публикация ДЖ представляет, по-видимому, более ранний вариант, который К. посылал Шаликову при письме от 5 мая 1817 г.; в письме он указывал, что стихотворение написано весной, в момент временного выхода из депрессии; «. . .о титуле, — замечал К., — я мало заботился и написал просто: „Весна"» (ДЖ, 1829, № 46, с. 108). Печ. по Благ.

51. Благ., 1819, № 7, с. 3; с подписью: В. К—в.

52. Благ., 1819, № 13, с. 17, с подписью: В. К—в.

53. НЛ, 1823, № 23, с. 159, с подписью: К. *Увижу ль юных дев, блестящих красотою* и т. д. Речь идет о княжнах Салтыковых, с которыми К. часто общался летом и осенью 1823 г., бывая на их даче на Черной речке (см. письмо его к Макарову от 18 сентября 1823 г. — ДЖ, 1830, № 27, с. 11). Этот фрагмент элегии, в котором отразилась личная драма К., связанная с его положением образованного разночинца и невозможностью женитьбы на любимой им девушке, принадлежавшей к высшему свету, К. цитирует в письме к Шаликову от 14 апреля 1824 г. (ДЖ, 1831, № 7, с. 107).

54. ДЖ, 1825, № 4, с. 157.

55. ДЖ, 1824, № 16, с. 128, с подписью: В. К—в. Посвящено Александре Александровне Бибиковой (в замужестве Безобразовой) (ум. 1875), дочери А. А. Бибикова (1765—1822), в 1808—1810 гг. бывшего чрезвычайным посланником и полномочным министром при неаполитанском дворе.

С. Д. НЕЧАЕВ

56. ВЕ, 1823, № 10, с. 118. Описан Ростовский Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь (основан в XIV в.) на берегу озера Неро. *Мертвец, неверия нетленный низложитель* — «нетленные мощи» канонизированного церковью Димитрия Ростовского (1651—1709), церковного деятеля и писателя, похороненного в монастыре. *Лик* — здесь: множество. *Сей старец, десять люстр гробнице приседящий* — иеромонах Амфилохий (1748—1824), служивший в качестве «гробового старца» при *раке* (гробнице с мощами) Димитрия Ростовского с 1780 г. Люстр — пятилетие.

57. ДЖ, 1824, № 18, с. 206, с подписью: С. Н. Обращено к Григорию Александровичу Римскому-Корсакову (1792—1852), гвардейскому офицеру, кутиле и оригиналу, члену Союза Благоденствия, отличавшемуся образованностью и либерализмом. Написано в 1823 г.: Н. был «уволен для лечения на Кавказских минеральных водах» 18 мая 1823 г. (ЦГИА); около 14 июня туда же выехало и семейство Корсаковых (см.: РА, 1901, кн. 4, с. 550). *А ты, изменник! ты теперь* и т. д.

В 1823 г. Римский-Корсаков уехал за границу и жил в Вене, Париже и Италии до 1826 г. *Клико* — марка вина

58. МТ, 1825, № 10, с. 130, с подписью: С. Н. Обращено к декабристу Александру Ивановичу Якубовичу (1792—1845), известному как бретер и «романтическая натура», служившему на Кавказе в 1818—1823 гг.

59. ДЖ, 1824, № 14, с. 55, с подписью: С. Н. Адресат не установлен.

60. МТ, 1825, № 1, с. 49. В ст. 58 конъектура по смыслу («Но, обручен. . .»).

61. ПЗ на 1825, с. 225. Об этих стихах А. И. Тургенев писал Вяземскому 28 мая 1825 г.: «Я очень доволен стихами Нечаева: они полны мыслей и чувства. Язык чистый и благозвучный, как говорят наши профессоры» (ОА, т. 3, СПб., 1899, с. 130). Уже в 1837 г. о них упоминал поэт И. П. Бороздна как о прекрасном описании «полуденной России со стороны Кавказа» (И. П. Бороздна, Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма, М., 1837, с. 124). *Тимковский* Василий Федорович (1781—1832) — административный деятель, историк, знаток классической литературы, географии; с 1823 г. служил в Грузии при Ермолове. *Крин* — лилия. *Танаис* — древнее название Дона. *Виссон* — драгоценная (обычно белая) ткань. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, главноуправляющий Грузией, оппозиционный к правительству и популярный в радикальных кругах. Проводил суровую политику колонизации Кавказа. *Митридат* VI Евпатор (132—63 гг. до н. э.) — царь Боспорского царства, расширивший его путем завоеваний; после поражения закололся. *Игея* (Гигиея, греч. миф.) — богиня здоровья. *Тук* — жир. *Иоанн* — Иван IV (Грозный), присоединивший Астрахань в 1557 г. *Гермий* (Гермес, греч. миф.) — бог торговли. *Рамена* — плечи. *Бельт* — Балтийское море. *Биармия* — полулегендарная страна, по некоторым версиям, на побережье Белого моря. *Сарепта* — место (недалеко от Саратова), где была расположена немецкая колония секты гернгутеров. *Рифей* — Урал. *Фауна* (римск. миф.) — супруга фавна, лесного бога. *Дриада* (греч. миф.) — лесная нимфа. *Алаун* — древнее название Валдая.

62. Урания, М., 1826, с. 118, в составе «Двух посланий к Леониду». Предназначалось для альманаха «Звездочка»; набрано не было и сохранилось в цензурной рукописи (ЦГВИА) под загл. «К Лиодору»; по этой рукописи опубликовано (не совсем точно) в РС, 1883, № 7, с. 76 и ПЗ 1960, с. 784. Печ. по Урании. Написано не позднее весны 1825 г.: А. А. Бестужев, уезжая от Н. и из Москвы 23 мая 1825 г. (см.: И. М. Снегирев, Дневник, т. 1, с. 149), взял это стихотворение с собой (письмо к нему Н. от 9 сентября 1825 г. — РС, 1889, № 2, с. 320). *Пиэриды* — см. примеч. 42.

63. МТ, 1826, № 2, с. 58. Предназначалось для альманаха «Звездочка»; сохранилось в цензурной рукописи (РС, 1883, № 7, с. 71 и ПЗ 1960, с. 777, с датой: 6 ноября 1825). *Вертоград* — сад.

64. СО, 1817, № 23, с. 133, с примеч. автора: «Стихотворение сие есть вводная повесть, находящаяся в первой песне «Фингала», поэмы Оссиановой. Разделяя сего же барда поэму «Сражение при Лоре» на две песни, отрывки коей помещены в 18 нумере (1817 г.) журнала сего, принужден я был вследствие сделанного мною расположения и по другим причинам, кои объясню при издании стихотворений моих, поместить в окончание первой песни вводную повесть. Повесть сию я взял из вышеозначенной поэмы Оссиана и, распространяя оную в некоторых местах, вложил в уста Уллина, барда Фингалова. Желая мерную поэзию сделать разнообразнее, употребил я во вводной сей повести разные стопы, как то: стопу дактилическую, трохеическую, пеоническую 2-ю с дактилическою и трохеическою, пеоническую 1-ю с трохеем, и пеоническую 3-ю с анапестом. Есть ли меры сии понравятся читателям, я весьма доволен буду». *Оссиан* — легендарный шотландский бард, которому английский поэт и филолог Дж. Макферсон (1736—1796) приписал авторство своих поэм по мотивам шотландских эпических сказаний. Независимо от быстрого разоблачения подделки, поэмы получили широкую известность под именем «оссианических». «Сражение при Лоре» (отд. изд.: СПб., 1813) Олин перевел под влиянием преромантических интересов «Беседы любителей русского слова». К 1817 г. относится коренная переработка перевода с целью создания оригинальной поэмы в духе Оссиана. Полностью переделка, в которой «Каитбат и Морна» должны были завершать первую песнь, не сохранилась; публикуемое переложение было использовано О. при создании его первой оссианической поэмы «Оскар и Альтос» (СПб., 1823). *Ловитва* — охота.

65. СО, 1817, № 47, с. 60; ЖДНС, 1819, ч. 5, № 6, с. 50. Печ. по СО, 1820, № 43, с. 131. Вольный перевод 17-й оды 1-й книги од римского поэта Горация (65—8 гг. до н. э.); эпиграф — начальные строки оды. Адресат оды, по-видимому, флейтистка, лицо неизвестное; называя ее Тиндаридой, Гораций подчеркивает, что считает ее как бы новой Еленой (по «Илиаде» Гомера и другим преданиям — дочь Зевса и Леды, жены спартанского царя Тиндарея). *Сабинский холм* — Сабины, загородная вилла Горация, близ горы Лукретилис. *Тимиан* — тмин, или тимьян (чабрец). *Темпея* — Темпейская долина у горы Олимп. *Теосский певец* — Анакреонт (VI—V вв. до н. э.), поэт родом из города Теос, певец любви и веселья. *Пенелопа* (греч. миф.) — жена Улисса (Одиссея), оставшаяся верной своему странствовавшему мужу. *Цирцея* (греч. миф.) — волшебница, влюбившаяся в Одиссея и пожелавшая силой задержать его на своем острове. *Фионей* (сын Тионы) — одно из имен Вакха. *Кир* — неизвестный юноша; упоминается Горацием также в 33-й оде 1-й книги.

66. СО, 1817, № 51, с. 240; под загл.: «Ночь в Аркадии». Печ. по НА на 1826, с.189. В СО начиналась стихом «Вот взошла луна златая. . .», использованным А. С. Пушкиным в стихотворении «Ночной зефир» (1824). *Амфитрита* (греч. миф.) — супруга Посейдона, бога подводного царства.

67. СО, 1822, № 18, с. 179. Печ. по изд.: «Две элегии, посвящены памяти незабвенной супруги», СПб., 1823, с. 1. Эпиграфом к первой

публикации служили строки из стихотворения французского поэта А. Ламартина (1790—1869) «La foi» («Вера»):

Je lis dans l'avenir la raison du présent:
L'espoir ferme après moi les portes du néant,
Et rouvrant l'horizon à mon âme ravie,
M'explique par la mort l'énigme de la vie.

(Я читаю в грядущем смысл настоящего: надежда закрывает за мной двери небытия и, открывая будущее моей восхищенной душе, через смерть объясняет мне загадку жизни. — *Ред.*). Для отд. изд. эпиграф взят из пасторальной трагикомедии в стихах «Pastor fido» («Верный пастух») итальянского поэта Ж.-Б. Гварини (1537—1612). Супруга Олина скончалась в декабре 1821 г. (РИнв, 1822, № 20).

68. СО, 1822, № 88, с. 223. В качестве эпиграфа взят «Alcaie fragment» («Отрывок в духе Алкея») английского поэта Томаса Грея (1716—1771). Авторские разъяснения внесены, очевидно, по настоянию цензуры; см. примеч. 69.

69. Печ. по рукописи (ГПБ), список рукой В. А. Олениной. Ее отец, А. Н. Оленин, был заместителем попечителя Санктпетербургского учебного округа, ведавшего цензурой; Олин обращался к нему в связи с запрещением стихотворения цензором А. Красовским, усмотревшим в «Стансах» насмешки над религией. Изложение цензурного дела (апрель 1823 г.) и замечания цензора см. в кн.: «Беседы в Обществе любителей российской словесности при императорском Московском университете», вып. 3, М., 1871, с. 43. В 1820-е годы «Стансы» вместе с возражениями цензора широко распространялись в списках, в том числе и самим Олиным, как свидетельство глупости и мракобесия цензуры. В своем объяснении он писал: «В заключение гг. цензоры, сказав, что вся эта пиеса и грешна и соблазнительна, спросили меня, к кому она именно писана? К женщине или девице, к ближайшей родственнице или посторонней, говоря, что это им необходимо нужно знать, потому что по моим стихам видно, что будто бы я с этой особой имел очень тесную связь. Я отвечал им, что на будущей неделе стану говеть и исповедоваться и что тогда покаюсь священнику в грехах моих; но так как цензура не есть исповедная, а цензоры не попы, то и не нахожу никакой нужды объясняться с ними по сему предмету». В ответ цензоры, жалуясь, что Олин в обществе превратно и оскорбительно толкует их действия, ссылались и на эту его «дерзость». В цензурном объяснении Олин назвал «Стансы» подражанием отрывку из поэмы Вальтера Скотта «Рокби», однако они не связаны с этим источником. Переводы Олина из «Рокби» появились позднее (НА на 1826, с. 246; «Колокольчик», 1831, № 43, с. 165).

70. ЛЛ, 1824, ч. 1, № 1, с. 23. В отд. изд. «Корсер, романтическая трагедия в 3-х действиях, с хором, романсом и двумя песнями турецкою и аравийскою, заимствованная из английской поэмы лорда Бей-

рона под названием The Corsair» (СПб., 1827, с. 22) этот текст заменен другим.

71. ЛЛ, 1824, ч. 2, № 6, с. 231, с примеч. издателя (Ф. В. Булгарина): «Г—н Олин, известный публике с весьма выгодной стороны своими пиитическими произведениями, занимается ныне сочинением сей оригинальной поэмы, которая уже приведена к окончанию». Полностью поэма «Манфред» неизвестна (см. примеч. 72).

72. ЛЛ, 1824, ч. 4, № 19—20, с. 27. Печ. по изд.: «Кальфон, поэма», СПб., 1824, с. 51. Поэма была издана А. А. Ивановским (1791—1848), литератором, близким к декабристам, с которым, судя по напечатанному здесь посвящению, О. связывали дружеские отношения. Издатель в свою очередь снабдил книгу портретом автора, «одного из первоклассных поэтов наших», в «байронической» позе (см. в наст. изд.). «Кальфон» — вторая, после «Оскара и Альтоса», и последняя оссианическая поэма О. Основа сюжета заимствована из 5-й песни поэмы «Фингал»; английский текст этого отрывка напечатан в конце книги. Во «вступлении» отмечены внесенные изменения, обоснован выбор стихотворного размера (4-стопный ямб) и сообщается, что автор работает над оригинальной поэмой «Манфред» из жизни Италии эпохи феодализма. В первой публикации к строкам отточий примеч. издателя (Ф. В. Булгарина): «...точки поставлены самим сочинителем».

73. Альбом северных муз на 1828 год, с. 260, с подписью: NN. Под этой же подписью в данной книжке журнала напечатано заведомо принадлежащее Олину стих. «Две розы» (с. 252). Позднее оно было перепечатано в «Колокольчике» (1831, № 26, с. 102), как и стих. «К Аглае» (№ 29, с. 115), под астронимом: *****; второе из них с полной подписью см.: НЛ, 1825, кн. 12, с. 142.

В. С. ФИЛИМОНОВ

74. Печ. по отд. изд. («Дурацкий колпак», СПб., 1828), включившему первую часть поэмы. Сам Ф. относил начало работы над поэмой к 1824 г. (Бабочка, 1829, № 5, 16 января, с. 1). Последующие части Ф. печатал фрагментами в разных журналах и альманахах (МВ, 1828; НА на 1828 и 1829; Бабочка, 1829—1830; Денница на 1831). Отдельное издание второй части вышло в том же 1828 г. (ц. р. 23 ноября 1828 г.), частей 3—5 — в 1838 г. Первую часть поэмы Ф. посылал Грибоедову и Пушкину со стихотворными посвящениями (МВ, 1828, № 16, с. 321; см.: Пушкин, Письма, 1, с. 398). Пушкин, получив стихи Ф. (утром 22 марта 1828 г.), ответил в тот же день посланием «В. С. Филимонову», с парафразой первых строк поэмы («Вам музы, милые старушки» и т. д.); автограф этого стих. хранился у Ф. и был опубликован впервые в изд.: «Невский альбом, издаваемый Николаем Бобылевым. Год второй», СПб., 1840; с издателем его Ф. был связан и поместил у него несколько своих стихотворений. 13 апреля 1828 г. Ф. праздновал выход книги, пригласив Пушкина, Вяземского, Жуковского, А. Перовского и др. (ЛН, 1952, № 58, с. 75; В. Э. Вацуро,

М. И. Гиллельсон, Сквозь «умственные плотины», М., 1972, с. 195). Положительные отзывы о книге Ф. дали И. И. Дмитриев и Вяземский; отрицательные появились в СПч в 1828 и 1829 гг. («Ученые записки Московского обл. пед. института», 1958, т. 66, вып. 4, с. 68). *Убор профессорский весь золотом расшит.* В 1819 г. Ф. был избран почетным членом Московского университета. *К пятой степени, в чинах.* В 1822—1828 гг. Ф. имел чин статского советника (пятая степень по Табели о рангах). *Д'Арленкур* Шарль Виктор (1789—1856) — французский писатель; его романы (в особенности «Отшельник») пользовались широкой популярностью в эпоху сентиментализма и преромантизма. Упоминание о «д'Арленкуровых вздыхателях» см. также в романе Ф. «Непостижимая» (ч. 1, СПб., 1841, с. 25). Эпиграф к гл. 1 — видоизмененная формула из «Диалогов мертвых» Бернара Фонтенеля (1657—1757): «Все приходят в мир заново, и глупости отцов пропадают для детей». *Аркадия* — в поэзии — страна идиллических патриархальных нравов. *Мещанская* — улица в Москве, разночинный район города. *Бригадир* — старинный воинский чин (между полковником и генерал-майором); был уничтожен при Павле I. *Товарищей имел двух славных молодцов.* Возможно, речь идет о Н. М. Количицком (ум. 1807) и Ф. Я. Ваксмуте (ум. 1813), памяти которых посвящена виньетка в книге Ф. «Проза и стихи» (1822) и стих. «К незабвенному»; по-видимому, их же он упоминает под именами Неандра и Филалета в стих. «К друзьям отдаленным» (там же) и во второй части поэмы (СПб., 1828, с. 44). *Щастливые мгновенья!* Написание «щастье» вместо «счастье» у Ф. принципиально; в третьей части поэмы он пишет о неблагозвучии сочетания «сч» и каламбурно обыгрывает орфографию слова и славянские названия букв:

В нем *слова* и *червя* в замену
Я букву *ща* пишу одну...
Иные пусть ползут *червями*,
Куда ползти им суждено;
А я останусь — со *щами*.
Для щастья ж это всё равно.

(«Дурацкий колпак», СПб., 1838, с. 32). *Ферула* — линейка, служившая и для наказания школьников. *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ. *И Хемам, Логиям, и Истикам, и Икам.* Иронические обозначения философских терминов по общеупотребительным суффиксам (ср.: система, онтология, софистика, логика). *Эпир* — область в Греции. *Мильтиад* — греческий полководец, победитель персов при Марафоне (490 г. до н. э.). *Камилл* (V—IV вв. до н. э.) — римский полководец, неоднократно бывший диктатором и получавший триумф. Эпиграф к гл. 2 — из 1-й части «Фауста» Гете. Источник второго эпиграфа не установлен. *Окатонился* — сделался суровым и ригористичным (по имени римского государственного деятеля Катона). *Плутарх* (ок. 46—125), *Ливий* Тит (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.), Гай *Саллустий* Крисп (86—35 гг. до н. э.), *Тацит* (ок. 55 — ок. 120) — античные историки. *Стерн* Лоуренс (1713—1768) — английский писатель, широко популярный среди русских сентименталистов. *Пылка, неистова, безмерна Первоначальная любовь!* Историю своей первой любви Ф. описал в автобиографическом романе в письмах «Валерий и Алевтина» и в послании «К Лауре» (1809; ср. ниже упоминание

о Петрарке, воспевавшем Лауру — замужнюю женщину). Строки поэмы: *Во мне текла не рыбья кровь.. Любви веселой я не знал* были процитированы Ф. и в романе «Непостижимая» (ч. 1, с. 46). Как явствует из автобиографических намеков в этих произведениях, возлюбленная Ф. против воли вышла замуж; взаимная любовь приняла после этого драматический характер. *Я на лету не рвал мгновенье* — намек на знаменитую формулу Горация «Carpe diem» («Лови мгновенье»). *Я полюбил его ученье* и т. д. С поэзией Горация Ф. познакомил В. Ф. Тимковский (см. примеч. 61); пользовался он и консультацией его брата Р. Ф. Тимковского (1785—1820), историка, профессора Московского университета («Проза и стихи», ч. 2, с. 126). В. Ф. Тимковский был дружен с Ф. (к нему относится характеристика «обэпикуренный Катон» в галерее друзей Ф. — «Дурацкий колпак», часть 4, глава — *с итогом*); по воспоминаниям К. Полевого, он знал «чуть не наизусть» Горация и постоянно цитировал (Полевой, с. 133). Наиболее ранние переводы Ф. из Горация датированы 1815 г.; в 1820-х годах Ф. систематически выступает с ними в журналах и альманахах. Список «Од» Горация в своем переводе Ф. в 1821 г. подарил А. С. Шишкову (ф. Шишкова в ЦГИА). Кульминация увлечения Горацием продолжалась, по словам Ф., «года два» (см. о ней главу 23 в 3-й части поэмы; время действия этой части, согласно проставленным Ф. датам, — 1822—1824 гг.). *Билет на постой* — официальное разрешение на размещение военных на частных квартирах. *Доломан* — гусарский мундир. *Гросфатер* — старинный танец. *Сталь* — см. примеч. 77. *Москва* — московский поход Наполеона в 1812 г. *Бриенна* — сражение при Бриенне 17 (29) января 1814 г., где русские войска сдержали натиск французской армии и расстроили военный план Наполеона. *Эльба* — ссылка Наполеона на остров Эльбу (1814—1815). *Где тот?..* Эта строфа — переход ко второй части поэмы, прерванный лирическим отступлением и концовкой. Фрагмент о Наполеоне во второй части начинается словами: «Где тот, где гений разрушенья»; в свою очередь он является переработкой более раннего стих. Ф. «Судьба Наполеона» («Где тот, кому был тесен мир...», 1821, — «Проза и стихи», ч. 2, с. 57).

А. Г. РОДЗЯНКА

Основным источником текста стихов Р. служит тетрадь его произведений 1812—1840 гг., составленная им для жены, Н. А. Клевцовой, в 1838—1840 гг.; была прислана автором А. С. Норову и сохранилась в собрании последнего в ГБЛ (далее: Сб. ГБЛ). Она представляет собою писарскую копию, с некоторыми ошибками переписчика. Стихи в ней, как правило, датированы и дают ряд разночтений к более ранним печатным текстам. Небольшое количество автографов и копий стихов Р. сохранилось в разных фондах ПД и фондах А. С. Норова в ГБЛ и ЦГАЛИ.

75. Дух журналов, 1816, кн. 37, с. 484 (ст. 1—24); полностью — «Дух журналов», 1816, кн. 50, с. 1123, под загл.: «Призвание на вечер А. Е. Р. (Анакреонтические стихи)» и с примеч.: «Сии стихи ошибкою напечатаны были без конца в 37 книжке сего издания.

Просим уничтожить их там; здесь оне сполна. Примеч.⟨ание⟩ Издат.⟨еля⟩»; НА на 1826, с. 271. Печ. по Сб. ГБЛ; предпоследний стих, пропущенный переписчиком, восстанавливается по печатным изданиям. *Цитерея* (греч. миф.) — Венера. *Рея* (греч. миф.) — супруга бога времени Кроноса, правление которого считалось идиллическим «золотым веком».

76. «Временник Пушкинской комиссии, 1969», Л., 1971, с. 53 (ст. 73—76, 89—94, 189—214). Печ. по Сб. ГБЛ. Сатира отражает рост общественно-политического скептицизма в 1822—1823 гг., характерный, в частности, для Пушкина и декабристских кругов. В центре ее стоит дебатировавшаяся еще в XVIII в. проблема терпимости — политической и религиозной (ср., например, знаменитый трактат Вольтера «О терпимости», 1763). Первые зерна «нетерпимости» Р. видит в самом существе «спора», который он рассматривает как форму интеллектуального деспотизма одной стороны над другой. Тем самым проблема «нетерпимости» обращается как против правительствующей группы и официальной и неофициальной церкви, так и против «спорщиков», идеологов тайных обществ. *Конклав* — собрание кардиналов, избирающее папу. *Диван* — здесь: собрание сановников на Востоке. *Муфти* — ученый-юрист и богослов у мусульман. *Иман* (имам) — духовный глава у мусульман. *Бонз* (бонза), *талапоин, лама* — обозначения буддийских монахов. *Державину ль Хвостов невольно рукоплещет* и т. д. Имена Державина и графа Д. И. Хвостова (1757—1835), плодовитого, но бездарного поэта, употреблены Р. в нарицательном смысле, для обозначения традиционной ситуации: гений, преследуемый завистью посредственности. Реальные литературные отношения Державина и Хвостова не были враждебными. *Гиберт* Жак-Антуан-Ипполит (1743—1790) — военный писатель и теоретик. *Констан* Бенжамен (1767—1830), *Лафает* Мари-Жан-Поль (1757—1834), *Прадт* Доминик Дюфур де (1759—1837) — крупные деятели либеральной оппозиции в период Реставрации. *Жомини* Генрих, барон (1779—1869) — известный военный теоретик. *Трощинский* Дмитрий Прокофьевич (1754—1829) — вельможа, деятель украинской аристократической оппозиции, популярный в декабристских кругах, лично знакомый Р. *Финарди* — артист, гастролировавший в Москве в 1818 г. *Ум Греча.* Николай Иванович Греч (1787—1867), педагог и журналист, издатель «Сына отечества», славился своим остроумием. *Макассар* — государство на юго-западе острова Целебес. *Глебов* Дмитрий Петрович (1789—1843) — поэт, поздний сентименталист. *И Дибичу в глаза расскажет, как Вандам Разбит* и т. д. Иван Иванович Дибич (1785—1831) был генерал-квартирмейстером союзных войск в битве при Кульме, где был разбит и взят в плен генерал Иосиф-Доминик Вандам (1771—1830); он же принимал непосредственное участие в походе к Парижу в 1814 г. *Энтимема, дилемма* — виды логических фигур. *Собор библейский* — Российское библейское общество, в 1820-х годах центр мистицизма и обскурантизма. *Криднерша* — баронесса Варвара Юлия Криденер (1764—1824) — писательница, политический деятель и религиозный проповедник реакционно-мистического толка, идеолог Священного союза. *Антиной* — прекрасный юноша, фаворит римского императора Адриана (76—138). В Риме существовал культ Антиноя. *Нарышкина*

Мария Антоновна, урожденная кн. Четвертинская (1779—1854) — одна из самых блестящих красавиц петербургского света, фаворитка Александра I. *Бога Пифагор увидел в тайне чисел.* Пифагорейцы, последователи греческого философа и математика Пифагора (V в. до н. э.), рассматривали числа как божественное начало всего существующего. *Отец механики в жару больного мненья* и т. д. Речь идет о попытках Исаака Ньютона (1643—1727) объяснить все явления природы из теории сил и механических движений. *Погасшим солнцем тот вам землю выдает* и т. д. Имеются в виду космогонические гипотезы Лейбница (1683) и Бюффона (1745); первый полагал, что Земля, остывая, покрывалась «стекловидной корой»; второму принадлежит гипотеза о Земле как «маленьком солнце», оторвавшемся от Солнца и потом охладившемся. *Соборы Греции* — собрания высших должностных лиц восточной (православной) церкви; на некоторых соборах были осуждены разные виды ересей. *Приступ Магометов* — видимо, взятие Мекки основателем ислама Магометом (Мохаммедом, 571—632); шире — кровопролитные религиозные войны 623—630 гг. *Костры Иберии* — массовые сожжения еретиков испанской инквизицией в XV—XVI вв. *Германии пожар* — Реформация и связанная с нею религиозная война. *Стыд, мрак Италии* — деятельность папской курии в Ватикане. *Парижа голод, бунт* — выступление парижан на стороне католицизма и Лиги против гугенотов в 1572 г.; во время последовавших осад в городе свирепствовали чума и голод. *Разбой в отчизне Теля* — религиозные войны в Швейцарии в XVI в. и преследования еретиков, возведенные в принцип женевским вождем протестантов Ж. Кальвином. *Гусс* — чешский реформатор Ян Гус (1369—1415); войны его последователей против короля Сигизмунда и крестоносцев продолжались с 1420 по 1431 г. Имя Гуса в данном случае употреблено в нарицательном смысле: противник церковной ортодоксии, «еретик». *Их сын бежал на Русь.* Возможно, Родзянка имеет в виду голландского авантюриста Бомелия (ум. 1569?), бежавшего из Германии в Москву и ставшего придворным врачом Ивана IV; в летописях Бомелий характеризуется как «немчин» и «еретик».

77. «Временник Пушкинской комиссии, 1969», Л., 1971, с. 57 (ст. 17—24, 31—75, 79—118). Печ. по Сб. ГБЛ. Ст. 76—110 процитированы Р. в письме А. С. Норову от 22 декабря 1839 г. (ГБЛ); по этому источнику исправляются ст. 87, 98. Сатира Р. распространилась в литературных кругах в 1823 г.; 10 мая о ней писал В. И. Туманский сестре, как об удачной литературно, но противной его образу мыслей и «недостойной Родзянки» — по нападениям как на Пушкина, так и на других лиц, которых «скорей одобрять, нежели порицать... должно» (В. И. Туманский, Сочинения и письма, СПб., 1912, с. 250). В июне 1823 г. сатира стала известна и Пушкину. В 1824 г. она была прислана Р. в ОЛСНХ и читалась (видимо, в литературно-полемической своей части). Памфлет Р. продолжает и конкретизирует «Споры» и направлен против грозящего деспотизма «демагогов», якобы стремящихся к личной власти; в нем отразились кризисные настроения в либеральных и даже декабристских кругах, связанные с распадом Союза Благоденствия и усилением политической реакции. Противопоставление «двух веков» — XVIII и XIX — как века

«расцвета» и века «упадка» нередко в дидактической сатире 1820-х годов (см.: «Век Елисаветы и Екатерины» Туманского, № 142). См.: В. Э. Вацуро, Пушкин и Аркадий Родзянка. — «Временник Пушкинской комиссии, 1969», Л., 1971, с. 56, где предложено обоснование адресатов сатиры. Образцом для Р., возможно, явилась сатира Вольтера «Два века» (1771). *Когда умели мы писать, смеяться, бить.* Ср. у Вольтера: «В наши дни мудрость имеет над нами такую власть, что мы разучились смеяться» («Два века»). *Давая жить другим* и т. д. Парафраза стиха Державина из оды «На рождение царицы Гремиславы...» (1796). *Из школ еще кричим: «Народное богатство!..»* и т. д. Речь идет о широком увлечении русского общества проблемами политической экономии (А. Смитом, Бентамом и др.). *Зато уж важный Клит* и т. д. Можно думать, что Р. имеет в виду одного из лидеров Союза Благоденствия Н. И. Тургенева (1789—1871) или, что менее вероятно, Чаадаева (см. ниже). Н. И. Тургенев имел репутацию честолюбца с сильной волей и в то же время кабинетного мыслителя; он чуждался женщин и общества. *Лапласа ученик* — религиозный вольнодумец: выдающийся математик Пьер-Симон Лаплас обосновывал естественное происхождение мира, без вмешательства божества. *Квирога* (Кирога) Антонио (1784—1841) — испанский революционер, возглавивший заговоры в 1815 и 1819—1820 гг.; имя Квироги было популярно в декабристских кругах. *За ним его Пилад, либералист Клерак.* По-видимому, имеется в виду поэт Ф. Н. Глинка (1786—1880), в 1819 г. близкий к Н. Тургеневу; в 1821 г. они вместе представляли Петербург на съезде Союза Благоденствия в Москве; их имена связывались и в секретных политических донесениях. *В законодатели военной скороспелкой.* Глинке принадлежат «Письма русского офицера» и ряд статей по военному делу и военной истории. *Шарада в действии.* Глинка был автором многочисленных шарад, в том числе крайне острой политически шарады «Престол», прочитанной на заседании «Зеленой лампы» во второй половине октября 1819 г., т. е. в период, когда Р. посещал общество. *Каламбур живой* — может быть, намек на фамилию Глинки. *К честям широкий путь он видит пред собой.* Глинка был чиновником особых поручений при петербургском генерал-губернаторе гр. М. А. Милорадовиче и пользовался его неограниченным доверием; репутация его как честолюбца, которому успехи и лесть «совершенно вскружили голову», поддерживалась в охранительных кругах (см.: Базанов, с. 209 и др.). *Морепа* Жером, граф (1701—1781) — французский политический деятель, известный как беспринципный интриган. *Иль Корд, защитник их, оратор-гастроном.* Речь идет о старшем брате Н. И. Тургенева, А. И. Тургеневе (1784—1845), государственном деятеле, литераторе, собирателе исторических документов, одном из близких друзей Пушкина; общеизвестным было его восторженное отношение к младшему брату, равно как и его гурманство и постоянные разъезды с визитами. *Вчерашний Дидерот, сегодняшний библейщик.* Определение Тургенева как «Дидерота», «не верящего ничему», т. е. как атеиста или религиозного вольнодумца, не оправдано. С 1812 г. Тургенев был секретарем Библейского общества и одним из ближайших сотрудников министра просвещения, мистика А. Н. Голицына. *Знатен и почтен.* В феврале 1819 г. А. И. Тургенев получил звание камергера (РИнв, 1819, 26 февраля, с. 191); к 1821 г. был

действительным тайным советником, членом Государственного совета, Комиссии составления законов, директором департамента в министерстве Голицына. *Индеек за труды ждет малую толику.* Парафраза из басни И. И. Дмитриева «Лиса-проповедник» (1805). *С ним гений Дамазит* и т. д. Намек на Пушкина, связанного в это время с Н. И. и А. И. Тургеневыми. Это место сатиры вызвало возмущение В. И. Туманского (см. выше) и Пушкина (см. его письмо А. А. Бестужеву от 13 июня 1823 г.). *Два иль три ноэля* — «Сказки. Noёl», из которых в настоящее время известен один («Ура! в Россию скачет...», 1818). *Гимн Занду* — стих. Пушкина «Кинжал» (1821). Занд, Карл Людвиг (1795—1820) — немецкий студент, убивший в 1820 г. агента русского правительства драматурга А. Коцебу и казненный в том же году. *Лувель* Пьер (1783—1820) — рабочий, бонапартист, убивший 13 февраля 1820 г. герцога Беррийского, возможного наследника французского престола. Р. рассказывал А. И. Михайловскому-Данилевскому, что видел сам, как Пушкин показывал в театре портрет Лувеля с надписью «Урок царям», и что стихи его не вымышлены, а списаны с натуры (РА, 1866, с. 1097; PC, 1890, № 11, с. 505). *Ругательств с рифмами разносчик под рукой* — может быть, П. А. Вяземский, автор многочисленных эпиграмм. *Где острое словцо лет многих губит труд* — возможно, намек на осуждение декабристами первых томов «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина (1818), монархическая тенденция которой вызвала несколько эпиграмм. *И с веком наравне* и т. д. — цитата из послания Пушкина «К Ч⟨аадае⟩ву» (СО, 1821, № 35), где дается, в частности, портрет Чаадаева как кабинетного мудреца и политического спорщика. *«Други, дам Я конституцию двумстам моим душам!»* Намек на широко распространившиеся в 1819—1820 гг. проекты вольномыслящих помещиков (Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин) освободить собственных крестьян. *«Недовольный»* — в политической фразеологии 1810—1820-х годов обычное терминологическое определение оппозиционера. *Но как я изложу в словесности отчет!* и т. д. Воинствующая антиромантическая позиция, занятая Р., близка к критике немецкой литературы и эстетики в «Благонамеренном» 1820-х годов; однако сложилась она раньше, еще в 1810-х годах: аналогичную позицию занимали «Вестник Европы» и «Дух журналов», где сотрудничал Р. (см.: Мордовченко, с. 144—145). *Брут, Цинна* — герои римской истории, излюбленные действующие лица классической трагедии. Здесь, как и в дальнейшем, идет речь о смене «классического» репертуара «романтическим», в частности в театре. *Гассан, Джаур* — герои поэмы «Гяур» Байрона. *Радклиф* Анна (1764—1823) — автор так называемых «готических романов», или «романов тайн и ужасов», получивших в 1810-х годах широкое распространение в России; в романах этого типа обычны сверхъестественные события и персонажи. *И Сталь кипящая, плененная собою* и т. д. Романтическую теорию национальной обусловленности «вкуса» Р. связывал прежде всего с выходом трактата «О Германии» (1810) Жермены де Сталь (1766—1817); на эту работу он резко напал и в своей более ранней пародии на баллады Жуковского («Певец», 1817 — Сб. ГБЛ).

78. Печ. впервые по Сб. ГБЛ. Вольный перевод элегии Парни «Que le bonheur arrive lentement...»; переводилась также Батюшковым («Элегия», 1804 или 1805).

79. НЛ, 1824, кн. 10, ноябрь, с. 38, под загл.: «Послание к А. И. М⟨ихайловскому⟩-Данилевскому». Печ. по Сб. ГБЛ. Было послано Р. в авторизованной копии при письме Михайловскому-Данилевскому от 12 сентября 1824 г. из села Родзянок в Кременчуг, где в это время находился адресат (ПД). *Михайловский-Данилевский Александр Иванович* (1790—1848) — генерал-майор, военный писатель, в своих записках оставил характеристику Р. как «одного из отличных наших поэтов», одаренного «пламенным воображением и обширною памятью», но страдавшего недостатком образования, которое ограничивалось «понятиями, почерпнутыми из писателей века Людовика XVI» (PC, 1900, № 10, с. 214). Общение Р. с Михайловским-Данилевским и обмен книгами и письмами особенно интенсивен в 1824—1825 гг. (ряд писем ему Р. — ПД). *Меценат* Гай Цильний (род. ок. 70 г. до н. э.) — богатый римский вельможа, приближенный императора *Августа* (63 до н. э. — 14 н. э.), покровитель поэтов. См. обращенную к нему оду Горация — Carmina, III, 29. *Тибур* — город в Лациуме. *Под сабинским. . .небом.* В Сабине находилось имение Горация. *Эольский* — эолийский, принадлежащий племени эолийцев. *Фалерн* — одно из лучших вин Италии, часто упоминаемое у Горация. *Моэт* — марка вина.

80. Печ. впервые по Сб. ГБЛ. С этим стихотворением тематически связано второе — «Она жива» (Сб. ГБЛ). *Пигмалион* (греч. миф.) — скульптор, влюбившийся в созданную им статую Галатеи и ожививший ее.

81. Печ. впервые по Сб. ГБЛ. В 1830 г. эпидемия холеры охватила южные области страны. *Башилов Иван Александрович* — повидимому, дядя поэта А. А. Башилова (см. адресованное ему стихотворение последнего «Ямбы» — МН, 1837, т. 3, кн. 1, с. 99, где он характеризуется как «мудрец Украйны»). Помещичье семейство Башиловых известно в Хороле в начале XIX в. (картотека Б. Л. Модзалевского, ПД). *Верниo* Пьер-Виктюрниен (1753—1793) — политический деятель, глава жирондистов; гильотинирован по приговору Конвента. *Барнав* Антуан-Пьер (ок. 1761—1793) — политический деятель, сторонник конституционной монархии; гильотинирован в 1793 г. *Тираны Франции* — якобинцы.

82. «Русское обозрение», 1897, № 5, с. 420; вторично — Н. Ф. Сумцов, А. С. Пушкин. Исследования, Харьков, 1900, с. 329; обе публикации с неточностями. Печ. по Сб. ГБЛ. Автограф — в Рукописном отделении Института литературы им. Т. Шевченко АН УССР (Киев).

83. Печ. впервые по Сб. ГБЛ. Датировке не поддается. Посвящено, по-видимому, Н. А. Клевцовой.

В. И. ПАНАЕВ

Наследие П. собрано не было. Единственный его сборник — «Идиллии Владимира Панаева», СПб., 1820 (далее — Идиллии); экземпляр с его авторской правкой (возможно, для переиздания) —

ПД (далее — Идиллии ПД). Даты идиллий — в оглавлении сборника.

84—90. 1. Благ., 1818, № 2, с. 144. Печ. по Идиллии ПД, с. 31. Идиллия под этим же заглавием, но в прозе была прочитана П. в ОЛСНХ 31 января 1818 г.

2. Благ., 1819, № 3, с. 135. Печ. по Идиллии ПД, с. 42.

3. Благ., 1818, № 12, с. 263, с подписью: В — р. П — в. Вошло в Идиллии. Читалось М. В. Милоновым в ОЛСНХ 24 октября 1818 г. *Аониды* (греч. миф.) — музы.

4. Благ., 1819, № 1, с. 3. Печ. по Идиллии, с. 55.

5. Благ., 1820, № 2, с. 115. Вошло в Идиллии. Читалось в ОЛСНХ во второй половине 1819 г.

6. Идиллии, с. 79. Напечатано также в Благ. (1820, № 11, с. 366) с отзывом о книге.

7. Соревн., 1820, ч. 9, кн. 3, с. 320. Вошло в Идиллии. Читалось в ОЛРС 23 февраля 1820 г. Б. Федоров отмечал близость этой идиллии к элегиям («Владимир Иванович Панаев, Воспоминание с обозрением его идиллий», СПб., 1860, с. 45).

91. Соревн., 1821, ч. 14, кн. 2, с. 190. Вписано П. в альбом С. Д. Пономаревой (ПД) 3 июня 1821 г. Читалось в ОЛРС 21 марта 1821 г. Написано в 1820 г. во время посещения поместья Панаевых в Тетюшах после продолжительного отсутствия. Стихи эти П. предполагал вставить в свои мемуары, где есть описание окрестностей Тетюшей, ключа «Гремяч», двух «древних болгарских минаретов» на противоположном берегу Волги и т. д. (ВЕ, 1867, № 9, с. 208). *Того бессмертного певца* — Г. Р. Державина. Далее речь идет об И. И. Дмитриеве и Н. М. Карамзине. Детство всех троих прошло на Волге (Казань, Симбирск).

92. Памятник отечественных муз на 1827 г. с. 14 втор. паг. Положено на музыку С. И. Донауровым.

93. НА на 1827, с. 98.

Б. М. ФЕДОРОВ

Количество отдельных изданий статей, стихотворений, драм Ф. исчисляется десятками; среди них сборники стихов: «Минуты смеха, или Собрание некоторых забавных стихотворений Бориса Федорова», СПб., 1814; «Опыты в поэзии Бориса Федорова», ч. 1. СПб., 1818; «Вечерние рассказы. Собрание повестей и преданий в стихах», СПб., 1829; «Гитара и свирель, или Собрание песен и романсов Б. Федорова», СПб., 1829 (далее — Гитара и свирель); «Детские стихотворения», СПб., 1829; «Эзоповы басни в стихах, изданные для детей

Б. Федоровым», СПб., 1829 (далее — Эзоповы басни). Я. К. Грот упоминал о неизданном, имевшемся в корректуре сборнике «Стихотворения Б. Федорова», СПб., 1840 (Г. Р. Державин, Сочинения, т. 9, СПб., 1883, с. 509). Сборник этот не разыскан.

94. РИнв, 1822, 2 марта, с. 220. В 1868 г. Ф. писал К. С. Сербиновичу: «Пушкину понравились мои стихи из послания к Норову (помещен⟨ного⟩ в Доме Жур⟨налов⟩ 1816 г.) — он выписал несколько стихов — а они вошли в собрание его сочинений! То же было и с другою моею пиесою «Терпение», помещенною некогда в Рус.⟨ском⟩ Инвалиде еще при Пезаровиусе. Она приписана Пушкину» (ЦГИА; в первом случае речь идет об отрывке «И где, как и всегда бывало, С тех пор, как видим белый свет, Ученых много, умных — мало, Знакомых тьма... а друга нет!» — «Дух журналов», 1817, № 2, с. 86).

95. ВЕ, 1822, № 19, с. 211 и одновременно Благ., 1822, № 39, с. 512, оба текста с подписью: Д. Врс-въ. Принадлежность Ф. устанавливается записью в дневнике его сослуживца и приятеля Сербиновича: «Его (Ф. — *Ред.*) „Союз поэтов“ напечатан в „Вестнике Европы“» (ЦГАЛИ; запись 30 октября 1822 г.). Из записи Сербиновича следует и принадлежность Ф. критической статьи «Разговор о романтиках и о *Черной речке*» (Благ., 1823, № 15, с. 169), подписанной: Д. В. р. ст-въ. «Союз поэтов» связан с нею, а также с другими выступлениями против «новой школы поэтов»: самого Ф. («Сознание», «К некоторым поэтам» — Календарь муз на 1826 г., с. 159), О. М. Сомова, А. Е. Измайлова, Н. Ф. Остолопова. В протоколах ОЛСНХ за 1822 г. и отчете за 1823 г. ни «Союз поэтов», ни «Разговор о романтиках» не упомянуты. О литературной вражде Ф. и Дельвига см. в примеч. Б. В. Томашевского в кн.: А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1959, с. 316. *Союз поэтов* — обозначение, ведущее начало от стихотворной декларации Кюхельбекера «Поэты» (1820); стихотворение это вызвало полемику, принявшую и политический характер (Базанов, с. 141). *Сурков* — Дельвиг; его сонливость и леность были предметом эпиграмм «измайловцев», в том числе Ф. (Благ., 1823, № 37, с. 416; № 39, с. 515; Совр., 1854, № 9, отд. 3, с. 43, и др.). *Тевтонов* — Кюхельбекер. *Барабинский* — Баратынский. Ср. оценку Баратынского как «посредственного поэта» в заметке Ф. 1828 г. («Отчет Императорской публичной библиотеки за 1907 г.», СПб., 1914, с. 43, приложения) и его же «Характеристику Баратынского» (РА, 1901, № 2, с. 347; 1871, № 7—8, с. 971). *Мой Гораций* — формула из послания Баратынского «Дельвигу» («Так, любезный мой Гораций...», 1819); ср. ответ Дельвига: «За то ль, Евгений, я Гораций...» (1819). Обращение «мой Гораций» см. также в разговоре Неучинского (Баратынского) и Лентяева (Дельвига) в памфлете Ф. Булгарина «Литературные призраки» (ЛЛ, 1824, № 16, с. 99). *О Гений на все роды!* — отзвук полемики об иерархии литературных жанров. По-видимому, восходит к замечанию Батюшкова в его «Речи о влиянии легкой поэзии на язык»: «В словесности все роды приносят пользу языку и образованности». Ср. «Разговор о романтиках...» (Благ., 1823, № 15, с. 171). *О баловень природы!* Об употреблении этой формулы см.: Совр., 1853, № 5, отд. 3, с. 54. В данном случае речь идет о послании Кюхельбекера

«К Пушкину и Дельвигу (из Царского Села)» (1818), где есть строка «питомцы, баловни и Феба и Природы» и употреблена формула «тройственный союз». Ср. «К некоторым поэтам» Ф.: «Как часто, баловни-певцы, О поцелуях вы твердите» и т. д. *Видения слагайте.* Намек на стихотворения Дельвига и В. Туманского под названием «Видение». *Слепую нас толпу, счастливцы, забавляйте.* См. примеч. 111. *Условные желанья* и т. д. Образцы распространенных элегических формул. *В окно, не зря, глядите!* — строка из стих. Баратынского «Бдение» (1821), осмеянная в статье Н. А. Цертелева «Новая школа словесности» (Благ., 1823, № 6, с. 437). *Чашами стучите!* Ср. у Баратынского: «Там в чаши чашами стучали», «Пируйте, други, стуком чаш, Авось приманенная радость Заглянет снова в угол наш» (Пиры, ред. Соревн., 1821); «И где ж брега Невы? где чаш веселый стук» («Послание Б... Дельвигу», 1820); см. также примеч. 96. *Беспечность, свободу В кустах огорода* и т. д. — парафразы из стих. Дельвига «Мой домик» (1822). *Венки брусники алой* — цитата из стих. Кюхельбекера «К брату» (1819).

96. Благ., 1823, № 11, с. 342, с подписью: — й. Ф. сообщил В. П. Гаевскому о своем авторстве (Совр., 1853, № 5, с. 17). *И дикомрачным важным тоном Моих бессмыслиц не читал.* Гаевский писал (со слов знакомых Дельвига), что Дельвиг читал стихи торжественно и мрачно, подражая Гнедичу. Ср. в эпиграмме Измайлова: «Нахмурившись гудит, Как пес, рычит и воет», и ст. 15. *Любви порхать по огороду* — парафраза из стих. Дельвига «Мой домик». *Пить слезы в чаше бытия!* — парафраза из «Элегии» Дельвига («Когда, душа, просилась ты...», 1823). Пародийное упоминание «чаши бытия» есть в «Сатирической газете» (Благ., 1823, № 3, с. 238) и в фельетоне Ф. Булгарина «Литературные призраки». Метафора, однако, удержалась в русской поэзии («Две чаши» С. Шевырева, 1826; «Чаша жизни» Лермонтова, 1831). *Как конь взвивался над могилой.* Имеется в виду «Романс» Дельвига («Одинок, в облаках месяц плыл туманный...», 1822). *Как веет матери крыло* и т. д. См. «Видение» В. И. Туманского. *Очей, увлаженных желаньем* — парафраза из стих. Баратынского «Дориде» (1822). *Певца гетер.* См. стих. Дельвига «Романс» («Вчера вакхических друзей...», 1823): «Стучите чашами громчей; Дружней гетер и Вакха пойте»). Ср. в статье «Разговор о романтиках...»: «Шиллер, Бейрон, Мур, Жуковский и Пушкин... скорее отказались бы от славы своей, чем согласились считаться *однородными* певцам *любви кипящей, гетер* и проч.» (Благ., 1823, № 15, с. 172). *Я — как шарад — понять не мог.* Уподобление шарадам «романтических стихов», которые «так же загадочны (т. е. содержат перифрастические метафоры. — *Ред.*) и так же не имеют цели», см. в статьях Н. А. Цертелева (Благ., 1823, № 6, с. 435, № 13, с. 66) и в «Разговоре о романтиках...» Ф. (с. 171).

97. Соревн., 1823, ч. 23, кн. 1, с. 64, под ошибочным загл.: «Одобрение» и с датой: 22 мая 1823 (дата чтения, а не написания). Печ. по Благ., 1823, № 17, с. 303, где есть примеч. автора, указывающее на ошибки первой публикации и содержащее полемический экскурс (см. ниже). Стихотворение писалось для чтения в торжественном собрании ОЛРС в доме Державина 22 мая 1823 г. (см.: Базанов,

с. 290 и сл.); 19 мая оно было представлено на последнее подготовительное собрание «соревнователей» и читано 22 мая. «Несколько стихов» из него в тот же день А. И. Тургенев послал П. А. Вяземскому. 25 мая он писал: «В стихах Федорова, кои также доставлю, много хорошего, и публика была ими очень довольна. Он более всех захлопан (чуть не сказал ухлопан)» (ОА, т. 2, с. 325). Совершенно иную оценку стихам Ф. дал А. А. Бестужев в письме Вяземскому 23 мая: «Борис Федоров — гадок, словесный вор и чтец преотвратительный — не знаю, как и когда прошла сквозь оппозицию его пьеса» (ЛН, 1956, № 60 (1), с. 204). Мнения Вяземского и Бестужева почти совпали: Вяземский писал А. И. Тургеневу 31 мая: «Что значат первые четыре стиха Федорова? Нет в них никакой связи»; в письме 3 июня он высказывается еще резче: «Что за стихи у Федорова, когда нет почти ни одной путной рифмы! Посмотри на его «Ободренье», под которое не подпишу одобренья» (ОА, т. 2, с. 327, 329). Отклик на «Ободрение» появился и в СА, где рецензент (видимо, Ф. Булгарин) ядовито заметил, что автор оды «в самых убедительных выражениях» изъяснил, что «*ободрение публики* есть первая и необходимая вещь для поэта», и достигнул своей цели, ибо «благосклонная публика вняла гласу призвания» (СА, 1823, № 11, с. 377). В примеч. к стих. Ф. писал: «Нигде не изъяснял я, что ободрение есть *вещь* первая для поэта; не упрашивал публику ободрять меня; но если по праву поэзии просил ободрения от муз, то не думаю, чтобы какой-нибудь журналист вздумал считать себя музою» (Благ., 1823, № 17, с. 303). Острота споров вокруг стихотворения объяснялась прежде всего крайней актуальностью темы и внутренней полемичностью «Ободрения», отразившего взгляды правого крыла общества. Проблема «ободрения», т. е. положения писателя в обществе, взаимоотношений его с читательской средой, меценатами, властью и т. д., намеченная еще Карамзиным («Отчего в России мало авторских талантов», 1803, и особенно «Речь, произнесенная в торжественном собрании императорской Российской Академии 5 декабря 1818 г.»), была поставлена в известной речи Гнедича 13 июня 1821 г., где было заявлено о пагубности меценатства и необходимости независимости для писателя (Соревн., 1821, ч. 15, кн. 2, с. 138). Она отразилась в ряде посланий Гнедичу (см. примеч. 199; комментарий Ю. Г. Оксмана в кн.: К. Рылеев, Полн. собр. стихотворений, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1934, с. 383; И. Н. Медведева, Н. И. Гнедич и декабристы. — В кн.: «Декабристы и их время», М.—Л., 1951, с. 101; Базанов, с. 233), достигнув особой остроты в ближайшие годы. К 1823 г. относится эпиграмма Рылеева «На болезнь Крылова» — с той же темой, а в 1825 г. А. Бестужев заявляет в ПЗ, что недостаток ободрения лишь стимулирует подлинные таланты, в то время как посредственных авторов увлекает свет и «корыстные ласки меценатов»; очень близкой точки зрения придерживался и Рылеев (см. полемику Бестужева и Рылеева с Пушкиным в связи с обзором Бестужева в ПЗ — Пушкин, т. 13, с. 178, 241). Трактовка «ободрения» Ф. прямо противостояла этим тенденциям и в иных случаях превращалась в апологию меценатства. *Марон* — Вергилий. *Флакк* — Гораций. *Певец Лауры и мечтаний* — Петрарка (см. примеч. 47). *Позор тому, кем не почтен* и т. д. Есть предположение, что здесь содержится намек на отстранение Гнедича от вице-президентства в ОЛРС и его отход от дел общества в 1823 г. (Базанов,

с. 294). *Тасс* — см. примеч. 386. *Расин поник челом печальным.* Речь идет о неуспехе «Федры» Расина, вызвавшем у драматурга депрессию. *И Озеров — угас в тиши.* Трагический конец душевнобольного В. А. Озерова (1769—1816), проведшего последние годы в совершенном уединении, был ускорен неудачной сценической судьбой его трагедии «Поликсена» (1809); современники возлагали вину за это на кн. А. А. Шаховского. *Шувалов* Иван Иванович (1727—1797) — екатерининский вельможа, меценат, друг и покровитель Ломоносова. *Холмогорский рыболов* — Ломоносов. *Венчанный лавром страж закона* и т. д. И. И. Дмитриев (1760—1837) в 1810—1814 гг. был министром юстиции. *Гость чертогов.* Н. М. Карамзин (1766—1826) был лично близок с Александром I.

98. Благ., 1823, № 11, с. 332. Печ. по Памятнику отечественных муз на 1827 г., с. 76.

99—102. Благ., 1823, № 14, с. 135; № 16, с. 276, 278; № 18, с. 364. Печ. по «Новой детской библиотеке», 1829, № 3, с. 100; с. 109; № 4, с. 96. Вошло в «Эзоповы басни», СПб., 1829. Переложение было осуществлено с русского прозаического перевода И. И. Мартынова (см. объявление о его выходе в Благ., 1823, № 13, с. 72; в Благ., 1823, № 14 Ф. уже сообщал, что им переложено 50 басен). Басни были прочитаны в ОЛСНХ. В предисловии Ф. указывал на близость к тексту как на свою основную задачу. В некоторых баснях («Явор», первая ред. басни «Медведь и Лисица») ощущается текстуальная близость к басням Крылова («Медведь в сетях», «Свинья под дубом»).

103. Гитара и свирель, с. 49. Написано, вероятно, под впечатлением семейного горя: в 1826 г. скончалась жена Ф. (см.: Памятник отечественных муз на 1827 г., с. 59, 60 втор. паг.).

О. М. СОМОВ

104. НЗ, 1820, № 8, с. 159. К стихотворению приложена схема размера. Читано в ОЛСНХ 3 октября 1818 г. Попытка передачи «народного стиха» шестистопным хореем с дактилическим окончанием характерна для имитаций 1810 — начала 1820-х годов.

105. Соревн., 1819, ч. 5, кн. 1, с. 67. Перевод басни французского баснописца Буасара (1743—1831) «L'Histoire», переводившейся также И. И. Дмитриевым («История», 1818); по-видимому, как и перевод Дмитриева, связан с выходом в 1818 г. первых восьми томов «Истории Государства Российского» Карамзина.

106. Печ. впервые по автографу ПД, где имеет подпись-псевдоним: Архип Вѣдминский и помету: «Таруза». Представляет собою пародию на «народные рассказы» Ф. Глинки («Бедность и труд») и в особенности на «Овсяный кисель» Жуковского (1816, напечатано в 1818 г.). Последнее произведение — попытка Жуковского ввести в русскую литературу демократическую идиллию И.-П. Гебеля (1760—1826) — подвергалось осуждению даже в ближайшем кругу

Жуковского как «грубое» и внеэстетическое. С. близко следует за текстом Жуковского, осмеивая с позиций нормативной эстетики «простонародную» тематику и лексику оригинала, сгущая ее до вульгарной и натуралистической. Пародия С. — одно из ранних проявлений борьбы «измайловцев» против Жуковского; на другом листе рукою С. выписано стихотворение Жуковского «Рыбак» (перевод из Гете), послужившее вскоре объектом критического разбора С. (НЗ, 1821, № 1, с. 56; см.: В. Жирмунский, Гете в русской литературе, Л., 1937, с. 109; Мордовченко, с. 166) и записана его резкая эпиграмма на Жуковского. По свидетельству Измайлова, С. был застрельщиком полемики. 29 июля 1820 г. Измайлов писал П. Л. Яковлеву: «Вчера пришел ко мне в синем парижском сертуке, с тесемками, со снурками и в широких белых портках Орест Сомов. Злодей! Заговорил меня по-французски! Вчерашний же день он поссорился с Гречем. Вот как это случилось. Они встретились в книжной лавке Слёнина. Сомов, взяв в руки последний № Сына отечества, где расхвален отчет Жуковского о Луне, начал упрекать Греча в недостатке вкуса и грозился разобрать эту пиэсу. Греч назвал его моською («Ай моська! знать, она сильна» и пр.). «Пусть я моська, — возразил Сомов, — однако не из тех, которые лижут задницы!» — Каков же Сомов? Вот что значит побывать в Париже!» (ПД). В дальнейшем в борьбу против поэтических принципов Жуковского включились и Греч, и сам Измайлов.

107. Благ., 1821, № 9, с. 78. Вольный перевод песни М.-А. Дезожье (1772—1827) «Les inconvénients de la fortune».

108. Благ., 1821, № 10, с. 143. Автограф, под загл.: «Песенка в грустный час» — ПД, альбом С. Д. Пономаревой. Читана в ОЛСНХ 12 мая 1821 г. Отражает драматическое неразделенное чувство С. к С. Д. Пономаревой. Накануне, 11 мая, С. писал ей: «Прелестная повязка спала с глаз моих: пустота в сердце, уныние в душе и одиночество в мире, всегдашний мой удел, которого тягость я доселе не столько чувствовал или, по крайней мере, старался позабывать с некоторого времени, — теперь снова и сильнее тяготят меня... Ночи бессонницы и дни тоски накажут меня за безрассудную доверенность моего сердца» (ААН). Письмо С., как по настроению, так и фразеологически, довольно близко данному стихотворению.

109. Соревн., 1822, ч. 17, кн. 2, с. 195. Перевод — переделка стихотворения Ардана (Ardant), напечатанного в сборнике: «Recueil de l'Académie des jeux floraux de 1812», Toulouse, s. a., p. 42. О самом Ардане сведений не сохранилось. Стихотворение — одно из наиболее значительных выступлений в защиту Греции в русской гражданской поэзии 1820-х годов. Концовка стихотворения (10 строк) принадлежит самому С. *Илис* — река в Греции. *Перикл* (ум. 429 г. до н. э.) — глава Афинской республики в период ее расцвета.

110. СО, 1823, № 11, с. 174. Вольный перевод сатирической «Элегии» («Qui me délivrera des Grecs et des Romains...») Жозефа *Берщу* (1765—1839); о ней С. упоминал и в трактате «О романтической поэзии» (Соревн., 1823, ч. 23. кн. 1, с. 54). *Плиний* — имя двух римских

писателей: Плиния Старшего (23 или 24—79), автора «Естественной истории», и Плиния Младшего (Цецилия Секунда, 61—62 — ок. 114), его племянника, автора десяти книг писем. *Риторика* — имеется в виду школьный схоластический курс. Перечисляемые далее термины — виды риторических фигур. *Архонты* — девять соправителей Афинской республики. *Эфоры* — коллегия из пяти ежегодно выбираемых лиц, осуществлявших руководство Спартой. *Повсюду имена Меропы, Гермионы* и т. д. Перечисляемые далее мифологические персонажи — обычные героини классических трагедий: *Меропа* (греч. миф.) — мессенская царица, насильно взятая в жены убийцей ее мужа Полифонтом; сын ее, с ее согласия, убил Полифонта; *Гермиона* (греч. миф.) — дочь Менелая и Елены (см. примеч. 328); в борьбе за нее погиб сын Ахилла Неоптолем; *Данаиды* (греч. миф.) — дочери Даная, убившие в брачную ночь своих мужей и обреченные после смерти наполнять водой бездонную бочку; *Дидона* (римск. миф.) — возлюбленная троянского героя Энея, оставленная им и покончившая с собой. *И ты, преступная и жалкая семья* и т. д. Речь идет о роке, тяготевшем над потомством мифического микенского царя Атрея, убившего сыновей своего брата Фиеста и подавшего ему к столу их мясо. Сыновья Атрея (Атриды) — Менелай, жена которого, Елена, стала причиной Троянской войны, и Агамемнон, убитый своей женой Клитемнестрой; последняя в свою очередь была убита своим сыном Орестом. *Событий ход меня во Францию привел.* Имеются в виду события Французской революции 1789 г. и якобинского террора; в политической публицистике и искусстве этого времени обычно использование образов истории республиканского Рима.

111. Базанов, с. 236 (ст. 73—84, 85—96, 121—145). Автограф ст. 121—132 — ЦГАЛИ, альб. Измайлова («Памятник дружбы»). Печ. по копии ПД (бумаги Хвостова), с исправлением ошибок переписчика. Принадлежность С. устанавливается как по почерку в альбоме Измайлова, так и по записи Хвостова: «№ 121. Певец. Сатирическое сочинение Сомова на живых и мертвых, т. е. Николева, Грузинцева и других». С. ориентируется на сатиру Батюшкова «Певец в Беседе любителей русского слова» (1813), где названы, в частности, Николев, Глазунов и др.; в создании сатиры Батюшкова принимал некоторое участие и А. Е. Измайлов, — см. примеч. Н. В. Фридмана в кн.: К. Н. Батюшков, Полное собрание стихотворений, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1964, с. 292. «Певец» — не есть название стихотворения С., а лишь обозначение протагониста. *Николев* Николай Петрович (1758—1815) — поэт-архаик, последователь Сумарокова. *Выл несносными стихами.* Имеется в виду «напыщенная, неестественная, певучая» декламационная манера Николева, часто читавшего свои стихи посетителям (С. Т. Аксаков, Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, М., 1956, с. 14). *Се твой, о Тредьяковский, прах Навек его прославил!* Николев был автором широко распространенной в списках «Оды российским солдатам на взятие крепости Очакова», «сочиненной от лица некоего древнего российского пииты» и пародирующей Тредиаковского. *Грузинцев* Александр Николаевич (1779—1840-е гг.) — драматург и автор архаических эпических поэм «Петриада» (1812) и «Спасенная и победоносная Россия. . .» (1813); известны эпиграммы на него Батюшкова и Вяземского. *Глазунов* Иван Петрович (1762—1831) —

книгоиздатель, издававший, в частности, произведения членов «Беседы». *А где же твой, пиита, прах?* и т. д. Речь идет о Семене Сергеевиче Боброве (1763—1810) — поэте-архаике, масоне, адресате эпиграмм Батюшкова, Вяземского и др. *Твердят свои удары.* Строка из «Вечернего созерцания гробницы Екатерины II» Боброва: «Представить ли Дербент? — твердит, Твердит удары он Петровы». *Лабзин* Александр Федорович (1766—1824) — масон, издатель «Сионского вестника»; в 1822 г. был выслан в Симбирск за резкую шутку, задевавшую Александра I и его приближенных. *Славяно-Деды* — обозначение членов «Беседы» по прозвищу А. С. Шишкова «дед седой», укоренившемуся со времени сатиры Батюшкова. *Ты глазом только лишь одним Отличен от Амура.* Аллегорическое изображение Амура слепцом было распространено в галантной поэзии XVIII—XIX вв. Гнедич был крив и обезображен оспой (ср. далее «О, сколь с уродливым лицом» и т. д.). *И славным он прослыл чтецом.* Гнедич был создателем особой напевно-декламационной и эмоциональной системы сценического чтения и сам читал с «диким напряжением голоса», почти завывая (см.: С. П. Жихарев, Записки современника, М.—Л., 1955, с. 422; М. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти, М., 1869, с. 207). *Хвала, почтеннейший, хвала!* и т. д. В копии ПД против этих строк помечено: «Глинка». *Крестьян, солдатов наставлял И прозой, и стихами.* Глинка пропагандировал идеи Союза Благоденствия в многочисленных статьях и брошюрах (в частности, в «Военном журнале», одним из руководителей которого он был). *Иллюминат, обскурантист.* Речь идет о мистических тенденциях в творчестве Глинки и об организационной принадлежности его к масонской ложе «Избранного Михаила». О ней см. Базанов, с. 57 и сл. *Экзаметрист.* Глинка употреблял гекзаметр («экзаметр») для «простонародного русского рассказа» (ср. его «Бедность и Труд (Народная сказка)». — СО, 1818, № 3, с. 110 и Труды ОЛРС, 1818, кн. 11, с. 78; «Суд божий. Народный рассказ». — Соревн., 1820, ч. 11, кн. 7, с. 85 и др.). «Народные рассказы» Глинки имели ярко выраженный дидактический характер. *Там утки плещутся трюшком* и т. д. Пародируются звукоподражательные гекзаметры из сказки «Бедность и Труд» (СО, 1818, № 3, с. 115). *На ветке роза молодой* и т. д. — парафраза строк из стих. Глинки «Весна» (СО, 1820, № 7, с. 93). *Неукротимый лгун* — Павел Петрович *Свиньин* (1788—1839), издатель «Отечественных записок», отличавшийся страстью «открывать» русских ученых-самородков, постоянно сочетая факты с вымыслами. См. басню А. Е. Измайлова «Лгун» (1823). *Хвала вам, тройственный союз!* и т. д. См. примеч. 95. *Тебе, певец видений!* Намек на стих. Дельвига «Видение (Кюхельбекеру)» (1819 или 1820), вызвавшее придирчивую критику Н. А. Цертелева («Письмо к г. Марлинскому». — Благ., 1820, № 13, с. 15). *Что в том, коль презрит вас толпа* и т. д. Ср. в «Поэтах» Кюхельбекера: «И что ж? пусть презрит нас толпа: Она безумна и слепа».

А. С. НОРОВ

Автографы (немногочисленные) стихов Н. имеются в составе его архива в ЦГАЛИ и ГПБ и единичные в ПД.

112. Соревн., 1821, ч. 16. кн. 1. с. 84. Печ. по Соревн. с исправлением ошибки в ст. 15—16. Автограф, под загл.: «Послание к В. И. П.» и с датой — ПД, альбом Панаева. Другой автограф (автокопия с печатного текста, ст. 1—23) — ЦГАЛИ. Поводом к написанию послания был выход «Идиллий» Панаева (1820). Послание Н. ближайшим образом соотносится с посланием Панаеву М. В. Милонова, записанным задолго до выхода сборника (24 октября 1818 г.) на предшествующих страницах панаевского альбома. Милонов призывал Панаева петь «прелести златого века», счастливой любви и невинных нравов (Сочинения М. В. Милонова, СПб., 1849, с. 170). Читано на заседании ОЛРС 6 июня 1821 г. и единогласно избрано. 7 июня 1821 г. О. Сомов записал в своем дневнике: «Я передал Глинке послание Норова к Панаеву, где он говорит ему, что человеческая природа портится все более и более; хорошие стихи, есть только несколько погрешностей в стиле. Глинка читал его в том же заседании, и все его одобрили» (ААН). Полемический отклик на послание Н. был написан родственником (мужем сестры) Панаева Ф. Рындовским («В. И. Панаеву», Казань, 1821) — см.: Благ., 1823, № 23—24, с. 338). *Аттика* — здесь: Греция. *Тайгет* — горная цепь в Греции. *Мильтиад* — см. примеч. 74. *Мизитра* (Мистра) — город и провинция на территории древней Спарты.

113. НЛ, 1824, кн. 10, ноябрь, с. 36. Непосредственный источник не установлён. Стихотворение — свободная вариация на тему «Песни Чайльд-Гарольда», прямых соответствий в поэме Байрона не имеет и является интерпретацией образа героя, а может быть, и самого Байрона (такая ассоциация, доходившая до отождествления, была обычна в 1820-е годы (ср. стих. Г. Гейне «Чайльд-Гарольд»). Байрон умер 19 апреля 1824 г.; 23 мая появилось объявление о его смерти в русских газетах (РИнв, 1824).

114. МВ, 1828, № 23—24, с. 199. Упоминание об «Очарованном узнике» есть уже в письме Н. А. И. Кошелеву (октябрь 1826 г.): «Я счастлив, как мой «Очарованный узник», пока обольщает его сладостный сон. Ах, страшно будет ему проснуться опять в пустом подземелье! ..» (Н. Колюпанов, Биография Александра Ивановича Кошелева, т. 1, кн. 2, М., 1889, с. 441). Не исключено, что появление тюремной темы у Н. было связано с заключением его брата В. С. Норова, декабриста. Стихотворение имеет ряд точек соприкосновения с «Шильонским узником» Байрона. *Так! человек живет вдвойне* и т. д. Парафраза начальных строк «Сна» Байрона.

115—120. Печ. впервые по автографам ЦГАЛИ. Датировке не поддается; судя по почерку, может относиться к 1850-м или даже к 1860-м годам. Об этих переводах упоминал А. В. Никитенко: «Позднее, когда он (Норов. — *Ред.*) достаточно ознакомился с греческим языком, он перевел почти всего «Анакреона». Перевод этот, однако, не был напечатан и находится в рукописи» (Сб. 2-го отд. ОРЯС, 1869, с. 15). Греческие тексты, поставленные как эпиграфы, — первые строки стихотворений в подлиннике. Стихи взяты из позднеантичного сборника подражаний Анакреонту (VI в. до н. э.) (Anacreontea, №№ 50, 33, 26b, 17—18 (это стихотворение — № 118 наст. изд. — позд-

нее печаталось как первая половина более крупного текста), 49, 52). «Анакреонтические стихи» переводились в России многократно, начиная с XVIII в.

2. Сюжет, известный в России также по сборнику идиллий Феокрита (III в. до н. э.): ср. идиллию 19, «Воришка меда», почти совпадающую с этим стихотворением. Переведено также Державиным («Ве́нерин суд», 1797).

3. Переведено Пушкиным («Узнают коней ретивых. . .», 1835). *Парфяне* — одно из древних иранских племен.

5. Переведено также Державиным («Люси», 1797).

6. Намек на миф о красавице Европе, которую похитил Зевс, обратившись в быка и перевезя ее на спине через океан. *Сидонийская* — родом из финикийского города Сидона.

121. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. Озаглавлено: «(Virgilii Copa)». Перевод приписываемого Вергилию стихотворения («Copa») «Танцовщица».

А. А. КРЫЛОВ

122. Соревн., 1821, ч. 13, кн. 1, с. 85. Читано в ОЛРС 17 января 1821 г. В. К. Кюхельбекер с 8 сентября 1820 г. был за границей. *Пусть зависти змия шипит у ног Певца* и т. д. Свободная парафраза из «Поэтов» Кюхельбекера; возможно, содержит намек на Пушкина, к этому времени уже находившегося в ссылке (см.: Базанов, с. 143).

123. Благ., 1821, № 3, с. 128.

124. Благ., 1821, № 10, с. 140. Автограф, с датой (по-видимому, записи) — в альбоме А. Е. Измайлова «Памятник дружбы» (ЦГАЛИ). Было прочитано в ОЛСНХ 26 мая 1821 г. См. биограф. справку.

125. Благ., 1821, № 16, с. 209. Перевод элегии французского поэта Шарля *Мильвуа* (1782—1816) «Le bois détruit» (переводилось также И. Великопольским — «Срубленная роща». — Благ., 1820, № 14, с. 111, и Д. Глебовым — «Разрушенный лес». — «Элегии и другие стихотворения Дмитрия Глебова», М., 1827, с. 30).

126. Соревн., 1821, ч. 14, кн. 1, с. 58. Читано в ОЛРС 17 января 1821 г.

127. Соревн., 1821, ч. 14, кн. 3, с. 299. Читано в ОЛРС 17 января 1821 г. Перевод стих. Мильвуа «Le tombeau d'un poète persan» (переводилось также Д. Глебовым — «Гробница Бенамара, персидского поэта» (1816). — «Элегии и другие стихотворения. . .», с. 35). В основе сюжета лежит биографическая легенда о поэте Фирдоуси (X в.), авторе знаменитой книги «Шах-Намэ», награда за которую застала бедствовавшего поэта уже мертвым. Источником Мильвуа послужили сочинения географа и историка Конрада Мальте-Брюна (1775—1826) и стих. Вильгельмины де Шези (1783—1855) «Песнь о Востоке» («Gesang vom Morgenlande»), где дана близкая разработка сюжета. Биография Фирдоуси, с указанием на стих. Мильвуа, была помещена в СЦ на 1826.

128. Соревн., 1821, ч. 15, кн. 1, с. 87. Читано в ОЛРС 23 мая 1821 г. Об этой элегии см. восторженный отзыв Плетнева (Соревн., 1823, ч. 21, кн. 1, с. 102; СЦ на 1825, с. 61) и П. П. Каверина (РС, 1896, № 2, с. 430). Более сдержанный (не дошедший до нас) отзыв принадлежал Пушкину (Пушкин, т. 13, с. 140).

129. Соревн., 1822, ч. 17, кн. 1, с. 79. С П. А. Плетневым К. был знаком, видимо, еще по Педагогическому институту, а затем по ОЛРС и сохранял связь после отъезда в имение; ср. стих. Плетнева «Невесте поэта» (читано в ОЛСНХ 27 января 1821 г.; Благ., 1821, № 3, с. 144), написанное, по-видимому, в ответ на стихотворение К. «Портрет моей невесты» (читано в ОЛРС 20 декабря 1820 г.; Соревн., 1821, ч. 13, кн. 2, с. 274). Плетнев и позднее пытался побудить К. вернуться к литературной жизни (СЦ на 1825, с. 61). Ср. также послание к К. Я. И. Бередникова («Зачем умолк, младой певец, И не пленяешь нас стихами...» и т. д. — РА, 1910, № 4, с. 567).

130. СЦ на 1829, с. 187 втор. паг. Адресат не установлен.

131. СЦ на 1829, с. 186 втор. паг. Вольный перевод элегии 3 из кн. 4 «Poésies érotiques» Парни («Belle arbre, pourquoi conserver...») (переведено также О. Сомовым — «К клену (Подражание Парни)». — Благ., 1821, № 4, с. 205).

В. И. ТУМАНСКИЙ

Стихотворения Т. впервые были собраны в 1881 г. двоюродным племянником поэта, графом А. Г. Милорадовичем, в сборнике «Стихотворения Василия Ивановича Туманского (1817—1839)», СПб., 1881 (далее — Изд. 1881). Издание осуществлялось по печатным материалам и отдельным автографам; к нему были приложены стихотворения Ф. А. и А. А. Туманских, а также биографические и библиографические данные. Издание это в значительной мере носит любительский характер. После того как в 1889 г. стал доступен архив Т., на его основе были изданы книги: С. Браиловский, Василий Иванович Туманский. Биографический и историко-литературный очерк, с приложением неизданных произведений поэта, СПб., 1890 (далее — Изд. 1890) и «Письма Василия Ивановича Туманского и неизданные его стихотворения», Чернигов, 1891 (далее — Изд. 1891), опубликованные Милорадовичем. Результатом многолетнего изучения материалов стал сборник «В. И. Туманский, Стихотворения и письма». Редакция, биографический очерк и примечания С. Н. Браиловского, СПб., 1912 (далее — Изд. 1912), включивший все известные стихотворные тексты Т., воспроизведенные по автографам и печатным изданиям, и снабженный обширным историко-литературным, биографическим и текстологическим комментарием, где были приведены (выборочно) и черновые варианты. Между тем в текстологическом отношении издание оказалось неудовлетворительным даже для своего времени (тексты подготовлены небрежно, система подачи вариантов не выработана, проблема источника текста не поставлена и т. д.). Один из самых серьезных дефектов Изд. 1912 — произвольность атрибуций, приведшая к включению в корпус стихов Т. произведений Ба-

тюшкова, Вяземского и Тютчева (см. рецензию Н. В. Недоброво в Известиях ОРЯС, 1912, т. 17, кн. 3, с. 357). После 1912 г. стихотворения Т. отдельно не издавались. Фонд автографов Т. сосредоточен в ГПБ, небольшое их количество имеется в ПД и ЦГАЛИ. Автографы ГПБ — преимущественно беловые или перебеленные, с последующей правкой, превращающей их в черновик; первоначальные черновые редакции, как правило, отсутствуют. Сведения по истории архива см.: Изд. 1912, с. 327 и «Материалы для словаря одесских знакомых Пушкина», Одесса, 1926, с. 19.

132. НЛ, 1823, кн. 4, № 26, с. 208. Автограф, под загл.: «Картина» — ГПБ. Печ. по НЛ, с исправл. по автографу опечатки в ст. 6. *Жиродет* — Жироде-Триозон Анна-Луи (1767—1824) — французский живописец; описывается его картина «Эндимион», которую Т. видел в Лувре во время путешествия во Францию. О Жироде писал Кюхельбекер, близко общавшийся с Т. в Париже («Оссиан», 1835; см. также его дневниковые заметки в кн.: Ю. Н. Тынянов, Пушкин и его современники, М., 1968, с. 270, 308), и Сомов, указывавший на его необычайный успех (СО, 1820, № 51, с. 221). *Эндимион* (греч. миф.) — прекрасный юноша, возлюбленный богини луны Дианы (Селены).

133. Изд. 1890, с. 39. Автограф — ГПБ. Читалось в ОЛРС 15 ноября 1822 г.

134. ПЗ на 1823, с. 389. Автограф (беловой, с позднейшей карандашной правкой) — ГПБ. Строфы 1—5 зачеркнуты карандашом. К ст. 36 сделано примеч.: «Напечатано до сих пор. Последняя строфа выброшена по совету друзей». Далее следовала эта строфа (в автографе зачеркнута):

[На берегах Эсмани я бродил,
Тоска на сердце — в думах трепет.
Благоухало всё — и ветер разносил
Кругом волны ленивой лепет.]

Печ. по автографу. *Эсмань* (Усмань) — левый приток реки Воронежа. *Отца, и мать, и брата.* К моменту написания стих. не было в живых ни отца Т., ни его матери, умершей 14 августа 1814 г. *Брат* — возможно, Семен Иванович, офицер лейб-гвардии гусарского полка, умерший в молодых летах (см.: «Родословная фамилии Туманских». — Изд. 1881, с. XLIV). *Скажите... Но уж их как бурей унесло* и т. д. Эта строфа в особенности подвергалась нападкам критиков «Благонамеренного». См. примеч. 96.

135. СО, 1822, № 51, с. 230. Читалось в ОЛНСХ 21 декабря 1822 г.

136. Благ., 1823, № 5, с. 326. Обращено к Софье Григорьевне Туманской (1805—1868), двоюродной сестре и близкому другу поэта. В 1822—1823 гг. Т. стремился руководить ее чтением и постоянно посылал ей книги.

137. ПЗ на 1823, с. 314. Печ. по автографу ГПБ.

138. СО, 1823, № 4, с. 190. Автограф ст. 1—14 и 33—40 (средний лист утрачен) — ГПБ.

139. Соревн., 1823, ч. 21, кн. 2, с. 291. Автограф (беловой, с позднейшей карандашной правкой) — ГПБ. Печ. по автографу. Читалось в ОЛРС под загл. «Торжество певца». *Владыка муз* — Аполлон. *Геба* (греч. миф.) — богиня вечной юности, дочь Зевса; изображалась разливающей напиток богов — нектар.

140. Соревн., 1823, ч. 23, кн. 1, с. 60. Читалось в ОЛРС в 1823 г. Является откликом на выступления Н. А. Цертелева (1790—1869) — одного из вдохновителей антиромантической группы в ОЛСНХ (см. вступ. статью, с. 25). Ср., например, речь Цертелева в ОЛРС в январе 1823 г. — предисловие к «Исторической картине русской словесности», с критикой «молодых романтиков», якобы пренебрегающих требованиями «высокой цели, содержанием и чистотой языка», и статью «Новая школа словесности» (читана в ОЛСНХ 8 марта 1823 г.); здесь в уста адепта «новой школы» вкладывается определение гения, довольно близкое характеристике Байрона в стихотворении Т.: «Поэт не знает пределов, пламенное воображение его объемлет всю вселенную, его гений — деспот, располагающий все по своему произволению» и т. д. Стихи Т. о гении стали объектом насмешек «михайловцев», а апология Байрона вызвала пасквиль о «г. Мглине» (Туманском), «одном из молодых отличных наших пиитов», который аттестует «Бейроном» «двоюродного своего братца г. Федула Мглина» (Ф. А. Туманского). — Благ., 1823, № 17, с. 328; № 18, с. 410.

141. СО, 1823, № 23, с. 127. Отмечено А. А. Бестужевым (ПЗ на 1824, с. 12) как одно из заметных явлений поэзии 1823 г.

142. ЛЛ, 1823, № 1, с. 5 (ст. 65—77); Изд. 1890, с. 34 (ст. 1—19 и 46—89); полностью — Изд. 1912, с. 111. Автограф (с утраченным 2-м листом), послуживший источником первой публикации, — ГПБ. Недостающий лист был разыскан С. Н. Браиловским для Изд. 1912; местонахождение его ныне неизвестно. Печ. по автографу (ст. 1—19 и 46—89) и Изд. 1912 (ст. 20—45). В автографе после заглавия: «Сочинитель [после необходимого введения к своему предмету рассказывает], рассказав начало русской словесности при Петре, новое устройство и победы России, направление, данное умам великим ее образователем, снова обращается к Державину». Готовилось Т. для чтения на публичном собрании «соревнователей» в доме Державина; на последнем подготовительном заседании 19 мая 1823 г. было утверждено к чтению, под загл.: «Век Елизаветы и Екатерины II. Отрывки из послания к Державину» (Базанов, с. 300). Читалось Т. в собрании 22 мая 1823 г., вместе с отрывками из «Войнаровского» Рылеева. Общий объем и характер прочитанного произведения неизвестны; какие-то эпизоды были посвящены Ломоносову, просветительской деятельности Екатерины и пр. (СА, 1823, № 11, с. 374). Видимо, Т. предполагал продолжить работу над «отрывками»; на обороте ли-

ста автографа сохранились карандашные наброски, совершенно стершиеся и не поддающиеся чтению. В стихах Т. давалась трактовка Державина как гражданского поэта, выразителя своего века, близкая к осмыслению его в думе Рылеева «Державин» (1822) и противостоявшая умеренной трактовке Державина в речи Н. А. Цертелева «О философских или нравоучительных одах Державина» (см. Благ., 1823, № 10, с. 300, под загл.: «О нравственно философических одах Державина»); эта последняя была отвергнута после бурных прений 16 мая (Базанов, с. 300; ЛН, 1956, № 60, кн. 1, с. 200); продолжением начавшихся споров о назначении поэзии было послание Т. к Цертелеву (см. ниже). О проблеме «двух веков» в 1820-е годы см. примеч. 77. Не исключено, что в «отрывках» отразилась проблематика «Двух веков» Родзянки; сатира эта, вызвавшая у Т. противоречивое отношение, была известна ему уже в начале мая 1823 г., а может быть, и ранее. «Послание» Т. вызвало одобрение левой части «соревнователей»: А. А. Бестужев сообщал П. А. Вяземскому 22 мая 1823 г.: «Туманскому аплодировали, и стоит: были звонкие стихи и новые картины» (ЛН, 1956, № 60, кн. 1, с. 204); А. И. Тургенев собирался прислать Вяземскому «смелые» стихи Т., но не получил их вовремя (письмо 25 мая 1823 г. — ОА, т. 2, СПб., 1899, с. 325); Бестужев благожелательно упомянул о них в ПЗ на 1824 (с. 8) и просил их у Т. для ПЗ на 1825: «Mon cousin, будь ласков и пришли что-нибудь на красное яичко — махни-тко Державина! Мы поклонимся в пояс» (письмо от 24 декабря 1824 г. — РС, 1890, № 8, с. 382). Небольшой отрывок из стихотворения процитировал Ф. Булгарин в «Письмах о Петербурге» (ЛЛ, 1823, № 1, с. 5), с примеч.: «Отрывки из сего прекрасного послания, находящегося поныне в рукописи, читаны были в публичном заседании Общества любителей российской словесности мая 23 дня (22 мая. — *Ред.*) 1823 года». Нежелание Т. отдавать послание в печать, видимо, объясняется его намерением продолжать работу над ним. *Но в чуждой стороне изнемогая вновь* и т. д. Имеется в виду женитьба Ломоносова в Марбурге в 1740 г. и последующий побег его через Вестфалию в Россию. *Российский Меценат* — И. И. Шувалов (см. примеч. 97). *Я вижу: на стене, в туманах, над рекой* и т. д. Описание, близкое экспозиции незаконченной думы Рылеева о Державине («По небу голубому...», 1821—1822). *Вольтера побеждать аттическим пером* и т. д. Речь идет о постоянном общении Екатерины II с французскими просветителями, в том числе и ее переписке с ними на философско-политические темы. *Фредерик* — Фридрих II (1740—1786), король прусский; одной из постоянных резиденций его был дворец Сан-Суси в Потсдаме.

143. ЛЛ, 1823, № 1, с. 13. Стихотворение стало предметом полемики как метафорическое и принадлежащее к «новой школе». См.: Д. В. р. ст-в ⟨Б. Федоров⟩, «Разговор о романтиках и о Черной речке». — Благ., 1823, № 15, с. 169; Гильев, «Письмо к сердечному другу моему в О...» — там же, 1823, № 17, с. 322 (в статьях упоминаются также «Видение» и «Музы»). *Черная речка* — название нескольких речек в окрестностях Петербурга.

144. ПЗ на 1824, с. 319. Автограф, под загл.: «[Семнадцатилетней] Юной красавице», с посвящением эпилога «З. А. О.» и датой — ГПБ. Адресат не установлен.

145. ЛЛ, 1824, № 6, с. 232, с примеч.: «Писано в Крыму. Изд.». Автограф, с датой и пометой: «Иски-Сарай» — ГПБ. Иски-Сарай (Эски-Сарай) — деревня по дороге в Алушту, на реке *Салгир.*

146. НЛ, 1825, кн. 13, № 7, с. 60. Автограф — ГПБ. Перевод стих. Мильвуа «Mancenillier». Та же тема — в «Анчаре» Пушкина. Т. опустил сентиментальную концовку подлинника, усилив трагическое звучание и антитиранический пафос стихотворения (см.: В. Саводник, Забытый поэт пушкинской плеяды В. И. Туманский. — РВ, 1902, № 2, с. 557). Предназначалось для ПЗ на 1824. 3 октября 1823 г. Рылеев в письме к Т. сожалел, что «Манценил» «переведен не пятистопными стихами»; в приписке к тому же письму сообщил, что цензор А. С. Бируков не пропустил стихотворение, как слишком либеральное (К. Ф. Рылеев, Полн. собр. соч., М.—Л., 1934, с. 474). Переведено также А. Ф. Раевским («Древо смерти». — «Украинский журнал», 1825, № 3, с. 173).

147. ПЗ на 1824, с. 240. Это стихотворение иронически упомянуто Пушкиным в «Евгении Онегине» (Пушкин, т. 6, с. 202, 465) как пример поэтической идеализации.

148. ПЗ на 1825, с. 155, с подписью: Т — ий. Автограф, с первоначальным, зачеркнутым загл.: «Элегия» и датой — ГПБ.

149. Звездочка, с. 75. Печ. по СЛ, с. 82, где датировано 1824 г. Автограф, с датой: декабрь 1823 г. — ГПБ. Отклик на повстанческое движение в Греции, за которым Т. внимательно следил еще в 1821 г. (см. биографич. справку); 29 августа 1821 г. он читал в ОЛРС «Греческую песнь» («К Румыю!») Кюхельбекера. В бумагах Т. сохранился подстрочный перевод «Песни в честь Марка Боцариса, лорда Байрона и Каралскали, героев, умерших за свободу Греции», а также ряд выписок из трудов о Греции (Изд. 1912, с. 221, 384; ГПБ). Пушкин считал, что «Греческая ода» и «К одесским друзьям» «отличаются гармонией, точностию слога и обличают решительный талант» (Пушкин, т. 11 с. 48).

150. Соревн., 1824, ч. 28, кн. 2, с. 217.

151. СЦ на 1825, с. 289, с подписью: Т.

152. Там же, с. 319, с подписью: Т. Позднее в печати было приписано Пушкину. Автограф, под загл.: «Элегия (1824)» — ГПБ.

153. НЛ, 1825, кн. 11, № 2, с. 95, с подписью: В. Т — ий. Автограф, с датой — ГПБ. В письме С. Г. Туманской от 3 июля 1825 г. Т. писал об этом стихотворении как об «отрывке из маленькой повести», который принял на свой счет А. Г. Родзянка (Изд. 1912, с. 283). Родзянка бывал у Туманских в Вознесенске в 1823 г. и увлекся сестрой Софьи Григорьевны — Ульяной (Юлией, в замужестве Санковской, 1799—1886) (см.: Изд. 1891, с. 136). На стихотворение Т. Родзянка ответил стихотворением «Ответ поэта девушке» (НЛ, 1825, № 5). О стихотворении Т. одобрительно отозвался Пушкин, писавший ав-

тору из Михайловского: *«Девушка вл⟨юбленному⟩ поэту* — прелесть! *сидя с авторáми* одно не хорошо. Не так ли:

Со мной ведете ль разговоры,
Вам замечательней всего
Ошибки слога моего.
Без выраженья ваши взоры etc.».

(Пушкин, т. 13, с. 206; письмо от 13 августа 1825 г.; ср. также письмо к Л. С. Пушкину конца января — начала февраля 1825 г. — там же, с. 143, с более сдержанным отзывом).

154. Звездочка, с. 69. Печ. по НА на 1827, с. 165. Автограф — ГПБ.

155. ПЗ на 1825, с. 154, с подписью: Т — ий. Перепечатка — ЛПРИ, 1833, № 10, с. 79, с датой: 1824. Автограф, с первоначальным, зачеркнутым загл.: «Моя судьба» — ГПБ.

156. СЛ, с. 153. Автограф, под загл.: «На смерть Р — чь» и без посвящения — ГПБ. *Ризнич* Амалия (ок. 1803—1825) — итальянка по национальности, жена одесского негоцианта И. С. Ризнича, предмет увлечения Пушкина и адресат нескольких его стихотворений. Т. был знаком с ней и в письме к С. Г. Туманской называл ее «прекрасной и любезной» (Изд. 1912, с. 256). Известие о смерти Ризнич за границей от туберкулеза было получено в Одессе 26 июня (8 июля) 1825 г. (ПиС, вып. 31—32, Л., 1927, с. 94). *Но Гименей, как северный мороз* и т. д. В Одессе ходили слухи о равнодушном и даже черством отношении мужа к А. Ризнич. *И где ж теперь поклонников твоих* и т. д. Высказывалось предположение, что эти строки имеют в виду Пушкина. Можно думать, что Т. переслал Пушкину свой сонет в рукописи и что Пушкин в ответ сообщил ему свое стихотворение «Под небом голубым страны своей родной. . .» (1826). См.: П. Е. Щеголев, Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3, М.—Л., 1931, с. 266.

157. МВ, 1828, № 8, с. 358. Вторую редакцию стихотворения (до нас не дошедшую) Т. отдал в СЦ на 1831; 9 декабря 1830 цензор Н. П. Щеглов представлял ее в Петербургский цензурный комитет, который разрешил ее с изменениями ст. 31—36 и 43—45. Вторичная попытка Дельвига напечатать стихотворение без изменений в ЛГ в марте — апреле 1831 г. также окончилась неудачей (Н. К. Замков, К истории «Литературной газеты» барона А. А. Дельвига. — РС, 1916, № 5, с. 277; там же — дошедшие до нас разночтения редакций).

158—159. Соревн., 1825, ч. 31, кн. 2, с. 217, с подписью: Т. Автограф — ГПБ. См. примеч. 147.

160. МВ, 1827, № 15, с. 227.

161. МВ, 1827, № 10, с. 110.

162. СЛ, с. 17, без подписи. Было послано Пушкину при письме от 2 марта 1827 г. вместе с другими стихотворениями (см. при-

меч. к стих. «Греческая ода»). В послании отразились впечатления Т. от недолгого пребывания в кругу родных в Глуховском повете весной и летом 1826 г. 10 ноября 1826 г. он писал С. Г. Туманской из Одессы: «. . .ни театр, ни товарищи, ни городские забавы — ничто не заменит в сердце моем удовольствия, которое вкушал я в родном кругу» и т. д. (Изд. 1912, с. 297). *Сестра любимая* — С. Г. Туманская.

163. МВ, 1827, № 9, с. 7. Автограф — ГПБ; ранняя редакция, датированная 10 мая 1825 г. — там же (см.: Изд. 1890, с. 45).

164. МВ, 1827, № 8, с. 309. Автограф, с датой — ГПБ. Прислано Пушкину из Одессы при письме от 2 марта 1827 г., где Т. писал: «Я бы желал, чтобы вы прежде всего напечатали стихи «К Гречанке». Я люблю эту пьесу потому, что написал в ночь после бала и ужина, полупьяный и психически влюбленный. В ней есть какая-то дерзость выражений, к которой я обыкновенно не привык» (Пушкин, т. 13, с. 322).

165. МВ, 1827, № 12, с. 318. Автограф — ПД. По-видимому, написано сразу же по получении известия о смерти поэта 15 марта 1827 г. *Не плачь о нем, заветный друг поэта.* Эти и некоторые другие строки стихотворения, вероятно, являются откликом на элегию Веневитинова «Поэт и друг», посмертно опубликованную в МВ, № 7, где есть ст.: «И друг в слезах с началом лета Его могилу посетил»; примечание редактора к ней начинается словами: «Горькими слезами омочили мы сие стихотворение. Незабвенный друг наш чудесным образом предрек свою судьбу» и т. д. (там же, с. 220).

166. МВ, 1828, № 1, с. 15. Черновой (с первоначальным зачеркнутым загл.: «Юноше») и беловой автографы — ГПБ. Возможно, входило в число стихотворений Т., пересланных Пушкиным Погодину при письме около 17 декабря 1827 г. (Пушкин, т. 13, с. 350).

167. Галатея, 1829, № 1, с. 44, под загл.: «К. . .» и с примеч.: «Ченерентола — италианское название Сандрильоны ⟨Золушки⟩». Печ. по «Альционе», 1831, с. 76 втор. паг., где имеется примеч.: «Сия пьеса была помещена в «Галатее», но с ошибками; она выправлена самим автором и доставлена издателю». Адресат не установлен.

168. СЦ на 1831, с. 34 втор. паг. Положено на музыку И. В. Романусом и Д. П. Соломирским. По-видимому, «вальс Беетговена», на который сделана ссылка, — одна из многочисленных в 1820-е годы подделок. Несколькими годами позднее «романс на голос Бетховенова вальса» написала и Е. П. Ростопчина («Море и сердце», 1834). См.: М. Алексеев, Бетховен в русской литературе. — «Русская книга о Бетховене... (1827—1927)», М., 1927, с. 171.

169. СЦ на 1831, с. 5 втор. паг. Автограф — ГПБ. Одно из наиболее популярных стихотворений Т. (см., например, отзыв в ЛПРИ, 1833, № 64, где оно характеризуется как образец «роскоши и блеска выражений»).

170. Совр., 1837, т. 7, с. 195. Автограф — ГПБ. Написано в Бургасе, где Т. с декабря 1829 г. находился в качестве чиновника дипломатической канцелярии Главной квартиры (Ф. П. Фонтон, Воспоминания. Юмористические, политические и военные письма, т. 2, Лейпциг, 1862, с. 182).

171. СЦ на 1831, с. 79 втор. паг. Черновой и беловой автографы (последний — с датой) — ГПБ.

172. Совр., 1837, т. 8, с. 70, с датой: 1834; там же, с. 332 — исправление в ст. 7 опечатки, искажающей смысл. Автографы — черновой (с датой: декабрь 1830) и беловой (с датой: 1834) — ГПБ. Положено на музыку М. А. Балакиревым.

173. Совр., 1837, т. 8, с. 271. Автограф, с датой — ПД (в деле Санктпетербургского цензурного комитета). Отклик на европейские события 1830 г. (июльская революция во Франции, польское восстание). Стихотворение представлялось для помещения в СЦ на 1831 и запрещено в заседании комитета 9 декабря 1830 г., так как в нем было усмотрено «направление мыслей неблагоприятное, судя по обстоятельствам времени» (ПД). В 1831 г. Дельвиг вновь представлял «Стансы» в Главное управление цензуры для напечатания в ЛГ, но безуспешно (см.: «Временник Пушкинского дома, 1914», Пг., 1914, с. 13). В 1837 г. строфы 3—4 вызвали возражение цензора, но были пропущены (ПиС, вып. 16, СПб., 1913, с. 94).

174. Совр., 1837, т. 8, с. 62, с датой: 1831 и примеч.: «Написано в противоположность стихотворению «Мысль о юге». Автора упрекали в непатриотическом пристрастии к полуденным странам — вот его ответ и оправдание». Автографы — черновой (с датой: ноябрь 1830) и беловой — ГПБ.

175. Изд. 1890, с. 43. Автографы — черновой, под загл.: «Отрывок» и беловой — ГПБ.

176. Совр., 1837, т. 8, с. 65. Свободное переложение мотивов «Euphrosine» А. Шенье. Интерес Т. к Шенье возник еще в начале 1820-х гг.; томик Шенье со своими пометами он постоянно возил с собой (см.: «Начала», 1922, кн. 2, с. 262).

177. Совр., 1837, т. 8, с. 266. Автограф (ст. 1—34) — ГПБ. Печ. с конъектурой (по смыслу) в ст. 71.

178—179. Совр., 1837, т. 8, с. 66. Автограф первого стих., с загл.: «Ссора» и пометой: «Неаполь. Ноябрь 1833» — ГПБ.

180. УЗ на 1839, с. 382. Автограф, под загл.: «Прощание с Неаполем», с датой, с пометой «Неаполь» и без посвящения — ГПБ. Адресат посвящения не установлен. *Капрея* — Капри, остров в Неаполитанском заливе. *Панаш* — султан из перьев, украшающий шлем. *«Вот он, Кем древнего мира обломок спасен».* Речь идет о Помпее, погребенной под слоем вулканического пепла и тем самым сохранившейся.

181. Совр., 1837, т. 8, с. 72. Написано под впечатлением пребывания в Константинополе (в качестве второго секретаря при русском посланнике А. П. Бутеневе, 1835—1839). *Истамбул* — Стамбул.

182. ОЗ, 1839, № 1, отд. 3, с. 176.

183. Там же, № 3, отд. 3, с. 274.

184. УЗ на 1840, с. 358.

185. Отд. нотное изд., с музыкой В. Осипова. СПб., Бернард, ц. р. 1843. Печ. по Изд. 1890, с. 42, где воспроизводится по автографу — ГПБ. С 1850-х годов входит в песенники (Гусев, с. 1027). *Смирнова* (урожденная Россет) Александра Осиповна (1809—1882) — приятельница Пушкина, Жуковского, Плетнева, Вяземского, Гоголя и др.; адресат стихов Пушкина («Ее глаза», 1828), Вяземского («Черные очи», 1828), Жуковского, Мятлева, Лермонтова, Ростопчиной и др. *Любил я очи голубые.* Ср. стих. Т. «Прекрасным глазам» («Большие глаза, голубые глаза. . .», 1827).

186. Изд. 1890, с. 41. Печ. по автографу ГПБ. Окончание утрачено; датировке не поддается.

Ф. А. ТУМАНСКИЙ

Стихотворения Т. были собраны после его смерти в изд.: «Стихотворения Василия Ивановича Туманского (1817—1839)», СПб., 1881 и Д. Языков, Федор Антонович Туманский (Его жизнь и поэзия), М., 1903.

187. Соревн., 1823, ч. 21, кн. 1, с. 218, с подп.: Θ.—; СЦ на 1830, с. 78 втор. паг., с полной подписью.

188. СЦ на 1825, с. 316.

189. СЦ на 1826, с. 26 втор. паг.

190. Там же, с. 91 втор. паг.

191. Там же, с. 123 втор. паг.

192. СЦ на 1827, с. 259. Копия рукой Л. С. Пушкина — (не автограф!) — ПД, альбом А. Вульф (см. воспроизведение ее как автографа — «Временник Пушкинского дома, 1914», СПб., 1914, с. 93). Наиболее популярное стихотворение Т. Существует указание (в неизданном альбоме Е. П. Ростопчиной), что оно было написано для своего рода поэтического конкурса между Пушкиным («Птичка»), Дельвигом («К птичке, выпущенной на волю!») и Т. На основании этого указания Ю. Н. Верховский датировал все три стихотворения 1822 г. (Ю. Н. Верховский, Барон Дельвиг, Пб., 1922, с. 97). Замечание Ростопчиной и датировка Верховского не согласуются с фактами биографии Пушкина и Т. и с автобиографическим характером стихо-

творения Пушкина (см. примеч. Б. В. Томашевского в кн.: А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1959, с. 318). М. В. Юзефович, пользовавшийся консультацией близкого друга Т. Л. С. Пушкина, замечал, что «Птичка» Т. превосходит пушкинскую, хотя написана позже (РА, 1874, № 9, с. 731). С 1850-х годов стих. входит в песенники; кроме того, существует 12 авторских музыкальных переложений (М. И. Бернарда, М. В. Бегичевой, Н. М. Ладухина, В. И. Ребикова, Ц. А. Кюи и др.; см. Гусев, с. 1013; «Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года). Справочник», сост. Г. К. Иванов, вып. 1, М., 1966, с. 351).

193. Северная звезда, СПб., 1829, с. 63, под загл. «Поэт»; тогда же перепечатано в «Букет благовонных цветов...», М., 1829, с. 40, с подписью: Ф. Т...ский. Тот же текст (по списку в альбоме О. С. Павлищевой), но под загл. «Пушкин» — П. П. Вяземский, Полн. собр. соч., СПб., 1893, с. 485. Печ. по РА, 1874, № 9, с. 728, где опубликовано М. В. Юзефовичем (с тем же загл.) по списку, полученному от Л. С. Пушкина и, несомненно, восходящему к автографу. Позднее перепечатывалось под загл.: «А. С. Пушкину». Предположительно, без твердых оснований датировалось 1825 г. (В. Туманский, Стихотворения, СПб., 1881, с. XXVIII; ср.: М. А. Цявловский, Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951, с. 667).

П. А. ПЛЕТНЕВ

Подавляющее большинство сохранившихся автографов П. содержится в его тетради стихотворений в ПД, которая, видимо, служила П. макетом будущего собрания. Заполнение ее началось не ранее 1822 г. (водяной знак бумаги — 1822 г.); с самого начала собрание было разделено на три «книги»; в пределах каждой из них, насколько можно судить при отсутствии авторских дат, хронологический порядок соблюдается лишь для стихов 1825—1827 гг., находящихся в конце разделов (книга вторая заключается единичным стихотворением 1832 г.). Это позволяет предположительно отнести все записи к 1825—1827 гг. и датировать некоторые стихи в конце разделов по положению в тетради. Все автографы — беловые, иногда с правкой, превращающей их в черновик. Этим собранием пользовался Я. К. Грот, издавший первое и единственное собрание стихотворений П.: «Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. 3, СПб., 1885 (в дальнейшем — Соч. 3), на листах есть его пометы и в отдельных случаях правка.

194. СО, 1819, № 25, с. 273. Об этом стихотворении см.: В. К. Кюхельбекер, Дневник, Л., 1929, с. 134 (запись от 31 августа 1833 г.); Кюхельбекер находил в нем «нечто истинно поэтическое», заставляющее его пересмотреть свое прежнее невысокое мнение о таланте П. Могила Державина находилась в церкви Хутынского монастыря, недалеко от Новгорода. Эпиграф — измененные строки из послания Жуковского «К Вяземскому (Ответ на его послание к друзьям)» (1814). *То льется по лугам, как песня соловья* и т. д. Эта и следующие строки имитируют державинскую звукопись (ср. в «Водопаде»:

«Грохочет эхо по горам, как гром, гремящий по громам» и ст. 75). В стихотворении есть и прямая реминисценция из Державина (ср. в «Водопаде»: «В пыли героев попирают» и ст. 36 элегии П. и т. д.). Удачное подражание «слогу философических од Державина» в другом стихотворении П. — «Совесть» (1820) — отмечал Кюхельбекер («Дневник», с. 140). *Суна* — река, впадающая в Онежское озеро; ее описывал Державин в оде «Водопад». *Вадим* — герой летописной легенды, новгородец, поднявший восстание против Рюрика и погибший; фигура Вадима была популярна в гражданской поэзии 1820-х годов (ср. думу Рылеева «Вадим» (ок. 1823), набросок к трагедии о Вадиме Пушкина (1822—1823) и др.). *Певец Ерусалима* — Т. Тассо (см. примеч. 386).

195. СО, 1820, № 3, с. 129. Разбор элегии дал Кюхельбекер, отметивший в нем, как и в стих. «Победа» (1819), «усилие выйти из толпы подражателей Батюшкова и Жуковского» (НЗ, 1820, № 2, с. 114). Эпиграф — из стихотворения римского поэта Катулла (ок. 87—55 до н. э.) (Carmina, 31), в котором описывается возвращение на родину (на полуострове Сирмии находился дом Катулла). *Тебя, пустынное село в глухих лесах* и т. д. Свидетельства самого П. о месте своего рождения разноречивы: в 1849 г. он утверждал, что это — самая Тверь (ПГП, т. 3, с. 400); в 1820-х годах он записал в альбоме П. И. Кеппена: «Род. в Тверской губ. 1792 г. 15 авг⟨уста⟩» (ПД).

196. А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, Л., 1959, «Б-ка поэта» (Б. с.), с. 302. Автограф — ПД. В. П. Гаевский, по-видимому со слов П., сообщал, что на первую строку этого послания «Дельвиг, где ты учился языку богов?..» Дельвиг обыкновенно отвечал: «У Кошанского» (Совр., 1853, № 2, отд. 3, с. 68, примеч. 2). Послание П. вызвало «Ответ» Дельвига («Зачем на меня ты и глупость, и злобу, Плетнев, вызываешь нескромной хвалой...»), датируемый 1820 г.; видимо, и послание П. относится к этому году. *Камены* (греч. миф.) — музы.

197. Соревн., 1821, ч. 15, кн. 3, с. 340, без подписи и с загл.: «Стихи, написанные на манускрипте поэта». Печ. по автографу (более позднему) — ПД. Читалось в ОЛРС 12 сентября 1821 г. Приписывалось некоторое время Баратынскому, к ранним стихам которого стилистически близко; было введено в Полное собрание сочинений Баратынского, под ред. М. Гофмана, т. 1, СПб., 1914, с. 204. См. также: П. П. Филиппович, Два неизданных стихотворения Баратынского. — «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца», кн. 24, вып. 1, Киев, 1914, отд. 3, с. 11.

198. Соревн., 1821, ч. 16, кн. 1, с. 87. Автографы (более поздние) — альбом Кеппена и тетрадь П. (ПД), в которой заключает весь сборник и составляет «Эпилог». Печ. по Соч. 3, с. 310 (последняя рукописная редакция), с сохранением первоначального заглавия («эпилог» — не заглавие, а место стихотворения в составе сборника). Читано в ОЛРС 12 декабря 1821 г.

199. НЛ, 1822, кн. 2, № 25, с. 188. Печ. по СЦ на 1831, с. 57 втор. паг., где появилось вместе с ответным посланием Гнедича (на-

писанным в 1824 г. и опубликованным в отрывке в СЦ на 1828, с. 47 втор. паг.). Автограф — ПД. О своем послании П. вспоминал в письме к Гроту 17 марта 1845 г.: «Гнедичу я писал без особенного случая, просто по элегическому расположению духа, с детства и до зрелой осени преобладающему во мне... В моем ⟨послании⟩ есть места, которые и до сих пор я люблю. Гнедичево прозаично все, кроме конца, где изображен Ахилл» (ПГП, т. 2, с. 425). *Судья и друг поэтов молодых.* Репутация Гнедича как наставника литературной молодежи особенно укрепилась после его известной речи в ОЛРС 13 июня 1821 г. о назначении поэзии (в руках П. был единственный экземпляр речи Гнедича, напечатанный без цензурных купюр). В 1821—1823 гг. к Гнедичу обращались с посланиями Пушкин, Рылеев, Баратынский и др.; в посланиях Гнедич рисовался как арбитр в вопросах литературы и этики, самоотверженно и бескорыстно посвятивший себя великому труду перевода «Илиады» (см. также письмо П. к Гнедичу 28 ноября 1823 г. — «Отчет императорской Публичной библиотеки за 1895 г.», СПб., 1898, с. 33, приложение). *Геликон* — гора в Греции, по мифу — местопребывание Аполлона и муз. *Фрина* — известная в древности гетера. *Людмила* — из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

200. Соч. 3, с. 297. Автограф — ПД. Датируется по содержанию: по-видимому, написано П. ко дню своего тридцатилетия (ср. ст. 17: «Половины дней не стало»), то есть в 1822 г. В стихотворении отражаются черты поэтического стиля Жуковского. Как явствует из пометы Я. К. Грота на рукописи, последний стих был исправлен Пушкиным.

201. Соч. 3, с. 301. Автограф — ПД. По-видимому, относится к 1822 г. По поздним воспоминаниям Вяземского, знакомство его с П. произошло в начале 1820-х годов: «Плетнев был уже тогда приятелем Жуковского и другом Пушкина, Дельвига, Баратынского. Эти связи его тот же час породнили с ним и меня» («Утро. Литературный и политический сборник, изд. М. П. Погодиным», М., 1866, с. 154). Между тем картина отношений, дающая контекст посланию, была сложнее. Имя П. — как синоним бездарного литератора — появляется в письме Вяземского А. Тургеневу 13 ноября 1820 г. (ОА, т. 2, с. 103). 27 октября 1821 г. Вяземский просит Тургенева «ввести» его «в сношение» с П., занимавшимся в это время изданием сочинений В. Л. Пушкина (ОА, т. 2, с. 221). Первое письмо П. Вяземскому, с шуточным «посланием», написано 6 января 1822 г. (Соч. 3, с. 382); ответное письмо Вяземского (16 февраля) начинается также шутливым посланием:

«Любезнейший Плетнев! что Муз Вы верный данник,
Мне это рассказал заманчивый Ваш слог;
Но кто Вам из святых, во святцах, соимянник,
Из Вашей подписи я угадать не мог.
Придется, верно, мне, как на Руси бывалой,
Вас Аполлоновичем звать;

И то в наш грешный век, признайтесь, труд немалый
Попасть на отчество подстать!»

(ЦГАЛИ; указано М. И. Гиллельсоном).

Только после этого обмена уместно было адресовать Вяземскому («Знакомцу новому») послание серьезного и «учительного» характера, подобное публикуемому. *А всё порок один клеймишь бесчеловечно.* Эти строки свидетельствуют о недостаточном знакомстве П. с литературной деятельностью Вяземского; в 1822 г. призывать Вяземского писать на общественные темы мог только человек, не знавший списков «Негодования», «Петербурга» и других стихотворений Вяземского, представлявших собой как раз общественную сатиру. *Против писателей дурных.* Сатиры «на дурных писателей» — характернейший жанр, обычный еще для русского XVIII в., когда его прямо связывали с сатирами Буало. К 1821 г. относится ожесточенная полемика в печати Вяземского и М. Т. Каченовского (см.: «Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века», т. 1, 1800—1840, сост. В. Орлов, М.—Л., 1931, с. 348). *Беллона* (римск. миф.) — богиня войны. *Леонид* — см. примеч. 249. *Ужель не видишь ты, как гибельная лесть* и т. д. — парафраза ст. 1—3 сатиры Милонова «К Рубеллию», как известно, послужившей отправной точкой для сатиры Рылеева «К временщику»; их приводил П. в своем разборе сатир Милонова (Соревн., 1822, ч. 17, кн. 1).

202. Соревн., 1824, ч. 26, кн. 2, с. 201, без ст. 53—60 (видимо, цензурная купюра). Печ. по автографу ПД. Поводом к написанию послания было резкое недовольство «арзамасцев» элегией П. «Б⟨атюшк⟩ов из Рима» (см. биограф. справку; подробно см.: Н. В. Фридман, Поэзия Батюшкова, М., 1971, с. 9). В письме к Л. С. Пушкину от 4 сентября 1822 г. Пушкин также осудил П., заметив при этом, что «Плетневу приличнее проза, нежели стихи — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец» (Пушкин, т. 13, с. 46). Письмо это Л. С. Пушкин показал П.; в сентябре или октябре 1822 г. П. прислал Пушкину свое послание при письме (до нас не дошедшем); в октябрьском письме брату Пушкин писал: «...Послание Плетнева, может быть, первая его пиэса, которая вырвалась от полноты чувства. Она блещет красотами истинными. Он умел воспользоваться своим выгодным против меня ⟨по⟩ложени⟨ем⟩; тон его смел и б⟨лагороден?⟩» (там же, с. 53). Ст. 5—6 процитированы П. в письме к Пушкину от 7 февраля 1825 г. (там же, с. 139). О дальнейших отношениях П. с Пушкиным см. биограф. справку. *Торкват* — см. примеч. 203, 386.

203. НЛ, 1823, кн. 4, № 25, с. 191. Печ. по автографу (более позднему) — ПД. Можно думать, что в стихотворении отразились впечатления от «Умирающего Тасса» Батюшкова; в разборе этого стихотворения П. указывал на «важную моральную истину» в описании Тасса: «Ничто не отвратит железныя судьбы, Не знающей к несчастному пощады», замечая при этом, что «если такое изречение поставить отдельно от предмета, поэтически изображенного, или начать им период, то оно само по себе, как холодная мысль, покажет недостаток чувства и не произведет никакого действия» («Журнал изящных искусств», 1823, № 3, с. 214; цитируем по экземпляру П. — библиотека ПД, где устранены цензурные искажения). «Начав период» этой мыслью, П. стремится далее осложнить ее: чистая совесть позволяет мужественно противостоять ударам судьбы. Поэтическая

концепция стихотворения включает и фигуру Тассо в батюшковской интерпретации (ср. у Батюшкова: «Он видит грозный час, С веселием его благословляет» и т. д.). *Так из семьи друзей в темницу поспешает* и т. д. Греческий философ Сократ (V—IV вв. до н. э.) был заключен в тюрьму и осужден на смерть по обвинению в безбожии; его мужественное поведение перед смертью со времен античности приводится как образец философского спокойствия.

204. ПЗ на 1824, с. 86. Автограф — ПД, с разночтением в двух последних стихах; последовательность редакций неясна. Печ. по ПЗ.

205. ПЗ на 1824, с. 196. Автограф — ПД. Положительный отзыв Пушкина об этом стихотворении см. в его письме к Бестужеву от 8 февраля 1824 г. (Пушкин, т. 13, с. 88).

206. Соревн., 1825, ч. 29, кн. 1, с. 3, без подписи. Автограф, под загл.: «К Жуковскому» — ПД. Послание отражает характерный для П. «культ Жуковского», начавшийся еще до личного знакомства; в 1818 г. он читает вместе с Кюхельбекером сборники «Für wenige» («Для немногих») Жуковского и в беседах с Дельвигом восхищается его поэзией (РА, 1871, № 2, с. 075, 078; Соч. 2, с. 18); критика видит в нем прямого подражателя Жуковского (Кюхельбекер, Взгляд на текущую словесность. — НЗ, 1820, № 2, с. 113). Знакомство произошло, видимо, в 1820 г. (Соч. 3, с. 565). С 1822 г. П. прямо пропагандирует творчество Жуковского, становясь на его сторону против критиков Благ., в частности при сравнительной оценке переводов его и Милонова (ср.: «Ж⟨уковск⟩ий из Берлина. — СО, 1822, № 7, с. 327; Соревн., 1822, ч. 17, кн. 1, с. 52, — в противовес, например, статье В. Кн⟨яжеви⟩ча — Благ., 1821, № 23—24, с. 217). Для П. Жуковский — основоположник и признанный глава романтической школы в России и создатель нового поэтического языка, отличающегося смелостью, свободой и гармонией, хотя и некоторой «темнотой мыслей» (ср.: Н. И. Греч, Опыт краткой истории русской литературы, СПб., 1822, с. 307, где цитируется отрывок из неизданной «Общей характеристики русских поэтов» П.; иронический отзыв Карамзина о ней см.: СиН, кн. 1, СПб., 1897, с. 126). В 1822 г. П. высоко оценивает «Шильонского узника» (Соревн., 1822, ч. 19, кн. 17, с. 209), а в 1823 г. анализирует перевод «Путешественника» Гете как образцовое романтическое стихотворение («Журнал изящных искусств», 1823, № 2, с. 126). К тому же году относится и первое известное нам письмо П. к Жуковскому (1 июня 1823); в это время П. еще не знаком с Жуковским близко; посредником между ними является А. Ф. Воейков (Соч. 3, с. 519), с которым он несколько раз посещает Жуковского в Царском Селе. Несмотря на острое желание П. войти в ближайший круг Жуковского, это так и не осуществилось. В 1840-х годах он вспоминал, что, будучи чужим этому кругу, он «складывал ступени жизни своей» из событий его жизни (Соч. 3, с. 565), а в 1831 г. жаловался Пушкину: «Жуковский совсем не знает меня; потому что он никогда не имел случая видеть меня близко» (Пушкин, т. 14, с. 194). В 1823—1824 гг. П. занят изданием сочинений Жуковского (3-е изд., чч. 1—3, СПб., 1824); а в 1824 г. в «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах» характеризовал его как «первого поэта *золотого*

века нашей словесности». Эта оценка полемически противостояла отношению к Жуковскому Бестужева и сама стала предметом полемики (Мордовченко, с. 307; Базанов, с. 297). Вместе с тем в послании к Жуковскому 1824 г. отразился и испытанный П. подъем общественных настроений; видимо, с ним связана очень осторожная оценка поэзии Жуковского как воплощения идеальной мечты, разрушаемой действительностью.

207. СЦ на 1825, с. 301. Автограф — ПД. Александра Николаевна *Семенова*, в замужестве Карелина (1808 — после 1885) — ученица П. по петербургскому женскому пансиону Е. Д. Шретер, ближайшая приятельница С. М. Салтыковой (Дельвиг). 4 января 1825 г. Салтыкова писала ей о выходе СЦ с этим стихотворением: «Помнишь ли? Кажется, это у тебя в альбоме написано» (Б. Л. Модзалевский, Пушкин, Л., 1929, с. 141).

208. СЦ на 1825, с. 274. Печ. по автографу ПД.

209. ПЗ на 1825, с. 34. Автограф — ПД. Положено на музыку Н. И. Дюром.

210. Соч. 3, с. 304. Автограф — ПД. Датируется предположительно, по положению в тетради (не позднее 1825 г.).

211. СЦ на 1826, с. 12 втор. паг. Печ. по автографу (более позднему) — ПД.

212. СЦ на 1827, с. 334. Автограф — ПД.

213. СЦ на 1827, с. 317, под загл.: «Воспоминание». Автограф (с более поздней заменой заглавия) — ПД. Печ. по Соч. 3, с. 291, где текст воспроизводится по автографу.

214. Соч. 3, с. 299. Автограф — ПД. Датируется предположительно, по положению в тетради, не ранее 1827 г.

215. СЦ на 1828, с. 28 втор. паг. Автограф — ПД.

Н. М. КОНШИН

Автографы (и частью авторитетные копии) стихотворений К. сохранились в ПД в составе тетрадей, находившихся позднее у П. А. Плетнева (далее — ТП) и академика М. Н. Сперанского (далее — ТС). Обе тетради, лишь частью совпадающие по составу, дают более поздние по сравнению с печатным текстом редакции; из них последней по времени является ТС, заполнявшаяся в конце 1830-х — начале 1840-х годов. Стихи в ТС датированы (за небольшим исключением); даты не всегда точны. Несколько автографов поздних стихотворений — ПД, архив Н. П. Вульфа.

216. Благ., 1820, № 17, с. 329, с цензурной заменой ст. 21—23. Печ. по автографу (ТП). Первое напечатанное стихотворение К. Начальные строки перекликаются с «Посланием к барону Дельвигу» («Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой. . .») Баратынского, которое К. слышал в чтении автора в «Ликоловских казармах»; концовка — парафраза на темы послания Баратынского «К⟨рылову⟩» и «Послания к барону Дельвигу». Написано, по-видимому, до перехода Баратынского в роту К., когда К. находился в Лийкала (*Валькиала*, которым помечено стихотворение, — поблизости от Лийкала), а Баратынский наезжал к нему из Фридрихсгама. По-видимому, ответом на это послание является стих. Баратынского «Коншину» («Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам. . .»), имеющее помету «Фридрихсгам» и напечатанное позже, в декабре 1820 г. (СО, 1820, № 49, с. 130), вскоре после чтения в ОЛРС «ответа» К. (см. № 217) и почти одновременно с появлением его в печати. По воспоминаниям К., Баратынский привез ему из Фридрихсгама «Добрый совет» (т. е. послание «К Коншину» — «Живи смелей, приятель мой. . .»); скорее всего, это ошибка памяти, и речь должна идти именно о послании «Поверь, мой милый друг. . .» («Добрый совет» датируется 1821 годом). См.: Н. Коншин, Воспоминания о Боратынском. — «Краеведческие записки Ульяновского краеведческого музея», вып. 2, 1958, с. 390. Послание «Коншину» («Поверь, мой милый друг. . .») отвечают на 2-ю и 3-ю строфы стихотворения К. Написание фамилии Баратынского у К. неустойчиво: в воспоминаниях он сообщал, что сам поэт писал «Боратынский» и настаивал на этом; однако это не вполне точно. Вслед за Баратынским К. допускает орфографические колебания, отразившиеся в названиях посланий.

217. Соревн., 1820, ч. 12, кн. 12, с. 324, под загл.: «Боратынскому. Ответ», без подписи и с цензурной купюрой (ст. 13—16). Печ. по автографу (ТС). Читалось в ОЛРС 29 ноября 1820 г. как сочинение «неизвестного» (вместе с № 218) и было «одобрено», но вызвало цензурные затруднения (П. П. Филиппович, Жизнь и творчество Е. А. Баратынского, Киев, 1917, с. 62). Видимо, является ответом на послание «Коншину» («Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам. . .», см. выше). *Достиг до узничьей темницы.* Восприятие службы в Финляндии как «заключения», «ссылки» характерно как для Баратынского, так и для большинства «финских» стихов К.

218. Печ. впервые по автографу (ТП). Несомненно, это стих. читалось 29 ноября 1820 г. в ОЛРС вместе с № 217, как поступившее от «неизвестного» под загл.: «Баратынскому (при выступлении из лагеря в деревню)».

219. Совр., 1853, № 5, отд. 3, с. 46, в отрывках (ст. 9—48, 61—84, 93—96, с цензурной купюрой). Печ. по автографу (ТС); более ранняя ред. — ТП. Написано не ранее лета 1821 г., когда Нейшлотский полк прибыл в Петербург для несения караульной службы; вместе с полком Баратынский и К. оставались здесь до марта 1822 г. *Семеновский* — территория в Петербурге, где размещались казармы Семеновского полка (в районе нынешнего Загородного проспекта);

здесь в 1819 г. жил Баратынский, тогда же и позднее Дельвиг, и останавливался К., приезжая в Петербург. *Ты опорожнил чашу бед* — намек на юношеский проступок и тяжелое наказание Баратынского и его службу рядовым и унтер-офицером. *И вождь, и муж совета.* Цитата из «Певца во стане русских воинов» Жуковского. *Витикинд* (правильно: Витекинд, Видукинд, убит в 1007 г.) — вождь саксов, возглавивший их борьбу с Карлом Великим. В воспоминаниях о Дельвиге К. писал: «. . .он сам говорил мне, что древность их рода восходит до Витикинда» (PC, 1897, № 2, с. 277). *Чернышов* — по-видимому, Николай Сергеевич, в 1821 г. — подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка, живший неподалеку от К., в казармах полка. *Болтин* Илья Александрович (1795—1856) — приятель К. и Дельвига, офицер Изюмского гусарского полка; в 1819 г. переведен в чине поручика в лейб-гвардии ее величества Александры Федоровны уланский полк (в вариантах этого стих., а также стих. «Б⟨олтину⟩» (НА на 1826, с. 67; ТП, ТС). К. называет его попеременно «гусаром» и «уланом»).

220. Печ. впервые по автографу (ТС). Более ранняя редакция, под загл.: «Разочарование» — ТП. *Эван, эвоэ* — восклицания на празднествах в честь Вакха; К. ошибочно счел первое из них одним из многочисленных имен этого бога.

221. НЛ, 1823, кн. 5, № 38, с. 191 (ранняя редакция, под загл.: «Воспоминание»). Печ. по поздней переработанной редакции (ТС). Автограф — ТП. По-видимому, это стихотворение («Воспоминание. К Р. . .») было читано в ОЛРС 12 сентября 1821 г. Адресовано, вероятно, Анне А. Радищевой, адресату нескольких стихотворений К. 1821 г.

222. Печ. впервые по автографу (ТС). Ранняя редакция, под загл.: «Вечер» — ТП.

223. НЛ, 1823, кн. 4, № 26, с. 107. Печ. по автографу (ТС); более ранний автограф — ТП. Написано, по-видимому, перед возвращением в Финляндию из Петербурга (в марте 1822 г.). Под «поэтом» можно понимать как Баратынского, так и самого К. Стихотворение было довольно популярно и перепечатывалось; вызвало насмешку Н. А. Полевого, процитировавшего ст. 3—4 как антипоэтические (МТ, 1826, № 4, с. 371). *Сбылись предчувствия угрозы* — парафраза ст. из элегии Баратынского «Весна» (1820). У Баратынского: «Сбылися времени угрозы. . .».

224. Печ. впервые по черновому автографу (ТС). Ранняя редакция, под загл.: «Разочарование» — ТП.

225. ЦС, с. 311, под загл.: «Песня (Кому-нибудь)» и без посвящения. Печ. по автографу (ТС). Песня была положена на музыку (см. ЦС, приложение). Полностью процитировано в ВЕ (1830, № 3, с. 244) как «образец черствой мечтательности».

226. Печ. впервые по автографу (ТП). Датируется предположительно, по содержанию. В стихотворении идет речь о петербургских

друзьях К., с которыми он расстался в марте 1822 г. (см. примеч. 219; с Дельвигом К. виделся также летом 1822 г. и в сентябре того же года); о «подругах» К. — его петербургском романе — см. примеч. 221, 227. *Роченсальм* — укрепления по реке Кюмени, где Нейшлотский полк был расквартирован после возвращения из Петербурга в 1822 г. Об однообразной стоянке в Роченсальме К. рассказывал в «Воспоминаниях о Боратынском». Не исключена также возможность, что в стихотворении идет речь не об отпуске в Петербург, а об ожидаемой отставке К., которая последовала 23 ноября 1823 г.; в январе 1824 г. К. переехал в Петербург (ГПБ). Тогда стих. может датироваться осенью 1823 г.

227. Соревн., 1824, ч. 27, кн. 1, с. 10, под загл.: «К Лиде»; НЛ, 1826, кн. 16, май, с. 118, под загл.: «К Делии». Печ. по автографу (ТС). Ранняя редакция («К Лиде») — ТП. Лида — условно-поэтическое имя; посвящено, по-видимому, некоей Марии Т., предмету увлечения К., для встречи с которой он дважды приезжал в Петербург (осень 1822 г. и декабрь 1822 — начало февраля 1823 г.) (А. И. Кирпичников, Очерки по истории новой русской литературы, изд. 2, т. 2, М., 1903, с. 94; Н. Коншин, Для немногих, ГПБ). Ст. 34—35 — парафраза ст. 7—8 стих. Баратынского «Отъезд».

228. Печ. впервые по автографу (ТП). Год написания устанавливается предположительно, по следующим данным: стихотворение написано после 1820 г. (1 августа 1820 г. датировано другое послание, из Валькиалы, № 216) и до отъезда К. из Финляндии в январе 1824 г. В августе 1821 г. К. и Баратынский были в Петербурге (ср. помету под посланием: Котка, т. е. Роченсальм). Из двух остающихся дат — 1822 и 1823 — более вероятна последняя; к этому году относятся сатирические куплеты Баратынского и К. и конфликт его с обществом (см. биограф. справку), отразившийся и в данном послании. Предлагаемая датировка снимает предположение И. Н. Медведевой (Е. А. Баратынский, Полное собрание стихотворений, Б-ка поэта (Б. с.), т. 2, Л., 1936, с. 246), что косвенным ответом на это послание является «Добрый совет» Баратынского («Живи смелей, приятель мой. . .», 1821); напротив, в данном послании есть отклики и фразеологические переклички как с «Добрым советом» (ср. «уже нет нужды мне в совете»), так и с другими посланиями Баратынского к К. («Пора покинуть, милый друг. . .», 1821; «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам. . .», 1820).

229. НА на 1826, с. 187, под загл.: «Песня». Печ. по автографу (ТП). Одно из наиболее распространенных стихотворений К., было положено на музыку А. Л. Гурилевым («Цыганская песня») и К. К. Альбрехтом, вошло в песенники. Ср.: «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», М., 1971, с. 37.

230. НА на 1827, с. 189, под загл.: «Дверь» и без эпиграфа. Печ. по автографу (ТС). Эпиграф — Псалтырь, Столпописание Давида, 15.

231. Северный Меркурий, 1830, № 32, с. 128, под загл.: «Город» и с подписью: Н. К. (в оглавлении: Кон — на (Ник. Мих.) Автограф

журнальной редакции, под загл.: «Добрый совет» и с датой: 1828 — ТП. Печ. по черновому автографу последней редакции (ТП).

232. Печ. впервые по копии (ТС). Автограф неизвестен. Обращено к семейству Вульфов — Елизавете Петровне Вульф (1789—1848) и ее детям Никите Петровичу (1818—1884) и Екатерине Петровне (1817—1894), с которым К. был дружен с конца 1830-х годов (см.: «Радуга. Альманах Пушкинского дома», Пб., 1922, с. 107). 15 сентября 1837 г. Е. П. Вульф писала Н. П. Вульфу: «В Тверском собрании... познакомились с почтенным семейством Коншиных, из коих Николай Михайлович, теперешний директор гимназии, человек умный, добрый, любящий поэзию» (ПД). *Медное* — село Новоторжского уезда Тверской губ. *Берново* — село Старицкого уезда Тверской губ., имение Вульфов.

233. Маяк, 1840, ч. 12, гл. 2, с. 18, с подписью: Н. К — н. Автограф, под загл.: «Дума (Из Байрона)», с датой и пометой: «Тверь» — ТС. Вольный перевод «еврейской мелодии» Байрона «Солнце неспящих» («Sun of the Sleepless»).

234. Маяк, 1840, ч. 12, гл. 2, с. 18, с подписью: Н. К — н. Черновой автограф с датой и пометой: «Тверь» — ТС.

235. Печ. впервые по автографу (ТП). Перевод стих. Шиллера «Der Pilgrim», переведенного также Жуковским («Путешественник», 1815).

236. Печ. впервые по автографу (ТС).

В. Н. ГРИГОРЬЕВ

Фонд автографов, сосредоточенный в ГПБ, включает несколько отдельных беловых и черновых рукописей стихотворений и тетрадь-сборник «Прегрешения моей молодости» (далее: Сб. ГПБ), составлявшийся около 1840 г. За исключением единичных поздних стихотворений, все автографы этого сборника являются автокопиями с печатного текста, обычно с указанием места публикации и даты. Пометы эти не всегда точны: Г. не располагал полным списком своих публикаций; он пользовался доступными ему текстами, оставляя без внимания частные разночтения редакций и авторизуя тексты заново (внося исправления стилистического характера, в отдельных случаях сводя редакции; ср. стих. «Гречанка» и т. д.). Таким образом, есть основания принимать Сб. ГПБ как основной источник текста.

237. Благ., 1821, № 11—12, с. 184. Вольный перевод стих. Ф. Л. Штольберга (1750—1819) «Der Felsenstrom». Переведено также М. Загорским («Горный поток». — НА на 1826, с. 61).

238. Соревн., 1822, ч. 19, кн. 1, с. 76. Печ. по Сб. ГПБ. Читалось в ОЛРС 8 мая 1822 г. В декабристской литературе «падение Вавилона» — гибель порока и тирании; «царь Вавилона» — Навуходоносор — обычное обозначение тирана. Возможно, что поводом для сти-

хотворения послужила смерть Наполеона в 1821 г. (Г. А. Гуковский, Пушкин и русские романтики, М., 1965, с. 277).

239. Благ., 1822, № 34, с. 301, с подписью: Гр.... Резкая критика этого стихотворения как порождения «новой школы» появилась за подписью «Старый критик. Колтовская» в Благ., 1822, № 36, с. 381; автор, опираясь на выступление В. Княжевича (Благ., 1821, № 23—24, с. 217), напал, в частности, на ст. 17—18, как на «модных и чудовищных гермафродитов»: «Теперь пишут у нас: *Надежда-обольститель, Муза-спутник, Муза-вожатый.* Дождемся, может быть, и того времени, что станут писать: *Гений-обольстительница, Разум-спутница*».

240. Соревн., 1822, ч. 20, кн. 1, с. 80. Читалось в ОЛРС 4 сентября 1822 г. Обращено, по-видимому, к С. Старынкевичу, однокашнику Г. по гимназии, поддерживавшему с ним отношения и позже (см.: «Записки о моей жизни», ГПБ). Видимо, ответом на это стихотворение служит послание «К В. Н. Гр...ву», подписанное «С. Ст — ч. М. Шклов» (Благ., 1823, № 9, с. 211), где автор призывает адресата «сбросить иго поэта» и быть его другом. Шкловские Старынкевичи были не чужды литературе (см. с. 348 наст. изд. и ЛН, 1956, № 60, кн. 1, с. 559); С. Старынкевичу принадлежит, в частности, перевод из «Иоанны д'Арк» Шиллера в Благ., 1821, № 3, с. 34; см. также Благ., 1820, № 13, с. 43, 1821, № 13, с. 12, 1822, № 38, с. 462 и т. д.

241. Соревн., 1822, ч. 20, кн. 3, с. 320. Печ. по Сб. ГПБ. Читалось в ОЛРС 23 октября 1822 г. Свободное переложение мотивов поэмы Оссиана-Макферсона «Берратон» (ср. «Последнюю песнь Оссиана» Н. И. Гнедича, 1804). *Фингал* — центральный герой оссиановского цикла, царь Морвены, отец Оссиана. *Катмор* — ирландский герой, брат узурпатора престола Каирбара, убитый в битве Фингалом (поэма «Темора»). *Мне мир как гроб, лишенному светил.* По преданию, Оссиан в старости ослеп.

242. Соревн., 1823, ч. 24, кн. 1, с. 53. Печ. по НЛ, 1824, кн. 8, № 23, с. 170, где сопровождалось примеч.: «Сие стихотворение было уже напечатано в одном журнале, но с неверного списка и с пропусками». В Сб. ГПБ переписано с текста Соревн., с одним разночтением. Посвящено Алексею Романовичу Томилову (1779—1848) — новоладожскому уездному предводителю дворянства, члену Общества поощрения художеств, известному любителю искусств. Было прочитано в ОЛРС в 1823 г. Развивает характерную для декабристской литературы тему героического древнего Новгорода и Пскова. *Рюрикова крепость* — «Рюриково городище» на правом берегу Волхова, в 2 км. от Новгорода — остатки древнего поселения, на которых в XII—XIII вв. была укрепленная княжеская усадьба.

243. Соревн., 1823, ч. 24, кн. 3, с. 267. Автокопия — Сб. ГПБ. Было прочитано в ОЛРС в 1823 г.

244. ПЗ на 1824, с. 271.

245. Соревн., 1824, ч. 25, кн. 1, с. 54. Автокопия — Сб. ГПБ. Читалось в ОЛРС в 1823 г. Перевод стихотворения Гете «Nähe der Geliebten». До Г. его переводили И. Борн («Близость любезного», 1803), А. И. Мещевский («Присутствие милой» — ВЕ, 1817, № 5, с. 5), Дельвиг («Близость любовников», 1819); см. также переводы этого стихотворения в НЛ, 1824, № 12, с. 92; ВЕ, 1821, № 10, с. 98. Ср.: В. Жирмунский, Гете в русской литературе, Л., 1937, с. 118.

246. Соревн., 1824, ч. 25, кн. 1, с. 52. Печ. по Сб. ГПБ. Читалось в ОЛРС 7 января 1824 г. Характерный образец использования библейской символики в декабристской литературе. *Позор вавилонян* — позор Иерусалима, плененного вавилонянами. *Салем* — Иерусалим. *Евфрат* — река в Ближней Азии, куда, согласно Библии, удалились изгнанные израильтяне.

247. Соревн., 1824, ч. 26, кн. 3, с. 321. Автокопия — Сб. ГПБ. Читалось в ОЛРС 12 мая 1824 г.

248. СЦ на 1825, с. 322. Печ. по Сб. ГПБ. Одно из наиболее популярных и часто перепечатывавшихся стихотворений Григорьева.

249. Соревн., 1825, ч. 29, кн. 2, с. 157; НА на 1826, с. 107, без последней строфы. Печ. по Сб. ГПБ, где автокопия восходит к тексту НА, в котором восстанавливается выпущенная строфа. Стихотворение — характерный пример декабристского филэллинизма. *Ипсара* — греческий остров, один из очагов восстания; был взят турками 3 июля 1824 г.; жители его подверглись почти поголовному уничтожению. *Леонид* — царь Спарты, в 480 г. до н. э. остановивший продвижение огромной персидской армии в Фермопильском ущелье; весь отряд, во главе с Леонидом, погиб.

250. ПЗ на 1825, с. 270. Автокопия — Сб. ГПБ. Речь идет о Куликовской битве 1380 г., где великий князь Дмитрий Иванович (Донской) нанес поражение золотоордынскому хану Мамаю. *Улусы* — становища кочевников.

251. СО и СА, 1826, № 2, с. 190, под загл.: «Вечер на Мечуке». Печ. по Сб. ГПБ. Предназначалось для «Звездочки» (ПЗ 1960, с. 800). Комментарием к этому стихотворению служит позднейшая запись в воспоминаниях: «Бештау — известковая гора о пяти пирамидальных вершинах, из которых самая высокая стоит в средине, а меньшие четыре по сторонам ее. Она имеет довольно правильную и даже красивую форму, но бедна растительностию. Главная вершина ее по свойству известковой почвы привлекает к себе сырость из воздуха и перед дождем бывает покрыта кругом облаками, точно шапкою. Поэтому здешние жители говорят перед ненастьем: «Плохо, Бештау шапку надел». Кроме Бештау, есть подле Пятигорска еще другая высокая гора — Мечук. Она конусообразной формы и вся покрыта зеленью. Раз мне удалось — еще в 1825 году, когда я первый раз был здесь, — взъехать на самую вершину ее верхом на лошади, и оттуда любовался закатом солнца, которого лучи отражались на снежной цепи Кавказских гор и обливали горы радужным светом.

Великолепный вид этот дал мне мысль написать стихотворение (Вечер на Кавказе или Мечуке, хорошенько не помню), которое и было в 1826 году напечатано в каком-то альманахе или журнале, тоже не могу вспомнить» («Заметки из моей жизни», ГПБ). *Ермолов* — см. примеч. 61.

252. Календарь муз на 1827 г., с. 36 втор. паг. (ц. р. 21 декабря 1826 г.), под загл.: «Ночь в степи. (Из путевых записок)». Печ. по Сб. ГПБ.

253. СЦ на 1827, с. 256. Печ. по Сб. ГПБ.

254. СЦ на 1828, с. 57 втор. паг. Печ. по Сб. ГПБ. Свободное переложение мотивов «еврейской мелодии» Байрона «Oh! weep for those. . .». Стих. тесно связано с группой аллюзионных декабристских стихов на библейские темы, в частности, варьирующих мотивы 136 псалма Давида, где оплакивается разрушение Иудеи Вавилоном в VI в. до н. э. и пленение иудеев (ср., напр.: Ф. Глинка, «Плач плененных иудеев», 1822; Н. Языков, «Подражание псалму 136», 1830 и др.; ср. также более ранние стихи самого Г.: «Жалобы израильтян (Из Байрона)», 1824 и № 246). После поражения восстания 1825 г. эти мотивы приобрели особенно резкую гражданскую окрашенность. *Сион* — гора близ Иерусалима; здесь: Иудея. *Иаков* (библ.) — родоначальник израильтян; здесь (метонимически) — народ в целом.

255. СЦ на 1829, с. 69 втор. паг. Печ. по Сб. ГПБ. Написано во время посещения Грузии в 1828 г.; в Тифлисе Г. провел лето (до начала сентября) этого года.

256. НА на 1830, с. 217. В жанрово-тематическом отношении, возможно, ориентируется на думы Рылеева «Курбский» (1821) и «Глинский» (1822). Личность Курбского в это время привлекает ряд историков и литераторов (В. Ф. Тимковский, Б. М. Федоров, Н. С. Арцыбашев, Ф. В. Булгарин). Курбский был в войске польского короля Стефана Батория, осадившего и взявшего Полоцк в 1579 г.; под Полоцком Курбский написал Ивану IV одно из своих писем памфлетного характера, приведенное у Карамзина («История Государства Российского», т. 9, изд. 4, СПб., 1834, с. 297); монолог Курбского у Г. является очень свободным переложением этого письма, с интерполяцией эпизодов, взятых из других мест «Истории». Г., усиливая антитиранический пафос выступления Курбского в духе аллюзионной декабристской поэзии, в то же время переносит центр тяжести на трагедию Курбского, вынужденного проливать кровь соотечественников; он несколько переакцентирует карамзинскую трактовку, вслед за Рылеевым склоняясь к оправданию Курбского. *О стены Полоцка! Давно ли жребий битв* и т. д. Полоцк был отвоеван Иваном IV в 1563 г. *Адашев* Алексей Федорович (ум. 1561). — один из ближайших к Ивану IV государственных деятелей; в 1560 г. подвергся опале; умер в заключении. *Сильвестр* (ум. ок. 1566) — новгородский священник, оказывавший большое влияние на Ивана IV до 1560 г.; умер монахом в одном из северных монастырей. *Басманов* Алексей Данилович (ум. 1570) — один из инициаторов опричнины. У Г. анахро-

низм: к 1579 г. Басманова (как и Малюты) не было в живых: он был обвинен в измене и, видимо, казнен. *Малюта* — Скуратов-Бельский Григорий (Малюта) Лукьянович (ум. 1573), один из вдохновителей опричнины, казней и репрессий 1569—1570 гг. *Вассиян* — игумен Песношского монастыря в Дмитровском уезде; согласно Курбскому (на которого опирался и Карамзин), был одним из главных врагов Сильвестра и Адашева.

257. СО и СА, 1834, № 27, с. 3, под загл.: «П — н» и с подписью: В. Г. Печ. по Сб. ГПБ. *Таврия* — здесь: Крым.

258. СО и СА, 1834, № 29, с. 138, с подписью: П. Автокопия — Сб. ГПБ.

259. Одесский альманах на 1839 г., с. 479. Печ. по Сб. ГПБ.

260. Печ. впервые по Сб. ГПБ.

А. А. ШИШКОВ

Литературное наследие Ш. дошло до нас не полностью, и автографы стихов его в настоящее время неизвестны. Ряд поздних стихотворений, не вошедших в два прижизненных издания: «Восточная лютня», М., 1824 (далее: Сб. 1824) и «Опыты Александра Шишкова 2-го, 1828 года», М., 1828 (далее: Опыты), был напечатан в 1-й части «Сочинений и переводов капитана А. А. Шишкова», СПб., 1834 (далее: СиП), вышедших посмертно. Посмертное собрание первоначально готовилось в Москве С. Т. Аксаковым, Н. И. Надеждиным и М. П. Погодиным при непосредственном участии вдовы поэта Е. Шишковой (см.: В. Шадури, Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии, Тбилиси, 1951, с. 150 (далее: Шадури), но не состоялось из-за недостатка подписчиков; по инициативе Н. И. Греча, поддержанной Пушкиным, оно было осуществлено через Российскую Академию (см.: «Рукою Пушкина», М.—Л., 1935, с. 820). Непосредственная работа над ним началась не ранее самого конца 1833 г., уже после смерти Е. Шишковой; 16 декабря А. С. Шишков в письме Академии просил о попечительстве над изданием «четырех гг. членов, а именно: Василия Алексеевича Поленова, Владимира Ивановича Панаева, Петра Ивановича Соколова и Александра Сергеевича Пушкина»; «по выслушании сего предложения», как указано в протоколе, «члены Академии, в нем поименованные, изъявили свое согласие на сделанное им его высокопревосходительством поручение» (ААН). Как явствует из протоколов заседаний, к 3 июня 1833 г. в распоряжении будущих кураторов тома стихотворений находился экземпляр Опытов, журнальные публикации (или списки с них) стихотворений «На взятие Варшавы», «К Молве», «Прозаику» и «разные стихотворения в рукописи», а именно: «Из Гетева „Фауста“», «Агриппина», «Ощипанная ворона», «Жизнь», «Песнь вайделота», «Украйна», «Сон девы» (напечатано под загл. «Спящая дева»), «К Зайцевскому», «Ф. Н. Г⟨линке⟩», «К Эмилью», «А. . у» (Аксакову), «Тоска» (по-

видимому, «Другу-утешителю»), «Демон. (Другу И. Д. князю Козловскому)» и «Египтянка» (ААН). 17 июня А. С. Шишков предоставил в их распоряжение и экземпляр Сб. 1824 (там же). Два сборника и перечисленные стихотворения исчерпывают состав 1-го тома СиП и позволяют судить о текстологии и источниках текста в этом издании. СиП носят следы как цензурного, так и редакторского вмешательства, направленного на стилистическую унификацию текста; редакторские исправления в ряде случаев нивелируют особенности поэтической манеры Шишкова и иногда отличаются крайней поэтической неумелостью (что, между прочим, исключает участие Пушкина, которое предполагалось некоторыми исследователями). Таким образом, СиП могут не приниматься во внимание при установлении окончательного текста стихотворений, известных издателям не в рукописи, а лишь в прижизненных публикациях (это — стихотворения в журналах, частично в Опытах и весь Сб. 1824, полученный от А. С. Шишкова, явно без авторской правки). Сложнее вопрос об окончательном тексте стихотворений, которые были получены издателями в рукописи, возможно авторской и более поздней, нежели прижизненные публикации; здесь есть несомненные следы авторской работы Шишкова. Эти стихотворения («К А⟨ксаков⟩у», «Другу-утешителю», «Эльфа», «Жизнь», «Агриппина», «Из Гетева „Фауста“», «Ф. Н. Г⟨линке⟩», «Демон») печ. по СиП с критической проверкой текстов по предшествующим публикациям и по списку стихотворений, указанному выше.

261. НЛ, 1823, кн. 6, № 42, с. 45, под загл.: «К А**», с пометой: «Тифлис» и цензурной купюрой ст. 23—27; Сб. 1824, с пропуском (очевидно, при наборе) ст. 13. Печ. по СиП, с. 32, с восстановлением ст. 26—27 по Сб. 1824. Адресовано Николаю Тимофеевичу Аксакову (ок. 1797—1882), брату С. Т. Аксакова, в 1820 г. — поручику Измайловского полка, с которым Ш. был знаком с детства. В Тифлисе Ш. пробыл с конца декабря 1818 по декабрь 1821 г. (Шадури, с. 85, 107). *Кур* — Кура, река, на которой расположен Тифлис (Тбилиси). *Джейран* — «дикая коза, чрезвычайно легкая» (примеч. Ш. к «Дагестанской узнице» — Сб. 1824, с. 29). *Гиланская роза* — из Гилани, провинции северного Ирана. *Гает* — видимо, древняя Капета, порт на Тирренском море, где был храм бога Нептуна. *Гурии* — в магометанской мифологии райские девы, услаждающие праведников в загробной жизни. *Пери* — в древнеиранской мифологии небесные гении, представляющие доброе начало (в отличие от дивов). *Сади* — Саади, Муслихиддин (1184—1291) — персидский поэт.

262. Сб. 1824, с. 33. Вошло в СиП, ч. 1, с. 58 с заменой имени «Рогдай» на «Сурхан». Печ. по Сб. 1824. *Симун* — самум, песчаный ураган.

263. Сб. 1824, с. 58; СиП, ч. 1, с. 60, под загл.: «К Метеллию (Отрывок)» и с цензурным (или редакционным) изъятием ст. 40—55. Печ. по Сб. 1824. Античный колорит стихотворения условен; это типичная для декабристской литературы аллюзионная сатира. Отмечено в рецензии СПч., 1825, № 1 как «образцовое... по слогу», отличающееся «необыкновенными мыслями и возвышенными чувствованиями»

и рисующее картину, «достойную кисти Персия, Горация, Ювенала». *Наследья скромного сокроюсь в угол тесный* и т. д. — парафраза начальных строк II эпода Горация («Beatus ille...»).

264. НЛ, 1826, кн. 16, апрель, с. 62, под загл.: «Утешителю-другу». Предполагалась вторичная публикация в НА (под загл.: «Другу-утешителю»), но цензурный комитет потребовал смягчения девяти последних строк (заседание 25 октября 1826 г., ЦГИА), и перепечатка не осуществилась; Опыты, с. 32, под загл.: «Другу-утешителю». Печ. по СиП, ч. 1, с. 50 (по-видимому, обозначено в списке как «Тоска», однако издатели сохранили заглавие Опытов). Адресат не установлен.

265. НЛ, 1826, кн. 16, апрель, с. 107, под загл.: «Щербинскому». В СиП, ч. 1, с. 34 небольшая правка редакционного характера в ст. 4. Печ. по Опыты, с. 11. *Щербинский* — знакомый Ш., поручик, адъютант 2-й бригады Бугской уланской дивизии; Ш. часто общался с ним в Херсоне, где была его корпусная квартира. Письмо Щербинского от 6 марта 1825 г. было обнаружено в бумагах Ш. при аресте, и он вынужден был давать показания о личности Щербинского (Шадури, с. 353).

266. НА на 1827, с. 79. Вошло в Опыты и СиП. Ш. приехал на Украину в начале 1822 г. и находился здесь до октября 1827 г. (Шадури, с. 107). *И первую души моей любовь.* Ш. говорит о своей жене (по-видимому, с 1824 г.) Текле (Екатерине) Шишковой, ур. Твердовской (ум. 1834).

267. НА на 1827, с. 160. Печ. по Опыты, с. 47. В СиП не вошло. *И я опять в стране отцов.* Ш. был привезен в Петербург под арестом в начале 1826 г., освобожден 16 января и некоторое время пробыл в Петербурге; менее вероятно, что речь идет о поездке Ш. в Петербург в конце октября — ноябре (до 24) 1825 г. (Шадури, с. 110—112; дневник К. С. Сербиновича (ЦГАЛИ), записи 23 октября и 24 ноября).

268. «Ученые записки Саратовского университета», 1948, т. 20, вып. филологич., с. 107, по списку, приложенному к письму от 17 июня 1827 г. начальника Московского жандармского управления генерала А. А. Волкова А. Х. Бенкендорфу (ЦГИАМ). Печ. с исправлением по автографу ст. 2 и конъектурой по смыслу в ст. 17—18 (эпитеты «боготворимый, величавый» относятся к «свободе», а не к «барду»). Автограф — в следственном деле Ш. (ЦГВИА); текст здесь подвергнут автоцензуре: в ст. 11 вместо «власти роковой» — «грусти роковой»; вместо ст. 16—31 следует:

И луч бессмертья золотой
За ней выходит из тумана.
И слава доблести прямой —
Награда вещего баяна.

Стихотворение было доставлено Волкову осведомителем Золотовым; посылая его Бенкендорфу, Волков указывал, что оно сочинено «не-

давно»; Бенкендорф представлял его Николаю I. О последовавших событиях см. биограф. справку. С А. Г. *Ротчевым* (см. с. 429) Ш. познакомился в Москве и поддерживал переписку; из опасения, что Ротчев передаст для опубликования стихотворные вставки в письмах, Ш. просил Ротчева уничтожать их. Послание, по показаниям Ш., было написано как ответ на письмо Ротчева с жалобами «на невольную грусть, которая с некоторого времени овладела» им (ср. вариант автографа). В ответном письме от 15 августа 1827 г. Ротчев писал: «Ей-богу, стихи чудо! Но я не разорвал их, а отдал Елене (Е. П. Гагариной, см. с. 430), она, как женщина, сохранит их лучше» (Шадури, с. 350). *Заря свободы золотой.* Эта формула, построенная на типичных для декабристской поэзии «словах-сигналах» (см. вступит. статью), дословно повторяется и в стих. В. Я. Зубова «Мысль о свободе» (1826). В. Зубов, портупей-юнкер Иркутского гусарского полка, был близким приятелем брата Ш. Владимира; за сочинение и распространение антиправительственных стихов («Мысль о свободе», «Послание к другу», 1826) был вместе с В. Шишковым арестован и заключен в дом для умалишенных; затем служил в Грузии рядовым. Стихи Зубова были, несомненно, известны и А. Шишкову и Ротчеву; повторение формулы поэтому производит впечатление прямой переклички. Некоторые фразеологические совпадения есть и между стих. Ш. и «Посланием к другу» Зубова. См.: «Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века», «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1970, с. 504 (тексты стихов Зубова); Шадури, с. 118. *О, пой, мой бард* и т. д. Генерал Волков обращал особое внимание Бенкендорфа на эти стихи, видя в них намек на «какие-либо замыслы» противоправительственного характера. *Рабов воздвигнуть ото сна* и т. д. К этим стихам Волков сделал примечание: «Ротчев пишет иногда анакреонтические стихи, то есть любовные; посему Шишков и не советует ему нежить слух читателей подобными сочинениями, но для удобнейшего возбуждения к свободе, согласовать звуки свои с звуками трубы Тиртея, древнего певца республиканцев» (Шадури, с. 345). *Тиртей* (VII в. до н. э.) — спартанский поэт, поднявший военное мужество спартанцев во II мессенской войне.

269. Опыты, с. 12. Вошло в СиП, ч. 1, с. 35, с незначительной редакционной правкой. Адресат не установлен. *Сократ в последнюю минуту* и т. д. См. примеч. 203.

270. Опыты, с. 38. Вошло в СиП, ч. 1, с. 54 с небольшой редакционной правкой. Примечание, по-видимому, имеет целью завуалировать политическое звучание стихотворения, написанного в ближайшие годы после разгрома восстания 14 декабря и суда над декабристами. О «старинных испанских романах», где нередки описания и вставные романсы, оплакивающие смерть героев и поражение войска, Ш. мог знать хотя бы из известной книги Ж. Сисмонди «История литературы полуденной Европы», где (в т. 3) есть некоторые из таких романсов и в подлинниках и переводах. Стилистически Ш. следует, однако, не им, а оссианической традиции.

271. Опыты, с. 45. Вошло в СиП, ч. 1, с. 52 с существенным разночтением («покорность» вместо «готовность»).

272. СЦ на 1830, с. 39 (ст. 1—126). Печ. по СиП, ч. 1, с. 8. Благожелательный отклик на «Эльфу» появился в МВ (1830, № 3, с. 305). *Эльфа* — дух в виде маленькой, еле заметной глазу женщины; образ взят Ш. из немецкой романтической литературы (ср. также его перевод сказки-новеллы Л. Тика «Эльфы»).

273. МВ, 1830, № 8, с. 314. В СиП не вошло.

274. Тел., 1831, № 4, с. 485, под загл.: «Последняя песнь». Печ. по СиП, ч. 1, с. 41. *Наставником наемник мне служил* и т. д. А. И. Казначеев вспоминал в письме к С. Т. Аксакову от 23 марта 1853 г.: «У племянников гувернером точно был француз, по настоянию Дарьи Алексеевны, почитавшей франц⟨узский⟩ язык необходимостию и страдавшей в большом свете от незнания его порядочно. ... Имя француза не помню. Знаю только, что он подделывался к дяде хвалением русского языка и России» (ПД). Эти сведения были повторены и Аксаковым в «Воспоминаниях об А. С. Шишкове»: С. Т. Аксаков, Собр. соч. в 4-х томах, т. 2, М., 1955, с. 279. *И вот теперь я, старец поседелый* и т. д. О своей тяжелой болезни и преждевременной старости Ш. писал в письмах 1828—1831 гг. А. С. Шишкову.

275. Одесский альманах на 1831 г., с. 176. Печ. по СиП, ч. 1, с. 17. Источник баллады — рассказ Тацита (Анналы, XIV, 3—4), согласно которому, Нерон, боясь влияния своей матери Юлии *Агриппины* Младшей (15—59 н. э.), сделал попытку утопить ее на искусственно распадающемся судне на пути в Байи, куда он пригласил ее на праздник Квинкватрий (в честь Минервы *(Паллады)*. Агриппина сумела спастись вплавь. *Трирема* — римское судно с тремя рядами весел. *Ацерона* (Ацеррония) — приближенная Агриппины, погибшая в этой поездке. *Британик* Тиберий Клавдий Цезарь (41—55 н. э.) — пасынок Агриппины, наследник престола после императора Клавдия; был отравлен по приказанию Нерона. *Ты на чело младого сына* и т. д. Нерон был провозглашен императором еще до убийства Британика, после смерти Клавдия, отравленного Агриппиной в 54 г. *И твой Нерон тебя ласкает.* По словам Тацита, Агриппина, стремясь к власти, готова была обольстить Нерона.

276. Там же, с. 310 (в оглавлении: «Первый пролог Гетева „Фауста"». Печ. по СиП, ч. 1, с. 76, где опубликовано под ошибочным загл.: «Директор театра. (Из Гетева «Фауста»)». Заглавие восстанавливается по рукописи и ст. 143 по первой публикации, как явно измененный по цензурным соображениям. Отрывок является неполным и вольным переводом «Пролога в театре» и в то же время своего рода интерпретацией Гете в духе романтической русской поэзии 1820—1830-х годов. Ш. имеет в виду дать апофеоз Поэта, противопоставленного «толпе», отвергающего «презренные расчеты» и чуждого каких-либо иных стимулов творчества, кроме «вдохновения». Соответственно все монологи Поэта (за исключением последнего) лишены конкретных бытовых деталей и интонационной гибкости (что есть у Гете) и являются прямыми декларациями «высокого»; они включают большое количество традиционных поэтизмов, отсутствующих в подлиннике. *Парнасские девы* — музы. *Отдай мой рай, отдай мой ад*

и т. д. Эти строки были процитированы А. А. Бестужевым-Марлинским в письме к Н. А. Полевому 16 декабря 1831 г. (РВ, 1861, № 3, с. 411).

277. ЛПРИ, 1832, 23 апреля, с. 261 с подписью: Ал. Ш—в 2-й и пометой: «Тверь. 1832». Вошло в СиП. *Вандик* — Ван-Дейк, Антонис (1599—1641), портретист и исторический живописец.

278. СиП, ч. 1, 63. По предположению В. Н. Орлова, опубликовано с цензурными сокращениями («Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика», М.—Л., 1951, с. 636); на это указывает как подзаголовок «Отрывок» (ср. аналогичный случай — стих. «К Метеллию»), так и явный пропуск (нарушение очередности женских и мужских рифм) после ст. 63. *Беллона* — см. примеч. 201.

279. ЛПРИ, 1832, 22 июня, с. 399, под загл.: «Г.....». Печ. по СиП, ч. 1, с. 39. С Ф. Н. Глинкой Ш. был знаком еще с конца 1810-х годов, когда Глинка, по собственному признанию, был «почти домашним человеком» в доме А. С. Шишкова (Шадури, с. 58). В 1830—1832 гг. Глинка и Ш. находятся в Твери и близко общаются. *Магомет, Мекка* — см. примеч. 76.

280. БдЧ, 1834, т. 3, отд. 1, с. 21, под загл.: «Бывает», с подписью: А. Ротчев и датой: «СПб. 28 декабря 1832». Печ. по СиП, ч. 1, с. 67. Публикация БдЧ вызвала протест адресата стихотворения, кн. И. Д. Козловского, опубликованный в «Молве» (1834, № 18, с. 275), под загл: «Ошибка наборщика. Письмо к издателю» (помечено: Тверь, 25 апреля 1834), где автор, в частности, писал: «...Сие стихотворение принадлежит покойному Александру Ардалионовичу Шишкову. В начале сентября 1832 года, незадолго пред своею смертью, он, по просьбе моей, написал оное послание ко мне, и в то же время я читал его И. И. Лажечникову, Ф. Н. Глинке и другим. Списки с него находятся во многих руках и должны находиться в собрании сочинений Александра Ардалионовича у наследников его». Козловский ссылался также на черновой автограф, находившийся у него, удостоверяя идентичность ему печатного текста, за исключением пропуска между ст. 8—9:

Тогда святое вдохновенье
Ко мне слетает: я пою,
И песню слушают мою,
И весь я песнь и наслажденье!

А. Г. РОТЧЕВ

281. Гал., 1829, № 4, с. 207. Предназначалось для СЦ на 1827. 14 декабря 1826 г. Санктпетербургским цензурным комитетом было «решительно» запрещено (ЦГИА). Вольный перевод — переложение идиллии «Lydé» А. Шенье.

282—288. Отд. изд.: «Подражания Корану А. Ротчева», М., 1828 (далее — Подр.). Ц. р. 12 ноября 1827 г.

1. СЦ на 1827, с. 333, под загл.: «Подражание арабскому» и с ошибочной подписью: Тютчев. Ошибка исправлена Дельвигом в СПч., 1827, № 2. Печ. по Подр., с. 5 (№ 1). Вписано Р. в альбом М. А. Максимовича («Киевская старина», 1882, № 1, с. 160). Первые 4 стиха встретили цензурные затруднения, но были пропущены (протокол Санктпетербургского цензурного комитета от 14 декабря 1827 г., ЦГИА). Варьирует мотивы суры 100 Корана («Мчащиеся») и некоторых других (16, 71 и др.). *Клянусь коня волнистой гривой* и т. д. «Формула клятвы», следующая за первым «Подражанием Корану» Пушкина («Клянусь четой и нечетой...»), опубликованным в 1826 г., воспроизводилась затем Л. Якубовичем («Из Алкорана, глава XCI». — Атеней, 1829, № 12, с. 561), П. Манассеиным («Ад и рай Магометов». — ЦС, с. 200) и Лермонтовым («Демон»); аналогичные формулы есть и в западной поэзии у А. де Мюссе и др. (см.: Н. Ф. Сумцов, А. С. Пушкин, Харьков, 1900, с. 99; ЛН, 1941, № 43—44, с. 690).

2. МТ, 1827, № 20, с. 172. Печ. по Подр., с. 28 (№ 12). Варьирует мотивы сур 14, 21, 34, 38.

3. МТ, 1827, № 20, с. 171. Печ. по Подр., с. 18 (№ 8). Переложение притчи из суры 18 («Пещера»), где Ротчев усилил социальную мотивировку конфликта.

4. Подр., с. 10 (№ 4). Переложение притчи из суры 15 («Ал-Хиджр»).

5. Подр., с. 13 (№ 6). Переложение притчи о путешествии Моисея с ангелом (сура 18 — «Пещера»).

6. Подр., с. 16 (№ 7). Переложение распространенной в средневековой литературе сирийской легенды о семи спящих отроках из суры 18; в новое время перерабатывалась Гете, Козегартеном, Рюккертом; в русской литературе — В. К. Кюхельбекером (см.: М. П. Алексеев, Поэма В. К. Кюхельбекера «Семь спящих отроков» и ее источники. В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона», Л., 1969, с. 99). Последние 4 стиха не имеют аналогий в Коране и переводят притчу в план социальной утопии с мотивом «золотого века».

7. Подр., с. 26 (№ 11).

289—291. По-видимому, часть целого цикла переводов Р. из Апокалипсиса, лишь частично попавшего в печать. Одновременно с Р. Апокалипсис перелагает М. Лихонин (см. его «Подражания Апокалипсису» в МВ, 1828, № 21—22, с. 3). Стихотворение под загл.: «Видение Иоанна» было представлено Р. в МОЛРС 30 марта 1829 г.; его было определено прочесть в ординарном собрании («ОЛРС при Московском университете. Историческая записка и материалы за сто лет», М., 1911; с. 93); какое-то «Видение Иоанна» Р. передал в СЦ на 1829 (письмо Сомова К. С. Сербиновичу 27 ноября 1828 г. — «Пушкин. Исследования и материалы», т. 6, Л., 1969, с. 291). Идентификация этих «Видений» затруднительна; возможно, что № 290 или какие-то неизвестные нам стихи, не пропущенные цензурой (см. ниже).

1. МТ, 1828, № 9, с. 70. Переложение гл. 6. Апокалипсиса (Откровения Иоанна Богослова).

2. МТ, 1829, № 3, с. 341. В 1830 г. с незначительными изменениями отдано Р. в «Северный Меркурий»; 7—8 февраля цензор П. И. Гаевский представил рукопись в цензурный комитет, обратив особое внимание на последнюю строфу. 26 февраля разрешено Главным управлением цензуры при условии, что автор «покажет главу и стих Апокалипсиса, из коих она (строфа. — *Ред.*) взята» (ЦГИА; ПиС, вып. 29—30, Пг., 1918, с. 107). В «Северном Меркурии» не появилось. Печ. по копии цензурного комитета (ЦГИА). Переложение гл. 10 Апокалипсиса, с художественным акцентированием темы пророка-изгнанника.

3. Санктпетербургский вестник, 1831, № 10, с. 262. Автограф(?) — ГПБ (ф. 831, Цензурные материалы, т. 5), с пометами цензора: «Нельзя. 2 янв.» и «Назначалось для Сев. Цветов»; первые 4 стиха отчеркнуты со знаком NB. Возможно, что это те самые стихи, о которых Сомов писал 27 ноября 1828 г.; 22 ноября 1829 г. он упоминал еще об одном «Видении» (для СЦ на 1830), задержанном духовной цензурой; однако оно не совпадает с публикуемым по содержанию (см.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. 6, с. 294; наш комментарий к этим письмам требует уточнений). Настоящее «Видение» получило визу цензора Гаевского 21 января 1831 г. (по журналу 16 января). Стихотворение является переложением гл. 14 Апокалипсиса.

292. Атеней, 1829, № 12, с. 559, под загл.: «Из Соломона». Автограф (?) — ГПБ, ф. 831, № 5. Печ. по «Санктпетербургскому вестнику», 1831, № 14, с. 20. Переложение гл. 3 «Песни песней».

П. Г. ОБОДОВСКИЙ

Автографы стихов О. имеются в составе его архива в ПД; большая их часть, видимо, пропала вместе с рукописями пьес и другими бумагами сразу после смерти писателя, при переезде семьи на новую квартиру (ИВ, 1903, № 12, с. 992). Сохранившаяся часть автографов включает тетрадь «Опыты в стихах Платона Ободовского» (далее — Опыты), со стихами 1820—1824 гг. (автографы большей частью беловые, последующей правкой превращенные в черновик; в ряде случаев дают редакции более поздние, чем печатные; стихи датированы), и некоторое количество черновиков 1830—1840-х гг., в разных редакциях, как правило неоконченных и не подвергшихся окончательной обработке.

293. Благ., 1823, № 16, с. 261. Печ. по автографу ПД (Опыты).

294. ПЗ на 1824, с. 233 (ст. 57—76). Печ. по Соревн., 1824, ч. 25, кн. 1, с. 48, где напечатано полностью, с примеч.: «Отрывок из сего прекрасного стихотворения помещен в «Полярной звезде» на сей год». Автограф (более ранней редакции) — ПД (Опыты). Читалось в ОЛСНХ в 1823 г. В стихотворении отразились мотивы ветхозаветных пророчеств о гибели Иерусалима за грехи; реальная его основа — события 70 г. н. э., описанные историком Иосифом Флавием (р. 37 г.

н. э.) в его «Иудейской войне»; в этом году Иерусалим был разрушен до основания императором Титом. *Салим* — Иерусалим. *Сион* — здесь: Иудея. *Левит* — низший священнослужитель в древнееврейском культе. *Кедрон* — река в Иерусалиме. *На камне камень не остался* — парафраза слов Христа об Иерусалиме (см. Евангелие от Марка, 13, ст. 2).

295. ПЗ на 1825, с. 152. Автограф, под загл.: «Швейцарская песня» — ПД (Опыты). Интерес к Швейцарии пробудился у О. под влиянием «Писем русского путешественника» Карамзина, где Швейцария описана как страна патриархальной свободы (см. письмо к родителям 29 ноября 1831 г. — РС, 1903, № 11, с. 355).

296. Календарь муз на 1826 г., с. 67 втор. паг. Автограф — ПД. Свободный перевод песни «Момак и дjевojка» из сборника Вука Караджича (кн. 1, № 422).

297. Памятник отечественных муз на 1827 г., с. 251 втор. паг., под загл. «Вечер в Ширазе» (отрывок). Автограф (поздняя редакция) — ПД. Печ. по автографу. Принадлежало, по-видимому, к замыслу «восточной поэмы» «Орсан и Леила» (см. отрывки из нее в СЦ на 1826, с. 41 и 88 втор. паг., Календаре муз на 1826 г., с. 122 втор. паг., «Звездочке» 1826 г. — ср. ПЗ, 1960, с. 772, 797).

298. Там же, с. 197 втор. паг. Пользовалась популярностью; входила в песенники 1820—1850-х годов (Гусев, с. 1013); положена на музыку также А. Е. Варламовым, В. Волковым, В. Т. Соколовым.

299. СО, 1827, № 4, с. 387. Посвящено, вероятно, Никите Ивановичу Бутырскому (1783—1848), критику и поэту (см. биограф. справку). *Прямо, прямо на Восток!* Реминисценция из «Путешественника» Шиллера в переводе Жуковского; стихотворение О. обнаруживает прямые следы влияния этого перевода.

300. НА на 1828, с. 325. Довольно популярное стихотворение, неоднократно перепечатывалось.

301. Карманная книжка для любителей русской старины и словесности на 1829 год. Издана В. Н. Олиным, СПб., 1829, с. 393. Возможно, была связана с замыслом или каким-то сценическим вариантом драмы «Великий князь Александр Михайлович Тверской» (1826) — о восстании тверичей против посла Золотой Орды Шевкала (Чолхана) в 1327 г. В сохранившемся тексте драмы (ЛГТБ, 1826 и 1836; отрывки — «Памятник отечественных муз. Альманах для любителей словесности на 1828 год, изданный Борисом Федоровым», СПб., 1828, с. 83) песня отсутствует. Ср. также «думу» А. Шидловского «Александр Тверский» (Календарь муз на 1826-й г., с. 5 втор. паг.).

302. СО и СА, 1830, № 23, с. 250.

303. Соревн., 1825, ч. 29, кн. 1, с. 7. Образцом для баллады З., видимо, служили баллады Жуковского «Кассандра» (перевод из Шиллера, 1809) и «Ахилл» (1814). *Андромаха* — вдова троянского героя Гектора, убитого Ахиллом. *Илион, Пергам* — Троя. *Приам* — царь Трои, отец Гектора. *Данаи* — греки. *Пелопса горды внуки* — Агамемнон и Менелай, греческие вожди. *Пелея сын* — Ахилл. *Плак* — гора в Мизии, где был город Фивы, родина Андромахи. *Гетеон* — Этион, царь киликиян в Фивах, отец Андромахи, убитый Ахиллом вместе с сыновьями.

304. Песнь 1-я, с подзаг.: «третьи варианты» — Славянин, 1830, № 1, с. 43; отрывок из 2-й песни — НЛ, 1825, кн. 14, ноябрь, с. 132; отрывок из 5-й песни — там же, с. 129; ранняя редакция песни 1-й, с подзаг.: «первые варианты к первой песни» — Славянин, 1827 № 6, с. 81; там же — «вторые варианты». Известна еще одна редакция 1-й песни (Славянин, 1827, № 1, с. 1; № 2, с. 20), с примеч.: «Поэт, в девятнадцатой весне скончавший жизнь свою, не мог окончить и даже исправить предлагаемую повесть; он успел написать только пять песней оной. Для первой остались варианты, которые здесь и поместятся» и т. д. (подписано «С.» — сочинитель?). Публикация отрывков из «Ильи Муромца» осуществлялась исключительно в журналах Воейкова друзьями З., может быть самим издателем; им же, по-видимому, даны и заглавия. Подзаголовки «первые» и «вторые» «варианты», вероятнее всего, обозначают хронологическую последовательность редакций (см. ниже).

Творческая история поэмы остается совершенно неизвестной, так как рукописи ее не сохранились, а разные редакции 1-й песни имеют немного точек соприкосновения. По-видимому, поэма, следуя традиции авантюрно-рыцарского повествования, не имела строгого сюжета. Все сложившиеся редакции написаны не ранее 1820 г., так как обнаруживают хорошее знакомство автора с полным текстом «Руслана и Людмилы», вышедшим в свет в июле — августе этого года. Работа над поэмой продолжалась до конца жизни З. (1824). Можно думать, что первоначально З. предполагал разрабатывать сюжет, имитируя широко популярную волшебно-рыцарскую поэму Л. Ариосто «Неистовый Роланд», с которой критика прямо связывала и «Руслана и Людмилу». Вероятно, к первоначальному замыслу поэмы принадлежат «первые варианты» 1-й песни, написанные октавой, с характерной пародийной интонацией; в них есть и прямая отсылка к «Руслану и Людмиле» (в дальнейшем прямые реминисценции из Пушкина у З. почти исчезают). Вместе с тем уже в этой редакции З. пытается воспроизвести особенность именно пушкинской поэмы — специфическую фигуру автора-повествователя (см.: Б. В. Томашевский, Пушкин, кн. 1 (1813—1824), М.—Л., 1956, с. 358). В последующем З. отказывается от октавы, создавая астрофическую поэму в четырехстопных ямбах, по образцу «Руслана и Людмилы». Публикуемая редакция 1-й песни, как можно думать, является наиболее поздней: она отличается меньшей калейдоскопичностью чудесных явлений, большей зрелостью описаний и сложностью композиционной организации. *И старец с благостным лицом* и т. д. Ср. сцену встречи Руслана с Финном в песни первой «Руслана и Людмилы». *На берегу*

реки широкой и т. д. Существует несколько летописных рассказов о казни преступных волхвов на берегу Волхова и у Белоозера, см.: Н. М. Карамзин, История Государства Российского, т. 2. СПб., 1816, с. 89; в т. 1, с. 295 находится рассказ о смерти волхва, «лютого чародея», пожиравшего людей, в волнах Волхова; по-видимому, он и имеется в виду. *Росслав.* Имя отца героя, возможно, взято из известной одноименной трагедии Я. Б. Княжнина; в другой редакции — Руксил (имя, восходящее к «Бахариане» М. М. Хераскова (1803), неоднократно служившей источником фольклорных стилизаций в 1810—1820-е годы, в том числе и для «Руслана и Людмилы»). *Друзья, погибнем! с нами слава* и т. д. — парафраза слов князя Святослава, сказанных, по летописному преданию, в 970 г. перед битвой с греками: «ляжем костьми ту: мертвые бо срама не имут». ⟨Из песни второй.⟩ *То был владыки печенегов* и т. д. В первой публикации текст этой строки искажен; исправляется по смыслу. *Но сын Каганов закачался* и т. д. Ср. со сценой падения Фарлафа («Руслан и Людмила», песнь вторая). *И с гневом рубит терн кудрявый.* Ср. соответствующее описание в песни пятой «Руслана и Людмилы» (со строкой: «И рев, и треск, и шум, и гром»). Образцом для этого описания в свою очередь была сцена неистовства Роланда в песни XXIII поэмы Ариосто (отрывок из нее переведен Пушкиным в 1826 г.). ⟨Из песни пятой⟩. *Под оным — длинными рядами Белеют бранные шатры* и т. д. Ср. с описанием поля битвы в песни третьей «Руслана и Людмилы». *Костры* — груды. *Мой Муромец помчался в поле* и т. д. Ср. «Руслан и Людмила», песнь шестая. *Стал истребления серпом.* Образ серпа как орудия истребления восходит к Апокалипсису (гл. 14, ст. 14—20). *И стелет трупы, как снопы.* Вариация на тему «Слова о полку Игореве». Интерес З. к «Слову» сказался также в переложении им «плача Ярославны» (см.: «Ярославна. Романс» НЛ, 1825, кн. 14, октябрь, с. 69). ⟨Ранняя редакция песни первой⟩. *Вот хлынули свирепые дружины!* и т. д. Ср. «Руслан и Людмила», песнь шестая. Более или менее близкие реминисценции из этой песни есть также в строфах 4 и 7. *Проснись, проснись, прекрасная княжна!* и т. д. Вся строфа прямо отсылает читателя к сюжетной схеме пушкинской поэмы.

305. НЛ, 1825, кн. 14, ноябрь, с. 137, с подзаголовком: «Отрывок из 4-й песни поэмы «Илья Муромец». Вставной эпизод, варьирующий аналогичные описания в волшебно-рыцарской поэме (Ариосто, Тассо и др.).

П. П. ШКЛЯРЕВСКИЙ

Автографы стихотворений Ш. не сохранились. Ими пользовался М. С. Куторга при издании посмертного сборника Ш. «Стихотворения», СПб., 1831 (далее: Стих.), который в большинстве случаев является единственным источником текста. Для этого сборника Куторга проделал некоторую текстологическую работу по отбору редакций и «приведению в порядок» «лучших статей»; ни степень авторитетности редакций, ни степень редакторского вмешательства в текст нам неизвестны.

306. Стих., с. 10. Перевод стих. В. Скотта «The Violet».

307. Славянин, 1827, № 48, с. 347. Ранняя ред. — Стих., с. 67. Перевод стих. Гете «Der Sänger».

308. СЦ на 1827, с. 285. Печ. по Стих., с. 20. Перевод стих. Шиллера «Der Tanz».

309. Стих., с. 47. Перевод с немецкого; источник не установлен. См. аналогичное стихотворение у П. Ободовского (1821; Благ., 1823, № 3, с. 194); см. также «Ода к безбожнику во время сильной грозы» И. Е. Великопольского (Благ., 1820, № 14, с. 107).

310. Стих., с. 11. Вариации на тему «Слова о полку Игореве».

311. Стих., с. 33. Ст. 26, по-видимому, испорчен. В оглавлении помета: «С греческого». Перевод «Военного гимна греков» Константина Ригаса (Риги, 1754—1798), основателя гетерии, революционера и поэта, казненного турками. Гимн Риги, ставший особенно популярным в период освободительного движения, был записан и переведен Байроном. В России переводился Н. И. Гнедичем (1821): ср. также перевод в ВЕ, 1821, № 20, с. 260. *Леонид* — см. примеч. 249.

312. Стих., с. 59. В оглавлении помета: «С немецкого». Имеет ряд точек соприкосновения со стих. Ф. Маттисона (1761—1831) «Die Kindheit» (переводилось также А. Мансуровым — ВЕ, 1819, № 11, с. 165 и П. Ободовским — СО, 1829, № 4, с. 387). Прямой перевод близкого стих. Маттисона («Die Kinderjahre») сделал сам Ш. *Филомела* (греч. миф.) — соловей.

А. Д. ИЛЛИЧЕВСКИЙ

Единственный сборник И. — «Опыты в антологическом роде», СПб., 1827 (далее — Опыты).

313. К. Я. Грот, Пушкинский лицей (1811—1817), СПб., 1911, с. 166, по копии Я. К. Грота, сделанной в 1833 г. из так называемого «сборника Яковлева — Корфа» (см.: Пушкин, т. 1, с. 430). Копия Грота — ПД. Идентичный текст по копии в «тетради А. В. Никитенко» (ГБЛ) — «Русские Пропилеи», т. 6, М., 1919, с. 49. В др. ред. — Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею, т. 2, СПб., 1912, с. 167 (по копии в сб. «Дух лицейских трубадуров», ныне ПД). Печ. по публикации К. Я. Грота; характер разночтений заставляет предпочесть эту редакцию как более позднюю: как это обычно у И., в поздней редакции подчеркивается контрастное противопоставление смежных строф для усиления пуантировки в заключительной кадансирующей строфе, ощущается большая естественность лексического и синтаксического строя и т. д. Является ответом на стихотворение Пушкина «К живописцу» (1815) и, как и оно, обращено к Е. П. Бакуниной (1795—1869), сестре лицеиста А. П. Бакунина, предмету увлечения Пушкина и (по преданию) И.

(см.: В. Гаевский, Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения. — Совр., 1863, № 8, отд. 1, с. 380).

314. Благ., 1821, № 4, с. 202. Читано в ОЛСНХ 20 января 1821 г. Печ. по Опыты, с. 54 (раздел «Басни»). *Тамерлан* (Тимур, 1336—1405) — один из крупнейших среднеазиатских завоевателей.

315. СЦ на 1826, с. 93 втор. паг. Печ. по Опыты, с. 10 (раздел «Аллегории»), с исправлением опечатки в ст. 5 по СЦ. Перевод стих. французского поэта Бартелеми Имбера (1747—1790) «Les trois aveugles».

316. СЦ на 1826, с. 94 втор. паг. Печ. по Опыты, с. 23 (раздел «Мадригалы»). Перевод стих. французского писателя Пьера-Амбруаза-Франсуа-Шодерло де Лакло (1741—1803) «A une dame à qui l'auteur offrait une pomme dans un bal et qui ne voulut la recevoir qu'avec des vers» (по тексту AF, II, с. 318). *Парид* (греч. миф.) — Парис.

317. Русский альманах на 1832 и 1833 годы, изданный В. Эртелем и А. Глебовым, СПб., 1832, с. 362. Копия (рукой М. Л. Яковлева) ранней редакции — ПД (на одном листе со стих. Дельвига «Снова, други, в братский круг...»). По этому тексту впервые — В. Гаевский, Празднование лицейских годовщин в пушкинское время. — ОЗ, 1861, № 12, отд. 3, с. 32 (с ошибками; точнее — К. Я. Грот, Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него. — ПиС, вып. 13, СПб., 1910, с. 45). Печ. по «Русскому альманаху». Написано по случаю лицейской годовщины 19 октября 1826 г. И. был участником годовщин 1822, 1825, 1826, 1828, 1829, 1831—1833, 1835 и 1836 гг. и, возможно, некоторых других, о которых не сохранилось сведений; ему принадлежит ряд экспромтов и куплетов по случаю этих праздников лицеистов I курса.

318. СЦ на 1827, с. 291. Печ. по Опыты, с. 64 (раздел «Нравственные мысли»). Источник не установлен. Близкое стихотворение есть у Тютчева («С поляны коршун поднялся...», до 1836 г.) и у Трилунного («Земная цепь» — Атеней, 1830, ч. 1, с. 92; ср. стих. Ф. Н. Глинки «Земная грусть» и др.).

319. Опыты, с. 26 (раздел «Осмистишия»). *Актеон* (греч. миф.) — охотник, видевший нагую Диану во время купанья, и за то превращенный в оленя. *Менелай* — см. примеч. 328.

320. Опыты, с. 50 (раздел «Осмистишия»). Вольный перевод эпиграммы Ж.-Б. Руссо (1670—1741) «Quand, pour ravoir son épouse Euridice» (кн. 2, эпиграмма 1). Ироническое переосмысление мифа об Орфее и Эвридике, согласно которому бог подземного царства Плутон вернул Орфею жену, плененный его пением, взял же ее снова в Аид *(Айдес)* потому, что Орфей нарушил запрет и оглянулся, покидая Аид.

321. Там же, с. 51 (раздел «Осмистишия»). Перевод стих. французского поэта Антуана Гомбо де Мере (1610—1684) «Point d'amour sans payer» (AF, II, с. 68).

322. Там же, с. 91 (раздел «Осмистишия»). Перевод стих. французского поэта Мезе (Mézès) «Sur l'absence du Lucrèce» (AF, II, с. 18).

323. Там же, с. 100 (раздел «Осмистишия»). Вольный перевод стих. Жана-Ожье де Гомбо (1570—1666) «Les gens du monde» (AF, I, p. 121).

324. Там же, с. 111 (раздел «Осмистишия»). Перевод начала монолога Поллукса из 1-й сцены 3-го акта «трагедии» «Кастор и Поллукс» П.-Ж. Бернара (1710—1775), помещенного в AF, II, с. 399 как отдельное стих. «A l'Amitié».

325. Там же, с. 57 (раздел «Нравственные мысли»). В ст. 3 конъектура в соответствии с подлинником («жалеть» вм. «желать» в Опытах). Перевод стих. Жана-Николя-Мари Дегерля (1766—1824) «Mot d'Aristippe» (AF, I, с. 230). *Аристипп* — греч. философ, глава гедонистической школы киренаиков, видевший добродетель в разумном наслаждении; имя Аристиппа в литературе XVIII—XIX вв. нередко употреблялось как нарицательное.

326. Там же, с. 63 (раздел «Басни»). Перевод стих. французского поэта Водена (Vaudin) «Le Pirate et le Conquêrant» (AF, I, с. 434).

327. Там же, с. 66 (раздел «Сказки»).

328. Там же, с. 70 (раздел «Анакреонтические стихотворения»). Перевод стих. французского поэта П.-Ж. Бернара «Madrigal» («Quel est ô dieux! le pouvoir d'une amante»). Согласно Гомеру, причиной Троянской войны было похищение сыном троянского царя *Приама* Парисом красавицы Елены, супруги царя Менелая. *Пергам* — Троя.

329. Там же, с. 29 (раздел «Нравственные мысли»).

330. Там же, с. 108 (раздел «Десятистишия»). Возможно, восходит к стих. французского поэта д'Эрмита Майяна «Sur le tems» (AF, II, с. 416).

331. Там же, с. 115 (раздел «Идиллии»). Перевод стих. «Les cinq jours», (AF, I, с. 303), подписанного «Saint Amand». В полном собрании стихотворений известного прециозного поэта Сент-Амана (1594—1661) такого стихотворения нет.

332. Там же, с. 118.

333—334. СЦ на 1828, с. 37 втор. паг., в цикле: «Три сонета. (Из Мицкевича)», куда вошло: 1. «Акерманские степи». 2. «Плавание». 3. «Бахчисарайский дворец». Переводы из «Крымских сонетов» Мицкевича. *Фарос* — маяк. *Пределов чужд, в Литву мой жадный слух несется.* «Крымские сонеты» (1826) были созданы Мицкевичем в период его политического изгнания. Лейтмотив их — тоска по родине.

335. Северная звезда, СПб., 1829, с. 66.

Единственный сборник Д. — «Опыты в стихах Михаила Деларю», СПб., 1835 (далее — Опыты).

336. ЦС, с. 235, с пометой: «Царское Село. Лицей. 1827». Беловой автограф — ЦГАЛИ. Печ. по Опыты, с. 19. Разработка популярной темы (ср. «Пери и ангел» Жуковского — из Т. Мура, 1821; его же «Аббадона» — из Клопштока, 1814; «Див и Пери» Подолинского, 1827). *Давно забытые мечтанья Над ним взроилися толпой.* По-видимому, парафраза этих строк — в «Демоне» Лермонтова: «И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой».

337. НА на 1830, с. 203, под загл.: «К моему гению». Печ. по Опыты, с. 26. *Вождь отпавших Сил* — Сатана.

338. ЛГ, 1830, 1 мая, с. 199, под загл.: «Злому духу» и с датой: Октябрь 1829. Печ. по Опыты, с. 52. Тематически связано со стих. Пушкина «Демон» (1823).

339. СЦ на 1830, с. 48 втор. паг. Печ. по Опыты, с. 62.

340. ЛГ, 1830, 31 января, с. 51. Печ. по Опыты, с. 65.

341. Альциона на 1831, с. 36 втор. паг. Печ. по Опыты, с. 51.

342. СЦ на 1831, с. 51 втор. паг., под загл.: «Глицере» и с эпиграфом из Горация (кн. I, ода XIX). Печ. по Опыты, с. 69. Ст. 1 — реминисценция из стих. Пушкина «В крови горит огонь желанья. . .» (ст. 3.).

343. СЦ на 1831, с. 80 втор. паг. (с зашифровкой имени Веневитинова). Печ. по Опыты, с. 73. Дмитрий Владимирович *Веневитинов* (1805—1827) последние месяцы жизни провел в Петербурге и часто посещал Дельвига На смерть его Дельвиг написал антологическую эпитафию («На смерть В. . .ва», 1827), по-видимому, послужившую образцом для Деларю. Возможно, стихотворение Д. вызвано выходом в свет первой части «Сочинений» Веневитинова (1829), способствовавшей укреплению культа Веневитинова как романтической личности и поэта.

344. ЛГ, 1831, 21 мая, с. 236. Печ. по Опыты, с. 93.

345. СЦ на 1832, с. 33 втор. паг. под загл.: «Увядающая роза». Печ. по Опыты, с. 22.

346. СЦ на 1832, с. 157 втор. паг. Вошло в Опыты. Памяти Дельвига Д. посвятил также стих. «К могиле бар⟨она⟩ Дельвига» и «Полет души» (ЛГ, 1831, № 6, с. 47).

347—351. Альциона на 1833, с. 89. Печ. по Опыты, с. 139 (№№ 1, 5); №№ 2—4 печ. по Альционе. В тексте альманаха авторское примеч.: «N3. Санскритское сочинение, из которого почерп-

нуты сии стансы, носит в подлиннике заглавие *Амару-Сатакам* или *Сотня Амару* и состоит из ста четверостиший. Время, в которое жил *Амару,* заподлинно неизвестно; впрочем, брамины соглашаются насчет древности его происхождения. Познание женского сердца, его прихотей, и естественность, с которою Амару умел изобразить их в своих стихах, дали начало следующей басни: полагают, сообразно с учением о переселении душ, будто бы душа поэта сего последовательно переходила в тела ста женщин, и что в сих-то переселениях Амару посвящен был во все таинства Камы, Эрота индийцев». Источником для Д. послужило издание «Anthologie érotique d'Amarou», осуществленное известным востоковедом Антуаном-Леонаром де Шези (1773—1832): «Texte sanscrit, traduction, notes et gloses par A. d. d'Apudy ⟨Chézy⟩» (P., 1831), где подлинник передан ритмизованной прозой. Примечание к первой публикации восходит к предисловию Шези. Стих. «Покорный любовник» переведено также Д. П. Ознобишиным (ПД). Возможно, что выбор его был подсказан и традицией французской «легкой поэзии»; см., например, переделку этого стихотворения Фюретьером (Furetière. La Feinte Rupture. — AF, II, с. 261).

352. КБ, с. 176, с примеч.: «С немец⟨кого⟩». Печ. по Опыты, с. 125. Источник не установлен. Написано на статую-фонтан П. П. Соколова в Царском Селе, изображающую Перетту (из басни Лафонтена «Молочница и кувшин»), разбившую кувшин с молоком, с которым связывались надежды на будущее благосостояние. Антологическая эпиграмма Пушкина на эту статую (также элегическим дистихом) — «Царскосельская статуя» появилась в печати одновременно со стих. Деларю (СЦ на 1832), однако была написана еще в 1830 г.

353. КБ, с. 205. Вошло в Опыты.

354. КБ, с. 211. Вошло в Опыты.

355. БдЧ, 1834, т. 4, отд. 1, с. 115. Вошло в Опыты. Печ. по изд.: «Новогодник. Собрание сочинений в прозе и стихах современных русских писателей. Изданный Н. Кукольником», СПб., 1839, с. 99. В «Новогоднике» посвящено Елизавете Алексеевне Карлгоф (во втором браке Драшусовой), с мужем которой, поэтом и прозаиком В. И. Карлгофом (1799—1841), Д. был дружен (см.: РВ, 1881, № 11, с. 239). *Воклюза* — см. примеч. № 47.

356. БдЧ, 1834, т. 7, отд. 1, с. 131. Перевод стихотворения В. Гюго «A une femme» («Enfant, si j'étais roi. . .», сб. «Les Feuilles d'Automne»). Появление этого перевода вызвало жалобу митрополита Серафима военному министру графу Чернышову, отдавшему 19 декабря 1834 г. приказ об отрешении Д. от должности. Существовала версия, что митрополит обратил на эти стихи внимание Николая I. Репрессии, постигшие Д., равно как и самое стихотворение, получили широкую известность (см., например, запись в дневнике А. В. Никитенко и дневнике Пушкина 22 декабря 1834 г, где приведена и эпиграмма И. А. Крылова на Д., вызванная этим происшествием — Пушкин, т. 12, с. 335; см. также: РА, 1869, с. 074; РС, 1880, № 9, с. 217; № 10, с. 423; РС, 1891, № 6, с. 668; ИВ, 1908, № 3, с. 801; «Щукин-

ский сборник», вып. 7, М., 1907, с. 243; Е. Бобров, М. Д. Делярю и его перевод из Гюго. — РФВ, 1905, № 2, с. 188; «Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века», Л., 1970, с. 873 (примеч. С. А. Рейсера). В русской печати это стихотворение Гюго появилось еще до перевода Д., хотя и в смягченном виде К* («Будь я шах, я все бы дал. . .»), с подписью: I. (В. Н. Григорьев). См. СО и СА, 1832, № 49, с. 190 и его Сб. ГПБ. Положено на музыку А. Станюковичем и М. М. Ипполитовым-Ивановым.

Е. П. ЗАЙЦЕВСКИЙ

357. ПЗ на 1825, с. 112. *Абазия* — Абхазия.

358. Славянин, 1827, № 49, с. 393, с подписью: Е. З — ий.

359. ПЗ на 1825, с. 111, с подписью: Е. З — ий. Печ. по НА на 1827, с. 161.

360. СО, 1825, № 8, с. 408. *Херсонес* — причерноморская греческая колония, основанная около 422 г. до н. э. (развалины ее — в 2 км. от Севастополя); был крупным политическим центром до середины XV в. По преданию, в районе Херсонеса (Корсуни) произошло принятие христианства Владимиром.

361. НА на 1827, с. 76. *Таврида* — Крым. *Франгестана девы* — черкешенки. Обозначение это ошибочно (Франгестан — страна франков — Западная Европа) и, по-видимому, восходит к строкам в «Гяуре» Байрона («Circassia's daughter The loveliest bird of Franguestan» (дочь Черкесии, Прелестнейшая птичка Франгестана) с примечанием: «Франгестан — Черкесия»); строки эти были популярны (см. их в эпиграфе к «Измаил-Бею» Лермонтова).

362. НА на 1828, с. 312. *Казначеева* Варвара Дмитриевна, урожденная княжна Волконская (1793—1859) — жена А. И. Казначеева (1788—1881), правителя канцелярии новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. Казначеевы были большими любителями литературы, связанными родственными или дружескими узами с А. С. и А. А. Шишковыми, С. Т. Аксаковым, В. И. Туманским и др.; на литературных вечерах В. Д. Казначеевой бывал и Пушкин. *Раины* — пирамидальные тополя.

363. СЦ на 1828, с. 32. Стихотворение включается в традицию лирико-философских медитаций, начатую «Водопадом» Державина (к которому восходят образы 1-й строфы) и в дальнейшем поддержанную «Водопадом» Баратынского (1821), «Нарвским водопадом» Вяземского (1825) и т. д. Ср. также более позднее стих. А. А. Бестужева «Шебутуй» (1829). *Удом* Анна Евстафьевна — по-видимому, дочь генерал-лейтенанта Е. Е. Удома (1761—1836); см. упоминание «девицы Удом» в письме Туманского из Одессы 1827 г. (В. И. Туманский, Сочинения и письма, СПб., 1912, с. 303). *Учан-Су* (тат. «летучая вода») — водопад в 8 км. от Ялты. *Но некогда твои струи багри-*

лись и т. д. Речь, по-видимому, идет об уничтожении турками в 1774 г. русского отряда в Ялте, сдавшегося на честное слово и почти полностью вырезанного; пришедший из Балаклавы второй отряд уничтожил турецкое соединение.

364. ЛГ, 1830, 20 февраля, с. 85. Ответ на послание Давыдова «Зайцевскому, поэту-моряку» (1828), опубликованное также в ЛГ (1830, 10 февраля, с. 69). *Ты прав, Давыдов* и т. д. Имеются в виду первые строки стихотворения Давыдова. «Счастливый Зайцевский, поэт и герой! Позволь хлебопашцу-гусару Пожать тебе руку солдатской рукой» и т. д.

365. Маяк, 1841, ч. 22, гл. 1, с. 3, с подписью: З — ий. *Анио* — левый приток Тибра, где на южной окраине Тиволи (древний Тибур) находятся развалины храма Весты, или Тибуртинской Сивиллы; здесь же и знаменитый водопад.

366. Маяк, 1841, ч. 23, гл. 1, с. 17, с подписью: — З — ий. Автограф — ГПБ.

В. Н. ЩАСТНЫЙ

367. Альбом северных муз, с. 176.

368. СЦ на 1829, с. 130 втор. паг.

369. Подснежник, с. 226.

370. Подснежник, с. 140.

371. Подснежник, с. 17, с примеч.: «Стихотворение сие, недавно написанное г. Мицкевичем, до напечатания на польском языке, переведено по желанию почтенного поэта с его рукописи». Это примечание вызвало «Предостережение» Щ., где он указывал, что «г. Мицкевич на перевод сего стихотворения никому ни желания, ни запрещения не объявлял, и что «вместо „по желанию почтенного поэта“ должно читать „по желанию почитателей поэта“» (СПч, 1829, 20 апреля). Возможно, перевод сделан еще в 1828 г., в декабре появилось извещение о выходе польского подлинника (СО, 1828, № 23—24, с. 362); до публикации Щ. читал его у Дельвига, снискав одобрение слушателей и в особенности самого Дельвига (А. П. Керн, Воспоминания, Л., 1929, с. 276); он был благосклонно встречен в литературных кругах (см.: СПч, 1829, 11 апреля; «Декабристы и их время», М.—Л., 1951, с. 40; РВ, 1871, № 10, с. 629) и затем перепечатывался (ЛЛ (Одесса), 1834, № 2—3, с. 25; включался в издания Мицкевича советского времени). В 1829 г. появились еще три перевода «Фариса» — П. Манассеина, П. Сиянова и анонимный (см.: «Адам Мицкевич в русской печати», М.—Л., 1957, с. 17). Эмир *Таджу'л Фехер* (Тадж-уль-Фехр) — Вацлав Ржевуский (1785—1831) — польский поэт и путешественник по Востоку.

372. КБ, с. 358.

А. И. КРЮКОВ

373. Благ., 1825, № 11, с. 404.

374. СО, 1827, № 13, с. 88.

375. Памятник отечественных муз на 1828 г., с. 327. *Петрополь* — Петербург.

376. Там же, с. 324.

377. СПч, 1828, 23 октября, с. 3. Характеристика Байрона, возможно, навеяна стих. Пушкина «К морю» (1824); ср. у Пушкина: «Как ты, ничем неукротим» и ст. 9.

378. Славянин, 1828, № 32, отд. 2, с. 220.

379. СЦ на 1829, с. 151 втор. паг.

380. Подснежник, с. 116, с подписью: А. К.

381. Подснежник, с. 230, с подписью: А. К.

382. ЛГ, 1830, 31 мая, с. 250.

383. ЛГ, 1830, 21 мая, с. 233, с подписью: А. К. Имя автора раскрыто в оглавлении. *Между тем гонимый гений* и т. д. См. примеч. 386. *Капитолий* — см. примеч. 47.

384. Карманная книжка для любителей русской старины и словесности на 1830 год, издаваемая В. Н. Олиным, № 5, СПб., 1830, с. 59. *Пленник Вавилона* — см. примеч. 246.

Е. Ф. РОЗЕН

Автографы отдельных стихотворений Р. сохранились лишь случайно, так как весь архив его был уничтожен сразу после его смерти его братом бароном П. Ф. Розеном, как ненужный хлам (ОА, т. 3, примеч., с. 660). Источником текста служат поэтому журнальные публикации. Текст этот не окончателен; автор возвращался к своим ранним стихам, редактируя их и в ряде случаев значительно перерабатывая. К середине 1840-х годов Р. осуществил переработку ряда своих ранних стихотворений; в статье «Ссылка на мертвых» он писал: «...я очень рад, что, вопреки совету Пушкина... не издал моих мелких пьес: я успел их вычистить, придать каждой из них форму, более соответственную содержанию, и, наконец, не без труда, дошел до того, что могу издать их с чистою совестью, если вздумаю издать при жизни» (СО, 1847, № 6, отд. 3, с. 33). Эти поздние редакции, возможно даже составившие сборник, очевидно, погибли вместе с архивом Р.; поэтому о дефинитивном тексте его стихов можно говорить лишь условно.

385. МТ, 1826, № 15, с. 100.

386. МТ, 1828, № 16, с. 507. Беловой автограф — ГИМ. Журнальный текст содержит значительное количество разночтений с автографом; в нем устранены германизмы, стилистические несообразности и т. д. Можно предполагать, что сцена подверглась редактированию в кругу МТ, улучшившему текст и затем санкционированному автором (авторедактура Р. не всегда приводила к улучшению текста; так, явное ухудшение его дает вторая редакция стих. «Лето жизни», — ср.: МВ, 1827, № 24, с. 285, и Гирлянда, 1831, ч. 1, кн. 2, с. 46). Печ. по МТ. В сцене отразился ряд мотивов реальной и легендарной биографии Тассо, получивших популярность в романтической литературе — как западной (Гете, Байрон, Шелли, Раупах), так и русской (Батюшков, М. Д. Киреев, Н. В. Кукольник). Галлюцинации Тассо, страдавшего манией преследования, — факт его реальной биографии; в письмах из госпиталя св. Анны он уверял, что ему является злобный дух, уносящий его бумаги, книги и т. д.; позднее, после освобождения, ему представлялись образы древнего мира, Сократ и др. Сцена явления духа Тассо (в ином контексте и интерпретации) есть и у Н. В. Кукольника («Торквато Тассо», 1833, акт 3, явл. 3). *Мансо* Джамбаттиста, маркиз де Вилла (1560—1645) — друг и первый биограф Тассо; на вилле Мансо, в Неаполе, на берегу моря, Тассо провел некоторое время, приходя в себя после нервной депрессии. *Госпиталь Санкт-Анны* — больница для умалишенных в Ферраре, служившая одновременно и тюрьмой, куда Тассо был заключен по приказанию герцога Альфонса II д'Эсте в 1579 г. и освобожден лишь в 1586 г. *Эрминия, Клоринда, Армида* — персонажи поэмы «Освобожденный Иерусалим». *И страсти миг с прелестной Санвитали.* Р. разделяет утверждавшуюся в литературе о Тассо версию о любви поэта к знатной даме Элеоноре Санвитале, позднее графине Скандиано. *Он из Феррары дважды Увлек меня таинственным путем.* Тассо тайно бежал из Феррары 20 июня 1577 г. и явился инкогнито в Сорренто, к своей сестре Корнелии; вторичный его побег из Феррары, куда он получил разрешение вернуться, произошел летом 1578 г. *Ерусалим жестоко растерзали!* и т. д. Окончив «Освобожденный Иерусалим» в 1574 г., Тассо послал поэму в рукописи известным литераторам, каждый из которых предложил большое количество поправок и замечаний. Тассо исправил поэму против воли, с тем чтобы она была напечатана.

387. Подснежник, с. 149, под загл.: «Ангел смерти», данным по настоянию цензора («Пушкин. Исследования и материалы», т. 6, Л., 1969, с. 292).

388. ЦС, с. 7. *Весталка* (римск. миф.) — жрица богини Весты, покровительницы семейного очага и жертвенного огня; имела право помилования встреченного на пути преступника, отправляемого на казнь. Весталки давали обет строгого целомудрия; нарушение его влекло за собой казнь (зарывание заживо в землю). *Племя Ромула* — римляне. *Ликторы* — официальные служители высших должностных лиц в Риме. *Тарпея* — Тарпейская скала в Риме, откуда сбрасывали осужденных на казнь преступников. Эти строки вызвали в ВЕ

замечание, что римские граждане, носившие тогу, этой казни не подвергались (ВЕ, 1830, № 3, с. 247). Р. возражал, что «народные трибуны этой казнию грозили знатнейшим в Риме особам... она существовала еще во времена императора Тиверия, по приказанию коего был свергнут Секст Марий» (ЛГ, 1830, 3 октября, с. 164). *Квирис* — квирит, римский гражданин.

389. ЦС, с. 131.

390. Альциона на 1831, с. 8 втор. паг.

391. Альциона на 1832, с. 33 втор. паг. Автограф, с датой — ПД, в письме Р. Пушкину 27 июня 1831 г., где Р. писал: «Вменяя себе в приятную обязанность удовлетворять желаниям Вашим — по мере сил моих — посылаю Вам требуемую пиэсу: 26 мая. Поправьте, что Вам не понравится, и позвольте поместить в Альционе» (Пушкин, 14, с. 183). В печатном тексте изменены две последние строки (было: «И ценит жизнь Поэт — уста Мемнона Теперь звучат напевами Сиона!»); трудно сказать, однако, было ли это результатом вмешательства Пушкина. *26 мая* — день рождения Пушкина. *Давно ль еще, таинственный, как рок* и т. д. Речь идет о настроениях Пушкина, отразившихся в стих. «26 мая 1828» («Дар напрасный, дар случайный...»), на которое Р. ссылается под строкой. *Мадоны лик, как солнце, восходил.* Намек на свадьбу Пушкина и Н. Н. Гончаровой 18 февраля 1831 г. *И пролилась — в услышание света* и т. д. Имеется в виду стих. Пушкина «Мадонна» (1830), посвященное Гончаровой, которое было известно Р. еще до печати; 24 ноября 1830 г., сообщая Подолинскому о якобы расстраивающейся женитьбе Пушкина, Р. писал: «Он теперь пишет вроде Петрарки: «Ты моя Мадонна! чистейшей прелести чистейший образец!» Уж он и вправду огончарован» (ЛН, 1952, № 58, с. 100).

392. СЦ на 1832, с. 14 втор. паг. В письме С. П. Шевыреву от 17 марта 1833 г., упрекая И. В. Киреевского за умолчание об этом стихотворении в обзоре, посвященном СЦ, Р. замечал: «Сказать правду, я сам не дорожил этой пиесой и, написав ее, подумал: живет! Но покойный Гнедич да Пушкин надоумили меня, что она выше обыкновенного» (РА, 1878, кн. II, с. 48).

393—394. Первое стих. — НА на 1832, с. 115 (ранняя редакция); полностью цикл — Альциона на 1832, с. 87. Печ. по тексту Альционы.

395. Альциона на 1832, с. 93 втор. паг.

396. Альциона на 1832, с. 43 втор. паг.

397. Альциона на 1833, с. 111 втор. паг.

398. Новоселье, СПб., 1833, с. 317. Отзыв об этом стихотворении Н. М. Языкова (отрицательный) см.: ЛН, 1952, № 58, с. 107.

399. ЛГ, 1846, 29 февраля, отд. 3, с. 1. Беловой автограф — ГПБ. 1 ноября 1855 г. вписано Р. в альбом Г. П. Данилевского с подзаголовком «Памяти Пушкина» (ГПБ). Печ. по последнему автографу, с сохранением журнального примеч., опущенного в альбомном варианте. Стихотворение в аллегорической форме отразило конфликт поэта со двором (см.: Н. Лернер, Рассказы о Пушкине, Л., 1929, с. 199). На смерть Пушкина Р. написал несколько стихотворений (см.: «Могила Пушкина» — СО, 1847, т. 2, кн. 3, отд. 3, с. 1; ср. воспоминания В. Бурнашева — РА, 1872, стлб. 1814).

Н. С. ТЕПЛОВА

При жизни Т. вышли два ее сборника: «Стихотворения Надежды Тепловой», М., 1833 (далее — Сб. 1833) и «Стихотворения Надежды Тепловой (Терюхиной). Издание второе, умноженное», М., 1838 (Сб. 1838). Автографы Т., находившиеся после смерти поэтессы в распоряжении ее сестры С. С. Тепловой (Пельской), в настоящее время не разысканы. В 1848 г. Пельская посылала М. П. Погодину тетрадь, включившую значительную часть наследия Т. (в том числе и неопубликованные стихи), пытаясь осуществить их издание (Барсуков, т. 10, с. 312). Попытка не удалась, и лишь в 1859 г. рукописи Т. попали к М. А. Максимовичу, который воспользовался ими, готовя сборник «Стихотворения Надежды Тепловой (Терюхиной). Третье издание (дополненное)», М., 1860 (Сб. 1860), где некоторые стихотворения имеют разночтения по сравнению со Сб. 1833 и 1838. Характер разночтений различен; в некоторых случаях это явно авторская правка, улучшающая текст; в других — по-видимому, результат редакторской работы составителей. Есть случаи очевидных ошибок и типографских опечаток, часть которых может быть исправлена по предшествующим публикациям. При всем том Сб. 1860 приходится в большинстве случаев принимать в качестве источника текста, так как в основе его лежат, несомненно, не разновременные рукописи, а редакции Сб. 1838, в части своей исправленные самой поэтессой.

400. Сб. 1833, с. 39, под загл.: «К. . . .» и с датой: 1830. Печ. по Сб. 1838, с. 68. Вошло в Сб. 1860. Стихотворение было приведено в рецензии МТ как выражающее дух поэзии Т., заключающейся в «звуках грусти, печали, скорби тяжкой, неутешной» (МТ, 1833, № 16, с. 584; см. также СПч, 1834, 4 августа, с. 698, где оно также перепечатано полностью).

401. СЦ на 1832, с. 54 втор. паг. Вошло в Сб. 1833, 1838, 1860. Отмечено в рецензии МТ как содержащее «яркую мысль» (МТ, 1833, № 16, с. 584; см. также МТ, 1832, № 1, с. 117).

402. Сб. 1833, с. 58, с датой: 1831. Печ. по Сб. 1838, с. 54, с исправлением опечатки в ст. 4 по Сб. 1833. Вошло в Сб. 1860.

403. Тел., 1832, № 18, с. 186; Сб. 1838; Сб. 1860. Вошло в Сб. 1833 (с датой: 1832). Разночтения текстов прижизненных публикаций (в ст. 3, 5, 6) носят характер типографских опечаток; в ст. 10 в Сб.

1838 можно предполагать авторскую правку. Исправления ст. 10—11 в Сб. 1860 — по-видимому, редакторские. Печ. по Сб. 1838 с исправлением ст. 3 по двум первым прижизненным публикациям.

404. Подарок бедным. Альманах на 1834 год..., Одесса, 1834, с. 153, под загл.: «Спокойствие». Сб. 1838, под загл.: «Тишина» и с датой: 1832. Печ. по Сб. 1860, с исправлением ошибочной датировки (1842).

405. Денница на 1834, с. 66 (ц. р. 24 октября 1833 г.). Вошло в Сб. 1838 и 1860. Это стихотворение Белинский приводил как образец стихов Тепловой, содержащих «ребяческую мысль», но «вылившихся из души и полных чувства» (Белинский, т. 7, с. 655). Адресовано С. С. Тепловой (Пельской).

406. МН, 1835, август, кн. 2, с. 512, с датой: 1835. Октября 11. Печ. по Сб. 1838, с. 59. Вошло в Сб. 1860.

407. МН, 1835, декабрь, кн. 1, с. 364. Вошло в Сб. 1838. Печ. по Сб. 1860, с. 40, с исправлением искажающей смысл пунктуации в ст. 13 по Сб. 1838.

408. МН, 1835, октябрь, кн. 1, с. 381. Вошло в Сб. 1838 и 1860.

409. Сб. 1838, с. 51. Печ. по Сб. 1860, с. 51.

410. МН, 1836, апрель, кн. 1, с. 495. Вошло в Сб. 1838. Печ. по Сб. 1860, с. 26.

411. ЛПРИ, 1837, № 21, с. 202. Печ. по Сб. 1838, с. 43. Вошло в Сб. 1860. Первая строфа — парафраза на темы стих. Жуковского «На кончину ее величества королевы Виртембергской».

412. Сб. 1838, с. 5. Печ. по Сб. 1860, с. 34.

413. БдЧ, 1838, т. 28, отд. 1, с. 149, под загл.: «К девице-поэту», с подписью: Н. Терюхина (урожденная Теплова) и датой: 1837; Сб. 1838. Печ. по Сб. 1860, с. 16.

414. Сб. 1838, с. 71. Печ. по Сб. 1860, с. 67.

415. СО и СА, 1838, т. 4, отд. 1, с. 95, с подписью: Н. Терюхина. Печ. по Сб. 1838, с. 44. Вошло в Сб. 1860.

416. Сб. 1838, с. 75. Печ. по Сб. 1860, с. 71.

417. Сб. 1860, с. 95.

418. Сб. 1860, с. 123.

419. Сб. 1860, с. 131. Посвящено памяти мужа (ср. написанное на его смерть стих. «Сон», датированное июнем 1845 г. — Сб. 1860,

с. 130). О муже Т. сведений не сохранилось; можно думать, однако, что им был Николай Степанович Терюхин, капитан, в 1836—1842 гг. служивший штатным смотрителем Серпуховского уездного училища (ср. стих. Т. 1837—1838 гг. «Память былого» и «Жажда молитвы», с пометой «Серпухов» — СО, 1838, т. 2, отд. 1, с. 27 и 93), а в 1843—1845 гг. бывший чиновником Межевой канцелярии министерства юстиции (в чине титулярного советника). С 1846 г. имя его исчезает из месяцесловов, что согласуется с предполагаемой датой его смерти. *И сиротство моих детей!* См. стих. «На смерть дочери» (Сб. 1860, с. 132); из него видно, что дочь Т. умерла 19 октября 1846 г.; вслед за ней умер и сын. После смерти Т. осталась маленькая дочь (Н. Барсуков, т. 10, с. 312).

420. Развлечение, 1859, 17 января, с. 25. Вошло в Сб. 1860.

В. Г. ТЕПЛЯКОВ

Имеются два сборника стихотворений Т.: «Стихотворения Виктора Теплякова», М., 1832 (далее: Стих. 1832) и «Стихотворения Виктора Теплякова», ч. 1. Фракийские элегии; ч. 2. Стихотворения разных годов», СПб., 1836 (далее: Стих. 1836).

421. Печ. впервые по автографу ПД. Другие части поэмы неизвестны. В основе сюжета — восстание Бонифация III Кастелланского в XIII в. за освобождение Прованса из-под власти Карла Анжуйского, возглавившего крестовый поход против альбигойцев. О личности Бонифация, рыцаря и поэта, Т. черпал сведения в «Литературной истории трубадуров» Милло (t. 2, P., 1774, p. 34), «Литературе полуденной Европы» Ж. Симонда де Сисмонди (2-nd éd., t. 1, P., 1819, p. 224), «Общей истории Прованса» Папона (t. 2, P., 1778, p. 337, 418), на которые он сделал ссылки; там же приведены и отрывки из сирвент Бонифация. По-видимому, поэма должна была кончаться, согласно этим источникам, предательством марсельцев, выдачей Бонифация Карлу и казнью его (у Папона, впрочем, Бонифаций не казнен, а изгнан). В трактовке образа Бонифация Т. следует традиции байронической поэмы (так, в источниках нет мотива трагической любви и разочарования героя); не ставит он своей задачей и воспроизведение исторического колорита, насыщая текст аллюзиями в духе гражданской поэзии 1820-х годов. *Влекися, тощее в цепях порабощенье!* Ср. в «Деревне» Пушкина: «Здесь рабство тощее влачится по браздам» и т. д. *Сходила ночь на шумный стан* и т. д. В несколько измененном виде эти ст. (91—102) вошли в 6-ю Фракийскую элегию «Эски-Арнаутлар» (ст. 1—12).

422. Стих. 1832, с. 49. По семейному преданию, было написано на стене камеры в Петропавловской крепости, где Т. находился с 20 апреля до 24 июня 1826 г. (ИВ, 1887, № 7, с. 6; картотека Б. Л. Модзалевского в ПД). Эпиграф — Библия, книга Иова, гл. 16, ст. 18. *Дедал* — см. примеч. 48. *Психея* — душа, условно-поэтическое обозначение возлюбленной.

423. МТ, 1829, № 11, с. 301, с датой и пометой: «Кавказские минеральные воды». Печ. по Стих. 1832, с. 71. Стихотворение стилистически тесно связано с письмом А. Г. Теплякову с Горячих Вод от 20 июня 1828 г.: «Пускай ваш взор обнимет эти очаровательные картины истинно-романтических окрестностей, эти муравчатые долины, которые подобно *богатым, махровым коврам* подстилаются под стопы гор Бештовых, унизанных кудрявым, как *ярко-зеленый бисер*, кустарником и низвергающих *из недр своих* шумные *кипучие водопады*» (РС, 1896, № 2, с. 433; курсив мой. — *В. В.*). Ср. ст. 5—6, 11—14. Посвящено Г. А. Римскому-Корсакову (см. примеч. 57), бывшему на Кавказе с мая 1827 г. до октября 1828 г. (Пушкин, т. 13, с. 329; РА, 1910, № 10, с. 190; ср.: Н. В. Измайлов, «Роман на Кавказских водах» (Невыполненный замысел Пушкина). — ПиС, вып. 37, Л., 1928, с. 91); ему же Т. адресовал и четвертое «письмо из Болгарии» (22 апреля 1829 г.). «Кавказ» Т. послал И. П. Шабельскому при письме от февраля 1829 г., где писал: «...осмеливаюсь я препроводить к вам последнее свое стихотворение «Кавказ». Желаю, чтобы оно понравилось вам столько, сколько я сам недоволен им. Увы! прихотливая муза не терпит ни рассеянной головы, ни пустого сердца — неизбежных последствий антипоэтического моего положения. Впрочем, мой абрис снят с природы; большая часть первых даже красок была, сколько мне помнится, положена в глазах ваших, перед пятиглавым Бештау, перед державным Эльборусом, на *Кольце*, при *Окаменелостях* и проч., и проч... За красоту своей копии я ни под каким видом не отвечаю, но за верность рисунка смело ручаюсь — и в этом отношении вы, конечно, согласитесь со мною» (РС, 1896, № 2, с. 439). Эпиграф — из «Посвящения» к «Кавказскому пленнику» Пушкина (не совсем точно). *Ты ль, пасмурный Бешту* и т. д. Курсивом в тексте Т. выделяет парафразы из «Кавказского пленника». Ср. цитацию этой же строки: «Письма из Болгарии», М., 1833, с. 151 (далее — ПБ). *Я новый зрю Парнасс.* У Пушкина: «Был новый для меня Парнасс». *Богиня рассказа* — парафраза из «Эпилога» «Кавказского пленника». *В утробе сих громад, — В чертогах матери природы.* Эти строки есть в стих. Т. «26 августа 1828», несомненно посвященном реальному эпизоду кавказских встреч Т. (ср. далее ст. 85—87). *Изида, Озирис* — древнеегипетские божества. *Ты видел, как на мир тот ураган могучий* и т. д. — парафраза строк из 1 и 2 строф «Дива и Пери» А. И. Подолинского; о присылке этой поэмы Т. просил брата в письме от 20 июня 1828 г. (РС, 1896, № 2, с. 435). *Чад Эпикуровых сбиралася семья.* К числу кавказских знакомых Т. принадлежали генерал И. П. Шабельский (1795—1874), видимо, князь Леонид Голицын, все семейство Римских-Корсаковых и некоторые другие лица (см.: РС, 1896, № 2, с. 436, 438, 434; Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, вып. 10, М., 1902, с. 467).

424—430. «Фракийские элегии» Т. считал основным своим литературным трудом («главные волны нашего моря») и ощущал их как явление новое в жанровом отношении (ПиС, вып. 29—30, Пг., 1918, с. 219; ср.: МН, 1836, апрель, кн. 2, с. 740). Элегии создавались, повидимому, одновременно с ПБ (1829) и отразили впечатления путешествия по Востоку; будучи ближайшим образом связаны с путевыми письмами Т., они в то же время естественно сложились во

«вторичный цикл», единый по своей эмоциональной тональности и лирическому герою. Единство этого цикла было подчеркнуто и в извещении о выходе Стих. 1836, написанном В. Ф. Одоевским (МН, 1836, апрель, кн. 2, с. 740). Издать «Фракийские элегии» полностью Т. намеревался еще в 1830 г. (ЛГ, 1830, 26 мая, с. 244), но осуществил это намерение только в Стих. 1836; в это время, может быть по дипломатическим соображениям, Т. оговаривается в печати, что элегии, как и ПБ, уже не соответствуют его нынешним взглядам (см.: ЛЛ (Одесса), 1833, № 4, с. 30; ПБ, с. XII; Стих. 1836, с. XII). О литературной установке «Фракийских элегий» см. биограф. справку. Выход в свет Стих. 1836 вызвал иронический отклик Сенковского (БдЧ, 1837, т. 20, № 1, отд. 6, с. 2; № 2, отд. 6, с. 29), на который Т. ответил резкой эпиграммой (РС, 1896, № 4, с. 205), и положительную рецензию Пушкина (Совр., 1836, т. 3, с. 170; Пушкин, т. 12, с. 82); ср. также отклик в ЛПРИ, 1837, № 3, с. 25. Эпиграф — из сочинений Пьера-Симона Балланша (1776—1847) — афористическое обобщение идей, выраженных в его «Опыте об общественных учреждениях»; книгу эту (Oeuvres de M. Ballanche, t. 2, P., 1830) Т. упоминает в письме к В. Ф. Одоевскому 1835—1836 г. (ПиС, вып. 29—30, с. 216). Примечания Т. к элегиям, отчасти раскрывающие их реалии и исторические источники, см. в тексте. Имена и исторические факты, упомянутые только в объяснениях Т., не комментируются.

1. СЦ на 1831, с. 7 втор. паг., с датой и пометой: «На венецианском бриге «La Perseveranza»; вторично — ЛЛ (Одесса), 1834, № 4—5, с. 38, под загл.: «Отплытие. Элегия». Печ. по Стих. 1836, с. 5. Комментарием к этой элегии служит письмо А. Г. Теплякову из Варны 29 марта 1829 г. (ЛГ, 1830, 26 января, с. 41; в др. ред. — ПБ, с. 3), где Т. описывает свой отъезд 23 марта 1829 г.: «Сначала какая-то непонятная радость овладела моим сердцем... Я расхаживал скорыми шагами по шканцам и громко декламировал: «Шуми, шуми, послушное ветрило!» и проч. Но эта болтливая радость исчезла вместе с берегами моей отчизны. Подобно Ирвингу Вашингтону, мне казалось, что в это время я закрыл первый том моей жизни со всем тем, что он заключал в себе.

Минувшее душе моей
Как сон мудреный представлялось:
То красным солнцем ей являлось,
То моря бурного темней...»

Несколько ранее описана сцена заката на море и цитируется строка элегии: «Прости, о родина, прости» (ПБ, с. 7). В письме Т. прямо указал на один из своих литературных источников — элегию Пушкина «Погасло дневное светило...»; другой подчеркнут эпиграфом из 1-й песни «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона. О соотношении элегии с поэмой Байрона, не мешающем, впрочем, «самобытному таланту» поэта, писал Пушкин (Пушкин, т. 12, с. 82). *Всё спит, — лишь у руля матрос сторожевой* и т. д. Сцена с рулевым матросом, напевающим баркаролу, есть также в письме Т. (ПБ, с. 10). *Цирцея* (Кирка, греч. миф.) — волшебница, обольстившая Одиссея и при помощи волшебного питья превратившая его спутников в свиней.

2. Одесский альманах на 1831 г., с. 157, с датой и пометой: «На венецианском бриге «La Perseveranza». Печ. по Стих. 1836, с. 13.

В тексте альманаха за примеч. Т. следовало примеч. М. П. Розберга (подписанное М. Р.) со сравнением поэзии Греции и Рима. В трактовке Овидия Т. следует за пушкинским посланием «К Овидию» (см.: В. Алексеев-Попов, Пушкин и литературная жизнь Одессы. — В кн.: О. С. Пушкин в Одесі, Одеса, 1949, с. 146). Элегия была благожелательно принята; отмечалась легкость и звучность стиха, при некоторой растянутости и однообразности (Тел., 1831, № 13, с. 98). Пушкин критиковал «неточность» и «фальшивость» некоторых строк (ст. 27, 39—40, 45—47); ст. 170—174, 179—197 назвал «прекрасными». *Не буря ль это, кормчий мой?* и т. д. Корабль Т. был застигнут бурей недалеко от Добруджи; перед угрозой кораблекрушения он вынужден был звать на помощь пушечными выстрелами (ср. ст. 179 и ПБ, с. 19). *Луч славы не горит над головой твоей, Но мы равны судьбиною жестокой!..* Ср. у Пушкина: «Не славой, участью я равен был тебе» («К Овидию»). *И радостно поэт на смертный мчался бой.* Пушкин указывал на историческую и психологическую неточность этой строки, ссылаясь на 1 элегию 4-й книги «Скорбных элегий» Овидия, где поэт «признается... что тяжело ему под старость покрывать седину свою шлемом и трепетной рукою хвататься за меч при первой вести о набеге» (Пушкин, т. 12, с. 85). Неточность эта у Т. сознательна: она характеризует отчаяние Овидия, фигура которого приближена к лирическому герою (ср. ст. 190 и след.). *Неумолимого я богом называл.* Речь идет об императоре Августе, по приказанию которого был сослан Овидий.

3. Ст. 21—41 и 63—64 (последние — в несколько измененном виде) — ПБ, с. 137 и 160 (письма А. Г. Теплякову из Девно 24 апреля и из Праводов 30 апреля). Печ. по Стих. 1836, с. 25. Эпиграф — из стих. Шиллера «Четыре века» («Die vier Weltalter»). К берегам Добруджи (древней Мизии) корабль Т. подошел 25 марта 1829 г. (ПБ, с. 15—20). 27 марта он был застигнут штилем в виду Варны, откуда был слышен выстрел заревой пушки (см. ст. 148—149). До Варны Т. добрался 28 марта к 12 часам дня (ПБ, с. 23, 25). Таким образом, элегия должна предположительно датироваться 27 марта (см. ст. 150—151). *Эвксинская синева* — Средиземное море. *Дарий* (VI в. до н. э.) — персидский царь. *Траян* (53—117) — римский император. *Не ты ль, крылатый Лев* и т. д. Пушкин указывал на близкое сходство этих стихов с описанием Венеции в 4-й песне «Паломничества Чайльд-Гарольда» (Пушкин, т. 12, с. 86).

4. Стих. 1836, с. 33. Т. обнаружил развалины в Гебеджи 22 апреля 1829 г. и в тот же день описал их в письме к Г. А. Римскому-Корсакову (ПБ, с. 88). Эпиграф — Библия, Книга пророка Иеремии. *Или над битвенной равниной* и т. д. В письме А. Г. Теплякову из Девно 24 апреля есть описание «равнины старой битвы» (с цитатой из «Руслана и Людмилы») — ср. ПБ, с. 126. *Армида* — см. примеч. 386. Это сравнение см. также в письме А. Г. Теплякову от 10 мая (ПБ, с. 207). *Взгляните: этот столб, гигант окаменелый* и т. д. Ср. ПБ, с. 114. *Альнаскар* — герой арабской сказки из «1001 ночи», в мечтах о якобы ожидающей его роскоши разбивший кувшин, в котором заключались все его надежды на будущее богатство. *Ты прав, божественный певец* и т. д. Пушкин, считавший «Гебеджинские развалины» лучшей из всех «Фракийских элегий», особенно отметил эти стихи («Это прекрасно! Энергия последних стихов удивительна!»).

Парафраза этих строк Байрона есть в письме А. Г. Теплякову от 14 апреля: «Пускай философы толкуют после сего о высшем, таинственном предназначении человека в здешнем мире: *„время сделало один шаг“* — и глухое варварство воссело на обломках человеческой образованности» (ПБ, с. 62). *Аббадона* — падший ангел в поэме Клопштока «Мессиада». *Абдиил* — любимый брат Аббадоны, оставшийся серафимом.

5. Стих. 1836, с. 45. О «гебеджинских фонтанах» Т. писал в упомянутом выше письме к Римскому-Корсакову 22 апреля 1829 г. *Пифагоровы золотые стихи* — фрагмент из приписываемых Пифагору моральных сентенций, в передаче позднейших биографов; в XVIII—XIX вв. были известны по книгам Ж.-Ж. Бартелеми, С. Марешаля и др. (см.: Ю. Г. Оксман, Из истории агитационной литературы 1820-х годов. — В кн.: Очерки из истории движения декабристов, М., 1954, с. 477). Тема фонтана в творчестве Т. нередко ассоциируется с темой кратковременного покоя и отдыха (см.: «Надпись к фонтану» — Стих. 1832, с. 133). *Гения высокий дар — Цепь на скалах Святой Елены.* Речь идет о Наполеоне, умершем в ссылке на острове Святой Елены. *Брамин* — служитель бога Брамы, представитель высшей касты в Индии; *парии* — низшая каста. *Прокуст* — Прокруст, мифический разбойник, вытягивавший или обрубавший тела своих жертв, чтобы они соответствовали величине специально приготовленного для них ложа. *Быть или не быть* — начало монолога Гамлета в трагедии Шекспира. *Психея* — см. примеч. 422.

6. Стих. 1836, с. 57. Отзыв А. С. Стурдзы об этой элегии как о «высокой поэзии» см.: РС, 1896, № 8, с. 416. Эпиграф — из «Певца во стане русских воинов» Жуковского. *Прочел молитву шумный стан* — см. примеч. 421. *Амюрат* — турецкий султан Мурад II (1401—1451), ведший победоносные войны на Балканах; сын его Махмуд в 1453 г. покорил Константинополь. *Гемус* — древнее название Балкан. *К вратам ли тем* и т. д. По летописному свидетельству, князь Олег, подойдя в 907 г. к Византии, «повесил щит свой на вратах в знак победы и ушел от Царьграда». *С перунами Кагула, Луну низвергнув* — намек на разгром П. А. Румянцевым турецкой армии при реке Кагуле 21 июля 1770 г.

7. Стих. 1836, с. 69. Эпиграф — стих. П.-Ж. Беранже «Куплет к молодежи» («Couplet aux jeunes gens»). *Гемус* — см. примеч. 429. *Пери* — см. примеч. 261. *Давно мой конь, Араб мой пленный* и т. д. В письме от 30 апреля (ПБ, с. 160), где описаны ощущения наездника, цитируются «гармонические стихи» Жуковского «Песнь араба над могилою коня» (перевод из Мильвуа).

431. Стих. 1832, с. 159. Эпиграфы — из стих. «Обет» («Vœu») В. Гюго (в сб. «Les Orientales») и из VIII главы «Евгения Онегина» («Отрывки из путешествия Онегина»). Соотносительность последнего эпиграфа и названия (а также первой строки) стихотворения дает повод для датирования его 1830—1831 гг. (впервые цитированный фрагмент «Онегина» появился в ЛГ, 1830, 1 января, с. 2; в сборник вошли стихи 1824—1831 гг.). Однако самое стихотворение по содержанию близко к письму Т. из Правод 30 апреля 1829 г. (ПБ, с. 158), где уже процитированы ст. 61—62. В абсолютном большинстве случаев, доступных проверке, эпиграфы в стихах Т. появлялись лишь

при перепечатке их в сборниках. Поэтому есть основания считать, что «Желания» написаны в период путешествия, не позднее конца апреля 1829 г., что отчасти подтверждается и последними строфами. *Персть* — прах.

432. СЦ на 1830, с. 81, с датой и пометой: «Одесса». Печ. по Стих. 1832, с. 61. Стихотворение это Сомов, помогавший Дельвигу в издании СЦ и ЛГ, посылал цензору К. С. Сербиновичу 22 ноября 1829 г. с запиской, где писал: «Пиеса прекрасная! нельзя ли ее как-нибудь выгородить от убавок? тем более, что в ней говорится не положительно, а в виде спора» («Пушкин. Исследования и материалы», т. 6, Л., 1969, с. 293). Тем не менее нападки второго странника на любовь — «божественный союз» душ — были исключены; ст. 116—124 представляют собою цензурную купюру. 30 февраля 1830 г. Сомов писал Т., что Пушкин «очень хвалит» «Странников», «Дельвиг также» (РС, 1896, № 3, с. 660). Стихотворение включается в традицию стихотворных новелл о «странствователях» и «домоседах» (ср.: «Теон и Эсхин» Жуковского, «Странствователь и домосед» Батюшкова); в противоположность обычному решению проблемы, Т. отдает предпочтение «страннику» исходя из пессимистической концепции бытия (см. биограф. справку). Эпиграф — слова Сократа в передаче Плутарха («Об изгнании»): «Я не афинянин и не грек, но гражданин мира». *Аристипп* — см. примеч. 325. Сочинения Аристиппа неизвестны; рассказы и анекдоты о нем есть у Ксенофонта, Горация, Диогена Лаэрция, Плутарха и др. *Ловитва* — охота. *Сосуд Пандоры* (греч. миф.) — шкатулка, заключавшая в себе человеческие несчастья, болезни и пороки; красавица Пандора открыла ее из любопытства и выпустила беды в мир; на дне осталась только надежда. *Задигов нос ее символ.* В философской повести Вольтера «Задиг» рассказывается, как жена Задига Азора собиралась для излечения любовника отрезать нос у своего мнимо умершего мужа. *Далила* (библ.) — красавица, обольстившая героя Самсона и отрезавшая его волосы, в которых заключалась его сила; после этого Самсон был пленен и ослеплен.

433. Стих. 1832, с. 169. Стихотворение снабжено примеч. издателя А. Г. Теплякова: «Для объяснения случая, породившего сие странное произведение, мы не излишним почитаем предложить нашим читателям отрывок из письма, полученного нами от автора из Одессы от 15 августа прошлого года... «Все нынешнее лето, — говорит он, — прожил я в странном, нелепом строении, известном в *** под привлекательным названием *Чудного дома.* Представьте себе обширное каменное строение, не принадлежащее ровно ни к одному архитектурному ордену, или лучше сказать — заключающее в себе все роды зодчества, со времен создания храма Соломонова, до нашего века. Главный фас представляет совершенный снимок с этих рыцарских замков, из коих один столь ужасен и вместе столь привлекателен в романе Горация Вальполя. Огромный осмиугольный двор, узкие маленькие окна, разные лепные украшения, разбросанные по массивным стенам здания, и проч. и проч. Один из боковых фасов — призматический, между тем как другой тянется длинной крепостной стеною с бесчисленным множеством окон, подобных узким амбразурам, вдоль боковой улицы, и по черной своей закоптелости, кажется с противо-

положного балкона выпачканным сажею из-под котла, в коем варится враг рода человеческого. Внутреннее расположение комнат еще необыкновеннее: параллелограммы, квадраты, треугольники, залы, конурки и проч. и проч. Там, по какому-то особому устроению комнат, звуки, пробуждаемые в одной, слышатся со стороны совершенно противоположной. Кроме сего — эта архитектурная нелепость населена преданиями еще более уродливыми. Говорят, что первоначальный хозяин и строитель дома, существо, подобное байронову Манфреду, поселился, со времен русского завоевания мест сих, посреди огромных развалин, коих начало относится, по мнению некоторых антиквариев, ко временам одного (не помню которого именно) из царей тавро-скифских; что мудрец сей возобновил часть строения и мало-помалу осуществил необыкновенные мечты свои созданием нынешнего *Чудного дома*. Соседние кумушки утверждают, что чудак сей был богопротивный колдун; рассказывают о подземельях, простирающихся из-под *Чудного дома* вплоть до самого моря; о чудесах, о сокровищах, о необыкновенных видениях, обитающих в глубине обвороженных пещер — там, где чернокнижник творил обыкновенно свои заклинания, вызывая духов, подчиненных его премудрости. Рассказывают, что одной из моих соседок видится каждую ночь коляска, подъезжающая без лошадей к окнам *Чудного дома* с *безголовым* человеком, сидящим в глубине оной; что к этому *безмозглому* рыцарю спускается из окна дева — чудо прелестей, и вместе с ним исчезает до следующей ночи... Правда, что наши молодые забавники обогащают всю эту историю комментариями более нежели естественными; но как бы то ни было — в первую ночь дом мой не был спокоен. Храбрый мой паж Франсуа согласился спать не иначе, как только выставив голову из растворенной двери в мою комнату, между тем как мой русский Фаревиц[1], беседующий, как вам известно, и во сне, и наяву, и в чудных, и в обыкновенных домах, с нечистою силою, в скором времени захрапел, застонал и вступил в неоконченную конференцию с домовыми. Я один пробыл между сном и бдением почти до самого света. Все обогащающие квартиру мою предания представлялись уму моему сначала в беспорядке, потом в какой-то чудной последовательности и, наконец, совокупно с роем посторонних размышлений, составили какую-то странную фантасмагорию, коей посильное описание в стихах при сем вам посылаю...» и проч.». В рецензии «Одесского вестника» это стихотворение было отмечено как лучшее в сборнике («Одесский вестник», 1832, 21 мая, с. 162). Дом, описанный Т., находился в центральной части города, на углу бывших Преображенской и Елисаветинской улиц и существовал до конца XIX века; с ним был связан ряд местных легенд (Н. Л⟨ернер⟩. «Чудный дом» (Из преданий русской провинции). — «Столица и усадьба», 1917, № 89—90, с. 19). Эпиграф — из «Гамлета» Шекспира (акт 1, сцена 4). *Алкид* (греч. миф.) — Геракл.

434. КБ, с. 279. Печ. по Стих. 1836, с. 127. Эпиграф — название «немецкой новеллы» С. Буффлера. Об автобиографической основе стих. см. биограф. справку. *Пафосские жрицы* — гетеры, служитель-

---

[1] Одно из главных действующих лиц в «Роб-Рое», романе В. Скотта.

ницы любви. *О други! крылья соколины* и т. д. Эти строки были процитированы А. Г. Тепляковым в биографическом очерке о брате, как его автохарактеристика (ОЗ, 1843, т. 28, № 4, отд. 8, с. 74).

435. КБ, с. 324. МН, 1836, апрель, кн. 2, с. 737, с пометой: «На бриге «Св. Николай», 17 и 18 августа 1832 г.». Печ. по Стих. 1836, с. 133. Стих. было избрано Т. и В. Ф. Одоевским для предварительной публикации перед выходом Стих. 1836; оно было снабжено примечанием с характеристикой всего собрания, написанным Одоевским и просмотренным Т. (см.: ПиС, вып. 29—30, Пг., 1918, с. 217). Эпиграф — из песни 5 «Ада» Данте. Пушкин писал в своей рецензии, что «если бы г. Тепляков ничего другого не написал, кроме элегии «Одиночество» и станса «Любовь и ненависть», то и тут занял бы он почетное место между нашими поэтами» (Пушкин, т. 12, с. 90).

436. КБ, с. 246. Печ. по Стих. 1836, с. 189. 16 ноября 1832 г. Т. писал брату из Одессы: «Я почти никуда не выхожу, никого не принимаю. На прошлой неделе хотел от скуки не шутя жениться на грачке Salambier; что же, ведь по чести не хуже Дидеротовой Аннеты или Терезии Ивана Яковлевича Руссо! да раздумал; черт ли в женитьбе? Если бы вы прочли новую нашу пьеску «Одиночество». Автор, если не ошибаюсь, право, жалок, глуп, благочестив — все вместе» (РС, 1896, № 3, с. 670). Элегию «Одиночество» Пушкин целиком выписал в своей рецензии (см. предыдущее примеч.).

437. ЛЛ (Одесса), № 24, 1833, с. 205, под загл.: «Два ангела» (отрывок)»; «Подарок бедным, альманах на 1834 г.», Одесса, 1834, с. 154 (с тем же подзаголовком). Печ. по Стих. 1836, с. 175. Сохранилось несколько выписок Т. из «Мессиады» Клопштока (во французском переводе), имеющих помету: «К Двум ангелам» (ПД); возможно, «Мессиада» послужила одним из источников стихотворения, хотя выписки Т. не находят прямых соответствий в тексте. *Божественный слепец* — Джон Мильтон (1608—1674), великий английский поэт, автор «Потерянного рая» (1667). *Фокион* (IV в. до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель, отличавшийся бескорыстием и суровым ригоризмом; ложно обвиненный в измене, был приговорен к смерти и выпил яд. *Жоконд* — герой распространенного сюжета, разработанного Ариосто, Лафонтеном и авторами ряда комедий и комических опер XVIII и XIX вв., молодой красавец, испытавший низкое вероломство женщин и ставший соблазнителем из желания мести. *Гигант* — Байрон, автор мистерии *«Каин»*.

438. ЛЛ (Одесса), 1833, № 19, с. 154. Вошло в Стих. 1836. В Стих. 1836 в оглавлении подзаголовок: «Подражание Беранже». Перевод стих. Беранже «La bonne vieille»; строфы 3—4 — автобиографического характера. Т. особенно интересовался Беранже в последний период своего творчества и сделал из него несколько переводов («Счастье», «Песнь казака»); ср. упоминание об этом поэте в предисловии к Стих. 1832 (А. Г. Теплякова) как о «представителе гражданской религии своих соотчичей, — Каннинге, говорящем языком едкой сардонической поэзии» (с. VII). Эпиграф — из стих. Батюшкова «Источник». Стих. «Моя старушка» предполагалось в 1834 г. перепеча-

тать в одесском альманахе «Подарок бедным» (см. письмо Р. С. Эдлинг к Т. от февраля — марта 1834 г. — Р. Библ., 1916, № 5, с. 20), но потом оно было заменено (см. примеч. 437). *Лишь горю льстил твой путник одному.* Реминисценция из стих. Беранже «Le vilain» («Простолюдин»).

439. Стих. 1836, с. 121. Эпиграф — из стих. Н. М. Языкова «Дева ночи» (1828). *Менада* — вакханка, жрица бога вина Вакха (Диониса). *Тирс* — жезл Вакха и его спутников, увитый плющом и виноградом. *Небрида* — шкура молодого оленя, одеяние менады. *Или тигров собирая* и т. д. Тигр считался животным, посвященным Вакху.

440. Стих. 1836, с. 115. В оглавлении подзаголовок: «Подражание Байрону». Вольный перевод песни Байрона «Наполни снова кубок. . .» («Fill the goblet again. . .»). Эпиграф — из 11-й (не 8-й) оды Горация. *Эввий* — одно из имен Вакха.

441. Стих. 1836, с. 167. Форма стихотворения восходит к сатире Вольтера «Jean qui pleure et Jean qui rit» («Жан, который плачет, и Жан, который смеется»). До Т. к ней обращались П. Сумароков («Плач и смех», 1788) и В. Ф. Раевский («Смеюсь и плачу. (Подражание Вольтеру)», конец 1810-х — начало 1820-х годов). Разработка темы у Т. оригинальна. Первый эпиграф — из стих. Жуковского «Песня» («Отымает наши радости. . .», 1820). *Брамина ль герб толпе надоедает* и т. д. Метафорическое обозначение аристократического высокомерия знати и претензий незнатных выскочек. *Пусть нерв то было раздраженье* и т. д. Курсивом выделены слова «журнального языка», стилистически чужеродные в поэзии. Т. пародирует «физиологическое» «анатомирование» душевной жизни, считавшееся достоянием французской «неистовой» словесности 1830-х годов. *Пигмалион* — см. примеч. 80. Мотив Пигмалиона повторен Т. и в стих. «Галатея» (ЛЛ (Одесса), 1833, № 16, с. 128 и Стих. 1836, с. 149). *Селадон* — приторно чувствительный влюбленный (по имени героя романа О. д'Юрфе (1568—1625) «Астрея»).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

СОДЕРЖАНИЕ

В. И. КОЗЛОВ

С. Д. НЕЧАЕВ

В. Н. ОЛИН

В. С. ФИЛИМОНОВ

А. Г. РОДЗЯНКА

В. И. ПАНАЕВ

В. М. ФЕДОРОВ

О. М. СОМОВ

А. С. НОРОВ

А. А. КРЫЛОВ

В. И. ТУМАНСКИЙ

Ф. А. ТУМАНСКИЙ

П А. ПЛЕТНЕВ

Н. М. КОНШИН

В. Н. ГРИГОРЬЕВ

А. А. ШИШКОВ

А. Г. РОТЧЕВ

П. Г. ОБОДОВСКИЙ

М. П. ЗАГОРСКИЙ

П. И. ШКЛЯРЕВСКИЙ

А. Д. ИЛЛИЧЕВСКИЙ

М. Д. ДЕЛАРЮ

Е. П. ЗАЙЦЕВСКИЙ

В. Н. ЩАСТНЫЙ

А. П. КРЮКОВ

Е. Ф. РОЗЕН

Н. С. ТЕПЛОВА

В. Г. ТЕПЛЯКОВ

ПОЭТЫ 1820—1830-х годов

Том 1

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1972 г. 792 стр. План выпуска 1972 г. № 316
Редактор *Л. А. Николаева.* Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова.* Техн. редактор *М. А. Ульянова.* Корректор *Е. А. Омельяненко.* Сдано в набор 26/IX 1972 г. Подписано в печать 30/XI 1972 г. М 58107. Бумага 84×108¹/₃₂, № 1. Печ л. 24³/₄+4 вкл. (42,0). Уч.-изд. л. 41,79. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1293. Цена 1 р. 75 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград. Невский пр., 28.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном Комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3